БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Михаил Нестеров

О пережитом. Воспоминания

Библиотека мемуаров

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мемуары одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — первой половины XX века М. В. Нестерова живо и остро повествуют о событиях художественной, культурной и общественно-политической жизни России на переломе веков, рассказывают о предках и родственниках художника. В книгу впервые включены воспоминания о росписи и освящении Владимирского собора в Киеве и храма Покрова Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Исторически интересны впечатления автора от встреч с императором Николаем Александровичем и его окружением, от общения с великой княгиней Елизаветой Федоровной в период создания ею обители. В книге помещены ранее не публиковавшиеся материалы и иллюстрации из семейных архивов Н. М. Нестеровой — дочери художника и М. И. и Т. И. Титовых — его внучек.

- Нестеров Михаил Васильевич
- О воспоминаниях Михаила Васильевича Нестерова [1]
- Вступление[25]
  -
  - Детство в Уфе[26]
  - Родители мои и родственники
  - События. Впечатления
- Годы учения
  - В реальном училище Воскресенского
  - В училище живописи, ваяния и зодчества
  - В Академии художеств
  - Уфа. Первая любовь
  - Свободный художник. Женитьба
  - Смерть жены. «Христова невеста»
  - На конкурсах живописи в Петербурге
  - «Пустынник»
- Самообразование за границей.1889
  -
  - Венеция
  - Рим
  - Неаполь-Капри
  - Париж — Дрезден
- В Россию! От станковой живописи к церковной
  -
  - «Варфоломей» на выставке в Петербурге
  - Киев. Владимирский собор

    - Праховы
    - Болезнь
    - На лесах Владимирского собора
    - «Юность преподобного Сергия»
    - Рождество в Уфе. 1892
    - Москва — Киев. 1892
    - Владимирский собор: образа верхних иконостасов
- Мозаики Константинополя, Греции, Италии. 1893
- На Родине
    - 1893–1894
    - 1895–1896
- Освящение Владимирского собора
- Москва — Петербург… 1896–1897
- Кисловодск. «Молниеносная» любовь
- Передвижная выставка. 1898
- Абастуман. 1899
- Выставки. 1900–1901
- На Соловках
- Работа в храмах Абастумана и Волыни. 1902
- Абастуман и Гагры. 1903
- В год несчастий и бед. 1904
- Снятие лесов в Абастумане
- «Репетиция» революции.1905
- Знакомство с Л. Толстым.1906
- Персональная выставка 1907 (Петербург — Москва). 1907
- Портрет Л. Н. Толстого
- Поездка в Италию. 1908
- Марфо-Мариинская обитель. 1908–1909
- Переезд в Москву. 1910
- Роспись Марфо-Мариинской обители. 1911
- Освещение храма Покрова. 1912
- В год напастей и болезней. 1913
- «Страшный сон». Россия в 1914-м
- Начало работы на «Большой» картиной. 1915
- Реформаторская горячка в Третьяковской. 1916
- «Христиане» — «Душа народа». 1917
- Даты жизни и творчества М. В. Нестерова
- Иллюстрации
- Литературное наследие М. В. Нестерова. Основные работы
- Список сокращений
- Именной указатель
- Слова благодарности
- notes
    - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45

- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89

- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133

- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177

- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221

- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265

- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309

- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353

- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397

- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441

- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484

Нестеров Михаил Васильевич
О пережитом. 1862–1917 гг.
Воспоминания

Настоящее полное издание книги воспоминаний М. В. Нестерова «О пережитом. 1862–1917 гг.» посвящается светлой памяти друзей и родных М. В. Нестерова, внесших неоценимый вклад в сохранение его живописного и литературного наследия: П.Д. и А. Д. Кориных, С. Н. и И. А. Дурылиных, Е. П. и Н. М. Нестеровых, В. М. Нестеровой-Титовой, О. М. Нестеровой-Шретер, К. В. Писарева, А. М. Михайлова, Е. П. Разумовой, Е. Л. Тарховой, А. В. Щусева, Е. В. Сильверсван (Бахрушиной), Ф. С. Булгакова

М. И. и Т. И. Титовы

О воспоминаниях Михаила Васильевича Нестерова [1] Вступительная статья

За последние полтора десятилетия отечественная мемуаристика пополнилась чрезвычайно ценными в познавательно-историческом, художественном и психологическом отношении воспоминаниями ряда крупных политических деятелей, ученых, литераторов, деятелей искусства и частных лиц. Определенную роль сыграло в этом процессе освобождение печати от цензурных запретов, что увеличило число «воспоминателей» и обеспечило высокое качество неподцензурных текстов. А интерес к далекому и не столь далекому прошлому всегда среди наших читателей был велик.

Русские художники оставили после себя ценнейшие мемуары. Например, Ф. И. Иордан с его бесхитростными, и тем самым особенно ценными «Записками ректора и профессора Академии художеств» или воспоминания наших современников, таких как В. М. Конашевич, Н. В. Кузьмин, давших образцы прекрасной русской прозы. Многие крупные живописцы, скульпторы, графики пробовали свои силы в этом жанре. Вклад их в русскую мемуаристику значителен. Тут и блестящее «Далекое близкое» И. Е. Репина, и увлекательные рассказы о прошлом К. А. Коровина, в которых он изливал свою тоску по родине, и очень содержательные «Автобиографические записки» А. П. Остроумовой-Лебедевой, и такие же одухотворенные, как и его искусство, «Воспоминания» М. В. Добужинского, и, конечно, новаторские по сути и форме повести К. С. Петрова-Водкина. Среди них выделяется имеющий огромное историческое и художественное значение «роман жизни» А. Н. Бенуа, к которому примыкают не только воспоминание-исследование «Происхождение Мира искусства» и ряд блистательных «Художественных писем» (дореволюционного и эмигрантского периодов), но и вышедшие только что в свет — благодаря созданной А. И. Солженицыным серии «Наше наследие» — его же дневники (дополненные воспоминаниями) «1916–1917–1918 годы». Среди мемуаристов-художников можно назвать С. А. Виноградова, С. А. Щербатова, А. Я. Головина, М. С. Сарьяна, С. Т. Коненкова и мастеров следующих за ними поколений, таких, например, как В. И. Курдов.

В чем причина тяготения мастеров изобразительного

искусства к самовыражению в литературе? В стремлении ли к повествовательности, к рассказу, подчас подавляемом, сознательно или бессознательно, в их основной творческой деятельности? В затаенном ли страхе не высказаться до конца в картинах, скульптуре, графике? Или просто в сильнейшем творческом потенциале? Ответ на этот вопрос могут дать в первую очередь ученые, занимающиеся психологией творчества. Мы же лишь подчеркиваем такую закономерность — художники «вспоминают», пожалуй, охотнее, чем актеры, и во всяком случае, значительно чаще, чем музыканты.

Воспоминания М. В. Нестерова (1862–1942) — одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — первой половины XX века, безусловно, относятся к числу интереснейших и значительных. Текст мемуаров художника, предлагаемый читателю, впервые воспроизведен практически полностью, без купюр. По сравнению с первым и вторым изданиями в 1985 и 1989 годах он не только увеличен примерно на треть, но, главное, значительно обогащен и углублен за счет восстановленных купюр.

Читатель не впервые встречается с М. В. Нестеровым как с писателем, безусловно, талантливым и, употребляя излюбленное слово самого живописца, — «своеобычным». Дважды, на грани 1941/42 года и в 1959 году, издавалась его книга «Давние дни», содержащая литературные портреты современников — художников, ученых, актеров, моделей его живописных портретов. Крупным мастером слова оказался Нестеров и в частично опубликованном эпистолярном наследии — в 1968 году (М. В. Нестеров. Из писем; 661 письмо полностью или в отрывках), и в расширенном виде — в 1988 году (М. В. Нестеров. Письма; 844 письма). В 1985 году вышли в свет — в издательстве «Советский художник» — «Воспоминания» М. В. Нестерова, посвященные его жизни и творчеству до Октябрьской революции, к сожалению, с большими купюрами. Теперь мы имеем возможность представить воспоминания М. В. Нестерова, озаглавленные им «О пережитом», без изъятий и конъюнктурных искажений.

Однако прежде, чем переходить к анализу этих воспоминаний, остановимся на особенностях единственного в своем роде творческого пути «своеобычного» русского живописца.

Михаил Васильевич Нестеров как художник первой величины — явление в нашем искусстве в известном смысле уникальное. Может быть, это звучит теперь почти трюизмом, но он по сути прожил не одну, а две «жизни в искусстве».

В начале 1880-х годов — то есть в период своего учения в

Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве и Академии художеств в Петербурге — преданный и восторженный ученик Перова и отчасти Крамского, он в течение нескольких лет, став дипломированным живописцем, ищет свое место в художественной жизни, переходя от «бытового анекдота» в духе В. Маковского то к портрету, то к картинам на малозначительные исторические сюжеты. Лишь во второй половине этого десятилетия, пережив глубокое горе — смерть молодой жены, — потрясшее необычайно чуткого, впечатлительного Нестерова, он резко порывает с передвижническим реализмом и мелкотемьем. Художник открывает для себя область живописи, в которой особенно ясно должно было воплотиться то, что он определял как умение проникнуть в «душу темы», свойственное в большой мере его учителю — Перову. Нестеров пишет картину «Христова невеста» (1887), своеобразную поэтическую живописную метафору — памятник своей покойной жене, в работе над которой «изживает долю своего горя». В этой лирической исповеди ясно ощущается новая нота — отход от повседневности, от прозы «мира сего». И развивая найденное, он в следующем, 1888 году создает картину «Пустынник», в которой с неюношеской твердостью и определенностью прозвучало *credo* Нестерова.

Кроткий, совсем немудрый старик, нежно любящий все живое и сам как бы часть среднерусской природы, стал олицетворением душевного покоя и равновесия, к которым стремился неуемный в творческих исканиях, стремлениях и страстях художник. А через год Нестеров пишет свою первую картину «Сергиевского цикла» — «Видение отроку Варфоломею», в которой поэтизирует Русь, русскую природу, стремясь найти нравственный идеал в глубоко и искренне верующем человеке далекого прошлого России — преп. Сергии Радонежском. Обе эти картины сразу же ввели его в круг молодых художников, воспитанных под эгидой передвижников, но все решительнее переходящих в оппозицию к основным тенденциям живописи своих учителей и предшественников. Это — члены так называемого «Абрамцевского кружка» — М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. А. Серов, И. И. Левитан, А. М. Васнецов, И. С. Остроухов, Е. Д. Поленова, М. В. Якунчикова. В течение девяностых годов Нестеров оказывается одним из ведущих мастеров нового направления, с которым в конце века сблизятся петербуржцы-мирискусники во главе с А. Н. Бенуа. Все они в той или иной мере стремились к обновлению искусства, к одухотворению его, к выработке гибкого и выразительного живописного языка, не посягая еще в ту пору на основы реалистического метода второй половины XIX века. В

основе их миропонимания, за исключением, может быть, лишь Врубеля и вышедшего на сцену в последние годы века Борисова-Мусатова, лежала вера в живописную познаваемость зримого мира, ставшего для них только богаче, изменчивее, подвижнее, чем для их предшественников. Стремления их в большой мере определялись словами Нестерова, ставшего к этому времени создателем своего живописного мира, с особым «нестеровским» пейзажем, в котором живут одухотворенные действующие лица, опоэтизированные леса, поля, холмы и реки его родины. «Формулировать *новое* искусство можно так: искание *живой души, живых форм, живой красоты* в природе, в мыслях, сердце, словом, повсюду»[2]. Вместе с тем было бы неверным пытаться увидеть в творчестве самого Нестерова и ряда художников — его сверстников и в эти годы соратников да и мастеров меньшего масштаба, но идущих тем же путем поисков нового в живописи, не только тематическое, но и стилевое единообразие. Если рассматривать новую живопись рубежа века в целом, то можно говорить о сосуществовании в ней расширенного и углубленного понимания «классического» реализма XIX века с импрессионистическими тенденциями и элементами модерна.

Нестеров в своих станковых работах этого периода придерживается не импрессионизма, а, скорее, пленэризма живописи Ж. Бастьен-Лепажа (которого он высоко ценил), но притом, может быть и бессознательно, живописных приемов модерна как в продуманном композиционном, так и в сдержанном колористическом решении своих произведений. Однако в двух своих картинах 1898–1899 годов — «Чуде» и особенно в «Димитрии царевиче убиенном» — он, благодаря мистически воспринятому и убедительно переданному содержанию, подходит вплотную к началам русского живописного символизма. Нестеров проникает в скрытую духовную сущность темы, в то, что «сквозит и тайно светит» в картине, но не всегда может быть высказано словами или изображено «буквально», как, например, по мысли живописца, — скорбь матери о погибшем сыне.

К началу XX века Нестеров — признанный творец своеобычного поэтического мифа, создатель особого «нестеровского» пейзажа с оттенком ностальгического историзма, «нестеровского» святого («Юность преподобного Сергия», «Преподобный Сергий Радонежский», «Труды преподобного Сергия»), «нестеровской» девушки с мятущейся душой («На горах», «Великий постриг»).

Параллельно с работой над картинами, а в огромной мере и отвлекая живописца от них, развивается другая область

нестеровского творчества: за период девяностых годов он становится, наряду с В. М. Васнецовым, и не без его влияния, ведущим церковным живописцем России.

В течение нескольких лет он работает над росписями Владимирского собора в Киеве — главного церковно-художественного деяния России конца восьмидесятых — начала девяностых годов. Сразу же по окончании его Нестеров получает заказ на эскизы для мозаик церкви Воскресения в Петербурге (в просторечии Спаса на Крови), а через несколько лет ему поручается осуществить роспись церкви Александра Невского в Абастумане, где жил в ту пору больной туберкулезом наследник — цесаревич Георгий Александрович. Параллельно он работает и над образами для церкви Герцогов Лейхтенбергских в Гагре. Эти и другие частные заказы на церковные росписи не приносят Нестерову творческого удовлетворения, и уже в 1901 году он в письме к своему другу А. А. Турыгину замечает: «Как знать, может, Бенуа и прав, может, мои образа и впрямь меня съели, может, мое „призвание“ не образа, а картины — живые люди, живая природа, пропущенная через мое чувство, словом — „опоэтизированный реализм“»[3]. Нестеров при малейшей возможности, при любом перерыве в церковных работах обращается к «натуре», на которой он «как с компасом»[4], к «живой жизни», хотя и переданной им в романтико-поэтическом преломлении. Собирая материал для будущих картин, он едет в Соловецкий монастырь, на Волгу, на родину — в Уфу (счастливым результатом первой поездки стали картины «Молчание» и «Мечтатели», второй — «За Волгой»).

К 1905–1906 годам относится важный для всего творческого пути Нестерова портретный цикл, «вылившийся» у художника неожиданно, до этого он писал только портретные этюды главным образом с целью подготовки к картинам.

В этот цикл, вполне отвечающий нестеровскому принципу «опоэтизированного реализма», входят пять работ — два портрета дочери О. М. Нестеровой, портрет жены Е. П. Нестеровой и его друзей: княгини Н. Г. Яшвиль и польского художника Яна Станиславского. Не касаясь портрета трагически обреченного Станиславского («Хороший это портрет для моей посмертной выставки», как отозвался о нем последний[5]), подчеркну, что лейтмотив всех четырех женских портретов — душевные поиски не знающей покоя женской души. Лучшая работа этого цикла — ставшая классической «Амазонка», шедевр Русского музея. Несмотря на уверенную грацию изящной светской девушки, кажется, что она так же одинока, как другие девушки нестеровских картин, и ее элегантный строгий туалет не мешает

видеть, что черты прекрасного лица напоминают любимый художником женский образ — его умершей жены. Живописная «загадка» портрета, его стильность и острота вытекают из характерного противопоставления четкого, даже жестковатого силуэта фигуры и очень «нестеровского» пейзажного фона с как бы замершими водами широкой реки, бледным небом, розоватым отблеском заходящего солнца на низком луговом берегу — фона, характерного для декоративного пленэра начала века. Нестеров сумел передать в ее лице выражение неопределенности стремлений, характерной для части интеллигентной молодежи России тех лет. Может быть, именно эти черты делают «Амазонку», такую «европейскую» по изобразительному языку, удивительно русской по сути ее образа.

К работам такого рода примыкает и прекрасный большой портрет-этюд Е. П. Нестеровой (в китайском халате), где, по справедливым словам С. Н. Дурылина, художника «влекла непосредственная радость цвета и света». Нелишне вспомнить и полный поэзии и подлинной живописности более поздний портрет Е. П. Нестеровой (за вышиванием) 1909 года.

Но главной творческой целью Нестерова в первые полтора десятилетия века было создание произведений, ставящих вопросы «о нашей вере, душе народной, грехах и покаянии». Эта главная для Нестерова в то время задача была последовательно поставлена им в трех произведениях — картине «Святая Русь» (1901–1905), композиции «Путь ко Христу» в Марфо-Мариинской обители (1911) и большом «итоговом» произведении «Душа народа»[6] («На Руси», «Христиане») (1912–1916), задуманном художником сразу же по окончании первой из упомянутых картин. В «Святой Руси» Нестеров не сумел достичь полного живописного единства в исполнении замысла, вследствие чего картина воспринимается как своеобразный «спор» между такими ее составляющими, как вполне реалистический зимний пейзаж и изображения богомольцев, типичная для модерна композиция и странная в своей несколько «салонной каноничности» группа трёх главных русских святых во главе со слишком красивым и величественным Иисусом Христом. Зато в живописи трапезной Марфо-Мариинской обители Нестеровым была достигнута — в образном, композиционном и цветовом отношении — большая стилевая цельность, значительно усилившая смысловую значимость картины «Путь ко Христу». Вообще роспись обители, построенной по проекту А. В. Щусева в неорусском, — вернее, неоновгородском, — стиле, явилась, несомненно, самой значительной церковной работой Нестерова (наряду с несколькими образами Владимирского собора, близкими по

живописному решению его картинам девяностых годов, и образами для собора в Сумах). Живопись церкви Марфо-Мариинской обители — в том числе композиция «Христос у Марфы и Марии» и триптих «Воскресение», свободные от православного канона, были созданы в последовательно выдержанном своеобразном нестеровском «опоэтизированном реализме» с элементами модерна, на фоне натурных этюдов, писанных в Италии.

Главная же картина Нестерова 1910-х годов «Душа народа» достаточно условна по замыслу, лишена художником фигуры Христа. Она представляет попытку воплотить «соборное действие» — шествие верующих, взыскующих истины, среди них — реальных исторических лиц — крупнейших русских религиозных мыслителей (в том числе Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева) — и просто русских людей, от древних времен до современности, от царя до юродивого. Впереди идет мальчик, который первый узрит Христа. Существует превосходный этюд с Алеши Нестерова — сына художника, послужившего моделью этого образа. Следует вообще подчеркнуть, что и для картин, и для церковных росписей живописцу часто позировали члены его семьи. И здесь, как всегда у Нестерова, впечатляет сумрачный волжский пейзаж.

В 1917 году художник работает над двумя произведениями, входящими в его второй портретный цикл, — над двойным портретом «Философы» (С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский) и портретом архиепископа Волынского Антония (Храповицкого). К этому циклу до́лжно отнести также гораздо более ранний портрет Л. Н. Толстого, написанный Нестеровым в 1907 году как большой эскиз к «Душе народа», и более поздние — портрет философа И. А. Ильина — «Мыслитель» — 1921 года и портрет (1926–1928 годов) священника Сергея (Н.) Дурылина «Тяжелые думы». Это работы философско-религиозного плана, в которых художник стремился отразить погруженность человека в мир нравственных исканий и подчас мучительных размышлений. Сама задача, не столько, по сути, живописная, сколько «литературная», привела к нарастанию известного однообразия композиционного построения портретов при типичном для Нестерова продуманном колористическом решении (особенно интенсивном и звучном в портрете архиепископа [Антония]).

Нельзя не упомянуть, что в течение 1914–1917 годов Нестеров создает ряд работ, являющихся вариантами, а в некоторых случаях и авторскими повторениями его более ранних произведений — на темы отшельничества и женской судьбы. Ряд таких небольших картин он отдает на выставки, имеющие целью

помощь фронтовикам и их семьям. Однако эти, мастерски писанные, временем востребованные работы не вносят, по существу, принципиально новых черт в его творчество.

Вообще же дореволюционный период творчества Нестерова, с 1888 по 1917 год, когда он достигает вершин мастерства и широкой известности, делится на два достаточно определенных временных отрезка: первый — от создания «Пустынника» до персональной выставки 1907 года; второй — совпадающий с последним десятилетием перед Октябрьской революцией. Начиная с 1907 года (после его прошедшей с необыкновенным успехом персональной выставки, которой он сам подводил итог своей двадцатилетней художественной деятельности) в творческом статусе Нестерова — если говорить о его месте в отечественном искусстве — происходят знаменательные изменения. Это вполне объяснимо. Каждый художник — дитя своего времени. Как сказал однажды Матисс: «Мы принадлежим своему времени и разделяем его мнения, взгляды и даже ошибки». Однако понятие принадлежности любого мастера своей эпохе требует в каждом отдельном случае определенного уточнения, особенно когда речь идет о художнике, чей творческий путь продолжался многие и многие десятилетия. Большинство мастеров переживают в определенное время пик своего творчества, становящийся особенно значительным, когда он совпадает, более того, определяет в той или иной мере общий поворот и расцвет искусства. Это можно сказать и о Нестерове дореволюционного периода: расцвет его искусства, его новаторская роль, создание им нового живописного языка относятся к двум десятилетиям, открывающим Серебряный век Русского искусства — с конца 1888-го по 1905/06 год (когда им был создан первый портретный цикл).

Но если его сподвижники, строившие вместе с ним новое Русское искусство, закончили уже свою творческую жизнь — как скончавшийся в 1900 году Левитан и тяжело больной психически Врубель, тогда как В. Серов в конце 1900-х годов находился на пороге решительно новых живописных свершений, то Нестеров в предреволюционное десятилетие как бы остановился в найденном ранее круге тем, в созданной им живописной системе (хотя, конечно, компоненты его творчества, не изменяясь кардинально, обогащались и развивались — особенно в больших композиционных картинах — но лишь в пределах, поставленных художником себе самому). И новые течения, новые живописные искания, особенно интенсивные в 1910-е годы, ни в коей мере не затрагивали, «обтекали» искусство Нестерова, хотя он ими интересовался и вовсе не был непримирим к молодому русскому

искусству. «Меня нимало не смущали и не смущают искания „Мира искусства“, сообщества довольно консервативного, но и „Ослиных хвостов“ и даже „Магазина“ (новое, наилевейшее общество). Не смущает потому, что „все на потребу“ — „Огонь кует булат“», — пишет он своему весьма консервативно настроенному другу[7].

«Вторая жизнь» художника Нестерова, наступившая в первой половине двадцатых годов и неожиданная для очень и очень многих, заслуживает особого внимания, тем более что воспоминания ее не затрагивают. Этой второй жизнью или второй эпохой искусства Нестерова оказалось его портретное, неожиданное и в полном смысле этого слова *новое* творчество двух десятилетий перед Отечественной войной 1941–1945 годов. Необходимо подчеркнуть, что изменения в его искусстве, и в тематическом, и в эмоциональном отношении, происходили постепенно, носили органический, естественный характер. При этом на протяжении всей жизни живописца — как до, так и после революции — в основе его любого творческого акта всегда лежали абсолютная искренность, независимость и бескомпромиссность.

В первые послереволюционные годы Нестеров, потрясенный шквалом событий и, одновременно, удрученный материальными невзгодами (в том числе утратой большого количества своих работ прежних лет), мог только варьировать свои старые сюжеты, часто — «за картошку», как он пишет друзьям. Естественно, что в первые пять лет после революции он не создает значительных произведений (за исключением «Мыслителя», завершающего второй портретный цикл).

Однако творческие потенции Нестерова были столь велики, его человеческий тип столь гибок и вынослив, что уже в 1923 году живописец, резко отклонив всякие предложения покинуть Россию, пишет своему другу: «Хочу жить, действовать, работать до последнего часа»[8]. И как бы в подтверждение этих слов создает летом того года портрет, ставший одним из обаятельных образцов его зрелого искусства и первым решительным творческим актом «второй жизни» художника — «Девушку у пруда», портрет его младшей дочери Н. М. Нестеровой, произведение, во многом новое по живописному и образному решению. И недаром в письме к другу, бегло перечисляя семь своих работ, написанных за летние месяцы как варианты прежних тем, он выделяет этот портрет: «Вышел, говорят, не хуже, чем в молодые годы, свежо, нарядно»[9]. Действительно, полнозвучная, светлая красочная гамма картины совершенно отлична от приглушенных, порой скорбных цветов в работах прежних лет. Нестеров возвращается

здесь к пленэру, с наслаждением воплощая красоту видимого мира. Но главное качество этого портрета, отмеченное впоследствии М. Горьким, — юная, полная трепета жизни девушка — никогда не уйдет в монастырь, «дорога ей только в жизнь».

С этих пор, правда, постепенно, произведения на излюбленные нестеровские сюжеты становятся как бы фоном, на котором развертывается эпопея его портретного творчества последнего пятнадцатилетия жизни.

Однако нестеровский портрет как художественное явление тоже проходит за это время определенную эволюцию — и в содержательном, и в чисто живописном отношении.

Особенно важным для вхождения Нестерова в эту, все более захватывающую его, сферу оказался 1925 год, когда им были написаны четыре очень значительных портрета. Не будучи объединены еще одной темой, одной мыслью, одним чувством, как было позднее — в тридцатые годы, эти портреты, по существу, намечают различные аспекты творчества Нестерова-портретиста. Первый по времени написания — необычайно выразительный, в духе обостренного реализма, но без всякого стремления к стилизации — портрет академика А. Н. Северцова — старого друга художника. Второй был создан как «проба сил» перед работой над давно задуманным портретом В. М. Васнецова. Это романтический, «приправленный старыми мастерами» портрет любимого ученика и друга Нестерова художника П. Д. Корина, молодого человека «в стиле итальянцев Возрождения». Наконец, осенью он создает «портрет-памятник» Васнецову, в продуманности живописного решения которого явственны чисто декоративные и одновременно иконные элементы. В последний месяц этого года он «с большим удовольствием, хотя и со страхом», пишет лирический портрет молодой обаятельной женщины — А. М. Щепкиной.

В 1928 году Нестеров дважды берется за работу над автопортретами. Первый, нервный и динамичный, напоминает по самохарактеристике автопортрет 1915 года. Во втором, сдержанном, спокойном, мудром, ничто не отвлекает зрителя от главного — облика мастера, погруженного в мысли о своей работе. Этот автопортрет отмечает поворот художника к новой теме — живописному воплощению человека в момент его творческого подъема. В том же году он создает поэтический портрет своей средней дочери Веры.

Расцвет портретного творчества Нестерова приходится на последние двенадцать лет его жизни и начинается портретом-картиной «Братья А. Д. и П. Д. Корины». В том же, 1930 году он

пишет свой первый портрет И. П. Павлова (с этого времени завязывается искренняя дружба между великим физиологом и во многом близким ему по духу живописцем). Именно теперь становится ясно, что художник обрел свою новую тему, новый нравственный идеал и его носителей (а найти «душу темы» было всегда его главной задачей). Теперь для него самое важное — не тихая добродетель, не уход от жизни, а отношение человека к своему делу, к подлинно творческому труду. И этим отныне определяется выбор Нестеровым почти каждой своей модели.

Молодые живописцы Корины были не просто учениками Нестерова (он постоянно говорил, что у него не было непосредственных учеников), но людьми, близкими ему и по душевному складу, и по взглядам на жизнь, на искусство. «…Я не устану ими любоваться, любоваться моральными, душевными их свойствами… Оба брата — художники, оба мастера своего дела»[10]. И именно это последнее, как уже говорилось, станет определяющим для Нестерова в выборе моделей своих портретов, (надо добавить, что Нестеров никогда не писал заказных портретов, за исключением портрета О. Ю. Шмидта).

В портрете Кориных живописец поставил перед собой сложную задачу — раскрыть во взаимодействии моделей их многогранные, во многом и внешне, и внутренне различные характеры. Цветовое и композиционное равновесие в динамике картины зиждется на закономерностях, найденных Нестеровым еще в начале века и проверенных, разработанных в портретах середины 20-х годов. И по своему смысловому звучанию, и по решению портрет братьев Кориных — одновременно итог предшествующих исканий и основа будущих достижений.

Рядом с этим, мастерски «срежиссированным», портретом-картиной несколько неожиданным, пожалуй, кажется портрет И. П. Павлова, в котором запечатлено именно «мгновение» жизни «дивного старика», запечатлено непосредственно, еще более живо и, пожалуй, более импрессионистично, чем это было в «Девушке у пруда». Несмотря на удачу портрета и даже повторение его (что не так часто бывало у Нестерова), необычайно требовательный к себе и по-особому вдумчивый, мудрый живописец уже тогда видел «иного Павлова», «более сложного, в более ярких его проявлениях»[11]. Это новое видение и было воплощено Нестеровым в 1935 году, но до этого им были написаны глубокие с психологической точки зрения и каждый раз живописно по-новому решенные портреты — проникновенный и тонкий второй портрет академика Северцова; самый «реалистичный» портрет скульптора И. Д. Шадра, напоминавшего Нестерову другого русского самородка Шаляпина; и предельно острый,

неожиданный профильный портрет хирурга С. С. Юдина. Эти портреты наряду с другими семейными и лирическими портретами и автопортретами были продемонстрированы на шестидневной «полузакрытой» — по желанию Нестерова — выставке в Музее изобразительных искусств в апреле 1935 года, которая как бы утвердила Нестерова в «негласном звании» главы отечественных портретистов.

Второй портрет Павлова оказался необычным и очень впечатляющим. Нестеров так рассказывал о своем замысле: «Не оставляю мысль написать Ивана Петровича говорящим, хотя бы и с невидимым собеседником… Видится и новый фон — новые Колтуши, целая улица домов — „коттеджей“ для сотрудников Ивана Петровича… Иван Петрович в разговоре частенько ударял кулаком по столу, чем дал мне повод осуществить этот жест… характерный, но необычный для портрета вообще, да еще столь прославленного и старого человека…»[12] По существу, этот рассказ — блестящий анализ самим художником зарождения и формирования замысла картины, степени ее динамики, среды, наиболее точно «поддерживающей» образ портретируемого, и в противоположность ранним картинам подчеркивающей современность изображенного.

Казалось бы, в профильном портрете, где общение со зрителем через взгляд модели отсутствует, труднее дать то, что принято называть психологическим решением образа.

Но у Нестерова не так. Энергия его модели так велика, что это произведение становится явлением не только портретной, но и исторической живописи.

К таким в высшей степени впечатляющим, острым в психологическом и своеобразным в живописном отношении работам относятся в первую очередь портрет читающего лекцию С. С. Юдина, который можно было бы назвать (как это делал известный американский живописец Дж. Уистлер) «симфонией в белых тонах», и портрет пожилой офортистки Е. С. Кругликовой — «симфонией в черных…». В портрете петербургской художницы Нестеров великолепно сумел уловить и почти мирискуснически передать изящество своей модели.

К последним портретным работам Нестерова относятся совершенно «молодой» и крайне динамичный портрет скульптора В. И. Мухиной за работой и спокойный, вдумчивый портрет старого друга художника, строителя Марфо-Мариинской обители архитектора А. В. Щусева. Итоговой работой Нестерова оказался написанный в 1942 году и подаренный им Екатерине Петровне в честь сорокалетия их совместной жизни пейзаж «Осень в деревне». В его сдержанной и строгой живописи, столь отличной

от ранних нестеровских пейзажей суровым, как бы навеянным войной аскетизмом, много мужественной поэзии и скорбной лирики.

Скончался Михаил Васильевич Нестеров в трудное время Великой Отечественной войны, 18 октября 1942 года, ни на минуту не теряя веры в то, что любимая им Родина «прогонит врага и супостата», что впереди ее ждут «события светозарные, победные».

Воспоминания Нестерова «О пережитом» посвящены «первым двум третям» его жизни. Их временные рамки охватывают более полувека — с 1862 по 1917 год, а если прибавить к ним рассказ о родителях и прародителях художника, — то и целый век.

Перед читателем воспоминаний проходит большая и сложная жизнь. Но, как уже говорилось, рассказ о ней не завершен. Последнее двадцатипятилетие жизни Нестерова остается вне рамок повествования. И может на первый взгляд показаться, что этим воспоминаниям больше подошло бы название мемуаров художника, князя С. А. Щербатова, написанных им в эмиграции, — «Художник в ушедшей России». Однако для Щербатова Россия действительно «ушла», стала страной воспоминаний. Нестеров же, живший одной жизнью с Россией до конца своих дней, мог бы повторить слова Анны Ахматовой: «…и не под чуждым небосводом / Не под защитой чуждых крыл /, Я была тогда с моим народом / Там, где мой народ, к несчастью, был»[13]. В «Пережитом» Нестеров рассматривает прошлое с живым волнением, стараясь осмыслить судьбу России и себя самого, как певца родной страны, ее народа, ее природы.

Основной текст воспоминаний был написан в 1926–1928 годах. В эти годы портретная живопись Нестерова переживала «период становления», в то время как прежние, привычные темы хотя и воплощались по большей части в первоклассные и глубоко поэтичные картины, но уже не поглощали полностью творческие силы художника. Поэтому работа над мемуарами стала, по словам Нестерова, его главной жизненной задачей.

Первая, бóльшая по объему половина повествования Нестерова о своей жизни — с первых воспоминаний детства до начала девятисотых годов — течет плавным, во многих частях подробным, внешне спокойным, но внутренне напряженным рассказом. С большой любовью и живейшей благодарностью написаны страницы, посвященные родителям Нестерова и его детским годам, формированию характера живого и восприимчивого мальчика из культурной по своему времени купеческой семьи. Здесь необходимо отметить впервые публикуемые тексты, рисующие облик «батюшки Сергиевского»,

священника Ф. М. Троицкого. Годы учения юноши Нестерова описаны верно, точно, порой весьма остро и самокритично. Предельно искренни страницы воспоминаний о юной безвременно ушедшей из жизни жене — Марии Ивановне Нестеровой (урожденной Мартыновской) и последовавшим за ее смертью становлением Нестерова-живописца. Чрезвычайно важен не только для понимания эволюции живописи Нестерова, но и истории русского искусства конца XIX века текст мемуаров, посвященный вхождению его в круг членов «Абрамцевского кружка». Не менее значительна история его взаимоотношений с В. И. Суриковым, П. М. Третьяковым, Е. Г. Мамонтовой, В. М. Васнецовым и, конечно, с руководителем работ во Владимирском соборе в Киеве — профессором А. В. Праховым и его семьей.

Часть материалов о девяностых годах весьма обогащена впервые публикуемыми текстами, имеющими несомненное значение не только для читателей, интересующихся художественной культурой конца XIX — начала XX века, но и для историков этого времени как наблюдения умного, широко мыслящего и четко фиксирующего события современника. Особенно необходимо выделить подробный рассказ об освящении Владимирского собора в Киеве — одного из важнейших событий жизни Нестерова в девяностые годы, когда он вместе с В. М. Васнецовым участвовал в росписи собора. Среди портретных зарисовок в воспоминаниях интересны характеристика К. П. Победоносцева и впечатления художника от встречи с императором Николаем Александровичем, императрицей и другими членами царской семьи, их отношение к «русскому художеству».

В целом воспоминания Нестерова — подробные, повествовательные в частях, касающихся не только детства и юности, но и расцвета творческой зрелости художника — несколько меняют свой характер и интонацию, начиная со страниц, посвященных Русско-японской войне и первой русской революции.

Интонация воспоминаний Нестерова о конце восьмидесятых — девяностых годах прошлого столетия и о начале нового века достаточно оптимистична. Он ясно и вполне оправданно ощущает свое искусство частью общего художественного движения, а самого себя — представителем (в картинах, а не церковных росписях) определенного направления в искусстве конца XIX — начала XX века — направления, насыщенного чувством, живописными исканиями «нового, молодого и свежего». В эти годы Нестеров, при всем своеобразии и даже известной

обособленности его живописи, крепко связан со сверстниками, имеет сподвижников (в первую очередь Левитана, смерть которого в 1900 году была для него тяжелым ударом). Он в гуще борьбы художественных направлений и объединений. Живет и творит с «азартом», о чем не раз высказывается в письмах того времени. Первые годы XX столетия, Серебряный век восприняты им как начало возрождения Русского искусства в самых различных проявлениях. Несмотря на горе — утрату горячо любимой жены, ему присущ известный «социальный оптимизм», окрашенный в лирические тона.

С болезненной обостренностью воспринимает художник поражение русского флота при Цусиме, не менее остро переживаются им и события первой русской революции. В результате — глубокий душевный кризис, пессимистический взгляд на мир, убеждение, что единственное спасение России и русского народа — в православии. В эти годы он работает над созданием своеобразной картины-манифеста, показывающей путь людей ко Христу. Его позиция в искусстве сосредоточивается в сфере поисков новых средств для воплощения в живописи отвлеченной философской идеи. То, что художник с такой меткостью назвал опоэтизированным реализмом, теперь становится основой трех композиций: «Святая Русь», «Путь ко Христу», «Христиане». Все это, по сути дела, обособляет Нестерова от круга художников и художественных деятелей, с которыми он был ранее близок («Всех моих друзей-почитателей за эти годы я сумел растерять», — пишет он А. А. Турыгину, своему давнему приятелю, в конце 1915 года[14]). Он одинок, и это отчетливо звучит в воспоминаниях. Отсюда и разочарованный, ироничный, иногда желчный тон многих страниц «О пережитом». Однако полны непосредственного чувства и вполне естественного волнения страницы, посвященные встрече его с Львом Толстым. Нестеров не ограничивается здесь «рассказом о прошлом», а приводит свои письма о Толстом, написанные во время пребывания в Ясной Поляне.

Совершенно по-особому воспринимаются впервые опубликованные страницы воспоминаний, полные тепла и подлинного восхищения, посвященные великой княгине Елизавете Федоровне, «одной из самых прекрасных, благородных женщин, каких я знал». Эти страницы являются превосходным и достоверным источником истории создания Марфо-Мариинской обители и работы Нестерова над ее росписями.

Начавшаяся Первая мировая война сближает Нестерова с теми, кто трагически переживает все тяготы, выпавшие на долю русской армии и русского народа. Не случайно именно в это

время он сближается с религиозными мыслителями — С. Н. Булгаковым, П. А. Флоренским, В. В. Розановым, С. Н. Дурылиным. Общение с ними пробуждает интерес к острым проблемам общественной жизни, правда, в очень сдержанном аспекте. «Меня политика не занимает. Я не чувствую к ней вкуса. Моя дума всегда одна и та же — чтобы моей Родине жилось полегче, поменьше было войн и иных „потрясений“. Вот и все, о чем я думаю… кроме моего художества, о котором я думаю, мечтаю денно и нощно», — пишет Нестеров в воспоминаниях. В работе над картиной «Душа народа» («Христиане», «На Руси») Нестеров испытывает прежний «азарт», но в углубленной, полной религиозного чувства форме. Однако внешние события художественной жизни волнуют его: например реформы И. Э. Грабаря в Третьяковской галерее. Иногда же ему кажется, что жизнь и творческий путь его уже на исходе, что не прибавляет «оптимизма» последним страницам воспоминаний, которые становятся от страницы к странице «все мрачней и тревожней», а текст лаконичней и суше.

При всех сложностях в жизни Нестерова, тем более что «новая жизнь» послереволюционных лет требовала очень большого напряжения из-за множества изменений в ее внешнем и внутреннем укладе, воспоминания написаны им правдиво и с полной определенностью. У Нестерова нет желания как-то приукрасить свои поступки, смягчить черты своего «неуемного», нелегкого, колючего характера.

С другой стороны, он ничего не изменяет в своих отношениях к людям. Нестеров, человек по натуре страстный, никогда не считал недостатком субъективность в восприятии и оценках событий и современников. Достаточно вспомнить его письмо А. А. Турыгину о книге А. Бенуа «История живописи XIX века». «Думаю, что всякая деятельность, в том числе и „критика“, и история, освещенная талантом, непременно субъективна. Субъективна и книжка А. Бенуа потому, что она написана человеком даровитым, с талантом… Историки Карамзин, Костомаров, Ключевский потому так ярко сияют в исторической науке, что они в высшей мере субъективны. А как возмутительно субъективен великолепный Белинский!»[15] Уместно отметить удивительное качество Нестерова — умение без мелочных обид принять весьма резкую критику своей церковной живописи («Взгляд Бенуа на Нестерова при всей жестокой правде, по-моему, куда проникновеннее, глубже всего того, что о Нестерове говорят и пишут…»[16]).

В литературном плане воспоминания написаны неровно, ибо отражают различие в мироощущении Нестерова на разных

жизненных этапах. А писатель он, как можно судить по воспоминаниям, выдающийся. Ему чужды эмоциональная взволнованность, восторженность, репинская «речь впопыхах» в «Далеком близком». Нет у него и яркой своеобразности, сугубой индивидуальности языка Петрова-Водкина. Он принадлежит к мемуаристам, которые пишут просто и предельно ясно. Язык его лаконичен и четок, определения всегда точны и исчерпывающи.

В предисловии к воспоминаниям «О пережитом» Нестеров писал: «Воспоминания, мемуары — удел старости: она живет прошедшим, подернутым дымкой времени». Обычно это так, но его случай представляет в известной мере исключение. Нестеров начал писать свои воспоминания («Мое детство») молодым, тридцатилетним человеком, в середине девяностых годов, пытаясь понять особенности формирования своего пути в искусстве. В двадцатые годы, когда он начинает работать над воспоминаниями систематически и особенно интенсивно, его «старение» как художника было лишь кажущимся: подспудно шла уже напряженная работа, принесшая «второе дыхание» живописцу. И записки, как он называл тогда свои воспоминания, были новой формой выражения его творческих порывов.

Писательский труд всегда привлекал Нестерова, особенно если к нему приводило ощущение внутренней необходимости самовыражения, подобное тому же стремлению к живописи. Уже первый, опубликованный им в 1903 году очерк — о Левитане — показал незаурядное литературное дарование автора.

Напряженная работа над большими картинами, над церковными росписями надолго отрывала Нестерова от собственного литературного труда, от спокойного вглядывания в прошлое. Тем не менее в 1913 году он пишет очерк о Перове, через три года — краткий, но глубоко прочувствованный некролог памяти безвременно ушедшего Сурикова, чуть позднее — статью, воздающую дань «истинному эллину наших дней» профессору А. В. Прахову. Через короткое время он создает небольшой этюд, посвященный большому другу русских художников — Е. Г. Мамонтовой.

К систематической работе над воспоминаниями «О пережитом» Нестеров приступает лишь в 1926 году, в год сорокалетия своей художественной деятельности, в письмах к родным и друзьям он подробно сообщает, как движутся «Записки». «Много теперь пишу. Написал уже о появлении „Пустынника“… следовательно, половину своих воспоминаний написал уже. Потому считаю половиной, что намерен кончить их 17-м годом, когда мне было пятьдесят пять лет. Местами выходит

жизненно…» — пишет Нестеров жене из санатория в Гаспре[17], где он в течение двух лет отдыхал осенью и где ему особенно хорошо работалось.

В конце января 1927 года он извещал из Москвы Турыгина: «Мои „воспоминания“ идут, в общем, неплохо. Написано до приглашения меня в Киев. Причем написан ряд этюдов-характеристик приятелей-художников. Некоторые, по отзывам слышавших, удались… В ближайшее время приступаю к Владимирскому собору. Вот там и придется говорить о Васнецове. Ведь там, на лесах собора, произошло наше знакомство. Кроме Васнецова придется вывести ряд лиц, а главное Прахова и его семью. Это задача интересная, хотя и очень трудная. Работаю с интересом. Хотел бы кое-что прочитать тебе…»[18] Еще одно сообщение старому другу: «Пишу я сейчас 1903 год. На днях начну 1904. Письма и помогают, и осложняют многими забытыми подробностями»[19].

Здесь речь идет о весьма важном в технике написания мемуаров Нестеровым обстоятельстве. Во избежание фактических ошибок, для уточнения событий, Нестеров использовал эпистолярные материалы тех лет — свои письма к родным, друзьям и особенно своеобразную летопись, в которую сложились его письма к Турыгину, охватывающие почти полвека их дружбы. Опираясь на них в работе над воспоминаниями и даже частично воспроизводя их, он в то же время не делает это академически педантично.

Письма цитируются не буквально, а с перестановкой слов и даже абзацев, что делает текст воспоминаний более выразительным.

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие своей жизни Нестеров был склонен преуменьшать значение своей переписки с А. А. Турыгиным, хотя именно эти письма положены им в основу многих страниц воспоминаний. Перед началом систематической работы над воспоминаниями он писал: «… Сорокалетняя переписка наша — все эти шестьсот-семьсот писем не содержат в себе ни обмена мыслей, или чувств о художестве, или „идеалах“ вообще. Ничего заветного в них говорено не было и писать другу Т<урыгин>у об этом заветном было бы праздным делом. И, однако, в этих письмах проходит вся моя внешняя жизнь, а она все же была полная, разнообразная, деятельная»[20]. Это высказывание кажется не вполне справедливым, ведь именно в письмах Нестеров излагает взгляды на роль художника и на ряд важнейших проблем искусства рубежа столетия. Именно с Турыгиным делится трудностью совмещать церковные работы со «свободной» живописью. Именно ему адресует свои письма о

Толстом, подробнейше информирует о ходе работы над своей «главной» картиной десятых годов «Душа народа». Реакция Турыгина на признания и высказывания Нестерова далеко не всегда адекватна им, но тому часто нужен был не *собеседник,* а просто *слушатель,* на скромность и преданность которого он мог вполне положиться.

Незадолго до окончания работы над воспоминаниями художник знакомит с ними С. Н. Дурылина, Турыгина и своего давнего приятеля, заведующего художественным отделом Русского музея П. И. Нерадовского. В отклике на замечания Турыгина Нестеров пишет: «…Что в писаньях есть длинноты, что не все в них проработано, знаю. Короткие характеристики, как „М. Н. Ермолова“, то, что они не входят в план, а сами по себе — это не беда. Такие этюды пишутся тогда, когда приходит желание… Выходит иногда кратко, но ярче, чем если бы я к ним добирался постепенно. Они у меня в своем месте… найдут себе пристанище… Ничего „заказного“, обязательного… Пишу, что Бог на душу положит…»[21]

В ноябре 1929 года, по завершении воспоминаний, Нестеров понимает, что писать не только кистью, но и пером стало для него уже потребностью: «…явилось желание написать особый этюд о Дягилеве и Шуре Бенуа, они оба „достойны кисти Айвазовского“»[22]. А через полтора года в письме Турыгину — новое признание: «Я время от времени пописываю: недавно написал этюд „В. И. Икскуль“, хвалят…»[23]

С начала тридцатых годов работа Нестерова над литературными портретами своих современников стала почти столь же систематической и плодотворной, как работа над портретами живописными. Постепенно складывалась книга «Давние дни», в которую вошли двадцать пять очерков о художниках, актерах, писателях, ученых, с которыми Нестерова сводила судьба на его долгом жизненном пути. Часть этих очерков была извлечена из чернового текста воспоминаний и лишь слегка отредактирована автором. Другие же очерки первого издания «Давних дней», — а таких было большинство, — не входили в воспоминания или входили в них только частично. Книга эта, вышедшая из печати к Новому, 1942 году, доставила истинную радость читателям и чувство глубокого удовлетворения автору. Высокую оценку получила она и в литературной среде — Нестеров был принят в Союз советских писателей. Тираж ее ввиду военного времени был невелик — 2600 экземпляров, ставших вскоре библиографической редкостью. В 1959 году вышло второе, дополненное, издание «Давних дней», составленное и тщательно отредактированное К. В. Пигаревым.

Книга воспоминаний «О пережитом» продолжала оставаться рукописью. Отдельные отрывки публиковались в книгах, посвященных творчеству Нестерова. Широко цитировал их первый биограф и исследователь творчества Нестерова С. Н. Дурылин в книгах «Нестеров-портретист» (1949) и «Нестеров в жизни и творчестве», изданных в серии «Жизнь замечательных людей» (1965, 1976, 2004); ведь на мысль продолжать свои мемуары после написания отрывков, посвященных детству, натолкнуло Нестерова желание помочь Дурылину в его большом труде по исследованию жизненного и творческого пути художника, о чем свидетельствуют и подробнейшие «автобиографические» письма.

Как уже говорилось, в 1985 и 1989 годы воспоминания Нестерова были изданы с достаточно большими сокращениями, касающимися главным образом страниц, относящихся к его встречам и общению с членами царской семьи и ее окружением. Однако и эти издания были встречены читателями с большим интересом и сочувствием[24].

В немногих случаях в «Пережитом» была произведена перестановка отдельных отрывков текста. Так, например, была устранена явная ошибка — включение в повествование о 1895 годе рассказа о прибытии в Киев в январе 1891 года 18-й передвижной выставки. В тех же, достаточно редких случаях, когда автором были допущены фактические ошибки или неточности в описании событий, — что совершенно неизбежно в повествовании о большой, сложной и наполненной жизни, — это отмечено в примечаниях к тексту.

Имена иностранных художников, писателей и других известных лиц, а также названия местностей и исторических зданий даются в современном написании, с несколькими характерными для Нестерова исключениями (Ван Дик вместо Ван Дейк, Пювис де Шаванн вместо Пюви де Шаванн). Сокращенные автором слова восстановлены; инициалы раскрыты в примечаниях в конце книги.

При подборе иллюстративного материала издатели стремились к тому, чтобы он возможно полнее и органичнее дополнял текст, помогал его раскрытию. Воспроизведены живописные и графические (в ряде случаев — фотографические) портреты упоминаемых лиц, а также картины и этюды М. В. Нестерова, о которых говорится на страницах «О пережитом».

А. А. Русакова, доктор искусствоведения

Вступление [25]

Кто не знает, что «воспоминания», «мемуары» — удел старости. Старость редко откликается на новизну. Она живет прошлым.

Время, прожитое мной, было богато событиями, замечательными людьми. Многих из них я видел, встречал, знал лично — Л. Толстой, Тургенев, Островский, Соловьев, Ключевский, Победоносцев, Менделеев, Чехов, Горький, Мусоргский, Чайковский, Рубинштейн, Ермолова, Стрепетова, Шаляпин. Художники: Крамской, Те, Перов, Верещагин, Репин, Суриков, Васнецов, Левитан, Врубель, Серов и многие другие были моими современниками.

Я прожил три царствования. Мое искусство дало мне возможность знать кое-кого из Царской фамилии. Я был свидетелем нескольких войн и, наконец, двух революций.

В воспоминаниях, как и в своем искусстве, я останусь совершенно искренним, правдивым. Буду говорить так, как понимал окружающее в те далекие теперь дни, нисколько не претендуя на «непогрешимость». Предвижу, что мне не раз придется переступить за пределы своей специальности — Искусства. Моя природа художника была отзывчива на события, дела, людские поступки, на слышанное и виденное, на лично мной пережитое… Думается, что я *родился* художником.

Лучшее, так сказать «праздничное» мое «Я» останется в моих картинах, «будничное» — в воспоминаниях.

Искусство было единственным, истинным моим призванием. Вне его я себя не мыслил. Оно множество раз меня спасало от ошибок, увлечений. В художестве, в темах своих картин, в их настроениях, в ландшафтах и образах я находил «тихую заводь», где отдыхал сам и, быть может, давал отдых тем, кто его искал. Беспокойный человек думал найти покой в своих картинах, столь непохожих на него самого.

Я мечтал быть свободным художником… Чего не находил в жизни, пополнял воображением, мало заботясь, поймут ли меня и «что скажут», причислят ли меня к «реалистам» или к «мистикам», к «консерваторам» или «либералам». Я избегал и не любил изображать «сильные страсти», предпочитая им наш тихий пейзаж, умиротворенного человека.

Воспоминания свои я решил довести до событий 1917-го года, к коим я не был подготовлен: жизнь и деятельность моя проходили в иных понятиях, иной среде.

Мои близкие, надеюсь, исполнят мое желание, и —

воспоминания увидят свет лишь тогда, когда все написанное утратит свою остроту, — когда не будет в живых не только меня, но и тех, о ком я говорю, сами же «воспоминания» останутся лишь дополнением к моему художеству.

Детство в Уфе[26]

В тихий весенний вечер 19 мая 1862 года, в Уфе, в купеческой семье Нестеровых произошло событие: появился на свет Божий новый член семьи. Этим новым членом нестеровской семьи и был я. Меня назвали Михаилом в честь деда Михаила Михайловича Ростовцева[27].

Родился я десятым. Было еще двое и после меня, но, кроме сестры и меня, все дети умерли в раннем детстве.

Род наш был старинный купеческий: Нестеровы шли с севера, из Новгорода, Ростовцевы — с юга, из Ельца.

Помнить себя я начал лет с трех-четырех. До двух лет я был слабым, едва выжившим ребенком. Чего-чего со мной ни делали, чтобы сохранить мою жизнь! Какими медицинскими и народными средствами ни пробовали меня поднять на ноги, а я все оставался хилым, дышащим на ладан ребенком. Пробовали меня класть в печь, побывал я и в снегу на морозе, пока однажды не показалось моей матери, что я вовсе отдал Богу душу. Меня обрядили, положили под образа. На грудь положили небольшой финифтяный образок Тихона Задонского[28]. Мать молилась, а кто-то из близких поехал к Ивану Предтече[29] заказать могилу возле дедушки Ивана Андреевича Нестерова. Но случилось так: одновременно у тетушки Е. И. Кабановой скончался младенец, и ему тоже понадобилась могилка. Вот и съехались родственники и заспорили, кому из внуков лежать ближе к дедушке Ивану Андреевичу… А той порой моя мать приметила, что я снова задышал, а затем и вовсе очнулся. Мать радостно поблагодарила Бога, приписав мое воскрешение заступничеству Тихона Задонского, который, как и преподобный Сергий Радонежский, пользовался у нас в семье особой любовью и почитанием. Оба Угодника были нам близки, входили, так сказать, в обиход нашей духовной жизни.

С этого счастливого случая мое здоровье стало крепнуть, и я совершенно поправился.

Первым моим впечатлением, относящимся так годам к трем, помнится, было семейное торжество: отец с матерью уехали на свадьбу к моему крестному отцу Василию Степановичу Губанову, уфимскому городскому голове. Крестный выдавал свою дочь Лизиньку за сына новоиспеченного богатея Чижева, прозванного работавшими у него бурлаками «Казна». И вот, помню я, как во сне: зимний вечер, мы с сестрой остались в горницах с няней. Сидим в столовой за круглым столом, я леплю какие-то фигурки не то из воска, не то из теста. Мы с сестрой ждем приезда

родителей со свадьбы, ждем гостинцев, которыми, бывало, наделяли гостей в таких случаях. Гостинцев в тот вечер мы так и не дождались — заснули. Получили их на другой день утром. Чего-чего тут не было, каких конфет в таких нарядных бумажках, золотых и серебряных, с кружевами и картинками! Некоторые долго сохранялись у нас в семье. А что памятней всего у меня осталось — это крупный, крупный виноград, целые гроздья винограда. Его вид и вкус навсегда остались в моей памяти, и мне потом всю жизнь казалось, что такого вкусного и крупного винограда я не ел никогда. Какой это был сорт, — не знаю, но, должно быть, он был дорогой, редкостный по тем временам. Это был первый виноград, который я ел в своем детстве.

Помню я свои ранние игрушки. Особенно памятна безногая бурая лошадь. На ней я часами «скакал». Памятны мне и зимние вечера. В комнате у матери или в детской тишина, горит лампадка у образов. Старшие уехали ко всенощной ко Спасу или в Собор, а я, сидя на своем коне, несусь куда-то. На душе так славно, так покойно… Вернутся наши, поужинаем, уложат спать под теплым одеяльцем.

Помню, как сестра однажды хватилась своих нот. Их долго и тщетно искали, и спустя уже много времени совершенно случайно нашли… в утробе моего коня. Край их торчал из того места, откуда у коня хвост растет. Был допрос «с пристрастием»… Фантазия моя была в детстве неистощима. Воплотить что-либо, оживить и поверить во все для меня было легче легкого. Шалун я был большой, и это «качество» стоило мне немало горьких минут.

Хорошо помню первый день Пасхи. Была дивная весенняя погода. От наших ворот через весь двор к самому саду под горку стремятся весенние потоки. По воде, подпрыгивая, вертясь, несутся щепочки — мои кораблики. В воздухе тепло, благодатно. Время послеобеденное. Дом задремал в праздничной истоме. Все отдыхают, визиты окончены. Надо мной нет глаза. Я, разряженный в голубую шелковую рубаху с серебряными маленькими пуговками, в бархатные шаровары, в бронзовых с желтыми отворотами сапожках, такой приглаженный, праздничный, веду себя соответственно обстановке. Но вот является Николашка[30], шалун еще больший, чем я, более меня изобретательный. Он предлагает мне пройти по доске через ручей от крыльца к каретникам. Это кажется невозможным, но пример облегчает дело, и я со всей осторожностью, едва дыша, пробираюсь по доске к намеченной цели. Все обходится как нельзя лучше. Теперь обратно к крыльцу, к заветному камню-островку. Иду, но неожиданно внимание мое чем-то отвлеклось, и я лечу во всем моем уборе в ручей. О ужас! Я в воде, я весь в

грязи! Отчаянный крик мой слышит мать, прибегает, извлекает меня из маленькой Ниагары, тащит в комнаты, и там… слезы. Я сижу, раздетый в постельке, в одном белье.

Еще помнится такое: ранняя весна, Пасха. Посмотришь из залы в окно или выскочишь, бывало, за ворота, что там творится? А там празднично разряженный народ движется по улице к качелям. Еще задолго до Пасхи, бывало, станут возить на нашу «Площадь» бревна, сваливать их поближе к Аллейкам[31], — значит, пришла пора строить балаганы, качели и прочее.

К первому дню Пасхи все готово, действует с шумом, с гамом, с музыкой. Народ валит туда валом. Солнце светит особенно ярко. В воздухе несется радостный пасхальный звон. Все веселится, радуется, как умеет. Пьяных еще не видно, — они появятся к вечеру, когда все наслаждения дня — балаганы, качели — будут пережиты, когда горожане побывают друг у друга, попьют чайку, отведают пасхальных яств и питий. Вот тогда-то и пойдет народ с песнями, с гармоникой. Тогда и пьяные побредут, заколобродят.

К воспоминаниям моего раннего детства относится чрезвычайное событие — приезд в Уфу из Оренбурга Начальника Оренбургского края, генерал-губернатора Крыжановского, того самого, который позднее был смещен, судим по делу о расхищении башкирских земель[32].

Слух о приезде важного сановника быстро облетел город, и мы, дети, с кем-то из старших ждем предстоящего зрелища на балконе нашего дома.

Задолго до приезда около соседнего с нами Дворянского собрания начал собираться народ. Подъезжали разные мундирные господа, скакали казаки, и, наконец, в облаках пыли показалась вереница экипажей. Впереди полицмейстер Мистров, стоя, держась за пояс кучера, летел сломя голову, а за ним следовал огромный дорожный дормез, кажется, шестериком. В тот же момент появились в подъезде высшие чины города — белый как лунь, тучный предводитель дворянства Стобеус и другие. Военный караул отдал честь. Из дормеза вылез важный генерал. Тишина, напряжение необычайное, и генерал-губернатор в сопровождении губернатора и свиты проследовал в подъезд. Самое интересное кончилось, однако народ еще оставался, чтобы продлить удовольствие.

Как во сне чудится мне тот же дом Дворянского собрания, около него стоит пестрая будка (Николаевская, черная с белым и красным), у будки на часах стоит солдат с алебардой, в каске, с тесаком на белом ремне. От этого моего воспоминания остается у меня до сих пор какой-то привкус «Николаевской» эпохи. Однако,

когда я уже взрослым пытался проверить это впечатление, мне никто из старших моих не мог подтвердить возможность такого зрелища. Как, каким образом оно у меня сложилось так реально в моей памяти — не могу себе объяснить. Повторяю, что целая эпоха мысленно, в чувстве моем встает передо мной в связи с этим воспоминанием.

К раннему же детству надо отнести болезнь моей матери. Мать была больна, помнится, долго, чуть ли не воспалением легких. В доме была тишина, уныние, мы с сестрой шушукались; иногда нас пускали в спальню к матери. Она лежала вся в белом, в комнате была полутьма, горела лампада у образов. Нас оставляли недолго, и мы со смутным тревожным чувством уходили… Бывал доктор Загорский, важный барин; встречая нас с сестрой, он по-докторски шутил с нами. Так шло дело долго… Однако как-то вдруг все в доме повеселело, нас позвали к матери, объявили нам, чтобы мы вели себя тихо и что «маме лучше». Велика была моя радость! Я был так счастлив, увидав мать улыбающейся нам… Болезнь проходила быстро, и помню, для меня не было большего удовольствия, когда мать перекладывали, перестилали ее постель; мне позволяли *взбить своими маленькими руками ее перину*. Мне тогда казалось, что именно оттого, что я, а никто другой собьет эту перину — мать скорее поправится, что в этом кроется тайна ее выздоровления… И немало проливалось слез, когда мне почему-нибудь не удавалось проделать своего магического действия.

Вот еще нечто весенне-пасхальное… Сейчас же после обедни начинались «визиты». Приказывали «запрягать Бурку в наборный хомут», снимали с тарантаса кожаный чехол (я особенно любил этот «весенний» запах кожи). Отец не любил ездить летом ни в каком экипаже, кроме очень удобного тарантаса, и, празднично одетый, уезжал с визитами. Одновременно начинали прибывать визитеры к нам. Приезжали священники от Спаса, Соборные, Александровские; приезжал всеми любимый «батюшка Сергиевский» (от «Сергия»)[33]. Пели краткий молебен, славили Христа. Сидели недолго и ехали дальше. Принимала гостей мать, здесь же были и мы с сестрой.

Праздничный стол еще накануне больших праздников — Рождества и Пасхи — раздвигался чуть ли не на ползалы. Накрывался огромной белой, подкрахмаленной скатертью, а на нем выстраивалось целое полчище разнообразных бутылок, графинов, графинчиков. Впереди них помещался слева огромный разукрашенный окорок, дичь, паштет, потом разные грибы, сыры, рыба, икра и прочее. Мать, высокая, быстрая в движениях, находчивая и острая, была нарядная, в шелковом платье из

старинной материи, с кружевной накидкой на голове. Гости, больше купечество, приезжали, садились, обменивались праздничными новостями, выпивали, закусывали и тоже ехали дальше, а на их место появлялись новые.

Так длилось часов до четырех-пяти. К этим часам некоторые гости успевали так «навизитироваться», что только присутствие строгой хозяйки удерживало их от излишней развязности. Некоторые, напротив, к этому часу были очень сумрачны. Одним из последних, бывало, приезжал так называемый «Палатин-племянник». Он был единственным наследником одинокого богатого купца Палатина. Этот Палатин-племянник, невзирая на свои «за сорок», был как-то несамостоятелен; всем и ему самому казалось, что за ним стоит его строгий дядюшка. Палатин-племянник любил поговорить, любил и выпить, но делал это как-то несмело…

И вот однажды, когда все визитеры перебывали, побывал и Палатин-племянник… Вернулся домой отец, весь дом, усталый за день, задремал, и только мы с Николашкой, мальчиком из магазина, бодрствовали, оставаясь в зале, тихо играли, катали яйца, и не помню, кому из нас пришла соблазнительная мысль выпить и закусить. Налили, недолго думая, по рюмочке «Беникорло», выпили и закусили икрой. Нам понравилось — повторили и особенно налегли на вкусную зернистую икру, которой было много в хрустальной посуде. И тогда только мы опомнились, когда икры осталось лишь на дне… Опомнились и испугались… Как быть? Порешили, если заметят — свалить все на… «Палатина-племянника» — он-де икру съел.

Час отдыха кончился. Вышел в залу отец, подошел к столу и захотелось ему чем-нибудь «закусить». Вспомнил, что хорошую икру он купил зернистую, такую свежую. Подошла и мать, он спрашивает про икру, а ее и след простыл… Дальше да больше — добрались до нас, голубчиков… Спрашивают, а мы, недолго думая, и свалили все на «Палатина-племянника». Свалить-то мы свалили, а поверить-то нам не поверили. Ну и досталось же нам тогда обоим! Долго мы не могли забыть, «как Палатин-племянник икру съел».

А вот и лето… В нашем саду заливаются-поют птички. Урожай ягод, малины, смородины — и мы с моим соблазнителем сидим под кустом еще сырой смородины и поедаем ее. Мать вчера заметила, как много было ягод, а сегодня, глядит — их убавилось наполовину. Опять неприятность, угроза запереть сад на замок.

А там варка варенья, снятые с него вкусные пенки… Надо вести себя получше, чтобы получить ложечку этих пенок.

Поспевают яблоки — каждое дерево знакомое, как не попробовать — не поспели ли? Да если и не поспели, что за беда! — они такие кисленькие, вкусные… Что-то неладно с желудком — опять неприятности, опять сидеть дома, когда в саду так хорошо, такая славная, прохладная тень под большой березой, посаженной отцом, когда он был еще мальчиком…

А как хороши были поездки с матерью за Белую… На тарантасе — мать, мы с сестрой, брали и еще кого-нибудь с собой. Брали на всякий случай небольшие корзинки, бурачки. Ехали плашкоутным мостом через Белую на ее луговую сторону. На реке в теплый вечер масса купающихся, стоит особый гул. Вот выехали мы на Стерлитамакский тракт.

Дивный воздух, по бокам дороги стоят гигантские осокори. Нам разрешено встать с тарантаса, побегать. Мы собираем осколки осокоря, они легко режутся, из них выходят такие славные кораблики… Едем дальше. Цель поездки — не только подышать чистым воздухом, но и набрать черемухи, которой уродилось множество. Мы наломали ее целые кусты, так немилосердно покалечили злосчастное дерево. Хорошо, что для него это проходит бесследно — на тот год оно еще пышней зацветет, а ягод будет опять видимо-невидимо. Усталые, возвращаемся уже в сумерках домой, ужинаем и, довольные, идем спать. А там, если будем хорошо вести себя, нам обещают новую прогулку — на Чертово Городище, на Шихан. Отсюда и село Богородское видно! Там в двух шагах и мужской монастырь, где спасаются десятка два стариков монахов, рыболовов. Какие дали оттуда видны! Там начало предгорий Урала, и такая сладкая тоска овладевает, когда глядишь в эти манящие дали!

Хорош Божий мир! Хороша моя родина! И как мне было не полюбить ее так, и жалко, что не удалось ей отдать больше внимания, сил, изобразить все красоты ее, тем самым помочь полюбить и другим мою родину.

А тут, глядишь, и осень подоспела. Погода изменилась. На двор и в сад пускают редко. Еще вначале есть кое-какие радости, развлечения… Есть надежда, что скоро приедет отец с Нижегородской ярмарки, куда ежегодно он ездил за покупками товара на весь год, проезжая оттуда в Москву и Петербург.

Вот отец приехал, но опять не привез мне «живого жеребеночка», который обещался мне каждый год, и всегда перед самой Уфой жеребеночек где-нибудь, у Благовещенского завода, спрыгивал с борта парохода и тонул, к моему горю. Приезжал отец, все слушают рассказы о Нижнем, о Москве, но все это было больше для взрослых. Я же жил надеждой скорой получки товара — игрушек. И вот, бывало, за обедом отец сообщал матери, что

буксирный пароход, какой-нибудь «Отважный» или «Латник», пришел и что товар получен; получены и игрушки. И через несколько дней в отворенные ворота въезжали подводы, а на них ящики с товаром. Все складывали на галерее. У большого амбара, где обычно товар откупоривали, сверяли полученное по книгам-счетам и тогда уже по частям отправляли в магазин. Обычно при разборке была вся семья. Каждого что-нибудь интересовало новенькое, а нас с сестрой, конечно, игрушки. Однако игрушки строго запрещалось брать или трогать руками; позволялось только смотреть на них, и вообще наше появление было маложелательным, — нас только терпели, как неизбежное зло. Ящики вскрывали кучер Алексей с приказчиками. Алексей был красивый татарин, живший у нас много лет. Его знал весь город. Все знали «Нестеровского Алексея», «Нестеровскую Бурку», «Нестеровскую Пестряньку», позднее «Нестеровскую Серафиму»[34].

Помню, от ящиков с игрушками как-то особенно раздражающе приятно пахло свежим деревом, соломой, лаком. Какие чудеса открывались, бывало, перед нами! Игрушки, от самых дешевых до самых дорогих заграничных, «с заводом», вынимались и скользили перед очарованным взором нашим. Вот кустарные кормилки, монахи, лошадки. Потом папье-маше — уточки, гусары, опять лошадки… Удивлению, восторгам не было конца. Каждый год Москва, в лице г.г. Дойниковых, Шварцкопфов и других изобретательных умов, наполняла игрушечный рынок своими диковинками, небывалыми новинками. Из виданного мы ничего не получали в собственность, и лишь позднее, уже в магазине, позволялось нам поиграть чем-нибудь. Заводилась обезьянка, и она каталась по полу, кивала головкой, била в барабан и вновь отправлялась в шкаф, пока не покупали ее какому-нибудь счастливому имениннику.

Вот и еще осеннее удовольствие: это «рубка капусты». Капусту рубили позднее: у каретников, на длинном коридоре появлялись большие корыта, и несколько женщин под начальством кухарки Фоминичны начинали традиционную рубку капусты, заготовку ее на зиму. Стук тяпок раздавался целый день по двору, и тут, как и летом при варке варенья, было необыкновенно приятно получить сладкий кочанок. В этом кочанке была какая-то особая осенняя прелесть. Однако это не было так просто, так как строго запрещалось баловать нас. После рубки капусты мы терпеливо ожидали в горницах, и все реже и реже на дворе, первого снега, первых морозов… В конце октября, а чаще в ноябре, выпадал снег, и скоро устанавливался санный путь. Еще задолго кучер Алексей начинал возиться в каретнике,

передвигая экипажи: коляска, тарантас, плетенка задвигались в дальние углы, а на первом плане появлялись так называемые «желтые сани», «маленькие санки», «большие дышловые» с крытым верхом и медвежьей полостью. Делалась для нас, детей, гора, появлялись салазки. И я, в длинной шубке с барашковым воротником, в цветном поясе, в валенках и серой каракулевой шапке и варежках, катался с горы или делал снежных баб. Морозы не пугали, хотя в те времена они были в Уфе лютые.

В праздники мать приказывала запрячь лошадей и, забрав нас, выезжала прокатиться по Казанской. Помню ее в атласном салопе с собольим воротником с хвостами и в «индейской» дорогой шали. Зимние катанья и гулянья особенно многолюдны бывали на Масленой неделе и в Крещенье. В Крещенье был обычный крестный ход на водосвятие из старого Троицкого собора («от Троицы») на Белую, а после обеда, часа в три-четыре, вся Уфа выезжала на Казанскую, самую большую улицу города, идущую от центра до реки Белой. Улица эта — широкая, удобная для катанья в два-три ряда. Каких саней, упряжек, рысаков и иноходцев не увидишь, бывало, в эти дни на Казанской! На последних днях Масленицы, после блинов и тяжкого сна после них, выезжало купечество, выезжали те, что сиднем сидят у себя дома круглый год. Медленно выступают широкогрудые, крупные, с длинными хвостами и гривами вороные кони пристяжкой. Сани большие, ковровые, казанские, а в санях сидят супруги Кобяковы — староверы из пригородной Нижегородки; они там первые богачи. Там у них мыловаренный завод, дом огромный, в два этажа, а при нем «моленна». Редко — раз или два в году — покидают супруги Кобяковы свое насиженное гнездо: в Крещенье, да на последний день Масленой. Вот они сейчас степенно, как священнодействуют, — катаются по Казанской, кругом Площади. На широких санях им тесновато; для пущего удобства супруги сидят друг к другу спинами — уж очень они дородны, а тут и одежда зимняя. Сам — в лисьей шубе, в бобрах камчатских; сама — в богатейшем салопе с чернобурым большим воротником. Супруги как сели у себя дома орлом двуглавым, так и просидят, бывало, молча часа три-четыре, покуда не повезут их с одеревенелыми ногами домой, в Нижегородку. Там кони у подъезда встанут, как вкопанные, и супруги не торопясь вылезут из саней, разомнут свои ноженьки, поплывут в горницы, а там уж и самовар на столе. Вот тут они поговорят, посудят, никого не забудут.

Вот Вера Трифоновна Попова с детками выехала в четырехместных санях, обитых малиновым бархатом, на своих гнедых, старых конях «в дышло»[35]. Она не менее дородна, чем

Кобячиха. Она — «головиха», супруг ее, Павел Васильевич, второе трехлетие сидит головой в Уфе, и кто не знает, что настоящая-то голова — у головихи, Веры Трифоновны. Павел Васильевич тихий, смиренный, а она — она боевая… Вот и теперь, на катанье, отвечает она на поклоны не спеша. Сама редко кому первой поклонится. Катается Вера Трифоновна недолго, чтобы только знали люди, что она из города не выезжала ни в Екатеринбург, ни в Кунгур, где у ней богачи-родственники.

А вот сломя голову летит посереди улицы, обгоняя всех, осыпая снежной пылью, на своих бешеных иноходцах, «наш Лентовский» — Александр Кондратьевич Блохин[36]. Он всю Масленицу путался с актерами. Все эти Горевы и Моревы — закадычные ему друзья; пьют, едят, а Александр Кондратьевич платит. Самодур он, а душа добрая, отходчивая. Богатырь-купец жжет себя с обоих концов. За Александром Кондратьевичем мчится, сам правит, великан-красавец — удалой купец Набатов. К нему прижалась молоденькая супруга: едва-едва сидят они вдвоем на беговых санках. И страшно-то ей, и радостно с милым лететь стрелой…

Вся эта ватага несется вниз по Казанской до Троицы, чтобы обратно ехать шагом. Так принято, да и коням надо дать передохнуть. А там снова — кто кого, пока сумерки не падут на землю.

Погода в феврале бывала хорошая, ровная, иногда шел снежок, а морозов мы не боялись…

В феврале бывала в Уфе ярмарка. После Всероссийской Нижегородской шли местные: Ирбитская, Мензелинская, наша Уфимская. К известному времени приводились в порядок так называемые «ярмарочные ряды» — деревянные лавки, заколоченные в продолжение десяти месяцев в году. Они оживали на полтора — два месяца. Почти все купцы, в том числе и мой отец, на эти два месяца перебирались на ярмарку. Так повелось уже издавна. Мы, дети, этого времени ждали с особым нетерпением, и оно всякий год казалось нам чем-нибудь новым.

В одно из первых воскресений по открытии ярмарки мы с матерью отправлялись к отцу «на новоселье»… До центра, до Главного ряда, где торговал отец, добраться было делом нелегким. По пути так много было разнообразных впечатлений, столько раз приходилось останавливаться очарованным то тем, то другим. Проходили мимо ряда балаганов, где на балконе, несмотря на мороз, лицедействовали и дед, и девица в трико, и сам «Зрилкин», без которого не обходилась ни одна окрестная ярмарка, ни одно деревенское празднество. Зрилкин был душой народных увеселений. Тут, конечно, был и знаменитый Петрушка.

Вот и книжные ряды, здесь тоже захватывающе интересно. Развешаны лубочные картинки: «Еруслан Лазаревич», «Как мыши кота хоронили», генералы на конях, по бокам которых так славно прошлись кармином, а по лицу Паскевича-Эриванского — медянкой. Мать совершенно выбилась из сил с нами. Здесь навалены на прилавке книжки одна другой занимательнее. Тут и «Фома дровосек», «Барон Мюнхгаузен», да и чего, чего здесь только нет!..

Но вот, наконец, и Главный ряд. Вот разукрашенная коврами лавка Пенны, первого конкурента отца, тоже галантерейщика, а напротив и наша, тоже разукрашенная, но беднее. На коврах самые разнообразные сюжеты от одалисок и турок с кальяном, в чалмах, до бедуина на белом коне. В дверях стоит отец, какой-то обновленный, «ярмарочный» — в длинной шубе, подпоясанный пестрым кушаком; углы бобрового воротника «по-ярмарочному» загнуты внутрь; он в валенках. Он доволен нашим приходом, приглашает нас войти в лавку, и мы чувствуем себя гостями. Мимо лавки толпы гуляющих. Медленно они двигаются. Нарядные купчихи, их дочки, такие румяные, счастливые; с ними галантные кавалеры. А в воздухе повисли сотни разнообразных звуков. Тут мальчики свистят в свистульки, в трубы, слышны нежные звуки баульчиков и прочее, и прочее. Какая разнообразная и дикая музыка!.. Нагулявшихся, насмотревшихся досыта, усталых уводит нас мать домой, и долго еще перебираем мы в памяти впечатления минувшего, такого счастливого дня, пока глазки не станут слипаться и нас не уложат под теплое одеяльце, и мы не заснем так крепко-крепко до утра!

Такова была для нас, детей, ярмарка.

В соседстве с нами жила семья Максимович. Сама — католичка, дети, по отцу, православные. У вдовы Максимович была мастерская дамских мод под фирмой «Пчельник». И действительно, там все трудились как пчелы. Сами работали, дети учились, и учились прекрасно. Жили дружно. Младший из Максимовичей был мой сверстник. Часто мы, два Мишеньки, играли вместе и хорошо играли. Особенно дружно шли наши игры, когда Мишенька вынимал любимые свои игрушки, им сделанные из картона иконостасы: будничный — красный, праздничный — белый с золотом. Вынималось многочисленное духовенство с архиереем во главе, и начиналась обедня или всенощная. Мы оба, а иногда и наш мальчик из магазина, изображали хор, Мишенька Максимович делал молитвенные возгласы, и так играли мы в праздник все утро, если не шли к обедне в церковь. И вот однажды, помню, большое смятение. Прислали сказать, что Миша Максимович утонул. Утонул,

купаясь в Деме, где так много омутов, водоворотов. Весть поразила нас всех, в особенности меня. Наши поехали на место несчастья. К вечеру нашли утопленника, а на другой день его хоронили. Я был на отпевании, очень плакал… Мишенька и был первый покойник, мною виденный. После него мне достались все его игрушки — оба иконостаса, и все духовенство, и облачение, и я долго вспоминал Мишеньку, играя в любимую нашу игру.

Помню, зимой отец, вернувшись домой, сообщил нам, что вечером мы поедем в театр. Это была для меня, восьми-девятилетнего мальчугана, новость совершенно неожиданная. Вот пришел вечер, и нас повезли. Театр настоящий, всамделишный. Мы сидим в ложе. Перед глазами — нарисованный занавес. Он поднялся, и я, прикованный к сцене, обомлел от неожиданности… Передо мной был настоящий лес, настоящий еловый лес, валил хлопьями снег, снег был повсюду, как живой. В лесу бедная девушка; все ее несчастные переживания тотчас же отозвались в маленьком впечатлительном сердечке. Шла «Параша-сибирячка»[37]. Что я пережил с этой несчастной Парашей! Как все было трогательно; и горе Параши, и лес, и глубокий снег — все казалось мне более действительным, чем сама действительность, и, быть может, именно здесь впервые зародились во мне некоторые мои художественные пристрастия, откровения. Долго, очень долго бредил я «Парашей-сибирячкой». Не прошла и она в моей жизни бесследно…

Однажды уфимские заборы украсились большими афишами, извещавшими о том, что в город приезжает цирк «всемирно известной итальянской труппы акробатов братьев Валери». На площади спешно строили большой круглый балаган из свежего теса. Вскоре начались представления. Народ валом повалил. Стали говорить, что такого цирка Уфа еще не видала. Особенно нравились сами братья Валери: они были отличные наездники, ловкие акробаты. Были ли они такими на самом деле, трудно сказать: мои земляки не были в этом компетентны. Так или иначе, цирк с каждым днем все больше и больше завоевывал себе у нас славу. Скоро уфимцы приметили, что братья Валери стали носить из цирка в «Номера Попова», где они жили, мешки, если не с золотом, то с медными пятаками. Это моим землякам импонировало. Итальяшек полюбили, ими восхищались — они были рослые, красивые ребята.

Слава о них дошла и до нас, детей. Долгие мольбы наши увенчались успехом: нас пустили в цирк, взяли туда и приятеля моего — Николашку. Очарованные, сидели мы с ним. Братья Валери привели нас в полный восторг; их упражнения вскружили нам головы. Первые дни только и разговоров было, что о цирке.

Нам как-то удалось еще побывать там, и это нас погубило…

Мы были уверены, что искусство, призвание братьев Валери есть и наше призвание, и решили попытать свои силы — устроить свой цирк в запасном сарае, где зимой хранились телеги, а летом дровни и всякий ненужный хлам. Сарай был «на отлете», вне поля зрения матери.

Главными действующими лицами были мы оба: мы с Николашкой и были братья Валери, остальная труппа была случайная, в нее входил и лохматый, толстый, неуклюжий щенок Шарик. Цирк начал функционировать. Первые дни прошли благополучно, с большим подъемом. Мы, с некоторой опасностью для наших рук, ног, ребер, перелетали с трапеции на трапецию, поднимали тяжести и прочее. Когда же наступал номер Шарика, то он, гонимый неведомой силой, забивался в самый отдаленный угол сарая и доброй волей не хотел его покидать. Мы приписывали это его малосознательности, извлекали его из его убежища, и номер проходил более или менее удачно. Одним из ответственных номеров Шарика было поднятие его на возможную высоту при помощи особых приспособлений, вроде лопаты. Шарик в паническом страхе визжал, выл, пока не терял равновесия, не летел вниз с жалобным воем и не падал на пол. Шарик этот номер не любил, а мы были тверды и настойчивы, пока однажды, во время самого разгара представления, когда Шарик поднят был на головокружительную высоту и неистово там визжал, обе двери сарая растворились и в них предстала перед нами мать, разгневанная, грозная, карающая… Нас обоих выпороли, а Шарик в тот же день был отдан соседям, где не было ни цирка, ни доморощенных братьев Валери.

Помню я 1870–1871 годы, Франко-прусскую войну. Помню эту зиму: она была тревожная и в Уфе. Было много пожаров. По ночам не спали, караулили посменно. На небе сходились и расходились огненные столбы. Было страшно — говорили, что все это к беде.

Получались газеты, все тревожней и тревожней. Пришло известие о несчастной для французов «битве при Седане». Поздней появились картинки во «Всемирной Иллюстрации», изображающие эту битву. Потом, помню, узнали, что Наполеон взят в плен, а затем и война кончилась.

Имена Бисмарка, Мольтке, как и маршала Мак-Магона, Шанзи и несчастного Базена, мы все знали[38]. Все симпатии наши были на стороне французов.

Время шло. Отец и мать стали поговаривать о том, что пора отдать меня в гимназию. Мысль эта явилась тогда, когда родители убедились, что купца из меня не выйдет, что никаких

способностей к торговому делу у меня нет. И действительно, я на каждом шагу показывал, как мало я этим делом интересуюсь. Я ничего в нем не понимал. Был в самом малом непонятлив, ненаходчив, рассеян. Надо мной все смеялись, и мне было все равно, есть покупатели или их нет, на сколько продано и как шло дело в магазине. А я ведь был наследником всего дела, дела большого, хорошо поставленного.

Отец, быть может, тоже не был истинным купцом, но благодаря привычке, аккуратности дело шло. У отца не было совершенно долгов, он покупал и продавал только на наличные. Это было, при его характере, лучшее, хотя, быть может, и невыгодное. Отец не любил в деле риска.

Я же, повторяю, с ранних лет чувствовал себя чужим, ненужным в магазине и умел продавать только лишь *соски* для младенцев да фольгу для икон. Когда этот товар спрашивали — приказчики уступали мне место, и я, зная цену этому товару и где он лежит, отпускал его покупателям, но все же без всякого удовольствия. А тут, кстати, появились слухи о всеобщей воинской повинности[39] и о том, что образованные будут иметь какие-то привилегии.

Итак, моя коммерческая бесталанность и необходимость уйти от солдатчины решили мою судьбу. Я должен был поступить в Уфимскую гимназию. Был приглашен репетитор — гимназист 8-го класса Алексей Иванович Ефимов, первый ученик, все свободное время от своих занятий приготовлявший, репетировавший детей Уфимских граждан. Он кормил своими уроками родителей и любимую маленькую сестренку.

Алексея Ивановича все, знавшие его, очень любили. Он был гимназист солидный. Был некрасив, ряб, неуклюж, но очень приятен, добр, терпелив и умен. Трудно было ему со мной. Особенно бестолков был я в арифметике. Алексей Иванович с необыкновенным усердием преодолевал мою тупость, объясняя мне «правила» и искусно ловя в это время назойливых мух. Я, как показало будущее, не стал математиком. Сам же Алексей Иванович блестяще, с золотой медалью кончил гимназию, затем Академию Генерального штаба и умер в Сибири в больших чинах.

Осенью 1872 года я все же поступил в приготовительный класс гимназии. В гимназии пробыл я недолго, учился плохо, шалил много. Из сверстников моих по гимназии со временем стал известен Бурцев, издатель «Былого»[40].

Из учителей гимназии остался в памяти моей Василий Петрович Травкин, учитель рисования и чистописания. Он имел артистическую наружность: большие, зачесанные назад волосы, бритый, с порывистыми движениями. Несколько возбужденный

винными парами, он выделялся чем-то для меня тогда непонятным. Думается теперь, что это был неудачник, но способный, увлекающийся, что называется «богема». Форменный вицмундир к нему не шел.

Мы оба как-то почувствовали влечение друг к другу. Василий Петрович не только охотно поправлял мои рисунки в классе, но, помню, пригласил к себе на дом. Жил он на краю города, в небольшом старом домике, очень бедно, совсем по-холостяцки. И вот он выбрал какой-то бывший у него акварельный «оригинал» замка, и мы начали вместе большой на бристольской бумаге рисунок мокрой тушью. Рисунок общими усилиями был кончен и поднесен мною отцу в день его Ангела.

Вообще Василий Петрович очень меня отмечал за все два года моего гимназического учения. По слухам, позднее В. П. Травкин спился и умер еще сравнительно молодым человеком.

Родители скоро увидали, что большого толка из моего учения в гимназии не будет, и решили, не затягивая дела, отвезти меня в Москву, отдать в чужие руки, чтобы не баловался. Думали, куда меня пристроить в Москве, и после разных расспросов остановились на Императорском Техническом Училище, в котором тогда было младшее отделение.

Стали меня приготовлять к мысли о скорой разлуке с Уфой, с родительским домом… Чтобы разлука не была так горька, надумали меня везти сами.

Родители мои и родственники

Отец мой — Василий Иванович — был человек живой, деятельный, по общему признанию щепетильно честный. В домашнем быту всецело подчиненный воле матери, вне дома, однако, проявлявший, где надо, характер твердый, прямой. Вообще же отец был горячий, своеобычный и независимый. Бывали случаи с ним совершенно анекдотические. Помню, как однажды принял он приехавшего с визитом нового губернатора…

Отец был тогда большим стариком, лет семидесяти, и по положению своему весьма заметным в городе, и новые губернаторы и архиереи делали обычно ему визиты, и отец, смотря по тому, какая слава тому предшествовала, приказывал принимать или не принимать, когда те приезжали к нему.

И вот однажды такой губернатор, с плохой славой, приехал невзначай. Отец узнал о приезде в тот момент, когда его превосходительство уже входил в переднюю, одна из дверей которой вела в зал, другая в кабинет отца, и он, ничтоже сумняшеся, приоткрыв дверь, громогласно скомандовал нашей девушке Серафиме, встретившей уже гостя: «Скажи ему, что меня дома нет…»

Ясное дело, что дальнейшее знакомство при таком приеме продолжаться не могло.

Нередко бывали случаи, что отец особо надоедливым дамам-покупательницам наотрез отказывал продавать модный товар, говоря, что товар этот у него есть, но он «непродажный», и все упрашивания провинциальных дам, «приятных во всех отношениях», не изменяли решения отца.

Когда отец убедился, что я — его единственный наследник — к торговле не гожусь, он постепенно стал сокращать дело, а затем и совсем прикончил его. А так как он был очень трудолюбив и без дела оставаться не мог, то скоро и нашел себе занятие по душе: его выбрали товарищем директора открывшегося тогда Общественного городского банка, одним из инициаторов коего он числился.

Я помню это время. Отец исполнял свои новые обязанности со всей аккуратностью, ему присущей. И он особенно ценил то, что его имя как бы служило гарантией тому, что новый банк вполне оправдает надежды, на него возлагаемые, как на учреждение надежное, солидное. Таким оно и оставалось до конца.

И тут были курьезы. Не раз он поднимал ночную тревогу. Будили и приглашали в банк по этой тревоге и директора, и еще

каких-то служащих только потому, что отцу померещилось, что, когда запирали кладовую банка, то не были положены печати, или еще что-нибудь в таком роде. В городе о таких тревогах старика знали, благодушно о них говорили и спали спокойно, зная, что, пока Василий Иванович к банку причастен, там все будет прочно.

Отец умер глубоким стариком — восьмидесяти шести лет. Я благодарен ему, что он доверился опытному глазу К. П. Воскресенского и не противился, отдавая меня в Училище живописи, пустить меня по пути ему мало симпатичному, мне же столь любезному, благодаря чему моя жизнь пошла так полно, без насилия над самим собой, и я мог отдать силы своему настоящему призванию. Еще задолго до смерти отец мог убедиться, что я не обманул его доверия. Из меня вышел художник. При нем был пройден весь главный мой путь, до Абастумана включительно.

К моей матери я питал особую нежность в детстве, хотя она и наказывала меня чаще, чем отец, за шалости, а позднее, в юности и в ранней молодости, мать проявляла ко мне так круто свою волю, что казалось бы естественным, что мои чувства как-то должны были бы измениться. И, правда, эти чувства временно переменились, но, однако, с тем, чтобы вспыхнуть вновь в возрасте уже зрелом. В последние годы жизни матери и теперь, стариком, я вижу, что лишь чрезмерная любовь ко мне заставляла ее всеми средствами, правыми и неправыми, так пламенно, страстно и настойчиво препятствовать моей ранней женитьбе и вообще искоренять во мне все то, что она считала для меня — своего единственного и, как она тогда называла меня, ненаглядного — ненужным и неполезным.

В раннем моем детстве я помню мать сидящей у себя в комнате за работой (она была великая мастерица всяких рукоделий), трогательно напевавшей что-то тихо про себя; или она была в хлопотах, в движении, обозревающей, отдающей приказания в своих владениях, в горницах, на дворе, в саду. Ее умный, хозяйский глаз всюду видел и давал неусыпно себя чувствовать.

Особенно прекрасны были годы ее старости, последние годы жизни ее. Тогда около нее росла ее внучка, моя дочь от покойной жены. Вся нежность, которая когда-то, по каким-то причинам была недодана мне, — обратилась на внучку. Какие прекрасные картины и доказательства горячей любви я находил в мои приезды в Уфу уже из Киева, где я принимал тогда участие в росписи Владимирского собора. Тогда мною были написаны уже и дали моим старикам большое удовлетворение и «Пустынник», и

«Варфоломей». Каких только слов ласки не видел я тогда дома лично, и в лице моей маленькой дочери Ольги… Каких яств не придумывала изобретательность матери в те незабвенные дни, каких прекрасных задушевных разговоров не велось тогда между нами… Мне казалось, да и теперь кажется, что никто и никогда так не слушал меня, не понимал моих юношеских молодых планов, художественных мечтаний, как она, необразованная, но чуткая, жившая всецело мною и во мне, — моя мать. Сколько в ней в те дни было веры в меня, в мое будущее.

Мне удалось быть около нее в последние дни и часы ее жизни и слышать самые лучшие, самые прекрасные слова любви, ласки, обращенные ко мне. Умирая, она сознавала и была счастлива тем, что ее «ненаглядный» нашел свой путь и пойдет по нему дальше, дальше, пока, как и она, не познает «запад свой». Царство ей небесное, вечный покой!

Здесь я хочу сказать еще, как спокойно и величаво переходили старые люди от жизни к смерти.

Мать моя прожила 70 лет. Она редко болела. И вот, помню, летом накануне Казанской, когда я гостил в Уфе, уже кончив роспись Владимирского собора и приглашенный принять участие в украшении храма Воскресения в Петербурге, мать моя почувствовала себя нехорошо. Не имея обыкновения ложиться, тут прилегла. Пролежала, почти не вставая, до другого дня. А в день Казанской, когда у нас в Уфе бывал огромный крестный ход с образом Казанской Божией Матери в село Богородское за двадцать верст от города и обратно, — мать моя встала с постели, прошла в залу и особенно усердно молилась у окна, когда среди огромных толп народа проносили чудотворную икону мимо нашего дома, молилась с таким пламенным чувством. Когда процессия удалилась, мать, поднявшись с колен, обратилась к нам спокойная, величавая и сказала: — Ну, слава Богу, помолилась Владычице последний раз. Больше сюда не выйду. Ведите меня — тяжело мне… Тут она слегла и, пролежав около двух месяцев, тихо скончалась.

Незадолго, дня за два-три до смерти она позвала мою сестру и твердо, спокойно передала ей все хозяйство, причем рассказала, что и как следует сделать тогда, когда ее не будет. И когда сестра, не выдержав такого делового тона, пробовала успокоить мать, наконец заплакала, мать строго, повелительно велела ей молча слушать, добавив, что когда-де *приедете с кладбища,* много будет народа, чтобы все было как следует, что когда, по старинному обычаю, приехавшие перед тем, как сесть за поминальный стол, пожелают вымыть руки, чтобы полотенца были новые, умывальные принадлежности тоже лучшие, те, что

стоят в большой кладовой там-то и там-то, чтобы люди не осудили ее — известную в городе хозяйку. И отдав все приказания, отпустила сестру, наказав ей не плакать, а молиться. И сама последние дни и часы провела спокойно, сосредоточенно.

Теперь скажу несколько слов о сестре моей Александре Васильевне, затем о дедах, дядях и тетках Нестеровых и Ростовцевых.

С сестрой у нас была в летах разница в четыре года. Она, как старшая, в детстве, а позднее в юности и в молодости, нередко проявляла свое старшинство не так, как бы я того хотел. В детстве игры, да позднее и многое другое, нас не столько объединяло, сколько разъединяло. Наши вкусы, стремления, а быть может, и какая-то неосознанная ревность к матери, были причиной немалых наших столкновений, обид… Но настало время, все было забыто, и мы стали с сестрой истинными друзьями.

В характере сестры были материнские черты. Она была властная, твердая в проведении своих жизненных правил. Безупречно честная. Ум ее был прямой, ясный. Она, как и наши родители, не любила показной стороны жизни. Чем она увлекалась, тому посвящала всю свою силу, досуг без остатка.

Я, повторяю, узнал сестру вполне и оценил ее во второй, серьезной половине ее жизни. После смерти матери она проявила себя достойной ее преемницей. Она много и охотно читала. Но в ранней молодости любила наряжаться, причем, выписывая модные журналы, шила и изобретала себе наряды сама, и тогда говорили, что одевалась она лучше всех в городе[41]. Но это увлечение прошло с годами, и она, как человек обеспеченный, продолжала много читать. В эти годы она стала воспитательницей моей дочери, отдавая всецело свои силы, ум и сердце этому делу. Когда же дочь поступила в институт, сестра, следя за своей любимицей, много уделяла времени общественным делам, особенно в тяжелые годы голода. Она и тут предпочитала работу на местах комнатным разговорам. Она на несколько месяцев покидала свой дом, уезжала куда-нибудь в отдаленную татарскую деревню и там, подвергая себя всяческим лишениям, организовывала помощь, вела дело энергично, деловито, входя всецело в нужды голодающих. И когда все было устроено, она, удовлетворенная, возвращалась к себе, снова бралась за любимое занятие — чтение. В это время, да и после, к ней приезжали за разными советами, с благодарностью шли к ней все те, кто узнавал ее там, в отдаленных деревнях, где было так холодно и голодно. Эти наезды деревенских ее друзей — разных Ахметов и Гасанов — доставляли ей огромное удовлетворение, она вся жила их радостями, их горем.

Сестра долго мечтала о возможности поездки в Италию, и эта ее мечта осуществилась. Мы втроем — я, она и моя старшая дочь Ольга — собрались-таки за границу. Нужно было видеть сестру в Венеции, в гондоле, в музеях Флоренции, Рима, наконец, в Неаполе, на Капри. Это время было самое счастливое в ее жизни. Она видела Италию, дышала ее воздухом. С ней были любимые люди, а впереди ждала ее последняя радость — замужество ее воспитанницы.

А за сим настал и грозный час. Пришла смерть.

События. Впечатления

Дед мой Иван Андреевич Нестеров был из новгородских крестьян, как и род наш был крестьянский, новгородский. При Екатерине Великой Нестеровы переселились из Новгорода на Урал и там на заводах закрепились. Про деда известно, что он вышел в вольные, был в семинарии, позднее записался в гильдию и, наконец, был Уфимским городским головой лет двадцать подряд. По рассказам, он был умен, деятелен, гостеприимен, отличный администратор, и будто бы однажды известный граф Перовский, Оренбургский генерал-губернатор, посетив Уфу, нашел в ней образцовый порядок и, обратившись к деду, сказал так:

— Тебе, Нестеров, надо быть головой не здесь, а в Москве!

По сохранившемуся портрету дед был с виду похож на администраторов того времени. Изображен в мундире с шитым воротником, с двумя золотыми медалями. Он имел звание «Степенного гражданина». Очень любил общество, у него, по словам отца и тетки, давались домашние спектакли, и в нашей семье долго сохранялась афиша такого спектакля, напечатанная на белом атласе. Шел «Ревизор». Среди действующих лиц были дядя мой Александр Иванович (Городничий) и мой отец (Бобчинский).

Дед не был купцом по призванию, как и ни один из его сыновей. Умер он в 1848 году от холеры. У него было четыре сына. Из них старший — Александр Иванович — был одарен чрезвычайными способностями. Он отлично играл на скрипке, будто бы сочинял — композиторствовал. Играл на сцене бесподобно, особенно роли трагические («Купец Иголкин» и другие). Любил читать и не любил торговли.

Судьба его была печальна. В те времена, как и поздней на Урале, на заводах бывали беспорядки. И вот после таких беспорядков в Уфимскую тюрьму была доставлена партия провинившихся рабочих. Каким-то путем они установили связь с моим дядей Александром Ивановичем, и он взялся доставить их прошение на высочайшее имя. Подошла Нижегородская ярмарка, и дядя был отправлен туда дедом по торговым делам. Кончил их и, вместо поездки домой в Уфу, махнул в Петербург. Остановился на постоялом дворе, узнал, где и как можно передать Государю свою бумагу, и, так как ему посоветовали это сделать через Наследника Александра Николаевича — будущего императора Александра II, то дядя и решил увидеть его.

Тогда времена были простые. Высочайшие особы держали

себя не так, как позднее, гуляли по улицам, в садах, и дядя задумал подать свою челобитную Наследнику в Летнем саду, где тот имел обыкновение прогуливаться в известные часы. Ему очень посчастливилось. Действительно, Наследника он увидал гуляющим на одной из дорожек сада — приблизился к нему и, опустившись на колени, подал челобитную с объяснением содержимого в ней. Был милостиво выслушан и отпущен обнадеженным. Счастливый вернулся на постоялый двор, но в ту же ночь был взят, заключен в тюрьму и с фельдъегерями выслан в места отдаленные…

Очевидно, Наследник в тот же день представил челобитную Императору Николаю Павловичу, а тот взглянул на дело по-своему. Остальное произошло, как по щучьему велению.

Дядю Александра Ивановича я помню хорошо. Он жил у нас в доме после ссылки уже стариком. Все пережитое наложило след на его здоровье, психически он не был в порядке.

Внешне он в те дни напоминал мне собой художника Н. Н. Ге. Те же манеры, та же голова с длинными косматыми волосами, даже пальто, вместо пиджака, точь-в-точь, как у Ге в последние годы его жизни. Его героем в то время был Гарибальди, личными врагами — Бисмарк и Папа Пий IX. Жестоко им доставалось от старого «революционера».

Дядя и стариком любил играть на скрипке, для чего уходил летом в сад. Зимой любил баню и после полка́ любил выбежать на мороз, окунуться в сугроб и затем — опять на полок… И это тогда, когда ему было уже за семьдесят. Умер он глубоким стариком в Уфе же.

Дядя — Константин Иванович — был врач-самоучка.

Из теток — Елизавета Ивановна Кабанова отличалась, как и дядя Александр Иванович, либеральными симпатиями. Тетка — Анна Ивановна Ячменева, напротив, была консервативна. В молодости она хорошо рисовала акварелью, и для меня было большой радостью иметь ее рисунок. Особенно я помню один — «Маргарита за прялкой». Там, мне казалось, как живой, был зеленый плющ у окна. Несомненно, ее рисунки в раннем детстве оставили какой-то след во мне.

Деда — Михаила Михайловича Ростовцева — я не помню. Знаю от матери, что Ростовцевы приехали в Стерлитамак из Ельца, где дед вел большую торговлю хлебом, кажется, у него были большие гурты овец. Он был с хорошими средствами. Был мягкого характера и, видимо, очень добрый. Вот и все, что я знаю о нем. (О бабушках я ничего не помню, они умерли задолго до моего рождения.)

У деда Михаила Михайловича было три сына и три дочери. Старший — Иван Михайлович — бывал у нас, когда приезжал из Стерлитамака. Он был неприветливый, говорят, любил больше меры деньги.

Второй — Андрей Михайлович — жил на мельнице, и я его не помню, а третий — самый младший, очень добродушный, безалаберный, с большими странностями, богатый, женатый на красавице из дворянок, к концу жизни все спустил, и если и не нуждался, то должен был сильно себя сократить.

Ни один из дядей Ростовцевых никакими дарованиями себя не проявлял.

Из дочерей деда Михаила Михайловича старшая — Евпраксия Михайловна — была неизреченно добрая и глубоко несчастная. Я знал ее старушкой и очень любил. Ее время от времени привозили к нам погостить. Она одна из первых видела и по-своему оценила мои живописные способности. Про «Пустынника» она, увидев его, сказала мне: «Старичок-то твой, Минечка, как живой!», и это ему, моему «Пустыннику», было как бы благим напутствием.

Вторая дочь Михаила Михайловича была моя мать — Мария Михайловна, а третья — Александра Михайловна — наиболее, так сказать, культурная из всех сестер. Александра Михайловна была очень хорошим, умным человеком. Она была замужем за неким Ивановым, человеком редких нравственных правил. Он из небольших почтовых чиновников дослужился до начальника почтового округа, до чина тайного советника и своей справедливостью, благородством и доступностью снискал от подчиненных, особенно от низших служащих, совершенно исключительную любовь. Это был один из прекраснейших и самых почтенных людей, каких я знал. Он был красив, скромен и ясен особой ясностью справедливо и честно прожитой жизни.

Годы учения

В реальном училище Воскресенского

Отец должен был ехать на Нижегородскую ярмарку, с ним ехала и мать, чтобы самой все видеть, чтобы отдалить момент расставания со своим «ненаглядным». Мне было двенадцать лет. Время отъезда приближалось. Чтобы скрасить разлуку с домом, с Уфой, со всем, что было мило и любезно, меня утешали тем, что в Техническом училище какой-то необыкновенный мундир, если не с эполетами, то с золотыми петлицами, и еще что-то. Но, конечно, горе мое было неутешно.

И вот настал день отъезда. Помолились Богу, поплакали и отправились на пристань, на пароход. По Белой, Каме, Волге ехали до Нижнего. Мать все время была особенно нежна со мной. С каждым днем приближался час разлуки.

В Нижнем, на ярмарке. Главный дом, пестрая толпа, великолепные магазины, вывески, украшенные орлами, медалями. Все эти «Асафы Барановы», «Сосипатровы-Сидоровы с сыновьями», «Викулы, Саввы и другие Морозовы» — все это поражало детское воображение, заставляло временно забыть предстоящую в Москве разлуку.

Время летело. Отец кончил дела на ярмарке, надо было ехать в Москву. С 15 августа экзамены.

Вот и Москва. Остановились мы на Никольской, в Шереметьевском подворье, излюбленном провинциальным купечеством. Тут, что ни шаг, то диво. Ходили всей семьей по Кремлю, по Кузнецкому мосту.

В то лето ждали в Москву Государя Александра II. Мать решила во что бы то ни стало посмотреть Царя. Говорили, что будет он на смотру, на Ходынке[42]. Мать поехала туда — Царя видела издалека, рассказы были восторженные. Побывала она у Иверской, там выкрали у нее сумку с деньгами… зато приложилась.

Вот настал и день экзаменов. Повезли меня в Лефортово, далеко, на край Москвы. Училище огромное, великолепное, бывший дворец Лефорта[43].

Выдержал я из экзаменов: Закон Божий, рисование и чистописание, в остальных — провалился. Отцу посоветовали отдать меня на год в Реальное училище К. П. Воскресенского, с гарантией, что через год поступлю в Техническое. Чтобы не возить меня обратно в Уфу, не срамить себя и меня, решили поступить, как советуют добрые люди. Так-де делают многие, и выходит хорошо.

Так отцу говорил небольшой, рыженький, очень ласковый

человечек в синем вицмундире, что привез с десяток мальчуганов на экзамен. Это был воспитатель училища Воскресенского, опытный человек. Он привез на экзамен своих питомцев и не упускал случая вербовать новых, мне подобных неудачников из провинции.

Родители, очарованные ласковым человечком, на другой день повезли меня на Мясницкую в дом братьев Бутеноп, где помещалось училище К. П. Воскресенского. Сам Константин Павлович, такой представительный, умный и в то же время доступный, встречает нас, очаровывает родителей еще больше, чем рыженький человечек. Неудачи забыты, я принят в первый класс училища.

Наступает час прощания. Меня благословляют образком Тихона Задонского. Я заливаюсь горючими слезами, мать тоже. Почти без чувств сажают меня на извозчика, везут на Мясницкую. Там новые слезы. Прихожу в себя — кругом все чужое, незнакомые люди, — взрослые и школьники. Со мной обращаются бережно, как с больным, да я и есть больной, разбитый весь, разбита маленькая душа моя. А тем временем родители спешат на поезд, в Нижний, а оттуда в свою теперь особо мне милую, родную Уфу.

Много, много слез было пролито, пока я освоился с училищем, с товарищами. Много раз «испытывали» меня и, наконец, признали достойным товарищем, способным дать сдачи, не фискалом, и жизнь улеглась в какие-то свои рамки.

Время шло. Учился я неважно, и все эта арифметика! Однако, кроме Закона Божия, рисования и чистописания, из которых я имел пятерки (а из чистописания почему-то мне ставил тогда знаменитый на всю Москву каллиграф Михайлов 5 с двумя крестами и восклицательный знак), были предметы, которыми я охотно занимался, — русский язык, география, история, в них я преуспевал.

Время шло быстро. Незаметно подошло Рождество. Многие живущие собрались на праздники домой — куда-то в Тулу, в Вязьму, в Рыльск… Тут и мне захотелось в свою Уфу, но она была далеко, особенно далеко зимой, когда реки замерзали и пароходы не ходили…

Нас осталась небольшая кучка. Стало грустно. Развлекались мы, как умели. Пили в складчину чай с пирожными в неурочное время, шалили больше обыкновенного, на что в эти дни смотрели сквозь пальцы. На несколько дней, правда, и меня взял к себе на Полянку в Успенский переулок друг отца — Яковлев, богатый купец-галантерейщик, у которого отец покупал много лет. Он еще осенью обещал отцу взять меня на Рождество и на Пасху и

выполнил сейчас свое слово… За мной приехали накануне праздника, и я пробыл на Полянке первые три дня Рождества, а потом и на Пасхе. У Яковлевых было чопорно, скучно. На третий день Рождества вся семья и я были в Большом театре в ложе, на балете «Стелла»[44].

Танцевала знаменитость тех дней — Собещанская. Меня поразили неистовые вызовы-клики: «Собещанскую, Собещанскую!»

На Пасхе помню заутреню в соседней церкви Успенья, что в Казачьем, куда со двора дома Яковлевых проделана была калитка, и вся семья, как особо почтенная, имела свое место, для тепла обитое по стенам красным сукном. На первый день мы с сыном Яковлевых, однолеткой Федей, лазали на колокольню и там нам давали звонить. Это было ново и приятно. После трех дней меня снова доставили в пансион.

Прошла и Масленица, вот и Великий пост. Говели у Николы Мясницкого[45]. Подошла и Пасха. Опять потянулись наши рязанцы, орловцы домой, а мы опять запечалились, но на этот раз не так, как зимой: еще месяц или два, и мы поедем, — тот в Уфу, тот в Пермь или Вятку, иные в Крым или на Кавказ, — и на нашей улице будет праздник.

Начались экзамены. С грехом пополам я перешел в следующий класс, но о том, чтобы держать в Техническое, и речи не было.

Помню, как пришел в наш класс воспитатель герр Дренгер и позвал меня к Константину Павловичу в приемную. Туда звали нас редко, звали для серьезного выговора или тогда, когда приезжали к кому-нибудь родственники… Я со смутным чувством шел в приемную. Что-то будет, думалось… Вижу, с Константином Павловичем сидит мой отец. Я, забыв все правила, бросаюсь к отцу. Радость так велика, что я не нахожу слов. Оказывается, отец уже успел все узнать: узнал, что я переведен во второй класс и что меня Константин Павлович отпускает на каникулы, и через несколько дней мы поедем в Уфу. Как все хорошо! Скоро увидать мать, сестру, Бурку, всех, всех…

Вот и Нижний, вокзал, в нем уголок Дивеевского монастыря. Старая монашка продает всякого размера и вида картины, образки старца Серафима.

Я дожидаюсь отца, который пошел за билетами на пароход, любуюсь множеством «Серафимов». На душе хорошо, весело.

Выходим с вокзала, нанимаем извозчика, садимся на дрожки с ярко-красной тиковой обивкой и летим по булыжникам к Оке, к пристани. Все так радостно, приятно! Вот и мост. Гулко по мосту стучат подковы нашей бодрой лошадки, свежий речной запах

охватывает нас, щекочет нервы.

Вот и пристани, пароходная «конторка». Вот «Волжская», с золотой звездой на вывеске. Там «Самолет», «Кавказ и Меркурий», общество «Надежда» Колчиных[46] и другие. Мы подкатываем к самолетскому. Матрос с бляхой на картузе хватает наши вещи, и мы по сходням спускаемся к «конторке», спешим на пароход. Ах, как все славно! Как я счастлив! Через час-два пароход «Поспешный» отвалит, и мы «побежим» «на низ», к Казани. Третий свисток, отваливаем.

Среди сотен пароходов, баржей, белян бежим мы мимо красавца Нижнего. Вот и Кремль, старый его собор, губернаторский дом. Шумят колеса, раздаются сигнальные свистки. Миновали Печерский монастырь, и Нижний остался позади.

Пошли обедать. Чудесная уха из стерлядей, стерлядь заливная, что-то сладкое. Попили чайку и вышли на палубу. Ветерок такой приятный. Нас то перегоняют, то отстают от парохода волжские чайки: они обычные пароходные спутники. Бежим быстро. Вот и Работки — первая пристань вниз по Волге. Глинистые берега ее тут похожи на караваи хлеба. Пристали ненадолго. Опять пошли. С палубы не хочется уходить. На носу музыка, едут бродячие музыканты… Татары стали на вечернюю молитву, молятся сосредоточенно, не как мы, походя…

Показались Исады, а за ними четырехглавый собор Макария Желтоводского. Здесь некогда была Макарьевская ярмарка[47]. Пристали у Исад, прошли и мимо Макария. Дело к вечеру. На судах, на караванах зажглись сигнальные огни. По Волге зажглись маяки. Стало прохладно, в морщинах холмов еще лежит снег. Подуло с берега холодком. Пора в каюту да и спать.

Рано утром Казань. Пересядем на бельский пароход — и Камой до Пьяного бора, потом по Белой до самой Уфы. Утро. Все так радостно, так непохоже на то осеннее путешествие, которое несло с собой столько слез, горя, разлуку. Сейчас весна, скоро встреча с матерью. Моя лошадь, обещано седло. Ах, как будет весело!..

Проснулся в Казани. Наверху, слышно, грузят товар. Поют грузчики свою «пойдет, пойдет». Ухали, опять запевали — так без конца на несколько часов, пока не выгрузили и не нагрузили пароход вновь.

Мы пересели на бельский пароход «Михаил» и часа через три отвалили от Казани. Прошли мимо Услона, на горе которого много лет позднее в милой, дружественной компании Степанова, Хруслова, С. Иванова лежал я, такой веселый, жизнерадостный. Мы непрерывно болтали, острили. Мы были молоды, перед нами

были заманчивые возможности…[48]

Вот и Кама, такая бурная, мятежная, трагичная, не то что матушка Волга, спокойная, величаво-дебелая… Суровые леса тянутся непрерывно. На палубе было студено. Прошли Святой Ключ, имение Стахеевых. Тут где-то жил, да и родился И. И. Шишкин, славный русский живописец сосновых лесов, таких ароматных, девственных. Тут и набирался Иван Иванович своей силы богатырской, той первобытной простоты и любви к родимой стороне, к родной природе.

Вот Пьяный бор, скоро войдем в Белую. Ее воды так разнятся с водами всегда чем-то возмущенной Камы. Пошли родными берегами. Они так грациозны, разнообразны. Белая, как капризная девушка, постоянно меняет направление, то она повернет вправо, то влево, и всем, всем она недовольна, все-то не по ней. А уж на что краше кругом! Берега живописные, мягкие, дно неглубокое, воды прозрачные, бледно-зеленые. Недаром названа она «Белой».

Пошли татарские названия пристаней, разные Дюртюли и прочие. Завтра будем в Уфе. Вот и Бирск, потом Благовещенский завод. Тут имел обыкновение жеребеночек, что ежегодно, якобы, возил мне отец с Нижегородской ярмарки в подарок, выпрыгивать за борт парохода и тонуть… Вот эти злосчастные берега. Далеко видны конторки на Сафроновской пристани.

На которой же вывешен флаг? Вот на той, дальней. Там стоят и смотрят во все глаза на наш пароход мама и сестра Саша. Они часа два уже ждут нас. «Михаил» вышел из-за косы и прямо бежит к Бельской конторке. Мы с отцом стоим на трапе. Мы так же, как и там на берегу, проглядели все глаза. Вот они! Вот они! Вон мама, а вон и Саша! Машем платками, шапками. Мама радостно плачет. Приехал ее «ненаглядный». Незабываемые минуты! Пароход дал тихий ход. Стоп, бросай чалки!

Мы внизу, у выхода… Еще минута, через сходни я стремглав бросаюсь к матери. Забываю все на свете. Поцелуи, расспросы. Идем к берегу, а там Алексей с Буркой. Увидал нас, подает… Все рады, все счастливы. Все уселись в тарантас, вещи взяли в телегу, поехали. Все ново — и лагерь, и казармы, и острог… Еще год назад все было огромно, а сейчас, после Москвы, такое все маленькое… И улицы, и домики — все, все маленькое. Зато так много садов и много знакомых, они кланяются нам и рады нашей радости.

А вот и наш дом. Ворота отворены, в них стоят, ждут не поехавшие встречать. Опять приветствия, поцелуи. Я «вырос», на мне если и не тот мундир, которым мне вскружили голову и дали повод так основательно провалиться в Техническом, то все же

нечто московское. Курточка, штанишки навыпуск, и еще что-то, чем я приобщен к столице.

Побежали дни за днями скоро, радостно. У меня была лошадка-гнедышка, с казацким седлом, и я неустанно скакал по городу и за городом, забывая о том, что день отъезда все ближе и ближе. Меня сладко кормили. Частенько делали пельмени, до которых все по ту сторону Волги, «за Волгой», большие охотники.

Вот и лето пролетело… Стали поговаривать о Нижегородской ярмарке, о Москве… Решено было, что на этот раз с отцом поедет и мать. Таким образом разлука с ней все же отодвигалась недели на две, на три…

Опять пароход, Белая, Кама, Волга. Нижний с шумной ярмаркой, с Китайскими рядами, со всей ярмарочной пышностью, суетой, гамом… Снова Москва — и… вновь разлука до весны. Слез много, но меньше, чем год назад. Встреча с приятелями, новые впечатления, и вот опять идут дни за днями, однообразно-разнообразные.

Я начинаю выделяться по рисованию. Александр Петрович Драбов, наш учитель рисования, тихий, как бы запуганный человек, явно интересуется мной. Меня начинают знать как рисовальщика учителя и ученики других классов. На мои рисунки собираются смотреть. Мне задают трудные задачи, и я, как Епифанов, рисую с гипса голову Аполлона. Епифанов — первый ученик 7-го класса, математик и лучший рисовальщик в училище, и он со мной особо внимателен, он мне особо «покровительствует» — показывает мне своего Аполлона, я ему своего.

Однако мои успехи ограничиваются рисованием, к остальным предметам — полное равнодушие. Это заботит Константина Павловича. Весной я не выдерживаю экзаменов, о Техническом уже и думать нечего.

Опять приехал отец. Радость отравлена тем, что я остался в прежнем классе на второй год. Отец и Константин Павлович долго совещаются, и я опять еду на каникулы. Вновь радостная встреча и некоторое разочарование в моих успехах. Мне часто напоминают о том, что не все же шалости, надо бы и за дело взяться…

Увлечение рисованием все больше и больше, и вот я опять, уже в третий раз еду в Москву. Этот год был чреват неожиданностями, успехами и был решающим в моей жизни.

Рисование с каждым днем захватывало меня все больше и больше. Я явно стал пренебрегать другими предметами, и все это как-то сходило с рук. Я начал становиться местною известностью своим художеством и отчаянными шалостями… за последние

меня прозвали «Пугачевым». Я и был атаманом, коноводом во всех шалостях и озорствах. Шалости эти были иного порядка, чем в Уфе. Как никогда раньше, хотелось выделиться, и я бывал во главе самых рискованных авантюр. Мне везло. Мои затеи, «подвиги» меня более и более прославляли, и это подвигало меня на новые.

Особенно доставалось от меня некоторым учителям, воспитателям. «Французом» у нас, у младших, был некий месье Бару, в просторечии именуемый «Дюдюшкой». Это было совершенно незлобливое существо, некогда занесенное злой судьбой из прекрасной Франции в «эту варварскую Россию».

Дюдюшка, как воспитатель, жил с нами, с нами должен был и спать. И чего-чего ни придумывал я с моими единомышленниками, чтобы извести бедного старика! Он был очень забавен своей внешностью, с лицом, похожим на гоголевское «Кувшинное рыло», с гладко зачесанными длинными волосами, всегда в форменном сюртуке, всегда напряженный, растерянный, ожидающий от нас наступлений, неприятностей… И эти неприятности на него сыпались несчетно. Вот один из нас, намочив водой классную губку, ловко подкидывает ее вверх, с тем расчетом, чтобы, падая, она угодила к Дюдюшке в стакан с кофе, и она безошибочно попадает туда. Бедный француз, выведенный из себя, со стаканом в руках и с губкой в нем спешит в приемную к Константину Павловичу и, не застав его там, оставляет вещественные доказательства у него на столе, к немалому его изумлению.

Однако такие шалости обходились нам недешево: главарей вызывали в приемную и после разноса переходили с нами «на вы» и, пощелкивая удальцов ключом по лбу, приговаривали: «Вы-с! Вы-с!», грозили написать родителям, а потом оставляли нас без завтрака и на неделю ставили на все свободное время к колонне в приемной. Недолго отдыхал Дюдюшка. Мы скоро снова принимались за бедного старика…

Так же малопочтенны были наши «шутки» с больным чахоточным герром Попэ, воспитателем-немцем. Он, постоянно раздраженный болезнью и какими-то семейными неприятностями, также был нашей мишенью… Ах, как мы изводили его и как он некоторых из нас, и в том числе меня, ненавидел! Бывало, этот получеловек-полускелет в вицмундире кричит на нас неистово, яростно и, закашлявшись надолго, снова с еще большей ненавистью кричит нам: «Ти хуже Тиль, хуже Голощапов, ти самий, самий скверний!» — и снова кашляет. А мы, не будучи злыми, продолжаем его изводить… Ах, какие мы несносные были мальчишки! И я, к стыду моему, самый из них

худший!..

Однако, кроме обычных и чрезвычайных шалостей, мы должны были заниматься и делом — учить уроки, учиться, проделывать все то, что полагалось тогда в учебном заведении, пользующемся лучшей славой в Москве.

Тот год, о котором я сейчас говорю, был интересный год. Как по учебной части были лучшие учителя, так и по разным внеучебным проявлениям школьной жизни. Зимой был у нас бал. Наше прекрасное помещение — дортуары, столовая — превратилось в сад. Кроме учащихся были родители, родственники. Играл тогда популярный оркестр Рябова, дирижера Большого театра. Не помню, в эту же зиму или в другую ставили спектакль. Играли «Женитьбу». Некоторые из учеников были очень забавны. Особый успех имел некий Кандинский из далекой Кяхты[49].

Он прекрасно, живо играл Агафью Тихоновну. Весной нас по праздникам почти всем училищем водили в Сокольники, в старые Сокольники, с огромными вековыми соснами, с великолепными просеками, с целым полчищем чайных столиков, где услужливые хозяйки радушно зазывали каждая к себе. И мы со всем своим продовольствием, с чаем, сахаром, калачами, лакомствами, рассаживались по столам поклассно под начальством старшего ученика.

Я был в Москве, когда пришла весть об убийстве Императора Александра II. Жил я тогда на Спасской Садовой, в Восточных номерах. В этих Восточных номерах в те времена жило много студентов университетских, техников, — жили наши молодые художники из Училища Живописи и офицеры Ростовского Гренадерского полка. Спасские казармы их находились напротив наших номеров.

Поздно вечером 1 Марта 1881 года произошла внезапная тревога. Наши офицеры при оружии куда-то взволнованные спешно уходили. На наши вопросы, куда они спешат, нам «по секрету» отвечали: «В Кремль, присягать новому Государю. Днем в Петербурге был убит бомбой Император Александр II».

Весть эта быстро разнеслась по всем углам наших номеров, и каждый по-своему воспринимал и переживал событие столь огромной важности. Подробностей еще не знали и легли спать поздно, не дождавшись наших Ростовцев из Кремля.

Утром вся Москва знала о Петербургской трагедии. Говорили о ней всюду, на улицах, на перекрестках, в домах, в трактирах. Заунывно звонили московские колокола, сзывая москвичей помолиться об убитом Государе. Наши студенты примолкли, — не таково было настроение в простом народе, чтобы выражать

радость.

Начались эксцессы то тут, то там. Народ избивал учащихся. Говорили, были кровавые расправы с тем, кто вел себя вызывающе, сочувствовал преступлению. Через некоторое время произошло Охотнорядское побоище. Студенты и радикально настроенные интеллигенты были избиты охотнорядцами, и слово «охотнорядец» долго потом было бранным словом нашей интеллигенции.

Рисование мое шло хорошо. А. П. Драбов подумывал, как бы меня познакомить с красками. Было решено, что он будет приходить ко мне во внеурочное время, по праздникам. Стали рисовать акварелью цветы с очень хороших оригиналов, сделанных с натуры бывшими учениками Строгановского училища. Это дело ладилось. Из таких акварелей у меня сохранилась одна небольшая.

В один из уроков рисования у нас появился в классе Константин Павлович и с ним какой-то очень приятный, с седеющими пышными волосами господин. Драбов с ним как-то особо почтительно поздоровался, а поговорив, все трое направились ко мне. Гость ласково со мной поздоровался и стал внимательно смотреть мой рисунок, хвалил его, поощрял меня больше работать, не подозревая, быть может, что я и так рисованию отдаю время в ущерб остальным занятиям (кроме разве шалостей). Простившись со мной, посмотрев еще два-три рисунка, Константин Павлович и гость ушли.

После занятий я узнал, что это был известный, талантливый и популярный в те времена художник Константин Александрович Трутовский. Он был инспектором Училища живописи, ваяния и зодчества. Его сын был первым учеником нашего класса.

Посещение Трутовского имело для моей судьбы большое значение. Он утвердил Константина Павловича в мысли, что на меня надо обратить особое внимание и готовить меня на иной путь. Вскоре мне были куплены масляные краски, и я стал под руководством Драбова копировать образ Архангела Михаила, работы известного в свое время Скотти. Эта копия подарена была позднее в Сергиевскую церковь в Уфе, где и находится до сих пор[50].

Подходили Рождественские праздники. По обычаю прежних лет, стали готовиться к роспуску. День роспуска был особым праздничным днем. Все классы, от младших до старших, каждый по-своему ознаменовали этот день. Было в обычае украшать классы флагами, транспарантами, эмблемами, плакатами. И вот тут для моей изобретательности был большой простор. Еще в минувшем году украшения нашего класса были отмечены всеми,

в этом же году надо было затмить всех. Весь класс был заинтересован в этом. Весь класс помогал мне, чем мог, и сохранял тайну до самого последнего момента, когда класс был разукрашен мной, и остальные классы могли войти и любоваться моим созданием. Похвалам не было конца. Я был героем этого дня и ходил победителем.

Но, как ни был хорошо украшен наш класс к Рождеству, все же то, что было придумано и сделано мною к Светлому Празднику, оставило за собой все предшествующее. Огромный плакат из синей бумаги с очень красивыми, мудрыми буквами, украшенными цветами, орнаментами, был протянут во всю стену класса. На нем вещалось, что сегодня «Роспуск». Об этом говорило и все остальное убранство класса. Любоваться приходили не только ученики, но и все учителя. Меня восхваляли, качали, носили на столах перед всем классом, словом, я был триумфатором. Это был успех, который порядочно вскружил мне голову, и я еще меньше стал думать об уроках, о надвигающихся экзаменах.

На Пасхе Константин Павлович решил послать меня с воспитателем на Передвижную выставку, которая помещалась на Мясницкой же в Училище живописи и ваяния[51]. Пошли мы с Н. И. Мочарским, любителем художеств. Это был незабываемый день.

Я впервые был на выставке, да еще на какой, — лучшей в те времена!.. Совершенно я растерялся, был восхищен до истомы, до какого-то забвения всего живущего, знаменитой «Украинской ночью» Куинджи[52]. И что это было за волшебное зрелище, и как мало от этой дивной картины осталось сейчас! Краски изменились чудовищно. К Куинджи у меня осталась навсегда благодарная память. Он раскрыл мою душу к природе, к пейзажу. Много, много лет спустя судьбе было угодно мое имя связать с его именем. По его кончине я был избран на его освободившееся место, как действительный член Академии художеств.

Из других картин понравились мне поэтический «Кобзарь» Трутовского, «Опахивание» Мясоедова, «Слепцы» Ярошенко[53]. Все эти художники позднее играли заметную роль в моей художественной жизни. Вернулся в пансион я *иным*, чем был до *выставки.*

Экзамены встретил я равнодушно, но все же с грехом пополам перешел в следующий класс, что меня и не радовало уже. Вот и весна, вот и летние каникулы. Не сегодня-завтра приедет отец, и я опять поеду домой в свою Уфу. Многие уже разъехались, классы пустели, становилось скучно.

Однажды меня позвали к Константину Павловичу, я не знал

зачем. Могло быть, что и для проборки за какую-нибудь выходку. Иду. Гадаю. В приемной вижу, сидит с Константином Павловичем мой отец. Обрадовавшись, расцеловались, и тут же было мне объявлено, что с осени я в училище не буду, не поступлю и в Техническое, что меня хотят отдать в Училище живописи и ваяния и что я должен сказать, желаю ли я быть художником и даю ли слово прилежно там учиться и не шалить так, как шалил до сих пор. Не надо было долго ждать ответа. Я пылко согласился на все: и стать художником, и бросить шалости.

Я не знал тогда, каких трудов, какой затраты сил, времени потребуется с моей стороны, чтобы преодолеть все преграды и стать спустя много времени в ряды избранников. Я не знал, чего стоило отцу согласиться с Константином Павловичем отдать меня в училище на Мясницкой, чего стоило отцу проститься с мыслью видеть меня инженером-механиком или чем-то вообще солидным. Каково было именитому уфимскому купцу Василию Ивановичу Нестерову перенести этот «удар судьбы». Сын его — «живописец»! Он знал цену этим живописцам, часто пьянчужкам, полуголодным неряхам.

Тут недалеко уже и до Павла Тимофеевича — сына Тимофея Терентьевича Белякова, старика, почтенного человека, у которого младший сын не удался, да как не удался! Сначала Павел Тимофеевич отпросился в монастырь. Не хотелось старику отпускать его от большого бакалейного дела, да делать нечего, пришлось. Ушел Павел, да не остался в монастыре. Пробыл там год, другой и пропал. Искали везде — нет монаха. Думали, не случилось ли что.

Прошло года два-три. Поехали наши уфимцы на Нижегородскую… Вернулись с ярмарки, рассказывают, что видели Павла Тимофеевича в Кунавине в театре — актером стал. Сам говорил, похвалялся… Затужил старик, забываться стал да вскоре и помер.

Дело повел старший брат. Стали забывать позор семьи. Так нет же, прошел слух, что едет в Уфу новая труппа, и слышно, что в труппе той между актерами и наш «монах». Стали ждать актеров с нетерпением. Вот расклеили по заборам анонс. Состав труппы разнообразный, репертуар тоже. От высокой трагедии до «Прекрасной Елены» — все было обещано уфимцам новым антрепренером Хотевым-Самойловым. Но им хотелось больше всего посмотреть своего «монаха». Вот и его фамилия — Беляков, правда, в самом конце, за ним уже шли декоратор, парикмахер и прочие… Ну да ничего, посмотрим…

Настал желанный день. Шла трагедия Шекспира, и в конце афиши пропечатано, что роль слуги исполняет г<осподин>

Беляков. Все пошли из Гостиного двора смотреть земляка. Ждали нетерпеливо. Что за беда, и сам Мартынов играл лакеев! Как играть — игра игре рознь!

Открылся занавес. Трагедия началась, стала захватывать зрителей. Все ужасы человеческих страстей проходили перед глазами уфимцев. И вот настал желанный момент, — из левой кулисы уныло вылез наш «монах»… с фонарем в руках, поставил его на пол и, не зная, куда себя деть, стал мяться на месте…

Тяжело было ранено патриотическое чувство уфимцев. Так тяжело, что они молча стерпели обиду и молча разошлись по домам и только на другой день дали волю злоязычью[54].

Не раз самолюбивому В. И. Нестерову приходил на ум беляковский позор — неудачливый «монах»-актер. Что-то выйдет из своего «художника»? Не вышел бы богомаз-пьяница… Ну, такова, верно, воля Божья, — посмотрим. К тому же очень хотелось верить словам Константина Павловича. Он зря не скажет, не посоветует. А ведь он говорит, что каяться не придется, толк будет — способности большие… Посмотрим, посмотрим… С этим и в Уфу приехали. Порассказал отец все матери. Посудили, поохали, да так и решили, как советовал Константин Павлович.

В училище живописи, ваяния и зодчества

Лето прошло быстро. Я рисовал и в комнате, и в саду: самому нравилось, другие хвалили…

Снова собрались в Москву. Константин Павлович обещал за лето обо мне подумать. И надумал… Порешили меня устроить у одного учителя — Добрынина, преподававшего у Воскресенского и в Училище живописи математику. У Добрынина на Гороховом поле[55] было два своих домика, в них жили его семья и нахлебники — ученики Училища живописи. Туда и меня отвезли. Помещались мы в двух-трех комнатах на антресолях, человек до десяти молодцов.

В Училище был назначен приемный экзамен по рисованию. Живо помню этот день. Провели нас в один из больших классов (головной) и засадили рисовать голову Апостола Павла. Горячо все взялись за дело… Испытание длилось несколько часов.

Впереди меня сидел деревенский паренек в коричневой, отороченной широкой тесьмой поддевке, с волосами на затылке, подбритыми в скобку, в сапогах со сборками… Он отлично делал свое дело. Я был восхищен его рисунком, да и другим он нравился. Это был крестьянин Рязанской губернии — Пыриков. Позднее, когда Пыриков был принят в головной класс, оказалось, что это его прозвище, а фамилия его Архипов, зовут его Абрам, по батюшке Ефимович — будущий известный художник.

Нравился мне широким, свободным «жюльеновским» штрихом[56] и другой рисунок — Лавдовского, — Фени Лавдовского, хорошего товарища, будущего декоратора Малого театра.

Испытание для меня кончилось счастливо. Я тоже, как Архипов, как Лавдовский, как многие другие, был принят в головной класс. Скоро начались и занятия с профессором Десятовым, учеником Зарянко.

Но возвращусь к нашему общежитию на Гороховом поле, в Гороховском переулке. Более неудачного выбора, чем сделанный Константином Павловичем для меня, трудно было представить. Несогласная семья, молодой, красивый Добрынин — ловелас, всегда раздраженный старой женой, — с нами был груб донельзя.

Кормили нас плохо, выколачивали при всех обстоятельствах те маленькие выгоды, на которых и было построено «предприятие»; проще сказать, нам жилось скверно. Надзор за нами был плохой, выражался он неистовым криком и ругательствами. Нас часто причисляли или к царству пернатых, или к породам менее почтенным, хотя и терпеливым. Мы платили

за все скрытой ненавистью ко всему семейству.

Мы были вольница. Большинство — великовозрастные архитекторы (ученики архитектурного отделения), живописец был я один, и самый младший. Архитекторы уже умели пить, кутили…

Когда Добрынины уезжали в гости или в театр, мы, осведомленные об этом заранее через прислугу, устраивали на нашем чердаке пир. Бросали жребий, кому идти за покупками питий и яств. Помню, однажды и я вынул жребий. Меня снабдили деньгами и списком того, что надо достать, и через окно на крышу и через ворота, тайно от прислуги, я выбрался в наш переулок и помчался на Разгуляй, в знакомый магазин. Исполнил я поручение исправно, получил свою порцию колбасы, сардин и еще чего-то (была обязательная складчина). Я еще пить не умел и только жадно ел.

В конце концов наши похождения были открыты, был неистовый разнос, обещали написать родителям, но не написали — расчета не было, чтобы знали наши папаши и мамаши, как нам живется в Москве на Гороховом поле…

Первую половину года я усердно работал, ходил как на утренние занятия, так и на вечерние. Но постепенно и незаметно мои архитекторы все больше и больше втягивали меня в свою удалую жизнь. Легко подметив мои слабые стороны и особую впечатлительность, им нетрудно было приобщить меня к своим похождениям и разгулу. Я так стремился выделиться, мне так хотелось быть в первых рядах, что я без труда уже на третий месяц в первый же «третной» экзамен был переведен с первым номером в следующий — фигурный — класс за голову Ариадны.

Мои сожители с успехом использовали все это. Чтобы облегчить мне первые шаги в попойках, мне внушали, что какой же ты, мол, «талант», если не пьешь… И тут же назывались знаменитые имена Брюллова, Глинки, Мусоргского и других, которые были великие мастера выпить, и я понемногу, начав со стакана пива, такого горького, неприятного, дошел и до водочки, тоже горькой, тоже неприятной, но зато я, как и они, взрослые и такие «таланты», стал чаще и чаще разделять их компанию и познал немало такого, без чего смело и без ущерба для себя прожил бы век. На всю жизнь эти «таланты» остались памятны мне.

Школа мне нравилась все больше и больше, и, несмотря на отдаленность ее от дома и оргии, я все же первый год провел с пользой, и хотя весной и не был переведен, как думал, в натурный, но замечен, как способный, был.

Уехал домой счастливый и там, незаметно для себя, выболтал

все, что мы проделывали у себя на Гороховом поле. Родители слушали и соображали, как бы положить этому конец. И вот осенью, когда я с отцом опять вернулся в Москву, после совещания с Константином Павловичем Воскресенским, меня от Добрынина взяли и поместили в училищном дворе у профессора головного класса П. Ал. Десятова, но от такой перемены дело не выиграло.

Десятов был очень стар и, в противоположность Добрынину, был женат на молодой… кормилке. Жили они тоже нехорошо. От первого брака были взрослые дети. Старик был строптив, грозен, и ему было не до нас — нахлебников. Мы жили сами по себе…

И тоже большинство были архитекторы. Живописцев было двое. Также бывали кутежи, ночные похождения и прочее. А на случай, если старик вздумает произвести ночной осмотр, было раз навсегда постановлено вместо отсутствующего класть на его кровать чучело. И старик, явившись ночью к нам в одном белье, со свечкой, спросонку видя на кроватях нечто, принимал это нечто из кучи одежды и одеял за своих благонравных питомцев — удалялся опять к своей кормилице. Утром же обычно все были в сборе.

Весело и безалаберно жилось нам у Десятова. Много сил и здоровья и хороших юношеских чувств погребено было за два года пребывания в этом милом «пансионе».

Учились мы не очень ретиво. Именно там я привык лениться. Там у меня появились первые сомнения в себе, и если бы не ряд последующих событий, то, может быть, не много бы вышло из меня толку и, как знать, не повторил ли бы я неудачливую карьеру злополучного земляка-актера.

Как-никак, а школьная жизнь шла. Там работали. Я был второй год в фигурном, и в натурный меня не переводили. Я писал этюды, они тоже были не из лучших. Правда, я в этом году принял участие в ученической выставке, второй счетом. Первая была в минувшем году. Ее инициатором и душой был профессор В. Г. Перов[57]. Еще в прошлом году там отличился ряд учеников: два Коровина, Левитан, Янов, Светославский и еще кто-то. На второй — они же и еще несколько новых.

Я написал маленькую картину «В снежки» и этюд девочки, строящей домик из карт[58]. Их заметили. Я немного ожил, но ненадолго. Шалил я больше, чем работал. Частенько в наказание меня выгоняли из классов на неделю, но милейший К. А. Трутовский, установивший такое благодетельное исправление, сам часто забывал о наложенном им наказании и, встретив в классе наказанного, который продолжал ходить туда, приветливо отвечал на его поклоны при нечаянной встрече и

благодушно расспрашивал его о занятиях и прочем.

В фигурном классе было посменно два преподавателя. Павел Семенович Сорокин, брат знаменитого рисовальщика Евграфа Семеновича, когда-то подавал не меньшие надежды, чем этот последний, но доля его вышла иная: какая-то скрытая драма помешала Павлу, и он, написав интересную программу «Киевские мученики», дальше не пошел. Из него вышел хороший по тому времени иконописец — и только. В жизни он был аскетом: сугубо постился, характера был замкнутого, для молодежи неприятного, и его не любили, звали «монахом», и его месяц был скучный.

Бывало ждем не дождемся мы, когда месяц Павла Семеновича кончится и появится бодрый, остроумный, немного грубоватый, но такой прямой, искренний Илларион Михайлович Прянишников. Все тогда оживало, хотя Илларион Михайлович не давал нам спуску и сильно не любил возиться с бездарными переростками, коих у нас было довольно. Он был человек пристрастный, хотя и честный. Облюбовав какого-нибудь паренька поталантливее, он перешагивал через десяток унылых тихоходов, чтобы добраться до своего избранника. Спрашивал палитру и, просидев часа три подряд, переписывал этюд заново, да как! — и из натурного заходили посмотреть, полюбоваться, что наделал Прянишников. А на экзамене, бывало, Илларион Михайлович, ничтоже сумняшеся, ставил за такой этюд первый номер[59]. Ко мне Прянишников благоволил, и несколько прекрасных этюдов, им переписанных, долго у меня хранились.

Хуже было дело на вечеровых. И лень тут мешала, да и потрудней было работать вечером.

Однако, в первый еще год моего пребывания в фигурном, мне показалось, что рисунок мой клеится. Накануне экзамена, когда Прянишников в последний раз обходил нас всех, я спросил его о своем рисунке, и он весело ответил мне: «Ничего, ходит». Я успокоился, в надежде, что завтра буду уже в натурном.

Каково же было разочарование: меня не только не перевели, но закатили мне 56 номер… Вот тебе и «ходит»! После этого я сильно пал духом и просидел в фигурном еще около года. Перевели меня неожиданно, когда я мало на это надеялся.

Так или иначе, но я в натурном, у Перова, у Евграфа Сорокина… Посмотрим… Первое дежурство было Перова. Мы, новички, его, конечно, уже знали, много о нем слышали. Благоговели перед ним почти поголовно. Он был настоящая знаменитость. Его знала вся Россия. Его «Охотники на привале», «Птицелов» были в тысячах снимков распространены повсюду.

И вот этот самый Перов перед нами… И такой простой, и такой неожиданный, яркий, нервный… Вот он ставит натурщика.

Как это все интересно… Голое тело здоровенного Ивана принимает всевозможные положения, пока, наконец, после долгих усилий, Перов приказал «замелить!» — отметить мелом положение и место следков, и предложил нам начинать. Мы уже сами выбрали себе места, и работа началась, по три часа ежедневно в продолжение месяца. Вечером, как и в предыдущих классах, работали по два часа.

Мы, перешедшие из фигурного, конечно, приемы рисования с натуры знали, но рисовали головы. Теперь надо переходить к более трудному, знать основы анатомии. Мы должны были в фигурном рисовать анатомическую фигуру с гипса. Теперь наши знания надо было проверить на живом теле. Опыты эти на первых порах не всем удавались.

Перов не был сильным рисовальщиком и при всем желании помогал нам мало. Не давались ему и краски: он сам искал их и не находил. Сила его, как художника, была не в форме, как таковой, и не в красках. В его время все это вообще было на втором плане. Его сила была в огромной наблюдательности, в зоркости внутреннего и внешнего глаза. Его острый ум, ум сатирика, сдобренный сильным, горячим и искренним чувством, видел в жизни и переносил на холст незабываемые сцены, образы, типы. Он брал человеческую душу, поступки, деяния, жизнь человеческую в момент наивысшего напряжения. Ему было подвластно проявление драматическое, «высокая комедия» в характерных образах Островского.

И мы инстинктом поняли, что можно ждать, чего желать и что получить от Перова, и, за малым исключением, мирились с этим, питаясь обильно лучшими дарами своего учителя… И он дары эти буквально расточал нам, отдавал нам свою великую душу, свой огромный житейский опыт наблюдателя жизни, ее горечей, страстей и уродливостей.

Все, кто знал Перова, не могли быть к нему безразличными. Его надо было любить или не любить. И я его полюбил страстной, хотя и мучительной любовью.

Заметил меня Перов не сразу. Я в первые месяцы ничем не выделялся: рисовал слабо, красок не видел и очень этим огорчался. Всякие сомнения, уныние и прочее сопутствовали моим неудачам. Однажды, когда Перов подошел к моему этюду, сел и начал поправлять его, я, полный сомнений, начал их высказывать ему. Он слушал молча, когда кончил поправлять, встал и, отходя, сказал громко: «Плохой тот солдат, который не думает быть генералом».

Это замечание поразило меня и нимало не оскорбило, а придало мне энергии, возбудило самолюбие, и я мысленно решил

добиваться наибольшего. Мои живописные дела скоро улучшились.

Перов вообще умел влиять на учеников. Все средства, им обычно употребляемые, были жизненны, действовали неотразимо, запечатлевались надолго. При нем ни натурщик, ни мы почти никогда не чувствовали усталости. Не тем, так другим он умел держать нас в повышенном настроении.

Был случай, когда перед «третным» все спешили кончить «группу». Жара от десятков ламп была чрезвычайная. Натурщик и ученики обливались по́том, силы стали изменять. Перов видел это и знал, что рисунок во что бы то ни стало должен быть кончен. И вот он обращается к Артемьеву (будущему артисту Художественного театра «Артему») и говорит ему: «Господин Артемьев, расскажите нам что-нибудь». И Артемьев, с присущим ему талантом, рассказывает ряд самых смехотворных анекдотов. Все оживают. Натурщики тоже передохнули. Перов это видит, благодарит Артемьева, приказывает Егору и Ивану встать, и класс, освеженный, принимается за дело. Нет того положения, из которого бы не сумел выйти Василий Григорьевич.

Его месяц кончается. Ждем Сорокина. Он и внешностью своей и всем своим содержанием сильно разнится с Перовым. Если Перов похож на копчика, с хищным горбатым носом, сильный брюнет нерусского облика (он был сын барона Крюденера), очень нервный, подвижный, желчный, сангвинический, то Сорокин — чисто русский, высокий, полный, ленивый, благодушный. Он не спешит никуда, не любит много говорить, флегматик.

Сорокин знал рисунок, как никто в те времена, но возиться, работать он не любил. С нами занимался нехотя. Механически брал папку и уголь и, едва глядя на модель, смахнув нарисованное учеником, твердой рукой становил все на место, отодвигал папку с рисунком и проделывал то же у соседа. Он не выговаривал букву «р» и говорил, беря уголь в руки — «дайте тляпку», и этой тряпкой уничтожал наши многодневные старания одним взмахом. Не любил он и писать. Писал, скорее намечая форму, чем цвет, предпочитая «блямлот» и «умблю» (браунрот и умбру) другим краскам.

Мы его любили, но не той горячей ревнивой любовью, что Перова. Он был лениво-справедлив, лениво-честен, лениво-добр, лениво-талантлив. Все — спустя рукава, лишь бы с рук сбыть.

У Перова учениками был весь класс, у Сорокина — Янов да Валерьян Васильев…

Как и сказал я выше, за год до моего поступления Перову пришла мысль устроить в Училище ученическую выставку. В год моего поступления была первая. На второй я участвовал.

Участвовал и на последующих до 1887 года, когда, уже кончившим курс художником, выставил свою «Христову невесту».

Памятна мне третья ученическая выставка. Я стал пристращаться к эскизам, к картинам. Жил уже не у Десятова, а в меблированных комнатах, на полной своей воле… Пользовался этой волей я безрассудно, и все же у меня оставалось время и для классов, и для картин.

Я затеял написать купца, отъезжающего из гостиницы. Сюжет не столько «перовский», сколько В. Маковского. Взял я его с натуры. Немало я видел таких отъездов. Картина была готова, в свое время доставлена в Училище, на выставку. Завтра открытие, а сегодня будет смотреть ее Перов. Место у меня хорошее в натурном классе.

Все готово. Явился и Василий Григорьевич. Мы его окружили и двинулись осматривать по порядку. Многое он хвалил, кое-кому досталось. Дошел черед и до меня. Смотрит Перов внимательно, озирается кругом и спрашивает: «Чья?» Называют мое имя, выдвигают меня вперед еле живого. Взглянул, как огнем опалил, и, отходя, бросил: «Каков-с!»

Что было со мной! Я ведь понял, почуял, что меня похвалил «сам Перов», что я дал больше, чем он от меня ждал. Мне больше ничего не надо было, и я незаметно ушел с выставки, чтобы одному пережить то новое, сладостное, что почудилось мне в похвале Василия Григорьевича[60].

В тот же вечер полетело подробное письмо в Уфу. Славный это был день. Картина кем-то была куплена, и о ней был хороший отзыв[61]. Чего же больше для семнадцати-восемнадцатилетнего малого!

Однако классные занятия шли так себе. Лучше были эскизы, я ими и больше интересовался. Так прошел еще год — третий — в Училище живописи.

Жизнь Училища я любил. В ней мне все нравилось. Атмосфера вольная, отношения со всеми дружеские, шалости, а шалил я еще как школьник, не зная, куда девать избыток сил.

В научные классы заглядывал я нечасто. И тут мне сильно везло. Ничего почти не делая, я как-то умудрялся на экзаменах отвечать хорошо. Был случай, когда из истории искусств, зная очень немного, два-три билета, я вынул один из них и прекрасно ответил, получил пятерку, а за мной вышел отличный ученик — архитектор, вынул тот, быть может, единственный, который он знал слабо, и не ответил на него, и ему Быковский поставил неудовлетворительный балл, пристыдил, поставив ему примером меня с моей «пирамидой» Дашура[62], которую я так ловко начертил на доске. Частенько так бывало со мной, нечего греха

таить…

В 12 часов, когда этюдные классы кончались, кончались занятия и у архитекторов. Был часовой перерыв, после которого начинались — часов до трех-четырех — научные классы. И вот этот-то перерыв я заполнял своей особой. Мои шалости, мои нескончаемые выдумки обращали на меня общее внимание. Я был всюду. Носился, как ураган, из классов в курилку, из курилки (я не был курящим, но мне всюду надо было поспеть) к Моисеичу, от Моисеича к Петру Егоровичу, и так, пока перерыв не кончится и нас, бывало, позовут наверх, в научные классы.

Но скажу здесь несколько слов о Моисеиче и о Петре Егоровиче, очень заметных лицах училищного штата.

Моисеич был старик лет пятидесяти пяти, седой, красивый, румяный, очень добрый, благодушный. Он и его жена Моисевна окармливали нас, школяров. У них в корзинах, которые приносились к 12 часам в комнату по соседству с курилкой, чего-чего не было. Тут были бидоны с молоком, тут были горы калачей, булок пеклеванных, разных колбас, сосисок, котлет, пирожных и прочего. Тут можно было позавтракать до отвала копеек на 20. Пеклеванник с колбасой стоил пять копеек. Отличного молока с хлебом можно было иметь большой стакан за пятачок же. Прекрасная свиная котлетка с хлебом — 15 копеек. И все лучшего качества, без обмана, Моисеич и его жена были на редкость честными людьми и нас — школяров — жалевшими.

У меня почти всегда водились деньжонки, и я обладал дивным аппетитом и поедал у Моисеича всякой всячины копеек на 20 и больше. Обычный же скромный завтрак можно было иметь «до пятачка», как, бывало, выкрикивали школьники, продираясь через толпу к стойке Моисеича. Тут вот и молоденький еще Левитан, бывало, съедал свой скудный обед «до пятачка».

Моисеич давал и в долг, и часто, к сожалению, очень часто, без отдачи, и все же ни он, ни Моисевна отношений к нам не меняли, нам верили и нас как-то трогательно любили. Славные, простые русские люди были эти Баталовы (такая их была фамилия)…

Неподражаем бывал Моисеич утром в день открытия выставки, Передвижной или Ученической. Он приходил празднично одетый, с медалью, брал каталог и, сложив его трубочкой, внимательно, часов до двенадцати рассматривал в эту трубку все картины, особо останавливаясь на знакомых ему именах художников, бывших учеников. Ими он гордился, их успехи были ему близки.

Умер Моисеич глубоким стариком… Я уже был художником,

проездом из Киева, где я расписывал тогда Владимирский собор, узнал, что Моисеич тяжко болен. Я отправился в Екатерининскую больницу, навестить его. Мы оба любили друг друга как-то особенно, и последнее свидание наше было такое душевное. Скоро Моисеича не стало.

Иным был Петр Егорович. Он был главный хранитель платья учеников — заведовал гардеробной. Это был старик, прихрамывающий на одну ногу. Он когда-то служил натурщиком в школе. На нем учились Евграф и Павел Сорокины, Перов, братья Маковские, Прянишников, Шишкин и другие (все они были учениками нашего училища). Затем, повредив себе ногу и состарившись, Петр Егорович остался при школе. Он был умен, авторитетен, строг с нами, однако справедлив, и его любили. Он был великий мастер выпить. Тут же в раздевалке был особый уголок, где хранилась у него водочка и закуска, и Петр Егорович частенько удалялся в свой уголок. С ним не только мы, школьники, но и наши учителя, сам Перов, были «на особой ноге».

Петр Егорович любил меня, любил мою кипучую натуру, шалости мои. Он и Моисеич смотрели на меня особыми глазами, как на «чудушку». Я, быть может, чем-то напоминал им молодость, и что бы я ни проделывал, бывало, не выдадут. Когда я уже был в Академии, в Училище поступил такой же сорвиголова, как я, и когда тот что-нибудь выкидывал особенное, Петр Егорович говорил ему: «Где тебе! Вот был у нас Нестеров, не чета тебе, у него бы поучился…»

Из натурщиков я застал «кривого Ивана». Этот кривой Иван да Петр Егорович были для Училища тем же, чем знаменитый академический Тарас для Академии. С ними связаны разные легенды школы и Академии. Кривой Иван, как почти все натурщики, был пьяница. Пили натурщики как от праздности, так и от своего ненормального труда. Умер кривой Иван глубоким стариком.

Остальные натурщики жили в Училище сравнительно не подолгу, были чаще из банщиков и почти все спивались. В головном и фигурном для головы модели брали или из богаделен, или по знакомству, — они были приходящими, тогда как все эти Иваны «кривые» и просто Иваны жили в Училище, жили по годам.

Время шло, а я все еще не мог считать, что скоро кончится мое учение. Медали за этюд и за рисунок не приближались, а отдалялись, хотя я и видел, что меня считают за способного. Время от времени я бывал у Воскресенского и не скажу, чтобы эти визиты были мне легки: приходилось сочинять небылицы о своих

успехах и о многом умалчивать.

Жизнь Училища шла обычным порядком. Экзамены были ежемесячно. К Рождеству и к Пасхе были «третные». Они, конечно, к чему-то обязывали, но никак не изнуряли нас. Где тратились силы, здоровье и время — это в «филиалах» школы, в трактирах и прочих учреждениях, не имеющих ничего общего ни с наукой, ни с искусством, ни с воспитанием. Все эти Морозовы, Пузенковы, Баскакины[63] — вот они-то и были повинны во многом.

Как мы доходили до них? Путей было много: среда малокультурная, отсутствие семьи, молодечество, свойственное возрасту, так называемый темперамент, да мало ли что толкало нас к «Морозовым», и там многие из нас гибли… И что особенно больно — гибли способные, талантливые, сильные…

В этих трактирах сосредоточивалась жизнь, но какая… Попойки, игра на бильярде чередовались еще худшим. Некоторые великовозрастные «таланты», как П. Ф. Яковлев, Неслер, Ачуев, устроили себе там род «биржи». Туда приходили нанимателя, их рядили на разного рода работы, в типографию, писать портреты, ретушировать фотографии, да мало ли в те времена кому мы были нужны. И можно сказать, что некоторые из этих молодцов трактир знали лучше, чем школу. Школа давала им «положение», трактир умел это положение использовать.

Нередко тамошние заседания кончались скандалами, побоищами. Крутая лестница Морозовского трактира бывала ареной драм. Однажды там дошло до того, что архитектора Р. сбросили сверху. Внизу он очутился уже мертвым… Сильно жили тогда… Следующие поколения такой жизни уже, к счастью, не знали.

В описываемое мной время пили и наши учителя. Пил и Перов, и обычным делом было, придя к нему, услышать: «Водочки не хотите ли?» А как пил Саврасов, даровитейший из пейзажистов того времени, умница, благородный Саврасов…

Четвертый год я был в Училище, а медалей нет как нет. Приятели стали поговаривать об Академии… Кое-кто уже уехал. Уехал Рябушкин, кто-то из архитекторов. Слухи о них были хорошие. Академия их приняла ласково.

Раньше, чем решиться покинуть школу, советовались мы с Перовым. Пошел и я к нему. Перов нас не поощрял, говорил, что ехать нам рано, что Академия нам не даст того, что мы ожидаем. Мы советы выслушали, но про себя решили в следующую осень уехать, тем более что здоровье Перова стало заметно изменять ему.

Летом я объявил о моем решении родителям. Они не знали,

что мне посоветовать, и мне думалось, что какое-то сомнение их тревожило, они побаивались, что художество мое в опасности.

Все каникулы я, можно сказать, проболтался. Свел дружбу с актерами, игравшими у нас в летнем театре. Сошелся с одной актерской парочкой, с трагиком Глумовым и его милой женой. Трагик был бесталанный, но человек хороший, а жена совсем пленила меня и славным личиком своим, и преклонением перед несуществующим талантом своего Саши, который с полгода назад увез ее из Курска чуть ли не из седьмого класса гимназии.

Глумов играл одинаково плохо и Гамлета, и Малюту Скуратова, причем, играя последнего, так неистово вымазывал себе кирпичной краской лицо и пускал по нему такие рябины, что его Малюта вовсе терял облик человеческий.

Публика Глумова не любила, и Ольга Петровна приписывала это невежеству уфимцев. По ее словам, у них в Курске театр при появлении Саши трещал от аплодисментов… Жила эта пара бедно, нанимали они комнату в маленьком деревянном домике около театра. Спали и обедали на ящике с Сашиными костюмами Отелло, Кина, царя Бориса.

Я дома почти не бывал. Бывал за кулисами или на террасе у театра с актерами за бутылкой пива, а то у Глумовых, в качестве верного друга и художника-ценителя. Всем троим нам жилось тогда хорошо: мы верили в наше счастливое будущее…

Так прошло лето. Надо было собираться в Петербург, в Академию. Глумовы, не признанные Уфой, ехали в Пермь, в надежде, что просвещенные пермяки воздадут им по заслугам и звезда, сиявшая над Сашей в Курске, еще ярче засветится в Перми…

В Академии художеств

Простившись с Уфой, с родителями, я поехал в Питер. В ту осень нас поступило в Академию человек пять. Ехал я с князем Гугунавой, или Ванечкой Гугуновым — славным малым, но мало способным.

Остановились против Николаевского вокзала в Знаменской гостинице и, приведя себя в порядок, пошли по Невскому на Остров. Шли долго, пораженные всем тем, чего не было ни в Уфе, ни в Москве. Перешли Дворцовый мост и очутились на славном Васильевском острове. Пошли по набережной, стали искать Академию… Спрашивали добрых людей перед каждым большим зданием, не Академия ли это художеств. Но ее все не было. Была Академия, да не та, что нам нужна, — Академия наук, где спустя лет восемь появился мой «Варфоломей»[64].

Прошли университет, кадетский корпус. Подошли к египетским сфинксам, стали около, глядим — огромное здание, над входом написано: «Свободным художествам», но, помня пережитые неудачи, мы не верим себе и уже робко спрашиваем прохожих: «Скажите, где тут Академия художеств?» Нас осматривают, как каких-нибудь барнаульцев, и говорят, что мы стоим перед Академией. Мы сконфуженно благодарим и, перейдя улицу, вступаем в сей великолепный храм искусства.

В вестибюле видим парадно одетого в придворную красную ливрею с орлами швейцара, который на наши расспросы снисходительно посылает нас в канцелярию. Мы идем туда, подаем свои «бумаги». Нам назначают время, когда прийти узнать о своей судьбе, но мы о ней мало беспокоимся, так как по уставу и традициям, мы, ученики натурного класса Московского училища живописи, в виде исключения, принимаемся в натурный же класс Академии без экзамена.

В тот день много чудес перевидали мы с Ванечкой. Не помню, ели ли мы или питались только восторгами от петербургских красот. Дня через два-три узнали, что мы приняты, так, как и ожидали. Наняли себе на Острове комнату, а скоро начались и занятия.

Академия после Училища нам не понравилась. Огромные коридоры обдавали холодом. Во всем было что-то официальное, казенное, не было и следа той патриархальной простоты, что в Московском Училище. Вицмундиры профессоров, их мало популярные имена — Вениг, Шамшин, фон-Бок — после Перова, Прянишникова, Сорокина, Саврасова, нам ничего не говорили. Правда, тут был автор «Привала арестантов» — Якоби, но вид его

нам показался несолидным.

О Чистякове же мы в Москве ничего не слыхали, а он-то и был тогда центром, желанной приманкой для многих. К нему тогда и шли все наиболее талантливые, все, кто хотел серьезно учиться живописи и рисунку.

В первый месяц дежурил Василий Петрович Верещагин — тихий незаметный человек, показавшийся нам после Перова таким скучным. Он мало с нами говорил, отношение к делу было совершенно формальное. Этюд я написал плохой, плох был и рисунок. Эскиза не подавал вовсе. Ничем на себя внимания не обратил. Для начала худо…

Второй месяц был месяц Якоби. Натуру поставил он, что называется, эффектно, но сам! На что он похож! Подвитой, раскрашенный, с эспаньолкой, в бархатном пиджаке, в гофрированной рубашке, в белом большом галстуке. Он разочаровал нас. Советы тоже поверхностные, несерьезные.

И у меня опять плохой этюд, плохой рисунок. Даже Ванечка Гугунава получил номер лучше меня.

Третий месяц. Третной. Дежурит утром Чистяков, вечером Шамшин. К Чистякову все льнут. Где он остановится, сядет, там толпа. Пробовал и я подходить, прислушивался, но то, что он говорил, так было непохоже на речи Перова. В словах Чистякова и помину не было о картинах, о том, что в картинах волнует нас, а говорилось о колорите, о форме, об анатомии. Говорилось какими-то прибаутками, полусловами. Все это мне не нравилось, и я недовольный отходил.

Душе моей Чистяков тогда не мог дать после Перова ничего. А то, что он давал другим, мне еще не было нужно, я не знал еще, как это будет необходимо на каждом шагу серьезной школы и что я постиг гораздо позже, когда усваивать это было куда трудней[65].

Петр Михайлович Шамшин (будущий ректор) был высокий, важный, медлительный старик сенаторского вида, бритый, наглухо застегнутый, корректный. Он подходил или, вернее, подсаживался к рисунку на вечеровом, брал от ученика папку и долго смотрел на рисунок и на натурщика, затем медленно, немного в нос, говорил почти всем одно и то же: «Да-с, изволите видеть, у нас с вами лодыжка не на месте». Поправлял лодыжку и продолжал: «Да-с, в наше время, изволите видеть, покойный Карл Павлович Брюллов говорил…» и т. д. Посидев около рисунка минут десять, переходил к следующему с более или менее однородными речами. Шамшин был добросовестный, но не талантливый человек, запоздавший на много лет со своими художественными взглядами, методами.

Ректором живописи был в первый и во второй год моего

пребывания в Академии знаменитый гравер, современник Пушкина, глубокий старик Федор Иванович Иордан[66]. Федор Иванович по преклонности лет появлялся у нас очень редко и, говорят, мало уже вникал в дела Академии. И все же в месяц раз мы его видели в стенах Академии. Бывало, во время перерыва на вечеровом, когда из натурных классов повалят толпой в эскизный, а из него в огромные высокие коридоры, в конце такого коридора навстречу нам медленно двигалась процессия. Это шествовал ректор Иордан, а за ним инспектор классов П. А. Черкасов, кто-нибудь из профессоров и толпа академистов.

Федор Иванович — небольшой, совершенно белый старичок с розовым личиком, круглыми, от старости как бы остановившимися глазами, открытым ртом, напряженно слушал в приставленную к правому уху трубу, что ему кричал, докладывая, инспектор. По пути следования ректора мы все шпалерами останавливаемся у стен коридора, кланяемся ему, а он благосклонно нам отвечал. Федор Иванович шествовал в классы…

Вот что будто бы произошло года за два до смерти Федора Ивановича, что ходило среди нас, как забавный слух, но что выдавали тогда за истинное происшествие. Ф. И. Иордану было около восьмидесяти лет, и он однажды тяжело заболел. Президент Академии художеств в ближайший день доложил об этом Александру III. Государь выслушал, выразил сожаление и спросил, нельзя ли сделать для больного что-нибудь ему приятное. На следующем докладе Президент доложил Государю, что, по-видимому, больному было бы приятно получить чин Действительного Тайного Советника. Это был первый случай, обычно ректоры Академии кончали свою жизнь лишь «Тайными». Государь улыбнулся и приказал изготовить соответствующий рескрипт. И Федор Иванович, получив «действительного тайного», проболев еще немного, взял да и выздоровел и прожил в пожалованном высоком чине еще с год или больше…

Так или иначе, в Академии я не нашел желанного, и казалось, что Перов был прав. Однако я продолжал ходить в классы, писать плохие этюды и рисовать такие же рисунки.

Прошел учебный год. На последнем третном кое-кто из наших отличился, и, что самое обидное, мой приятель Гугунава получил малую медаль за этюд, и выходило так, что бесталанный Гугунава оказался достойнее меня, считавшегося способным…

С неспокойным чувством я ехал в Уфу. Лето там провел беспорядочно, много нервничал, скакал, как сумасшедший, на своей Гнедышке. Извозчики на бирже, мимо которых я проносился ураганом, кричали мне следом: «Смотри, Нестеров, сломаешь себе шею!» Конечно, к этому было достаточно случаев,

летал я через голову моей лошадки не раз, но шея оставалась несломанной…

Так прошло лето. Я снова в Питере, снова в Академии. Я зол, все мне не по душе. Все и всех критикую, дело же ни с места.

Приятели-москвичи перегоняют меня по всей линии. Рябушкин получил медаль за эскиз[67]. Получил медаль за свое «Благовещение» Врубель. Я же, хотя за эту же тему и получил первую категорию, но не медаль. Да и не стоил мой эскиз медали; он был сделан весь по Доре, что тогда вообще практиковалось, но не поощрялось.

Врубель был ярый «чистяковец», и мне казались странными приемы его. Он, помню, сидел «в плафоне» натурщика (у его ног) и рисовал не всю фигуру, а отдельные части: руку с плечом в ракурсе или следок, но рисовал подробно, с большим знанием анатомии, воспроизводя не только внешний, видимый рисунок, но тот внутренний, невидимый, но существующий.

Этот метод — чистяковский — был нам, перовцам, совершенно непонятен, казался ненужным, отвлекающим внимание от целого, общего впечатления, и так как остальные профессора держались такого же мнения, то мы и рисовали по старинке, или, вернее, механически.

В ту же зиму я стал особенно задумываться о своей судьбе. Мне было уже двадцать лет, а в прошлом — одни неудачи и беспорядочная жизнь. Было от чего задуматься. В это тревожное время, кроме Паши Попова, меня всячески поддерживал и Ванечка Гугунава. Они не давали мне унывать, падать духом, утешали меня тем, что все это пройдет, что такое состояние временное и прочее, и прочее.

В Академии было правило: прежде чем писать программу на золотую медаль, необходимо было сделать копию в Эрмитаже с одного из великих мастеров. Я стал чаще и чаще ходить в Эрмитаж, пропуская этюдные классы.

В те времена там копировало много художников. Само собой, копии были разные, и хорошие, и так себе. Я подумал, отчего бы и мне не попробовать что-нибудь скопировать, не боги горшки обжигают… После долгого размышления я остановился на голландцах, на Метсю[68]. Заказал подрамок, достал разрешение и начал. Начал прилично и скоро этим увлекся.

Копия выходила неплохая, да и жизнь Эрмитажа мне нравилась больше и больше, а Академия все меньше и меньше… Эрмитаж, его дух и стиль и прочее возвышали мое сознание. Присутствие великих художников мало-помалу очищало от той скверны, которая так беспощадно засасывала нас в Москве. Кутежи стали мне надоедать — я искал иную компанию.

Утром спешил я в Эрмитаж. Там все было мило: важный, снисходительный, красивый швейцар в великолепной ливрее, и старые, вежливые капельдинеры, и академик Тутукин — один из хранителей Эрмитажа.

Петр Васильевич Тутукин был как бы необходимая часть Эрмитажа. Он был один из старейших служащих его, остаток былых времен, времен Николаевских. В те времена ему было много лет, лет семьдесят, наверное. Элегантный, как маркиз, совершенно белый, шаркающий маленькими ножками, маленький старичок в вицмундире, со всеми был отменно любезен, добр, благожелателен.

Когда-то давно, на заре своей художественной жизни, он рисовал перспективу Помпейской галереи Эрмитажа[69]. Однажды утром он сидел за мольбертом, погруженный в свое кропотливое художество, и слышит сзади себя шаги. Шаги величественно-мерно приближались к нему. Какое-то непонятное волнение заставило молодого Тутукина подобраться, и он, не изменяя позы, затаив дыхание, продолжал свое дело. Шаги смолкли. «Некто» остановился сзади художника, волнение которого возрастало с каждой секундой. Дыхание как бы остановилось. Он чувствует, как «некто» наклоняется над ним, слышно его дыхание… Ухо ощутило прикосновение острого конца уса… Сердце бьется, бьется. В этот момент «Некто» произносит: «Молодец!» Шаги снова раздались. Петр Васильевич поднимает отяжелелые веки от своей перспективы и видит величественную фигуру удаляющегося Императора Николая Павловича… Какое огромное, неизъяснимое счастье… Случай скоро стал известен. Молодого художника заметили, стали его приглашать давать уроки в высокопоставленные дома. И он, такой приятный, скромный, обязательный, стал делать свою петербургскую карьеру художника, закончившуюся долголетним пребыванием старшим хранителем Императорского Эрмитажа. Умер П. В. Тутукин глубоким стариком, и кто в те времена не знал и не любил этого милого, совершенно седого старичка, галантно шаркающего ножками по великолепным паркетам Эрмитажных зал…

Ничего петербургского в те поры, кроме Эрмитажа, я не любил, и душа моя часто возвращалась в Москву, но теперь Москву иную: не на Гороховое поле, не к Десятову, не в меблирашки, а в Москву старого быта, к городу такому русскому, что я ярко почувствовал в холодном полуиностранном Санкт-Петербурге, где я болел тифом, где так не повезло мне в холодных, величавых классах и коридорах Академии, в Петербурге, с которым мирил меня только великолепный Эрмитаж и великие творения, его населяющие.

Мои неудачи так были чувствительны, что я стал подумывать о бегстве в Москву, в Училище, к Перову. Настала весна, надо было ехать в Уфу. По дороге, конечно, остановлюсь в Москве, и тогда, повидавшись с Перовым, это дело решу.

В Москве в первый же день узнал о тяжкой болезни Перова и о возможности скорой развязки. У Василия Григорьевича была скоротечная чахотка, и он доживал в подмосковных Кузьминках свои последние дни. Я с кем-то из приятелей-учеников посетил его там, а через несколько дней узнал, что Перов скончался. Его торжественно похоронили в Даниловой монастыре.

Горе мое было велико. Я любил Перова какой-то особенной юношеской любовью. Разбитый, неудовлетворенный, приехал я в Уфу, не приняв никакого решения насчет перехода из Академии в Училище.

Дома меня приняли холодней обычного. Мои нервы были в плохом состоянии. Мне нужно было сильное средство, чтобы забыться, забыть утрату Перова и все свои неудачи. Я искал это средство, как больной зверь, повсюду вынюхивая полезные зелья. В то лето я много гулял один за городом, по Белой. Мне было тяжело оставаться дома. С близкими были нелады.

Помню такой случай: однажды я пошел гулять со своим приятелем гимназистом 8-го класса Андреем Волковичем, позднее военным врачом, погибшим на «Петропавловске» вместе с В. В. Верещагиным и адмиралом Макаровым[70]. Пошли мы вниз по Белой, захватив на целый день провизии. День был жаркий. Мы зашли далеко, туда, где не было никаких признаков человеческого жилья. На душе было хорошо, мы были в прекрасном настроении, безотчетная молодая веселость не покидала нас.

Река была все время слева, такая тихая, прозрачная, маняще-теплая. И мы надумали покупаться. Разделись, вошли в воду, захватив с собой свои палки, срезанные по пути. Мы оба не умели плавать, палки захватили, чтобы измерять глубину реки, и, незаметно уходя от берега, почувствовали оба сразу, что быстрота течения так усилилась, что мы едва держимся на ногах… Еще шаг, другой, и напор воды под ноги нас снесет, и мы беспомощно понесемся вниз по Белой… Смертельная опасность одновременно почувствовалась обоими, и мы инстинктивно со всей силой уперлись нашими палками в дно реки. Смертельно бледные, мы стали отступать к берегу медленно, шаг за шагом, пока не вышли из воды. И тогда оба сразу поблагодарили Бога за наше спасение от неминуемой гибели.

Лето прошло, и снова прощание, проводы, поездка обычным путем в Питер, так как я летом уже решил, что без Перова мне

Московское училище не даст ничего. По слухам, вместо Перова будет назначен В<ладимир> Маковский — это мало меня привлекало.

В Петербурге опять немилая Академия… Эскизы заведомо тенденциозные. Помню, за один такой на батальную тему — «Проводы войск на войну в провинциальном городке» — я получил официальный выговор, который вполне заслужил, поместив в числе действующих лиц самого ректора (тогда уже Шамшина), кого-то из профессоров, до нашего бравого вахтера включительно. В этюдный класс продолжал не ходить, рисунок на вечеровом делал нехотя… И по-прежнему с удовольствием пребывал постоянно в Эрмитаже, получив разрешение копировать «Неверие Фомы» Ван-Дика[71]. На этой копии я отдыхал. Она удавалась, то и дело ко мне подходили, хвалили меня. Ежедневно заглядывал и милый академик Тутукин, он явно благоволил ко мне.

В тот год я проболел брюшным тифом, а потом, выздоравливая, поел неумеренно и захворал возвратным.

Я тогда жил на Среднем проспекте, на пятом этаже с моим приятелем, архитектором Павлом Поповым, очень способным, добрым и милым молодым человеком из хорошей московской семьи, который очень хорошо на меня влиял. Он через три года неожиданно умер после операции геморроя, в палате для заразных, куда его положили в Басманной больнице. С благодарным чувством я вспоминаю Пашу Попова.

Однажды по Эрмитажу долго ходил старый генерал-адъютант. По тому, как все служащие при нем подтягивались, как почтительно поздоровался с ним сам академик Тутукин, надо было полагать, что старик — важная птица. Медленно гуляя по залам, он подошел и ко мне. Долго смотрел копию, похвалил. Спросил, где я учусь, и у кого, и откуда родом. Узнав, что я из Уфы, оживился, задал несколько вопросов и, пожелав мне успеха, прошел дальше. На другой день П. В. Тутукин сообщил мне, что вчерашний важный генерал был [бывший] министр внутренних дел генерал-адъютант Тимашев, мой земляк-уфимец.

В ту зиму мы, копирующие в Эрмитаже по понедельникам, стали замечать в определенный час господина, проходящего по анфиладе зал от испанской до голландской. Господин был во фраке, походка его была «министерская» — важная, твердая, уверенная. С ним тоже все были особо почтительны. Господин проходил около меня близко, мельком оглядывал копию и копировщика и следовал дальше к окну последнего зала, где копировала что-то, как нам говорили, дочь американского посла. Там около нее господин во фраке оставался с полчаса и той же

министерской походкой проходил обратно, и так до следующего понедельника.

Как-то я спросил П. В. Тутукина, что за важная персона проходит по понедельникам к «посланнице». Он мне сказал, что это Иван Николаевич Крамской, что он в этот день в Эрмитаже дает урок Великой Княгине Екатерине Михайловне. Так вот кто был господин с министерской походкой…

В один из последующих понедельников совершенно неожиданно Крамской по пути к «посланнице» свернул ко мне, поздоровался, спросил, где я занимаюсь, откуда, и, узнав, что я из Москвы и бывший ученик Перова, с особым вниманием стал меня расспрашивать об Училище, об Академии. Ему, видимо, понравился мой отзыв о покойном Перове. Он очень одобрил мою копию, сделал кое-какие замечания и, в заключение, пригласил бывать у него.

Вскоре я воспользовался приглашением и стал бывать у Ивана Николаевича с большой пользой для дела, до самой его смерти. В ту зиму знакомство с Крамским было самым знаменательным. Он мне посоветовал вернуться в Москву и там кончить школу, а что делать дальше — будет видно. Так я и сделал[72].

Однажды на вечеровом бродил я по коридору с сыном Крамского архитектором Николаем. Он поздоровался со встречным академистом, познакомил и меня с ним, назвав его Турыгиным. Мы пошли втроем.

Турыгин был плотный, коренастый, с длинными волосами, с едва пробивающейся рыжеватой бородкой юноша лет двадцати. Он деловито, солидно вступил в нашу беседу. С того дня я стал часто встречаться с этим неглупым малым. Оказалось, он бывает у Крамского, и мы однажды с ним там встретились, после чего через какое-то время Турыгин, по совету Крамского, предложил мне с ним заниматься живописью приватно. Это был мой первый и последний ученик. Позанимались мы недолго — недели две, едва ли больше. Оба поняли, что из такой учебы мало будет толку. Скоро подружились, перешли на «ты» и остались большими приятелями на всю жизнь. Переписка с Турыгиным продолжалась на протяжении более сорока лет[73].

Чтобы не возвращаться к нему, скажу о моем приятеле тут же все, что нужно сказать об этом умном, честном, странном или своеобычном человеке. Александр Андреевич Турыгин происходил из богатого петербургского купечества. Род их не очень давний, а родство именитое: Глазуновы, Елисеевы, Кудрявцевы, Сазиковы — все были в родстве с Турыгиными. Композитор Глазунов — его двоюродный брат.

Дед Турыгина, уроженец Онеги, промышлял лесом. Отец Александра Андреевича продолжал его дело. Мать Александра Андреевича вскоре по рождении его умерла, и отец женился вторично.

Отец Александра Андреевича не наследовал ни энергии, ни воли увеличивать родительские капиталы. Он ликвидировал дело и зажил богатым рантье. Сын его (мой Александр Андреевич) рос да рос, пристрастился к искусству, стал бывать у Крамского, тот направил его ко мне, и со мной в дружбе, в «особенной» дружбе, он прожил жизнь.

Много хорошего мы видели с ним, на его глазах проходила моя жизнь с успехами, удачами и неудачами. Не было у нас друг от друга ничего тайного. Как на духу, один перед другим, мы прошли свою жизнь. И я рад, что судьба в друзья мне послала Турыгина — честного, благородного, умного спутника, по своему медлительному флегматичному характеру совершенно противоположного моей вечной подвижности, неугомонности, сангвиничности. Турыгин десятки раз, бывало, говорил мне: «Куда ты, Нестеров, торопишься, посмотри на меня!» Я же на него не смотрел, а только поглядывал[74]…

Весной я взял свои бумаги и уехал в Уфу с тем, чтобы в Петербург, в Академию не возвращаться.

В Уфе все более и более недоумевали моим бесплодным блужданиям из Москвы в Питер и обратно. Одно для них было ясно, что дела мои идут плохо и дело вовсе не в Академии или Училище живописи, а во мне самом. Сам же я уперся в тупик и из него не мог выбраться, а между тем, малому был уже двадцать один год.

Уфа. Первая любовь

Таково было положение летом 1883 года.

Я пробовал найти себе занятие. Этюды не писались, все было не по душе… Завел дружбу с фотографом. Он охотно снимал меня в разных, более или менее «разбойничьих» видах и позах. Дух протеста неудачника — уфимского Карла Моора[75], в то время отразился на всех снимках моего приятеля-фотографа. Однако и это меня не удовлетворило.

И вот как-то была назначена в городском Ушаковском парке лотерея-аллегри. Разыгрывались, кроме вещей обычных, пожертвованных за ненадобностью купцами, разными дамами-благотворительницами, бурая корова, велосипед и еще что-то заманчивое. Скуки ради и я пошел в парк, и на лужайке, где продавались билеты, где была большая толпа жаждущих выиграть корову, вдруг остановил свой взор на двух незнакомых, не уфимских (уфимских-то я знал поголовно) барышнях.

Одна из барышень была небольшая полная блондинка, другая — высокая, стройная, темная шатенка. Обе они были одинаково одеты в тогда еще невиданные в Уфе малороссийские костюмы, суровые с вышивками, и в одинаковых широких, типа «директория», шляпах, черных, с красивыми шотландскими лентами, на них наколотыми. Они обе весело болтали, но держались особняком, не смешиваясь с провинциальной толпой. Сразу было видно, что барышни были или петербургские, или московские.

Мое внимание было всецело поглощено ими. И, как на беду, не у кого было спросить о них, разузнать что-нибудь. И я, позабыв о лотерее, обо всем, стал зорко высматривать незнакомок — так они мне нравились, особенно высокая. Когда мне удавалось стать поближе, смотря на нее, мне казалось, что я давно-давно, еще, быть может, до рождения, ее знал, видел. Такое близкое, милое что-то было в ней.

Лицо цветущее, румяное, немного загорелое, глаза небольшие, карие, не то насмешливые, не то шаловливые, нос небольшой, губы полные, но около них складка какая-то скорбная, даже тогда, когда лицо оживлено улыбкой очень особенной — наивной, доверчивой и простодушной… Голос приятный, очень женственный, особого какого-то тембра, колорита.

Словом, эта «высокая» не была похожа ни на кого из мне известных, тех, что мне нравились, и, быть может, только одно воспоминание детства совпало с тем, что я видел сейчас. Какое

милое, неотразимое лицо, говорил я себе, не имея сил отойти от незнакомок.

Проходил, следя за ними, час-другой, пока они неожиданно куда-то не скрылись, и я остался один, с каким-то тревожным чувством. Побродив в толпе с полчаса, пошел домой, думая о «высокой».

Так прошло несколько дней, с неделю, быть может, или больше. Помню, я ехал где-то по Успенской улице верхом на своей Гнедышке и вдруг совсем близко увидал идущую мою незнакомку в том же малороссийском костюме, в той же шляпе, но только под зонтом. Солнце пекло, и она — моя незнакомка — от него пряталась.

Что мне было делать, как быть?.. Я решил высмотреть, куда она пойдет, и, остановив коня, стал издали наблюдать. Она зашла в какую-то мастерскую, не помню какую, я стал вдали гарцевать в надежде, что не век же незнакомка там будет, и действительно, минут через пятнадцать — двадцать она появилась вновь, и мы двинулись в путь, куда? — посмотрим…

Барышня шла, я подвигался вдали почти шагом. Долго путешествовали мы, и я заметил, что незнакомка догадалась, что всадник едет не сам по себе, а с какой-то целью, и стала за ним наблюдать в дырочку, что была у нее в зонтике, так, как смотрят актеры со сцены на публику.

Мне стало казаться, что барышня меня хочет перехитрить, а я был двадцатиоднолетний упрямец и решил во что бы то ни стало узнать, кто она, моя очаровательная незнакомка. Миновали мы мост через Сутолку (про нее весной местные жители говорят — «Сутолка играет»). Вот мы и в Старой Уфе, пригороде, поднялись на монастырскую гору.

Барышня прибавила шагу, видимо, всадник ей надоел или ей захотелось поделиться о нем своими впечатлениями с блондинкой. Так или иначе, скоро она очутилась около деревянного домика с мезонином, с большим садом и нырнула в калитку.

Я остался перед неизвестностью. Проехал около ворот, на дощечке прочел имя владельца… и только. Что делать? — проехал еще немного. Там поле, а дальше Сергиевское кладбище, дорога в Новиковку, на Чертово Городбище…

Стал я думать думу, как узнать, кто владелец домика с мезонином в Старой Уфе, и через какое-то время узнал случайно, что это — учитель землемерного училища Н. И. Мартыновский, года полтора [тому назад] приехавший из Москвы и вскоре овдовевший. Сейчас он купил домик в Старой Уфе, живет уединенно, много занимается садоводством.

На первый раз узнано довольно. Теперь надо идти дальше, и я стал настойчиво и терпеливо ждать случая, если не познакомиться с моей незнакомкой, то хотя бы ее увидать еще где-нибудь. Оказались общие знакомые, через них я узнал, что мою «высокую» зовут Мария Ивановна. Имя простое, но такое милое… Узнал, что [её] брат, потеряв жену, оставшись с новорожденной дочкой, затосковал; ушел в себя, как-то «замолчал» и что барышни почти нигде не бывают, но что они очень милые. Старшая — Мария Ивановна, кроме того, необычайно добрая, все и всем раздает, узнал про нее почти легенды. Все слышанное мне больше и больше нравилось. Тут где-то близко было и до идеала. А о нем я, видимо, начал после Москвы и Питера задумываться.

Общие знакомые однажды пригласили меня в Блохин сад[76] намекнув, что там будет и Мария Ивановна. Я не заставил себя просить, был раньше всех на месте. Появились мои знакомые, студент медицинской Академии К-н, его сестра и две мои знакомые незнакомки. Познакомились…

Я быстро «управился» со студентом и всецело завладел вниманием Марии Ивановны. Откуда что бралось! Вечер пролетел, как мгновение. Прощаясь, студент был со мной холодно-сдержан. Разве уж это такая беда! Вскоре мы где-то вновь собрались, и целый ряд планов на будущие свидания был скоро установлен. Тут были и пикники, и поездки на лодке по Белой, и еще многое.

Изобретательность моя была неисчерпаема, да и бедный студент не отставал, его шансы были реальней: он был на последнем курсе, так сказать, без пяти минут доктор, а я незадачливый ученик Училища живописи, с какой-то сомнительной будущностью художника и только… Не трудно было, казалось, сделать выбор, и однако…

Нашлись и еще знакомые. Оказалось, батюшка Сергиевский (Федор Михайлович Троицкий) хорошо уже знаком со своими новыми прихожанами, а у нас он был давно-давно желанным гостем и почему-то любил меня, быть может, потому, что, будучи с душой артистической, находил во мне какие-то созвучия со своими художественными порывами и мечтами.

Однажды после обедни у отца Федора (по своему приходу он звался «батюшкой Сергиевским») собралось много народа, был там и я, были и мои новые знакомые. Пришлось за чаем сидеть рядом с Марией Ивановной.

Как всегда, отец Федор был душой собрания, он сидел против нас и, как опытный и мудрый старец, прозрел без особого труда наши сокровенные тайны, коих и мы еще, быть может, не

сознавали в полной мере. Почему-то к нам его речь обращалась чаще, он как бы соединял нас, благословлял. И мы потом, спустя много времени, оба это чувствовали, радовались. Тут же было решение, что в один из ближайших хороших лунных вечеров все мы, тут бывшие, отправимся пикником на Шихан. Конечно, как всегда, и тут заводчиком всего дела был Сергиевский батюшка.

Попробую я, однако, дать краткое описание нашего дорогого батюшки. Его доброта, веселость, его внешний приятный облик, столь гармонический с его душевным, духовным обликом, влекли к себе всех. Отец Федор был высок ростом, хотя годы и сделали его несколько сутулым (ему тогда было лет пятьдесят шесть — пятьдесят семь). Чаще всего он в памяти моей рисуется в белом подряснике и в вышитом цветами поясе. Голова его была красивая, благородного облика, волосы густые розовато-бледного оттенка, такова же и окладистая приятная борода. Но что в нем было пленительно-прекрасным — это улыбка, такая доверчивая, полная необыкновенной доброты. Она была покоряющая, и пленение ею было радостным. Было сознание, что человек, одаренный такой улыбкой, верный ваш друг. Это чувствовали и старые, и малые, и простые люди, и люди «умственные».

Отец Федор был натура богатая и, в те времена, среди духовенства редкая. Он всем интересовался, но больше всего любил, после своей маленькой деревянной Сергиевской церкви, искусство во всех его проявлениях. И он со всей простотой своей ясной неомраченной души умел служить ему. Он был и живописец, и поэт, он прекрасно, задушевно пел мягким музыкальным тенором. Он играл на скрипке, и скрипка его пела, звуки ее обволакивали душу каким-то глубоким, сладостным очарованием.

В службе отец Федор любил больше быть без дьякона, и все возгласы Ектиньи[77] как бы пел, и пение это было таким призывным, молитвенно-восторженным. Его душа была горячей участницей совершаемых таинств и заражала молящихся. И он иным быть не мог.

Все образа иконостаса Сергиевской кладбищенской церкви были написаны самим отцом Федором. Они были очень примитивны, но почему-то глаз это не оскорбляло.

Сердце ваше радовалось, когда голос отца Федора иногда восторженно вырывался из алтаря, сливаясь с голосами хора, придавая звукам его великий, живой смысл молитвы к Господу.

Нужно было видеть озабоченность, хлопоты отца Федора перед большими праздниками: Пасхой, Рождеством, Сергиевым днем. Задолго он объявлял по приходу о необходимости подмоги. И женщины радостно откликались на его призыв. Вся церковь

преображалась в какой-то цветочный рай. Цветы несли кто какие мог: от коленкоровых и бумажных самодельных до тропических в больших зеленых кадках. Все мылось, чистилось, и сам отец Федор на лесенке, высоко убирал иконостас цветами. Тут же шли спевки, все были на ногах, все радостно жило, ждало того дня, когда отец Федор в праздничных ризах, сияющий, с восторженными слезами на глазах восхвалит Бога своим чудным, мягким, несравненным голосом… Праздник был полный, все его чувствовали, все были счастливы, довольны.

Отец Федор был первый заводчик домашних спектаклей, причем он не только был со своей скрипкой в оркестре, но подчас давал дельные советы, как режиссер. У него было чутье какое-то. Все, до чего он прикасался, оживало.

Он и на пикниках был моложе всех. Кто первый костры начнет жечь? Отец Федор. Кто хор наладит? Он же, все он, все о<тец> Федор, все наш Сергиевский батюшка.

Вот на стене, на деревянной стене Сергиевского кладбища, написано стихотворение — грустное, трогательное, о тщете жизни, о мытарствах души человеческой. Чье это стихотворение, кто так разволновал вас? Да все тот же о<тец> Федор, так часто провожающий по этим тенистым березовым дорожкам своих прихожан туда, куда и сам через несколько лет он ушел.

И подумайте, месяца за два, он после вечерни позвал кладбищенского сторожа (он же был и могильщик) Федорыча идти за собой. Пришли к месту за алтарной стеной. Отец Федор и говорит: «Вот что, Федорыч, начни-ка ты, не торопясь, рыть тут могилку, а когда выроешь, прикрой ее досками и пусть стоит». Федорыч пробовал протестовать, ворчать, но авторитет отца Федора был велик, и могила была, не спеша, вырыта. А там, через месяц с чем-то слег о<тец> Федор, проболел сколько-то и скончался как раз в тот час, как ударили к «Достойной»[78], и преосвященный Никанор, услышавши в соседнем монастыре, где он парадно служил обедню, траурный звон, оповещавший о смерти священника, тотчас же после обедни прибыл в дом отца Федора и отслужил первую панихиду по нем.

Похороны были народные. Преосвященный Никанор отпевал и провожал покойника до кладбища. Народ нес бедный гроб отца Федора всю дорогу на головах, и много было пролито тогда о нем искренних, горячих слез… Таков был наш «батюшка Сергиевский»…

В своей жизни я знал лишь одного ему подобного — о<тца> Сергия Щукина, жившего в Ялте. Та же одаренность, богатство натуры, та же способность одухотворять, оживлять все и вся своей верой, своим словом и действием. Не было только в о<тце>

Щукине того внешнего благообразия, коим был одарен о<тец> Федор.

Итак, возвращаюсь к прерванному, к тому, как наша компания под предводительством о<тца> Федора собралась на Шихан. Вечер был прекрасный. Мы, все участники, запаслись съедобным и отправились веселой толпой.

Шихан-гора на берегу Белой близ мужского монастыря место само по себе ничем не примечательное, особенно вечером, когда темно. Но за Шиханом была особая слава, туда ходило издавна погулять много народа.

Вот и мы потянулись туда же. Скоро разбились по парочкам, по группам. Кузнечики стрекотали, где-то за Белой горели костры у рыбаков, где-то внизу плыли на лодке, пели. А у нас на Шихане было тихо, пока отец Федор не стал скликать народ к чаю. Собрались вокруг зажженного большого костра. Кто-то затянул хоровую, все подхватили, и долго в ночной тишине плыли мелодические звуки старой, всем известной песни про Волгу, про широкое раздолье…

Этот вечер сильно сблизил нас с Марией Ивановной. Едва ли не он был решающим в нашей судьбе. Чаще и чаще стала потребность видеть друг друга…

В то же лето та же милая компания собралась на Белую ехать на лодках. Спустились к реке (на ней в ту пору было много плотов). И вот кому-то пришло в голову, пока рядились с лодочниками, пробраться на эти плоты. Один за другим мы очутились на воде. Стали перебираться с одного плота на другой, и я как-то незаметно отстал от своей дамы, а она уже была далеко, на другом плоту с моим соперником, с Пьером Бобо, как мы его прозвали в честь, должно быть, Боборыкина. Вот я и поспешил туда же по плотам. Осталось перескочить с одного на другой, и так как я особой ловкостью в движениях не отличался, то, прыгнув, не рассчитал расстояния и угодил прямо в воду. Я не умел плавать, и меня стало течением втягивать под плот. Дело было плохо. Все на плотах увидели мою оплошность, кинулись спасать меня. Первой же и ближней ко мне очутилась бледная, взволнованная Мария Ивановна. Она быстро нагнулась, протянула мне руки, и я кое-как схватился за них и был вне опасности.

Меня живо вытащили на плот всего мокрого, и едва ли я был похож на героя романа. Так или иначе, спасительницей моей была признана Мария Ивановна. И она, довольная, счастливая, принимала поздравления. Сейчас же меня повели на берег и где-то в кустах раздели и стали сушить на солнышке мои одежды, а я сидел тут же в естественном своем виде и размышлял о

случившемся и благодарил Бога и мою спасительницу.

Когда пообсох, мы все же поехали по Белой, и, помню, Мария Ивановна сидела у руля, а я против на веслах. Как она была прекрасна и счастлива в тот вечер… В своем спасении ею я видел тогда какое-то предопределение.

Еще не раз мы с Марией Ивановной в то лето имели случай встретиться. Между нами все давно выяснилось, мы договорились. Время приближалось к отъезду в Москву. Решили пока что ждать…

Накануне того, как я должен был выехать, мы в последний раз встретились вдвоем. Гуляли где-то за Татарским кладбищем. В моей памяти вся эта прогулка оставила воспоминание чего-то фантастического. То, что было перед нашими глазами, я не раз позднее видел во сне. Красота самой природы тех мест, где мы бродили рука об руку, то, что тогда говорилось, чувствовалось, оставило во мне впечатление совсем не реального, а какого-то сновидения. Тут перепуталось все в моей памяти, так было необычно и прекрасно пережитое тогда…

На другой день я, холодно простившись с родителями, один, никем не провожаемый, уехал на пароход. Грустен был мой отъезд, и его скрасила лишь пришедшая пешком в ненастный день на пристань (за несколько верст от Старой Уфы) Мария Ивановна. Не была радостна и она в тот день. Впереди была тяжелая неизвестность. Разлука на год тоже не была легка. Моросил дождик. Дали второй свисток. Мы простились. Я остался на пароходе один. Скоро пароход отвалил от пристани, и мы еще долго обменивались с Марией Ивановной прощальными приветствиями, пока она не скрылась из моих глаз вовсе.

Я ехал в Москву, в свое родное Училище, где уже не было Перова и на его месте был Владимир Маковский. Скоро я вошел в свою среду. Стал усердно посещать классы утренние и вечерние. Но чем особенно в это время был увлечен — это эскизами.

Эскизы задавались, как и раньше, на несколько тем, и я незаметно для себя вошел во вкус, стал делать на все заданные темы и скоро стал замечать, что мною ничто с таким удовольствием не работается, как эскизы. Я стал чаще и чаще получать за них первые номера, награды. Стал замечать, что на экзаменах ученики ждали моих эскизов, как прежде ждали эскизов Яновского, Сергея Коровина, Рябушкина, словом, тех, кто особенно отличался по эскизам. И это мне еще больше придавало рвения. Около моих эскизов собиралась толпа. Я был снова «герой дня».

Однако и в классе я был не тот, что раньше. Я уже не манкировал этюдами и рисунками, и они, хотя и были не самыми

лучшими, но и не были так слабы, как раньше. Я все же преуспевал. Стал иным. Благоразумие взяло верх, и хотя изредка я срывался, но это было уже не то, что раньше. Я жил на полной своей воле в меблированных комнатах «Восточные номера», где меня знали все за порядочного головореза, но это было далеко не то, что прежде.

Так шли дни за днями. Новый профессор ко мне относился хорошо, но близости к нему у меня не было, и думается, что Владимир Егорович видел, что я еще продолжаю жить воспоминаниями о Перове, и оставлял меня сознательно пережить это состояние, более глубокое, чем можно было думать.

Владимир Егорович был умный, конечно, очень одаренный, но с сильным холодком, и в нем не было перовской горячей, хотя часто и раздраженной, желчной потребности прийти на помощь ученикам. У Прянишникова были грубая искренность и неподдельная к нам симпатия. У Маковского, напротив, были любимцы, они бывали у него на квартире, нам же, остальным ученикам натурного класса, жизнь его мастерской и, того больше, его домашняя жизнь была совершенно чужда, и он был с нами на официальной ноге. Его манера держаться, эти его «голубчик мой», «здрасьте, батенька» и т. п. нас с ним не сближали. И все же я должен сказать, что ко мне лично он относился мягко и ничем не вызывал к себе моего недоверия. Просто я был для него «ученик Перова». В этом было и хорошее, и «так себе».

На одной из ученических выставок, кажется, первого года, как появился у нас Маковский, я поставил две небольшие картинки — «Знаток» и «Дилетант». Обе они сильно смахивали на жанры нашего профессора. Сделалось это совершенно невольно. Обе картинки были написаны довольно ловко для ученика, и одну из них — «Знатока» — в первый же день выставки купил старик Абрикосов и, как мне тогда сказали, купил по настоянию Владимира Егоровича[79]. Подозреваю, что случилось это потому, что картинка моя слишком была родствена творчеству Владимира Егоровича. Этими двумя ранними произведениями и кончилось мое невольное подражание этому талантливому, но далекому от меня художнику.

И все же, повторяю, Владимир Егорович в те дни не был мне враждебен — это случилось гораздо позднее, когда я вышел на самостоятельную дорогу, когда явился «Варфоломей» и многие последующие картины[80].

Так или иначе, и этот год кончился. И я опять приехал в Уфу и все еще без желанных медалей, без звания хотя бы свободного художника[81].

С приездом домой нахлынули с новой силой все те чувства,

которые я испытал впервые в предыдущее лето. Начались опять незабываемые дни радостей и новых огорчений, и чем этих огорчений было больше, тем и радости были сильнее. Родители мои и слышать ни о чем не хотели, и мне стоило огромных усилий, чтобы выдержать то противодействие моему намерению жениться на любимой мною девушке, которое все сильнее и ярче разгоралось в семье. Каждое свидание наше стоило нам обоим много горечи, много мук.

Лето прошло, как в угаре, прошло быстро, и вот новая разлука, неизвестно, надолго ли… Надежды мало, но взаимные клятвы придают силы, веру, а следовательно, и надежду. И я опять в Москве, в училищном водовороте, в непрерывной переписке с Уфой.

Свободный художник. Женитьба

Дела с первых же шагов в школе пошли хорошо. Писать и рисовать стал внимательней, снова стал видеть краски, а эскизы — ну, эскизы стали моим любимым делом. Я все лучшие силы отдавал им. Первые номера, награды сыпались. В эскизах я чувствовал, что я художник, что во мне живет нечто, что меня выносит на поверхность школьной художественной жизни стихийно. И я слышал, что эскизы настолько обратили на меня внимание школьного начальства, что оно решило меня не задерживать, полагая, что чего недополучу я в школе, даст сама жизнь. Со мной все учителя были очень в то время внимательны, ласковы, и я ходил именинником. Озорство постепенно испарялось, я весь ушел в занятия. Подошел незаметно конец года, последний третной. Я поставил чуть ли не четыре эскиза и один большой «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство»[82]. Я делал его с огромной любовью. Тогда на меня сильно повлияли суриковские «Стрельцы», их темный, благородный тон. Я везде его видел и эскиз свой написал в вечерне-темной гамме. Вышло нарядно, а для ученического эскиза и совсем хорошо.

Принес я свои эскизы на экзамен. Перед ними толпа, и я снова, после многих лет, испытал то большое удовлетворение, торжество, что испытал в последнюю весну перед роспуском у К. П. Воскресенского.

Начальство осталось мной чрезвычайно довольно. За все эскизы я получил первые номера, а за «Призвание», кроме того, 25 рублей награды — случай небывалый (обычно давали 5 рублей). И эскиз Училище взяло в «оригиналы» — это тоже бывало крайне редко.

Не успел я переварить этот успех, за ним пришел еще больший: Совет профессоров действительно решил меня выпустить, дав одновременно мне обе медали — и за рисунок, и за этюд.

Таким образом, я стал «свободным художником»[83], но это все вместе с моими уфимскими делами подорвало мои силы, и я свалился, да еще как! было что-то с почками, я проболел всю весну и часть лета, в Уфу не поехал, а моя невеста, узнав о моей болезни, в распутицу, на лошадях до Оренбурга (тогда железной дороги до Уфы не было), приехала в Москву, и тут у нее на глазах я стал поправляться и переехал в Петровский парк. Там я окончательно выздоровел.

18 августа 1885 года мы обвенчались с Марией Ивановной, и

для меня началась новая жизнь, жизнь радостей художественных и семейных…

Раньше чем перейти к пересказу того, что меня ждало в новой жизни, скажу два слова о том дне, когда мы с Марией Ивановной поженились. Свадьба была донельзя скромная, денег было мало. В церковь и обратно шли пешком. Во время венчания набралось поглазеть в церковь разного народа. Невеста моя, несмотря на скромность своего наряда, была прекрасна. В ней было столько счастья, так она была красива, что у меня и сейчас нет слов для сравнения. Очаровательней, чем была она в этот день, я не знаю до сих пор лица… Цветущая, сияющая внутренним сиянием, стройная, высокая — загляденье! А рядом я — маленький, неуклюжий, с бритой после болезни головой, в каком-то «семинарском» длинном сюртуке — куда как был неказист. И вот во время венчания слышу справа от себя соболезнования какой-то праздно глазеющей старухи: «А, ба-а-тюшки, какая она-то красавица, а он-то — ай, ай, какой страховитый!»

После венца мы собрались все у сестры жены. Стали обедать. И в самый оживленный момент нашего веселого пирования бывшего на свадьбе доктора-акушера вызвали из-за стола к больной. Вернулся — опоздал, больная уже умерла…

Все это тогда на нас произвело самое тяжелое впечатление, конечно, ненадолго, но хорошая, веселая минута была отравлена. В душу закралось что-то тревожное…

Возвращусь, однако, к новой жизни. Мы поселились около вокзалов на Каланчевской улице, взяли небольшой номерок. Ничего определенного в смысле заработка не было, пришлось тотчас же отказаться от родительской помощи. Молодой задор требовал этого.

Надо было начинать эскиз, а затем и картину на большую серебряную медаль на звание классного художника. Эскиз я сделал скоро, тема — «До государя челобитчики», попросту — выход Царя. В том же черно-густом тоне, что и «Призвание», те же огни, облачения, — словом, повторение пройденного. Однако эскиз утвердили и дали денег (100 рублей) для начала картины. Большой холст, натурщики, костюмы, а главное, жизнь, скоро опустошили мой карман. Началась погоня за заказами.

Жена тоже что-то начала делать. Мы жили так скромно, как больше нельзя. Наступала осень, за ней зима, а у нас и теплого платья еще не припасено… Ну да ничего, зато мы молоды, нам по двадцать три года, любим друг друга.

И, действительно, появились кое-какие заказы, иллюстрации. Мы немного ожили. Работа с картиной шла своим порядком. Прошло сколько-то времени, меня пригласил работать к себе

«комнатный декоратор» Томашко. Он тогда был в славе. Богатые купцы строили себе дома, и их украшал Томашко. Ему нужен был помощник для плафона. Я и подвернулся тут.

И вот я у него пишу плафон аршин в шесть-семь для морозовского особняка на Воздвиженке[84]. Что-то комбинирую, компликую с Микеланджело, Тьеполо и еще кого-то. Плафон готов в неделю. «Маэстро» доволен и сразу отвалил мне сто рублей. Каким победителем я летел тогда от Воротниковского переулка к себе на Каланчевскую! Как радостно меня встретила моя красавица жена! Сколько в тот день было веселья! Вот где сказалась наша юность, наши двадцать три года.

Теперь время летело. Днем я работал или дома, или у Томашки, причем он, уезжая по делам, запирал меня в мастерской на замок, в тех видах, чтобы, если без него явится кто-нибудь из его заказчиков, не открылась тайна, что плафоны пишутся не им, а кем-то другим и за гроши…

Так было со мной, а после меня на таких же условиях работал Головин, с той разницей, что я у Томашко проработал лишь один год, а бедный Головин несколько лет и с трудом от своей кабалы избавился[85].

Томашко был внешне любезен, но был чистой воды эксплуататор, и при этом жестокий. У него по летам было много дела, а следовательно, и большая артель так называемых уборщиков — комнатных живописцев. По субботам бывал расчет с рабочими, они получали заработную плату, и Томашко, бывало, еще с четверга был не в духе и неистово вымешал субботний расчет на бедном мальчике, взятом в ученье, которое было для вихрастого Леньки не столько ученье, сколько мученье. Он постоянно ходил избитый и боялся своего учителя-мучителя как огня.

Итак, денежные дела шли у нас сносно. Мы были сыты и одеты. Эскиз был сделан. Я приступил к самой картине. Надо было достать натуру, костюмы. Первопланного мальчика я написал с жены. Попал туда, в толпу челобитчиков, и Моисеич.

Было трудней с костюмами, но и это уладилось. В Училище дали мне письмо в костюмерную Большого театра, и мне предоставили выбрать, что надо. Костюмы были плохие, хотя и назывались роскошными. У меня не было навыка и сноровки обращаться с этой бутафорией, и кто-то из приятелей посоветовал пойти к Сурикову и поговорить с ним, узнать, как он в таких случаях поступает. Сказано — сделано.

В один из вечеров я отправился на Долгоруковскую, Сурикова застал. Он принял меня ласково, обо мне он кое-что слышал. Познакомил меня со своей женой. Она тогда уже была

болезненного вида, такая хрупкая, бледная, с голубоватыми жилками на лице. Звали ее Елизавета Августовна, в ней была французская кровь. С нее Суриков, говорили тогда, написал в «Меншикове» невесту Петра II, ту, что сидит в ногах Меншикова. Славное было лицо у Елизаветы Августовны, доброе, самоотверженное. Всей душой она была предана своему мужу-художнику.

Итак, состоялось мое знакомство с Суриковым, потом оно крепло. Василий Иванович стал иногда заходить к нам в номерок, и, кажется, ему было приятно бывать у нас. Жена была всем мила, всем она нравилась своей простотой, задушевностью и молодостью. В это время часто бывал еще Сергей Васильевич Иванов, тогда молодой, горячий, нарочито грубоватый, полный планов и бунтарских идей. Ему тоже очень нравилась моя Мария Ивановна. Да и вообще к нам охотно заходили молодые приятели.

Славно жилось тогда нам. Однажды я узнал, что весной, в мае, я буду отцом. Стали строить планы, один другого увлекательней, наивней. И как тут была оживлена, изобретательна будущая счастливая мать!

Как-то поздно ночью к нам в номер тревожно постучали, и на мой вопрос: «Что такое?» — мы услышали: «Горим, вставайте!» Поспешно мы встали — горел пятый этаж над нами, мы были в четвертом.

Без суеты успел я вынести весь наш скромный скарб. Жену удалось спокойно вывести и устроить в безопасном месте, после чего потолок нашего номера провалился, и наш номер тоже сгорел. Сгорело два этажа большого дома. Мы временно перебрались в другие меблированные комнаты наискось и там оставались до того времени, когда нас водворили в свободный номер нашего дома. Это печальное обстоятельство не оставило по себе тяжелых следов. Жена была здорова, и все снова вошло в свою колею.

Кроме большой картины, я писал тогда к ученической выставке картину малых размеров — «В мастерской художника». Позировала мне в качестве модели моя Мария Ивановна, а художником был приятель — скульптор Волнухин. Картина вышла несколько иной, чем мои предыдущие жанры. Но так как я свою модель обнажил, хотя и очень скромно, а по тем временам это было не принято, то мне было сделано соответствующее внушение. Картина успеха не имела, и я подарил ее сестре моей жены[86].

А между тем время шло да шло. Вот наступил и 1886 год, навсегда мне памятный…

Большую картину вчерне я написал. Надо было ее кончать —

в маленьком номере тесно, отойти некуда. Как-то встретил Иллариона Михайловича Прянишникова, спрашивает, как дела? — говорю ему, как дела. А он и предлагает мне перенести картину в Училище, в свободную мастерскую. Конечно, я ухватился за это предложение, и вскоре картина моя была в огромной мастерской наверху, где архитектурные классы. Стал кончать, ко мне стали заглядывать не только ученики, молодые художники, но и наши мэтры. Чаще других — Прянишников. Как-то раз входит он не один. С ним артиллерийский полковник, очень приятного вида. Это был Николай Александрович Ярошенко. Прянишников представил меня ему, сказав: «Это наш будущий передвижник».

Я был очень доволен этим посещением, положившим начало самых дивных отношений между мной и Ярошенками на многие годы, на всю нашу жизнь.

Вот и весна подошла. Скоро надо ставить картину на суд. Я ею не был доволен. Чувствовал, что не справился, хотя, по тем временам, затея и была смелая, но не того я ждал. Вышло как-то внешне, неубедительно, хотя, быть может, и красиво.

Время от времени заходила жена. Ну, ей-то картина нравилась, хотя она иногда и говорила шутя: «Ты не мой, Мишенька, ты картинкин».

И то была правда — я весь был в картине, в заботах о ней, о ее судьбе и только, когда не был в мастерской, вспоминал о другом, о предстоящем скоро более важном событии, чем получение большой серебряной медали, чем звание классного художника. Таковы-то в большинстве мы, художники… в этом надо, к сожалению, сознаться.

Наступил и день суда, 12 мая. Картину снесли вниз, поставили в натурном классе с другими вещами, представленными на большую серебряную медаль. Что-то Бог даст…

Все обошлось хорошо. Медаль и звание я получил, я — «классный художник», впереди неясно, но надежд много… Как знать, может быть, и в самом деле когда-нибудь и передвижником стану… Всякое бывает…

Отпраздновали мы мой успех, были пельмени, вспоминали Уфу. Весело прошел день, беззаботно. На другой день вздумали побывать в Сокольниках. Всю дорогу туда и обратно моя Маша была особенно оживлена. Шалости не прекращались. Она была так интересна в своей большой соломенной шляпе с шотландскими лентами, так к ней шло ее простенькое, как всегда, платьице. Она взяла мою палку, шла под руку со мной и болтала так заразительно, что все встречные смотрели на нее с

явным сочувствием, а некоторые говорили: «Как мила!» Так памятен этот ясный, солнечный день мне до сих пор. Это было 13 мая.

Смерть жены. «Христова невеста»

27-го мая, утром жене стало худо, и мы с ней отправились к заранее ею выбранной, по особой рекомендации, акушерке, где она и должна была остаться. День прошел в страданиях, к вечеру же Бог дал дочь Ольгу. Этот день и был самым счастливым днем моей жизни… Я бродил, помню, по набережной Москва-реки, не веря своему полному, абсолютному счастью, упиваясь им, строя в своем восторженном состоянии планы один другого счастливее, радостнее. Так было до следующего утра…

А утром, утром я узнал, что появились за ночь тревожные признаки. Был вызван доктор, вышел от больной серьезный. По лицам окружающих было заметно, что что-то неладно. Жена, к которой меня, наконец, пустили, сильно за ночь и день изменилась, осунулась, мало говорила. Позвали лучшего тогда в Москве профессора Чижа. Он вышел мрачный, я стал догадываться…

Всю ночь молился. Рано на рассвете был у Иверской. Быть может, впервые понял все, молился так, как потом уже не молился никогда. И Бог не оставил меня, не отнял у меня веры в Его величие, не ожесточил души моей, а просветил ее Своим Светом…

Было тогда воскресенье, Троицын день, ясный, солнечный. В церкви шла служба, а рядом, в деревянном домике прощалась с жизнью, со мной, со своей Олечкой, с маленькой Олечкой, как она звалась заранее, моя Маша. Я был тут же и видел, как минута за минутой приближалась смерть. Вот жизнь осталась только в глазах, в той светлой точке, которая постепенно заходила за нижнее веко, как солнце за горизонт… Еще минута, и все кончилось. Я остался с моей Олечкой, а Маши уже не было, не было и недавнего счастья, такого огромного, невероятного счастья. Красавица Маша осталась красавицей, но жизнь ушла. Наступило другое, страшное, непонятное. Как пережил я эти дни, недели, месяцы?

Похоронили мою Машу в Даниловом монастыре, на той дорожке, где лежал другой дорогой мне человек — учитель мой В. Г. Перов. Еще на Пасхе мы с Машей были здесь у Перова, сидели, говорили, а теперь вот и она тут лежит… Так все скоро, так все неожиданно, страшно…

А Олюшка… Что она? Где она? Еще Маша лежала в церкви, в Москву приехал дядюшка Кабанов и, узнав в номерах, что случилось, сейчас же был около меня. Он предложил увезти тотчас же девочку к себе в имение, в Тверскую губернию. Там

было много народа, женщин, там девочке будет хорошо, будет кому с ней нянчиться.

Дядюшка Кабанов был добрый человек, и вот он достал плетеную корзиночку, уложил в нее мою дочку и увез ее. На Николаевском вокзале, пока ждали поезда, он обронил деньги и тут же загадал: если найдет, то все будет благополучно. И нашел их. Пришлось, однако, чтобы долго не ждать, поехать в товарном поезде. И вот дорогой внезапно загорелся тот самый вагон, где ехал дядюшка со своей корзиночкой. Однако и на этот раз все обошлось благополучно, и девочка приехала в Лукосино, где ее окрестили и где она оставалась до осени, когда ее взяла к себе в Петербург сестра покойной жены Е. И. Георгиевская.

Я остался в Москве, потом уехал в Уфу, но остановился не у отца, а у брата покойной жены. Тогда, казалось мне, иначе поступить я не мог.

Осенью снова был в Москве. Часто то один, то с С. В. Ивановым бывал в Даниловом монастыре. Хорошо там было. Тогда и долго потом была какая-то живая связь с тем холмиком, под которым теперь лежала моя Маша. Она постоянно была со мной, и казалось, что души наши неразлучны.

Под впечатлением этого сладостно-горького чувства я много рисовал тогда, образ покойной не оставлял меня: везде ее черты, те особенности ее лица, выражения просились на память, выходили в рисунках, в набросках. Я написал по памяти ее большой портрет такой, какой она была под венцом, в венке из флердоранжа, в белом платье, фате. И она как бы была тогда со мной[87].

Тогда же явилась мысль написать «Христову невесту» с лицом моей Маши… С каким сладостным чувством писал я эту картину. Мне чудилось, что я музыкант и играю на скрипке что-то трогательное до слез, что-то русское, быть может, Даргомыжского.

В этой несложной картине тогда я изживал свое горе. Мною, моим чувством тогда руководило, вело меня воспоминание о моей потере, о Маше, о первой и самой истинной любви моей. И еще долго, на стенах Владимирского собора я не расставался с милым, потерянным в жизни и обретенным в искусстве образом. Любовь к Маше и потеря ее сделали меня художником, вложили в мое художество недостающее содержание, и чувство, и живую душу, словом, все то, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве.

«Христову невесту» я начал писать на глютене, составе, на котором, тогда говорили, писал Семирадский в храме Христа Спасителя. Состав этот дает приятную матовость. Но когда

картина была почти готова, кто-то сказал мне, что матовость-то глютень дает, да краска потом лупится. Подумал я, подумал да и начал картину на другом холсте без глютеня и с измененным пейзажем. Первая картина была на ученической выставке, и потом я подарил ее своим родителям. Вторая, спустя несколько лет, появилась на Периодической выставке в Москве и была приобретена Великим Князем Сергеем Александровичем[88].

В ту зиму я стал бывать на вечерах у В. Д. Поленова. Он жил тогда где-то у Зоологического сада, в старом барском особняке, расположенном посреди большого двора. Тут же был и сад. Я впервые увидел обстановку и жизнь еще мне незнакомую, стародворянскую.

Собиралось нас довольно много. Тут бывали Левитан и К. Коровин, кажется Головин и еще кто-то. Рисовали кого-нибудь из присутствующих или натурщика. Помню, позировал Левитан в белом арабском балахоне, который очень шел к его красивому восточному лицу. Рисовал и сам Василий Дмитриевич, рисовала Елена Дмитриевна Поленова.

Потом бывал чай. Мы шли в гостиную, где около большой лампы под огромным белым абажуром в глубоком кресле сидела старушка — матушка Василия Дмитриевича, которая по-барски, но весьма благосклонно с нами здоровалась и вела беседу.

Вся эта обстановка мне очень нравилась, чем-то веяло тургеневским, очень мягким, благообразным и стройным. Помню, несколько раз и Поленов навещал меня в эту зиму.

А то вот еще что помню: однажды под вечер наш швейцар Иван доложил мне, что меня спрашивает какая-то молодая дама в трауре. Я просил ее впустить. Вошла бледная особа вся в черном, с книжками в руках. Назвала какую-то польскую фамилию, а затем, когда я просил ее сесть, недолго думая, сообщила мне, что она знает о моей потере, что она тоже потеряла близкого человека, что понимает мое душевное одиночество, и пошла, и пошла… Я слушал, разинув рот. Она много говорила о просвещении ума и сердца, об идеалах и, в конечном итоге, предложила мне «вместе читать». Прощаясь, оставила мне свои книги, сказав, что зайдет и тогда мы побеседуем о прочитанном. Что-то говорила о Ришелье, о Мазарини, выказала «ученость», которой я не остался доволен. Моя романическая незнакомка обещала ко мне заглядывать, чтобы я не скучал. По уходе ее я пораздумал о своем положении и решил в ближайшее же время с этими визитами покончить. Незнакомка недолго заставила себя ждать. Явилась, но узнав, что книги ее я не разрезал, и встретив холодный прием, ушла недовольная. Явилась еще однажды, а затем уж больше не являлась, и чтение вдвоем так и не

состоялось.

В ту же зиму я написал по заказу из Кяхты исторический жанр: «Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышней Марией Ильиничной Милославской». Вещь эта ничего оригинального или художественного в себе не имела. С нее и было сделано мной повторение для отца моего приятеля — Турыгина[89].

Но о чем я чаще и чаще стал задумываться — это о том, чтобы написать то, что я недавно пережил, — смерть моей Маши, ее последние минуты. Я начал делать эскизы. Они меня более и более вовлекали в эту близкую, хотя и тяжелую тему[90].

На Рождество я ездил в Петербург, чтобы повидать мою дочку. Она была уже крепкая, славная девочка и еще больше, чем когда родилась, лицом напоминала покойную жену. Обстановка, где девочка находилась, мне не была по душе. Это была семья, где бывало много денег, но не было ни семейного лада, ни более или менее высоких стремлений. Тройки, Острова, благотворительные базары наполняли жизнь красивой, но праздной женщины, которая в это время должна была заменять мать моей девочке.

Так прошла зима 1886–1887 года.

Я забыл сказать, что вскоре после смерти жены я получил очень хорошее, сочувственное письмо от сестры, но оно было лишь от нее. Мои родители ничем своего сочувствия моему горю не выказали, и все оставалось в продолжение года по-прежнему.

Однако летом внезапно под напором сознания, что все мои беды, все мое горе и несчастье произошли от моей вины, что они были мне посланы во искупление моего греха, моего своеволия, за то, что я не исполнил волю своих стариков, женился без их согласия, без их благословения. Эта мысль томила меня. От нее я не мог отделаться, пока внезапно не решил поехать в Уфу просить моих, тоже измученных, хотя и безмолвствующих стариков простить меня. Мне нужно было верное сердце, сердце матери.

И я недолго собирался… Вот Нижний, вот знакомые пристани: Самолетская, Меркурьевская, Курбатовская. Вот и наши — Бельские. У сходней знакомая и любезная надпись: «Сегодня в Уфу». Я на пароходе. Скоро наш «Витязь» отошел от конторки и «побег на низ».

Дорогой я думал об одном, как приеду я, как этот неожиданный приезд мой будет принят, и сердце говорило, что все будет хорошо. Мать все поймет, на то она и мать, чтобы все понять, все простить, все своей любовью исцелить.

Вот замелькали родные с детства берега извилистой Белой. Опять Дюртули, Бирск, а там и пристань. Меня никто не встречает. Выхожу на берег, много знакомых, но наших лошадей нет. Никто не знает, что я здесь. Беру извозчика. Странно ехать в Уфе и не на своих лошадях. Не так я приезжал в свою Уфу в старые годы. На сердце неладно…

Вот и дом, ворота открыты. Извозчик въезжает, и вижу мать… Она тоже увидала. Оба разом бросились друг к другу. Так и замерли во взаимных объятиях. Все было забыто, все прощено… Опять нашли один другого. Слезы, но слезы радости, облегчения…

А там в дверях сестра, отец. Общее семейное счастье… А что было потом, сколько было сказано такого, что таилось в самой глубине сердца. И там, в Уфе я опять горячо молился, благодарил Бога за новую помощь, за новую ко мне милость Его. И пошли счастливые дни. Расспросы, самые любовные расспросы обо всем дорогом: об Олюшке, об искусстве… Какие дивные были те дни для меня!

На конкурсах живописи в Петербурге

Умиротворенный, уехал я из родительского дома, но не в Москву, а в Петербург. Там я хотел приняться за новую картину. Поселился на Пушкинской в «Пале-рояле», где в то время жило много всякой артистической братии: поэты, художники, писатели…

Кого только ни вмещал в себя этот огромный дом. Там было неважно. Комната с перегородкой, или аркой для кровати, плохой стол и вообще какая-то оторванность от семьи, без уюта и душевного тепла. Там люди бродили, как тени. Ложились под утро, вставали к вечеру. Странная жизнь, странное существование этих странных, как бы бездомных жителей этого огромного дома на Пушкинской.

Тогда в Петербурге можно было достать мастерскую, но не помесячно, а снять ее на год. И, как ни странно, очень и очень нелегко было подыскать помещение помесячно: к таким помещениям можно было отнести набитый меблированный дом «Пале-рояль».

Там-то я и поселился. Заказал подрамок аршина на два в квадрате и стал чертить свою картину. Эскиз был разработан и в композиции, и в красках, и я был им удовлетворен, но, как на беду, холст для картины попался неприятный, очень гладкий и на нем не выходило того, что мне надо было.

Я бился с картиной до Рождества и, наконец, беспомощный, решил отложить окончание ее на неопределенное время, а пока что надумал поставить свою медальную вещь «До государя челобитчики» на конкурс в Общество поощрения художеств (на Морской). Там был ряд премий на все роды живописи, в том числе и на исторические темы.

Картина прибыла из Москвы, конкурс состоялся, я и какой-то поляк из Варшавы получили по половинной премии (полную разделили на две части). Картина в общем успеха не имела, и мне посоветовали ее поставить на Академическую выставку в залах Академии художеств. Я так и сделал[91].

Помню, в один из вечеров зашел я к Крамскому. Он, больной (тогда уже вернулся из Ментоны), успел побывать на Академической и видел мою картину. Мы после обеда остались с ним вдвоем, и он начал первый говорить о моей вещи. Признав кое-какие достоинства в ней, он мне сказал и о ее недостатках. Главный из них — это *несоответствие* ее размера с незначительностью самой темы.

— Будто так бедна наша история, что из нее нельзя было

выбрать тему другую, где была бы драма что ли, или сам исторический факт был бы более крупный, захватывающий.

Эти слова были сказаны не равнодушным тоном, они говорились горячо и шли от большого желания пробудить во мне сознание значения темы в картине. Я слушал внимательно и благодарно.

Я долго сидел в тот вечер у Ивана Николаевича. При мне дочь его Софья Ивановна уезжала на бал. Вошла нарядно одетая, в каком-то светлом платье и в боа на шее. Рассматривая костюм и прощаясь с уезжающими, Иван Николаевич, как бы связывая только что ушедшую Софью Ивановну с какой-то своей тяжелой думой, спросил меня внезапно, читал ли я «Смерть Ивана Ильича»[92], тогда только что появившуюся в свет. Я ушел от Крамского со смутной тревогой, и она не была напрасна. Вскоре он умер во время писания портрета доктора Раухфуса, и, таким образом, это свидание было последним[93].

С «Пале-роялем» надо было расстаться, так как после конкурса я задумал из Петербурга уехать опять в Москву. Незадавшаяся картина и неприятное чувство, которое я испытывал постоянно, бывая в семье, где была моя девочка, гнали меня из Питера.

Перед своим отъездом я повез картину к своему приятелю Турыгину, который жил тогда на М<алой> Невке, в доме Елисеева, где в то время жило много художников. Там, в этом Елисеевском доме, были построены хорошие мастерские. Там я бывал и у Крамского. Жили там Куинджи, Литовченко, Н. П. Клодт, Ефим Волков, акварелист Александровский и еще кто-то, — не помню.

С Пушкинской до д<ома> Елисеева на М<алую> Невку путь был дальний. Стояли большие морозы, градусов двадцать, а то и больше. Ехать в такую даль, держа большой подрамок, было делом нелегким. Однако я взял возницу, немудрящего старика. Лошадка, помню, была маленькая, шершавая… Устроились, поехали. Долгий путь по Невскому, потом через Неву, по Дворцовому Мосту в ветер. Своротили по линии Университетских корпусов, вдруг вижу, что-то мой старик-возница заволновался, задергал усиленно вожжами, оглядывается тревожно назад. Я спрашиваю: «Что такое?» — А он мне — обернулся да и шепчет: «Государь». Я невольно быстро оглянулся, а он уж настигает нас и очень близко. Еще минута, и большие вороные кони, покрытые синей сеткой, головами были наравне с нашими санями. Еще мгновение — я увидел старика кучера в медалях. А затем тотчас же моим глазам открылся сидевший в больших открытых санях Государь, величественный, спокойный, с прекрасными добрыми

глазами, с крепко сжатыми губами, со светлой, несколько рыжеватой бородой. Он был, несмотря на мороз, в генеральском пальто без мехового воротника, в фуражке Преображенского полка (с красным околышем). Руки у него были засунуты в рукава. Слева около него сидела, закутавшись в малиновую ротонду, Императрица Мария Федоровна. Мой возница в полном трансе задергал вожжами: бедная лошадка была совершенно сбита с толку, — остановилась. Старик сдернул с головы свою шапку, я поспешно сделал это же и воззрился на Государя. И мне показалось что он понял наше состояние, вынул руку из рукава и отдал нам честь. Я никогда не забуду этого мгновения. Я видел Царя, я видел его своими глазами, видел полное, совершенное в живом лице воплощение огромной идеи. Передо мной промелькнула трехсотлетняя история моей Родины со всеми ее перипетиями, с величием, со счастьем и несчастиями ее. У меня в этот миг открылись глаза на многое, — многое стало ясно, убедительно и понятно. Промелькнуло нечто огромное, незабываемое… Приехал я к Турыгину взволнованным, счастливым.

Такова была моя первая встреча с Государем Александром III. Еще только раз, и то издалека, я видел этого Государя. Видел его в Петербургском Благородном Собрании на парадном концерте, в коем принимал участие целый сонм музыкальных светил того времени. Участвовал в концерте как дирижер и как пианист Антон Рубинштейн, играли Ауэр, Давыдов, пели Зембрих, Мария Дюран и другие.

Вот и я тогда как-то попал на этот концерт, попал, конечно, случайно, на хоры, однако в первый ряд, к самому барьеру. Весь зал от меня был виден, как на ладони. По хорам пронесся шорох: «Будет Государь»… Весь оркестр с Антоном Рубинштейном был на эстраде. — Ждали… Рубинштейн стоял лицом к Императорской ложе направо. Двери ложи распахнулись, — вошел Государь, такой спокойный, величавый. За ним вошли Императрица и члены Царской фамилии. Все встали. Государь подал знак начинать. Все уселись. Рубинштейн взмахнул своей палочкой, и понеслись дивные звуки Бетховенской симфонии… И мне тогда чудилось, что чем дальше развивалась тема симфонии, тем Рубинштейн, увлекаемый гением Бетховена, больше и больше уносился ввысь… Он уже не был на земле, он парил над ней, несся в облаках дивных неземных звуков. Это было нечто волшебное. Это было сновидение. А я? Я был, как очарованный всем, что видел и слышал, что пронеслось тогда перед моим взором, завороженным слухом…

Говорить мне с Государем Александром III не пришлось. По

словам В. М. Васнецова, — голос у Государя был мягкий, приятный баритон.

Раньше чем проститься с Петербургом, я побывал в Эрмитаже, зашел к знакомым, которых к этому времени у меня в Питере было немало. Тут жили дядюшка и тетушка Кабановы. Они были очень добрые, либеральствующие люди. К тому времени одна из моих двоюродных сестер Анюта Кабанова вышла замуж за моего приятеля князя Гугунаву. Был я и у Турыгина: у его родителей. Виделся с приятелями, молодыми художниками. Они, как и я, мечтали об участии на Передвижной.

«Пустынник»

К весне лишь перебрался я в Москву. На очереди были две новые затеи, и я усердно работал над ними. И когда обе темы достаточно вырисовались, я стал думать, как для них собрать материал. Кончилось тем, что решено было переехать к Троице.

Я снял в конце Вифанки (улицы, идущей к Черниговской и в Вифанию[94]) маленький домик у старухи по фамилии или прозвищу Бизяиха и, недолго думая, стал писать этюды для «Приворотного зелья». Работа шла ходко. Все, что надо, было под рукой. Вечера были длинные, весенние, и я скоро имел почти все этюды к этой картине.

Куда было сложнее дело со второй картиной, с «Пустынником». Я давно уже наметил себе у Троицы идеальную модель для головы «Пустынника». Это был старичок-монах, постоянно бывавший у ранней[95], стоявший слева у клироса большого Троицкого собора. Любуясь своим старичком, я как-то не решался к нему подойти, попросить его мне попозировать. Дни шли да шли. Однажды, уже в середине лета, прихожу я в Собор, а моего старичка нет, пропал мой старик. Пришел еще завтра — опять его нет. Так ходил с неделю, а старика и след простыл.

Я спрашиваю кого-то о нем, мне говорят: «Это вы об отце Гордее, так он помер. Поболел, да и помер». Я так и остолбенел: был старичок и нет его. Что делать, стал вспоминать его образ, чертить в альбом: что-то выходит, да не то. Там, в натуре, куда было интереснее. Эти маленькие, ровные зубки, как жемчуг, эта детская улыбка и светящиеся бесконечной добротой глазки… Где я их возьму? И сам кругом виноват: смалодушничал.

Прошло еще сколько-то. По старой привычке зашел в Собор на свое место, с которого, бывало, наблюдал старичка. О, радость! Он опять стоит на своем месте, улыбается, подперев пальцами седую бородку. Значит, он не умер, мне солгали. Ну, теперь я не стану откладывать надолго. Сегодня же, вот сейчас, после обедни подойду и все скажу. Увлеку моего старичка, напишу с него, а тогда пусть хоть и помирает!

Обедня отошла. Мой отец Гордей пошел своими маленькими старческими шажками домой, я за ним. Заговорил. Он смотрит на меня и ровно ничего не понимает. Так и ушел от меня куда-то в монастырскую богадельню… Нет, думаю, нет же, я добьюсь своего, напишу с тебя!

Так прошло еще несколько дней. Старичок все упирался, отговариваясь «грехом», на что я приводил примеры, его смущающие. Указывал на портреты митрополитов —

митрополита Платона и других…

И, наконец, с тем ли, чтобы от меня отвязаться, отец Гордей неожиданно сказал: «Ну, ладно, нанимай извозчика, поедем, больше часу не мучь только…» Тотчас же я подхватил свою жертву, усадил на извозчика и марш на Вифанку. Приехал и — писать… Писал с жаром, взял все, что смог: этюд был у меня. Распростились с отцом Гордеем. Теперь оставалось написать пейзаж, осенний пейзаж с рябинкой. Пока что написал молодую елочку…

Помню, однажды я был дома, ко мне неожиданно явилась целая компания с Еленой Дмитриевной Поленовой во главе. Здесь была Елизавета Григорьевна Мамонтова, ее дочери Верушка и Шуринька и сын Вока. Пили чай, говорили о моих затеях. Уходя, пригласили меня в Абрамцево, куда я вскоре и поехал[96]. Бывал я там и в лучшие дни свои и его, и в дни печали и несчастий, всегда его любя, уважая его обитателей. В это время я жил всецело своим искусством, своими картинами, их любил, ими грезил.

До осени оставалось недолго. Думалось, напишу этюды пейзажа к своему «Пустыннику», и в Уфу. Там, у себя дома, буду его писать.

А пока новые знакомства, наезды в Абрамцево, там иная жизнь… Жизнь, с одной стороны, трудовая, постоянные наезды Е. Д. Поленовой, заботы о школе, об Абрамцевской мастерской, которая тогда только что начинала свое существование, занятия самой Елизаветы Григорьевны[97] — все это мне нравилось, я всматривался во все это и говорил себе: «Вот как надо устроить свою жизнь. Вот где ищи правды, ищи такой красоты»… Любовался церковкой, избушкой на курьих ножках, любовался портретом Верушки Мамонтовой[98]. С другой стороны — приезды великолепного Саввы Ивановича, его затеи, бросание денег, пикники, кавалькады, праздность, его окружение художниками, разными артистами — все это так разнилось от первого. И любил я это первое, к нему тянулся и боялся, дичился второго. К нему не мог привыкнуть никогда[99]… Два быта, две жизни открылись моим глазам…

Наконец, пришла осень. Я переехал в Москву. Стал ездить в Петровско-Разумовское. Писал там пейзажи. Наконец, в первый снег написал последний этюд к «Пустыннику». Пора было начинать «За приворотным зельем». Я поселился в меблированных комнатах. И быстро, месяца в два, написал картину и послал ее в Петербург, в Общество поощрения на конкурс.

Вещь эта была неплохая, однако, по разным причинам,

премию за нее мне не дали. Позднеи, через год, она была мною пожертвована Радищевскому музею в Саратове.

Надо было приступать к «Пустыннику». Я уехал в Уфу с этюдами, холстом и прочим и там скоро начал писать картину. Написал — не понравился пейзаж: не такой был холст. Послал в Москву за новым. Повторил картину быстро (она в моем представлении жила как живая). Мой старичок открыл мне какие-то тайны своего жития. Он со мной вел беседы, открывал мне таинственный мир пустынножительства, где он, счастливый и довольный, восхищал меня своею простотой, своей угодливостью Богу. Тогда он был мне так близок, так любезен. Словом, «Пустынник» был написан, надо было его везти в Москву.

В эти месяцы писания картины я пользовался особой любовью и заботами матери и всех домашних. Душа моя продолжала отдыхать… Что-то ждало меня в Москве… Что скажут друзья-приятели… Посмотрим.

Вот я и в Москве. Нанял комнату в гостинице около Политехнического музея и развернул картину. Рама, заказанная раньше, была уже готова. Начались посещения приятелей-художников. Был Левитан, Архипов. Заходил Суриков, перебывали многие. Все хвалили мою новую вещь. Особенно горячо отозвался Левитан. Он сулил ей успех.

В той же гостинице жил молодой Пастернак, писал свою картину «Чтение письма в казарме»[100]. В ней было много хорошего, да и сам Пастернак был неплохим человеком, и мы часто приходили один к другому.

Суриков тоже одобрил «Пустынника», но, как *живописец,* любитель красок, живописной фактуры, он не был удовлетворен этой стороной картины. Там, действительно, *живопись* не была на высоте, и не ею я тогда был увлечен. Но Суриков умел мне внушить уверенность, что если я *захочу,* решусь, то и живопись будет. Особенно он недоволен был лицом старика, написанным жидко, не колоритно, однако выражение или, как тогда говорили, «экспрессия» в лице была.

И вот, по уходе Василия Ивановича, я, недолго думая, взялся за палитру и ну переписывать лицо, которое и было *основой* всей моей картины. Мне казалось (и правильно) — есть лицо, есть и картина. Нет его, нет нужного мне выражения, этой умильной старческой усмешки, этих, как жемчуг, мелких зубков, — и нет картины. Мне, как Перову, нужна была прежде всего *душа* человека. И вот с этой-то душой я сейчас безжалостно простился, полагая, что она-то у меня всегда выйдет. Не тут-то было.

С того дня я десятки раз стирал написанное, и у меня не только не выходила *живопись,* но, что особенно было тяжело, я не

мог уже напасть на то выражение лица, которое в картине было и которое было так необходимо. Я по нескольку раз в день в продолжение недели, а может быть, двух, писал и стирал и снова писал и опять стирал голову. Холст мог протереться от моего усердия. Но однажды, измученный, в продолжение дня стирая лицо моего «Пустынника», я к вечеру опять нашел то, что искал и не находил. Радость моя была велика.

После этого я встретил как-то Прянишникова, который слышал о картине и о беде с ней и сказал мне дружески, что никогда не надо подвергать риску *главное,* самое ценное, то, что считаешь *основой картины,* ради второстепенного. В данном случае я считал живопись картины моей второстепенной и ради нее едва не погубил то, чем так долго жил.

И этот случай был мне уроком на всю последующую мою деятельность. Слова Прянишникова, его добрый совет я никогда не забывал.

Во время моего несчастного искания *«живописи»* мои приятели не раз мне говорили, что ко мне собирается заехать посмотреть картину П. М. Третьяков, и я боялся, что он заедет посмотреть картину, когда вместо головы «Пустынника» он увидит стертое дочиста место. Однако этого не случилось. Павел Михайлович приехал неожиданно, но тогда, когда картина была снова в порядке, и я ожил.

Помню, как сейчас, стук в дверь, мое «войдите», — на пороге моей комнаты показалась знакомая, столь всеми ценимая и любимая фигура Павла Михайловича с шапкой в руке, в шубе с каракулевым воротником, в валеных калошах. Я поспешил помочь ему снять и повесить тяжелую, длинную «купеческую» шубу.

Обычные лобызания со щеки на щеку, трижды. Вопросы о здоровье. Я знал, что Павел Михайлович — не любитель разговаривать. Он прямо приступает к делу, то есть к осмотру картины. Он и попросил позволения посмотреть «Пустынника». Смотрел долго, стоя, сидя, опять стоя. Делал односложные вопросы, такие же замечания, всегда кстати, умно, со знанием дела. Просидел около часа. Сообщил, что был у того-то и у того-то. Сказал, что хороши вещи у Левитана. Затем неожиданно, вставая, спросил, могу ли я уступить вещь для галереи?

О! Боже мой! Могу ли уступить? Заветной мечтой каждого молодого художника было попасть в галерею, а тем более моей! Ведь отец давно мне объявил, полушутя, полусерьезно, что медали и звание, которые я получил, его не убедят в том, что я «готовый художник», так, как покупка картины в галерею. А тут — «могу ли я уступить?» Однако я степенно ответил, что «могу». Следующий вопрос — самый трудный для ответа: «Что Вы за нее

хотите?» — Что хочу? Ничего не хочу, кроме того, чтобы она была в галерее, рядом с Перовым, Крамским, Репиным, Суриковым, В. Васнецовым! Вот чего я страстно хочу… И все же надо сказать не это, а что-то другое, серьезное… и я решился… сказал и сам себе не поверил… Что я наделал? Счастье было так близко, так возможно, а я, безумный, назначил… пятьсот рублей!

Павел Михайлович не возмутился, а, прехладнокровно выслушав мое решение, сказал: «Я оставляю картину за собой». И стал прощаться, оделся, уехал, а я остался в каком-то полубреду…

Как, неужели, быть не может! Когда пришел в себя, припомнил все подробности, а они были таковы, что, казалось бы, сомнениям не оставалось места. Ну, зачем Павел Михайлович настаивал, чтобы «Пустынника» я непременно послал на Передвижную, что он там еще увидит и меня, и мою картину? И к вечеру я поверил своему счастью и послал радостную телеграмму родителям в Уфу. Послал — и вновь начал сомневаться… На другой день вдогонку за телеграммой послал письмо, где, путаясь в своих сомнениях, рекомендовал не очень верить случившемуся, предлагал подождать до Петербурга и прочее и прочее. Одну нелепость нагромождая на другую.

Однако срок доставки картины на выставку приближался. Я, как и мои приятели, упаковал своего «Пустынника», отправил его и сам уехал в Питер.

В первый же день я был на Сергиевской в доме Боткина, где тогда была Передвижная. Поднимаясь по широкой лестнице наверх, встретил Павла Михайловича. Он был необыкновенно ласков со мной и как-то особенно подчеркнул, *что картину считает своей.* Потом я узнал, что ему еще в Москве передали все мои сомнения.

«Пустынник» был принят единогласно и очень многим понравился. Он выглядел, поставленный на место, оригинальным. Молодежь особенно горячо его приняла. Из стариков лучше всех принял ее Ярошенко, хуже других — Мясоедов. И на это была серьезная причина: он сам написал и выставил пустынножителя, но, как и полагалось по тем временам, автор осуждал своего пустынника за несчастную мысль где-то там «спасаться». Монах, еще нестарый, «томится» где-то в лесу, при закате летнего дня. Мясоедов посмотрел на моего счастливого старика и начал что-то в своей картине переписывать. А это плохой признак: «перед смертью не надышишься»… Кончилось тем, что накануне открытия выставки он свою картину снял вовсе, на другой год выставил ее, но желаемого успеха не имел.

«Пустынник» мой был принят и прессой хорошо. Статья

Дедлова особенно была мне приятна, в ней была заметна чуткость и какая-то талантливая смелость суждений[101]. Я был доволен своим первым выступлением на Передвижной, среди самых крупных в те времена художников.

Приехав в Москву, я побывал у старых и новых своих знакомых. Был у Третьякова, который со мной был очень ласков и передал мне пятьсот рублей.

Весной с одним из первых пароходов я, счастливый, уехал в Уфу, где и был принят на сей раз *как настоящий художник.* Отец подарил мне, как он сказал, на поездку в Италию пятьсот рублей, но они были оставлены в виде фонда в банке, а я, как и хотел раньше, решил поехать за границу *на свои,* на те, что получил за «Пустынника». И понемногу стал собираться.

Еще в Москве я готовился к этому моему шагу. Расспрашивал тех, кто бывал за границей. Про Италию я много узнал от Мамонтовых, которые не раз живали в Риме по зимам. Все мне улыбалось.

Молодость и успех окрыляли меня. Не зная языков, я купил себе толковый словарь, где были приведены довольно удачно составленные необходимые фразы. Кое-что перечитал я по истории искусства, а главное, зная, что мне нужно от заграницы взять, надеялся, что там не растеряюсь. Будущее показало, что в этом я не был самонадеян.

Между тем наступил и день отъезда, сначала в Москву, а оттуда через Вену в Венецию. Помню, отслужили молебен. Благословили меня мои старики и бодро отпустили в чужие края. Что они пережили, эти уфимские купцы, отпуская меня, без языка, одного, трудно сказать, но отпускали они меня храбро. Только просили чаще писать, и я им писал часто и обо всем. Да и с кем мне было так откровенно, так доверчиво делиться теми чудесами, которые открылись передо мной, едва я перевалил границу моей Родины[102].

Книжечка моя — мой спутник — стала с того времени неразлучным моим другом. Не имея вообще способностей к иностранным языкам, я все же охотней дерзал говорить по-немецки. Как говорить — это уж другое дело. Спросил же я позднее на возвратном пути в Берлине в буфете спросонок вместо чая (тее) — чернила (тинте).

Граница. Вот сейчас я останусь один с моей книжечкой. Выручай меня, голубушка!

Первый раз переживаю чувство расставания со всем своим, таким понятным. Смотрю и мысленно прощаюсь с людьми, с предметами. Вот мой носильщик, такой здоровый, такой русак, а там большой, с золотой медалью, жандарм… Они еще со мной,

меня поймут, помогут, если надо, а через час все эти люди и предметы, вокзал, вывески на родном языке останутся позади, а я буду один-одинешенек.

А все же интересно, и я рад, что наступает давно желанное время. Через час я буду в Австрии…

Самообразование за границей.1889

Путь до Вены совершил я в постоянном напряжении внимания[103]. Все казалось мне дивно интересным, и я переживал виденное с жадностью молодости. Города, сначала Галиции, а потом самой Австрии, мне казались в первую поездку иными, чем потом. Я помнил, что силы надо беречь для Италии и умышленно многое выпустил из поля зрения.

В Вену приехал к вечеру. Мост через Дунай со статуями, храмы, дворцы, весь характер города меня захватил своей новизной. Чтобы поделиться своими первыми впечатлениями, у меня не было ничего, кроме почтовой бумаги, и я в тот же вечер написал обо всем виденном в Уфу.

На другой день я отправился по музеям. Бродил по ним до изнеможения. Очень был восхищен «Инфантами»[104]. Из современных остановился перед доживающим тогда последние дни своей славы Макартом, разочаровавшись в этом «венском Тициане»[105]. Чем-то привлек меня Матейко, которого я знал и любил по репродукциям.

Но Вена была «попутным» городом, и я в ней не задержался. Все мои помыслы летели вперед, туда, через Земмеринг, — к Венеции, Флоренции, Риму.

Через два дня я был снова в вагоне и теперь, осмотревшись, стал спокойнее. Однако моим глазам скоро представились такие картины, которые еще не доводилось видеть до тех пор нигде. Пошли столь грандиозные ландшафты, такие сложные, характерные. Вот он — Земмеринг. Я стоял у окна, восхищенный, затаив в себе свои восторги. Вот она «заграница», вот те «тирольцы»-охотники в зеленых шляпах с пером, что я привык видеть на картинах Дефреггера, Кнауса, вообще немецких художников. Как все непохоже на нашу Россию, такую убогую, серую, но дорогую до боли сердца.

Наконец, проехав ряд туннелей, мы достигли границы. Здесь опять пограничная процедура. Она миновала меня без всяких приключений. Пересел на другой, теперь итальянский поезд с маленькими, бедными вагонами, особенно по сравнению с нашими — русскими… Новый говор, оживленный и красивый, поразил слух мой. Железнодорожные служащие — экспансивные, небольшого роста — сменили крупных медлительных австрийцев-северян. Вот еще немного, и я в заветной, давно любимой Италии. «Аванти!»[106], и поезд наш двинулся. Маленькие вагоны закачались, задвигались, побежали как-то по-новому, не по-нашему… Паровоз засвистел, влетел в туннель, и через несколько

минут мы были в ином, волшебном мире. Солнце сразу пахнуло на нас как-то по-южному. Постройки, костюмы — все иное, то самое, что еще помнилось с детства на картинках у тетушки Анны Ивановны. Вот она — подлинная Италия! Какая радость! Какая победа «уфимского купеческого сына» над сословными традициями, над укоренившимся бытом!

Я в Италии, один, с мечтой о том, что и не снилось моим дедам и прадедам. Тут все и сразу показалось мне близким, дорогим и любезным сердцу. Я мчался, как опьяненный, не отрываясь от окна. Чем-то питался. Пил и ел *cafe latte, pane*[107] и мчался туда, где жили и творили Тинторетто, Веронезе, Тициано Вечеллио…

Боже мой! Мог ли я думать, переживая мое страшное горе в мае 1886 года, что через два года смогу быть так радостен, так счастлив… Временами мне казалось, что я не один, что со мной где-то тут близко и покойная Маша, что душа ее не разлучалась со мной, и потому счастье мое сейчас так велико и полно…

Венеция

Вечером мы увидали лагуны. Вот и Венеция. Станция. Я на минуту смущен. Ведь отсюда начинается то, что так заманчиво, пленительно, но для меня, с моей книжкой, без языка, так трудно. Однако смелым Бог владеет! И тут, как и раньше, меня выручают мои двадцать шесть лет.

Носильщик, такой симпатичный (тогда мне казались все и всё симпатичными), подхватывает мой скудный студенческий багаж и пускается куда-то вслед за всеми. Через минуту я вижу великолепную Венецию, мост Риальто, ее дворцы, гондолы, слышу особый крик гондольеров.

Мы на «Канале Грандо». Я говорю, куда мне надо ехать. Называю старый отель «Кавалетто». Меня мой симпатичный итальяшка усаживает в гондолу этой гостиницы. Туда едут еще двое. Мы трогаемся.

Я сижу, как в итальянской опере. Ночь. Венецианская ночь, полная особых музыкальных созвучий. Воздух, насыщенный теплом, влажными испарениями канала. Мы проходим под мостом, въезжаем в сеть маленьких каналов. Чувство оперы усиливается. Наш гондольер перекликается с встречными на углах, на перекрестках. Тихий плеск воды, мы скользим по темной поверхности каналов… В темноте иногда видим яркое освещение траттории. Там засиделось несколько синьоров, быть может, артистов. Звуки мандолины и чей-то тенор ди грациа врываются страстным, влюбленным порывом в тишину волшебной венецианской ночи, и долго еще мы, удаляясь, слышим любовный восторг певца и вторящие ему звуки мандолины. Это нас приветствует дивная «владычица морей». Она хочет подчинить себе без остатка молодого дикаря-художника. Он твой, Венеция! Он тебя любит почти так же, как свою бедную, холодную, всем всегда недовольную Родину…

Тихо подплыла наша гондола к отелю «Кавалетто». Внесли наши вещи и отвели нам соответствующие комнаты. Моя не была велика. Много, много таких, как я, искателей счастья, восторженных и невосторженных, перебывало в этой старинной комнатке «40-х годов». И я, усталый от дороги и от пережитых впечатлений, наскоро умылся и погрузил в пуховик свое молодое тело и сладко, сладко опочил…

Проснулся рано, умылся, оделся и отправился в путь, думая, что где-нибудь по дороге выпью кофе. Вышел из подъезда. Венеция жила уже своей утренней жизнью. Венецианки бежали с корзинками на рынок и с рынка несли великолепные овощи, и я

двинулся вслед за этими добрыми людьми…

И не успел я пройти несколько шагов, как очутился перед красивейшей картиной, созданной гением человеческим. Отель «Кавалетто» был бок о бок с площадью св. Марка, и я был сейчас перед собором св. Марка, перед Дворцом дожей. Я остановился, пораженный этим единственным во всем мире архитектурным творением. Все было забыто, забыл я и о своем утреннем кофе, забыл обо всем на свете… Долго я бродил по диковинной площади, по оригинальности своей схожей с нашей Красной площадью, где также поражает глаз и воображение чудо — Василий Блаженный. Однако здесь, если и есть признаки некоего варварства, то лишь в том и тогда, когда знаешь, как создавался знаменитый венецианский собор и прославленный Дворец дожей. Благородный материал, из которого создавались эти два величайших памятника средневековой папской Италии, обязывает к известной утонченности форм. Самое «нагромождение» этих форм, архитектурных образов «вытекает» естественно из эпохи или, верней, нескольких эпох, по силе творческого духа равных между собой, а потому и получается такая великолепная общность, ансамбль, с которым не только мирится глаз самого избалованного зрителя, но на протяжении веков восхищается человечество[108].

Я же не только был восхищен, но и как-то растерялся перед тем, что представилось мне, моему глазу, готовому ко всему чудесному. Ведь недаром же попал я в Италию, страну художественных чудес. Я был один, все впечатления виденного я должен был пережить, переварить спешно, и как ни был я подготовлен увражами, фотографиями и прочим материалом разных «историй искусств», но материалы эти так же передавали оригиналы, как всякий фотографический снимок мог передать живое, одушевленное лицо со всеми душевными нюансами, сложной красотой, комплексом настроений, свойственных творению Божию.

Налюбовавшись всем, что дала мне площадь св. Марка, я задумал пройти в самый собор, и так как на Венецию у меня было рассчитано всего дня три, а видеть там необходимо было очень многое, то я, напившись кофе тут же на площади, вошел в собор. Его внутренность соответствовала внешнему виду, но последний был неожиданней, смелей, фантастичней… Византийская базилика, со всеми ее особенностями, была налицо. Мозаики, качественно неоднородные, несколько раздражали глаз. Превосходная ризница собора напоминала о наших богатствах этого рода.

Я вышел из собора уже утомленный и надо было хоть

немного отдохнуть, чтобы с той же свежестью воспринимать красоты Дворца дожей. Я пошел побродить по каналу, поглазеть на движение, на нем происходящее. Все было так захватывающе ново, что те полчаса или час, что я оставался среди этих новых красот, исторических и природных, немного помогли мне отдохнуть, и я, гонимый какой-то жаждой любопытства, прошел во дворец.

Меня мало интересовали исторические залы дворца. Я весь отдался восхищению самим художеством, вне событий, совершавшихся некогда на фоне этих великолепных, гениальных творений Тинторетто, Тициана, Веронеза. Они одни были в то время властителями моих дум, моего художественного восприятия. И я не знаю, было ли бы лучше, если бы со мной в те часы был опытный профессионал-спутник. Я всегда очень большое значение, и предпочтительное, отдавал *непосредственному* впечатлению от художества.

Осмотрев Дворец дожей, я окончил свой день на площади Св<ятого> Марка, слушая музыку, любуясь толпой гуляющих, среди коих было много красивых венецианок, знакомых мне по картинам Веронеза, Тициана. Усталый, я побрел в отель «Кавалетто», счастливо заснул, с тем, чтобы на другой день идти в Академию.

Утром, напившись кофе и закусив хлебом с маслом, я двинулся отыскивать Академию. Спрашивал по пути дорогу туда; как почти всегда, больше по чутью, ее нашел. Пробыв в Академии до обеда, полюбовавшись на Тициана, Карпаччо, записав все наиболее мне понравившееся для памяти, а некоторые картины зарисовав (на фотографии со всего, что мне нравилось, денег у меня не хватило бы), я отправился обедать. На обратном пути долго любовался статуей Коллеони[109], которую потом, в другие приезды в Венецию, всегда осматривал с особым восхищением.

Остаток дня провел, гуляя по Венеции, заходя в церкви. Был на рынке, на почте. По моему плану на Венецию у меня было положено три дня, и вот завтра я должен был осмотреть еще несколько церквей, еще раз побывать в соборе св. Марка и ехать во Флоренцию, памятуя, что цель моей поездки — Рим и Париж.

Неохотно на другой день покидал я Венецию: я стал только что с ней осваиваться, и вот опять езда по железной дороге. Утешал себя тем, что впереди еще так много прекрасного, что нельзя засиживаться подолгу на пути.

Выехав из Венеции, заехал в Падую, осмотрел там собор и капеллу с фресками Джотто и двинулся во Флоренцию. Тут все было иное, чем в Венеции, и мне еще больше пришлось по вкусу. Остановившись недалеко от «Дуомо»[110] в маленьком отеле Каза

Нардини, где все мне показалось так уютно, я, приведя себя в порядок, двинулся в поход.

На Флоренцию у меня была дана неделя времени, немного, да и кипучая моя натура требовала сейчас же деятельности. Через час я уже был в соборе, осматривал с жадностью баптистерий, двери Гиберти, словом, все то, что у меня было помечено, назначено еще в Москве для обзора.

Зашел закусить где-то по дороге в Синьорию. Так часов до пяти-шести, а вечером поехал отыскивать художника Клавдия Петровича Степанова, жившего здесь с семьей. По дороге туда восхищался Флоренцией, которая была вся в цветах, в чайных розах. У моего извозчика розы были на шляпе, у его лошади — в гриве, в хвосте. Попадались экипажи, тоже украшенные розами. Их не знали куда деть. Решетки, подъезды вилл были увиты розами. Ароматный воздух сопутствовал нам по дороге…

Красива, своеобразна была Венеция, но и лицо Флоренции было прекрасно, и я с тех пор полюбил ее на всю жизнь.

Семья Степанова встретила меня приветливо. Там я познакомился с милейшим Николаем Александровичем Бруни, внуком знаменитого ректора Академии, автора «Медного змия» — Федора Антоновича Бруни. С Николаем Александровичем мы сошлись, да и трудно было с ним не сойтись, так обаятелен, красив в те поры был этот методичный, мягкий, больше того, нежный «Николо Бруни». Мы с ним сговорились встретиться в Риме, встретились там и остались в добрых отношениях на всю жизнь. После многих дней подневольного молчания я с великой радостью болтал по-русски теперь во Флоренции. На другой день вместе с Бруни был в Академии, в монастыре св. Марка.

Душа моя была полна новыми впечатлениями, я не мог их вместить, претворить в себе… Получался какой-то хаос… Скульптура Микеланджело и фрески в кельях монастыря св. Марка — все это теснило одно другое, приводя меня в неописуемый юный восторг. Язычник Боттичелли легко уживался с наихристианнейшим Фра Беато Анджелико. Все мне хотелось запечатлеть в памяти, в чувстве, всех их полюбить так крепко, чтобы любовь эта к ним уже не покидала меня навек.

Мне кажется, что искусство, особенно искусство великих художников, требует не одного холодного созерцания, «обследования» его, но такое искусство, созданное талантом и любовью, требует нежной влюбленности в него, проникновения в его *душу,* а не только форму, его составляющую…

Что останется от бедного фра Беато, если к нему подойти с анализом наших «искусствоведов», как их теперь называют… Твердо верю, — не для них, — этих врагов искусства и

художников, самонадеянных чиновников от искусства молились в своем художестве, жили им Рублевы, Фра-Анджелики, Боттичелли до Рафаэлей и бурных, пламенных титанов Микеланджело…

Что меня еще пленило в знаменитом монастыре — это миниатюры книг, эти изумительные иллюстрации к творениям боговдохновенных отцов церкви христианской. Некоторые из них не только поражали меня своими техническими достижениями, но того больше теплотой чувства, опять любовью к тому, над чем художник долго и так искусно трудился.

Дни шли за днями. Музеи чередовались с церквами. Вечерами же я бывал или у Степановых, или бродил по берегам Арно, на Сан-Миньято, бродил, как очарованный странник. Я жил тогда такой полной жизнью художника, я насыщался искусством, впитывал его в себя, как губка влагу, впитывал, казалось, на всю остальную жизнь. Какое великое наслаждение бывало бродить по углам, капеллам церкви Санта Мариа Новелла. Усталый до изнеможения, до какого-то опьянения, еще не привыкшего к опьянению юноши, я шел в свою Каза Нардини и едва успевал раздеться — засыпал сладким, счастливым сном. Вот тогда, в первую мою поездку по Италии, я постиг всю силу чар великих художников. И что удивительного в том, что чары живут по четыреста — шестьсот лет. Ведь в них, как в матери-природе, источник жизни, в них — Истина, а Истина бессмертна…

Мои альбомы, записные книжки были полны зарисовок, кратких, часто наивных мыслей, и я редко соблазнялся возможностью побаловать себя покупкой фотографий особо любимых вещей. Я должен был помнить, что пятисот рублей, которые были зашиты в мешочке, что у меня на груди, должно было хватить мне на три месяца, на всю Италию и Париж с его Всемирной выставкой. Это надо было помнить твердо, и я это помнил.

Дни быстро летели во Флоренции. Все, что было можно бегло осмотреть, было осмотрено. В Уффици, в монастыре св. Марка, в Академии и в некоторых церквах я побывал по нескольку раз. Я был полон Флоренцией и на восьмой день попрощался с друзьями и с самой Флоренцией, выехал в Рим, заехав предварительно в Пизу.

Помню, по дороге высунулся из окна, и мне попал в глаз летевший из паровоза уголь. Я неосторожно растер глаз, и первое, что надо было сделать, — зайти в аптеку и успокоить глаз. Потом уже я отправился по низеньким, перекрытым арками улицам к Кампосанто[111], собору и прочему. Сине-голубое небо давало дивный фон оранжевому мрамору падающей башни баптистерия собора. Превосходный этюд этого пизанского мотива я потом

видел у своего друга, польского художника Яна Станиславского, влюбленного, как и я, в Италию.

Рим

Кто не знает, кто не пережил того особого чувства, когда подъезжаешь, да еще впервые, к Вечному городу!.. Я с таким напряженным вниманием ждал того момента, как увижу купол св. Петра… Вот, вот он! Его громада как бы покоится на огромном плато. Он стоит, как сказочная голова богатыря среди поля, чистого поля. И лишь тогда, когда поезд пронесется еще много верст, вы видите, что на этом поле, около этой головы-купола ютятся тысячи зданий, дворцов, храмов, сотни тысяч живых существ живут, движутся вокруг него, такого спокойного, величественного в своей гениальной простоте.

Поезд подлетел к перрону. Осведомленные из Флоренции, меня здесь встречали скульптор Беклемишев и еще кто-то из земляков. Радостно здороваюсь и слышу, что мне готов уже и угол на знаменитой улице артистов, на Виа Систина. Она приняла меня радушно, как до того приняла тысячи, мне подобных, восторженных поклонников Италии, Рима.

Я занял маленькую комнатку в доме ченто венти трэ[112], принадлежавшую нашему историку искусств профессору Цветаеву, создателю Московского скульптурного музея Александра III[113]. Сам Цветаев уехал в Афины, в Египет и комнатка его была пустая. В ней я и устроился, благодаря Беклемишеву, жившему в том же доме. Комнатка маленькая, чистенькая, с пышной постелью, со ставнями от полуденного жара. Хозяйка милая, приветливая, и с первого же дня я чувствую себя, как дома. Позади дома — наш дворик. На нем растут несколько апельсиновых деревьев, покрытых плодами.

К ужину собирались в траттории у сеньора Чезаре (у него давали в 12 часов обед, в 6–7 ужин). Кроме нас, русских, здесь были немцы, испанцы, англичане, шведы. Наш стол был посередине и самый большой, да и нас было больше, чем остальных.

Был тут и римский старожил Рейман, тогда трудившийся над рисунками в Катакомбах, их увековечивший. Здесь бывали и Рицдони, и Бронников, в то время жившие где-то на морском побережье. Был и так называемый «Шурка Киселев», пенсионер Академии, редкий добряк, не знавший, за что взяться ему в Риме. Тут было несколько барышень, посланных Училищем барона Штиглица, и еще какие-то молодые люди. Беклемишев всем меня представил, и я сразу вошел в эту русскую семью на Виа Систина.

Обеды и ужины у Чезаре были шумны и многоречивы. Все приходили туда после осмотра достопримечательностей или

иной дневной работы художников, — усталые, но молодость не долго поддается этому состоянию. Стакан вина делает человека опять бодрым и сильным.

Помню, как контраст нашей шумной ватаге, старика, скульптора-итальянца, сидевшего в уголку за своей «квинтой» вина и салатом. Как несхоже было все в нем с нами — северными варварами… И его молчание, и его донельзя скромная трапеза. Мы же, русские и англичане, поедали несметное количество яств, питий и бесконечно много спорили, говорили, кричали и сидели за столом дольше всех.

С первого же дня я начал свой осмотр Рима. Был в своей компании после ужина на соседнем Пинчио[114], в парке, идущем от самой лестницы Тринита деи Монти до самой Пьяцца дель Пополо.

На другой день пошел к св. Петру. Не нужно говорить, как поразил меня его размер, как внимательно я его осматривал, но я не вынес оттуда особых впечатлений, как от искусства. Он мне показался холодным (как его мозаики) и напыщенным. Он не соответствовал моему представлению о христианском храме, он был слишком католическим, торжествующим, гордым для моего православного понимания храмоздательства. Это было небо, притянутое к земле, а не земля, вознесенная к небесам.

Быстро помчались мои дни в Риме. Через неделю я стал чувствовать безотчетную радость, какое-то удовлетворение, как будто к моей молодости прибавилось еще что-то, быть может, здоровье или удача. Я спрашивал себя: «Что с тобой, чему ты рад?» И когда тот же вопрос задал своим приятелям, то кто-то из них мне сказал: «Вы забыли, что вы в Риме. Его воздух в себе имеет эту тайну, и, пожив однажды в Риме, вас всю жизнь будет тянуть сюда». Однако я не скажу, что в то время я был так увлечен им. Нет, в те дни вспоминалась Флоренция, и лишь позднее я «почувствовал» Рим, его силу, как Вечного города.

Я неустанно знакомился с его искусством. Из живописи меня раз и навсегда поразили ватиканские фрески Рафаэля (особенно «Пожар в Борго») и потолок Сикстинской капеллы Микеланджело. И до сих пор эти вещи остаются для меня первенствующими в Риме. Мозаиками в первый свой приезд я особо не заинтересовался, античным миром тоже.

Время Возрождения и его памятники живописи захватили меня всецело и без остатка. Через неделю приехал Бруни, и мы с ним иногда вместе бывали в Ватикане, в Катакомбах. Он присоединялся к русской группе у Чезаре, куда мы, бывало, поспешали с ним, он с прекрасным гидом по подробным картам города, а я — по чутью, и, как ни странно, мы приходили, как бы

ни было велико расстояние до нашей траттории, в одинаковое время.

В нашей компании был один старый Римлянин, отец скульптора Беклемишева — декоратор Реджио. Он был великий поклонник Рима в ущерб своей родине, и я часто с этим стариком воевал. Но особенно мы враждовали однажды — в день праздника св. Иоанна Латеранского. С утра мы ездили компанией за город, осматривали остатки дворца императора Адриана, и я не мог в должной мере проникнуться восторгом от мраморных глыб, из которых когда-то была создана знаменитая вилла. Эти камни были недостаточно убедительны для меня и вовсе меня не волновали, тогда как старик Беклемишев, человек западной культуры, имевший основание не любить свою родину, был ими восхищен и глумился над тем прекрасным, что осталось у нас дома и что меня и там, в Риме, Тиволи, Альбано — продолжало восхищать. Мы в тот раз наши споры, неистовые споры и препирательства продолжали и на обратном пути, когда, уже вечером, ехали на извозчике (на одном извозчике чуть ли не вчетвером) с народного праздника на Латеранской площади по празднично освещенным улицам Рима.

Любил я, кроме Ватикана, в то время бывать в церкви Сан Пьетро ин Винколи за Колизеем. Там, в этой старой церкви, был превосходный орган, а что особенно меня туда привлекало — это «Моисей» Микеланджело.

Повторяю, христианское искусство мне было понятней, родней. Чтобы его воспринять, мне не надо было делать никаких усилий. Искусство же дохристианское оставалось где-то по ту сторону моего сознания, чувства в особенности. Ну, и Бог с ним.

В то время в Риме жило русское семейство Гвозданович — красавица жена одного петербургского чиновника, москвичка, урожденная Прохорова, и с ней двое детей, два маленьких сына. Эта Екатерина Ивановна Гвозданович была дивно хороша собой: светлая блондинка с вьющимися подстриженными волосами, прекрасно всегда одетая, такая стройная, во всех отношениях блестящая, живая и одаренная. Она часто бывала вместе с нашим скульптором Беклемишевым, тоже на редкость красивым, с большими черными волосами, несколько искусственно вдохновенным, сентиментальным. На эту пару нельзя было не заглядеться. Она обращала на себя внимание, как дивное сочетание совершенной красоты человеческой породы. Появляясь вместе тогда в Риме, они вызывали к себе симпатию, всем хотелось, чтобы мадам Гвозданович превратилась в мадам Беклемишеву, что в скором времени и случилось. Екатерина Ивановна со своим мужем разошлась и вышла вторично за нашего

скульптора, бывшего потом, при новом уставе Академии, ее ректором.

Я как-то упоминал, что свои «богатства» я за границей носил при себе, на груди, в особом парусиновом мешочке. В Италии, в Риме, я этот заветный мешочек на ночь снимал и клал себе под подушку, а утром снова надевал и шел так или в Ватикан, или еще куда-нибудь. Однажды, возвращаясь после обеда к себе, я на лестнице встретил мою милую хозяйку, которая поздоровалась со мной и, ответив на мое «бона сера, синьора»[115] тем же, стала что-то очень энергично толковать мне. Я ровно ничего не понимал, и, видя, что от меня немного толку добьешься, хозяйка взяла меня за руку и повела по лестнице выше, в мою комнату, из кармана вынула ключ, отперла дверь и энергичным жестом показала на мою кровать, а на кровати, на высоких подушках, лежал посередине со сложенной бантиком тесьмой… мой заветный мешочек. Хозяйка торжествовала, что-то продолжала объяснять, я же стоял, как соляной столб. Наконец, поняв все, пришел в себя и стал горячо благодарить добрую женщину, которая, убирая утром мою комнату, перетряхивая подушки, нашла мною забытый мешочек. Таковы вообще были отношения хозяев к жильцам-артистам в те времена в благословенной Италии. Исключением был, говорят, Неаполь, на соседнем же Капри честность народа была идеальная.

Конечно, не раз я с приятелями побывал и в знаменитом кафе Греко, где мне показывали сидящего в углу старика с газетой. Это был эмигрант времен Иванова — Станкевич, оставшийся навсегда в Риме. Видел я и тот фонтан на Пьяцца ди Спанья, в котором некогда, после бурной ночи, освежали свои грешные тела наши пансионеры-художники.

В те дни, когда я был в Риме, я не мог видеть многих русских, живущих там обычно. Не было братьев Сведомских, не было Котарбинского — они были в Киеве, расписывали Владимирский собор, где я познакомился со всеми этими милыми людьми через год с небольшим.

Из ученых наших в Риме я застал М. Ростовцева и Вячеслава Иванова, с ними познакомился, бывал у них. У Иванова, незадолго перед тем приехавшего из Парижа (перед Парижем он жил в Германии), была маленькая дочка, свободно, мило говорившая по-итальянски. Перед тем в Париже она также легко усвоила речь французскую, а еще раньше — немецкую, причем всякий раз, при переходе к другому языку, она совершенно забывала тот язык, на котором болтала перед тем.

Мой месяц кончался; надо было подвести итог тому, что я вынес из своего краткого там пребывания, и я все же чувствовал,

что стал богаче. Я своими глазами видел, своим умом постиг, своим чувством пережил великий Рим, все его великие моменты. И это для меня было чрезвычайно важно. Я знал, как ценно первое личное впечатление. Я теперь его имел и надеялся, что мне удастся сделать соответствующие выводы. Также я почему-то думал, что в Италию и впредь мне путь не заказан, что в эту дивную страну, в Рим я еще не раз вернусь, переживу все вновь, дополню.

А теперь довольно — надо ехать дальше, в Неаполь, посмотреть Помпею и пожить недели две-три на Капри, о котором я много слышал и мечтал о нем давно.

Да, нужно было и хотя бы немного привести свои впечатления в порядок. За время своего путешествия было столько пережито, видено, а впереди был еще Париж, Берлин, Мюнхен, Дрезден. Надо было рассчитать свои силы с тем, чтобы по возвращении домой можно было приступить к новой картине, которая все более и более выяснялась в моем воображении. Впереди было «Видение отроку Варфоломею»…

Итак, через несколько дней в поход на юг, к морю… Самые лучшие чувства наполняли мою душу. Письма в Уфу были счастливые, довольные, они радовали моих стариков.

В назначенный день мы собрались у Чезаре, покушали и выпили. Потом мои друзья проводили меня на вокзал, и с самыми лучшими пожеланиями я уехал с тем, чтобы вернуться в Рим через два года с другими задачами.

Но об этом речь впереди…

Неаполь-Капри

Вот я и в Неаполе, передо мной Везувий. Брожу по Санта Лючиа, еще по старой, папской Санта Лючиа, покупаю у Беляева «рикорди ди Наполи»[116] для моих милых уфимцев. Хожу в Неаполитанский музей. Поднимаюсь по так называемой «ослиной» лестнице на Сан Мартино. Перед моими глазами расстилается голубой Неаполитанский залив с туманным Капри, Иския… Всюду слышна музыка, дивный говор красивого, беспечного народа. Так прошло два-три дня.

Надо двигаться дальше — в Помпею. Вот я и там, в отеле Диомеда. Прогуливаюсь по улицам несчастного города, погибшего ко славе Карла Брюллова. Купаюсь в Неаполитанском заливе, наконец, нанимаю извозчика и через Кастелламаре еду в Сорренто. Кругом сон наяву.

В Сорренто восхищаюсь дивной природой, пробираюсь к морю в надежде выкупаться, но, испуганный массой народа — мужчин и дам в купальных костюмах — испуганный этим зрелищем, откладываю свое намерение до Капри.

Я на Капри, в отеле «Грот Блё». У меня милая небольшая комнатка с окном на море, на Везувий и с двумя дверьми — одной в коридор, другой к двум старым англичанкам. Здесь я намерен прожить недели две-три, отдохнуть, поработать. Я уже в Риме написал один небольшой этюд на Пинчио. Там же, на Виа Грегориана, купил лимонных дощечек, таких приятных для живописи.

Пока что занялся обозрением острова, его красотами. Побывал на море, отважился где-то в стороне от добрых людей, за камнями, выкупаться. Погода дивная. На душе — рай. Отлично кормят, за столом свежие фрукты, вино…

В отеле публика интернациональная. Тут и англичанки, и шведы, и немцы, есть один датчанин-художник, который таскает с собой огромный подрамок с начатым на нем импрессионистическим пейзажем. Все они мне нравятся и скоро завязывается знакомство. Странный русский, не расстающийся со своей голубой книжкой, начинает интриговать раньше других двух старых англичанок, потом датчанина-художника, и разговор при помощи этой книжки как-то налаживается. Я отважно ищу слова, фразы в книжке, моих ответов терпеливо ждут. Все, и я в том числе, в восторге, когда ответ найден, и я угадал то, о чем меня спрашивают…

Я в прекрасном настроении, я вижу, что ко мне относятся мои сожители с явной симпатией, это придает мне «куражу», я

делаюсь отважней и отважней; я почти угадываю речи моих застольных знакомцев.

Так проходит неделя. Я делаюсь своим. Со всеми в самых лучших отношениях. Начинаю писать, и мое писание нравится, симпатии ко мне увеличиваются. В числе моих друзей — старый англичанин, говорят, очень богатый. Он расспрашивает меня о России, и я говорю о ней с восторгом, с любовью, что для англичанина ново: он слышал, что русские обычно ругают свою родину, критикуют в ней все и вся. То, что я этого не делаю, вызывает ко мне симпатии старика. Однажды, когда я сидел с книгой, он подошел ко мне и спросил, что я читаю. Я ответил, что Данилевского «Россия и Европа»[117]. Англичанин об этой книге знал, и то, что я симпатизирую автору, увеличило его расположение ко мне.

Я начал этюд моря ранним утром, когда рыбаки после ночи вытаскивают свои сети, когда в воздухе так крепко пахнет морем, а вдали, еще едва заметный, курится Везувий… Я вставал рано-рано и, чтобы не будить моих соседок-англичанок (старый сон — чуткий сон), пробирался как-то на плоскую крышу дома, а оттуда со всеми своими принадлежностями спускался по лестнице на наш дворик.

Чудесные были эти утра! Все кругом дышало здоровьем, красотой — так мне казалось, потому что я был молод, жизнь била ключом, впереди сонмы надежд, порывы к счастью, к успехам.

Как-то я узнал, что в старом отеле «Пагано» все комнаты для жильцов, столовая, приемная украшены живописью художников, живших в разное время в этом отеле, что многие из них во времена своего пребывания в «Пагано» были молоды, а теперь прославленные старики. Имена их принадлежат всей Европе, всем народам, ее населяющим…

И я, недолго думая, написал на двух дверях своей комнаты — на одной «Царевну — Зимнюю сказку», а на другой «Девушку-боярышню» на берегу большого северного озера, с нашей псковской церковкой вдали. Об этом сейчас же узнали хозяин отеля и жильцы, и я еще больше стал с того времени своим.

Время летело стрелой. Я совершенно отдохнул и стал подумывать об отъезде в Париж. Скоро об этом узнали все мои каприйские друзья, старые и молодые.

Вот настал и день разлуки. Последний завтрак, последняя беседа, по-своему оживленная. Все спешили мне выказать свое расположение, и я с искренним сожалением покидал Капри, отель «Грот Блё» и всех этих старых и молодых людей.

Решено было всем отелем идти меня провожать. Перед тем,

тотчас после завтрака, было предварительное прощание. Все говорили напутственные речи, а я, понимая, что меня не бранят, благодарил, жал руки, улыбался направо и налево. Я получил в тот день не только на словах выражение симпатий, но каждый считал нужным вручить мне какой-нибудь сувенир: кто свой рисунок, кто гравюру (старый англичанин), кто какую-нибудь безделушку, а мои старые девы-соседки поднесли мне стихотворение своего изготовления.

Пароход свистком приглашал занять на нем места. И вот из нашего отеля двинулась процессия: впереди с моими скромными вещами служитель отеля, за ним я, окруженный провожающими, которые наперерыв болтали, сыпались пожелания и прочее…

На берегу расстались, и я, взволнованный, сел в лодку и покинул гостеприимный Капри. Долго с берега мне махали платками, зонтами, и я не скупился ответами на эти приветствия. В тот же день я выехал на север и через Милан, Швейцарию двинулся в Париж, унося незабываемые впечатления о днях, проведенных в благословенной Италии.

Два месяца прошли, как два дня. Осталось моему привольному житью, этому сну наяву, еще лишь один месяц. Надо его провести с пользой, с умом, интересно. Постараюсь!

Париж — Дрезден

Пролетели мы через живописную, но нелюбимую Швейцарию с ее озерами, Монбланами и Сен-Бернарами, а вот и Франция. Она такая, как я ее себе представлял, как ее пишет наш брат-художник.

Поезд подлетел к перрону, и я почувствовал, что моя книжечка здесь меня не спасет. Трудный для меня французский выговор помешает этому сильно. Однако надо выходить, брать извозчика на рю Кюжас. Как-то все это надо оформить. И что же? Все обошлось благополучно, и я еду по улицам Парижа, преразвязно оглядывая бегущих по панелям и бульварам французов.

Вот я уже переехал мост. По пути узнал многое знакомое по снимкам. Вот Нотр-Дам, вот Пантеон. Я еду бульваром Сен-Мишель и знаю, что где-то тут и моя рю Кюжас. Куда-то мой возница сворачивает и подъезжает к дому средней красоты: это и есть те парижские «меблирашки», куда меня направили римские друзья мои.

Выбежал портье в зеленом дырявом фартуке и, убедившись в моей немоте, подхватил мой скарб, побежал куда-то вверх, болтая что-то очень оживленно и весело. Мне не было так весело, как этому человеку в зеленом фартуке, однако я притворился, что все прекрасно, что все именно так, как мне нужно, поспешил за моими вещами, пока не предстал перед пожилой дамой. Та, убедившись, что месье не из тех, что тратят слова попусту, оставила меня в покое, и через минуту я очутился в комнатке очень маленькой, очень старенькой, но все же над кроватью был малиновый полог, и все, что нужно, было налицо.

Помолчав, сколько нужно, мы расстались с зеленым фартуком, и я погрузился в размышления о своей дальнейшей судьбе. Затем умылся, переоделся и пустился, не тратя зря времени, в путь. Я заметил, что так уже «обтерпелся», что меня трудно было после Италии чем-либо поразить особенно.

Вот и сейчас, выйдя из дому, я побрел, что называется, куда глаза глядят. Первое, что попалось мне, — театр Одеон. Обошел его и не удивился. Затем очутился в Люксембургском саду. Хорошо, приятно, но и такое я уже видел. Тут же решил, что в ближайшие дни надо побывать в Люксембургской галерее.

Гулял много, долго. Подходил к Пантеону. Но что такое парижский Пантеон, когда я еще недавно в Риме видел подлинный, античный Пантеон и грандиозный Сан Пьетро!..

Закусив где-то на бульваре чем бог послал, я рано в тот день

лег под свой малиновый полог, обдумывая, с чего начать следующий день.

Утром проснулся и решил двинуться прямо на Всемирную выставку — это была выставка 1889 года. Сообщение с выставкой было идеальное, и я без труда попал туда.

Первое впечатление — это колоссальная Нижегородская ярмарка. Те же ярмарочные эффекты, та же ярмарочная толпа, тот же особый ярмарочный гул, запахи и прочее. Однако это первое впечатление сходства Всемирной парижской выставки с Всероссийской нижегородской ярмаркой скоро меняется, и у меня оно изменилось, как только я очутился в художественном отделе выставки. О, это уже не была Нижегородская ярмарка!

Интересы ярмарки, ее главная задача были здесь почти в корне уничтожены задачами самого искусства. Торговать искусством, как и наукой, конечно, в каких-то пределах и условиях можно, но прямые цели тут иные, более высокие, духовные. И в этом, попав в художественный отдел, вы быстро убедитесь.

В тот год художественный отдел был очень полон. Французы постарались не только над количеством его, но и качественно он был высок. И я рад был, что попал сюда после Венеции, Флоренции, Рима. Я *скоро* понял, почувствовал, что мне *нужно* смотреть и чего смотреть *не следует.*

Высокое, технически новое искусство того момента не было особенно глубоким искусством, и лишь часть, самая незначительная, французов и англичан в этом были исключением, а я и мое поколение были воспитаны на взглядах и понятиях искусства Рёскина и ему подобных теоретиков. Нам далеко было недостаточно, чтобы картина была хорошо написана, построена и прочее; нам необходимо было, чтобы она нас волновала своим чувством. Наши ум и сердце, а не только глаз, должны были участвовать в переживаниях художника. Он должен был захватить наиболее высокие свойства духовно одаренного человека. И вот на эти-то требования тогдашняя выставка, при всех своих внешних достоинствах, отвечала слабо.

В первый день я, конечно, мог спешно обежать лишь территорию художественного отдела, в коем были представлены все народы мира. Я едва успел что-то перекусить, выпить кофе и до самого вечера оставался среди картин. На второй и третий день у меня сложился план, что мне надо и без чего я обойдусь, и сообразно с этим последующие дни я и направлял свое внимание и время. У меня на весь Париж, на всю выставку было около трех недель, и это надо было помнить.

Не прошло и недели, как я на выставке ориентировался

совершенно свободно. С утра, если я попадал на выставку, я брал себе какой-либо один народ и в отделе этом проводил до полдня. Затем шел закусить, выпить наскоро стакан кофе и шел во французский отдел к Бастьен-Лепажу; если там было свободное место, садился перед его «Жанной д'Арк» и отдыхал, наслаждаясь не столько тем, как картина написана, а тем, сколь высоко парил дух художника[118]. В этой вещи достижения Бастьен-Лепажа совершенно феноменальны.

Я старался постичь, как мог он подняться на такую высоту, совершенно недосягаемую для внешнего глаза француза. Бастьен-Лепаж тут был славянин, русский, с нашими сокровенными исканиями глубин человеческой драмы. В «Жанне д'Арк» не было и следа тех приемов, коими оперировал, например, Поль Деларош, его театрального драматизма. Весь эффект, вся сила «Жанны д'Арк» была в ее крайней простоте, естественности и в том единственном и нигде неповторяемом *выражении глаз* пастушки из Домреми; эти глаза были особой тайной художника. Они смотрели и видели не внешние предметы, а тот заветный идеал, ту цель, свое призвание, которое эта дивная девушка должна была осуществить.

Задача «созерцания», внутреннего видения у Бастьен-Лепажа переданы с сверхъестественной силой, совершенно несравнимой ни с одной попыткой в этом роде (Крамского в его «Созерцателе»[119] и других). Вот перед этой-то картиной я проводил дивные минуты своего отдыха, эти минуты и сейчас считаю наилучшими в те дни.

Я говорил, что хороши были англичане. Их серьезные портреты, а также группа так называемых прерафаэлитов[120]мне очень нравились. Тогда же я увидел прославленную картину «Христос перед Пилатом» Мункачи, вещь эффектную, но не глубокую[121].

Новы были для меня Испанцы[122]. Их большие исторические полотна были красиво исполненными театральными постановками без внутреннего драматизма. Как им далеко было до нашего Сурикова!

Если я не был на выставке, то проводил время, осматривая музеи — Лувр, Люксембургский, Пантеон…

Лувр многим мне напоминал только что покинутую Италию. Из новых остановили внимание Курбе своими «Похоронами»[123], Реньо — «Маршалом Примом»[124] и тогда такие еще свежие барбизонцы[125].

Много очень ценного было и в залах музея Люксембургского. Но лишь Пантеон с его Пювис де Шаванном вызвал во мне поток новых сильных переживаний. «Св. Женевьева» Пювиса перенесла

как-то меня во Флоренцию, к фрескам Гирландайо в любимой мною капелле Санта Мария Новелла[126].

Пювис глубоко понял дух флорентийцев Возрождения, приложил *свое* к некоторым их принципам, их достижениям, приложил то, что жило в нем и пело, соединил все современной техникой и поднес отечеству этот превосходный подарок, его обессмертивший. Не все, что дал Пювис в Пантеоне, равноценно. И все же именно он, а никто другой, достиг наилучших результатов в стенописи Пантеона и Сорбонны. К сожалению, я не был на его родине в Амьене, где сохраняются его ранние произведения.

Пювис и Бастьен-Лепаж из современных живописцев Запада дали мне столько, сколько не дали все вместе взятые художники других стран, и я почувствовал, что, если я буду жить в Париже месяцы и даже год-два, я не обрету для себя ничего более ценного, чем эти разновидные авторы. Все в них было ценно для меня: их талант, ум и их знания, прекрасная школа, ими пройденная, — это счастливейшее сочетание возвышало их в моих глазах над всеми другими. Все мои симпатии были с ними, и я, насмотревшись на них после Италии, полагал, что мое европейское обучение, просвещение Западом, может быть на этот раз завершенным. Я могу спокойно ехать домой, и там, у себя, как-то претворить виденное, и тогда, быть может, что-нибудь получится не очень плохое для русского искусства. Мало ли чего в те молодые годы не передумалось, куда ни заносили каждого из нас наши мечты, наше честолюбие!

Несмотря на все это, я старался пополнить свои впечатления всем, чем мог. Я был в Версале, был всюду, где мог взять хоть что-нибудь. Лувр и Люксембургскую галерею я посетил несколько раз. Одним словом, был добросовестен и прилежен.

Сам Париж, как город, лишь своим средневековьем пленял меня. То же, что давал этот новый Вавилон сейчас, меня мало прельщало. Я не был ни в каких «Мулен Руж», и это «лицо Парижа» (или, вернее, его маска) мне осталось и в следующие приезды неизвестно. И вовсе не потому, что я хотел быть или казаться целомудренным, — нимало. Просто потому, что «это» всюду одинаково грязновато и пошловато, и не за тем я ехал за границу.

Я не обманывал себя, что многое я не узнал из того ценного, что мог бы узнать, живя на Западе, в Италии или Париже дольше, годы, но в данных условиях — один, без языка, несмотря на мою энергию, подвижность и молодую любознательность, — большего я взять бы не мог.

В то же время я чувствовал, что во мне зарождается живая

потребность, необходимость сказать что-то свое, что во мне что-то шевелится уже, как плод в утробе матери. И тогда я, имея возможность побывать в Лондоне, от этой поездки отказался, ограничив себя Мюнхеном, Дрезденом и Берлином.

Особенно же мне необходимым казалось завершить свое путешествие Рафаэлевой Сикстинской Мадонной. Для нее одной, казалось мне тогда, у меня осталось достаточно силы к восприятию. Она, Сикстинская Мадонна, должна была последней напутствовать меня на долгий и трудный путь служения родному искусству…

И я стал понемногу готовиться к отъезду из Парижа, благодарил мысленно Бога, что Он дал мне возможность с такими малыми средствами обогатить свой ум, свое сердце столькими прекрасным, созданным гением, талантом народов Запада.

Пришел день, и я покинул Париж. По пути заехал в Мюнхен. Там осмотрев Пинакотеку, галерею Шакка[127] с прекрасным, сказочным Швиндом, с ранним Бёклином. Видел Сецессион[128].

Из Мюнхена проехал в Берлин, а оттуда съездил в Дрезден, и тотчас же по приезде отправился в галерею. Пройдя ряд залов, остановившись у Гольбейна, я поспешил в зал рафаэлевский, к его Сикстинской Мадонне. Вот здесь я найду завершение виденного. Здесь величайший и одареннейший из художников живет в самом совершенном его произведении.

Зал хорошего размера… Слева идут амфитеатром места для зрителей. Свет окна — слева же. Я выбрал себе место на одной из задних скамей. Народа было немного — человек двадцать-тридцать, иностранцы. Сел и я. Еще минута, и передо мной открылась Мадонна Сикста.

Первое мгновение мое внимание было несколько отвлечено ее окружением, этим малиновым бархатным фоном, банально задрапированным, этой золотой мишурой, но лишь мгновение. Мой глаз сейчас же с этим освоился, позабыл о людях, об их неумелом усердии, об их медвежьих услугах. Была мертвая тишина, дававшая возможность быстро сосредоточиться.

Художникам, видевшим Мадонну впервые, лучше воздержаться от обычной манеры нашей судить картину, как специалисту-живописцу. Лучше отдаться на первый раз непосредственному чувству. Я так и сделал. Я долго оставался в немом созерцании, прислушиваясь к своему (художественному) чувству, как к биению своего сердца. Картина медленно овладевала мной и проникала в мое чувство, сознание.

Первое, что я осознал, — это ни с чем не сравнимое целомудренное материнство Мадонны. В ней не было и следа тех особенностей итальянских мадонн, сентиментально изощренных,

грациозно-жеманных. Проста и серьезна Сикстинская Мадонна. Сосредоточенная мягкость, спокойная женственность, высокая чистота души в такой гармонии с прекрасным юным телом.

Лицо Сикстинской Мадонны — не лик нашей Владимирской Божьей Матери: Мадонна Рафаэля чисто католический идеал Мадонны, а не образ Владычицы Небесной. С этим нам, православным, русским, необходимо с первого же взгляда примириться. Рафаэль писал величайшее свое произведение для католического мира, будучи сам сыном церкви католической. В его Мадонне все сказано для верующего сердца католика. Мы православные, инако верующие, можем в этом бессмертном создании Рафаэля отдать ему дань восхищения за то, что он с такой силой, ясностью, в таких чистых, одухотворенных линиях и красках передал нам, да и всему человечеству, на многие сотни лет свою религиозную мечту, мечту миллионов людей. Рафаэль в этой своей Мадонне, как наш Иванов в «Явлении Христа народу», выразил всего себя, он как бы для того и пришел в этот мир, чтобы поведать ему свое гениальное откровение.

Писана Мадонна в спокойных тонах, сильными, гармоническими красками, излюбленными мастером в период его расцвета. Для меня вся прелесть картины в Мадонне. Христос-Младенец написан умно. Он — ребенок необыкновенный, как необыкновенна Его Мать. Хорош Сикст. Слабее св. Варвара. Слабее по тем общим местам, которые в ней одной еще остались от прежнего, Перуджиновского Рафаэля[129].

Я несколько раз возвращался в Рафаэлевский зал в этот день. Был и на другой день. Впечатления первого дня лишь закреплялись во мне больше и больше и настолько определились, что, когда я был в Дрездене вторично через несколько лет, я боялся, что многое пережитое, передуманное, прочитанное и услышанное за прошедшие годы изменит мой взгляд, но мое отношение к Сикстинской Мадонне не изменилось и по сей день. Я позднее лишь осознал крепче, ярче то, что увидел двадцатисемилетним начинающим художником.

Итак, мое первое заграничное путешествие кончилось. Пора домой… И я выехал из Берлина. Скоро и граница. Вот она, вот Родина… Проехали какую-то канавку или речонку, и я дома, у себя в России. Вот они стоят, мои земляки… Вот носильщики, вот крепкий высокий жандарм с золотой медалью за верность. Все — наше, все — Родина.

Посмотрим, что дала мне Европа, что я сумел от нее взять, что понял, что полюбил в ней, посмотрим…

В Россию! От станковой живописи к церковной

Я прямо поехал в Москву. Повидал кое-кого из приятелей и уехал в Хотьков монастырь. Нанял избу в деревне Комякине, близ монастыря, и принялся за этюды к «Варфоломею»[130].

Окрестности Комякина очень живописны: кругом леса, ель, береза, всюду в прекрасном сочетании. Бродил целыми днями. В трех верстах было и Абрамцево, куда я теперь чаще и чаще заглядывал.

Ряд пейзажей и пейзажных деталей было сделано около Комякина. Нашел подходящий дуб для первого плана, написал самый первый план, и однажды с террасы абрамцевского дома совершенно неожиданно моим глазам представилась такая русская, русская осенняя красота. Слева холмы, под ними вьется речка (Аксаковская Воря). Там где-то розоватые осенние дали, поднимается дымок, ближе — капустные малахитовые огороды, справа — золотистая роща. Кое-что изменить, что-то добавить, и фон для моего «Варфоломея» такой, что лучше не выдумать.

И я принялся за этюд. Он удался, а главное, я, смотря на этот пейзаж, им любуясь и работая свой этюд, проникся каким-то особым чувством «подлинности» историчности его: именно такой, а не иной, стало мне казаться, должен быть ландшафт. Я уверовал так крепко в то, что увидел, что иного и не хотел уже искать[131].

Оставалось найти голову для отрока, такую же убедительную, как пейзаж. Я всюду приглядывался к детям и пока что писал фигуру мальчика, писал фигуру старца. Писал детали рук с дароносицей и добавочные детали к моему пейзажу — березки, осинки и еще кое-что.

Время шло, было начало сентября. Я начал тревожиться, — ведь надо было еще написать эскиз. В те дни у меня были лишь альбомные наброски композиции картины, и она готовой жила в моей голове, но этого для меня было мало. А вот головы, такой головы, какая мне мерещилась для будущего преподобного Сергия, у меня еще не было под рукой. Повторялось то, что и с «Пустынником», когда скрылся из моих глаз отец Гордей. Я не решался начать картину, не имея под рукой исчерпывающего материала.

И вот однажды, идя по деревне, я заметил девочку лет десяти, стриженую, с большими широко открытыми удивленными голубыми глазами, болезненную. Рот у нее был какой-то скорбный, горячечно дышащий.

Я замер, как перед видением. Я действительно нашел то, что грезилось мне: это и был «документ», «подлинник» моих грез. Ни минуты не думая, я остановил девочку, спросил, где она живет, и узнал, что она комякинская, что она дочь Марьи, что изба их вторая с краю, что ее, девочку, зовут так-то, что она долго болела грудью, что вот недавно встала и идет туда-то. На первый раз довольно. Я знал, что надо было делать.

Художники в Комякине были не в диковинку, их не боялись, не дичились, от них иногда подрабатывали комякинские ребята на орехи и прочее. Я отправился прямо к тетке Марье, изложил ей все, договорился и о «гонораре», и назавтра, если не будет дождя, назначил первый сеанс.

На мое счастье, назавтра день был такой, как мне надобно: серенький, ясный, теплый, и я, взяв краски, римскую лимонную дощечку, зашел за моей больнушкой и, устроившись попокойнее, начал работать.

Дело пошло ладно. Мне был необходим не столько красочный этюд, как тонкий, точный рисунок с хрупкой, нервной девочки. Работал я напряженно, стараясь увидать больше того, что, быть может, давала мне моя модель. Ее бледное, осунувшееся с голубыми жилками личико было моментами прекрасно. Я совершенно отождествлял это личико с моим будущим отроком Варфоломеем. У моей девочки не только было хорошо ее личико, но и ручки, такие худенькие, с нервно сжатыми пальчиками. Таким образом, я нашел не одно лицо Варфоломея, но и руки его.

В два-три сеанса был сделан тот этюд, что находился в Остроуховском собрании[132]. Весь материал был налицо. Надо приниматься за последний эскиз красками. Я сделал его быстро и тут же нанял себе пустую дачу в соседней деревне Митине. В половине сентября переехал туда, развернул холст и, несмотря на темные осенние дни, начал рисовать самую картину. Жилось мне в те дни хорошо. Я полон был своей картиной. В ней, в ее атмосфере, в атмосфере видения, чуда, которое должно было совершиться, жил я тогда.

Начались дожди, из дому выходить было неприятно, перед глазами были темные, мокрые кирпичные сараи. Даже в Абрамцево нельзя было попасть, так велика была грязь. И лишь на душе моей тогда было светло и радостно. Питался я скудно. Моя старуха кухарка умела готовить только два блюда — кислые щи да кашу.

Так я прожил до середины октября. Нарисовал углем картину и за это время успел убедиться, что при такой обстановке, один-одинешенек, с плохим питанием, я долго не выдержу, — и решил спасаться к моим уфимцам. Они рады были повидать меня после

заграницы и предложили мне все самые заманчивые условия для писания картины: наш зал с большими окнами, абсолютную тишину, спокойствие. О питании не нужно было и говорить — оно там было всегда поставлено прекрасно.

Я, недолго думая, свернул свою картину на скалку, расплатился за квартиру, распрощался со своей стряпухой и уехал в Уфу, тогда уже по железной дороге.

Радостная встреча, расспросы о том, что не написалось в письмах из Италии, Парижа. Скоро картина была натянута. Снег в Уфе выпал рано, в начале ноября, свет был прекрасный, и я начал своего «Варфоломея» красками. Полетели дни за днями.

Вставали мы рано, и я после чая, тотчас как рассветет, принимался за картину. Я не был опять доволен холстом, слишком мелким и гладким, и вот, однажды, когда была уже написана верхняя часть пейзажа, я, стоя на подставке, покачнулся и упал, упал прямо на картину!

На шум прибежала сестра, а потом и мать. Я поднялся, и все мы увидели, что картина прорвана — большая дыра зияла на небе. Мать и сестра, видя меня таким смущенным, а еще больше — пробитую картину, не знали, как помочь делу, как подступиться ко мне.

Однако первые минуты миновали. Ахать было бесполезно, надо было действовать. Я тотчас же написал в Москву в магазин Дациаро[133], прося мне спешно выслать лучшего заграничного холста известной ширины, столько-то. Написал и стал нетерпеливо ждать посылки. Время тянулось необыкновенно медленно. Я хандрил, со мной не знали, что делать, не рады были, что и пригласили меня. Однако недели через полторы пришла повестка, и в тот же день я получил прекрасный холст, гораздо лучший, чем прорванный. Я ожил, ожили и все мои вокруг меня.

Скоро я перерисовал картину наново и взялся за краски. Как бы в воздаяние за пережитые волнения, на новом холсте писалось приятней. Он очень мне нравился, и дело быстро двигалось вперед.

В те дни я жил исключительно картиной, в ней были все мои помыслы, я как бы перевоплотился в ее героев. В те часы, когда я не писал ее, я не существовал и, кончая писать к сумеркам, не знал, что с собой делать до сна, до завтрашнего утра.

Ходить в гости не хотелось, и лишь изредка я ездил кататься, катаясь, заезжал в Старую Уфу, в маленький домик с мезонином, где шесть-семь лет тому назад я так счастливо проводил летние дни и вечера. Но там все было другое, теперь мне почти чужое, и я ехал домой… Кучер старался показать, как резво бегут у него

кони, пускал их полной рысью, и я, весь закиданный снегом, прозябший на морозе, возвращался домой к вечернему чаю. И снова все мои за столом, в тепло натопленной горнице, говорим о картине, о завтрашнем рабочем дне, а то я уносился в воспоминания об Италии, и меня слушали, не наслушивались…

Проходила длинная ночь, утром снова за дело. А дело двигалось да двигалось. Я пишу «Варфоломея», его голову — самое ответственное место в картине. Удастся голова — удалась картина. Нет — не существует и картины.

Слава Богу, голова удалась, картина есть. «Видение отроку Варфоломею» кончено…

Кроме своих, которым после успеха «Пустынника» все, что ни напишу, нравится, нравится и посторонним, хотя, быть может, они и восхваляют меня из любезности или на всякий случай. Один А. М. П. — купец с университетским образованием и большим самомнением, хотя и неглупый, забавно и цинично вышутил бедного «Варфоломея».

Пора собираться в Москву. Там посмотреть картину в раме, и что Бог даст. Провожаемый самыми добрыми напутствиями, я уехал, забрав картину. Что-то будет…

В те дни приснилось мне два сна. Первый такой: высокая, до самых небес, лестница. Я поднимаюсь по ней все выше и выше — к облакам… — просыпаюсь. Утром рассказываю сон матери. По ее мнению, сон хорош: я буду иметь успех с «Варфоломеем», он вознесет меня и т. д.…

Второй сон таков: «Варфоломей» в Третьяковской галерее. Висит в Ивановском зале на стене против двери от Верещагина. Повешен прекрасно, почетно. Через год после этого сна, когда картина уже была в галерее, я из Киева приехал в Москву, пошел в галерею. Иду через ряд зал к Иванову и вижу «Варфоломея» висящим как раз на той самой стене Ивановской залы, как я видел его во сне тогда, когда кончал картину в Уфе.

Странные два сна, указывающие на то, в каком напряженном состоянии были мои нервы в то время.

В Москве поместился в тех же номерах, что и год назад. Принесли раму, вставили в нее картину. Выглядит «Варфоломей» в раме неплохо. Жду приятелей…

Узнали, что привез картину, потянулись один за другим смотреть. Пришел Левитан. Смотрел долго, отходил, подходил, вставал, садился, опять вставал. Объявил, что картина хороша, очень нравится ему и что она будет иметь успех. Тон похвал был искренний, живой, ободряющий. Левитан сказал, что у него уже был Павел Михайлович, хвалил вещи и спрашивал, приехал ли я. Начало неплохое…

Каждый день бывал кто-нибудь из художников, и молва о картине среди нашей братии росла и росла, пока однажды утром не пожаловал сам Павел Михайлович. Я был к этому подготовлен и ждал его со дня на день.

Обычное тихое постукивание в дверь, обычное: «Войдите». Та же длинная шуба с барашковым воротником, высокие калоши, и то же русское хорошее, благородное лицо с заиндевевшими усами и бородой. Приветствия, поцелуи, расспросы об Уфе, просьба посмотреть картину. Приглашение. Долгое внимательное рассматривание так и эдак, и близко, и подальше, словом, обычный порядок, спокойный, тихий, без слов. Одно внимание, любовное внимание: ведь дело большой важности. Наконец, односложные замечания, похожие на похвалы, и похвалы, похожие на замечания.

На репинском портрете (первом, с сидящей фигурой) Павел Михайлович похож до мелочей: его глаза, рот, затылок, его руки и манера их держать, все очень, очень верно[134].

Первая часть визита окончена, начинается вторая — торг. Задается вопрос: могу ли я «уступить» картину для галереи? Могу ли уступить!.. Могу ли не уступить? — это было бы вернее. Конечно, «могу». — «Как вы ее цените?» Тут начинается для художника самая мучительная часть визита. Боишься продорожить, так как еще никакой установленной цены на тебя нет, а с другой стороны, нет и охоты сильно продешевить. Все, что думано на этот раз раньше, а также советы приятелей в эти решительные минуты не годятся. И вот часто с нами, тогда молодыми и неопытными, были курьезы, ошибки и прочее. Однако отвечать надо. Вопрос требует немедленно ответа. И я, очертя голову, назначил две тысячи рублей. Павел Михайлович, подумав, спросил, не уступлю ли? Я ответил, что назначил недорого и уступить не могу.

Поговорили минут десять, и гость стал прощаться. Опять поцелуи, пожелания и… скрылось милое видение.

Пошли опять сомнения, упреки в настойчивости, упрямстве… Однако дело сделано и надо ждать, что будет дальше. А дальше, на другой или на третий день узнаю, что картина очень понравилась Павлу Михайловичу, что следует ждать, быть может, еще не одного его визита и что уступать с двух тысяч ничего не нужно: цена-де недорога.

Ну что же, буду ждать, а пока что не проходило дня, чтобы кто-нибудь не был у меня, не хвалил моего «Варфоломея». Были Остроухов, Суриков, Архипов, Степанов. Левитан особенно был настроен дружески, заходил чаще других…

А вот и Павел Михайлович еще заехал. Сидел с час и заметил,

что огород я тронул и стало хуже. Я при нем же стер написанное, он успокоился и посоветовал больше ничего в картине не трогать. Опять заводил речь о цене и опять уехал ни с чем. Я передал о визите друзьям, и они увидели в истории с огородом то, что я не усмотрел: Павел Михайлович уже считает картину своей и говорит о ней, как собственник. Ну что же, дай Бог.

Пошел на выставку старины[135], где видел дивные плащаницы, пелены и прочее из Тверского музея. Около них встретил Павла Михайловича. Лобзания, расспросы о том, что делаю и не надумал ли уступить дешевле «Варфоломея». Упорствую… Ну и характер!

Приближается время отправки картины в Питер. Все готово, на днях надо укладывать. И вот опять знакомый утренний стук в мою дверь. «Войдите». Павел Михайлович. Особенно любезен, говорлив (относительно). Кончилось все дело тем, что Павел Михайлович, прощаясь, надевая свою шубу, неожиданно объявил, что он картину решил оставить за собой, что он знает, что покупает ее не задорого, но что возможность того, что в Питере Репин или еще кое-кто из старых мастеров выставит что-нибудь такое, что необходимо иметь в галерее, несмотря ни на какую цену, заставляет его экономить на нас, молодых, и еще что-то в этом роде. На прощание еще поцелуи, пожелания успеха на выставке и прочее. Вот и «Варфоломей» в галерее!

Бегу на телеграф, посылаю радостную весть в Уфу, и сам, счастливый и довольный, еду к Левитану. У него тоже все хорошо. Павел Михайлович был, взял и у него что-то[136].

«Варфоломей» на выставке в Петербурге

Собираемся и едем большой компанией в Петербург.

Мы, тогдашняя молодежь, еще экспоненты, подлежим суду, и строгому, членов Товарищества. Многие из нас будут через несколько дней, быть может, забракованы, и кто здесь, в этой зале, останется — одному Богу известно.

День этот настал. Вечером суд. Мы, экспоненты, томимся ожиданием где-нибудь в квартире молодого петербургского приятеля, на этот раз у Далькевича, на его мансарде. Я нервничаю, хотя общее мнение таково, что я обязательно буду принят. Однако есть признаки и плохие: отдельные влиятельные члены — господа Мясоедов, Лемох, Маковский, Волков и еще кто-то — моей картиной недовольны, находят ее нереальной, вздорной, еще хуже того — «мистической».

Наконец часу в первом ночи влетают двое: Аполлинарий Васнецов и Дубовской, молодые члены Товарищества, и провозглашают имена тех, кто принят. Все присутствующие попали в число их, и я тоже. Радость общая. Не помню, было ли на радостях выпито, или так посидели и разошлись…

На другой день начали установку выставки. Обычная суета, погоня за хорошими местами. Центр выставки, ее «сенсация» — картина давно не выставляющего старого знаменитого мастера Н. Н. Ге, его «Христос перед Пилатом»[137]. Около нее толпа. Голоса разделились Один в восторге, другие «не приемлют».

С детских лет я любил Ге за «Тайную вечерю», за «Петра и Царевича Алексея»[138], но тут все так не похоже на то, что я любил. «Христос» Ге мне далек, чужой, однако все же Его писал большой художник, и мне не хочется пристать к хулителям.

Выставка вообще интересная. Мне также приходится слышать немало приятного о моем «Варфоломее». Около него молодежь, о нем говорят горячо. Со мной милы, ласковы, — но не «мэтры». Те молчат, не того они ждали после «Пустынника». Я стал им ясен, но не с той стороны. Я не их, какой-то чужой и, как знать, может быть, вредный, опасный…

В субботу обычный вечер перед открытием выставки у Н. А. Ярошенко. Маленькая квартира артиллерийского полковника на пятом этаже на Сергиевской полна народа. Кого-кого тут нет! Весь культурный Петербург здесь. Тут и Менделеев, и Петрушевский, еще несколько выдающихся профессоров того времени, либерального лагеря, но особенно много художников-передвижников. Среди них главенствует давно не бывший в Петербурге старейший из них Н. Н. Ге. Я тоже приглашен,

присутствую здесь среди этого цвета русского искусства.

Часов около двенадцати приглашают к ужину. Как в этой маленькой столовой уместится такая масса гостей, — это знают только наши гостеприимные милые хозяева — Николай Александрович и Мария Павловна, да еще так сейчас озабоченная добрая матушка Марии Павловны. Тесно, но как-то усаживаемся.

Я неожиданно своим соседом справа имею «героя сезона» — Н. Н. Ге. Против меня — И. И. Шишкин, В. Е. Маковский и еще кто-то из москвичей. Я чувствую себя таким маленьким, почти мальчиком. Мой сосед справа и не замечает меня, зато я на него «взираю». Он уже овладел вниманием общества и так красиво, внушительно, с такой чарующей дикцией ораторствует. Все «внемлют». Редко кто возражает. Давно не слышали старого, опытного мастера слова, и он знает себе цену.

На ужинах у Ярошенко вкусно ели, а пили мало. Говорили же горячо, интересно. Расходились поздно, часа в два и поздней. Так было и на этот раз.

На другой день встал я поздно, проспал. В Академии наук на выставку попал тоже с опозданием. Вхожу — ко мне навстречу идет Прянишников.

— Где вы пропадаете? Вас с утра ищет Н. Н. Ге. Всех спрашивает о вас. Пойдемте!

Я поспешаю за Илларионом Михайловичем, не зная, чему приписать желание меня видеть, явившееся у Ге. Вот и он идет навстречу, окруженный собратьями-художниками. Илларион Михайлович рекомендует меня:

— Вот вам Нестеров, получайте!

Николай Николаевич оставляет своих спутников, протягивает мне руки, целует меня, обнимает, и мы удаляемся в сторону. Ге говорит, что он с утра хотел со мной познакомиться, искал меня, видел мою картину и хочет со мной о ней и о многом поговорить.

Идем к картине. Он хвалит пейзаж, мальчика, говорит, что в картине большая свежесть, но о теме ни полслова. Говорит о задачах искусства, о его высокой роли среди людей. Называет меня «братом Христовым» и еще кем-то…

Я, как очарованный, слушаю Николая Николаевича. Его дивная дикция волнует меня. Я, совсем еще неопытный в житейской комедии, принимаю все за чистую монету. А Николай Николаевич входит в свою привычную, любимую роль «учителя», пророка, увлекает меня дивными перспективами, передо мной открывающимися. Так проходит, быть может, час. Мы все ходим, ходим. Николай Николаевич все говорит, говорит…

И я начинаю утомляться от ходьбы, от напряженного внимания к словам учителя, не всегда понятным, а он, как бы

угадывая мое состояние, неожиданно останавливается со мной у своей картины «Христос перед Пилатом» и спрашивает мое мнение о ней.

О картине его я и позабыл и сейчас был как бы разбужен от сладкого сна ударом в бок. Что я скажу ему, этому славному художнику, такому ласковому со мной?.. У меня нет тех слов, кои ему нужны от меня, я их не знаю, не чувствую его создание. Как быть? Солгать?.. Солгать после такой увлекательной, высоконастроенной, благосклонной беседы?.. Нет, солгать не могу. Не могу и сказать той горькой «правды», что думаю о картине, не хочу этого доброго, прекрасного старика обидеть. Промолчу, — быть может, так будет для него лучше, не так больно.

А время идет, идет… Молчание мое для Николая Николаевича становится подозрительным, наконец, неприятным. И так мы простояли перед «Пилатом» минут десять. Я нем, как рыба. Для старика все стало ясно, и он… повернулся и ушел, куда-то исчез, оставил меня, ушел с тем, чтобы никогда ко мне не подходить, стать навсегда ко мне глубоко враждебным. Ге никогда не простил мне моего неумелого молчания, много раз пламенно осуждал мои картины, и не раз их приходилось защищать от памятливого старика.

Особенно, говорят, когда я выставил своего «Сергия с медведем»[139], Николай Николаевич Ге был страстным его хулителем, и картина едва была принята на выставку, и если и прошла, то только потому, что за нее не менее страстно говорил покойный Архип Иванович Куинджи. Спор был жаркий, я прошел на выставку лишь одним голосом.

Позднее я видел Ге еще два раза: один раз там же на Сергиевской — у Ярошенко, другой раз в Киеве — на улице.

Так же, как и тогда, когда был выставлен «Пилат», Ге привез на Передвижную — что, не помню. Как и тогда собралось много народа у Ярошенок. Был и я, теперь свой там человек. Звонок — открывают дверь, входит Николай Николаевич в армяке, засыпанный снегом, ни дать ни взять максимовский «Колдун на свадьбе»[140].

Весть, что пришел Ге, мгновенно облетела квартиру, и вот вижу в дверь из мастерской, как старика обступила куча молодежи, каких-то студентов, курсисток… С него благоговейно смахивают снег, кто старается над засыпанной снегом шапкой, кто сметает снег с валенок, и, проделавши эту часть туалета, снимают бережно с него армяк, а он, как архиерей во время облачения, только протягивает руки, повертывает голову и говорит, говорит, говорит. А его слушают — внимают ему.

Разоблачив, его прямо через коридор провели в гостиную. Я скоро ушел и его в тот раз больше не видел.

Последний раз я его видел в Киеве в те дни, когда я расписывал Владимирский собор. Помню, мы сидели с Виктором Михайловичем Васнецовым на балконе на Владимирской улице. Мы отдыхали после рабочего дня, о чем-то лениво говорили, как вдруг Васнецов говорит: «Смотрите, ведь это едет Ге».

Я обернулся и увидел Николая Николаевича, ехавшего на извозчике в сторону Софийского собора. С ним на пролетке сидел почтительно, бочком, молодой человек, по виду художник. Николай Николаевич что-то оживленно ему говорил, и нам показалось, что на наш счет, так как смотрели оба на наш балкон. Ни он нам, ни мы ему не поклонились, и этот наш поступок мы не могли забыть и простить себе всю жизнь. Вызван же он был тем, что Ге с великой враждой относился к росписи Владимирского собора. Вскоре я узнал, что Ге скончался у себя на хуторе[141]…

Накануне дня, когда на выставке был Государь с семейством, бродил по залам выставки П. М. Третьяков. Он и еще два-три особо почтенных и сочувствующих передвижникам лица имели эту привилегию (Менделеев, Стасов, Григорович). Павел Михайлович уже кое-что приобрел, кое-что наметил для своей галереи. Бродил одиноко, смиренно, как всегда.

В это время перед моим «Варфоломеем» собрался ареопаг: Суворин, Стасов, Григорович и Мясоедов. Судили картину «страшным судом». Они все четверо согласно признали ее вредной, даже опасной в том смысле, что она подрывает те «рационалистические» устои, которые с таким успехом укреплялись правоверными передвижниками много лет; что зло нужно вырвать с корнем, и сделать это теперь же, пока не поздно. Но сделать это все же не так просто: картина, говорят, уже куплена Третьяковым в Москве для галереи. Однако дело так серьезно, что не следует останавливаться и перед этим, следует поговорить с Павлом Михайловичем, доказать, как он был опрометчив и что ему следует от картины отказаться. Сказано — сделано.

Пошли отыскивать по выставке московского молчальника, нашли где-то в дальнем углу, перед какой-то картиной. Поздоровались честь честью, и самый речистый и смелый — Стасов — заговорил первый. Правда ли, что Павел Михайлович купил картину экспонента Нестерова, что картина эта на выставку попала по недоразумению, что ей на выставке Товарищества не место, задачи Товарищества известны, картина же Нестерова им не отвечает. Вредный мистицизм, отсутствие реального, этот нелепый круг (нимб) вокруг головы старика…

Круг написан, так сказать, в фас, тогда как сама голова поставлена в профиль. И что особенно прискорбно, что автор делает все это сознательно и никакого раскаяния в нем не видно. Павел Михайлович — друг Товарищества. Ошибки возможны всегда, но их следует исправлять. И они, его старые друзья, решили его просить отказаться от картины и тем самым показать молодому художнику его настоящую дорогу, дорогу к реализму. Много было сказано умного, убедительного. Все нашли слово, чтобы заклеймить бедного «Варфоломея».

Павел Михайлович молча слушал этих доброжелательных охранителей чистоты веры и тогда, когда слова иссякли, скромно спросил их, кончили ли они. Когда узнал, что они все доказательства исчерпали, ответил им так: «Благодарю вас за сказанное. Картину Нестерова я купил еще в Москве и если бы не купил ее там, то купил бы ее сейчас здесь, выслушав вас, ваши обвинения». Затем поклонился и тихо отошел к следующей картине.

О таком эпизоде в те дни мне передавал Остроухов, а позднее как-то в Москве, в кратком изложении, я слышал это от самого Павла Михайловича…

Накануне открытия, по обыкновению, посетил выставку Государь Александр III. Был очень внимателен, ласков, как всегда на выставках Товарищества, где любил бывать и говорил, что он у Передвижников *отдыхает.* Одобрил моего «Варфоломея», как год назад благосклонно отозвался о «Пустыннике». Сам день открытия обычно был праздником для передвижников.

С давних пор передвижники в день открытия выставки принимали, так сказать, у себя «весь Петербург», весь культурный Петербург. Кого-кого тут не бывало в такие дни. И это не был позднейшего времени «вернисаж», куда по особым пригласительным билетам практичные художники заманивали нужных им людей, покупателей. К передвижникам шли все за свой трудовой и нетрудовой четвертак. Тут были и профессора высших учебных заведений, и писатели, была и петербургская знать, были и разночинцы-интеллигенты. Все чувствовали себя тут как дома.

Передвижники были тогда одновременно и идейными вождями, и членами этой огромной культурной русской семьи 80–90-х годов прошлого века. Здесь в этот день выглядело все по-праздничному.

Многие из посетителей были знакомыми, друзьями художников — хозяев. Любезности, похвалы слышались то тут, то там. Сами хозяева, художники, были в этот раз как бы именинниками. Так проходил этот ежегодный художнический

праздник. Многие из картин в этот день бывали проданными, и к золотым билетикам у картин, накануне приобретенных высочайшими особами, к билетикам третьяковских покупок прибавлялось немало новых.

Вечером, в день открытия выставки, бывал традиционный обед у старого «Донона»[142]. Часам к восьми передвижники, члены Товарищества, а также молодые экспоненты, бывало, тянулись через ворота вглубь двора, где в конце, у небольшого одноэтажного флигеля, был вход в знаменитый старый ресторан. Там в этот вечер было по-особому оживленно, весело. Старые члены Товарищества ласково, любезно встречали молодых своих собратьев, а также особо приглашенных, именитых и почетных гостей, всех этих Стасовых, Менделеевых, Григоровичей (Третьяков не имел обыкновения бывать там).

Лемох, с изысканностью «почти придворного» человека, встречал всех прибывавших, как распорядитель, и с любезно-стереотипной улыбкой, открывая свой серебряный портсигар, предлагал папиросу, говоря свое: «Вы курите?» — и мгновенно закрывал его перед носом вопрошаемого…

Обед чинный, немного, быть может, чопорный вначале, после тостов (пили сначала за основателей, за почетных гостей, пили и за нас — молодых экспонентов) понемногу оживлялся. Когда же кончались так называемые «программные» речи старейших товарищей, языки развязывались, являлась отсутствующая вначале теплота, задушевность. Более экспансивные переходили на дружеский тон, а там кто-нибудь садился за рояль и иногда хорошо играл. (Дам не полагалось.) Каждый становился сам собой. Хорошие делались еще лучше, те же, что похуже, вовсе распоясывались.

Последняя часть вечера, так часам к двенадцати, проходила в обмене разного рода более или менее искренними «излияниями». Михаил Петрович Клодт танцевал, сняв свой сюртучок, традиционный на этих обедах «финский» танец. Беггров рассказывал в углу скабрезные анекдоты. Н. Д. Кузнецов изображал «муху в стакане» и еще что-то. А его приятель Бодаревский делался к концу вечера глупей обыкновенного и более, чем когда-либо, оправдывал хорошо установившееся сравнение: «Глуп, как Бодаревский».

Так проходил и заканчивался ежегодный товарищеский обед передвижников.

На другой день выставка вступала в свой обычный, деловой круг. Если на ней бывала какая-нибудь сенсационная картина, так называемый «гвоздь», тогда народ на выставку валил валом, узнав об этом из утренних газет или от бывших накануне на открытии.

Если такого «гвоздя» не было, то все же публика шла охотно к любимым своим передвижникам, как охотно читала она тогда любимых своих авторов. Передвижники тоже были «любимые авторы». Они тогда щедрой рукой давали пищу уму и сердцу, а не одному глазу и тщеславию людскому.

В тот год я прожил в Петербурге до марта и через Москву проехал в Киев, так как перед тем получил приглашение Прахова побывать там, познакомиться с Виктором Михайловичем Васнецовым, с его работами во Владимирском соборе, и там, на месте, поговорить о возможном моем участии в них.

Киев. Владимирский собор

В Киеве я не бывал, слышал же о нем много восторженных отзывов. Подъезжая к Днепру, устремился к окну и увидал действительно прекрасную картину: высокий берег Днепра был покрыт садами; среди этих южных садов, пирамидальных тополей, то там, то здесь сверкали золотые главы монастырей, их называли мне мои спутники. Вот Выдубицкий, вот Лавра, ее собор, знаменитая Лаврская колокольня, вот там — пещеры, а дальше еще какие-то церкви.

Проехали мост, начались окраины, разные Соломенки, Демеевки и прочие. А вот там ряд синих куполов: это новый Владимирский собор. Я жадно впиваюсь в него: ведь он-то и был целью моей поездки. В нем сейчас совершалось великое дело, там Виктор Васнецов творил своим огромным талантом чудеса.

Еще так недавно безнадежно гибнувшее церковное искусство стало неожиданно возрождаться с такой силой и мощью на стенах Владимирского собора, во славу Церкви православной. Недавно в Москве, у Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, я видел альбом фотографий с васнецовских творений и пришел от них в восторг. Лики угодников печерских, пророков, святителей и сейчас стоят передо мной, видимые из-за сетки лесов.

Но вот и вокзал с его суетой. Беру извозчика, еду по незнакомым улицам, бульварам из пирамидальных тополей. Проезжаю мимо обнесенного ветхим забором некрасивого Владимирского собора. Еду по Большой Владимирской, поданному мне Аполлинарием Васнецовым адресу, в меблированный дом Чернецкого.

Там наскоро привожу себя в порядок и спешу в собор. Я — весь порыв, желание скорей увидеть то, что там творится. Вот он снова передо мной. Вхожу в калитку, меня окликает старик сторож Степан, верный страж, ревностно оберегавший покой художников от назойливых посетителей. Я знаю «пароль», и меня пропускают.

Вхожу, передо мной леса, леса, леса, в промежутках то там, то здесь сверкает позолота, глядят широко раскрытыми очами лики угодников, куски дивных орнаментов.

Зрелище великолепное…

Я медленно подвигаюсь среди такой невиданной, непривычной, таинственной обстановки, подвигаюсь робко, как в заколдованном волшебном лесу. Куда-то проходят люди, запыленные, озабоченные рабочие. Тащат бревна, стучат топоры, где-то молотками бьют по камню… Тысячи звуков несутся ввысь,

туда, в купол. Всюду кипит жизнь, все как бы в каком-то деловом экстазе. Так мне, новичку, кажется.

Спрашиваю Васнецова. Говорят, что он на хорах, вон там, на левом крыле их. Сейчас он занят. Снизу кричат ему мое имя.

Голос сверху приглашает меня на хоры, кому-то приказывает проводить меня туда. Появляется, как из-под земли, некто — среднее между хитрованцем[143] и рабочим в грязной блузе. Это — Кудрин, соборный талант, рабочий-пьяница. Он наотмашь сдергивает передо мной картуз с головы, кланяется, говорит: «пожалте» и быстро ведет меня то вправо, то влево, поднимается со мной по пологим лесам все выше, выше.

По лесам иду я впервые, иду робко, озираясь влево на увеличивающуюся пропасть. Перил нет, голова немного кружится, а мой спутник летит по ним, сломя голову. Да и я скоро стану бегать по ним, как по паркету.

Наконец площадка, мы на хорах. Кудрин круто берет влево, и я вижу между лесов, перед огромным холстом высокую фигуру в блузе, с большой круглой палитрой в руках. Это и есть Виктор Михайлович Васнецов, тот, о ком тогда говорила уже вся художественная Россия.

Заслышав наши шаги, Виктор Михайлович оборачивается, кладет палитру на бревна, идет навстречу. Мы сердечно здороваемся, целуемся, и с этой минуты начинается наша долгая дружба; несмотря на значительную разницу лет, мы надолго, на всю жизнь, лишь с некоторыми перебоями, едва ли от нас самих зависящими, остаемся «Васнецовым и Нестеровым». Чаще и чаще, быть может, чем нам бы обоим хотелось, наши имена произносятся вместе, — мы какие-то «Штоль и Шмидт»[144].

Васнецов выглядел в те дни таким, как незадолго перед тем написал его Н. Д. Кузнецов, написал на тех же хорах, на фоне пророков за работой картона «Предверие рая», что находится в Третьяковской галерее.

Виктор Михайлович был высок ростом, пропорционально сложен, типичный северянин, с длинной русой бородой, с небольшой головой с русыми же волосами, прядь которых спускалась на хорошо сформированный лоб, с умными голубыми глазами, полными губами, с удлиненным, правильным носом. Фигура и лицо дышали энергией, силой, здоровьем. Художнику тогда было сорок два года, он был в полной поре возмужалости.

Наша беседа с первой же минуты стала непринужденной, искренней. Конечно, заговорили о соборе, о работах в нем, о моих картинах, о «Пустыннике», о «Варфоломее». Васнецов, вопреки Прахову, находил их свободными от западного влияния.

Затем повел меня по лесам осматривать им содеянное. Тут

же, в двух шагах, был северный алтарь, где позднее мне пришлось написать, вместо Врубеля, запрестольный образ «Воскресения Христова»[145], ставший, к сожалению, слишком популярным по множеству копий с него в церквах и на кладбищенских памятниках.

Из алтаря, в окно, выходящее в главный алтарь, я впервые увидел «Пророков, Святителей православных», — увидел, быть может, лучшее, что сделано было Васнецовым после «Каменного века»[146]. Пафос, пламенное воодушевление этих ветхозаветных глашатаев божественных глаголов выражены были так ярко, неожиданно, что у меня от восхищения дух захватило. Васнецовские пророки стремились в сильнейшем религиозном порыве, что-то вещали миру пламенными устами, потрясали души великими откровениями. Они были великолепны и, казалось, какой «индифферентизм» может устоять перед этими боговдохновенными избранниками…

Под Пророками изображены Святители православные. Вот Антоний, Феодосий — Печерские, а вот и наш преподобный Сергий, вот Стефан. Мы давно их знаем, носим их в своих сердцах, любим их, а вот тут и тот художник, который вызвал их вновь к земному бытию такими, какими они явились нашей Родине пятьсот лет тому назад. Левей величественное изображение Богоматери, сопутствуемой хорами ангелов. Она мне менее понравилась, чем пророки, святители. Мне показались размеры «Богоматери» нарочито преувеличенными и слишком утомительно однообразна позолота фона ее. Абрамцевский эскиз на живописном фоне утренней северной зари и трогательней и поэтичней[147]. Внизу, под «Богоматерью», была видна «Евхаристия»[148] с прекрасным Христом и с такими живописными, действенными Апостолами. Все это дышало, придавало Собору воодушевленный, победный характер.

Сам Виктор Михайлович, показывая мне свои творения, умел кратко, умно подтвердить словом то, во что верил как в непреложное. Мы пришли на южную сторону хор, к другому приделу, в алтаре которого я потом написал, вместо опоздавшего представить эскиз Серова, свое «Рождество Христово». Здесь были видны остальные «Пророки и Святители Вселенские», столь же живописные и вдохновенные.

Так мы обошли и осмотрели все, что было можно осмотреть с хор, через густую сеть лесов. Спустились вниз, зашли в будущую крестильню, где позднее я написал «Богоявление», где сейчас была временная мастерская Котарбинского, с которым меня познакомил Виктор Михайлович.

Котарбинский — приятель Сведомского — был поляк,

католик, талантливый, еще полный сил художник, благодушного, покладистого нрава. Сведомские в то время были в Риме, где у них была мастерская, где они отдыхали от нелюбимой и чуждой им работы во Владимирском соборе. В Киев их ждали осенью.

Приближалось время завтрака, наступали часы отдыха. В собор заехал Терещенко, нас познакомили, а Виктор Михайлович скоро уехал смотреть какой-то новый портрет, написанный Кузнецовым. Мне Виктор Михайлович предложил отправиться к нему домой и там подождать его возвращения с тем, чтобы потом вместе позавтракать. Я так и сделал, — пошел к Золотым воротам, где тогда жили Васнецовы. Меня встретила супруга Виктора Михайловича — Александра Владимировна и петербургский мой знакомый — Аполлинарий Михайлович Васнецов. Выбежали дети — девочка лет десяти — двенадцати и три мальчика, похожие на васнецовских соборных Серафимов, с такими же восторженными, широко открытыми глазами[149].

Александра Владимировна была женщина-врач первого выпуска[150], еще цветущая, хотя и седая, лет тридцати пяти. Приняли меня радушно. Скоро вернулся и Виктор Михайлович.

Жили Васнецовы видимо хорошо, но скромно. В мастерской стояли «Богатыри»[151], их я видел впервые.

Разговор быстро стал общим. Позвали завтракать. Завтрак был простой, сытный. Тут собралась вся семья, такая патриархальная, дружная. Подали бутылочку красного вина. Время за столом пролетело быстро. Виктор Михайлович пошел отдыхать, а мы с Аполлинарием Михайловичем отправились к художнику Светославскому, на другой конец города, на Подол, где у него, на Кирилловской, была своя усадьба и мастерская.

Светославский был мой школьный товарищ, постарше меня лет на пять — семь. Он был талантливый пейзажист, безалаберный, хвастливый, но добродушный хохол, лицом, но не умом, напоминавший В. В. Верещагина. Праховы прозвали его «Фараоном», и с этой кличкой он и жил.

От Светославского мы вернулись к Золотым воротам к вечеру, к обеду, после которого стали собираться к Праховым.

В тот памятный день не раз мысли мои переносились к прошлому — к тому времени, когда в Москве, на Передвижной появились васнецовские «Три царевны подземного царства», когда я, на правах бывшего ученика Училища живописи, где в те времена обычно помещалась Передвижная, бродил с приятелями по залам, критикуя все, что не было похоже на Перова.

Особенно доставалось Репину и В. Васнецову. Я не любил его «Слова о полку Игореве», еще больше не любил этих «Трех царевен». Бедных «Царевен» с одинаковым увлечением поносили

и «западники», и «славянофилы». Ругал их и неистовый Стасов, и пламенный патриот И. С. Аксаков в своей «Руси»[152]. Гуляя по выставке, я не оставлял в покое своего «врага» с его царевнами.

Приятели со мной спорили, а кто-то из них обратил мое внимание на высокого, с небольшой русой головой человека, удаляющегося большими шагами по анфиладе зал. «Смотри, скорей, вон пошел твой „враг“». Это и был В. М. Васнецов, спешивший к своим «Трем царевнам». Тут впервые видел я Виктора Михайловича, не думая, что через немного лет жизнь поставит нас так близко.

Далеко не сразу прозрел я в своем непонимании васнецовского искусства. Завеса с глаз моих, однако, спала, и я увидел красоту, которую он принес с собой в мир, понял, насколько он может быть дорог нам, почувствовал весь лиризм, всю музыкальность его русской души. И тогда стал таким же его хвалителем, каким был раньше хулителем, что не помешало, конечно, мне оставаться всю жизнь почитателем моего учителя В. Г. Перова, столь несходного с Васнецовым, но такого же *художника,* как он.

Позднее, когда выставлен был «Серый волк»[153], под впечатлением этой еще полной мужественного таланта картины, я написал Виктору Михайловичу восторженное письмо. Письмо это у него хранилось, он любил вспоминать о нем.

Однако вернусь в Киев к Владимирскому собору. Надолго остался у меня памятным первый день посещения мной Собора, сыгравшего в моей жизни крупную роль, повернувшего жизнь по-своему, на новый лад, надолго изменивший мое художественное лицо, как автора «Пустынника» и «Отрока Варфоломея», о чем я мог догадаться лишь гораздо позднее, тогда, когда мог уже спокойно обдумать те последствия, какими могла окончиться встреча моя с одним из замечательнейших художников моего времени.

Но к В. М. Васнецову я еще не раз вернусь в моих воспоминаниях[154]. Теперь же пора отправляться к Праховым, где сегодня нас ждут, где будет много народа, где будет пир по случаю получения Котарбинским нового заказа.

По пути к Праховым Виктор Михайлович предварил меня о том, что могу я встретить неожиданного в этой семье. О необычной эксцентричности Праховых мне немало говорили еще в Москве. Я уже знал, что там и люди почтенные всегда рискуют получить «дурака» и «болвана» и что это уже «так принято», что эти эпитеты преподносятся там в такой, особой форме, что люди не обижаются, а только пожимают плечами.

Посмотрим…

Праховы

В 1890 году Адриан Викторович Прахов официально числился профессором Киевского университета по кафедре истории искусства и главным руководителем работ по окончанию Владимирского собора. Прахов был давно доктором истории искусства, считался необыкновенно даровитым ученым, и не любивший его Кондаков говорил, что докторская диссертация Прахова была так талантлива, что он, Кондаков, ложась спать, клал ее себе под подушку.

Так или не так, а до появления Прахова в Киеве судьба собора была иная…

Собор был заложен в начале царствования Александра II по повелению еще Николая I, по проекту архитектора Беретти. Постройка его оказалась неудачной, и работы в нем были приостановлены на много лет, и только в царствование Александра III возобновились[155] и окончились бы так, как кончались сотни ему подобных, и расписал бы его какой-нибудь немец-подрядчик Шульц, если бы не появился Прахов, с его умением заводить так называемые связи, заинтересовавший судьбой собора Александра III и сумевший привлечь к росписи его молодого тогда, полного сил Васнецова.

Сейчас Владимирский собор был у всех на виду, о нем говорили, много писали, и Государь с нетерпением ожидал его окончания, обещаясь быть в Киеве на Освящении. Все это было делом Прахова, его неугомонного, предприимчивого характера, а теперь и его большого честолюбия.

И вот сейчас мы с Васнецовым идем к этому энергичному человеку, сыгравшему в моей жизни немалую роль.

Праховы тогда жили в большом старом двухэтажном доме, против Старо-Киевской части. Мы поднялись на второй этаж и там, у двери с медной дощечкой «Профессор Адриан Викторович Прахов» — позвонили.

Дверь отворилась, и перед нами предстала девочка лет двенадцати, румяная, добродушная, необычайной толщины и мальчик лет четырнадцати — гимназист. Это были младшие дети Праховых — Оля и Кока. Они бурно нас приветствовали и понеслись вперед, возвещая на пути, что пришел «Васнецаша» и еще с ним кто-то…

Мы последовали за шумными вестниками в столовую, где за чаем сидело большое общество. Адриан Викторович встретил нас радушно, расцеловал. Представил меня своей супруге Эмилии Львовне, даме некрасивой, но интересной и живой, торжественно

восседавшей в конце длинного стола.

Эмилия Львовна, не откладывая в дальний ящик, предупредила меня, что сегодня, ради первого дня знакомства, чтобы дать мне немного оглядеться, меня оставят в покое, а потом я должен буду подчиняться общей участи.

Напротив Праховой за самоваром сидела, разливая чай, девушка лет шестнадцати-семнадцати, тоже некрасивая, худенькая, на редкость привлекательная. Это была старшая дочь Праховых Леля. Она как-то просто, как давно-давно знакомая, усадила меня около себя, предложила чаю, и я сразу и навсегда в этом шалом доме стал чувствовать себя легко и приятно. Леля, благодаря своему милому такту или особому уменью и навыку обращаться в большом обществе с людьми разными, всех покоряла своей доброй воле и была общей любимицей.

Беседа общая, оживленная. Адриан Викторович — мастер слова, без труда был душою общества, переходя от серьезного к шутке, от общих тем к науке, к искусству. Речь его временами сверкала самоцветными камнями.

Наружность Адриана Викторовича была такова: среднего роста, плотный, с крупной головой, с крупными чертами лица, крупным носом, сочными губами, с глазами, умно, зорко смотрящими поверх очков, с пушистыми, как ореол, волосами и такой же бородой (имевшими свойство за неделю седеть, по воскресным же дням преображаться, делаться цвета спелого каштана). Выражение лица Адриана Викторовича было приветливое, особенно подкупающей была та приветливая, «праздничная» улыбка, с которой он встречал своих гостей. Однако эта улыбка временами делалась официальной, холодной.

Первые слова Адриана Викторовича бывали полны самого подкупающего радушия: «Здрась-ти, друг!» — было его обычное обращение, однако ни к чему не обязывающее. Новичок, так приветствуемый, мог сильно разочароваться, в особенности, если он не попадал вовремя под заботливое попечение все видевшей, все понимавшей Лели — этого тихого ангела семьи.

В тот памятный вечер я решился наблюдать и, пользуясь общением хозяйки, делал это спокойно. Мне было необходимо освоиться с непривычной обстановкой, с новыми, такими странными людьми.

После чая гости разбрелись по обширной квартире. Большинство мужчин, в числе их и я с Васнецовым, пошли за хозяином в так называемую мастерскую, очень большую, окон в шесть, комнату с несколькими огромными чертежными столами, роялем, с картинами и рисунками по стенам, с хрустальной люстрой на потолке. Здесь висела в тяжелой золотой раме

большая «Мадонна» якобы Франческо Франча. Был ли то подлинный Франча или хорошая копия с него, какой ее признавали все, кроме хозяина, это было неважно.

Здесь, в этой мастерской, в дни периодической рабочей горячки Адриан Викторович уединенно простаивал дни и ночи, рисуя, чертя проекты, планы соборов, памятников и прочего. Тут же можно было увидать начатый бюст какой-нибудь местной премированной красавицы, покорившей нежное сердце нашего эллина.

Теперь в мастерской шла беседа еще непринужденней, чем до того в столовой: помнится, в тот вечер варилась жженка.

Подходили запоздалые гости с концертов, из театров. Общество было разнообразное — от светских киевских дам до ученых и художников включительно.

Не помню, как долго мы с Виктором Михайловичем оставались у Праховых. Уходя при шумных возгласах эксцентрической семьи, обещали назавтра у них отобедать и на завтра же были отложены деловые переговоры о моем участии в работах во Владимирском соборе.

На следующий день я был снова в соборе, снова велась дружеская беседа с Васнецовым. Тогда же я знакомился с городом, с Лаврой, и в назначенный час мы с Виктором Михайловичем были у Праховых.

Обед был немноголюдный. После него пошли в гостиную, она больше походила на музей. Чего-чего тут не было: монеты и медали лежали в золоченых витринах, золоченые с вышитыми императорскими инициалами кресла стояли тут же, висели и небрежно лежали на мебели старинные ткани, бронза, слоновая кость, египетские древности и византийские эмали. По стенам — старые персидские ковры, картины. Тут же стоял второй рояль и какая-то мудреная мебель, на которой нельзя было сидеть.

Но всего интересней был здесь большой портрет Лели Праховой, недавно написанный Васнецовым. На нем эта милая девушка стояла такая хрупкая, одухотворенная, в белом платье, едва касаясь одной рукой клавиш рояля. Это был и остается, несомненно, лучший портрет работы Васнецова[156].

В тот вечер удалось-таки переговорить с Праховым о деле и было решено, что на другой день я еду в Москву, в Абрамцево, оттуда ненадолго в Уфу, а затем в Кисловодск до сентября, куда меня звали Ярошенки. За это время должен буду обдумать эскизы «Рождества» и «Воскресения», а также подумать об эскизах из жизни Князя Владимира (до принятия христианства), предназначенных для стен лестницы, ведущей на хоры. И осенью, вернувшись в Киев, я пишу для ознакомления со стенной

живописью с эскизов Васнецова двух святых на пилонах, а, по утверждению самостоятельных эскизов, приступлю к росписи запрестольных алтарных образов на хорах[157].

На этом плане я и попрощался с Праховым до осени.

Болезнь

На другой день зашел в Собор, полюбовался им, простился с Васнецовым и, окрыленный надеждой внести и свою долю, если не вдохновения, то искреннего желания попытать здесь свои молодые силы, в тот же день выехал счастливый и довольный в Москву.

Не помню, долго ли я оставался там, был ли в Абрамцеве[158]. Я спешил в Уфу, поехал туда через Нижний, по Волге, Каме и Белой. Погода была холодная, ветреная, и где-то на Каме или Белой я сильно простудился, приехал в Уфу совсем больной и тотчас же слег в постель.

Позвали доктора, простуда оказалась жестокой, и я день ото дня чувствовал себя хуже и хуже. С правой стороны грудной клетки образовался нарыв, боль была невообразимая. Так прошло с неделю. Со мной с ног сбились. Особенно волновалась мать, горячее других принимавшая все к сердцу.

Болезнь моя для меня тем более была несносна, что почти одновременно со мной в Уфу приехала со своей воспитательницей и моя дочка, и я не мог быть с ней так часто, как хотелось. Ко мне привезли ее из Старой Уфы, где она жила у другой своей бабушки. Свидания эти поневоле были кратки: они меня утомляли.

Собрали консилиум. Было решено нарыв вскрыть, и местная знаменитость, доктор П-в, гинеколог по специальности, по призванию же церковный регент, страстно любивший церковное пение и ради него забывавший все на свете, назначил операцию назавтра.

На другой день наш гинеколог явился во всеоружии своего благодетельного ремесла и начал пространно рассказывать, как вчера за всенощной, в Никольской, они спели Бортнянского. Меня тем временем приготовили, обнажив по пояс, посадили в кресло против света, и, когда, наконец, повествование о Бортнянском окончилось, П-в взял инструменты, приготовил их и, не медля нимало, всадил мне свой нож в белое тело. Хлынули гной и кровь. У меня заходили круги перед глазами, но, хотя боль была изрядная, я стерпел.

Торжествующий П-в велел подать мне холодного квасу, заранее, по его приказанию, приготовленного в ковше. Забинтовал меня и, объявив, что я скоро буду здоров, довольный собою, уехал.

Меня уложили в постель. Прошел день, прошло их еще несколько, а легче мне не было.

Несколько смущенный хирург успокаивал нас до тех пор, пока однажды не объявил, что климат уфимский не способствует скорому моему выздоровлению и что необходимо ехать на Кавказ, в Кисловодск, и вот там горный воздух и прочее живо меня исцелят.

Делать было нечего, я послал телеграмму Ярошенкам и, получив радушное приглашение приезжать, полуживой двинулся на Кавказ.

Через несколько дней перед глазами замелькала степь, малороссийские хатки, земля войска Донского, потом Тихорецкая, Кавказская, Кубань, Терек. Вот и Минеральные Воды. Здесь я должен был встретиться с Марией Павловной Ярошенко и уже на лошадях вместе ехать в Кисловодск.

Встретились дружески, здесь же оказался знакомый Марии Павловны — известный петербургский хирург профессор Евгений Васильевич Павлов. Мы познакомились. Павлов знал мое имя по «Отроку Варфоломею». Мария Павловна рассказала ему о моих уфимских злоключениях, и Евгений Васильевич предложил осмотреть меня в Кисловодске, предполагая там бывать наездами из Пятигорска, где в то лето он жил с семьей.

Мы хорошо закусили на Минеральных и в двух экипажах двинулись в путь. Железная дорога тогда была еще в проекте. Кроме наших колясок, ехала целая вереница экипажей с больными и здоровыми на «группы»[159]. Помню старика-полковника, едва живого, забинтованного, с пробитой дышлом головой.

Проехали Бештау, откуда шла дорога на Железноводск. Поздней не раз пришлось мне там жить, пить Смирновскую. Вот и Пятигорье, как на ладони, слева Машук, справа Бештау, а там далеко, на горизонте, как стая облаков в солнечных лучах, сияла снежная цепь с великолепным Эльбрусом, царившим над этими, мной еще невиданными ландшафтами.

Вот и Пятигорск с Машуком и воспоминания о Лермонтове. Проехали скучные Ессентуки. Пошли холмы, они все росли. То слева, то справа вьется Подкумок. Станица Кисловодская. По обе стороны тянется Бургустан, а вон там правее Кольцо-гора. Наконец, приехали.

Большая старая усадьба Ярошенко расположена частью наверху, у соборной площади, частью внизу, у парка, где калитка выходит прямо… к Ольховке, журчащей по скатам больших, каменистых плит.

Еще недавно усадьба была куплена Ярошенками за бесценок, в рассрочку у героя Ташкента, знаменитого сербского добровольца генерала Черняева. Теперь здесь вместо

черняевского старого дома, помнившего Лермонтова, стоят три домика, таких беленьких, уютных, с множеством балконов.

Тот домик, где живет сам Ярошенко, где его мастерская, был особенно мил. Большой балкон его расписан в помпейском стиле самим Николаем Александровичем, с участием Поликсены Сергеевны Соловьевой. С него был чудесный вид на Зеленые горы, на парк с царской площадкой.

Я поместился временно у Ярошенко и стал подыскивать поблизости себе комнату. Скоро нашел небольшую, удобную, на солнечную сторону.

Чуть ли не в тот же день встретился у Ярошенко с Владимиром Григорьевичем Чертковым, жившим в то лето с больной женой и ребенком в большом доме Ярошенко.

Анна Константиновна Черткова тогда уже не могла ходить и все время лежала в подвижном кресле так, как и была потом изображена на картине Ярошенко «В теплых краях», что в Русском музее[160].

Скоро приехал к ним Павлов. Осмотрел меня и сказал, что мой уфимский акушер операцию сделать запоздал, гной успел кинуться на ребра, образовалось воспаление надкостницы, так называемый эксудат. Необходимо было сделать новую операцию, но прежде, чем делать ее, надо было хорошо подкормиться, и было решено, что на лето я остаюсь в Кисловодске, дышу дивным его воздухом, хорошо питаюсь, пройду виноградное лечение, а к началу сентября еду в Петербург и там, в Александровской общине Красного Креста[161], где Павлов был директором, он сделает мне вторую операцию, быть может, вынет два ребра, после чего я уеду на долгую поправку или в Крым, или в Италию.

Таким образом, все киевские планы, участие мое в росписи Владимирского собора уходят в далекую перспективу. Не скажу, чтобы такая перспектива меня привела в хорошее настроение. Но делать было нечего. Пришлось начать усиленно питать свое грешное тело. А там, что Бог даст.

Побежали дни за днями. Приехал Николай Александрович Ярошенко. На балконе все больше и больше бывало народа. В то лето у Ярошенок жила, кроме упомянутой Поликсены Сергеевны Соловьевой, начинавшей писать хорошие стихи, артистка Московской оперы Юлия Яковлевна Махина, крошечное, забавное создание.

У Махиной был маленький голосок, она с ним отлично управлялась в таких ролях, как Торопка в «Аскольдовой могиле». Крошечное капризное существо это вставало поздно, выходило к завтраку, как на сцену, и тут попадало обычно на острый язычок Николая Александровича.

Нередко на балконе появлялся и Чертков, такой громоздкий, породистый барин, красавец, вчерашний кавалергард, с которым еще недавно на придворных балах так любила танцевать Императрица Мария Федоровна. Сейчас он ходил в черной рабочей рубашке, поверх которой надевал интеллигентский пиджак.

Чертков тотчас же вносил свой особый тон, и, как бы ни было перед тем шумно и весело, с его появлением на балконе все замирало. Замирало под его тихими, методическими «всепрощающими» речами.

Со мной Владимир Григорьевич был ласков, внимателен. Он был гораздо осторожней со мной, чем страстный южанин Н. Н. Ге. Чертков не терял еще надежды обратить автора «Отрока Варфоломея» в свою веру. Дело ладилось плохо, и только упрямство заставляло его еще возиться со мной.

Я же, чем больше к нему приглядывался, тем дальше уходил от него. Этот методичный толстовец тогда неумеренно много поедал конфет, винограда, сластей вообще. Большая коробка с конфетами неизменно стояла у них на балконе. И то сказать, конфеты ведь не были «убоиной»!

С Николаем Александровичем Ярошенко сближался я не спеша, исподволь, но верно. Нередко вечером, взяв графин, мы отправлялись с ним через парк к Нарзану и о чем, о чем ни говорили мы, пробираясь по дорожкам. Я еще совсем молодой, но уже неисправимый «консерватор», а он закоренелый либерал-республиканец. Как памятны мне эти прогулки, эти споры, всегда горячие, живые, прямодушные.

Кисловодск еще не был тогда модным курортом, каким стал позднее. Все сезонное мракобесие завелось позже, тогда, когда провели от Минеральных Вод по группам железную дорогу, когда построили курзал, театр, появилась опера с модными артистами — до Шаляпина и Собинова включительно.

В тот же 1890 год летом были нравы еще патриархальные. Жизнь была простая, дешевая. Многоэтажных отелей не было, всюду были еще голубые и белые хатки, встречались соломенные кровли. Такие усадьбы, как у Ярошенок, были на счету. Жилось приятно. Устраивались большие пикники, поездки в замок Коварства и Любви, на Седло-гору и на дальний Бермамут. Тогда в парке, около так называемой Казенной гостиницы могли еще указать вам старушку-княгиню, с которой, по преданию, Лермонтов написал свою княжну Мери.

Я заметно стал поправляться, полнел, розовел. Однако Павлов, видя меня, повторял, что в Питер ехать необходимо, дренаж в незажившую рану еще входил свободно, и что операции,

видимо, мне не избежать.

Наступил и август, еще недели две — и надо собираться на север. В первых числах сентября нужно быть там. Я на будущее смотрел без боязни. Чудилось ли, что все обойдется благополучно, или то было лишь легкомыслие молодости?

Вот настал и день отъезда, новые и старые друзья собрались проводить меня. Подали экипаж, простились. Я горячо поблагодарил ставших теперь мне близкими Ярошенок — и покатил. До Минеральных, до посадки в вагон еще жил недавним, кисловодским. Поезд тронулся, стал думать о другом, что ждет меня там, в Питере. Проехал, почти не останавливаясь, Москву и 2-го сентября был в северной столице.

На другой день явился в Александровскую общину Красного Креста. Павлов осмотрел меня и в первый раз за эти месяцы сказал, что гною меньше, да и я сам это видел, как видел, что дренаж стал туго входить в рану.

Все же мне было велено лечь, хотя бы недели на две в Общину, за мной понаблюдают и, если надо, сделают операцию, если нет — отпустят с миром в Киев. Впервые у меня появилась надежда на лучший исход, о чем я с радостью в тот же день написал своим в Уфу.

На другой день я перебрался в Общину, поместили меня в палату с каким-то милым моряком.

Александровская община была тогда образцовым учреждением такого типа. Во главе ее стоял талантливый профессор, лейб-хирург Евгений Васильевич Павлов. Попечительницей Общины была старая, горбатая, но необыкновенно умная и деятельная баронесса Гамбургер, сестра нашего посланника в Швейцарии. Эти два человека, дополняя друг друга, были истинными создателями славы и популярности Общины.

Идеальный порядок, отличный состав врачей, необыкновенно дисциплинированные сестры. Операционный зал (в нем изображен Павлов в известной картине Репина, что в Третьяковской галерее[162]) по последним требованиям науки и техники. Вступая в Общину, вы получали с первых минут полное к ней доверие. Все палаты, коридоры, мебель были белыми, и только цветы нарушали зеленью этот сияющий белизной тон. Прекрасная церковь с отличным священником и певчими.

Строгости в Общине, благодаря неусыпной бдительности баронессы, были чрезвычайные. Она, по причине ли бессонницы, или особому рвению, по нескольку раз в ночь обходила палаты, следя за тем, чтобы сестры были на местах и не спали. И те, что такого сурового искуса не выдерживали, немилосердно

наказывались. Особенно доставалось новеньким, молодым. Между прочим, их за провинности ставили за воскресными службами, впереди всех в затрапезном платье.

Между сестрами было немало красивых, и я особенно помню одну высокую блондинку — прямо красавицу в английском вкусе. Она была северянка, родом из Кеми, и мой сосед-моряк поведал мне, что Кемь издревле славится красавицами этого типа. Объясняется же это тем, что в старые времена — в XVI–XVII веках в Кемь часто заходили английские торговые и иные суда, и нередко ученые мореплаватели подолгу заживались, гащивали там, сводили дружбу с добрыми кемянками… Вот с каких пор повелись на Кеми такие красавицы в английском вкусе, настоящие леди…

Дни шли за днями. Утром, в обычный час являлся Евгений Васильевич Павлов и в каком-то самозабвении обегал коридоры, и так как был близорук, то изредка казалось, что он налетит на большое зеркало в конце коридора или на кого-нибудь из встречных. Такая рассеянность мгновенно исчезала, как только Евгений Васильевич попадал в операционный зал.

Тихая наша жизнь в Общине нарушалась или очередными операциями, или появлением новых больных. Об операциях мы узнавали обыкновенно накануне, с вечера, а об экстренных — в тот же день.

Однажды к вечеру у нас появилась особа очень высокого роста, пожилая, похожая на Пиковую даму. Она, вопреки правилам, ни за что не желала надеть больничного халата. Пришлось употребить весь авторитет Павлова и баронессы, чтобы строптивая старая дама (классная дама какого-то института) согласилась надеть халат. Однако настояла на том, чтобы шевелюра ее, едва ли природная, и какая-то фантастическая наколка на голове с оранжевыми лентами или цветами были неприкосновенными. В этом пришлось ей уступить.

Настал день операции (у старой дамы, помню, была киста). Операция по тем временам тяжелая, и все же престарелая кокетка отправилась в операционный зал в своей фантастически нелепой наколке на голове. Операция прошла благополучно.

Евгения Васильевича Павлова все очень любили, и действительно, он был прекрасный, добрый человек. Анекдотов о нем существовало множество. Вот один из них: Евгений Васильевич грешил — пописывал масляными красками. К живописи питал он неодолимую страсть. Увлекаясь ею, забывал часто свои прямые обязанности, как и мой уфимский приятель-гинеколог. В дни лекций в Медицинской Академии Евгений Васильевич, зная свою слабость, с вечера наказывал своему

верному Ивану, чтобы тот задолго до отъезда в Академию предупреждал его, пишущего какой-нибудь ландшафт, что пора бросать кисти и ехать.

Иван хорошо знал своего господина, задолго начинал напоминать ему о том, что пора ехать. Время летело, часы тоже показывали, что все сроки миновали. У подъезда давно ждал экипаж, а ретивый художник все писал и писал. Оставалось времени столько, чтобы только можно было доскакать до Академии. Евгений Васильевич отрывается от мольберта, на ходу накидывает ему Иван генеральскую шинель и, сбегая с лестницы, он, озадаченный, кричит: «Иван, ты без меня допиши небо!» — и исчезает…

Повторяю, необыкновенно приятный человек был Евгений Васильевич Павлов.

Вот настало время и для решений моей судьбы.

Приехал Евгений Васильевич, позвали меня в операционную, осмотрели и объявили, что рана моя совершенно зарубцевалась, что опасности больше нет и что я хоть сейчас могу покинуть Общину и ехать в Киев.

На лесах Владимирского собора

Я не заставил себя ждать. В тот же день был на свободе и через два-три дня покинул Петербург.

Вот я снова в Киеве[163], снова в соборе, вижусь с Васнецовым, с Праховыми. Понемногу вхожу в общую работу. Мне, как и условлено было в марте, предложено написать с васнецовских эскизов «Бориса и Глеба» на пилонах среднего корабля собора для того, чтобы я мог освоиться со стенописью.

Я начал работать, дело мне нравилось, я скоро им овладел.

Между тем Прахов предложил мне сделать эскиз «Рождества Христова» для запрестольной стены на хорах южного придела, предупредив, что если эскиз понравится, то за мной же останется и «Воскресение Христово» в северном приделе.

Я стал готовиться к эскизам, тем временем втягиваясь в киевскую жизнь. Отношения с Васнецовым были прекрасные. Виктор Михайлович в те дни был истинным моим другом и советчиком. Ему нравились мои эскизы из жизни преподобного Сергия. Он говорил, что когда-то мечтал сам заняться житием Преподобного и теперь видит, что я этой темы не испортил. К Новому году ждали в Киев Передвижную, и Васнецов очень хотел посмотреть моего «Варфоломея».

По настоянию и Прахова и Васнецова, я должен был сделать визиты к Председателю соборного комитета и наиболее влиятельным его членам. Обязанность эта казалась мне малоприятной, я долго откладывал свои визиты, однако все же в одно из воскресений у всех этих господ побывал и стал совсем киевлянином на целых семнадцать лет, о чем, конечно, тогда не помышлял.

«Бориса и Глеба» я закончил и вместе с эскизами «Рождества Христова» представил на утверждение комитета. Все было утверждено, и я начал картон «Рождество». Стена для него была загрунтована давно, хорошо высохла, и можно было спокойно начинать писать на ней.

Условия самостоятельной работы были очень скромны. За шестиаршинную картину я должен был получить 1500 рублей. Так или почти так получали и мои старшие коллеги — Сведомский и Котарбинский.

Да, в те времена вопрос платы для меня не был существенным. Я горел желанием скорее попытать свои силы на новом для меня деле. Я еще не знал, сколь оно трудно и как дорого обойдется это дело мне потом…

Пока что расскажу здесь, как творились так называемые

соборные легенды. В те дни, да и много спустя, говорили не только в Киеве, но доходила молва и до Питера о том, как чудесно явилась киевскому вице-губернатору Александру Павловичу Баумгартену и профессору А. В. Прахову Богоматерь в абсиде Владимирского собора. Об этом необычайном случае говорилось устно, писалось в письмах, писались об этом брошюры и, умело распространяясь, где следовало, попадали в высокие места.

Дело было еще в самом начале соборных работ, так сказать, в первые дни творения, когда там еще не было ни одного из художников и витал лишь дух Адриана Викторовича Прахова, вернувшегося перед тем из Петербурга и Москвы, где он сумел заинтересовать «сферы». В Абрамцеве увидал он впервые и пришел в восторг от васнецовской «Богоматери», что была там в маленькой новой церковке. Стал бредить во сне и наяву, как бы заполучить Васнецова в Киевский собор.

Вот тогда-то, летом, собралась позавтракать некая теплая компания с А. В. Праховым у тогдашнего Киевского вице-губернатора, как его тогда звали, «вечного вице-губернатора» А. П. Баумгартена. Александр Павлович не был Сперанским, но был добродушный человек, большой «bon vivant»[164], его любили. Компания позавтракала, выпила, поболтала о том, о сем и разошлась. Остались вдвоем сам хозяин и прекрасный его собеседник — Прахов, которого как бы осенила внезапная мысль поехать в Собор сейчас же, не откладывая в дальний ящик, вместе с Александром Павловичем, который тогда был назначен председателем Комитета по окончанию Владимирского собора.

Сказано — сделано, поехали, вошли в Собор. Дело было праздничное, работ там не было, собор был пуст и нем. Перед ними предстала алтарная абсида во всей своей первобытной неприкосновенности.

Прахов, в каком-то вдохновенном экстазе, обращается к Баумгартену и говорит:

— Вы ничего не видите, Александр Павлович?

Тот отвечает: «Нет, не вижу ничего».

Тогда Прахов, осененный свыше, обращает внимание Александра Павловича на таинственную линию, проходящую по абсиде сверху вниз, извиваясь по вогнутой стене. Он видит сейчас не только эту линию, но линия в его глазах преображается в формы, воодушевление нашего ясновидца растет. Он видит уже контуры несущейся по небу Богоматери.

Адриан Викторович допытывается, видит ли то же Александр Павлович. Увы! Тот ровно ничего не видит. Однако недаром он светский человек и старый служака, он знает, что в его

положении, после веселого завтрака трудно что-нибудь увидать, особенно «духовным оком», но что увидать что-то надо.

Между тем наш Адриан Викторович в тех случаях, когда он что-то страстно желает, до боли, до спазмов в желудке, не останавливается ни перед чем. Он еще с большим воодушевлением продолжает внушать своему спутнику им видимое, и тот, не желая долее быть заподозренным в каком-то постыдном невежестве, спешит уверить Прахова, что вот теперь он видит ясно, отчетливо.

Адриан Викторович в восторге. Он предлагает тут же составить протокол. Сам делает рисунок абсиды с чудесным предуказанием. Рисунок прилагается к протоколу. Оба очевидца скрепляют протокол своими подписями. Жмут друг другу руки и довольные, каждый по-своему, расстаются. Вот с чего пошла в свое время популярная «соборная легенда» о том, как «явилась» будущая васнецовская Богоматерь.

К новому 1891 году был готов не только картон «Рождество», но начата и самая картина на стене. Я был в большом подъеме. Работал с увлечением, не покладая рук.

Тем временем вернулись из Рима братья Сведомские. Мои отношения к ним сразу определились — они стали, что называется, добрыми[165].

Сведомские были славные, простые люди. Старший из них — Александр, прозванный Праховым «Бароном», был худощав, высок ростом, с небольшой эспаньолкой. Он походил не то на средневекового барона, не то на римлянина времен упадка. Был он славный малый лет сорока восьми — сорока девяти, очень покладистый. Искусством занимался от нечего делать, работал мало. Изобретал с Кокой Праховым давно изобретенное, например спички. Был по-своему философ. Невозмутимость его была анекдотическая. В сущности, он был взрослый ребенок, которого одинаково легко было подвигнуть на хорошее и дурное.

Младший — Павел — автор многих соборных Евангельских композиций в духе немецких исторических живописцев того времени, был, напротив, маленький, толстенький, с брюшком, человечек в пенсне, весь такого «заграничного» вида, похожий на какаду, почему, быть может, и прозван Праховым «Попа» (его еще звали «Глухаш» по его некоторой глухоте).

И «Барон», и «Попа» были типичной заморской богемой. Они хотя и происходили из духовного звания и были тогда пермскими помещиками, но были беспечны, вечно пребывали без денег, жили без веры, без идеалов, готовы были идти туда, где им заплатят, приютят. Они ненавидели век Возрождения с его великими художниками, называя всех их презрительной кличкой «эти ваши

Пьетроди Манаджио».

Сведомские десятки лет прожили в Риме, днем работая в своей огромной мастерской на Виа Бабуина саженные картины из греческой мифологии, из французской революции или, вспоминая о чем-то давно забытом, писали русского юродивого, скачущего на палочке верхом зимним морозным вечером по занесенным снегом полям, — равно безучастно скользя и по страшным делам революции, и по мифам о героях, и по сугробам далекой, холодной родины… Они, усталые после дневной работы, любили пображничать до полуночи в кабачках Рима и Киева.

Они, как братья Гонкуры, были едины и неразлучны, и, хотя писали на разные темы, все же картины их нелегко было распознать.

О Сведомских почти никогда не говорили в единственном числе, а всегда, хотя бы речь и была об одном из них, говорили «Сведомские». И когда «Барон» под старость, спустя долго после собора, хорошо пожив, совершенно неожиданно для себя и для всех его знавших, женился в Риме на совершенно ему незнакомой молодой, путешествующей по Италии россиянке, на родину из Рима полетели открытки о том, что «Сведомские женились».

И правда, когда эти российские Гонкуры появились с молодой дамой, то трудно было бы сказать, который из братьев был ее супругом.

В январе, по заведенному давно порядку, в Киев приехала Передвижная, на этот раз с моим «Варфоломеем». Устраивалась она в Университете. В первый момент, как увидел я здесь свою картину — она привела меня в отчаяние. Не такой я ее себе представлял.

Картину поставили на место, поставили хорошо, и у меня от души отлегло. Стали приходить художники, послышались похвалы. Увидал ее и Васнецов, нашел лучшей вещью выставки. Ну, тут меня как живой водой спрыснули, и я снова стал верить в своего «Варфоломея».

Помню из тогдашних отзывов один о нашумевшей в Питере картине молодого, в первый раз выставлявшего, Богданова-Бельского «Будущий инок»[166]. Спокойный деревенский мальчик Богданов происходил из города Бельска Смоленской губернии, где тогда в селе Татеве прошумела школа Рачинского, в которой он впервые применял свой метод первоначального обучения.

Богданов-Бельский кончил школу, проявил большие способности к рисованию, поступил в Московское училище и в 1890 году выставил очень интересную картину «Будущий инок». Васнецов нашел, что в картине Богданова-Бельского «не было творчества», что сам инок — счастливая случайность, странник

же взят не то у Владимира Маковского, не то у Максимова. Все же Виктору Михайловичу казалось, что мне еще не раз придется столкнуться в жизни с Богдановым-Бельским. Это предположение, однако, не сбылось.

В ближайшие годы он пытался сделать нечто равное «Иноку», но скоро, убедившись в тщете своих попыток, перешел на сюжеты школьного жанра, они были сентиментальны, слащавы. Вместе с тем Богданов-Бельский начал пробовать писать портреты. Они формально были неплохи (мужские), но лавры Константина Маковского не давали ему покоя. Его портреты великосветских модниц были плохи, безвкусны… Богданов-Бельский скоро стал ясен для всех.

В первые месяцы соборных работ мое увлечение, больше того, преклонение перед талантом Васнецова дошло до зенита. Этому, быть может, способствовало и то общее увлечение дарованием Виктора Михайловича, которое тогда началось на долгие годы и столь же не было приятно художнику, сколь и повредило ему потом. Он перестал строго относиться к своему ремеслу, к технике дела. Усталый, не отдохнувший после огромной десятилетней киевской работы, не оздоровивший себя на натуре, он был завален новыми работами, кои, по существу, были продолжением киевских. Они совсем расшатали могучий художественный талант, организм его.

И лишь спустя много лет, лет за шестнадцать до смерти Виктор Михайлович, освободившись от некоторых опасных навыков соборных, как бы вновь нашел себя в цикле сказок, где можно было встретить и былое сильное чувство красоты, и большую музыкальность, и живую народную поэзию. Однако техника его сказочных картин, по их большим размерам, была явно слаба, несостоятельна, и потому глубоко скрытое чувство автора не смогло пробиться с полной убедительностью наружу. Картины, за редким исключением, оставались большими эскизами. Самые же эскизы к ним были живописней, а главное, они были более обещающими, чем слабо нарисованные огромные картины.

Не нужно говорить, что все это нимало не умалило огромный талант Васнецова, им обнаруженный в первых сказочных вещах, в его удивительном «Каменном веке» и в алтаре Владимирского собора, как и вообще в первые годы киевских работ его.

Так вот, в те первые месяцы моего пребывания в Киеве, когда Васнецова так легко сравнивали с величайшими художниками Возрождения — Рафаэлем, Микеланджело и другими, а он в шутку говаривал, что где уж ему, хоть бы Корреджо-то быть… вот тогда-то и я, по младости лет, готов был разделять с его

неумеренными поклонниками те же чувства и понятия и считал себя лишь отдаленным его эхом, и чуть было не потерял и на самом деле свой особый облик, стал видеть его глазами, и хорошо еще, что только глазами, а не потерял своего чувства, своего духовного видения.

Скоро я догадался о такой опасности и, хотя медленно (в церковных работах), успел освободиться вовсе от влияния Васнецова. Но лишь в работах Марфо-Мариинской обители я впервые почувствовал, что опасность миновала. В картинах же своих, даже времен соборных, я сумел сохранить полностью свое лицо.

Вот в те дни увлечения, в самые опасные дни его, Виктор Михайлович стал заговаривать со мной о Соборе в городе Глухове, на родине Терещенок. Терещенки в то время были на высшей точке своего материального могущества. Наглядевшись на созданное Васнецовым во Владимирском соборе, они задумали и в своем Глухове создать нечто подобное. Обратились к Виктору Михайловичу, но он отклонил их предложение. Тогда явилась мысль к этому делу привлечь молодого автора «Отрока Варфоломея».

Васнецов не раз пытался со мной заговаривать об этом, но я, не колеблясь, раз навсегда решил уйти от соблазнов и остаться хотя бы небольшим, но искренним художником, а не стать большим… ремесленником.

В те же времена я побывал в Кирилловском монастыре, где пришел в полный восторг от Врубелевского иконостаса, написанного им в Венеции под непосредственным впечатлением от великих венецианцев и тамошних мозаик.

Однажды, помню, проездом через Киев, в Собор попал художник Неврев. Осмотрев работы Васнецова, Неврев расплакался, стал целовать Виктора Михайловича и ушел совершенно растроганный виденным.

В те дни появилась и наделала немало шума программа Рябушкина «Голгофа». Ее приобрел Третьяков, что было первым случаем. До того ни одна Академическая программа в галерею не попадала, оставаясь в музее Академии художеств.

Я не знаю, почему тогда не возникало разговоров ни у Васнецова, ни у Прахова о привлечении талантливого Рябушкина к соборным работам, что позднее сделал бездарный Парланд, раздавая направо-налево заказы в храме Воскресения[167].

В конце января я показал Васнецову свое «Рождество». Он очень хвалил меня, особенно фигуру Богоматери и общий тон картины, настроение Рождественской ночи.

Прахов в те дни был в Петербурге, хлопотал о новых

ассигнованиях на Собор. Необходимо было добиться средств на каменную лестницу на хоры, вместо деревянной, иначе, как тогда говорил Васнецов, «князь-то Владимир в лаптях будет ходить». Фотографии с васнецовских вещей и с моего картона «Рождество», посланные в Питер, должны были помочь Прахову в его хлопотах.

В каждый праздник Виктор Михайлович заходил за мной, и мы шли к обедне в Софийский собор, в древний восьмисотлетний Собор, еще не утративший своего первоначального вида. Прекрасные мозаики времен Ярослава Мудрого напоминали мне Венецию, Св. Марка, Рим, Санта Мариа Маджоре, Латеран и базилики, виденные мною в Италии, где создание мозаик когда-то было великой потребностью, где они вызвали к жизни, к творчеству столько неведомых, но славных художников, зодчих.

В Софийском соборе в те годы были часты парадные архиерейские службы. Митрополитом киевским был умный, просвещенный Платон. Он жил тогда не в Лавре, как его преемники, а тут же против Софийского собора, в старинном, времен гетманов, так называемом митрополичьем доме и часто служил в старой Софии.

В те времена был в полной славе своей хор Калишевского[168], а в этом прекрасном хоре дивный мальчик, по словам Васнецова, похожий на моего Варфоломея, только с темными волосами, Гриша Черничук, с изумительным по красоте тембра голосом (дискантом), таким задушевным, глубоко трогательным и трагичным.

Потом я слышал много прекрасных голосов женских, мужских и детских, были среди них и феномены, как Мазини, Зембрих, и лишь два итальянских голоса остались в моей памяти, как равные Грише по красоте тембра и по особому, глубокому чувству. Первый — это был голос (разговорный) Элеоноры Дузэ, второй — сопрано кастрата, слышанный мной в соборе Петра в Риме в день Петра и Павла, когда там пела знаменитая Сикстинская капелла в полном составе.

Гриша продержался в хоре Калишевского года три-четыре. Потом голос спал, Гриша вырос и, говорят, спился. В те дни не только весь Киев знал и любил Гришу, но им заслушивался, проездом через Киев в давыдовскую Каменку, Чайковский. И мы тогда часто видали Петра Ильича недалеко от себя в Софийском соборе упивавшимся дивным голосом Гриши.

А что бывало во время великопостных духовных концертов, даваемых в те годы талантливым, хотя и звероподобным Калишевским в Купеческом собрании, переполненном тогда свыше меры! Бывало, мы с Васнецовым задолго запасались билетами на такой концерт, заранее предвкушая удовольствие от

него. Такие концерты Калишевского были нашими праздниками…

Приведу здесь свои впечатления, выписав их целиком из письма того времени к отцу моему в Уфу[169]:

> «Прошлое воскресенье я с Виктором Михайловичем был в концерте хора Калишевского, состоявшего из произведений старых мастеров XVI, XVII и XVIII веков, а также произведений нашего столетия. В программе стояли композиторы — итальянцы: Орландо Лассо, Антонио Лотти, Перголезе, Керубини, также наш Бортнянский, Турчанинов, Архангельский и киевский композитор-критик Чегопит.
>
> Программа для непосвященных трудная, но чудное исполнение, и в особенности Гриша, поясняли многое непонятное. Вызовам не было конца, особенно много их выпало на долю Гриши. Он, по настоянию публики, спел дуэт вместе с очень хорошим контральто. И те, что хотели уходить (это был конец концертной программы), — все остались, а некоторые вернулись из раздевальни. Зал трясся от аплодисментов. Когда же Гриша, уже усталый, запел под аккомпанемент Калишевского на фисгармонии соло свой лучший номер — „Предвечный и необходимый“ — наступила немая тишина. У многих, не только женщин, но и у мужчин неудержимо катились слезы из глаз. Я же совсем потерял голову…
>
> Не часто приходится испытывать такие минуты, когда люди под впечатлением искусства становятся лучше, добрее. В данном случае все мы переживали такое чувство. Вызвал его в нас мальчик лет двенадцати, маленький, бледный, на вид такой покойный, быть может гордый лишь сознанием своего чудного дара.
>
> Гриша кончил, замерли последние звуки его голоса. Гул рукоплесканий принимает он просто, с достоинством. А толпа уже не владеет собой: она, как обезумевшая, кинулась на тихого мальчика, схватывает его на руки и над головами бурно несет через весь огромный зал к выходу…
>
> Приехав домой мы долго засиделись. Поздно разошлись, наговорившись и напившись досыта».

Еще помню. Умер всеми любимый мудрый старец митрополит Киевский Платон. В сороковой день в Софийском соборе была заупокойная обедня, после нее торжественная панихида. Служил сонм архиереев. Пел в полном составе хор

Калишевского. Народа было множество. Полный собор. Началась панихида.

Дивные звуки печальных песнопений полились под сводами древней Софии. Стихия скорби носилась в воздухе, и вот, в этой-то стихии печали отделился один голос, голос как бы обреченной, божественной красоты, неземного чувства. Он одиноко несся среди великого молчания земли. Невыразимое отчаяние слышалось в этом гармоническом стенании. Душа покидала бренное тело, земную юдоль свою. Она дальше и дальше уносилась от земной своей обители. Душа витала где-то в иных мирах… Звуки становились все тише, тише, тише… Они были едва слышны, они почти замолкли. Последние, едва уловимые и уже победные, радостные — исчезли у врат Рая… Безмолвие, тишина. Глубокое молчание пронеслось по древней Софии… Дивная музыкальная поэма. Бледный, задумчивый мальчик вдохнул в нее такую скорбную жизнь…

Потом, много спустя, говорили, что Гриша под талантливым руководством Калишевского проделал свое чудо так: участвуя вместе с хором вначале, он, отделившись в известный момент от него, тихо, едва ступая, брел теперь один по извилинам древних хор Собора и все пел, пел тише, тише, пока не исчез вовсе в алтаре левого придела старой Софии.

Весной того же 1891 года впервые явилась у меня и у моих стариков мысль взять мою дочь из Питера в Уфу. Началась по этому поводу переписка, но так как прямого повода к сему не было, то дело пришлось отложить до более подходящего времени. Его недолго пришлось ждать…

Между тем подошла пора сдавать комитету и «Рождество», и «Воскресение» вместе. Работы мои понравились, были приняты с небольшими замечаниями.

Прахов еще раньше заговаривал со мной о двух иконостасах на хорах (там, где были написаны мной запрестольные образа «Рождество» и «Воскресение»). Теперь этот вопрос назрел и его пора было разрешить, и Прахов вновь заговорил о нем.

Предложение я принял на условиях, что к январю 1893 года я обещаюсь представить Комитету все образа обоих верхних иконостасов в количестве восьми больших (по полтора аршина каждый) и двух Царских врат за плату в 3800 рублей.

Заключив контракт, я уехал на Пасху в Москву, в Абрамцево, где провел Светлый праздник. В Москве встретился со своей дочкой. Она с воспитательницей ехала на весну и лето в Крым.

Тогда в Москве я несколько раз был у Третьякова. Он был со мной неизменно любезен, интересовался моими киевскими работами. Желал видеть эскизы, однако рекомендовал мне не

очень увлекаться церковными своими успехами и скорей возвращаться к картинам, о чем я и сам стал изредка подумывать. Мне уже исполнилось в мае двадцать девять лет, а кроме «Пустынника» и «Варфоломея» еще ничего не было сделано. Задумаешься…

«Юность преподобного Сергия»

На весну и лето поселился в ближайшей к Абрамцеву Ахтырке, — бывшем имении Трубецких, теперь Матвеевых. Днем работал эскизы к иконостасам, а в пять-шесть часов уходил в лес или огромный парк и там начал писать этюды к «Юности преподобного Сергия».

В это время виделся, приезжая изредка в Москву, с Суриковым, который собирался ехать на дачу… в Красноярск. Так он иногда острил. Это было время, когда Василий Иванович собирался писать «Ермака».

В Абрамцеве в это время приготовлялись к встрече Васнецовых, теперь переехавших из Киева на жительство в Москву и лето пожелавших провести в любезном Абрамцеве, в так называемом «Яшкином доме»[170]. Готовилась торжественная встреча, ряд празднеств в честь прославленного художника.

Я же имел намерение до августа поработать в Ахтырке, написать там этюды к «Сергию с медведем»[171] и эскизы к киевским иконостасам, побывать в Ростове Великом, Переславле-Залесском, Угличе, Ярославле… Вернувшись оттуда, пожить немного в Москве, пописать в Зоологическом саду зверей и уехать в Уфу, где и начать писать «Сергия», который уже почти сложился у меня в голове. Сложился сильно измененный по сравнению с первоначальным замыслом.

После «Варфоломея» у меня зародилась мысль написать цикл картин из жития преподобного Сергия. «Сергий с медведем» был следующим по плану. Я тогда же сделал небольшой эскиз на эту тему, на нем Сергий был помещен с левой стороны у рамы. Фоном была ранняя, так сказать, апрельская весна, еще без зелени, когда почки набухают, природа бывает в каком-то напряженном ожидании.

Однажды заехал ко мне П. М. Третьяков, и на вопрос, что сейчас делаю, я ему ответил, что эскиз к «Юности преп. Сергия». Павла Михайловича заинтересовал мой эскиз, и он с обычной тихой настойчивостью добился, что эскиз «Сергий с медведем» я ему показал.

Эскиз ему понравился, а я после того совершенно к нему охладел, и понадобилось не менее года, чтобы снова вернуться к нему, но вернуться совершенно уже по-иному: фигура Сергия была в центре картины, медведь лежал у его ног, а природа была майская, весна была в полном уборе.

Позднее в таком виде картина Павлу Михайловичу не понравилась. По первоначальному же эскизу я спустя тридцать

лет написал небольшую картинку.

В тот год в Ахтырке жил глубоким стариком знаменитый ученый — профессор Федор Иванович Буслаев. И однажды Е. Г. Мамонтова передала мне, что Буслаев выразил желание со мной познакомиться. Но Федор Иванович скоро заболел, и знакомство наше не состоялось. Таким образом я лишился, быть может, многих ценных сведений, советов этого большого и *такого русского ученого.*

В конце июля я получил известие, очень меня встревожившее. В Петербурге заболел «манией богатства» и был помещен в психиатрическую лечебницу муж воспитательницы моей девочки присяжный поверенный Георгиевский. Жена его, получив о сем телеграмму на Кавказе, тоже заболела, и моя Ольга осталась на руках малоопытной няньки. К счастью, болезнь г<оспо>жи Георгиевской скоро прошла, и она могла немедля выехать в Москву и Петербург.

В Москве мы встретились, и, так как обстоятельства изменились, то вопрос о передаче в мои руки дочери устраивался как бы сам собой. Теперь Ольга была со мной, и я тотчас же увез ее в Ахтырку, телеграфировав в Уфу о случившемся.

Сестра немедленно выехала в Москву, и через какую-нибудь неделю вопрос был улажен: Ольга с сестрой уехала в Уфу, где моя девочка нашла почти все, чего ей недоставало: любящих ее родных, большую к ней заботливость. По ее словам, самые счастливые годы ее прошли в Уфе, за что я всегда был благодарен как старикам моим, так и сестре, положившей на дело воспитания моей девочки лучшие свои силы и всю большую любовь, которую ей не пришлось отдать своим детям. Она замуж не вышла.

В Уфе, в доме моих родителей, Ольга прожила с пяти до одиннадцати лет, когда поступила в Киевский институт, да и потом, до самого своего замужества, она всегда с особым удовольствием ехала в Уфу. Там же отдыхала после многочисленных операций, поездок по заграницам, по всевозможным немецким и итальянским курортам.

Бывала она в Уфе и после замужества. На ее руках и скончалась в Уфе в 1913 году моя сестра, счастливая тем, что своими глазами видела ненаглядную Олюшку, вышедшую замуж за хорошего человека, молодого ученого — Виктора Николаевича Шретера.

Итак, проводив своих в Уфу, я остался в Ахтырке снова один и еще с большим усердием принялся за дело. Днем рисовал соборные эскизы, к вечеру шел в лес и писал этюды к «Сергию».

Помню такой случай. Нашел я себе подходящего натурщика,

деревенского парня лет восемнадцати-девятнадцати для фигуры Преподобного. Пошли с ним в лес, на фоне которого я и должен был его написать. Одел его там в соответствующий костюм, поставил, начал работать и, чтобы не кусали нас комары, лица свое и натурщика намазал регальным маслом. Не прошло, кажется, и полчаса, вижу, мой крепкий, здоровый парень побледнел, как полотно, и стал, как подкошенный, падать на траву. Оказывается, что запаха регального масла некоторые вовсе не переносят.

В конце июля в Абрамцеве собрался почти весь цвет тогдашних художников. Приехал повидаться с Васнецовым после нескольких лет Репин (по пути в Ясную Поляну). Был там Серов; Врубель почти жил в Абрамцеве. Приехал и Костя Коровин, Аполлинарий Васнецов. Ставились домашние спектакли, давались шумные обеды, устраивались пикники. Словом, ряд празднеств во славу именитых гостей — Васнецова и Репина.

Бывал там и я, хотя все эти пиры, обеды, пикники и недолюбливал. Бывал я больше тогда, когда Савва Иванович и его шумная ватага уезжала в Москву, Абрамцево тогда как бы отдыхало. Жило трудовой, тихой жизнью. В те дни влияние умной, сдержанной Елизаветы Григорьевны брало верх, Абрамцево из шумного, веселящегося становилось серьезным, как бы спешащим наверстать прогульные дни, и работало не покладая рук.

В начале августа я перебрался в Москву (поездка на север была отложена на другое время). В Москве поселился у Никитских ворот, ближе к Зоологическому саду, куда стал ходить зарисовывать зверей. Написал медведей, лисиц, зайцев, пробовал зарисовать птиц[172]. Пресерьезно готовился к своей новой картине.

В конце августа или в начале сентября все было готово. Материала набрал чуть ли не больше, чем думал. Одного не хватало: не напал я на лицо юного Сергия, надеясь увидеть его во время самой работы над картиной.

Заказал я большую раму и двинулся в путь, в свою Уфу, где теперь меня ждали с особым нетерпением. Приехал. Радостям, разговорам, новым впечатлениям не было конца. Мне в полное распоряжение был отдан пустовавший тогда флигель, и я устроил там прекрасную мастерскую. Эта мастерская могла бы удовлетворить и более избалованного художника, чем был тогда я. Три больших окна, где солнца почти не бывало, большой, аршин в десять, зал, спокойные, гладкие стены. Словом — все, что мне было нужно и еще полное одиночество. Еще только раз в своей жизни я имел лучшую, чем тогдашняя уфимская моя

мастерская, — в Москве на Донской, во время росписи храма Марфо-Мариинской обители, где дважды у меня была для осмотра обительских иконостасных образов незабвенная Великая Княгиня Елизавета Федоровна[173], прекраснейшая из женщин, мною в жизни встреченных.

Работая много на церковных лесах, я привык ко всякого рода неудобствам и мало обращал внимания на них, тем более, что знал и помнил, что нередко при наилучших условиях писанные картины пропадали на выставках только потому, что случайные, плохо приспособленные выставочные помещения особенно губили те картины, которые были написаны в специально выстроенных мастерских с верхним светом, с большим окном на север и прочими удобствами.

Так было с Левитаном, имевшим в последние годы жизни идеальную мастерскую, выстроенную богачом Морозовым. Дивно освещенные в мастерской, картины Левитана совершенно терялись на выставке, в условиях случайного света, тогда как мои, написанные в условиях гораздо худших, чаще всего на выставках выигрывали.

В Уфе в тот раз для меня было счастливое исключение, однако не помогшее мне написать моего «Сергия с медведем», так, как я о том мечтал.

Итак, я начал свою картину, размером еще большую, чем «Варфоломей», аршина в четыре высотой, почти квадратную. Материала у меня было достаточно, особенно для пейзажа. Слабее были этюды для фигуры. Но чего я особенно боялся — это лица Сергия. Лицо это мне мерещилось еще смутно, и я не имел для него такого надежного этюда, как для «Варфоломея». Одно для меня было ясно, что Сергий был русый.

Позднее, в «Трудах» я написал его с рыжеватой бородкой, и чутье тогда меня не обмануло. В 1920 году, когда мощи преподобного Сергия были вскрыты, я своими глазами убедился в том, что не ошибся. Оставшиеся на черепе волосы были русые с легкой проседью, с проседью же была и рыжеватая борода Преподобного.

Уверенность и горячность в работе меня не покидали. Я еще надеялся найти образ юноши Сергия, хотя он и ускользал от меня. Ведь для меня не существовало картины, если я не мог разрешить основную задачу ее. А тут этой основной задачей и было *лицо* Сергия.

Такое отношение, не скажу мое, но целого поколения, к задачам живописи как нельзя лучше показывает, как мы все были далеки от так называемого *декоративного* искусства, оставаясь, почти без исключения, *станковыми* живописцами. Таково уж было

наше время. Правда, судьба меня поставила надолго перед необходимостью росписи церковных стен — я стал «храмовым живописцем», по существу не быв им, оставаясь всюду и везде станковым…

Только обед да вечерняя тьма заставляли меня покидать мою мастерскую. Холст на этот раз был отличный, все, казалось, ладилось. В доме у моих стариков был рай земной. Близость моей Ольги довершала общее благополучие, полноту счастья.

Особенно шло дело гладко и приятно, пока я писал пейзаж. Его видел я так ясно. Это должен был быть «Святой пейзаж». Все то, что есть чудного, умиротворяющего в нашей северной природе, должно было быть в моем пейзаже, преобразить его в святой, полный тихой, нездешней радости, и мне чудилось, что на такой пейзаж — с такими цветами, лесом, с тихой речкой — я уже напал.

Труднее становилось тогда, когда я подошел к фигуре, и еще трудней — к голове, к лицу Святого, такого значительного, яркого в нашей истории. Лицо его лишь мерещилось мне, как в смутном сне. Однако это неясное необходимо было сделать ясным, убедительным. Вот тут-то и начались часы сомнений, тревоги.

Рождество в Уфе. 1892

Приближалось Рождество. Картину надо было кончать, в январе быть в Москве, вовремя поспеть в Петербург на Передвижную.

«Юность преп. Сергия» окончена. Мои в восторге, я же смутно чем-то недоволен. Больше всего недоволен лицом и, быть может, размером картины, слишком большим, не соответствующим необходимости. Однако я молчу, чтобы не смущать до времени своих и не растравлять свое сомнение.

Зима в тот год в Уфе была чудесная. Морозы были большие, но не сорокаградусные, как бывали в те времена частенько в наших краях.

После работы я ездил один или вдвоем с Ольгой в Старую Уфу к родным покойной жены. Славные были эти поездки. К вечеру велишь, бывало, заложить пару с пристяжной в легкие санки, оденешься потеплей, закутаешь ноги полостью и прямо из ворот полетишь вниз по Казанской. Снежная пыль обдает лицо, шуба вся в снегу, а кучер-татарин рад угодить молодому хозяину — московскому гостю, покрикивает на вяток.

Вот и церковь Троицы, от нее такой дивный вид за Белую, на далекие предгорья Урала. Морозный вечер потухает. Над рекой и дальше, по луговой стороне на десяток верст, до самого горизонта стоит морозная мгла, окрашенная в тона угасающей зари. Тихо, грустно, веет чем-то далеким, уходящим…

Приехали, отворяют ворота, ласковая встреча. Самовар, разговоры, воспоминания о недалеком минувшем, о том, о сем. Пора собираться домой.

Теперь Белая слева, заря потухла. Мороз к ночи крепчает. Тихо поднимаемся в гору, потом кони снова понеслись. Ветер теперь в лицо, нос, щеки порядочно пощипывает. Вот и дом. Там ждут с ужином, а потом и спать пора.

Чем ближе к Рождеству, тем чаще разговоры об елке. Я затеваю живые картины. Хочу поставить домашними средствами нечто вроде мистерии, показать свое киевское «Рождество». Мысль моя принята. Принимаемся за дело. Я пишу декорации. Готова задняя кулиса. Рождественская ночь тихая, ясная. Горят звезды. Ангелы радуются, славословят, указуя путь пастырям к Вифлеемской пещере. В глубине пещеры старец, около доверчиво жмутся овцы. Это фон мистерии. Сестра тем временем шьет хитон Богоматери, готовит остальное необходимое. Олюшка и про игры забыла. Все, даже старики и те живут теперь этой новой для них жизнью.

Вот и канун Рождества. Все уехали ко Всенощной в собор. В доме тишина. Везде у образов ярко горят лампадки, отбрасывая высокие тени от киотов по углам. Так торжественно, по-праздничному. Вернулись от Всенощной такие умиленные, радостные, у всех на душе хорошо.

Эх! Если бы теперь могла быть среди нас наша мама. Порадовалась бы она на свою маленькую Олечку, на то, как ее здесь все любят…

В ожидании завтрашнего дня все разошлись поскорее и улеглись спать. Одна сестра будет сидеть, быть может, до рассвета, дошивать куклам платья, готовить подарки, украшать «кукольную» елку, да мало ли у нее еще дела.

Рано, чуть ли не с пяти часов не спится Олюшке. Она проснулась и в великом восторге видит маленькую елочку всю в огнях, всю увешанную кукольными подарками. Можно ли улежать теперь в постельке! Она вскакивает и еще в рубашонке устремляется в угол, а там, у изразцовой большой печки — чего-чего там нет! Тут и московские куклы, наряженные в шубы, шляпы, с муфтами… Тут всяческая мебель, пианино и прочее.

Однако надо умываться, молиться Богу — того и гляди начнут стучаться в дверь славильщики.

А вот и они, ввалились в горницу вместе с морозным паром и бойкими задорными голосами уже поют: «Ангели с пастырьми славят, волсви же со звездою путешествуют…»

Не успели одни хлопнуть дверью, пересчитать медяки, как в комнате другие веселыми, складными голосами заливаются, славя родившегося Младенца Христа…

Много перебывало в то утро славильщиков. Довольные, они убегают дальше, к соседям. Понабрали много медяков на подсолнухи, леденцы в это морозное утро.

Все собрались к чайному столу. Чего-чего сегодня на нем нет, каких удивительных вкусных штучек не напекла вчера счастливая без меры бабушка. Сама себя превзошла она на этот раз ради Великого праздника, ради любимой внучки.

День прошел быстро. Приезжали визитеры, был традиционный стол во весь зал, с закусками и питиями. Отец вернулся скоро. Ему было уже за семьдесят лет, и он делал визиты лишь немногим избранным.

Едва успели отдохнуть, как надо было готовиться к елке. Купили ее заранее, отличную, под самый потолок. Настал час украшать ее. В этом приняли участие не только мы — более молодые, но около внучки теперь объединились и дедушка с бабушкой. Работа кипела. Мое участие выразилось, помнится, главным образом, в том, что я перебил немало хрупких елочных

украшений, чем приводил в отчаяние Олюшку и сестру. Так или иначе, к положенному часу все было готово.

Начали собираться гости, дети с их мамашами и тетушками. Приходили целыми семьями. Прежде других появились соседи — семья аптекаря Штехера. Появились Зосинька, Зиночка, Ниночка и прочие. Их начали раскупоривать, освобождать от платков, шуб, валенок… Пришли Белышевы. То и дело звонил звонок — гости все прибывали.

Когда вся эта живая, волнующаяся, шумная компания была налицо, зажгли елку, отворили двери в зал, и вся ватага, увидав великолепное зрелище, под звуки веселой музыки двинулась вперед. Насмотревшись, натанцевавшись, получив подарки, все поуспокоились, затихли…

А тем временем мы спешно готовили в соседней передней для всех неожиданное зрелище — нашу мистерию. В запертой на ключ передней оставались лишь мы с сестрой да действующие лица. Установив заднюю кулису с пещерой и яслями, на дне которых в соломе был поставлен фонарь, дававший иллюзию сияния от Младенца Иисуса, усадив Богоматерь — Олюшкину молоденькую няню, осмотрев все опытным глазом, дали звонок, другой, третий…

Двери в зал распахнулись, и очарованным зрителям представилось каким-то волшебным видением то, что они увидели в первый раз в жизни. И правда, что-то трогательное и поэтическое вышло из моей затеи. Все были очень довольны. Пришлось картину возобновлять несколько раз, затворяя и отворяя двери из передней в зал, где восторженные зрители уже не скрывали своих чувств.

Вот как прошел первый день Рождества 1892 года в Уфе, в купеческой семье Нестеровых. Маленькая внучка вдохнула новую жизнь в старый быт этой семьи.

Москва — Киев. 1892

Прошли праздники. Надо было собираться в Москву.

Картина кончена, уложена, и я, провожаемый самыми лучшими пожеланиями близких, простившись с моей Ольгой, выехал из Уфы.

В Москве устроился в большом номере Мамонтовской гостиницы. Развернул «Сергия», посмотрел его в раме, и снова сомнение стало закрадываться.

Первым картину увидел Виктор Михайлович Васнецов. Картина ему, видимо, понравилась, однако были и замечания. Что-то, помню, о глазах Сергия и об общем тоне пейзажа, недостаточно согласованном.

После Виктора Михайловича был Аполлинарий. Тот с большой откровенностью высказался в том смысле, что, хотя пейзаж на новой картине менее удачен, чем на «Варфоломее», фигуру Святого он ставит выше, чем в первой картине. Как Виктор, так и Аполлинарий находили, что пейзаж не доведен. Видя, что я упал духом, Аполлинарий сконфузился, начал путаться. В конце концов было решено, что я попытаюсь исправить недочеты, а если это мне не удастся, то картину я скатываю и на выставку не отправляю, сам еду в Киев, а будущим летом ее перепишу на новый холст.

На несколько дней я заперся в мастерской и работал с огромным увлечением. Казалось, что замечания Васнецовых были учтены. Глаза Святого переписаны. Пейзаж приведен в общий тон. Мотив стал тоньше. Картина, что называется, «запела»… Я стал успокаиваться.

Был Архипов, щедрый на похвалы, которым мало кто придавал значение. Я ждал Левитана, более искреннего и прямодушного. Пришел и он. Картина привела его в восторг. Он переоценил ее стоимость, наговорил мне кучу приятных вещей, тем более опасных, что говорил от души, любя меня. Он советовал послать «Сергия» в Париж, в Салон. К вечеру раззвонил о картине по всей художественной Москве.

На другой день были Остроухов, Морозов и еще не помню кто. Меня не было дома, я решил отдохнуть, погулять.

В следующие дни тоже был народ, картину хвалили, и я воспрянул духом. Был Кигн (писатель Дедлов), талантливый, умный, молчаливый человек, гораздо позднее худо кончивший: его убили где-то во время случайного спора. Кигну картина сильно понравилась. Он, помню, нашел в ней «тихую нежность»[174].

Я ждал Павла Михайловича. Он все не ехал.

Вторично был Остроухов, но ему картина не понравилась. Замечания его были дельны, и потому опять начались мои сомнения.

Наконец приехал и Третьяков. Долго сидел, говорил мало и уехал ни с чем. И у меня тогда почему-то составилось убеждение, что Павел Михайлович был предварен уже Остроумовым и приехал к картине предубежденный.

С тех пор в лице Остроумова я стал иметь тайного и явного недоброжелателя. Это его отношение ко мне осталось на всю мою художественную жизнь. Много тяжелых минут я пережил благодаря «Семенычу», как его тогда звали среди художников. И то сказать, в продолжение сорока лет я со своей стороны ничего не сделал, чтобы заслужить расположение этого богатого самодура, любившего, чтобы перед ним, перед его «боткинскими» миллионами художники и нехудожники преклонялись[175]. Этого он не дождался от меня, хотя и обошлось мне это дорого. Нас не примирила и революция, сделавшая обоих нищими.

То, что Павел Михайлович не заинтересовался картиной, заставило меня сильно призадуматься. Я повез ее в Петербург без уверенности в успехе, и, действительно, осмотрев новый состав выставки, а также помещение для нее, я недолго колебался и, не взяв ящика с картиной с вокзала, отправил его обратно в Москву[176]. Сам я остался до открытия выставки, после чего проехал в Киев, где меня ждали, где пора было начинать писать образа для иконостасов.

Там, в соборе, работы кипели. Был поставлен главный иконостас по рисункам Прахова. Иконостас был мраморный с мозаическим фризом. Васнецов кончал потолок на тему: «Единородный Сыне и Слове Божий». Божественная трагедия — Бог Отец отдает Сына Своего на распятие за грехи мира. Силы небесные в смятении — стало солнце, померкли звезды…

Наступила весна. Мы с Васнецовым любили ходить на Владимирскую горку и там, сидя на скамеечке у памятника, мечтали о многом… Уносились мысленно в Москву, где у него оставалась семья. Перед нами расстилалось Заднепровье, заливные луга, там, за далекими холмами нам чудилась родимая Москва. Как тогда мы любили ее!

Как-то придя в собор, я нашел письмо из Петербурга от полковника Дмитрия Яковлевича Дашкова. Он от лица офицеров Кавалергардского полка предлагал мне написать два образа для мозаики, кои кавалергарды приносят в дар храму Воскресения на крови. Я должен был сделать предварительно эскизы на темы «Св. благоверный князь Александр Невский» и «Воскресение

Христово».

Заказ я принял, взялся за эскизы. Так прошло лето. Образа иконостаса писались, перемежаясь эскизами для кавалергардов.

Прошла и осень, и я вновь в Уфе. Пишу на новом холсте «Сергия с медведем», несколько меньшего размера[177]. Пишу осторожней, спокойней, вдумчивей. Теперь у меня в руках хороший этюд для головы Сергия[178]. Мне легче дается общий тон картины. Работа идет без толчков и разочарований. Обстановка работы все такая же. Хорошая мастерская в нашем доме, я окружен заботливостью, около меня моя Олюшка — все прекрасно.

Вот и Рождество. Опять затеяли елку, живые картины. Теперь я ставлю свое «Благовещение». Опять гости, опять хлопоты, возня с декорациями. Успех еще больший, чем прошлогодний.

Наступает Новый 1893 год. На Святках ряженые. Стоят крещенские морозы.

Время летит. Картина готова. Пора собираться в Москву. Выставка в этом году в начале февраля.

Снова меня собрали в путь. Проводы дома, на вокзале. Поехал, замелькали среди сугробов Юматовы, Белебей-Аксаковы, Абдулины, Самара и прочие… Зима студеная, снега — горы. Где-то долго стояли, за ночь занесло путь, нас откапывают. Много согнали народа, татар и русских. Перебрались через Волгу у Батраков. Вот и конец родному краю. Все, что по ту сторону Волги — наше родное Заволжье. То, что по сю сторону — наше, да не такое, московское… А вот и сама Москва. Чем-то она порадует в этом году?

Останавливаюсь у Ильинских ворот, в старых Еремеевских номерах. Большой номер выходит на площадь. Рама готова, картина вставлена, страда началась…

Что ни день, то посетители. По вечерам я то там, то тут. Отношение ко мне москвичей прекрасное. Третьяков, слышно, нездоров, ни у кого еще не был. Интересные вещи, у Сурикова — «Исцеление слепого», у Сергея Коровина — «Сходка», Левитан написал «Владимирку», Серов — отличный портрет г<оспо>жи Мориц.

Моя картина в раме переменилась к лучшему, выиграла. Показалась мне стройной, тонкой, голова Сергия имеет выражение, но стали ясны и недочеты, однако легко поправимые.

В<иктор> Васнецов картину не видал: он уехал в Киев. Был Поленов, нашел ее интересней прошлогодней. Пришли Суриков, С<ергей> Коровин. Оба наговорили много приятного, нашли, что картина очень «русская», хорошо рисованная. Обоим нравится лицо, выражение.

Суриков советует назвать картину не «Юность преп. Сергия», а словами молитвы «Слава в вышних Богу и на земли мир…» Картина с таким названием, якобы, дает простор мысли, чувству, освобождая ее от придирок, от возможных исторических неточностей. Мысль эта мне нравится. В Питере посмотрим…

День ото дня у меня бывает все больше народа: перебывали все. Был Серов, Левитан, А. Васнецов, Светославский. Не был только Остроухов. Нигде не показывается и П. М. Третьяков.

Был на вечере в память Федотова в Обществе любителей художеств. Там Лев Михайлович Жемчужников читал свои воспоминания о Федотове, читал и сам плакал. Жемчужников — и слезы! Как это плохо вяжется. Особенно мы, бывшие ученики Училища живописи, не привыкли к слезам Льва Михайловича. Помним, как, бывало, хаживали к нему на квартиру за наградными «пятерками», что присуждали нам за эскизы. Лев Михайлович дальше передней никого из нас не пускал, и отношение к нам было не лучше, чем к крепостным мальчишкам, а тут вдруг слезы…

Была как-то Елизавета Григорьевна Мамонтова. Она — судья строгий — нашла, что «Юность преп. Сергия» лучшая картина из всех, мною написанных. По ее словам, в этом сходятся все, ее видевшие. Слава Богу. Люди спокойные, как Елизавета Григорьевна, находят степень ее превосходства над «Варфоломеем» *в два раза*, и чем люди экспансивнее, одарены большей фантазией, тем степень эта возрастает.

Касаткин же и тогда уже был «Касаткиным», заявил, что, хотя вещь ему и нравится, но он, как член Товарищества, принимая во внимание необычайность ее, еще не знает, как поступить при баллотировке. Положив мне «белого», он тем самым как бы признает за мной право писать в таком направлении, а «нравственно» ли это направление, он еще не решил, и т. д., и т. д …[179]

В Москве прошел слух, что Ге тоже что-то везет на выставку, что она предполагается быть боевой. В конце января надо было ехать в Питер. И я выехал туда, полный надежд и опасений.

В то время Петербург был переполнен, и я, после долгих скитаний с ящиком, пристроился, наконец, где-то у Чернышева моста. Переоделся и пустился на выставку в Академию наук.

Нанимая извозчика, чтобы ехать с картиной туда, случайно заметил, что номер на санках был 313. Плохо дело! И, хотя санки тотчас переменил, но в сознание закралась тревога, что-то будет? Какова-то судьба картины?

Оставив ящик в Академии наук, бегло осмотрев то, что было уже прислано, я поехал навестить приятелей в Академии

художеств. Беклемишев только что кончил тогда свою «Варвару»[180]. День пролетел быстро. Вечер провел у Ярошенок.

Прошло дня два во всяческой пред выставочной суете. Наконец, поставили и моего «Сергия». Картина на месте, в раме, выиграла. Перед ней толпа. Смотрят, судят. Многие смущены, некоторые восторженно хвалят, вопрошают. Ендогуров с сожалением заявляет, — почему он не Третьяков, что после моей картины «всё остальное не имеет цены». Тут же вслух говорят, что если картина будет принята, то мне «достанется», что она неизмеримо выше «Варфоломея».

Я вижу, что мне ко всему надо быть готовым. «Генералы» наши еще ее не видали. Кроме моей, будет еще большая картина у Рябушкина, ее ждут[181]. Я побаиваюсь талантливого приятеля. Нет еще картины Те, — он тоже может быть неожиданным и опасным.

На другой день атмосфера около картины сильно изменилась. «Генералы» были, видели, осудили. «Робкие души» из молодежи поддакивали. Шишкин, хорошо ко мне настроенный, долго смотрел на «Сергия», развел руками, заявил: «Ничего не понимаю…»

Сопоставляли картину мою и Сергея Коровина. На моем «Сергии» — мир, на Коровинской «Сходке» — мiр…[182] Кто победит?

Чем ближе дело подходило к жюри, к товарищескому суду, тем становилось ясней, что без боя моя картина не пройдет. Признавая ее интересной, одни, как Мясоедов, говорили, что она им не нравится, другие — что не понимают ее.

Приехал Ге, без картины. Говорят, что он нашел мою картину спорной, что якобы я «забил всем гвоздь». Посмотрим, что принесет завтрашний судный день?

Вечером у Ярошенок завязался спор. На меня нападали сам Ярошенко, также Мясоедов, Собко, Максимов. Я мужественно защищался и защищал своих молодых собратьев.

Наконец состоялся суд передвижнического синедриона: из ста сорока девяти картин принято сорок. «Сергий» прошел лишь одним голосом. Рябушкин не принят вовсе.

Накануне и в день жюри были жаркие схватки молодежи из-за моей картины с Ге, Мясоедовым и другими старцами. На заседании же жюри Ге яростно нападал на присутствующего частным образом там графа И. И. Толстого, доказывая весь вред, который может быть, если моя картина будет принята. Однако Толстой, поддержанный горячим заступничеством за меня Куинджи, одержал верх, и картина была принята.

Очень немногими голосами прошли Серов, С. Коровин и

другие молодые москвичи.

Узнав о такой обстановке приема на выставку моего «Сергия», я публично высказал Товариществу свою обиду. Меня старались уверить, что «Сергия» судили особым судом, что кому-де много дано, с того и взыщется много. Что никто не сомневался в моем большом даровании, что в этом году только и было толков и работы баллотирующим, что обо мне и со мной. Некоторые уверяли, что перед заседанием не спали две ночи, обсуждая положение и не желая быть несправедливыми ко мне. Говорили, что когда-то и с Куинджи было то же самое и прочее, и прочее, и прочее…

Потом я узнал, что на жюри, кроме Куинджи, защищавшего «Сергия» с пеной у рта, также и Суриков сцепился с Ге, и тот старался уверить Сурикова, что против личности моей он ничего не имеет, что тут вопрос принципиальный, позабыв совсем, что, целуя меня за «Варфоломея» со щеки на щеку, он не считал его вредным и принципиально не допустимым на выставку.

Репин находил «Сергия» картиной *творческой,* но не одобрял его за «символичность», причисляя его к тогда новому, так называемому «декадентскому», упадочному течению. Он горячо протестовал против того, за что ратовал Суриков, чтобы назвать картину словами молитвы Исаака Сирина «Слава в вышних Богу и на земли мир…», говоря, что всё, что есть в молитве, уже есть в самой картине…

Третьяков еще не приезжал, и я, усталый от перенесенных волнений, пал духом. К счастью, такой упадок духа не был у меня продолжительным.

Наконец, появился и Павел Михайлович Третьяков с неотступно за ним теперь следовавшим Остроуховым.

Картина поставлена на выставке очень хорошо, почти отдельно, над входной лестницей. Отход был большой, аршин на восемь-девять. Публика на нее смотрела с верхней площадки лестницы. Около нее поместился портрет работы Ге и пейзаж Аполлинария Васнецова[183].

В ближайшую субботу был Государь Александр III. Он внимательно смотрел картину, спросил, того ли это Нестерова, которого было «Видение отрока Варфоломея», и где та картина. Царская фамилия купила мало и очень слабые вещи. Сам Государь не взял ничего, был сдержанней, менее любезен, чем обычно. Приписывали это тому, что передвижники упорно не хотели идти в Академию[184].

Третьяков, оставаясь со мной отменно любезным, картину не взял. Утешаюсь, что огромное большинство молодежи на моей стороне.

После открытия, в следующее после посещения Государем выставки воскресенье, был обычный обед у Донона.

Прощаясь со своим «Сергием», я простился и с Петербургом. На этот раз я ехал в Киев через Москву. Ехал в компании молодежи. В нашей компании, в третьем классе, пожелал ехать и Поленов, взявший билет первого класса. Ехали шумно, весело, было много споров, разговоров.

Между прочим, Поленов передал мне свой разговор с Государем, которого он сопровождал на выставке и все время был рядом с ним. Когда Государь остановился перед моей картиной вторично, перед тем, как спуститься с лестницы и уехать, он сказал: «Это в известном архаическом духе, но это очень интересно». Говорил о Пювис де Шаванне, сравнивая мою картину с его вещами, расспрашивал о «Варфоломее», и Поленов уже думал, что Государь оставит картину за собой. Он прочел надпись, спросил, надежно ли картина укреплена и, милостиво простившись с передвижниками, уехал.

Это было последнее посещение Государем Александром III Передвижной выставки.

Картину газеты замалчивали…

Владимирский собор: образа верхних иконостасов

В Москве я пробыл недолго. Провел время оживленно. Поленов подарил мне прекрасный палестинский этюд. П. М. Третьяков позже не раз выражал желание купить этот этюд у меня. Тогда же Левитан подарил мне свой этюд Волги. Светославский и Аполлинарий тоже дали мне по хорошему этюду. Моя коллекция росла быстро[185].

Надо было поспешать в Киев. Там давно меня ждали образа верхних иконостасов. Их надо было кончать. В Киеве ждал меня Васнецов. Расспросам о Петербурге, о выставке не было конца.

В Киеве уже было известно, какой шум вызвала моя картина и что она понравилась Государю.

Прахов снова уехал в Питер. Там очень, якобы, торопили с окончанием Собора, пугая, что дальше 94-го года никаких отсрочек не дадут.

Мы ходили слушать в Софийский собор Гришу. Он пел «покаянный стих», и как он его пел!

Вечером зашел к нам Павел Осипович Ковалевский. Баталист Ковалевский, переживший свою славу, жил сейчас в Киеве.

Итак Ковалевский кончал Академию с Семирадским. Вместе с ним был послан в Рим. Там, в Риме, эти два столь противоположные художника прожили вместе четыре года пенсионерства.

Из русских художников, быть может, никто лучше Ковалевского не знал Семирадского, талантливого поляка, нашумевшего на всю Европу своей картиной «Светочи христианства»[186]. Никто не знал, как работал автор «Светочей» в Риме, с каким усердием он собирал всюду и везде материал к своей картине. На вечерних прогулках по Пинчо с Ковалевским Семирадский неожиданно останавливался, раскрывал небольшую походную шкатулку, бросал на какой-нибудь осколок старого мрамора цветной лоскуток шелка или ставил металлическую безделушку и заносил в свой этюдник, наблюдая, как вечерний свет падает на предметы. Он был тонким наблюдателем красочных эффектов и великим тружеником. Этот гордый, замкнутый человек, с огромным характером и умный, не полагался только на свой талант, работал в Риме, не покладая рук…

Ковалевский блестяще кончал Академию, написав программу по батальному классу профессора Виллевальде. Из Рима он

прислал на звание академика или профессора картину «Помпейские раскопки»[187]. В этой «батальной» картине не было ничего батального, как не было ничего воинственного и в самом милейшем Павле Осиповиче.

Дело было сделано, и Павел Осипович, пожив в Италии, проехал в Париж, где своими этюдами и рисунками лошадей привел в восторг самого Мейсонье. И тот говорил, что после него, Мейсонье, никто не знает так лошади, как наш Ковалевский. Действительно, знание лошади и любовь к ней у Ковалевского были исключительные.

Вернувшись в Россию и неудачно женившись, Павел Осипович начал работать. Однако скоро началась русско-турецкая война, и он должен был, в качестве официального баталиста, ехать в Болгарию, прикомандированный к штабу Великого Князя Владимира Александровича, тогдашнего президента Академии художеств. Он почти все время оставался при штабе, или, как острили его друзья, в обозе, где-то там, куда ни одна пуля ни разу не залетела. Он, совершенно мирный человек в душе, ненавидел и войну, и походы, и все то, что с этим сопряжено: ненавидел все то, что так страстно любил другой — и уже истинный баталист — Василий Васильевич Верещагин, позднее положивший жизнь свою на «Петропавловске».

Павел же Осипович, не рискуя ничем, наблюдал из своего обоза, как наши донцы таскали кур по болгарским деревням, охотясь за ними как за страшными башибузуками. Павел Осипович наблюдал и писал такие «баталии» охотно, соединяя приятное с полезным. Однако такое отношение к подвигам Российской победоносной армии не могло нравиться его Августейшему начальнику, и Павлу Осиповичу дали это понять. Он попытался одним глазом взглянуть, что там в авангарде делается. Зрелище это ему не понравилось, и он снова перенес свои наблюдения в любезный ему арьергард, тонко наблюдая его жизнь. Нерасположение к нему росло, и, вместо того, чтобы сделать блестящую карьеру художника-баталиста, он навсегда попал в разряд бракованных; милости высокого начальства его миновали навсегда.

Ряд картин, якобы батальных, написанных им после войны, не был ничем примечателен. И Павел Осипович, как умный и чуткий человек, это понял и перешел к «жанру», вводя в него столь любимых им лошадей: его «На ярмарку» и «Архиерей на ревизии» — превосходные вещи, украшающие Третьяковскую галерею.

И все же, надо сказать, что автор «Помпейских раскопок» не оправдал надежд, кои на него возлагали Академия и общество. Я

его застал в Киеве усталым, разочарованным в своем таланте и жизни, сложившейся для него крайне неудачно. Он был уже не молод, лет пятидесяти, с проседью, носил кавалерийские усы, как полагалось в старые времена баталисту, как носил их его учитель Виллевальде, а до него Зауервейд.

Как-то он зашел в собор к Васнецову. Тот был на лесах, не очень высоко от полу — сажени на две, не больше. Поздоровались. Я был тут же, Васнецов познакомил нас. Время было горячее, не до гостей. И вот, помню, Виктор Михайлович с лесов говорит гостю: «Ну что, старик (они были приятели на „ты“), полезай ко мне сюда, поговорим».

Ковалевский посмотрел на леса, на шаткую лесенку, ведущую кверху, подумал, покачал головой, потрогал особым жестом свои усы, поправил привычно воротник рубашки, которая, как бы жала ему шею, еще подумал и сказал: «Нет, я постою здесь, я тебе мешать не буду».

И так простоял, неустанно говоря, что-то вспоминая о прошлом, и ушел, не решившись подняться на леса…

Добрый был человек Павел Осипович! Хороший он был человек; умница, наблюдательный, но такой незадачливый…

Работал он тогда мало, больше мечтая о том, что он хотел бы написать. Самой заветной его мечтой было написать цикл картин или хотя бы нарисовать ряд иллюстраций к «Войне и миру», которую он безмерно любил. Обладая огромной памятью, некоторые места из романа он знал наизусть. Любил разговор сдабривать целыми цитатами Пьера Безухова и других персонажей романа. Отлично знал Кутузова. Все это для него были живые, еще действующие люди, которые то и дело появлялись, отвечали на вопросы, участвовали в общем разговоре и т. д.

Милый был человек Павел Осипович, но подчас надоедливый… Бывало, умаешься, устанешь за день на лесах. Вечер придет, думаешь пораньше, часов в десять, лечь спать. Не тут-то было: часу в десятом стук-стук в дверь. «Войдите», — и Павел Осипович, весь мокрый, в сырых, грязных сапогах (он не любил калош). Так, бывало, сердце и упадет. Знаешь, что засидится до часу, до двух, разговаривая на любимые темы, вспоминая Рим. Глаза слипаются, клюешь носом, уж и не отвечаешь на вопросы, а он все говорит, все поглаживает свои кавалерийские усы. Вот пробило и двенадцать часов, а Павел Осипович и не думает уходить.

В таких случаях, когда Павел Осипович приходил к Васнецову и так засиживался, тот, на правах старого друга, бывало, скажет, досидев до одиннадцати, много до двенадцати часов: «Ну, старик,

иди-ка с Богом! Вот я тебе поднесу „посошок“ на дорогу, да и иди. Завтра вставать надо рано». После чего Павел Осипович неохотно вставал, выпивал «посошок» винца и, поговорив в прихожей еще минут десять-пятнадцать, уходил… к кому-нибудь из нас, более молодых.

И бывало так: уж ляжешь и сапоги выставишь за дверь, и первый сон тебя охватит, как вдруг слышишь: стучат. Долго не откликаешься, в надежде, что гость постучит, постучит да и уйдет. Да нет, не таков был наш добрейший Павел Осипович. Он добьется, что отворишь ему, впустишь осенью, промокшего, наскоро оденешься — и прощай, сон! Частенько и так бывало, что за долгую ночь он обойдет многих, многие в эту ночь помянут его лихом.

Кто-кто не знал горемыку в Киеве… Знали его и любили по-своему и девицы на Крещатике, такие же, подчас, горемыки, как и он. Они сердцем чуяли в нем собрата по несчастью. И не раз поздней осенью видели его где-нибудь на углу Крещатика и Фундуклеевской, горячо разговаривающего с окружившими его девицами… Его истинно доброе сердце откликалось всюду и везде и, как Эолова арфа, отражало в себе тысячи звуков земли…

Да! Любили Павла Осиповича и тут, на Крещатике, и тут он умел задеть лучшие чувства, умел посочувствовать, расспросить о насущном, никогда не осудить, пожалеть, утешить. И здесь знали доброго старика и, увидав его, прозябшие зимой, промокшие осенью, усталые, доверчиво делились с ним и горем, и радостями своими, а он никогда их не осуждал, покрывал все своей безмерной любовью.

Прекрасный человек был неудачливый баталист П. О. Ковалевский.

А кто, бывало, лучше Павла Осиповича замечал ошибки, недочеты в рисунке, в композиции, кто так мягко, не задевая авторского самолюбия, укажет, с величайшей осторожностью выведет из тупика, — кто, как не он, не наш милый Павел Осипович!

О! далеко не всегда приход его был нежелателен… Целыми вечерами, бывало, ждешь его, не начинаешь писать образ, без того, чтобы не посмотрел его в угле Павел Осипович. Деликатно он направит уставшую руку на верный путь, с величайшей осторожностью минуя то, что трогать было нельзя или опасно. Он был искуснейший хирург, костоправ. После него всегда можно было с уверенностью начинать писать.

Я лично только ему обязан тем, что в образах моих не было тех элементарных ошибок, которые были так возможны при спешных массовых работах. Я знаю, как часто и Васнецов

прибегал к Ковалевскому за советами. Особенно много он помог Виктору Михайловичу в «Богатырях». Там, где кони имели такое ответственное место, Павел Осипович был никем не заменим.

Конец своей карьеры и своей жизни П. О. Ковалевский отдал любимой Академии. По предложению В. М. Васнецова он был приглашен профессором того батального класса, в котором когда-то так блестяще, с такими надеждами окончил Императорскую Академию художеств. Ковалевский был любимым профессором батального класса и умер, оставив по себе прекрасную память как учитель и как добрый, прекрасный человек.

С каждым днем я более и более чувствовал, что, втягиваясь в соборную работу и обстановку, дальше и дальше отхожу от недавно пережитых петербургских впечатлений. Все волнения, радостные и тревожные, остаются где-то позади…

И теперь лишь изредка те или иные вести возвращали меня к передвижной, к моему «Сергию»… То пришлют какую-нибудь газетную, журнальную статью, то какое-нибудь постановление Товарищества, и это выводило меня ненадолго из делового равновесия.

Так, помню, раз в большой статье «Московских ведомостей», написанной главным цензором Михаилом Петровичем Соловьевым, человеком образованным и настроенным ко мне по «Варфоломею» благожелательно, говорилось, что во второй «Сергиевой» картине Нестерова, написанной на тему «Прекрасная мать пустыня», есть археологические неточности в костюме, часовне и в образе самого Преподобного Сергия, что составляет-де крупный недостаток картины[188]. Соловьев не принял во внимание, что задача картины и не была историко-археологической.

Итак, время шло. Я нередко бывал в концертах с интересной программой Баха, Бетховена. В ту пору концертами дирижировал талантливый Виноградский — директор Киевской консерватории, совмещавший одно свое директорство с другим — банковским, где он будто бы был столь же даровитым дирижером, как и в симфонических концертах.

Иконостасы мои писались, они вчерне были уже готовы. Однажды я показал Васнецову «Бориса и Глеба» и совершенно неожиданно получил похвалы, выходящие из обычных васнецовских похвал того времени. Васнецов нашел, что оба образа производят исключительное впечатление, что разве только «Пустынник» стоит выше их, что это мои лучшие вещи в Соборе, и просил меня запомнить, что, якобы, эти два образа будут шедеврами соборными, что в них много трагического, при обшей

элегичности, что здесь больше, чем когда-либо, приходится пожалеть о недостатках у меня строгой формы, что мне необходимо учиться отдельно рисовать, а что того, что есть у меня, ни ученьем, ни деньгами не купишь и т. д. и т. д.

И я такую редкую похвалу Виктора Михайловича, помнится, «положил в особый ящик» от обычных его похвал.

Как-то весной все мы, работающие в Соборе, от художников до мраморщиков, получили от Генерал-губернатора графа Игнатьева официальное уведомление, что все работы должны быть кончены к Святой неделе 1894 года[189], что никаких отсрочек больше не будет.

Многие сильно приуныли, особенно набравшие много дела — Котарбинский и мраморщик-итальянец Сальвиати. Да, с нами перестали шутить. Это чувствуется во всем. Такова воля Государя!..

Васнецов уехал в Москву на Пасхальные праздники. В Киев пришла печальная весть: убит талантливый и энергичный Московский городской голова Алексеев[190]. Его смерть — событие не только Московское, но и Всероссийское. Алексеев, как и Скобелев тех дней, как Скопин-Шуйский времен минувших, как множество других славных русских имен, — сошел в могилу насильственной смертью.

И, надо сказать, Россия — Москва, если не умела беречь их живыми, то хоронить с почестями была мастерица.

К тому времени надо отнести начало всяческих неудач Прахова по собору. Интриги в комиссии, с одной стороны, и напористость его — с другой, создали ему много врагов, как в Киеве, так и в Петербурге. Высокий мраморный киворий, или надпрестольную сень, исполненную по рисунку Прахова, дорого стоившую и уже поставленную в алтаре, под предлогом, что она заслоняет собой Евхаристию и нижнюю часть васнецовской «Богоматери», в Петербурге решили из алтаря убрать и перенести в крестильню, где это огромное и красивое сооружение совершенно пропало.

Такой успех киевских врагов сильно ударил по самолюбию нашего Адриана Викторовича. Он вернулся из Питера лишь к Пасхе. Со мной по-прежнему был мил. Между прочим передал, что Мясоедов и компания распускают слух, что будто бы Государь, увидев моего «Сергия», спросил: «Кто это? Франциск Ассизский[191]?» Ему ответили: «Нет! Преподобный Сергий!» Но меня теперь этим было не так-то легко смутить.

Тогда же нам — соборянам — стало известно, что Прахов сумел внушить мысль генералу Гурко, варшавскому генерал-губернатору, а тот подал мысль Государю, — создать в Варшаве

грандиозный православный Собор. Эта мысль была принята, и на постройку собора правительством ассигнован миллион рублей, и была открыта подписка по Империи.

По мысли Прахова, собор должен был быть построен в древнемосковском стиле (это в Варшаве-то!) и расписан русскими художниками. И Адриану Викторовичу, в числе пяти лучших архитекторов, было предложено составить проект собора. Гурко желал видеть собор сооруженным при своей жизни. Прахов нам проговорился, что в качестве русских художников для будущего Варшавского собора он имеет в виду Васнецова и меня.

Планы его сбылись частично, Собор действительно был построен в старомосковском стиле, но не по праховскому проекту (неплохому), а по проекту Бенуа. Собор расписывали русские художники, среди них Васнецов был на первом месте.

Было и мне предложено принять в нем участие, но я, занятый росписью дворцовой церкви, построенной Цесаревичем Георгием Александровичем в Абастумане, имел полное основание уклониться от варшавского заказа, о чем никогда не сожалел. А когда, после несчастной войны, поляки решили срыть собор до основания, стало очевидно, что инстинкт меня тогда не обманул[192].

В апреле была снята верхняя часть лесов, и мы увидели собор в его еще неполном великолепии.

Тогда приезжал к больной Орловой-Давыдовой отец Иоанн Кронштадтский[193]. Он был в соборе с проф<ессором> Сикорским. Нас, — художников, там в то время не было. Отец Иоанн оставался в соборе лишь несколько минут. Весь Киев в дни его пребывания был на ногах, — всем хотелось его повидать.

Из Москвы вернулись Васнецовы. Соборяне встретили их на вокзале. Васнецовы привезли новые вести о моем «Сергии». В Москве он имел тот же успех, как и в Питере. О нем много говорили, горячо хвалили, не менее яростно бранили. Были охотники приобрести «Сергия», но за бесценок. Морозов — один из таких желающих[194].

Не раз Васнецов, Прахов, Баумгартен (председатель нашей комиссии — Киевский вице-губернатор) намекали мне на то, чтобы я взялся исполнить внизу иконостасы жертвенника и диаконника. Я не решался связывать себя новыми обязательствами и все же, в конце концов, согласился. Тогда обратились ко мне официально.

По условию, за восемь больших образов (размера образов главного иконостаса) мне предлагалось 4000 рублей, причем рекомендовалась новая заграничная поездка в Турцию, Грецию и Италию для ознакомления с древними византийскими мозаиками

и живописью катакомб. Это было интересно, тем более что в первую свою поездку за границу мозаики я почти просмотрел, прошел мимо. Не до того мне было тогда.

Понемногу я начал готовиться к поездке. Прахов составил план поездки — на Константинополь, Афины, через Патрос в Бриндизи, далее в Палермо, Монреаль, Неаполь, Рим, Равенну, Пизу, Перуджию, Флоренцию, Венецию, Вену и домой, в Киев… Мне тридцать один год, я полон планов, энергия моя не знает границ… Теперь до отъезда моего за границу было необходимо закончить верхние иконостасы и сдать их комиссии.

Называя в начале своего повествования о Владимирском соборе семью Прахова «эксцентрической», я не показал до сих пор почти никаких признаков этой семейной особенности. Между тем такая слава за Праховыми была всеобщая и не «облыжная». Попробую показать те признаки или лучше факты, которые оправдали бы такую славу.

Всякий, или почти всякий, вступивший за черту праховской оседлости, должен был крепко помнить, что его здесь, за этой чертой, не спасет от неожиданных проявлений этой эксцентричности «ни чин, ни звание, ни сан»… Всякий, от простого смертного до особ высокопоставленных, не мог быть уверенным, что однажды, когда такая особа, или не особа, менее всего ожидает, например во время вечернего чая, при более или менее многочисленном обществе, мадам не скажет ему «дурака», или важный гость из Петербурга, профессор со всероссийским именем не заслужит «болвана», или кто-нибудь из местных обывателей, тоже за чаем, не почувствует, что ему за воротник рубашки налили молодые Праховы холодной воды.

И нужно было видеть физиономии этих «вновь посвящаемых», их полную растерянность, хотя в редких случаях гость не бывал предупреждаем о таких «возможностях», готовился к ним, и часто, убаюканный за вечер, получал то, что ему сулили, когда, казалось, опасность уже миновала. Простившись, провожаемый радушной семьей, шел в переднюю, мысленно упрекая тех, кто его запугивал, считая, что он, благодаря каким-то своим качествам или заслугам, был счастливым исключением, — в этот-то момент и оказывалось, что пропала его шляпа. Ее искали все, и гость, и вся эта милая, такая радушная семья. Гость терял терпение, догадываясь, что поспешил со своей самоуверенностью. В этот момент находилась его злополучная шляпа. Она висела, прикрепленная бечевкой к потолку передней.

«Сюрприз» готовился в то время, когда гость ораторствовал за чайным столом, когда ему казалось, что он — центр внимания. Готовился сюрприз резвыми детьми Праховых — Кокой и толстой

Олей, иногда при участии «Барона» — Сведомского.

Такие проделки варьировались без конца, в худшую или лучшую сторону. Иногда, вместо пропавшей шляпы оказывалось, что калоши важного гостя прирастали к полу, а он, увлеченный прощальной беседой, не замечал что… они прибиты к полу гвоздиками. Много мог самоуверенный человек получить в этом доме неожиданностей…

За редкими исключениями, проделки сходили детям с рук благополучно. «Готовьтесь ко всему — здесь все возможно» — эти слова должны были бы сопутствовать входящему в квартиру Праховых.

Чем это объяснить — трудно сказать: дети были во всех случаях, кроме описанных, очень воспитаны (старшая Леля в шалостях никогда участия не принимала, но иногда о затее знала и… молчала).

Такая распущенность могла быть объяснима тем, что Э. Л. Прахова была очень истерична, избалована, с молодости была окружена средой артистов, часто склонных ко всевозможным эксцентричным выходкам, инсценировкам. Как знать? Истеричность, нервность Эмилии Львовны проявлялась иногда в формах чрезвычайных и неожиданных.

Бывало не раз, что «сам», как мы — соборяне звали Адриана Викторовича, увлекшись больше меры какой-нибудь очередной красавицей, впадал в немилость Эмилии Львовны. После бурного разговора «на тему дня» Эмилия Львовна шумно покидала дом. Наступала общая тревога. Ее искали по Киеву, к вечеру где-нибудь находили. Тогда она запиралась в комнате, где стоял рояль. Наступали томительные часы и даже дни ее уединения. Иногда после долгого молчания начинали раздаваться величественные звуки Баха, Шопена, Бетховена. Звуки становились все более и более насыщенными чувством, владевшим оскорбленной душой Эмилии Львовны. Такая музыка раздавалась иногда часами.

Талант этой незаурядной женщины сиял. Игра ее была неотразимо прекрасна. Мы — соборяне, попадавшие в такие дни к Праховым случайно, часами сидели, слушали, как рядом, за дверью, скорбела, каялась, неслась ввысь в творениях Баха, Бетховена душа Эмилии Львовны. Эта истеричная женщина казалась нам тогда иной, прекрасной, мы забывали то, что часто так мало нам нравилось в ней. Сочетание истинного горя, глубоко взволнованного чувства с гениальной музыкой творили тогда чудеса, и мы были свидетелями их.

Когда горе было выстрадано, изжито, Эмилия Львовна выходила из своего затвора, и жизнь вступала в свои обычные

нормы. Все шло так, как будто ничего не случилось…

Чтобы еще ярче осветить нашего старого «Эллина» с этой стороны, чтобы показать его многогранность, его чары, его разнообразные свойства, емкость его природы, приведу случай, рассказанный когда-то мне в Петербурге его приятелем.

Как известно, К. П. Победоносцев свою долгую жизнь, как Диоген, «искал человека». Трудная это задача, что говорить. Однако Константин Петрович веры не терял, искал «человека» упорно, настойчиво. Однажды его пригласили отобедать к Светлейшему Князю Имеретинскому, только что назначенному Варшавским генерал-губернатором и жившему тогда в своем особняке по Марсову Полю. Приглашено было отборное общество, был приглашен и гостивший в те дни в Петербурге А. В. Прахов. Съехались званые гости. Попросили к столу.

Против Константина Петровича за столом оказался наш Адриан Викторович. Завязалась беседа — беседа, в которой скоро центром внимания оказались знаменитый обер-прокурор и киевский профессор по истории искусств. Последний был в прекрасном настроении, что называется, в ударе.

Отвечая на поставленные Константином Петровичем «жгучие вопросы», Адриан Викторович с блеском, ярко и убедительно развернул картину «возможностей». Государственный ум здесь шел рука об руку с творческим талантом, огромной ученостью, а главное то, что слышал сейчас Победоносцев, все это дышало пламенной верой, той верой, которая горами двигает и что так редко выпадало видеть вокруг себя верующему *«в свою правду»* Константину Петровичу. Всё, что говорил, что вещал сейчас киевский профессор так совпало с этой «своей правдой», что Константин Петрович слушал, как завороженный, и, когда кончился обед, он, довольный, благодарил хозяев за доставленный ему случай счастливого знакомства.

Выходя из дома с каким-то своим старым знакомым, ему радостно поведал, что он, — Константин Петрович, кажется, давно искомого «человека» нашел, на что его знакомый скептически посоветовал встретиться с киевским профессором еще.

Такое свидание не замедлило состояться, у кого — не помню. Опять было приглашено отборное общество. Однако на этот раз были и дамы, — очаровательные дамы, конечно, высшего общества. Снова пригласили к столу, и опять против К. П. Победоносцева оказался наш А. В. Прахов. Но на этот раз справа от него, его соседкой была одна из очаровательных дам того типа, что Адриан Викторович звал кратко «пышка». Был тут же за столом и скептический друг Победоносцева.

Завязалась беседа на тему опять значительную, боевую. Вызов был брошен, Константин Петрович ждал, что обретенный им «человек» снова обнаружит себя, снова польются пламенные, такие убежденные речи, мысли верующего в «великую правду человека»… Не тут-то было. «Человеку» было не до того. Он весь, со всей своей верой, со всем красноречием сейчас был занят «пышкой»…

Знаменитому умнице Победоносцеву не нужно было много времени, чтобы все постичь, все оценить и снова почувствовать около себя неизбежного Владимира Карловича Саблера[195]…

Однако возвращаюсь к своим занятиям в Соборе. В начале июня я окончил и сдал образа обоих верхних иконостасов. Время моего отъезда приближалось.

Из газет мы узнали, что Государь Александр III[196] был в Москве и посетил Третьяковскую галерею. Наследник, будущий злополучный Император Николай II, бывал, как и другие члены Царской семьи, в галерее раньше.

Тогда говорили, что Государь очень ценил деятельность П. М. Третьякова, такого молчаливого, не любившего бросать слов на ветер, как и он сам. Говорили, что Государь перед тем вызывал Павла Михайловича в Петербург и, усадив его у себя в кабинете, оставаясь сам стоя, говорил с ним о нуждах Русского искусства, искренне его любя и уже тогда задумав создать особый «Русский музей» в северной столице, который и был осуществлен после его кончины[197].

В эти же дни, помнится, Владимирский собор посетил Великий Князь Петр Николаевич. Нас, художников, заранее об этом предупредили. Собор принял парадный вид, мои образа вставили в иконостасы, также были временно поставлены и Царские врата с моими образами двух «Благовещений» и «Евангелистов».

Приехал Великий Князь — молодой человек высокого роста, немецкого типа. Васнецов с ним был знаком раньше. Нас — меня, Сведомского и Котарбинского — Прахов представил в соборе.

Великий Князь по специальности был военный инженер и приватно занимался архитектурой. По его проекту был построен так называемый «Княгинин монастырь» в Киеве, где жила и скончалась мать Великого Князя. Архитектура его не была талантлива. Держал он себя у нас в Соборе просто, искренне восхищаясь работами Васнецова. Понравились ему и мои образа иконостасов, особенно Борис, Ольга и Михаил. И того больше — запрестольное «Рождество». Слова — «прелестно, удивительно» — говорили, что мои работы произвели на него сильное

впечатление. Прахов, подхватив слова гостя, заметил, что «моего друга Михаила Васильевича сравнивают теперь с Пювис де Шаваном. Конечно, как вы видите, такое сравнение ошибочно»…

Наслушавшись любезностей, мы распростились с гостем, с тем, чтобы встретиться с ним в квартире Прахова. Понимал ли что в живописи Великий Князь или нет — не знаю. Одно было ясно тогда для меня, что соборные фонды мои должны были подняться, хотя от похвал этих ни талант мой не вырастет, ни писать, ни рисовать лучше я не стану…

На другой день после посещения Великим Князем собора, он был и пил чай у Праховых. Васнецов и я были приглашены, Сведомских и Котарбинского не было.

Держал себя Великий Князь еще проще и любезнее, чем накануне. Вспоминал виденное вчера, и вообще весь разговор вертелся около Собора и нас, там работающих. Он расспрашивал обоих о том, что мы работаем вне Собора. Просидев часа два, любезно с нами простившись, провожаемый всеми присутствующими и сказав мне на прощанье, что «рад был со мной познакомиться, что мои образа ему и до сих пор мерещатся», он уехал.

После этого Прахов ко мне стал еще более внимателен. Все ездили в Собор осматривать иконостасы. В. М. Васнецов в тот день высказал, что успех мой, особенное внимание Великого Князя есть несомненный «житейский успех». За мной он считает их три: первый, самый серьезный и глубокий, хотя и тихий — это «Пустынник», затем — «демонстративный» успех «Варфоломея» и третий, теперешний, с иконостасом — «житейский».

Пусть будет так, подумал я тогда, но теперь надо работать еще с большим напряжением, памятуя, что успехи так же скоро уходят, как и приходят.

В ближайшие после этого соборного события дни Прахов со мной имел один из очень резких и серьезных разговоров и сообщил мне, что сейчас Киевская Печерская лавра ведет с ним переговоры о росписи Великой лаврской церкви. Что в случае удачных переговоров, соглашусь ли я принять участие в росписи, так как он, Прахов, возлагает на Васнецова и на меня все свои надежды.

Я просил дать мне время подумать и, посоветовавшись с Виктором Михайловичем, дал приблизительно однозначный ответ, что работа в Великой церкви нам по душе, но что ответ окончательный мы сможем дать только тогда, когда все закончим и сдадим во Владимирском соборе, что те цены, что мы брали здесь, совершенно немыслимы в будущем и что в том случае, если переговоры в Лавре когда-либо придут к благополучному концу,

то я хотел бы получить темы, соответствующие характеру моего дарования, причем указал на жития преподобных Антония и Феодосия Печерских[198].

Ответом моим Прахов удовлетворился, причем высказал мысль, что я «расту у всех на глазах», что предстоящая поездка за границу даст мне то, что «язык мой приобретет твердость и прекратится разноречие в суждениях обо мне», которое тогда существовало. Прахов настойчиво и горячо советовал мне не бросать натуры, чаще прибегать к ней, потому что ничто так не оздоравливает усталого творческого организма художника, как живая натура, общение с ней, любовь и доверие к животворящим силам природы.

Эти драгоценные советы я никогда не забывал и навсегда сохранил за них признательность Прахову.

Работы в Соборе в это время шли усиленным темпом. Вставали мы часов в семь, около восьми оба были уже на лесах. В двенадцать шли завтракать, отдых до трех и снова работа до шести.

Между тем приближался день моего отъезда за границу. Паспорт был уже в кармане. Все работы сданы. Все корректуры сделаны. Деньги с Комитета получены…

Помню, в эти последние дни перед отъездом в Константинополь в Соборе был архиепископ Казанский — Владимир, друг тогда нашумевшего митрополита Сербского — Михаила. Мне пришлось показывать Собор Владыке. Он был в нем и раньше, называл его «золотым храмом». Владыка напомнил мне лицом Крамского: тот же открытый взор, то же важное благодушие.

Гость подробно осмотрел все. В «Воскресении» ему понравилось то, что я взял воинов, в «Рождестве» — Богоматерь. Очень хвалил «Бориса и Глеба». Узнав, что я еду в Италию, благословил меня, обнял, расцеловал. Уходя выразил желание быть на освящении Собора. (Он скончался до его освящения.) Я благодарил от лица всех соборян важного гостя.

Итак, на днях снова в путь. Посмотрим, что-то мне на этот раз даст заграница.

Мозаики Константинополя, Греции, Италии. 1893

Я — в Одессе, на палубе парохода «Царица». 26 июля 1893 года выезжаю в Константинополь. Одесса, осмотренная мельком, мне понравилась. Я люблю море, люблю приморские города.

Виделся кое с кем из художников. Был у Размарицына, автора небольшой, живой картины «Панихида»[199].

Размарицын — умный, образованный человек, долго живший в Германии, но не потерявший русский облик.

Когда покинул Одессу, море было тихое. На душе тоже тихо, хорошо. Полтора суток прошло незаметно! На рассвете увидели столицу умного и мрачного султана Абдул-Хамида.

Великолепен Босфор при восходе солнца. За несколько верст до него потянулись красивые очертания берегов. По ним разбросаны виллы разных посольств… Первое впечатление от Св. Софии иное, чем от Св. Петра, — менее величественна, монументальна.

На пути познакомился с одним из москвичей, с ним и устроился в нашем Пантелеймоновском подворье. «Царица» ушла в Пирей. В Константинополе достали проводника и втроем отправились смотреть Св. Софию — Айя-София. Побывали по пути в музее, где некогда была церковь Св. Ирины. В Константинополе все христианские церкви, кроме одной — Покрова Пресвятой Богородицы — обращены в музеи.

Св. София, не кажущаяся грандиозной с моря, вблизи огромна. Куча позднейших мусульманских пристроек исказила первоначальные формы. Однако стоило войти внутрь храма, как все изменилось. Боже, как прекрасно, величественно, незабываемо было то, что мы увидели!

Почти от самого входа, где мы надели особую обувь, виден почти весь свод купола, столь схожего со сводом небесным. Необъятность его — необъятность неба, чего, конечно, нельзя сказать про купол римского храма Св. Петра, такой тяжелый, давящий…

Простор купола, его как бы безграничность — поразительна. Гений зодчего Св. Софии вас увлекает, чарует формами и дивными мозаиками, коими покрыты как купола, так и все стены храма. И какие мозаики! Какое смелое и благородное сочетание цветов! Целые стены хор забраны благородным черным тоном, усеяны серебряным и золотым орнаментом. Здесь все приведено в такую дивную гармонию, торжественную, простую,

великолепную… Без труда представляешь себе то, что было в первые годы, при Константине, здесь, в этой Св. Софии…

Теперь, в наши дни, ни зеленое знамя Магомета, ни щиты с письменами из Корана, ни выбитые, покалеченные мозаичные лики серафимов не могут истребить того, что вложил в свое создание автор великой Цареградской святыни.

Уходя из храма, я чувствовал, что на предстоящем пути своем не встречу ничего, равного только что виденному. Для Константинополя по моему маршруту у меня было отведено немного дней. Надо было за эти немногие дни осмотреть все, что доступно, что необходимо.

Покинув Св. Софию, мы прошли в так называемую Малую Софию (Кучук Айя-София), иначе в древнюю церковь Сергия и Вакха. Тут остатки старых мраморов. Затем прошли в огромный храм (теперь мечеть) Двенадцати апостолов, где видели великолепные изразцы. Переправились через Золотой Рог (мы жили в Галате[200]).

На пароходе случайно познакомились с молодым болгарским Архимандритом, учившимся в России и свободно говорившим по-русски. Он охотно взялся показать нам наиболее ценное. Отпустив проводника, мы последовали за Архимандритом, очень приветливым и обязательным человеком, знавшим отлично Константинополь. Осмотрели с ним единственную совершенно уцелевшую церковь Успения Божьей Матери, где сохранился неприкосновенным купол и крест на нем. Прошли в мечеть Фехтие Джамис, где уцелели в притворе мозаические изображения Христа и двенадцати апостолов. Попутно осмотрели остатки дворца Велизария и, наконец, мечеть Кахрие Джамис — храм Федора Студита. Здесь в притворах сохранились мозаики из жизни Богоматери. Прошли в «патриаршую» церковь, где патриаршее место установлено по линии иконостаса, образуя его продолжение.

Константинополь тех дней был очень грязен — этим напомнил мне старый Неаполь с его Санта Лючия[201]. Сами турки мне очень понравились — и обликом своим, и чем-то патриархальным. Они нимало не походили на тех «башибузуков», оставшихся в моей памяти от времен русско-турецкой войны. Словом, как византийский Цареград, так и современный Константинополь, оставили во мне самое лучшее впечатление.

Болгарский архимандрит оказался образованным человеком, знакомым с Италией: он указал мне, где я мог бы увидеть древнейшие изображения Св. Кирилла и Мефодия, входящих в число образов, кои предстояло написать мне в Киевском соборе. Он сказал, что изображения этих святых есть на одной из только

что открытых фресок в катакомбах Св. Климента. Пробыв несколько дней в Константинополе, я выехал в Афины.

Рано утром мы были в Пирее, а оттуда рукой подать до Афин. Еще дорогой я сговорился с одним греком, знающим по-русски, что он мне послужит день-другой гидом.

Остановился я в большой гостинице «Виктория» на площади Конституции и, переодевшись, не медля ни минуты, отправился с моим греком в консульство узнать адрес профессора Павловского[202].

По дороге осмотрели бегло Акрополь. Три тысячи лет пронеслись над ним. Тяжкая рука времени сделала свое дело, и все же то, что осталось, — прекрасно, величаво, просто. Из Акрополя заглянули в тысячелетнюю церковь Капни-Карея с сохранившимися мозаиками[203].

Павловского не застали; проехали за город в древнюю Дафни, там осмотрели реставрацию мозаик. Вернулись к Павловским, с которыми я уже не расставался за все дни пребывания в Афинах. Эта семья была центром, где сходились тогда русские ученые и люди, любящие Россию, думающие о ней. Много было здесь высказано тоски, страхов, восторгов и надежд на будущее нашей Родины. С Павловским я осмотрел подробно Акрополь и все, что осталось от античной и христианской Греции в Афинах.

Поразил меня Акропольский музей. Впервые я проникся до полного прозрения, до восхищения *архаиками.* От них, от архаик, на меня больше, чем от великого эллинского искусства, повеяло подлинным смыслом, религиозным восторгом античного мира. В них продолжало жить то, что заставляло трепетать, волноваться все существо древнего эллина, да и меня, современного варвара. В них была подлинная, непреодолимая магия духа Великой эпохи, Великого народа. Мне и тогда, помнится, снова показалась такой сладостной и, быть может, незаслуженной моя доля, я мог видеть, наслаждаться тем, что скрыто по тем или иным причинам от миллионов людей. Там я еще лишний раз был счастлив.

Однако время летело, и надо было решить, как ехать дальше. Ехать ли в Спарту, что заняло бы дней шесть-семь, или, пробыв еще дня два-три в Афинах, ехать на Патрас в Бриндизи… Время у меня было распределено скупо, пришлось остановиться на последнем.

Меня проводила русская колония, и вечером в Патрасе я был встречен, выходя с вокзала, русской речью. Некто, довольно кудрявый, с негреческим носом, предлагал мне по-русски свои услуги, а так как я за свое короткое пребывание в Греции, кроме «архимандритос», по-гречески ни одного слова не усвоил, то естественно, что предложение было принято.

Уроженец Гомеля скоро разменял мне греческие деньги на итальянские. Он проводил меня на плохонький пароходик, отходящий через два-три часа в Бриндизи.

Немузыкальная новая Греция сейчас здесь, у нашего пароходика, была полна музыкальных звуков. Как бы весь пароходик составлял какой-то плавучий оркестр: мандолина повара в белом колпаке и в менее белой куртке восхищенно пела, ей вторили другие мандолины, гитары. Словом, я сразу почувствовал себя в Италии, и это было так радостно. Скоро мы двинулись в путь. Он был сплошным наслаждением. На душе — рай. Пароходик наш танцевал под музыку.

Здесь я упомяну об одном досадном и комическом приключении, коих вообще со мной было немного, принимая во внимание мое полное незнание языков. Из Бриндизи я должен был ехать по железной дороге в Неаполь, а там снова пересесть на пароход и плыть в Сицилию-Палермо.

В последний момент на вокзале, сбитый с толку железнодорожным расписанием, я забрал себе в голову, что мне выгоднее и скорее ехать на Реджио Мессину. Как ни уговаривал меня кассир не делать этого, я все же настоял на своем, не поняв моего доброжелателя. И только в пути понял, что я попал на поезд не прямого сообщения — понял тогда, когда меня, беднягу, со всей деликатностью высадили на станции Метапонто, где я узнал, что мой поезд на Реджио пойдет с Метапонто ровно через 12 часов. Каков был удар! Просидеть на глухой, затерявшейся где-то в Калабрии маленькой станции двенадцать часов! Во мне тогда дружественная нам нация скоро приняла живое участие. Я сдал багаж на хранение и пошел бродить.

Пейзаж был унылый: степь, где-то на горизонте дерево, а у дерева какая-то ветхозаветная хибарка. Жара страшная. Итальяшки все попрятались от нее, и только я, как неприкаянный, брожу по этой жаре. Однако и она стала спадать. Завечерело. Стали приходить какие-то поезда. Железнодорожные служащие с их женами и курчавыми ребятишками повыползали на свет божий, поднялись зеленые жалюзи. Послышались звуки мандолины.

Я опять ожил, а там наступило время ехать дальше. Меня дружественно проводили мои метапонтцы, и я рано утром был в Реджио. Странствуя по белу свету, видишь не одни розы и олеандры, попадаются и такие цветы, как Метапонта.

Дорога до Реджио великолепна. Станционные домики утопают в цветах высоких олеандров, часто встречаются пальмы, цветущие кактусы, алоэ, а герань растет по сторонам рельс. Из Реджио два часа езды до Мессины, и я в Сицилии. Еду по

железной дороге. По пути — горы, средневековые замки, сохранились следы античного мира — театр Таормино. Проехали Этну, Катанью. Дорога среди сжатых полей, холмов, частые туннели. Так до самого Чефалу. Снова стало видно море. Вечером я был в столице Сицилии — Палермо.

Однако вернусь ненадолго в Реджио. Чтобы попасть из Реджо в Мессину, надо сесть на маленький пароходик вроде петербургских, так называемых «финляндских», и через два часа мы на родине мандаринов и апельсинов — в Мессине.

Я сел на такой пароходик, полный шумных, экспансивных итальяшек обоего пола. Едут больше крестьяне. Женщины грызут огромные цитроны и говорят шумно, будто бранятся. Против меня сидит группа, с которой остальные пассажиры не сводят глаз. Эта группа — главный предмет горячих разговоров остальных.

Калабрия, как известно, была страна так называемых «калабрийских разбойников». Вот таких-то двух сейчас и везли куда-то вместе с нами. Один — старый, сморщенный, как гриб, только глаза еще блестят, как у молодого. Другой, напротив, полный сил, подавал иногда вызывающие реплики. Оба были закованы в ручные и ножные кандалы. Сопровождали их два красавца карабинера, хорошо вооруженные, в традиционных треуголках. Картина была в староитальянском духе, в духе папской Италии тридцатых — сороковых годов XIX столетия…

Итак, я в Палермо. Остановился в «Отель де Франс». Умылся, переоделся и пошел побродить по улице. Она была одна из главных и, конечно, называлась одним из трех популярных имен[204]. Это была виа Витторио-Эммануэлле.

Тут что-то творилось невероятное на мой непривычный глаз. Улица была увешана с одной стороны на другую фонариками, флагами, религиозными эмблемами. Здесь толпились тысячи народа. Все окна, балконы были усеяны им. Все это скопище экспансивных итальянцев придавало ему вулканический характер. К довершению, играл военный оркестр, как почти всегда в Италии, хороший.

Было одиннадцать часов вечера, когда вдали показалась огромная религиозная процессия. Впереди люди в средневековых костюмах несли какие-то значки. Дальше шли музыканты, за ними духовные училища. За ними девочки лет семи-восьми, все в белом, под белыми покрывалами, со сложенными на груди ручками. Опять значки, быть может, цехов. Церковнослужители несли кресты и, напоказ, среди множества пылающих факелов, несли нарядный малиновый, шитый золотом балдахин, а под ним шествовал епископ с иконой в руках. Потом опять музыка.

Эта великолепная процессия, среди тысячи народа, на фоне южной ночи, остановилась. Музыка умолкла, и лишь своеобразный звон множества колоколов окружающих церквей нарушал тишину. Процессия двинулась дальше…

Такими пышными зрелищами, зрелищами торжествующего католичества, духовенство угощает своих верующих. И надо признаться, что веками ими выработано столько красивого, нарядного, действующего на воображение, на чувство, что нелегко будет тем, кто пожелает ослабить действие, силу, значение того, что дали католичеству пышные времена Возрождения, папства в его расцвете, при великих художниках, не за страх, а за совесть работавших в те славные века.

На другой день с утра я, по своему обыкновению, принялся за дело — за осмотр церквей, музеев. Побывал у нашего консула Троянского, к которому имел письмо от Прахова. Старик принял меня очень любезно, обещал мне достать пропуск в капеллу Палатина для работ там, пригласил в ближайшее воскресенье к себе завтракать. Словом, дело у меня стало налаживаться.

Троянский предложил мне с ним вместе съездить в палаццо Палатино, там мы в несколько минут получили желаемое, и я мог теперь в любое время, даже во время богослужения, работать, делать зарисовки великолепных палатинских мозаик.

За завтраком у консула я познакомился с его молодой, красивой декоративной красотой женой, кажется, венгеркой, и с неким русским, согласившимся быть моим гидом в тех случаях, когда одному, без языка, придется особенно трудно.

Скоро мы с этим молодым человеком отправились в Монреале. Живописная дорога; по сторонам тянутся горы, то густо-лиловые, то бледно-лазоревые на горизонте и цветы, цветы… Городок Монреале высится на скале, на склоне горы. В XII веке тут был лишь монастырь, основанный одним из нормандских королей-завоевателей… Поздней около монастыря вырос городок, к которому подступ еще недавно был небезопасен от разбойников.

Собор снаружи не представляет чего-либо особенно выдающегося из ряда таковых в Южной Италии. Внутри же иное: огромная колоннада, перекрытая арками, покрытыми мозаиками, изображающими творение мира и человека, картинами Ветхого и Нового завета, житием Апостолов Петра и Павла. В абсиде помещен знаменитый мозаичный образ Христа, якобы послуживший первоисточником для ивановского Христа. Многое сохранилось, еще больше реставрировано и, конечно, потерпело от этого немало.

Собор в Монреале гораздо обширнее капеллы Палатина, но

последняя сохранилась больше и мозаики ее великолепны. Они, как драгоценный жемчуг, мягко сверкают по стенам, аркам, потолкам капеллы.

В один из последующих дней мы с моим русским ездили в Чефалу, где также на соборных стенах сохранились мозаики и лучше других уцелел Христос в абсиде. Этот великолепный образ не похож ни на тот, что в Монреале, ни на тоже прекрасный, что в капелле. Он, прежде всего, не с темно-каштановыми волосами, а со светлыми — Христос русый — и с таким мягким выражением, которое его совершенно разнит с торжественно суровым Христом капеллы, на который так долго и не бесплодно смотрел раньше меня здесь бывший В. М. Васнецов.

В Палермо прекрасный собор, но мое время я провожу почти ежедневно в капелле. Там у меня свой уголок, из которого мне видно все — и мозаики, с коих я делаю зарисовки, и служба. Меня же не видно вовсе. И я невольно бывал свидетелем довольно забавных сцен. Так, например, во время богослужения я почти каждый раз видел, как в известный момент в низенькой боковой двери ризницы появлялась фигура священника со Святыми Дарами, а за ним другой священнослужитель. И, прежде чем у главного престола капеллы мальчик даст условный знак — прозвонит, — эти два, а то и несколько достойных католических священников на моих глазах хорошо, весело поболтают… Так и чудится, бывало, какие новости они передают друг другу, как злословят и всячески грешат со Святыми Дарами в руках. И стоит лишь прозвонить колокольчику, эти люди мгновенно, у меня на глазах, меняли личину, и самое веселое выражение, смех исчезали. Они вытягивали лица и с самым постным, елейным видом выплывали из своей засады и танцующей походкой направлялись к престолу, ничуть не подозревая о коварстве «схизматика».

Время подходило незаметно к отъезду. Я сделал много набросков, накупил фотографий. Вечером я сидел, усталый, где-нибудь в кафе на Пьяцца Марина, смотрел на катающихся в великолепных экипажах палермских красавиц. Палермо тогда славилось, говоря по-московски, «выездами»: они были лучшими после римских.

Тихий вечер, бесшумное море, прекрасная музыка, модная тогда «Сельская честь» Масканьи[205], нега южной природы — все это с моей молодостью, с мечтами о будущем каком-то счастье убаюкивало меня. И я славно жил в те давно минувшие дни…

Итак, прощай Сицилия, прощай Палермо, — прощай навсегда! В один из ближайших вечеров я выехал на пароходе в Неаполь. Была тихая, прекрасная погода. Наш пароход принял

много пассажиров, и я запомнил особенно одного. Это был молодой красавец офицер, нечто вроде толстовского Вронского. Он, полный сил, красоты, благополучия, прошел через трап, и я залюбовался им как породой, прекрасной, южной, человеческой породой. Он был доволен собой и, кажется, всем и всеми. Мундир его был элегантен, ноги в узких рейтузах как-то упруго вздрагивали на ходу. Румянец на загорелом лице был ярок. Все это мгновенно запечатлелось в моей памяти.

Мы едва отвалили, прошло не более часа, как началась качка, да еще какая! Понемногу с палубы все спустились в каюты и там предавались невеселому занятию — платили дань морю.

Я и какие-то два молодых англичанина остались наверху. Они и я, пользуясь тем, что дам на палубе не осталось, улеглись на скамьях парохода во весь рост, я на одной стороне, британцы на другой, весело разговаривая друг с другом. Была боковая качка, и мы все, чтобы не упасть, держались за перила руками. Пароход накренялся то на мою сторону то на сторону веселых англичан.

И все шло как нельзя лучше до тех пор, как неожиданно ритм качки изменился, и мои англичане, в пылу веселой болтовни, отняв руки от перил, полетели оба на пол. Это было делом одной минуты. Я обернулся в тот самый момент, когда оба гордые брита самым постыдным образом валялись на полу. Неожиданность падения не помешала им обернуться в мою сторону. Надо было знать, видел ли я их — я видел. Они были смущены, и хотя улеглись, но веселость исчезла.

Ночь всю нас качало. Рано утром мы подошли к Неаполю, было тихо. Неаполитанский залив был бледно-серо-голубой. Везувий едва дымился. Вдали Иския едва-едва синела. Пароход наш подошел к молу. По сходням стали выходить усталые, бледные после качки пассажиры. Я не торопился, стоял на палубе и наблюдал эту чуждую мне толпу.

Вот бредет и мой вчерашний «Вронский»… От него за ночь ничего не осталось: он зелен, ляжки его не вздрагивают, он имеет совсем негеройский вид. Куда девалась прекрасная человеческая порода?

В тот же день я выехал в Рим.

Я снова в Риме. Прошло три года, как я не видал его. Мало что изменилось в нем. В тот же день я поселился в пансионе синьоры Марии Розада, рекомендованном мне профессором Павловским.

Пансион Марии Розада был битком набит ученой братией, артистами, художниками. Сама Мария Розада была француженка,

вышедшая замуж за итальянца, давно умершего. Гостеприимство, приветливость там были самые трогательные: каждый попадал туда, как в родную семью. Красавицы дочки Марии Розада этому сильно способствовали. Они же убирали и комнаты своих жильцов. И никому в голову не приходило дозволить себе какие-либо вольности с этими полуфранцуженками-полуитальянками… Они потом хорошо повыходили замуж за американцев, за англичан.

От Павловского я имел письмо к профессору Казанского университета Айналову, ученику Кондакова, изучавшему здесь, как и я, мозаики. Скоро мы сошлись с Айналовым. Живя рядом в пансионе Марии Розада, виделись ежедневно. Айналов много мне способствовал своими знаниями и советами. Спасибо ему!

Наш пансион находился в большом четырехэтажном доме по Виа Аврора. Моя комната выходила окнами на так называемые «Сады Авроры». Все это было в двух шагах от памятной мне по первой поездке в Рим Виа Систина. Я чувствовал себя прекрасно, как дома, уже сильно тогда полюбил Рим, его понимал, хотя знал далеко недостаточно, наслаждался вновь римским воздухом, таким бодрым, молодящим.

Все мои силы были с первых дней направлены на две главные церкви: на Санта Мария Маджоре и на Латерана. Я там бывал почти ежедневно со своим альбомом, усердно зарисовывая то, что казалось мне нужным, интересным…

Трогательная легенда о возникновении знаменитой базилики Санта Мария Маджоре сохранилась в моей памяти. Давно, в IV веке по Рождестве Христове, в Риме жил знатный гражданин по имени Андрей с женой. Детей у них не было, и они молили Бога, чтобы Он даровал им сына или дочь. Однажды ночью Андрею явилась Божья Матерь и сказала, чтобы он построил церковь там, где среди лета выпадает снег, добавив, чтобы он не печалился, — дети у него будут.

Утром слуга доложил Андрею, что недалеко от их дома, на холме, выпал большой снег (дело было летом). Андрей тотчас же известил о случившемся с ним папу Бонифация, и они вместе отправились на то место, где выпал снег. Папа велел расчистить поляну и заложил там церковь во имя «Богоматери на снегу». Церкви этой, таким образом, 1600 лет. Мозаики ее — одни из лучших, какие существуют в Риме.

Благодаря Айналову, я осмотрел те церкви, коих не было в списке, данном мне Праховым. Побывал я в Санта Мария ин Трастевере, в катакомбах Св. Климента, на кладбище Сан Лоренцо, где похоронен Фортуни и где ему поставлен грациозный памятник. Был за городом в катакомбах Св. Агнессы, в Санта

Пуденциана, у Козьмы и Дамиана, в Санта Проседа, всюду всматриваясь в мозаические творения первых веков христианского Рима. Сколько тут высокой красоты, сколько еще чистой, незамутненной, благочестивой простоты!

Айналов с тех пор, как узнал, что его новый знакомец и есть автор «Варфоломея», стал ко мне питать особое чувство и еще охотнее раскрывал передо мной свои познания…

Как-то утром ко мне постучались. Вместе с Айналовым пришел Вячеслав Иванов, а с ним огромного роста, курчавый, в скобку остриженный, с русой бородой, цветущий, в длинном сюртуке русак, в галстуке жемчужная булавка.

Каково же было мое изумление, когда вошедшего представили мне: «Настоятель Русской церкви в Берлине, протоиерей Мальцев». Я о нем слышал и рад был знакомству. Отец Мальцев, узнав от наших русских, что я в Риме, пожелал познакомиться со мной и посоветоваться, где бы в Риме можно было заказать иконы для новой Православной кладбищенской церкви в Берлине.

Я ничего не мог ему предложить иного, как послать заказ на православные иконы в Москву. После этого я был у Мальцева, и он, помнится, последовал моему простому совету не заказывать православных икон в католическом Риме. Про умного отца Мальцева можно было сказать: «на всякого мудреца довольно простоты».

Хорошо мне тогда жилось в Риме. Придешь после обеда у старого, теперь еще более постаревшего Чезаре домой, отдохнешь, попьешь с Айналовым чайку (оба мы оказались любителями его), сядешь у окна. Дивный воздух садов Авроры проникает в пансион Марии Розада. Сидим, бывало, мечтаем, говорим о России, о такой любимой России.

Стемнеет. Против наших окон большой пустырь, там народный театрик, открытая сцена: на ней ежедневно выступают перед незамысловатой публикой нашего околотка артисты, вероятно, бывшие, с голосами пропетыми, пропитыми.

У всех итальянцев есть «манера» петь. Они — самые плохонькие — маленькие Мазини, Таманьо. И нужно было видеть и слышать, как публика строго их расценивала: жаловала или карала за удачную или неудачную арию тогда еще здравствующего маэстро Верди. До глубокой ночи в наших ушах раздавались то «браво», аплодисменты, то бурное порицание какому-нибудь незадачливому Баттистини.

Пора покидать Рим. Впереди Равенна, Флоренция, Пиза, Венеция, Падуя. В день отъезда, идя мимо фонтана Треви, бросил в него традиционное сольди[206].

Через несколько дней я уже ходил по улицам, площадям, музеям и церквам Флоренции. Остановился в небольшом пансионе «Каза Нардини». Там потом я останавливался часто. Славно жилось в этой «Каза Казуня», как кто-то прозвал этот уголок Флоренции, бывший в двух шагах от «Дуомо», от Баптистерия с его Гиберти.

Флоренция, тихая, задумчивая, была и осталась той же. Мне здесь пришлось лишь возобновить виденное: побывать в Академии, в галерее Питти, Уффици, в церквах Санта Мариа Новелла, в Санта Кроче, в монастыре Св. Марка, проехать в свободный день в Пизу и спешить в Равенну. Так я и сделал.

Равенна теперь мертвый город. Недаром там на каждом углу расклеены в траурных ободках извещения о смерти такого-то или такой-то из равеннских граждан. Город стоит на сыром месте, постоянная малярия уносит много жертв. Город Равенна скучный, движения никакого. В нем, как и во всяком итальянском городке, есть своя Пьяцца Витторио-Эммануэле, есть Корсо, Виа Джузеппе Гарибальди и Виа Кавур; поставлено всем им по памятнику, и, тем не менее, Равенна — город скучный, душный, грязный город. Но все сказанное относится к Равенне наших дней. Иное — Равенна старая: ее можно видеть в остатках доживших до нас памятников архитектуры, в ее романских базиликах и в чудных мозаиках, украшающих стены этих базилик. Правда, все это запущено, но «первого сорта»… Тут, быть может, как нигде в Италии, византийское искусство, искусство мозаическое, представлено великолепно. Здесь художники-мозаичисты не были только копиистами, но сами и творили стиль, композицию, находили дивные цвета для своих творений.

Лучшая из виденных мною здесь церквей — это <церковь> Св. Виталия[207], напоминающая собой Св. Софию Константинопольскую. Там, в Св. Виталии, на алтарных стенах сохранились дивные изображения: с одной стороны Императора Юстиниана со свитой, с другой — Императрицы Феодоры со свитой. Все необыкновенно жизненно, нет ничего условного, как на мозаиках последующих веков. За Св. Виталием следует упомянуть Св. Аполлинария Нового[208] с удивительными фризами по обеим сторонам базилики. С одной стороны поэтическое создание так называемых «праведных жен», с другой — «мужей праведных». Все это я успел зарисовать акварелью.

Самой древней базиликой считается «Аполлинарий ин Классе» (за городом), сооруженная в честь первого равеннского епископа Аполлинария, ученика Апостола Петра. Прекрасна мозаическая абсида с изображением Св. Аполлинария среди райской природы и тварей. Базилика эта стоит ближе к

отступившему от Равенны морю, и на полу ее постоянно стоит вода. Прекрасны два баптистерия и мозаики архиепископского дворца.

Побывал я и на могиле Данте, расписался в книге, нашел там имя приятеля своего, раньше меня бывшего, Аполлинария Васнецова.

Молчание мое (за незнанием языков) меня утомило.

Я с самого Рима не говорил ни слова по-русски и теперь надеялся всласть наговориться в Венеции, где должны были встретиться земляки.

В Равенне быть было необходимо. Она мне принесла большую пользу, но и покидал я ее с большой радостью, с тем, чтобы никогда туда не возвращаться. По дороге заехал в Падую и в тот же день был в Венеции. В Падуе бегло осмотрел базилику Аполлинария (Иль Санто), дворец и капеллу Санта Мадонна дель Арена с великолепным Джотто по стенам ее. Падуя вся в садах; там легко дышится, там знаменитый Университет.

Венецией, собором Св. Марка с его старыми мозаиками, мною уже виденными, окончилось мое второе путешествие заграницу, вызванное работами, кои мне предстояло исполнить в Киевском Владимирском соборе.

Я благодарно вспоминаю и эту свою поездку. Много я видел, многому научился, а если и не сумел применить виденного так, как потом казалось, то, значит, или еще не пришло время, или вообще, как часто я думал потом, я не был призван сделаться монументальным храмовым живописцем, оставаясь с самых первых своих картин художником станковым, интимным, каким некоторые меня и до сих пор считают.

Радостно я проехал русскую границу. Вот русская речка, вот церковь. Все свое, родное, милое. Слезы выступили на глазах. Ах, как всегда я любил нашу убогую, бестолковую и великую страну — Родину нашу!.. Храни ее Господь!

На Родине

1893–1894

Раньше, чем вернуться в Киев, я решил проехать в Уфу, повидать своих, свою Олюшку. Радостная встреча, рассказы об Италии, о том, чего не написал в письмах. Олюшке привез из Рима две куклы — Чезаре и Беттину — маленьких, забавных итальянцев в национальных крестьянских костюмах. Они долго прожили у нее.

Но надо было ехать в Киев, приниматься за нижние иконостасы собора. Встретили меня отлично. Принялся за эскизы Константина и Елены, Кирилла и Мефодия для иконостаса, жертвенника и <эскизы> Варвары, Николая, Афанасия и Филарета Милостивого для диаконника.

Когда эскизы были готовы, я показал их Прахову. Из них особенный успех имела Св. Варвара. Я ее изобразил на коленях, около нее меч, на главу ее в сиянии снисходит венец мученический. Скоро про эскизы узнали все те, кто в ту пору интересовался судьбой Собора. О них заговорили, их восхваляли. Но надо было их провести через Комитет…

Казалось, Прахов все сделал, чтобы не было возражений членов Комитета, но на самом деле на заседании поднялись разногласия, и было постановлено, чтобы я переделал Варвару, сделал ее фигуру стоячей, убрал мученический венец и прочее.

Пришлось подчиниться, но я все же членам Комитета, его председателю высказал, как тяжело мне расставаться со своей мыслью. Несколько дней ходил совершенно расстроенный. Праховы это видели и всячески старались меня утешить. В. М. Васнецов в это время переехал со всей семьей на жительство в Москву, и мы оживленно с ним переписывались. Отношения наши оставались самыми дружественными, и нередко мне его очень недоставало. Из газет мы узнали тогда, что П. М. Третьяков приобрел все соборные картины Виктора Михайловича за двадцать восемь тысяч рублей для своей Галереи.

В то время я познакомился, а потом и сблизился с художником Яном Станиславским — очень даровитым польским пейзажистом, выставлявшимся тогда в Париже и имевшим большое влияние на польский пейзаж. Станиславский был огромного роста толстяк, очень умный, благодушный, образованный… Его мнению я придавал тогда (и потом) большое значение, и он в какой-то мере заменял мне Васнецова. Со Станиславским были мы почти ровесники.

Увидав мой эскиз Св<ятой> Варвары, Станиславский горячо убеждал меня написать с него картину, послать ее в парижский

Салон[209].

Часто тогда заходил ко мне симпатичнейший Павел Осипович Ковалевский. Его советы были неоценимы, хотя и приходилось мириться с его слабостями: многоглаголением и любовью засиживаться в гостях после полуночи.

Всех огорчила тогда смерть П. И. Чайковского. Мы часто его встречали в Софийском соборе, куда он любил заходить, приезжая в Киев для постановки своих опер, и где он наслаждался феноменальным голосом Гриши в хоре Калишевского.

Вскоре после смерти Чайковского умер знаменитый польский художник Ян Матейко. Картины его — явление чрезвычайное. Это эпопея величия Польши, прославление самых славных ее деяний. Ян Матейко — ее бард, ее боян. Он грезил ее подвигами, плакал над ее несчастиями. Он был как бы последним великим Гражданином, равным самым знаменитым Королям польской отчизны[210].

Про него рассказывали много ярких анекдотов, величали его, любили. Передавали, что когда была выставлена в Вене его картина «Раздел Польши» и один из Понятовских, потомок незадачливого короля, обратился к Матейке с упреком за выбор сюжета, тот, будто бы, ему ответил горячо: «Покупали вас живых, купят и теперь». Через несколько дней картина была приобретена императором Францем Иосифом в музей Марии Терезии.

Матейко похоронен в Кракове на Вавеле, где схоронен Мицкевич, где спят вечным сном Короли польские — Стефан Баторий, Ян Собесский и другие. На панихиду по Матейке собрались в костеле все киевские художники. Счастлив и силен тот народ, который мог иметь такого художника, каким был художник-патриот Ян Матейко.

Помнится, мне прислали из Москвы журнал «Артист». В этом «Артисте» была напечатана злобная статья художника Н. В. Досекина о моем «Сергии»[211]. Этот Досекин был неглупым резонером, страдающим критикоманией. Ему не удалось ничего сделать значительного, и, кроме своей бессильной злобы, он людям ничего другого не оставил…

Вместе с работой шли своим чередом разного рода интриги. После долгих споров было решено Праховский киворий из алтаря перенести в крестильню, где от него ничего бы не осталось. Формально причиной переноса было: не заслонять им Васнецовскую Богоматерь, на самом же деле тут сводились счеты комитета с беспокойным Храповым.

Тогда же у нашего Адриана Викторовича явилась внезапная мысль составить «группу русских художников» для отдела парижского Салона. По проекту Прахова, в нее должны были

войти Репин, Шишкин, В. Васнецов, Суриков и я. Из этой затеи, как и из многих праховских затей, ничего не вышло. Позднее эту мысль осуществил Дягилев, но в его группу ни один из названных художников не вошел[212].

Так шло дело до декабря, когда я собрался снова в Уфу на Рождество. Елка, живые картины с участием моей девочки. Чудная уфимская зима, славные морозы, горы снега, катанье, гости, пельмени, удивительные пироги, ватрушки и прочее. Словом, я как сыр в масле катался. Но наступило время отъезда. Начались сборы. Вот я опять в вагоне, лечу в Москву. В сибирском экспрессе множество иностранцев: англичан, японцев, французов — все они в поезде чувствуют себя гораздо больше дома, чем мы — хозяева. Что поделаешь!

Я — в Москве. Там Передвижная выставка, встреча с римским приятелем, профессором Айналовым, от которого узнал, что Академия утвердила мои эскизы, заказанные кавалергардами для мозаик храма Воскресения. Узнал от В. М. Васнецова, что Парланд (строитель храма Воскресения) намерен предложить мне исполнение двух самых больших композиций для наружных мозаик храма.

В Москве остаюсь недолго, спешу в Киев к образам диаконника и жертвенника. Прахов радуется моему успеху в Петербурге, он считает меня, как и В. М. Васнецова, своим созданием. Пусть так…

Снова киевская компания. Павел Осипович Ковалевский со своими воспоминаниями о старой Академии, о Виллевальде и прочем. Передвижная в Киеве. Заведующий Хруслов говорит, что «Сергий» в провинции имел большой успех. Слава Богу…

Запахло весной. Киев никогда так не хорош, как весной. Много работаю. Время от времени бываю с Праховыми в симфонических концертах. Слушал «Манфреда»[213]. Вообще стал разбираться в хорошей музыке. Тут уж всецело влияние Праховской семьи, Лелино влияние.

Котарбинский выставил девятиаршинную «Мессалину»… Успеха картина не имела…

Образа иконостасов пишутся, нравятся. Ждут гравера Матэ. Он намерен сделать офорты с лучших образов Собора. Я люблю этого не очень умного «гугенота», такого талантливого, доброго, готового помочь всякому…

Работы в Соборе кипят. Готова лестница на хоры, пол из разноцветного мрамора. Еще не облицованы мраморные панели.

Погода день ото дня становится лучше. Стало жарко. Заказал себе, в предвидении освящения Собора, фрачную пару, первую в моей жизни. Воображаю, как буду в ней выглядеть…

Помню два посещения меня Николой Артемычем Терещенко, как хохлы его звали «старым Николой». Никола Артемыч был человек исключительного ума и характера. Вышедший из народа, он развил сахарное дело в Киевской губернии до огромных размеров. Состояние его считали в десятках миллионов. Работал он с раннего утра, в 5–6 часов к нему являлись с докладом.

С виду Никола Артемыч был типичный хохол, небольшого роста, с живыми, глубоко посаженными глазами. Он и в свои 75 лет не задумывался подняться на третий этаж, если ему это было нужно. Когда по Киеву, бывало, едет его старомодная карета, запряженная крупными воронымиконями, обыватели говорили: «Вон старый Никола поихав». Никола Артемыч был одним из почетных лиц Киева. Он имел «тайного», «Анну» и прочее[214]. К нему попасть было не очень просто. Острый ум его смущал и бывалых людей. Ходило про него много анекдотов. Один из них таков. Главе сахарозаводчиков Бродских, самому умному из них — Лазарю, понадобилось видеть по важному делу старого Николу. Лазарь отправился к нему. У двери кабинета им овладел такой страх, что он стал креститься… Еще говорили, что Никола так умен и хитер, что «жида пополам перекусит». Много говорилось тогда о старом Терещенке…

Никола Артемыч давал миллионы на нужды города, но давал с одним условием: чтобы на училище или благотворительном учреждении, на его деньги созданном, имелась мемориальная доска с обозначением имени жертвователя или создателя.

Немало Терещенко пожертвовал и на Владимирский собор, и тоже не без верного расчета. Я должен был сделать ему рисунки для Серебряного престола во Владимирском соборе, на который он пожертвовал десять тысяч рублей.

Я был приглашен осмотреть прекрасную его галерею[215]и с того дня стал бывать у умного старика. Суждения его об искусстве были полны такта, ума. Доминирующим в нем был большой ум, где он хотел — большой такт.

Брат его Федор был человек заурядный. Из детей Николы наиболее способный и приятный был Иван Николович, больной, оставивший на создание Киевской Академии художеств четыре миллиона рублей. Его сын — Михаил Иванович — незадачливый Министр финансов при Временном правительстве[216].

В. М. Васнецов, как я говорил, в это время уже жил в Москве, наезжая время от времени в Киев. Вот он снова появился в Соборе, хотел, чтобы при нем были вставлены образа в иконостас. Они всем нравятся. Обаяние их было так велико, что о критике, самой робкой, и речи быть не могло.

Виктор Михайлович видел и мои образа. Особенно хвалил

«Св. Варвару», сравнивая ее с «Борисом и Глебом», кои он считал до того времени лучшими. Он заметил, что «Варвара» имеет в себе много «христианского». Большей похвалы я от Виктора Михайловича не ждал. Еще помню, заметил, что Равенна мне сильно помогла (он там не был и очень жалел об этом).

С приездом Васнецова возобновилось наше совместное житье (рядом жили, вместе завтракали, обедали) и наши беседы, такие для меня поучительные, интересные. Теперь мы снова вместе радовались, надеялись, хандрили, мечтали…

Мне предложили написать образ «Богоявления» для крестильни, куда потом перенесли Праховский киворий.

Те, кто прочтет когда-нибудь мои воспоминания, увидят, что в годы Владимирского собора, с 1890 года и дальше, они становятся похожи на дневник. За эти годы сохранились мои письма к родителям и сестре, к приятелю Турыгину. Я пользовался ими, чтобы освежить в памяти былое и придать некоторым событиям большую точность, документальность.

Продолжаю. Наш председатель Комитета А. П. Баумгартен был назначен губернатором в Житомир, а нам с Волыни дали некоего Федорова, бывшего кавалергарда, сослуживца гр<афа> Игнатьева, тогдашнего Киевского генерал-губернатора. Дела от этого не изменились. По-прежнему всем ведал Прахов. Оппозицию ему составлял, всячески препятствуя делу, как и раньше, местный городской архитектор Николаев, человек бесталанный, завистливый, ничтожный.

На Пасху, чтобы немного отдохнуть, освежиться от работы, я проехал впервые в Крым. Побывал в Алупке, пожил в Симеизе. Мне не очень посчастливилось. Была плохая, дождливая погода.

Тем временем стал вырисовываться новый заказ. Архитектор Парланд — строитель храма Воскресения в Петербурге, обратился ко мне с официальным предложением взять на себя исполнение ряда образов для мозаики храма. Раньше меня был приглашен В. М. Васнецов, и я кое-что от него уже знал об обстановке работы. Знал, что Парланд не даровит, что там все идет по-казенному, да и платят не бог весть что, выгадывая на всем для мозаик, коими предполагается покрыть все стены храма.

Предложенный мне ранее образ «Богоявления» для крестильни по приезде из Крыма окончательно был закреплен за мной, затем утвержден и эскиз его, причем самое живое — хоры поющих ангелов — Комитет предложил убрать. «Богоявление» было последним образом, мною написанным для Владимирского собора. Образа жертвенника и диаконника были комиссией приняты без возражений.

Работы в Киеве подходили к концу. Впереди открывалось два

пути: стать присяжным иконописцем, на что меня утверждал Васнецов, или, оставив храмовую роспись, заняться станковой живописью, вновь принять участие в выставках, к коим я никогда не имел особой склонности. Пришлось подумать, прежде чем остановиться на чем-нибудь. Я решил, что стану брать церковные заказы, не увлекаясь ими, вместе с тем буду писать картины на любимые темы.

Мои старики радовались моим успехам. Как же не радоваться — не успел я кончить один большой заказ — зовут на еще более ответственный. Я же стал серьезно подумывать о возможных опасностях, кои так сильно подорвали даже такое дарование, как Васнецовское.

Киевская жизнь кипела. Около Праховской семьи, всегда живой, гостеприимной и веселой, было шумно, многолюдно. В то время пришлась серебряная свадьба супругов Праховых. Мы отпраздновали ее на славу, с подношениями, с тостами, с речами. Был весь Киев. Мы — художники — поднесли нашему «старосте» лавровый венок. Персональные подношения были особые…

В те дни приезжал в Киев Остроухов с женой, и мы еще и еще «кутнули». От Собора гость был в восторге, да и вообще тогда уже нельзя было не быть в восторге от нашего Собора. Того требовал хороший тон.

В начале июня было получено известие о внезапной кончине Н. Н. Ге. Он незадолго перед тем был в Киеве, его там видели. Была отслужена торжественная панихида. Умер Ге по дороге в свое имение от разрыва сердца. За последние годы его жизни слишком много создавал он сам и создавалось около него неприятностей, неудач, волнений[217].

Я надумал «Богоявление» писать в Уфе, ехать туда на Москву — Нижний до Самары по железной дороге. Этому способствовало желание пробыть 11 июля в Уфе, среди своих, с Олюшкой. «Богоявление», по условию, я должен был сдать в декабре.

Перед отъездом в Уфу торжественно похоронили Федора Терещенко. Отпевал Митрополит, тысячи народа, все власти и прочие. Как человек «дядя Федя», как называли покойного, был самый заурядный человек, миллионы же его были необыкновенны: им и было воздано подобающе. Тогда же в Париже был убит анархистами благородный президент Карно[218].

По дороге в Уфу я остановился в Москве. Хотелось повидать приятелей, побывать в галерее, в театрах. Тогда я охотно ходил в театры. Я знал, что ходить на Дузэ, Росси, Муне-Сюлли, а позднее на Шаляпина — художнику необходимо. Ходил на лучшие места. Верил, что великий, гениальный артист всегда обогатит меня духовно, и я как художник получу что-то, хотя бы это что-то и

пришлось до поры до времени где-то далеко и надолго припрятать в себе. Так было и тогда.

Приехав в Москву, я узнал от друзей-художников, что в маленьком летнем театрике «Эрмитаж» шла опера, а в ней пел стареющий, но все же прекрасный артист Девойод[219].

Я еду в Уфу. Дивная летняя погода. Старые, знакомые лица, места. Новое то, что я теперь признанный художник. В городе известно, что я, не окончив еще одного собора, приглашен в Петербург для росписи храма Воскресения. Обо мне говорят. Те, что когда-то смотрели на меня с безнадежностью, сейчас более чем любезны. Мои старики на седьмом небе…

Для писания «Богоявления» мне предложили в землемерном училище один из больших классов, и я там очень удобно устроился с картиной, надеясь ее кончить до начала классных занятий.

Все так хорошо, казалось мне тогда, и вот в это-то время подкралась беда, появились симптомы совершенно неожиданной серьезной болезни моей матушки. Она стала худеть, появились какие-то странные боли. Она, такая деятельная, живая, больше сидела и, чего с ней прежде не бывало, лежала. Даже наш сад и необыкновенный урожай малины не радовали ее. Теперь она редко брала свою любимую корзиночку и уже не спешила в сад за малиной. Не варилось как-то и варенье… Что-то было не по себе. Так дело шло до Казанской.

День 7-го июля у нас в Уфе проходил так: Чудотворную икону Казанской Божьей Матери торжественно, при большом стечении народа уносили за двадцать верст, в село Богородское, а на другой день Казанская, с крестным же ходом, во главе с архиереем и властями, возвращалась через весь город в Собор. Этот день спокон веков был большим народным праздником. Многие еще накануне уходили пешком с иконой в село Богородское, проводили там ночь и с иконой же возвращались на другой день обратно в город. Так было и в этот год.

В известный час к вечеру Владычицу принесли уже к городу и вот-вот крестный ход покажется в самом городе, на улицах. Тысячи народа двигались усталые, но довольные, что сподобились исполнить свое желание. Матушка накануне и в день праздника все лежала, была задумчива и только тогда, когда услышала, что крестный ход уже идет по нашей улице и вот-вот пройдет мимо наших окон, встала и тихо побрела в зал к окнам, из которых было видно шествие. Она приказала составить цветы с окон и благоговейно стала ожидать приближения иконы. Показалась голова крестного хода, ехали казаки, повалил народ,

показалось духовенство, — наконец, и Сама Владычица, несомая народом.

Матушка опустилась на колени и со слезами горячо молилась. Шествие прошло, она едва приподнялась и обращаясь к нам промолвила: «Слава Богу, Господь привел последний раз помолиться Владычице. Ну, а теперь пойду, лягу. Больше, я знаю, уж не увижу ее». С этими словами она тихо прошла к себе в спальню и тотчас же легла.

На другой день она уже не вставала. Пригласили приятеля-врача. Он осмотрел больную, покачал головой, что-то прописал и уехал. С этого дня болезнь стала быстро прогрессировать. Врач утешал матушку, мы же видели, что дело плохо, что у больной пухнут ноги, тогда говорили — водянка. Она все меньше и меньше ела, совершенно не вставала, и боли день ото дня усиливались.

Был конец июля, стояли дивные дни. В открытые окна из сада доносилось ветром цветение липы. Больная видимо угасала: были все признаки рака. Как-то мне пришла мысль зарисовать матушку, и я ей сказал об этом. Она не любила «сниматься», но тут как будто поняла что-то и сказала: «Ну что же, нарисуй», и тихо сидела, обложенная подушками. Я сделал два-три наброска, похожих, показал больной — она промолвила: «Вот и хорошо».

Доктор уже и не скрывал, что надо ждать скорого конца, да и больная так исхудала, так измучилась, что просила Бога, чтобы Он взял ее. Однажды она пожелала исповедоваться, причастилась. Потом ее пособоровали. Все честь честью. Она, видимо, стала готовиться к смерти. Звала нас, говорила, утешала, когда мы плакали. Нежно, ласково говорила с любимой внучкой.

Однажды, дня за два до смерти, когда ей было особенно худо, она, увидев плачущую сестру, сказала ей сурово: «Не плачь, а слушай, что я скажу. Когда приедете с кладбища, то ты не суетись. Заранее все приготовь. Народу будет много, чтобы был во всем порядок. Возьми ключи от кладовой и заранее достань все, что нужно, чтобы было чем руки помыть (старый обычай по возвращении с похорон). Достань полотенец побольше, да те, что получше, чтобы не осудили люди. Ну, а теперь не плачь, иди, делай свое дело».

В одну из ближних ночей матушка тихо скончалась. Весь город (конечно, свой круг) перебывал на панихидах, на похоронах. Волю покойной мы исполнили в точности. Все было по старине, по заведенному дедами обычаю. Был и поминальный стол, заказан сорокоуст по монастырям[220]. В острог и в богадельни отправили пироги на помин души.

Все справили как надо. По истечении года поставили на

могиле белого мрамора крест, и я в него написал образок Марии Магдалины — мой последний привет матушке, которая много из-за меня страдала, но и любила меня много. Любила любовью пылкой, горячей, ревнивой. Умерла матушка семидесяти лет.

После ее смерти я еще с месяц пробыл в Уфе. Окончил образ «Богоявления» для Владимирского собора и уехал во второй половине сентября в Москву, где мне пришлось пережить еще немало горестных дней…

Во второй половине сентября стали в Москве упорно говорить о болезни Государя Александра III. Говорили, что Захарьин высказал два предположения. Первое, если болезнь (почек) примет острый характер, то конец наступит скоро, через два-три года, если же хронический, то Государь может прожить еще несколько лет.

Предполагалось, что Государя удастся уговорить проживать по зимам на юге. Тогда же распространилась весть, что невеста Наследника — принцесса Алиса Гессенская не желает принимать Православия, так как форма отречения от протестанства слишком тяжелая.

Настроение у народа было подавленное. Часть интеллигенции, затаив в себе нелюбовь к больному Государю, выжидала, что будет дальше…

В Москве я устроился в Кокоревском подворье, снял большой номер и стал работать. Был, помню, у меня В. И. Суриков, просидел вечер и пригласил смотреть его «Ермака», о чем я подробно говорю в своем этюде о Сурикове[221]. В это же время я часто бывал у В. М. Васнецова. Там, в его семье, отдыхал душой.

По письмам того времени, нелегко жилось тогда моим близкий в Уфе. Смерть матушки всех выбила из обычной колеи.

Работали шли своих порядком. В это время писал образа для Петербургского храма Воскресения, что заказаны были мне кавалергардами.

Вести из Ливадии одно время были лучше. Тогда Александр III был в зените своей популярности в Европе. На него, на его деяния смотрел тогда весь мир. Его слово было в тот момент решающим. Император Вильгельм за ним всячески ухаживал, французы в нем видели своего спасителя, Англия, получив урок на Кушке[222], внимательно, молчаливо наблюдала.

Совершенно неожиданно положение больного Императора ухудшилось. Конец быстро приближался. Из Ливадии телеграммы поджидались народом на улицах. Лица были печальны, задумчивы. Уходила яркая, *национальная* фигура прямодушного, сильного Царя.

Все, стоящие вне «политики», тревожно смотрели на будущее

России. Помню как сейчас, я проходил Красной площадью: толпы народа ожидали последних вестей. В этот момент появились телеграммы о кончине Государя[223]. Народ читал их, снимал шапки, крестился.

Была объявлена первая панихида в Успенском соборе. Не только Собор, но весь Кремль был полон народом. Суровые лица, слезы у некоторых выражали великую печаль, и она была искренней. Государя народ так же любил, как не терпели его барство, интеллигенция, разночинцы.

В Соборе стояли тесно, что называется, яблоку негде было упасть. И вот началась панихида. Служил митрополит Сергий. Пели Чудовские певчие. Вот старый протодьякон — Шеховцов, дивный бас которого знала вся Москва, провозглашает «Вечную память новопреставленному рабу Божию Государю Императору Александру Николаевичу»… голос дрогнул у старика. Дрогнул весь собор. Послышались рыдания. Все опустились на колени.

Россия потеряла свое вековечное лицо — ушел действительно благочестивый Государь, любивший Россию больше жизни, берегший ее честь, славу, величие. Уныло разошлись из собора, из Кремля москвичи. Панихида за панихидой служились в Московских церквах. Объявлен был день, когда Москва может прийти поклониться почившему Императору в Архангельском соборе.

Все стали готовиться к этому дню. И мы — художники хотели принять участие в народном трауре. В. М. Васнецов предложил сделать рисунок большого стяга от художников. Исполнить его взялись в Абрамцеве московские дамы. Закипело дело, и к дню прибытия тела Государя в Москву стяг был готов. Вышло красиво. По черному бархату серебром, золотом и шелками на одной стороне был вышит Спас Нерукотворный, на другой — Крест с соответствующим текстом.

Выбрана была депутация от художников во главе с В. М. Васнецовым. Был в ней я, Архипов, Васнецов Аполлинарий и еще кто-то, не помню.

В назначенный день тело Государя прибыло в Москву и было перевезено в Архангельский собор. Весь день и всю ночь народ шел непрерывно попрощаться с покойным Государем. Тут в очереди я повстречал бледного, взволнованного Сурикова, Аполлинария Васнецова и других.

На следующий день были назначены торжественные проводы тела из Москвы в Петербург. Нашей художнической депутации со стягом было дано отличное место в Кремле между Чудовым монастырем и зданием Судебных установлений.

Мы выстроились. Народу была гибель. Депутаций конца не

было, как и венков. Вот ударили на Иване Великом в большой колокол. Торжественно и заунывно разнесся над Москвой звон его. И как в тот час почувствовала тогдашняя Россия, простая Россия, коренная русская Россия этот страшный, как бы набатный гул большого колокола с Ивана Великого. Гул этот вещал не только о случившемся несчастье, но и о великих событиях будущего.

Вот появилась и процессия. Мы со своим стягом продвинулись вперед. Я держал его за древко. Виктор Михайлович стоял тихий, высокий, сосредоточенный за мной.

Показалось духовенство. Сотни дьяконов, священников, архимандритов, епископов, а вот и сам митрополит Сергий, такой старенький, маленький, как знаменитый Филарет, суровый и седой. Он еле идет, но это так кажется: у него огромная сила воли, и он проводит любимого Царя через всю Москву до вокзала. Рядом с ним идет высокий, редкой русской красоты протодиакон храма Христа Спасителя — молодой блондин, великолепного царственного роста и поступи. Это тип тех благоверных князей, что написаны на столбах старых соборов Ростова Великого, Владимира, Переяславля Залесского. Этот красавец как бы оберегает старенького Митрополита.

За духовенством пышный, залитый золотом катафалк, на нем огромный гроб, а в нем под золотым покровом почиет богатырь — Царь. Устал Царь царствовать. Нелегкое дело ему выпало на долю…

Прощай, великий Государь. Прощай, старая Великая Россия. Теперь мы шибко заживем…

За катафалком шла группа: впереди всех — молодой Император — такой юный, скромный, небольшого роста, с прекрасным лицом, так потом превосходно переданным Серовым[224]. Он шел такой беспомощный, и такой же беспомощной показалась мне тогда наша Родина, открытая всем ветрам.

Сзади молодого Государя шел Великий Князь Сергей Александрович, а рядом с ним будущий английский король Эдуард VII — самый близкий друг почившего Императора. Он выглядел коренастым, лет пятидесяти человеком, с проседью, в черном штатском, как мне показалось, пальто, в треугольной шляпе с белым плюмажем.

За этой группой близких Государю потянулись экипажи. В первой золотой карете была вдовствующая Императрица и невеста нового Государя — красавица Алиса, самая трагическая фигура будущего несчастного царствования. Дальше экипажи Великих Княгинь и прочие.

Когда процессия кончилась, мы передали свой стяг кому-то, не помню, и разошлись по домам. Это был один из самых печальных дней моей жизни…

Началось новое и последнее царствование династии Романовых. Кто бы тогда мог предвидеть те события, что через немного лет ураганом пронеслись над Россией.

Молодой Государь вскоре женился. Такую поспешность объясняли двояко. Во-первых, заветом покойного Императора поступить так, во-вторых, влюбленностью в свою красавицу-невесту молодого Августейшего жениха.

Так, или иначе, жизнь стала входить в обычную колею.

Я уехал в Петербург, чтобы договориться с Парландом по поводу нового заказа. Личное мое впечатление от знакомства с ним было очень невыгодное. Внешне корректный, полуангличанин, полу- не знаю кто, Парланд был прежде всего с ног до головы противоположность нашему Прахову. Насколько тот был во всех своих делах и поступках даровит, полон жизни, настолько Парланд был сух, манерен, робок и бесталанен. И все, что его окружало, было ему под стать.

Наши переговоры кончились на том, что я прежде всего выполню картоны для наружных мозаик (аршин по двенадцати), а о дальнейшем разговор будет вестись потом.

Совсем иное впечатление на меня произвел полковник Д. Я. Дашков. Умный, спокойный, он сразу же дал понять, что никаких официальных, казенных приемов в сношении с ним не должно быть. Он с первых же слов принял, так сказать, в этом заказе мою сторону. Так и было во все время моих с ним деловых встреч.

1894 год подходил к концу. Я провел рождество в Уфе. Память о 1894 годе у меня осталась на всю жизнь…

1895–1896

Наступил Новый 1895 год. Что он принес с собой — постараюсь здесь припомнить, рассказать.

Вернувшись из Уфы, я устроился в Кокоревке, где тогда живало немало художников и где жил мой приятель Аполлинарий Михайлович Васнецов.

В эту зиму я выставил свои эскизы к Владимирскому собору на Периодической выставке, тогда очень оживленной и недурной по своему составу. Особенно хороши были в тот год вещи Константина Коровина и Серова[225].

Часто видался с В. М. Васнецовым, бывая у него, как дома. Нас связывали Владимирский собор и годы, проведенные вместе, так сказать, душа в душу в Киеве.

Васнецов тогда имел огромный успех. Заказы и разные «милости» на него сыпались со всех сторон. Помню, Великий Князь Сергей Александрович — тогдашний Московский генерал-губернатор заказал Виктору Михайловичу образ Спаса Нерукотворного, и увидав его, якобы сказал, что, глядя на него, «чувствуешь свою греховность и обещаешь исправиться на будущее время».

Часто в это время, бывая у Виктора Михайловича с Аполлинарием, мы с Виктором Михайловичем всячески донимали бедного малого его «либерализмом», впрочем весьма умеренным.

В феврале я снова был в Петербурге, где мне удалось в переговорах с Председателем храмовой Комиссии генерал-адъютантом Скалоном добиться повышения расценки работ моих и Васнецовских. Удалось, быть может, потому, что тогда многим казалось (что и высказал Скалон), что «как ни вертись, а без Васнецова и Нестерова не обойтись». Я согласился на малую расценку лишь на образа для наружных мозаик. Что же касается образов иконостасов, то они должны были быть оплачены по-иному. Тогда же я переехал в специально построенную мастерскую при храме Воскресения, где и принялся за огромные картоны для наружных мозаик («Воскресение» и «Спас с предстоящими»), быть может, самые слабые из всех, когда-либо сделанных мною образов.

В это время я часто бывал у своих друзей — Ярошенок. Тогда же была поднесена Государю иллюстрированная мною книга московского купца Синицына, уроженца исторического села Преображенского — «Село Преображенское и его окрестности». Книга была издана роскошно, но безвкусно[226].

В марте я оставил Петербург, приехал снова в Москву. Там

опять частые свидания с Васнецовыми, с Суриковым, «Ермака» которого в тот год приобрел Государь за 30 ты<сяч> руб<лей>для будущего Музея имени Императора Александра III. Во время своего первого посещения Передвижной выставки молодой Государь был очень застенчив: новая, такая огромная и трудная роль его смущала, что тогда все мы заметили.

На Фоминой[227] я был в Киеве. Здесь все сдал; «Богоявление» приняли и даже похвалили[228].

Я сделался свободным человеком[229]. Расстался с Киевом. Провожать меня на вокзал приехала вся семья Праховых, все «соборяне» и киевские друзья. Прелестный старичок, художник Харитон Платонович Платонов расплакался, как ребенок, прощаясь со мной. Всем этим я был очень тронут. Такое отношение ко мне моих друзей примирило меня с неприятностями и интригами Соборного Комитета.

В апреле я опять в Москве. Любовался Эрнесто Росси в «Шейлоке», «Лире», «Гамлете»[230]. Великое мастерство, мастерство гениального художника. Впечатление неизгладимое, хотя Росси было уже с лишком шестьдесят лет.

Виктор Михайлович перебрался в свой новый дом[231], было справлено новоселье. Посетили его и «Высочайшие»: Великий Князь Сергей Александрович, Великая Княгиня Елизавета Федоровна и Великий Князь Павел Александрович, причем Сергей Александрович приобрел «Птицу Алконост», а Павел Александрович прекрасные рисунки к «Купцу Калашникову», что сейчас находятся в Русском музее. «Высочайшие» расхвалили дом, были милы с хозяевами. При отъезде на улице собралась масса народа, дружно кричали «ура». Все честь честью.

П. М. Третьяков приобрел в тот год у Аполлинария Михайловича его прекрасную «Каму», и мы на радостях преизрядно тогда кутнули. Был и Виктор Михайлович, много было высказано патриотических чувств, причем, по обыкновению, сильно досталось нашему «вольнодумцу» — Аполлинарию.

Весну, весь май, прожил в Сергиевом Посаде. В конце мая выехал в Уфу, причем по дороге решил побывать с моим старым приятелем В. М. Михеевым (еще по училищу Воскресенского) в Переславле-Залесском, в Ростове Великом, в Угличе, Ярославле и из Ярославля пароходом проехать на Нижний — Самару к себе на родину. Опишу более подробно свое путешествие.

Мой спутник, Василий Михайлович Михеев, был добродушный, неимоверной толщины маленький человек с длинными волосами, с чисто русским лицом. Он был литератор из сибирских золотопромышленников. Появление Василия

Михайловича вызывало везде и всегда единодушное удивление, улыбку, до того он был забавен своей толщиной. По улице он, бывало, катился, как большой мяч. Писатель он был из второстепенных, но любил свое ремесло очень, считал себя поэтом, народолюбцем, либералом.

Так вот с этим-то моим приятелем мы решили осмотреть северные наши города, ограничив себя, однако, сначала немногими. У меня лично была и прямая цель поездки: повидать Углич, подышать, так сказать, его историческим воздухом и, если можно, написать этюды для задуманной мною еще в Киеве картины «Св. Димитрий Царевич убиенный».

По порядку следования мы прежде всего попали в Переславль-Залесский. Переславль показался нам уголком XVII века. Грязные бревенчатые мостовые, отсутствие самого минимального комфорта, так называемые Ряды, около коих, как на Форуме, вечно толчется разный люд. Тут и юродивый, и шутиха, и весь персонал быта времен первых Романовых.

Мы подробно осмотрели все старые храмы, монастыри, и в одном из них моему спутнику удалось добыть старую переславскую легенду об «Отроке-мученике», которую он потом переделал в детский исторический рассказ, мною иллюстрированный (там были и два прекрасных рисунка Сурикова). Рассказ этот был богато издан Марксом и в свое время имел успех[232].

До чего нравы Переславля были еще первобытны, можно заключить из того, что единственного фотографа, который там жил, бывшего ученика Училища живописи, некоего Курчевского обыватели считали за колдуна, его боялись и неохотно давали ему увековечить себя. Жил этот бедняга, перебиваясь, что называется, с хлеба на квас.

Помню еще в Переславле великолепное, огромное историческое озеро[233]. Оно было бурное в те дни, что мы были там.

Иным нам показался Ростов, такой чистый, приятный. Мы сейчас же отправились в Кремль, в Белую Палату, где помещался Музей, собранный трудами двух замечательных ростовских граждан — Шлякова и Титова. Один из них был шорником, другой торговал «красным товаром»[234]. Это были ростовские Монтекки и Капулетти, и, однако, именно их трудами был восстановлен из развалин дивный Кремль Ростовский, с его храмами, с архитектурой митрополита Ионы Сысоевича, такой своеобразной, средневековой.

Шляков нам показал, с необыкновенным знанием дела, музей, директором которого он и был. Проводил и показал нам

храмы, где была открыта и неплохо реставрирована живопись времен Грозного Царя.

Вечер мы очень приятно провели у Шлякова, более похожего на московского профессора сороковых годов, чем на шорника.

На другой день нам доставили возможность слышать знаменитый колокольный звон. Особые звонари исполняли на искусно подобранных колоколах Ростовской соборной звонницы ряд пьес, коим были присвоены исторические имена: звон Ионы Сысоича, звон Св. Дмитрия, митрополита Ростовского, и последний звон — в честь архиепископа Ярославского Ионафана, много и с толком потрудившегося над восстановлением поволжской церковной старины.

Осмотрев все, что было можно, мы рано утром выехали на тройке с колокольцами в Углич, отстоявший от Ростова верстах в девяноста. По дороге заехали в знаменитый Борисо-Глебский монастырь, где так любил бывать царь Иван Васильевич, где все как бы еще хранило на себе следы этого Грозного владыки допетровской Руси. Там мы нашли богатую ризницу, весьма запущенную.

Вечером того дня мы были в Угличе. Ехали старым трактом через лес, и ямщик показал нам кнутовищем место, где когда-то на него напали разбойники и он ушел от смерти чудом или, вернее, обманом. Покорно слез он с козел (ехал один «обратным») и незаметно достал ключ от колес, да и давай им лупить направо-налево своих губителей. Тех было двое — растерялись и в лес убегли.

На другой день с утра мы с Михеевым (толстяк был неутомим) принялись ретиво за осмотр Углича. Побывали в музее, переделанном из дворца Царевича. Там я видел много икон с изображением убиенного. Они все, как одна, совпадали с тем, что мне мерещилось о нем.

Побывали мы и в церкви Св. Димитрия Царевича на крови, где обрели удивительную пелену, будто бы шитую матерью Царевича в его память шелками и золотом. Это превосходное художественное произведение лежало в ящике от гроба, в коем везли тело Царевича когда-то в Москву. Пелена была запущена, зацелована до неузнаваемости.

Мы с Михеевым тут же решили спасти эту дивную вышивку. Написали в тот же день письмо Шлякову в Ростов и архиепископу Ионафану в Ярославль, прося их обратить внимание на эту вещь. Нам это удалось. Пелена позднее была, сколько возможно, приведена в порядок и положена в особый ящик под стеклом.

Я сделал этюд с тех мест, которые по плану могли находиться во время убийства фоном этой загадочной драмы.

Из Ростова Великого мимо Рыбинска, Романова-Борисоглебска, проехали мы в Ярославль, где, уже усталые, осмотрели все, наиболее ценное, — дивную роспись «Иоанна Воина», «Ильи Пророка»[235], — и через Кострому и Самару я пробрался, довольный тем, что видел, что удалось собрать для будущей картины, в свою Уфу.

Время в Уфе провел обычно. Рад был видеть свою дочку, но то, что не было больше Матушки, не было в доме ее глаза, ее объединяющей воли — было тяжело. Отсутствие ее о себе напоминало постоянно…

В Уфе я написал своих «Монахов» («Под благовест») и «Чудо» и привез их в Москву. Там они всем очень понравились. Много похвал им расточалось в те дни. Были Васнецов, Суриков. Помнится, как-то зашел Левитан, которому очень понравились «Монахи», и сказал мне, что я «сумел заставить его примириться с монахами». Наезжал П. М. Третьяков, которому тоже «Монахи» понравились, но… он их не взял.

Название «Под благовест» после долгих поисков дал мне бывший у меня в мастерской писатель-романист Всеволод Сергеевич Соловьев. Был он тогда, помню, с женой своего брата Михаила, матерью теперешнего католического священника — поэта Сергея Михайловича Соловьева[236]. Картина им очень нравилась.

Тогда же я писал оригиналы для мозаик в иконостас храма Воскресения.

Осенью, кажется, в ноябре, в Историческом музее была открыта, как всегда, с великим шумом, выставка картин В. В. Верещагина из эпохи 1812-го года. Я был на ней. Картины были слабее предыдущих, сделавших имя Верещагина всемирным. Он был, конечно, еще «орел», но орел, подстреленный безжалостной старостью.

Самой выразительной, яркой мне тогда показалась большая картина — отступление, бегство Наполеона. Трескучий мороз. Великий человек потерпел первое и самое сильное поражение. Его жалко, не менее жалко на этой выставке и самого Верещагина, звезда которого, очевидно, тогда начала меркнуть.

На Рождество я уехал в Уфу, где не было теперь яркой фигуры матушки. Из Уфы переехал в Москву, затем в Петербург.

Новый, 1896-й год для меня начался хорошо. Часть моих эскизов к Владимирскому собору на петербургской акварельной выставке были приобретены Императрицей Марией Федоровной.

Работы для храма Воскресения шли своим порядком. Я окончил образа иконостасов, и мне было предложено сделать над окном больших размеров композицию «Спаса Нерукотворного с

предстоящими».

В конце января я в обществе Мясоедова и других передвижников отправился в Петербург на очередную Передвижную выставку, где на этот раз выставлял «Под благовест». В Петербурге был впервые на балу, данном в пользу учеников Академии художеств. Впервые надевал фрак и прочее, что полагается при сем. Чувствовал себя хорошо, но потом больше никогда на подобных балах не появлялся. Там видел старика Айвазовского, окруженного поклонниками, дамами, словом, во всей славе своей.

В тот год я был избран в члены Товарищества, прошел огромным числом голосов, и лишь один Ефим Волков был против. За меня очень ратовал Шишкин, как за художника с ярко выраженным национальным чувством.

Здесь я опишу посещение Передвижной выставки Государем Николаем Александровичем. Я впервые, по праву члена Товарищества, присутствовал при посещении выставки «высочайшими особами»… Опишу этот день так, как он описан у меня в письме к отцу, хотя и без этого я сохранил в своей памяти многое.

Перед прибытием царской семьи на выставке был президент Академии Великий Князь Владимир Александрович с Великой Княгиней Марией Павловной[237]. Великий князь, как всегда, с художниками держал себя очень просто, охотно вступал в разговоры, его грубоватая манера говорить, высказывать свое мнение была всем нам известна.

Великий Князь осматривал выставку, идя впереди группы художников, которые, ввиду предстоящего посещения выставки Государем, были во фраках, в полном параде. Великий Князь, обходя огромный и нескладный зал Общества поощрения художеств, спросил, тут ли Серов, которого не оказалось. Великий Князь заметил, что недавно видел прекрасный портрет покойного Императора Александра III[238] во дворце Великого Князя Сергея Александровича.

Подойдя к моей картине «Под благовест», весело спросил: — Чья это? — Ему назвали мое имя. Он обратился к Великой Княгине и сказал (по-французски) «очень хорошо».

Обходя хоры зала, перед этюдом Серова он снова спросил: «не пришел ли он?» Серов был налицо, и его представили. Серов смущенный, с платочком у рта, выслушал похвалы портрету Александра III и сожаления Великого Князя, что он не на выставке. Пройдя дальше, остановился перед прекрасным портретом Валентина Александровича (портрет жены художника), спросил: «Можно ли купить этот портрет?» — Серов собрался с

духом и ответил, что портрет непродажный[239].

Осматривая дальше выставку Великий Князь приобрел суриковские этюды к «Ермаку». Сама картина была приобретена Государем в предыдущем году (при первом его посещении Передвижной по воцарении) для будущего Музея императора Александра III.

В числе сопровождавших Великого Князя был красавец Николай Дмитриевич Кузнецов[240], всегда умевший просто и благодушно разговаривать с такого рода посетителями. Вот и в тот раз Великий Князь спросил, есть ли что на выставке из его вещей? — Тот ответил, что есть портрет «Бонвивана». Великий Князь спросил: «Разве еще такие остались?» На что Кузнецов весело ответил, что это «последний из могикан».

Великий Князь с Великой Княгиней, любезно простившись с художниками, спустились вниз в раздевальню. Обычно все мы их сопровождали до дверей и тут уже прощались. Великий Князь снова обратился к Кузнецову, вынимая из кармана письмо, спросил: «Вам может быть будет приятно иметь письмо покойного Государя с мнением о вашей картине? Могу его подарить вам». Кузнецов сказал, что он будет счастлив иметь это письмо. Великий Князь со словами: «Рад стараться» — передал ему письмо.

Покойный Государь писал в нем следующее: «Извини, что беспокою тебя, не имея каталога выставки и не помня фамилии художника, написавшего „Спящую девочку“, прошу тебя сообщить мне его имя. Твой Саша».

Тогда этот подарок был принят, как особое расположение *ко всему* Товариществу. Письмо могло было быть переданным Кузнецову и в Академии, но сделано так было умышленно, чтобы отметить прекрасную выставку Передвижников от очень слабой Академической.

Спустя несколько минут по отъезде Великого Князя дано было знать, что Государь уже выехал из дворца, и мы все художники остались его ожидать внизу около лестницы.

Ровно в 2 часа раздалось на улице «ура» и через минуту в дверях показалась Императрица Александра Федоровна с гордой, царственной осанкой, с своим дивным профилем, с необыкновенно свежим цветом лица, в малиновой бархатной ротонде. За нею следовал Государь, поздоровался с нами. Сняли верхнее платье.

Государь был все еще очень юным, похожим на молодого гвардейского офицера. Он на ходу поправлял изрядно поношенную портупею на сюртуке Преображенского полка.

Все члены Товарищества были налицо, кроме Николая

Александровича Ярошенко, тогда артиллерийского полковника, считавшегося оппозиционером, чуть ли не «красным», писавшего картины на темы, если не революционные, то, во всяком случае, идущие вразрез с общим характером выставок. Это было известно, как покойному Императору Александру III, так и молодому Государю. Для Ярошенко из всего этого никакого худа не было, и он делал свою военную карьеру вполне успешно.

Мы — художники приветствовали Государя и Императрицу и все поднялись по лестнице в выставочный зал. Государь, разговаривая со знакомыми ему художниками, быстро обходил первые ряды картин и спохватился только тогда, когда надо было подниматься на хоры.

По давно заведенным традициям каждый год Высочайшие посещения выставки ознаменовывались приобретением одной или нескольких картин. Вот и теперь Государь «спохватился», что, пройдя главную часть выставки, он еще ничего не отметил, не «оставил за собой». А тут, как раз, стоит шишкинский лес. Фирма старая, почтенная, и лес был приобретен. Дальше Дубовской. Его вещи тоже приобретались покойным Государем. И вот «Иматра» Дубовского тоже оставлена за Государем. Причем Государь, остановившись перед картиной, спросил П. А. Брюллова: «Что это?»

А тот, с присущей ему рассеянностью, ответил:

— Ниагара, Ваше величество. — Как, Ниагара? — То есть Иматра, — поправился вечно мечтающий Павел Александрович.

Осмотр окончился. Государь, Государыня, все с ними бывшие Великие Князья и Княгини, довольные, попрощались с нами, провожаемые до дверей. А там уже снова неслось раскатистое «ура» собравшейся против подъезда выставки публики.

Вот то, что *было,* чему я был свидетелем и что сейчас многим и многим покажется странным, если не больше того… Нет, именно *так* все и было. От молодого Государя тогда даже вечно недовольная интеллигенция продолжала еще ожидать желанной Конституции.

На другой день было воскресенье. Наша выставка открывалась для публики. Мы, молодые, Серов, Коровин, Левитан и я, успеха не имели. «Передвижная» публика привыкла к «своим» — к Крамскому, Репину, Шишкину и к менее даровитым Киселеву, Волкову, Лемоху. Перед нами останавливались недоуменно, покачивая вопросительно головами. И много понадобилось времени, чтобы старые симпатии ослабели или, если не так, то не мешали бы зарождению новых. Однажды пришел и наш час. Мы стали понятными и любимыми, но мы уже не имели того молодого энтузиазма и похвалы оставляли нас

сдержанными, недоверчивыми, неудовлетворенными.

На открытии выставки была, по обыкновению, масса народа. В те времена вся русская интеллигенция была с передвижниками, и если этот день был наш праздник, то он был и интеллигентский праздник. В нас жила одна душа.

В этот день, помню, ко мне подошел и познакомился тогда еще молодой Александр Бенуа, сказал мне много любезного по поводу моих «Монахов», тогда же стал «искушать» меня объединиться с ними, с молодежью, а так как к тому времени уже немало накопилось горечи в моих отношениях к передвижникам, то, естественно, «искушения» Александра Николаевича пали на добрую почву. С тех пор я стал бывать у мирискусников, у Бенуа[241], у Дягилева. Они многим нравились мне, а что-то в них мне было чуждо, непонятно. Но пока что нравились они мне больше, чем не нравились.

Четверо нас — Левитан, К. Коровин, Серов и я — скоро вошли в общество «Мир искусства», стали с будущего года участниками первых его выставок[242].

В тот год я недолго оставался в Петербурге. Дела призывали меня в Киев. Там я должен был исполнить каприз киевских дам — переписать лицо «Св. Варвары».

Перед самым отъездом я получил приглашение участвовать на мюнхенской выставке «Сецессион», имевшей в те времена наибольший после парижского Салона успех в Европе. Мне это было ново и приятно, тем более что такое же приглашение тогда получил и В. М. Васнецов.

<Картина> «Под благовест» в первые дни передвижной выставки среди публики, повторяю, успеха не имела. Нравилась она художникам, особенно Архипу Ивановичу Куинджи.

В день открытия выставки очень единодушно и искренне прошел ежегодный обед у Донона, который дали передвижники. Обед, говорят, стоил четыреста рублей (на сорок человек).

Приехав в Киев (во второй половине февраля), я в тот же день был у Праховых, где всегда имел радушный прием. Очаровательная Леля была по-прежнему очаровательна, Оля по-прежнему толста и резва.

Собор имел почти законченный вид. Золотились его главы (на пожертвование старого Николы Терещенко). Собор внутри представлял очень нарядное и неожиданное зрелище. Тогда он еще не был использован в тысячах копий с Васнецова и с меня, его не превратили еще в источник эксплуатации российские иконописцы и церковные старосты, так полюбившие его после чрезвычайного и шумного успеха.

Комитет требовал решительно и неотступно переписать

голову «Св. Варвары». «Голова Св. Варвары», отдаленным оригиналом для которой послужила мне Леля Прахова, — была ненавистна киевским дамам, и они добились, чтобы меня вынудили ее переписать. Я пробовал привести Комитету все резоны, почему необходимо было лицо Варвары оставить непереписанным. Все было напрасно. Комитет, загипнотизированный графиней Игнатьевой и киевскими дамами, оставался неумолим[243].

С огромным трудом удалось Васнецову уговорить меня сделать эту уступку (мне было дано понять, что если я не перепишу голову сам, перепишет другой художник).

«Варвару» я переписал. Лицо стало более общее, в нем утратилась индивидуальность милого оригинала. Выражение я старался удержать прежнее, что, будто бы, мне удаюсь. Комитет был в восторге. Меня благодарили.

Я попросил выдать мне официальное постановление Комитета о переписании «Варвары», чтобы оправдать себя на случай возможных упреков общества, так как «Варвара» по фотографиям была уже известна в Петербурге.

Это была самая крупная неприятность, какую я имел за время росписи Владимирского собора.

В начале марта я вновь был в Петербурге, возился с картонами для Парланда.

Кавалергардский заказ я закончил. Образа понравились, были приняты с благодарностью.

П. П. Чистяков предложил мне написать образа для мозаики графу Орлову-Давыдову. Отказался под предлогом усталости. На самом же деле я рвался к живому делу, к своим темам и картинам.

Обычные вечера у Ярошенко. Либеральные разговоры. Отношения ко мне оставались прекрасные. Объясняю это тем, что Ярошенко чувствовал мою искренность в своем, как он был правдив в своем, и что оба мы любим Россию.

Наступала весна, хотелось скорее уехать в деревню, в лес, на этюды. Казалось, стоит только бросить Питер — и прежнее вернется, буду чувствовать себя моложе…

Опять Москва, опять Васнецовы, москвичи, обеды… Виктор Михайлович пришел в хорошее настроение, раздобрился, подарил мне эскиз «Слово о полку Игореве» (ночной) и превосходный ахтырский этюд для «Озера с лебедями». Оба они были мной впоследствии принесены в дар Уфимскому музею[244].

Помню, мы устроили вечеринку. Был с нами юный поэт Бальмонт[245]. Рано-рано утром очутились мы у Василия Блаженного в довольно блаженном настроении. Бальмонт

объяснялся с кем-то в любви, потерял свою шляпу. Он читал тогда свою новую поэму «Мертвые корабли».

Обратились ко мне с заказом из Баку. Я отказался по тем же причинам, что и от предложения графа Орлова-Давыдова.

Из Питера Парланд извещал, что мои картоны для храма Воскресения будут отправлены в Москву на выставку в Исторический музей. Сделано это именем Великого Князя Владимира Александровича неким бездарным художником Карелиным — большим пролазой.

Собрались у Левитана. Поленов, оба Васнецова, я, актер Ленский с женой и добродушный толстяк-писатель Михеев. Он читал свое новое произведение. Скука была смертная. Конца не было бесталанному писанию бедного Василия Михайловича. Радость была безмерная, ничем не прикрытая, когда пытка кончилась и всех пригласили к ужину, и мы скоро позабыли о творчестве незадачливого писателя-приятеля. Пирования тогда чередовались: то обедали у Остроухова, то ужинали у Архипова. Славно в те дни жилось нашему брату-художнику, — весело, приятно: судьба баловала нас на все лады.

Опять Петербург, опять несносный Парланд… В один из наших разговоров он предложил мне взять на себя роспись всего храма Воскресения. По его словам, это было бы хорошо для дела и для меня. Получилось бы единство. Я понял значение этого предложения: отдай всего себя, без остатка. Мы тебя выжмем, как лимон, заплативши гроши, и о тебе позабудем. Мое простодушие не простиралось безгранично. Я хотел остаться художником. Через несколько дней разговор возобновился, и я категорически отказался от почетного, но гибельного для меня предложения.

На Невском встретил Киевского вице-губернатора Федорова. Он поведал мне, что в Царской семье ожидают появления маленького Наследника, по этому случаю освящение Киевского Владимирского собора произойдет менее торжественно. Государь на освящении едва ли будет присутствовать и т. д. До августа оставалось еще много времени, загадывать о чем бы то ни было было рано.

Заболел Н. А. Ярошенко. Подозревали горловую чахотку. Проводили его в Египет, в Палестину. Николая Александровича все любили, он был чудный, благородный человек, хотя и «в шорах».

У гостиницы «Европейской» видел китайского Бисмарка — Ли-Хун-Чанга[246]. Старик, большого роста, лицо значительное, костюм национальный — очень простой и богатый в то же время. Он куда-то ехал в придворном экипаже.

В мастерскую мою на Екатерининском канале заезжала Мария Павловна Ярошенко с С. — богатой невестой. Мария Павловна не прочь была ее мне посватать. С. — добродушная, некрасивая толстуха, страшно нарядно одетая. Были как бы неофициальные смотрины. Увы! Мой идеал был иной…

Приближалась Всероссийская Нижегородская выставка. Туда посланы были переписанный «Сергий с медведем» и «Под благовест».

Приближались коронационные торжества. Я думал уехать к Черниговской, вернуться на день-два, посмотреть на торжества из окон своей «Кокоревки». Однако вышло не так.

Помнится, 9 мая был торжественный въезд Государя в Москву. Я не подумал о билете, о пропуске, этим создал себе кучу хлопот, потратил много энергии, добывая себе место. Не обошлось без курьезов.

На Красной площади были устроены трибуны. На них спокойно сидели, ожидая въезда Государя, те, кто раньше достал себе место. Там были Васнецов, Маковский, Серов, Матэ, словом, люди предусмотрительные[247].

Я поступил иначе. Пробрался к самым трибунам, там предприимчивые люди на принесенных из дому скамейках продавали места по рублю. Таких скамеек было множество, все они были абонированы. На одной из таких скамеек поместился и я, а со мной дама и кавалер, говорившие все время по-французски. Оставалось ждать — час, два, пять — это было неважно.

Вот появляется знаменитый обер-полицмейстер Власовский, видит, с каким комфортом мы устроились (а были нас чуть не тысячи), делает жест, не проходит пяти минут, как мы все слетаем с наших импровизированных трибун. Мои соседи, говорившие только по-французски, стали превосходно ругаться по-русски. Скамейки шумно развалились, а владельцы их благоразумно мигом куда-то исчезли. Пришлось искать другое место — я его скоро нашел.

В 12 часов девять пушечных залпов известили о начале приготовлений. Навстречу Государю выехал из Кремля Великий Князь Владимир Александрович со свитой. В половине третьего колокольный звон всех московских церквей, пушечная пальба известили о том, что торжественный въезд начался, и лишь около пяти часов показался головной взвод полевых жандармов, за ними конвой Его Величества и прочее.

Провезли в золотых каретах сенаторов. Старички так устали, что, подъезжая к Кремлю, уже спали сном младенцев. Про Делянова Васнецов острил, что его к тому времени уже нечем

наградить, — он имел все знаки отличия до Андрея Первозванного включительно и к коронации при особом рескрипте ему будет пожалована «соска».

За сенаторами ехали «разного звания люди». Прошли скороходы, арапы, взвод кавалергардов. Прогарцевали правители народов Азии — эмир Бухарский, хан Хивинский — все в шитых золотом халатах, на чудных скакунах.

Опять кавалергарды, и только тогда стало слышно далекое раскатистое «ура». Оно быстро приближалось, крепло, росло, наконец, загремело где-то близко около нас с поразительной силой.

Войска взяли на караул, музыка заиграла, показался на белом арабском коне молодой Государь. Он ехал медленно, приветливо кланялся народу, был такой скромный, взволнованный, с бледным, осунувшимся лицом… Сознание переживаемого события, его великий смысл, быть может далекое мистическое предвидение своей трагической судьбы, — все это не могло не отразиться на впечатлительной, мягкой натуре его. В подобный час даже человек такой железной воли, как Александр III, плакал и не скрывал слез своих. Так огромно было сознание ответственности за судьбы России…

Государь проследовал через Спасские ворота в Кремль. Народ стал расходиться…

Перейду к описанию того, что видел я в морской бинокль из своей «Кокоревки», видел, бродя по улицам Москвы.

После торжественного коронования Государь и Государыня проследовали в Архангельский собор, а оттуда через Красное крыльцо во дворец. Я видел, как на балконе Кремлевского дворца молодые Царь и Царица кланялись народу. Видел, как на солнце блестели сотни бриллиантов на короне государевой, видел золотые порфиры на них, слышал, как несся гул пушек, звон всех московских колоколов. Было такое ликование, как в Пасхальную заутреню в Кремле.

В девять часов вечера зажглась иллюминация. Началась волшебная сказка, сон наяву. Народ ходил, как очарованный, среди блистающего самоцветными камнями, миллионами огней города, Кремля, любуясь диковинным зрелищем. По деревьям Александровского сада висели огненные цветы, плоды. Все сияло, переливалось, сверкало золотом, алмазами, рубинами на темном фоне весенних сумерек, потом тихой майской ночи…

В это время Государь с Государыней объехали Кремль, набережную, мимо нашей «Кокоревки». Народ бежал вокруг коляски, цеплялся за колеса… Конвоя не было. Царь и Царица, растроганные, ласково кланялись народу…

А поздней мы заметили пламя на Спасской башне, выше часов. Пожар был потушен. Народ шептался… Все призадумались…

А там Ходынка, тысячи жертв, впечатление зловещее[248]. Было ясно, что где-то и что-то «не ладно», неладно в самых недрах Царства Российского. Ходынка была началом грядущих событий.

24-го мая Царь и Царица были у Троицы. Я видел их близко. Когда Царский экипаж подъехал к Святым воротам, митрополит и духовенство опоздали к встрече, за что тут же Преосвященный получил от Великого Князя Владимира Александровича громкое: — «Что вы, Владыка, спите там!»

По иному было у Черниговской, в скиту. Там мои приятели — старенькие Авраамии, Адрианы вытянулись рядами по дорожкам и усыпали путь царский цветами из своих садов. Государь и Императрица раздавали народу просфоры. Тот, со слезами, целуя их, принимал. Все это было. Все это истинная правда…

От Черниговской Государь и Государыня уехали немного успокоенные простодушной встречей, а затем незаметно покинули Москву, о чем узнали мы в своей «Кокоревке» случайно, увидев тихо спускавшийся Императорский штандарт с Кремлевского дворца.

Позднее узнали о подношении хлеба-соли и альбома Саввой Ивановичем Мамонтовым, о его блестящей приветственной речи Государю при проезде его к Троице[249] на Ярославском вокзале. В альбоме, заключенном в драгоценный ларец, были рисунки Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Сергея Коровина, Константина Коровина, Поленовой и мой. Альбом произвел самое лучшее впечатление.

Так кончилось пышное, трагическое торжество коронации последнего правителя Российского Государства — Императора Николая II. Впереди предстояло новое, тоже плохо удавшееся торжество — открытие Всероссийской Нижегородской выставки.

В Нижнем, как и на всех выставках в мире, ко дню открытия не было ничего готово. Императорская чета въезжала в Нижний при страшном урагане, наделавшем много бед на выставке. Старания Витте и Саввы Ивановича Мамонтова успехом не увенчались.

Художественный отдел был слабый. Мои картины — «Сергий с медведем», «Под благовест» и эскизы висели неплохо. Лучшими экспонатами были Сапожниковы со своими парчами и шелком и Морозовы со своей мануфактурой.

У Саввы Ивановича Мамонтова на выставке произошло первое открытое разногласие с Витте[250]. Поводом к нему были

декоративные панно Врубеля — «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович». Обе вещи больших достоинств и размеров были забракованы Академической экспертной комиссией (ректором Беклемишевым и другими). Виктор Васнецов, бывший на вершине своей славы, спрошенный Витте на балу Генерал-губернатора о том, как он — Васнецов — смотрит и ценит панно Врубеля, ответил уклончиво, чем якобы утвердил в глазах Витте мнение Академической комиссии…

Судьба Врубеля была решена: панно в Художественный отдел на заготовленные места приняты не были. С. И. Мамонтов, оскорбленный этим, построил за свой счет особый павильон, где и были выставлены эти прекрасные вещи.

Из Нижнего я уехал в Уфу, а оттуда в Киев на торжества освящения Владимирского собора. Пережитое тогда передам с возможной точностью. Сделать это возможно, так как сохранился ряд писем того времени к отцу, где все происходившее описано подробно, «документально».

Освящение Владимирского собора было не только «местным» событием, оно приняло размеры торжества Всероссийского. Прибытие Царской фамилии придало этому торжеству особый блеск.

Освящение Владимирского собора

Я писал тогда под первым впечатлением отцу, что этот день был одним из самых светлых и незабываемых дней в моей жизни…

19 августа 1896 года была первая Всенощная в нашем Соборе.

Торжественная служба длилась четыре часа. Дивный хор Калишевского, сотни огней, впервые зажженных перед образами, над которыми когда-то мечтал, в которых осталась частица себя… Все это волновало до слез. Вспоминалось в эти минуты все лучшее в жизни — люди, события, свое счастье. Все, все поднималось на поверхность сознания, будило сердце, призывало его восторженно вторить событию.

Я горячо, искренне, со слезами мысленно благодарил Бога за то, что Он дал мне дожить до этого дня — это была лучшая награда, о которой я мечтал… Воспоминания об этом дне будут сиять особым блеском до конца дней моих.

Особенно памятен *первый удар колокола* в нашем соборе ко Всенощной. Что был за дивный момент! С этого момента Собор перестал быть нашей «мастерской», мы — художники — перестали в нем быть хозяевами. Он стал Храмом. Православным храмом, через который потом прошли сотни тысяч людей со своими радостями, скорбями, с праздным любопытством, с интересом к искусству, к нам — художникам. Он стал Всероссийским достоянием. А мы — художники, в продолжение ряда лет так в нем обжившиеся, отошли на задний план…

Вот этот дивный Благовест в большой колокол тогда и вещал нам об этом и многом другом. — Сердце трепетно забилось. Совершилось давно жданное.

Митрополичья служба была торжественна. От Всенощной мы с В. М. Васнецовым ушли усталые, но счастливые. Что-то готовит нам завтрашний день?..

Настал и он — 20 августа 1896 года. Поднялись мы чуть свет (до сна ли было?). Начали готовиться, снаряжаться. Надели фраки и, как именинники, отправились в Собор.

Собор выглядел нарядным. Золотые главы его блестели на солнце. Кругом разбит сквер, в нем масса цветов. Толпится всюду народ, — а мы идем себе, как ни в чем не бывало.

У нас пропускные билеты. Показали — впустили. Там уже был народ, все — самая избранная публика. Скромно заняли мы места позади справа. Стоим. Народ все прибывает.

Приехал Генерал-губернатор. Начала собираться Царская фамилия. Вот Великий Князь Владимир Александрович, такой

великолепный, красивый, породистый. С ним Великая Княгиня Мария Павловна. — Входит старик-фельдмаршал Михаил Николаевич. — Оба Великих Князя в полной парадной форме, с Андреем Первозванным через плечо. Полон Собор народа. Каких мундиров, лент, дамских туалетов не было тут. А у нас где-то там копошится, что все эти важные господа и великолепные дамы все же пришли и на нас посмотреть, что мы тут «натворили»? Посмотреть, что там про этих Киевских художников кричат. А мы вот тут стоим в сторонке, и ни гу-гу…

Все напряженно ждали, когда заслышится снаружи бурное «ура». С минуты на минуту ждали прибытия Государя и Императрицы.

Вот входит еще один. Какой у него значительный и необычайный вид. Скромный мундир, однако через плечо «Андрей Первозванный». Прибывший медленно, тихо-тихо, но с громадным внутренним достоинством, проходит. У него высокая, сухая фигура. Лицо незабываемое, тоже сухое, бледное. *Один* он *такой,* сказал бы я, — *одинокий он.* На глазах большие с черной широкой оправой очки… Кто это?

И тут же кругом шёпот: «Победоносцев, Победоносцев»… Да! Это он, это знаменитый обер-Прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев, как называли его хулители, — Торквемада[251]. Это один из немногих подлинно *исторических* лиц последних трех Царствований, носитель огромной идеи «Самодержавия», ее апологет, идеалист самый высокий и… скептик.

Драма его в том, что его идеализм, как и он сам, был разъедаем скептицизмом. В него как-то попала — как? откуда? смертоносная бацилла русского интеллигента — «скептицизм». Разница была только та, что «интеллигент» в среднем был не сильно умен, а он — Константин Петрович был человек огромного Государственного ума.

Чего только не мог вместить этот ум! Тут и ночные, до утра, беседы с Достоевским, жаркие — до рассвета — споры с «безбожником» В. В. Розановым… Ум огромный, пытливый, и ум, повторяю, отравленный самым безнадежным скептицизмом, и тут же единая, непреклонная воля и неумолимые действия. Фигура эта на фоне разложения огромного сословия интеллигентского класса стояла одинокой и трагической. Вот этот-то человек и прошел сейчас мимо нас так медленно, медленно в первые ряды собравшихся, туда, где должны были стать Государь с Государыней и где уже стояли Великие Князья.

Еще мгновение и в открытые настежь двери послышалось потрясающее «ура» и колокольный звон. — К собору подъехал

Государь. Еще минута, и он вошел (сейчас же после Победоносцева), такой молодой, такой скромный, с глазами газели и такой беспомощный…

В нем все было, но не было и тени правителя России, вершителя ее воли, ее деяний, ее «так я хочу»… О, это ни в какой мере не был «Самодержец», диктатор.

Государь был в Преображенском парадном полковничьем мундире с «Андреем Первозванным» через плечо. С ним вошла Императрица, тогда такая молодая великолепная красавица с английским типом лица. Она была роскошно одета и была прекрасна…

Медленно оба прошли вперед к колонне перед главным иконостасом и иконостасом дьяконника. Стали почти перед самой моей «Варварой». Для них были поставлены два золоченых кресла Екатерининского времени, — кресла с Императорскими инициалами.

Чин освящения начался суровым красавцем — Митрополитом Киевским и Галицким Иоанникием со множеством епископов и чуть ли не со всем Киевским духовенством.

Нас с Васнецовым и Котарбинским замяли куда-то к стене, и мы простояли бы (герои-то дня!) там в блаженной тишине всю службу, если бы кто-то, какая-то сердобольная душа (помнится, какая-то дама), случайно не увидела, что некий исполнительный и рачительный не в меру пристав теснил нас еще дальше: мы почему-то мозолили ему глаза. И вот в этот самый момент «сердобольная душа» увидала это, возмутилась, прошла вперед, сказала Генерал-губернатору, графу Игнатьеву и… Константину Петровичу Победоносцеву, сказала им, что тех, «кто создал Собор, кто должен быть впереди всех» — Васнецова и Нестерова — какой-то пристав… и т. д. Немедленно после этого последовало приглашение нам пройти вперед, и мы — все художники — получили место сейчас же за Государем и Великими Князьями. Обида была забыта, и мы, счастливые, стояли и молились от всего сердца и за Россию, и за ее молодого Царя, и за весь народ наш, который всегда, во все дни его жизни, его славы и его бесславия любили мы…

Освящение подходило к концу. Предстоял крестный ход вокруг Собора во главе с Митрополитом, со всем духовенством, Государем и всей Царской фамилией, а также избранными, особо почетными лицами. Вот тут-то мы — «герои дня» — снова были позабыты и не попали в число тех, что пошли в Крестном ходу. Это было горько, — особенно Васнецову, положившему на Собор весь свой огромный талант и десять лет жизни…

Об этом Государь и все те, кто нас ценили, узнали после

службы, когда все было кончено.

А произошло это от причины самой бытовой, так сказать, «семейной». Во главе распорядка торжества освящения стоял Викарный епископ Сергий (Ланин), — молодой, вспыльчивый, но даровитый человек. Он был в сильных неладах с Праховым и не любил Собор наш, а следовательно, и нас — художников-соборян. (Не любил Владимирский собор и суровый митрополит Иоанникий, говоря, что он «не хотел бы встретиться с васнецовскими пророками в лесу».) Так вот этот-то епископ Сергий, так сказать «церемониймейстер», взял да и *не включил* нас в список тех, кто должен был участвовать в крестном ходу, и нас *попросту не пустили,* и мы, огорченные, взволнованные простояли на своих, теперь правда, почетных местах во все время Крестного хода.

А день был такой дивный, солнечный. Несся по всему древнему Киеву колокольный звон. Народу было множество. Но что делать? Люди, хотя бы они и носили епископский сан, все же люди с их страстями, счетами и расчетами.

Вот возвратился Крестный ход. Началась литургия. Государь усердно молился. Наконец, «Многолетие». Государь и Императрица обращаются к нам, благодарят, хвалят Собор и говорят, что через день или два приедут в Собор нарочно, чтобы осмотреть его без народа, подробно. Затем прощаются и, провожаемые Митрополитом, выходят из Храма.

Там несется опять многотысячное «ура»… Государь уезжает и церемония кончена. Мы еще остаемся, прикладываемся ко кресту.

Митрополит Иоанникий нам ни слова. Твердый был человек!.. Зато к нам подходит множество присутствующих, незнакомые знакомятся, восхищаются, благодарят нас.

А вот и сам Константин Петрович подходит к нам. Его суровости как не бывало. Он весь сияет. Это и его праздник. Ведь он всю жизнь искал в людях намека на идеалы, на их осуществление, а вот тут ему кажется это осуществление есть. Группа художников, позабыв все, проработала за гроши над делом ему дорогим, близким десятки лет. И он всячески спешит нас приветствовать, обласкать. Говорит с нами совсем не по-«победоносцевски», а просто, задушевно, горячо (вот так, должно быть, он говорил и о многом с Ф. М. Достоевским).

Все расходятся, и мы в каком-то чаду, в полусознании от пережитого плетемся домой. Надо отдохнуть. Плохо проведенная ночь, раннее вставание и затем все «пережитое», что называется, уходило нас.

Вернусь несколько назад. Приезд Государя в Киев, как и всюду где он ни появлялся, сопровождался каким-нибудь

несчастьем. И теперь (он ехал из Австрии, делал свой первый по воцарении визит престарелому Императору австрийскому Францу-Иосифу) в его свите был Министр иностранных дел Князь Лобанов-Ростовский, от которого «русская партия» ждала много хорошего. И вот теперь, почти у самого Киева, в императорском поезде внезапно умирает Князь Лобанов-Ростовский. Государь очень огорчен, и все опять чувствуют как бы присутствие какого-то «Рока»…

До вторичного посещения Государем Собора в Киеве шли торжество за торжеством. В Купеческом собрании был парадный концерт и затем великолепная иллюминация сада, всего Киева и Заднепровья.

Перед концертом во дворце был парадный обед. Из соборян туда были приглашены только двое: Прахов и В. М. Васнецов. После обеда Государь, по обыкновению, обходил приглашенных, беседуя с каждым две-три минуты, и, когда подошел к далеко стоявшему Васнецову, то, забыв церемониал, разговорился с Виктором Михайловичем о Соборе, об искусстве, высказал ряд живых, образных мыслей, сравнив искусство с великой рекой, в которую вливается множество ручьев народной жизни, событий, историй и проч<ее>.

Окружающие недоумевали, почему Государь чуть ли *не четверть часа* разговаривает с человеком нечиновным, не украшенным звездами, и так просто, сердечно, неофициально. Многие не знали в лицо Виктора Михайловича, такое внимание казалось странным, если не более того. А Государю, видимо, вовсе не хотелось продолжать свою скучную обязанность, — хотелось поговорить «по-человечески» с этим умным, даровитым, ему преданным *русским* человеком. Но Царские обязанности — тяжелые обязанности.

На концерт же все участники создания Владимирского собора были приглашены и на нем присутствовали.

Появление Государя в ложе вызвало взрыв энтузиазма. Все были так воодушевлены, что только диву даешься, куда это все бесследно пропало.

Концертом дирижировал Виноградский — музыкант и дирижер очень талантливый, даровитый. Он был одновременно директором Киевской консерватории (лучшей из провинциальных тогда) и директором… одного из банков. Виноградский был очень нервный, подвижной и страшно увлекался за своим дирижерским пюпитром. Его телодвижения и гримасы были презабавны и служили для киевлян источником всяческих острот. На парадном концерте Виноградский не изменил своей дирижерской манере. Изгибался, несся куда-то вперед, замирал на «пианиссимо» и

опять бросался куда-то в сторону гобоев, контрабасов и прочего. И вот в один из этих его «пароксизмов»… у него во всю спину *лопнул фрак*. К счастью, он, в своем артистическом увлечении, этого не почувствовал, но заметили все и Государь тоже, едва заметно улыбнувшись.

Во время антракта Государь с Государыней, вся Царская семья и мы — все присутствующие на концерте вышли в сад, откуда было чудное зрелище на Заднепровье, усеянное тысячами огней. Сотни иллюминованных пароходов шныряли по Днепру. Отовсюду неслась музыка, все приветствовало тогда Царя…

Путь, по которому проходили молодые Царь и Царица, был усеян цветами. И так было, и я был тому свидетелем.

После второго отделения Высокие гости отбыли во дворец.

На другой день было катанье на пароходах по Днепру. На одном из них был Государь и Государыня со своими близкими, а на сотне других приглашенные Киевляне. Мы — соборяне также участвовали в этой прогулке до Китаева и обратно.

На 22 августа был назначен Высочайший осмотр Собора. Было сказано, что будут лишь Государь, Государыня, Великий Князь Михаил Николаевич, Великий Князь Владимир Александрович с Великой Княгиней Марией Павловной.

Должны быть в Соборе Настоятель его — Протоиерей Корольков, Прахов и мы — трое художников: Васнецов, Котарбинский и я. Сведомские в это время снова жили в Риме. Еще была семья Прахова, две дочки и приятель его — фотограф Лазовский.

Ровно в два часа прибыли Государь, Государыня и Великие Князья с Великой Княгиней. Государь был в летнем кителе, Императрица в дивном светло-сиреневом туалете, с чудным жемчугом в ушах. В дверях их встретил Настоятель собора с крестом. Все приложились. Выступил на сцену наш Адриан Викторович: всех нас представил. — Государь, Императрица и остальные гости поздоровались с нами и осмотр Собора начался.

Нужно было видеть и слышать нашего «соловья». Все его явные и тайные таланты взыграли, запели. Ведь это была его «стихия». Он тут, перед такой аудиторией, был еще более блестящим, чем мог быть в лучшие свои минуты. Какие слова, сравнения, примеры из истории искусств всех времен и народов сыпались, как из рога изобилия, из неисчерпаемой фантазии нашего профессора. Он весь сиял и заражал собой всех.

Мы, художники, смиренно следовали за Высокими посетителями, внимая нашему «соловью», а он-то пел, пел и как пел! Время от времени Прахов вспоминал о нас и указывал на нас, как бы призывая взглянуть: «Вот подите! Такие увальни, а что

понаделали!» А увальни опускали очи и так и оставались увальнями…

Был пропет блестящий дифирамб знаменитой Васнецовской «Богоматери в абсиде», не были позабыты мраморы, бронза и прочее, что было сделано по рисункам самого Прахова. Останавливались и очень хвалили Плащаницу, шелком шитую по оригиналу Васнецова дочерью Прахова Еленой Адриановной, нашей прелестной «Лелей Праховой».

Подошли к главному иконостасу. Опять каскады похвал, сравнений и прочее. Дальше иконостас дьяконника с моей «Варварой». Тут Прахов наддает пару, указывает на одного из «увальней», говорит, что «Св. Варвару» создал вот здесь присутствующий Михаил Васильевич Нестеров.

Все смотрят, любуются образом. Государь говорит, обращаясь ко мне, что «мы с Императрицей всю обедню любовались Вашей „Варварой“». — Я почтительно кланяюсь.

Осматривают алтарь. Нет тех похвал, какие не были бы сказаны Васнецову. Теперь он говорит с Государем и с Государыней (которая еще не решается много говорить по-русски) на вятско-парижском жаргоне. Но ничего, — оба понимают друг друга, и все идет отлично.

Низ собора осмотрен. Поднимаемся на хоры, где мои два иконостаса — запрестольное «Рождество» и «Воскресение Христово».

Направляются сначала к приделу «Бориса и Глеба». Государь еще издали, увидев «Глеба», говорит: «Узнаю Нестеровскую живопись. Это Глеб?» — смотрит вопросительно на меня. Я подтвердил.

В открытые Царские врата видно «Воскресение». Опять похвалы, обращенные ко мне. Прахов сияет. Ему почему-то особенно приятно, что я имею успех. Я ведь, по его мнению, тоже его создание.

Проходим к приделу Св. Ольги. В открытые двери видно «Рождество», давно известное в Петербурге по фотографиям. Опять самые приятные отзывы. Особенно останавливает на себе внимание Св. Ольга. Ее все хвалят, Прахов в самой очаровательной форме замечает, что это скорей «Олюшка», чем Ольга.

Великий Князь Михаил Николаевич вслух замечает, обращаясь ко мне, что «Эта Ольга мне больше нравится, чем внизу». Васнецов, идущий теперь позади меня, это слышит, но сегодня он так пресыщен похвалами, восторгами, что пропускает это замечание мимо ушей.

Осмотр Собора кончен. Три часа. Высочайшие гости снова

внизу, снова восхищаются от входа «Богоматерью». Затем всех нас благодарят, подают нам руки и хотят уходить, как вдруг в самых дверях замечают коленопреклоненную фигуру «пана Лазовского» — киевского фотографа, снявшего со всего Собора фотографии и теперь «падам до ног», подносящего альбом фотографий Государю.

Государь посмотрел на него сурово, сказал «встаньте» и прошел дальше. Альбом был потом передан по назначению.

Такой неуместный поступок Лазовского нарушил простоту и искренность всего до того происходившего и очень огорчил нашего Котарбинского — тоже поляка, державшего себя с большим достоинством и простотой.

Высочайшие особы, провожаемые нами до экипажей, приветливо с нами распрощались и, при колокольном звоне, при криках «ура» собравшейся у собора толпы, отбыли во дворец.

Мы, оставшись одни, предались радостному чувству, перецеловались друг с другом и отправились по домам, чтобы отдохнуть, пообедать и в 7 часов быть на вокзале для проводов Государя, который в тот же вечер уезжал в Бреславль, Берлин для визита Императору Германскому Вильгельму II.

Так произошло одно из самых памятных событий в моей жизни. Много воды утекло с тех пор… Все, что было, «поросло травой забвенья», и я почти один остался из тех, кто участвовал в этом большом и для нас радостном торжестве.

По отъезде Государя, мы, участники создания Собора, дали большой обед со многими приглашенными в Купеческом саду нашему шефу, отцу-командиру Адриану Викторовичу Прахову, талантливейшему человеку, блестящему ученому и все же дилетанту по своей природе. Много было за обедом тостов, речей, воспоминаний, пожеланий…

В день отъезда из Киева мы — художники — служили в новом Соборе благодарственный молебен. Настоятель после молебна сказал слово, обращенное ко всем молящимся (Собор первое время постоянно был полон молящимися и любопытными) и к нам — художникам. Он просил молящихся полюбить Собор, как любили его мы — художники. Нам же ученый Протоиерей пожелал в будущем написать еще лучшие образа и не на медных уже досках, а на золотых… Ученый оратор полагал, что от «золотых» досок выиграет искусство или мы — художники — тем самым превознесемся выше облака ходячего… За «золотыми досками» он позабыл и «душу художника», ее священное горение, увы! независимое ни в какой мере от того, на чем он — художник — будет писать, создавать, творить высокое, непостижимое, вечное…

В тот же вечер мы с Васнецовым выехали в Москву. На вокзале нас провожали друзья-соборяне, а также старые и новые наши почитатели.

Москва — Петербург… 1896–1897

В Москве снова Кокоревка и окончание картин — «На горах», «Труды преп. Сергия» и «Чудо» (Св. Варвара).

Снова постоянно народ, приятели-художники и просто знакомые, их теперь, после освящения Владимирского собора, прибавилось… Помню, был несколько раз Суриков. Ему из трех картин больше нравится «На горах» — наш уфимский пейзаж. Как-то зашел ко мне Серов — редкий у меня гость и строгий судья. Ему понравилось «На горах», а от «Чуда» он пришел в ужас…

Заехал как-то Остроухов. Ему понравилась «На горах» и, что уже совсем неожиданно, очень понравилось «Чудо». Таких отзывов об этой картине мне еще не пришлось слышать. Остроухов, склонный к преувеличению и озабоченный тем, чтобы его мнение не было похоже на мнение других, сказал, что «„Чудо“ — моя лучшая вещь, прибавив, что ставить ее на выставку необходимо» (я хотел «выдержать» ее в мастерской), что «Чудо» будут ругать, но что вещь эта — тонкая, интересней панно Врубеля. Ну, хорошо, думаю, посмотрим.

Был и Васнецов в мастерской, хвалил вещь как-то преувеличенно. Его в то время стал сильно донимать Прахов. Причиной тому был киворий, перенесенный из алтаря в крестильню.

Был Левитан. «Чудо» и ему понравилось.

Как-то Васнецов дал мне прочесть полученное из Франции письмо Третьякова. В нем Павел Михайлович отзывался о Владимирском соборе как об одном из самых вдохновенных по живописи новых храмов Европы…

Постоянные гости. Была Елена Дмитриевна Поленова. Вещи мои пришлись ей по душе. Она проявляла ко мне особенные симпатии, да и все единодушно тогда находили, что мое искусство крепнет, идет «в гору», что я делаю успехи в форме. Последнее меня особенно радовало, так как за пять лет собор мог меня приучить к большой распущенности в рисунке.

Зато нервы мои после всех пережитых событий поиспортились, и мне посоветовали лечиться гипнотизмом у славившегося тогда молодого ученика Шарко проф<ессора> Токарского. Первые опыты Токарского были удачны, но я скоро вышел из-под влияния, а затем и вовсе бросил это надоевшее мне занятие.

Тогда я писал отцу: «На днях появилась жестокая статья о Васнецове в „Журнале философии и психологии“. Васнецов, как

Вагнер, станет еще выше, еще значительнее. Слава о нем сейчас разносится повсюду»[252].

Познакомился я с молодым фон Мекком. Он заказал мне два небольших образка на могилы его родителей, похороненных в Новодевичьем монастыре. Фон Мекк в те дни был в полосе увлечения русской живописью. Приобрел у Анатолия Ивановича Мамонтова васнецовскую «Аленушку», позднее врубелевского «Демона» и «Пана». Он был с художественно развитым, капризным, но несомненным вкусом.

Было бурное собрание Передвижников, на котором отличился наш В. И. Суриков, наотрез отказавшийся дать свои вещи для репродукций в юбилейном издании[253], прося за право репродукции с Товарищества 2000 руб<лей>. Причем со свойственной ему бесшабашностью заявил, что в последнее время религия его — деньги.

В компании художников был на «Рогнеде» в Мамонтовском театре. Постановка и декорации были исполнены В. А. Серовым и К. А. Коровиным превосходно[254].

Был у Серова, видел последние вещи. Они слабее прежних, хотя мастерство остается. Беда Серова в том, что природа отказала ему в воображении. Его эскиз «Мамаево побоище» для одной из стен Исторического музея — слаб[255]. Серов старался убедить зрителя, что без исторического видения, без особого чутья обойтись можно. Серов силен не этим. Он подарил мне акварельный рисунок Князя Владимира для «Рогнеды»[256].

Были на свадьбе Алексея Степановича Степанова, нашего «Степочки», женившегося на Медынцевой из богатого купечества. Она была мила, сам Степочка — очарователен. Выглядел немного «федотовским майором». Аполлинарий Васнецов был шафером. Он долго репетировал свою роль, чтобы не оплошать перед именитым московским купечеством. Во время венчания сильно волновался, был бледен, растерян, много способствовал нашему веселому настроению. Казалось, что бедный Аполлинарий побаивается, чтобы «по ошибке» не женили его, вместо Степочки. Потом мы долго изводили Аполлинария тем, что старик Медынцев, любивший одинаково хорошего повара и хорошего художника, выдаст его «замуж» за вторую свою дочь, смело укрощавшую огромного дога, беря его за пасть.

Был юбилей Репина. Почтенный Илья Ефимович немало сделал бестактностей, вызвавших газетную грызню[257]. Поленов также праздновал свой юбилей. Он прошел без инцидентов.

Заболел Левитан. При входе на выставку «Московских художников» с ним сделалось дурно[258]. Еле живого его привезли домой. На другой день его осмотрел профессор Остроумов,

признал сильнейший порок сердца. Болезнь неизлечимая, хотя при самом покойном образе жизни, для Левитана по многим причинам немыслимом, он мог бы прожить 5–10 лет. Нас всех: художников и почитателей прекрасного, такого искреннего, поэтического дарования Левитана, его болезнь очень тяжело поразила. Я любил этого человека не только за его талант, но и за хорошую, нежную душу его…

В конце ноября у меня и у Аполлинария Васнецова побывал П. М. Третьяков. Был мил и любезен, но не взял ничего. Третьяков купил коллекцию этюдов молодого Борисова, ездившего на Новую Землю. Ценность не художественная — этнографическая.

В декабре пришлось ехать в Петербург на юбилейное собрание Товарищества передвижников. Работал весь декабрь над образами иконостаса храма Воскресения. Парланд сообщил, что решено весь храм Воскресения покрыть мозаикой и желательно, чтобы я взялся написать Христа для купола. Парланду отказал.

Предлагали написать иконостас для собора в Баку. Отказал.

В декабре, в письме к отцу отмечено, что «в Мамонтовском театре появился некий Шаляпин — вятич лет двадцати трех-двадцати четырех, с огромным талантом и с прекрасным голосом. Сегодня он поет в „Псковитянке“ Грозного»[259].

Так закончился для меня 1896 год.

Новый 1897 год начался заботами и хлопотами об устройстве моей Ольги в Киевский институт. Киев меня знал по Владимирскому собору, там оставалось немало друзей, между коими была начальница института — графиня М. А. Коновницына. Мария Акинфиевна делала все, чтобы облегчить поступление Ольги. Хорошо поставленный Киевский институт (Императора Николая I) выделялся из всех провинциальных: Графиня Коновницына живая, энергичная, с добрым, отзывчивым сердцем, душу полагала в дело, ей порученное.

Одновременно я готовился к Передвижной выставке. В тот год у меня были «Труды преп. Сергия» и «На горах». Кроме картин я написал для иконостаса храма Воскресения четыре образа.

Во второй половине февраля художники, полные надежд, двинулись в Питер. Выставка была юбилейная (двадцатипятилетие Товарищества). Я впервые, как член Товарищества, должен был принять участие в приеме экспонентских картин, в выборе новых членов. Решил, что буду голосовать только за талантливых — бесталанных к тому времени накопилось на Передвижной достаточно… Но в члены Товарищества в тот год прошел один Костанди. Костя Коровин,

Досекин и Пастернак были забаллотированы. Мы — тогдашняя молодежь — этим были возмущены[260].

Выставка была в неудобном помещении Общества поощрения художеств. Перед открытием выставки был президент Академии художеств Вел<икий> Кн<язь> Владимир Александрович. Государь по болезни в тот год был у нас лишь в конце выставки. Традиционный обед Товарищества, несмотря на то, что выставка была юбилейная, прошел вяло, и только при появлении старика Шишкина раздались бурные приветствия.

Центром выставки был васнецовский «Грозный», еще в Москве приобретенный Третьяковым. Другой крупной картиной был долгожданный «Иуда» Ярошенко. Картина Николаю Александровичу не удалась, он с сокрушенным сердцем это видел. Неудачна была и большая картина Мясоедова «Искушение Христа». «На горах» и «Труды преп. Сергия» поставлены были удачно. Соседями были Левитан, Серов, Константин Маковский.

Отношение к «Грозному», как и к моим вещам, было сдержанное. Лемох спросил Архипова, нравится ли ему «Грозный». Последний ответил — «нравится». Тогда всегда сдержанный, корректный Лемох в недоумении спросил Архипова: «Тогда, может быть, вам нравится и Нестеров?» Ответ был как будто бы утвердительный.

Репин к другу своей юности В. Васнецову за «Грозного» был беспощаден. Обходя со мной выставку, Илья Ефимович, остановившись у «Грозного», заметил вскользь: «Обидели Грозного…» и, постояв у картины, спросил наивным тоном: «Что это у него в руке? Очки?» — Я сказал: «Лестовка»[261].

С «Грозным» было то же, что за два года перед тем с Суриковским «Ермаком». Обе картины вовсе не вызывали споров. К ним остались равнодушны. Будущее показало, что «Грозный» и «Ермак» были разноценны. Время обнажило все недостатки «Грозного», «Ермак» же возрос с годами в своем значении до «Морозовой» и, быть может, превысил эту великолепную картину компактностью композиции и мистическим воодушевлением.

В Академии художеств произошли волнения среди академистов. Около четырехсот человек было уволено. Профессору А. И. Куинджи было предложено оставить Академию. Она закрылась на неопределенное время[262].

В тот мой приезд в Петербург Прахов всячески старался меня афишировать, всюду возил меня. Я был вместе с ним во дворце гр<афа> Шереметева, на торжественном заседании образовавшегося тогда, под председательством молодого Государя, «Общества ревнителей просвещения в память Императора Александра III». Прахов читал там доклад «О

значении передвижников и об отношении к ним покойного Государя». При этом большое место было отведено Владимирскому собору. Собор и был центром праховского доклада. Он был, по его докладу, художественным центром Русского искусства в эпоху Александра III. Наши имена, особенности дарований были разукрашены так, что я не знал, куда деваться.

На заседании была вся петербургская знать: Победоносцев, Делянов, ожидали вдовствующую Императрицу.

В те дни я встречался с Праховым то там, то здесь. То на Дягилевской выставке шотландцев[263], то в Академии. Прахов был всюду и везде. Ходили слухи, что он не сегодня-завтра будет назначен вице-президентом Академии художеств вместо Толстого, что Прахов заменит бездарного Парланда по сооружению храма Воскресения… А наш Адриан Викторович был таков, что от него можно было ожидать всяких неожиданностей…

С Праховым попал я на званый обед к только что назначенному Варшавскому генерал-губернатору Светлейшему князю Имеретинскому. Сам Князь не был с виду ни породист, ни красив. Об уме его были слухи разноречивые, но тактичным он был, что показало его пребывание в Варшаве. Сама Княгиня, урожденная графиня Мордвинова, дочь известного художника, графа Мордвинова, была еще менее представительна, чем ее муж, но приветлива и не худо рисовала, будучи ученицей Шишкина.

В особняке Имеретинских на Царицынском лугу нас встретили очень любезно. Перезнакомился с какими-то важными, отжившими свой век стариками и старухами, поклонниками Владимирского собора. Была художница Куриар, с ней и пришлось мне сидеть рядом за обедом. К тому времени я совсем освоился с этикетом подобных домов, ни мало не терялся, но ручек дамам не целовал.

В тот приезд мой в Петербург с меня написал схожий, но малоинтересный портрет Н. Д. Кузнецов. Портрет этот находится в Уфимском музее.

Парланд снова обращался с предложением взять еще что-то для храма Воскресения — я отказался.

В начале марта я уехал в Москву. Весна в тот год была ранняя. Приближался месяц, когда Олюшка должна была ехать в Киев держать экзамен в Институт.

У меня созрела мысль принести Третьяковской галерее, тогда уже подаренной Павлом Михайловичем городу Москве, две свои картины и эскиз из жизни Преподобного Сергия. Картины «Юность пр. Сергия» и «Труды Преподобного» в свое время не были взяты в галерею. Между тем общество их ценило. Мне

казалось, что весь цикл картин из жизни преподобного Сергия должен быть в Москве, вблизи места его подвижничества. Я посоветовался с близкими и письмом к Третьякову, как пожизненному попечителю галереи, просил его принять названные вещи в дар городу Москве.

> «Глубокоуважаемый
> Павел Михайлович!
>
> Обращаюсь к Вам, как к основателю и попечителю Московской городской Художественной галереи…
>
> Давнишним и заветным желанием моим было видеть задуманный мною когда-то ряд картин из жизни Преподобного Сергия — в одной из галерей Москвы, с которой имя Преподобного связано так тесно в истории России. Теперь, когда начатое дело может считаться доведенным до конца (частью — в картинах, частью — в эскизах), я решил просить Вас, Павел Михайлович, принять весь этот мой труд в дар Московской городской Художественной галерее, как знак моего глубокого почтения к Вам.
>
> В настоящее время в распоряжение галереи может поступить картина „Юность Преп. Сергия“ и акварельный эскиз „Прощание Преп. Сергия с Вел. Кн. Дмитрием Донским“. Картина же „Труды преп. Сергия“ будет доставлена в галерею по окончании выставки в провинции. Если пожелаете, Павел Михайлович, осмотреть эскиз и картину „Юность преп. Сергия“ в ее законченном виде, прошу пожаловать ко мне в мастерскую, от 10 ч<асов> утра и до 3-х я бываю дома ежедневно»[264].

Павел Михайлович, по получении письма моего, немедленно явился ко мне и в самых трогательных выражениях благодарил меня «за сочувствие его делу». Затем, когда вещи были уже в галерее, я получил официальную благодарность от Кн<язя> Голицына, тогдашнего Московского городского Головы. Таким образом, весь цикл моих картин из жизни Сергия Радонежского с того времени стал достоянием Русского общества — народа. По слухам, что доходили до меня, поступок мой был принят хорошо. Мне говорил об этом и Виктор Михайлович Васнецов и другие. Вообще в те дни ко мне многие были настроены более чем сочувственно. Говорили, что я для многих сейчас ближе, чем Васнецов.

В Москве «На горах» приобрела немало почитателей. Здесь она и выглядела по-иному. Деловому Питеру мало было дела до

того, что на душе у моей героини, или, как некоторые называли ее, «Фленушки»[265].

В мае Олюшка с моей сестрой ездили в Киев. Там она держала экзамен в институт, выдержала его и вернулась в Уфу до осени. В Киев должен был и я переселиться на долгие годы.

Пока что я устроился около Троицы в Вифании, там работал до отъезда своего в Кисловодск, куда еще зимой обещал приехать Ярошенкам, к которым все более и более располагалась моя душа.

Кисловодск. «Молниеносная» любовь

В начале августа я был в Кисловодске. Николай Александрович Ярошенко тогда только что вернулся из заграницы. Он был совсем без голоса. Говорили, что у него, несомненно, горловая чахотка. Он по-прежнему был мил, остроумен и хорошо настроен ко мне.

В Кисловодске в то лето было еще двое тяжелобольных — чахотка в последней стадии — молодых художника: сын покойного В. Г. Перова — Владимир, малодаровитый, малоприятный красивый молодой человек и Сергей Анфимович Щербиновский, тоже красивый, как оперный Ромео, очень мягкий, деликатный, не даровитый человек. Щербиновский был брат так называемого «Митеньки» Щербиновского, способного, безалаберного болтуна-художника. Сергей Анфимович часто бывал у Ярошенок.

В то лето я написал с Николая Александровича Ярошенко небольшой, слабый по живописи, но довольно похожий портрет на воздухе, в саду, теперь находящийся в Полтавском музее.

Тогдашнее пребывание в Кисловодске осталось памятным мне на всю жизнь еще тем, что там я вторично испытал сильную любовь, ее чары, радости, горести, волнения в такой неожиданной и бурной форме, как, быть может, не пережил в свои юношеские годы.

Как-то, помню, я возвращался от Ярошенок с Сергеем Анфимовичем Щербиновским. Дело было к вечеру. Шли к себе домой, разговаривая о том о сем. Щербиновский неожиданно остановился около маленького голубого домика и просил подождать его минуту-другую, пока он переговорит со своей тифлисской знакомой. В открытое окно Щербиновский окликнул свою знакомую по имени, и тотчас же из окна раздался чарующий, такой глубокий, мелодичный и неотразимо прекрасный, как у Дузэ, голос: «Анфимыч, это вы?» Той, что говорила, не было видно за тюлевой занавеской, и она продолжала перекидываться с Анфимычем ничего не значащими фразами, но то, что слышало мое ухо, было так музыкально, так неожиданно прекрасно и трогательно задушевно, что я, стоя поодаль, не мог без волнения слушать. Невидимая незнакомка пригласила Анфимыча зайти к ней, но он сказал, что не может, что он не один и, на вопрос с кем, назвал мое имя.

Поговорили минут десять, попрощались, и мы с Щербиновским пошли своей дорогой, а дивный голос, его божественная музыка преследовали меня неотступно, и я спросил

Анфимыча, с кем он говорил, кто обладательница этого волшебного голоса. Он назвал итальянское имя, под которым моя незнакомка пела тогда в Кисловодске в опере. Все, что я узнал о ней, все меня влекло к ней, и я просил милого Анфимыча при случае познакомить нас.

На другой или на третий день мы снова проходили с Щербиновским мимо голубого домика, скорей — казацкой хатки с незамысловатым крылечком, и Щербиновский опять окликнул свою приятельницу. Опять та же дивная музыка. Незнакомка просила подождать минутку — она собиралась в театр.

Прошла довольно длинная минутка, когда на убогом крылечке показалась она, такая гибкая, хорошего среднего роста, в накинутом итальянском плаще с капюшоном. Лицо веселое, задорное, со вздернутым носиком, на котором как-то выразительно сидело пенсне, а из-под накинутого капюшона капризно выбивались на лоб, на глаза пряди волнистых волос.

Нас познакомили. Она знала «Варфоломея» и еще что-то. Полились дивные звуки не песни, а простой речи, но столь музыкальные, столь задушевные и трогательные, что хотелось слушать и слушать без конца. Мы шли улицей, потом парком.

Я старался, как художник, не только наслаждаться музыкой, но рассмотреть и самый инструмент, который обладает таким дивным свойством. Л. П., так звали г<оспо>жу С., была ни в коем случае не красавицей. В ней поражало, очаровывало не внешнее, а что-то глубоко скрытое, быть может, от многих навсегда, и открывающееся немногим в счастливые минуты. Через веселую, остроумную речь сквозили ум и какая-то далекая печаль. В глазах эта печаль иногда переходила в тоску, в напряженную думу, и тогда задорный вздернутый носик так не гармонировал со складкой упорной думы над ним.

Словом, у моей новой знакомой если и была красота, то весьма субъективная, спорная красота. Но ее голос, его особые вибрации, выпадения букв «л» и «р» для меня лично были совершенно неотразимы. И, как бывает у людей моего порядка, соприкосновение с Л. П. вызвало наружу такой комплекс чувств, впечатлений, образов и слов, что наш бедный Анфимыч, при всей его необычайной красоте оперного Ромео, сразу полинял.

А мы с Л. П. куда-то неслись, нас что-то увлекало дальше и дальше в какую-то волшебную даль. Через два-три дня мы были друзьями, а через неделю мы уже не могли обойтись один без другого. Мы страстно полюбили друг друга. Начались дивные ночи, безумные ночи. Красные камни, серые камни, окрестности Кисловодска знали, слышали то, о чем мы говорили, мечтали, думали, гадали. Анфимыч давно понял, что он лишний, а мы

были ему благодарны лишь за то, что он нас познакомил.

В те дни, когда Л. П. была занята на сцене, в театре бывал неуклонно и я. Голосок у моего друга был небольшой, приятный и неказенный голосок, но он и следа в себе не имел того, что было в ее разговорной речи.

Мадемуазель С. лет семь прожила в Париже, брала уроки у Виардо, что едва ли прибавило много к ее сценическому дарованию. Ее роли Зибеля, Вани и другие контральтовые партии были исполняемы умно, старательно, но не более.

Конечно, при каждом ее выходе подносились то букет, то венки, преимущественно из белых цветов, чайных роз… Кто были эти «многочисленные поклонники Зибеля», знали только мы с Л. П.

Кончался спектакль, и я уже ждал ее у актерского входа. Она поспешно появлялась в своем итальянском плаще с каким-то капуцинским капюшоном, небрежно наброшенным на кудрявую головку. На задорном носике задорно сидело пенсне. Она была усталая, неудовлетворенная своей игрой, но стоило только остаться нам вместе, и все оживало. Моя «Дузэ» касалась меня своим волшебным, чарующим голосом. И счастье вновь воцарялось в наших сердцах.

Конечно, это было не то счастье, что пережито было когда-то в юности с покойной моей Машей. Той юношеской свежести, той как бы целомудренности здесь, может быть, и не было. Но тут было счастье родственных душ, душ двух артистов, двух равноценных культур, развитий, чего не было в первом случае. Так или иначе, но мы обрели друг друга, полюбили так, что казалось жить нам порознь хуже, чем не жить вовсе. И это «вовсе не жить» в минуты утомления любовным нектаром было для нас таким естественным выходом.

Ярошенки скоро проведали обо всем. Я сознался и просил разрешить представить им свою невесту и на другой день был с ней у Ярошенко. Экзамен был строгий, но Л. П. его выдержала. Была находчива, задорна, остроумна, хотя складочка между бровей была еще резче, а глаза еще более усталые, измученные…

Она понравилась, несмотря на то, что у Марии Павловны для меня были особые виды. Я должен был, по ее мнению, жениться на богатой, а Л. П. была бедна, жила тем, что зарабатывала на сцене у своего антрепренера Форкатти. В ней одновременно жили как бы две души. Живая, впечатлительная душа ее матери — итальянки, и меланхолическая, мистически напряженная душа отца, русского интеллигента-волжанина. Париж и что-то всегда недоговоренное, глубоко затаенное, быть может, какая-то таинственная связь с русской эмиграцией тех времен, делало

моего любимого друга временами беспомощным, глубоко несчастным. И это были страшные для нас обоих минуты, часы. Что-то третье становилось между нами и угрожало нашему счастью. Но таинственные воспоминания или непосильные обязательства забывались, и мы оба снова оживали и бурно, беззаветно любили друг друга. Летели часы, дни, недели.

Опера Форкатти окончила свой обязательный срок в Кисловодском театре, и вся труппа уезжала в Тифлис, где она зимовала. Приходил и конец нашим встречам. Настал последний спектакль. Л. П. пела в «Фаусте». Получила большой венок чайных роз «от почитателей», а на другой день уезжала из Кисловодска с тем, чтобы по окончании контракта с Форкатти бросить сцену и быть моей навсегда.

Вот настал и последний день. Я еду вместе с Л. П. до Минеральных Вод. Ее провожают до Тифлиса ее друзья — мать и дочь — графини Т. Всю дорогу мы говорим, спешим сказать все недосказанное. Л. П. выглядит разбитой, постаревшей (ей тогда было лет двадцать семь — двадцать восемь). Вот и Минеральные. Здесь пересадка на Владикавказ — Тифлис. Часа два мы ждем поезда.

Моя невеста изнемогала от печали, я тоже был сам не свой. Наконец, подали поезд. Она в вагоне. Смотрит из окна постаревшая, бледная, бледная. Что напоминает еще о недавнем — это дивный голос да упрямая прядь кудрей, пенсне. Остальное все куда-то ушло, погибло. А вот и третий свисток, она у окна, мертвенно-бледная, крестит меня. Я тоже, как потерянный…

Поезд исчезает из глаз. Я еду в опустелый для меня Кисловодск. С дороги несутся открытки. Затем и я уезжаю в Киев, где моя Олюшка уже поступила в институт и куда меня ждут.

Письмо за письмом полетели из Тифлиса в Киев. Сколько жизни, веселья, мечтаний и невыразимой тоски было в этих отзвуках любящей души богато одаренной натуры моей милой. Каждое письмо с новой силой захватывало, восхищало или повергало меня в неизъяснимую печаль.

Каковы были мои письма? — Они, вероятно, были родственны тем, что неслись ко мне с далекого Кавказа.

Так шли дни, недели. Прошло месяца два. День нашего счастья, освобождения от Форкатти приближался, и вдруг я получаю письмо. С обычной поспешностью его вскрываю, пробегаю… и все закружилось в глазах. Л. П. писала, что долгие думы обо мне, о моей судьбе, обо мне — художнике привели ее к неизбежному выводу, что она счастья мне не даст, что ее любовь, такая страстная и беспокойная любовь, станет на моем пути к моим заветным мечтам, что она решила сойти с этого пути и дать

простор моему призванию.

Много слышалось в этом письме душу надрывающих дум, намерений. Все сводилось к тому, что люблю, а потому и ухожу. Такое отчаяние, такой душевный надрыв слышался в каждом слове. Заканчивалось же оно просьбой на это письмо не отвечать, принять все с благоразумной покорностью, и что такова-де «наша судьба». Говорилось, чтобы на мои письма ответов я не ждал, их не будет…

Что со мной было первые несколько дней! Я, как обезумевший, принимал одно решение за другим, перечитывал письмо, изнемог от слез, переболел за эти дни все мое горе и однажды проснулся с холодным сознанием, что «все кончено», мечта унеслась. Остался я опять один…

Проснулся художник, он помог мне и на этот раз в моем горе, в моих поисках горячей любви. Художник опять указал мне на мое призвание — оно должно было заменить мне страсть к женщине. Художник осилил эту страсть, ибо лишь две страсти всю жизнь господствовали надо мной: страсть любовная и страсть к художеству. Обе они давали мне жизнь, смысл и вдохновение. Если бы не было этих двух сильных страстей — я был бы самый ординарный человек, быть может, вредный самодур, пьяница, неудачник на каком-либо житейском поприще. Любви горячей, взаимной, пламенной любви к женщине и к искусству я обязан тем, что я есть, что мое искусство дает людям то смутное волнение, каким волновался я всю мою незадачливую и в то же время яркую жизнь. Итак, и это горе я переболел. Скоро начал свой «Великий постриг». Эта картина помогла мне забыть мое горе, мою потерю, она заполнила собой все существо мое. Я писал с каким-то страстным воодушевлением.

Прошло несколько месяцев. Я неожиданно получил из Тифлиса от графини Т. письмо, она сообщила мне, что Л. П. в полном отчаянии от содеянного, но что изменить своего решения не в силах, что на похоронах умершего от чахотки Анфимыча она сильно простудилась, у нее отнялись ноги, ее увозят на Черноморское побережье… А года через два-три я узнал, что она скончалась в Сухуми…

Между тем Олюшка моя была уже в институте. Ее там все полюбили. По праздникам я бывал у нее на «приемах», и она, теперь седьмушка[266] радостно появлялась в переполненном зале то с голубым, то с розовым бантом, а иногда и с двумя — за успехи в языках, французском и немецком. Однажды, помню, ею был мне рассказан с большим увлечением такой характерный институтский случай. В третьем классе разнесся слух, что по ночам одна седьмушка-лунатик ходит по дортуарам. И вот, когда

девочки вечером перед сном вошли в дортуар, кто-то крикнул: «Идет, идет». Все в панике бросились вон вниз по лестнице, многие попадали, поразбивали лбы, с некоторыми сделалось дурно. Явились все классные дамы, инспектриса, наконец, сама начальница и кое-как паника улеглась.

Начальница была очень заботлива к Олюшке. Иногда она болела, и тогда заботы начальницы к ней удваивались. Скоро моя дочка стала общей любимицей в институте.

В то же время дела художественные шли своим чередом. Дягилев, увидя фотографию с «Чуда», со свойственной ему настойчивостью убедил меня поставить картину на Русско-Финляндскую выставку[267]. Немало любезностей было в его письмах по поводу картины.

Приближалось Рождество. Сестра Александра Васильевна приехала в Киев. Таким образом, Рождественские праздники взятая из института Олюшка прогостила у меня со своей любимой теткой, не знавшей меры в баловстве своей любимицы. Праховы устроили елку чуть ли не нарочно для моей девочки. Все в будущем сулило одно хорошее.

Так закончился для меня 1897 год.

Передвижная выставка. 1898

Наступивший 1898 год начался, как и 1897, хорошо. На Периодической выставке в Москве Великий Князь Сергей Александрович приобрел вариант моей картины «Христова невеста», написанный еще в 1887 году[268]. В начале февраля я выехал в Петербург, где выставлял на Передвижной «Великий постриг», а у Дягилева на Русско-Финляндской выставке — «Чудо».

Перед отъездом пришлось сильно поволноваться.

В институте появилась эпидемия кори, и моя девочка тоже заболела. К счастью, уход был идеальный, и она к моему отъезду была уже вне опасности.

В тот год наплыв приезжих в Питер был огромный, и я едва-едва нашел себе комнату. Любезно и настойчиво предлагал мне остановиться в его квартире добрейший Василий Васильевич Матэ[269]. Квартира у него была в главном здании Академии преогромная. Гостеприимство Матэ было всем известно. У него подолгу живал во время своих деловых наездов Серов. Кроме того, в тот раз Матэ предлагал мне устроиться в одной из больших академических мастерских, так как со мной были образа иконостаса для храма Воскресения и их необходимо было посмотреть в хороших условиях света.

Как всегда, я часто бывал у Ярошенок. Николай Александрович написал в тот год слабый портрет с Льва Толстого и хороший — с Владимира Соловьева.

На Дягилевской выставке царили финляндцы, Эдельфельдт, Галлен и другие. Нас, русских-москвичей, было человек пять. Особым успехом пользовались Врубель и Костя Коровин, нравился и Серов[270].

Мое «Чудо» предполагаемого Дягилевым успеха не имело. Оно было как-то не в стиле выставки. Однако Дягилев продолжал расточать мне любезности и предложил участвовать на его выставке в Мюнхенском Сецессионе[271], просил дать ему «Чудо», «Под благовест» и только что проданную молодому фон Мекку картину «На горах»[272].

Наступал день открытия Передвижной. «Великий постриг» был принят одними восторженно, другими (стариками) холодно.

Накануне открытия выставки явилась закупочная музейная комиссия с Михаилом Петровичем Боткиным — Иудушкой, как его звали, — во главе. Я назначил за «Постриг» четыре тысячи рублей. Это не считалось дорого.

Я случайно был в то время, как комиссия осматривала

выставку, тут же в Обществе поощрения художеств, где меня и нашел М. П. Боткин. Он спросил, что я назначил за «Постриг». Я сказал ему, что четыре тысячи. Он, восторгаясь вещью, стал упрашивать уступить тысячу, предлагая это якобы от лица всей закупочной комиссии, которая единогласно остановилась на «Постриге» для музея императора Александра III. Я продолжал настаивать на четырех тысячах, с тем Боткин и удалился от меня.

Прошло сколько-то времени. Комиссия, окончив осмотр, появилась в залах музея, где, встретив меня, поздравила с успехом и с приобретением картины в музей за… три тысячи рублей. Я в недоумении говорю, что назначил за нее четыре тысячи. Отвечают, что все были согласны дать эту сумму, но Михаил Петрович настоял на трех, объявив, что он «убедил Нестерова уступить».

Я в негодовании стал искать Боткина, а его и след простыл. Тут все стали меня уговаривать, чтобы я не поднимал «истории», что вещь, конечно, стоит больше, но ведь она пойдет в музей и прочее, и прочее… Однако я решил поговорить с Боткиным, а пока что, встретив приехавшего на выставку П. М. Третьякова, рассказал ему проделку его родственника. Павел Михайлович меня успокаивал и обещал сам поговорить с Боткиным, но тот, по свойственному ему бесстыдству, от всего отрекся…[273]

21 февраля на выставке был Государь. Была Императрица Мария Федоровна и вся царская семья. Государь, проходя по выставке, остановился у «Великого пострига», спросив: — «Что это картина киевского Нестерова?» — и когда меня выдвинули вперед, Государь спросил сколько нас — художников работало во Владимирском соборе и что моя картина собой представляет. Я ответил на вопрос Государя, и когда Великий князь Георгий Михайлович доложил Государю, что «Постриг» приобретен в музей Александра III, он заметил, что ему это «очень приятно».

Пройдя дальше наверх, где висело мое небольшое «Благовещение» под номером 88, Государь внимательно его осмотрел и спросил своих спутников, что № 88 еще не приобретен Императрицей? (она с детьми ходила отдельно, несколько впереди Государя), и когда осмотрел всю выставку, заявил, что № 88 оставляет за собой.

По отбытии с выставки Государя, ко мне подошел Великий Князь Владимир Александрович и объявил желание Государя. Я сказал «очень счастлив» и, обернувшись случайно, увидел у одного из моих друзей гримасу, далеко не сочувствующую моему успеху…

Послал в Уфу радостную телеграмму о своем двойном успехе, получил тогда же ответную от своих и другую от городского

головы Малеева.

Успех на выставке был полный. Эти две покупки утвердили за мной имя, бранили меня лишь за то, что я продешевил. Газеты признавали «Постриг» «гвоздем выставки». Дягилевцы говорили, что в «Постриге» я поднялся до небывалой для меня высоты, и надо было стараться на такой высоте удержаться.

Одновременно с Передвижной и Дягилевской в Петербурге открылась выставка английских мастеров. Она не была интересна. Выделялись имена Уолтера Крэна, Уотса; Альма Тадема был уже на склоне дней своих. Говорили, что Государь приобрел на этой выставке небольшую вещь Тадемы, по ошибке уплатив за нее вместо 3500 рублей — 3500… фунтов, то есть более тридцати тысяч рублей.

Скоро я уехал в Москву, там узнал, что за «Постриг» представлен к званию академика. Вместе со мной были представлены Серов, Левитан, Архипов и Дубовской. В Москве все меня поздравляли с успехом, говорили, что Васнецов уже сделал все, — теперь надо ждать от Нестерова. А сам Виктор Михайлович без всякого удовольствия принял вести о покупке моих картин и утешался тем, что я «продешевил».

В Москве оставался недолго. Проехал в Вифанию. Там встретил Настоятеля храма Казанской Божьей матери, что у Калужских ворот в Москве, очень приятного почтенного старика. Он передал мне о намерении прихожан храма просить меня расписать его. Храм был построен весьма известным тогда архитектором Никитиным, членом Московского археологического общества, другом Василия Осиповича Ключевского, который был прихожанином этого храма.

В тот же день мы с отцом Настоятелем были в Москве, подробно осмотрели храм, очень обширный, построенный в византийском стиле, со многими удобными для живописи стенами, с мраморным иконостасом. На другой день я познакомился и со строителем храма архитектором Никитиным, которому тоже, как и В. О. Ключевскому, хотелось, чтобы я взялся за это дело.

Мысль расписать один из лучших храмов Москвы мне нравилась. Расписать одному целый храм, создать что-то, быть может, новое — было заманчиво. Работы было бы года на три. Смету я представил ничтожную, что-то около сорока тысяч. Меня просили сделать два-три эскиза, чтобы прихожане-жертвователи могли иметь понятие о том, что я им дам.

Эскизы я решил делать в Киеве, куда спешил уехать еще потому, что хотел поскорее повидать после болезни мою Олюшку. В институте у нее застал Лелю Прахову.

В марте скончался в Петербурге И. И. Шишкин — поэт северного лесного пейзажа. Иван Иванович был прекрасный и своеобразный человек. Мы — художники — отслужили по нем панихиду во Владимирском соборе. Пасха в тот год была ранняя, в начале апреля. Светлую заутреню отстоял в институтской церкви. На праздник я взял Олюшку к себе. Ее комнатка была полна цветов. Праховы ее баловали несказанно. У них она чувствовала себя, как дома. Праховское радушие подкупало тогда многих. У Лели оно было такое искреннее, нежное. В Киев, для осмотра Владимирского собора приезжал К. П. Воскресенский, тогда уже живший на покое, передав училище в ведение бывших своих учеников, составивших общество имени Воскресенского. Константин Павлович был в восторге от Собора, от моих работ в нем. Он горд был тем, что когда-то первым почувствовал во мне дарование и так энергично, умно способствовал тому, чтобы меня отдали в Училище живописи.

Институтским начальством было решено отпустить Олюшку, по слабости здоровья после кори, на каникулы раньше. Училась она хорошо, и не было никаких причин ее задерживать. С ней должен был ехать до Москвы я, а там, в Москве, встретит сестра, и они вдвоем проедут в Уфу, где Олюшка должна была пить кумыс.

В мае мы с дочкой были в Москве, откуда она скоро уехала с сестрой в Уфу, а я должен был представить эскизы для росписи церкви на Калужской площади.

Был назначен день, когда все почетные прихожане — «благодетели» должны были собраться у отца Настоятеля для осмотра эскизов. Собрались. Был и Василий Осипович Ключевский, был строитель храма Никитин. Были именитые купцы-«благодетели»: паркетчик Жернов, мясник Пушкин и другие.

С самого начала заседания дело пошло не гладко. «Паркетчик» обиделся, что не представили ему меня, наставительно сказал мне, что хорошо бы мне сделать визиты, «почтить» именитых прихожан, прежде чем начинать дело. Я промолчал, решив никаких визитов не делать.

Подошел небольшой, сухонький старичок и ласково пригласил меня побеседовать с ним. Сели в сторонке на диван. Мой елейный старичок начал «пытать меня»: сколько мне лет, кто мои родители, давно ли я «беру подряды», «велика ли у меня артель». Я отвечал, что «подрядов» не беру, «артели» у меня нет, что работаю один…

Старичок сделал озабоченное лицо, задал еще несколько вопросов, решив, что если я и живописец, то, должно быть, не

настоящий. Разговор кончился.

Собеседник мой был миллионщик, домовладелец глухого переулка на Якиманке. Там, в праздники, после обедни и сна, он приятно проводил время с супругой у ворот на лавочке, беседуя со своим дворником, обязанным собирать в корзину то, что оставляли после себя рысаки замоскворецких обывателей.

Атмосфера в собрании все больше и больше накалялась. Прекрасный, тихий и даже робкий Настоятель делал ошибку за ошибкой, приводя в ярость «благодетелей». Дело кончилось тем, что один из них, не приглашенный в комиссию, бросил в лицо старику тысячу рублей, вышел вон, ругаясь непристойными словами. Настоятель, потрясенный случившимся, заплакал и тут же снял с себя обязанности председателя. Все понемногу разошлись.

На другой день я послал свой «мотивированный» отказ. Ко мне приезжал Никитин, уговаривал меня взять отказ обратно, но я хорошо видел, что у Калужских Ворот нужен другой живописец, с большой «артелью».

Уехал в Вифанию. Задумал вновь побывать за границей. Потянуло в Мюнхен, где тогда были мои картины, где я любил бывать, любил выпить мюнхенского пива, побродить по музеям… Скоро достал себе заграничный паспорт и уехал сначала в Германию, а оттуда в любезную мне Италию.

Перед отъездом за границу неожиданно обратился ко мне молодой фон Мекк от имени своего дяди Николая Карловича с запросом, не возьмусь ли я написать три образа в часовню на могиле старых Мекков в Алексеевском монастыре. Предложил мне с первого слова за три образа восемь тысяч рублей. Такая цена была для меня новостью — я охотно согласился.

Мекки, сильные в железнодорожном мире, предоставили в мое распоряжение купе первого класса до Варшавы. На этот раз я отправился в заграничное путешествие с большим комфортом. И то сказать: у меня было уже имя, я был академик, — все было иное, чем тогда, когда я впервые, в 1889 году, с пятьюстами рублями, полученными за «Пустынника», двинулся за пределы отечества.

В Мюнхене усердно осматривал музеи, выставки. Видел в Сецессионе свое «Чудо», «На горах», «Монахов»[274], усталым проехал во Флоренцию. Там встретил художника Пурвита, с ним, попивая кьянти, вдыхал воздух Флоренции, любуясь ее искусством, написал несколько этюдов и уехал в Рим, где, на этот раз, берег себя, памятуя, что дома меня ждут мекковские образа и задуманный давно «Димитрий Царевич убиенный».

Недолго я прогостил в Италии, а вернувшись в Россию, узнал

о внезапной смерти благородного, инакомыслящего Николая Александровича Ярошенко[275].

Вернулся я в Киев к началу занятий в институте, куда кто-то из девочек занес скарлатину. Заболело сразу несколько девочек. На приемах только и разговору было, что о скарлатине. 9 сентября заболела моя дочка. 10-го начальница объявила мне об этом, успокоив, что болезнь пока в легкой форме. Олюшка была отделена от прочих больных.

Уход и заботы о ней с первых же дней болезни были идеальны. Начальница, переодеваясь и беря ванну, бывала у нее не только днем, но и по ночам. В институт был приглашен проф<ессор> Тритшель. В моей девочке у меня оставалась последняя надежда на счастье, последнее воспоминание о Маше. Чего-чего не передумалось в те дни, недели, месяцы…

Болезнь приняла неожиданный, угрожающий характер. Проходили дни, недели — температура стояла высокая, болезнь кинулась на уши, потом на почки, осложнилась дифтеритом. Пошли одна за другой операции.

Были вызваны лучшие профессора к моей и к другой тяжело больной девочке, дочери молодого архимандрита-вдовца, ректора Киевской духовной академии, позднее митрополита Платона. Жизнь в наших девочках едва теплилась. Смерти их ждали со дня на день. Мы с архимандритом Платоном подолгу оставались в институте, ожидая печального конца. Две девочки в институте умерли. Занятия там были прерваны. Проходили месяцы, собирались консилиумы, профессора снова оперировали. Была сделана трепанация черепа с тягчайшими перевязками…

Жизнь моей двенадцатилетней девочки висела на волоске. Все кругом были измучены. Сестре, вызванной из Уфы, было разрешено оставаться при больной день и ночь…

Дочка архимандрита Платона начала поправляться: уехала на юг, а моя Олюшка все еще лежала с головы до ног забинтованная, как Лазарь во гробе…

В конце ноября 1898 года была получена мной из Петербурга от вице-президента Академии художеств следующая телеграмма:

«Можно ли обратиться к Вам с просьбой расписать церковь на Кавказе. Подробно почтой. Граф Толстой».

Вскоре было получено письмо, из которого я узнал, что Наследник престола Георгий Александрович[276] построил на свои средства храм в Абастумане и через Вел<икого> Кн<язя> Георгия Михайловича обратился к Толстому, чтобы тот рекомендовал ему художника для росписи храма. Толстой назвал меня. Я дал свое согласие.

Предстояла поездка в Абастуман для представления

Цесаревичу и осмотра храма… С этим делом меня торопили, а болезнь Олюшки заставляла поездку все откладывать.

Начальница института графиня Коновницына продолжала с неусыпной заботой, чисто материнской лаской следить за каждым движением болезни, облегчая ее постоянным нежным своим участием. Через полгода со дня заболевания, когда о самой скарлатине и помину уже не было, шли лишь периодические операции и перевязки, больную перенесли из лазарета в квартиру начальницы с тем, чтобы та могла с еще большим вниманием следить за ходом болезни, которая, искалечив мою девочку, начала ослабевать. Но медленное выздоровление наступило только к весне 1899 года, когда, в мае, я увез вставшую с постели Олюшку в Крым, где она окончательно окрепла.

С сентября 1898 года по январь 1899 болезнь неустанно угрожала жизни больной, а я постоянно жил под угрозой потерять свою дочку, и, тем не менее, в те дни и часы, когда не был в институте, я работал над своим «Димитрием Царевичем убиенным» и над «Преподобным Сергием». И, как бы вопреки всему происходившему, тут, в картинах, я находил свой мир, отдохновение, «Димитрий Царевич» день за днем более и более воплощался в те формы, кои грезились мне. Душа Царевича уже витала среди весенних березок старого Углича… Так окончился навеки памятный мне и моей дочери 1898 год.

Абастуман. 1899

Новый год начался двоякими заботами: постоянным страхом за исход болезни Олюшки и необходимостью скорейшей поездки в Абастуман, где тяжко больной Цесаревич ожидал моего приезда. Так дело тянулось до начала февраля 1899 года.

При помощи Прахова была выработана двойная смета росписи: полная из пятидесяти восьми композиций и орнаментации храма в сто тысяч рублей и сокращенная в семьдесят пять тысяч рублей. Цесаревич утвердил первую — стотысячную. Образа иконостаса в эту смету не входили, так как там уже были временные, написанные Н. А. Бруни.

Лишь в феврале врачи начали подавать некоторую надежду, что опасность смерти моей девочки миновала, и я собрался в путь. Решено было, что сестра останется около больной до моего возвращения.

Выехал в Одессу, там сел на пароход до Батуми. Зима в тот год была суровая. Были на Черном море штормы, но я море любил, и оно любило меня. На обледенелом «Пушкине» я целыми днями сидел на палубе, вытянув ноги, тепло одетый. Спускался вниз для завтраков, обедов и сна.

В Батуми я был первый раз. Там было тепло, и до отхода поезда на ст<анцию> Михайловскую в Боржом осматривал город, бродил по приморскому бульвару.

Из Киева и из Батуми были посланы телеграммы в Абастуман о моем выезде. Думы мои неслись и в Киев, и в Абастуман. Что-то ждало меня в нем? Сумею ли я поставить себя так, чтобы не уронить достоинство художника, над чем так много и успешно думал и работал когда-то Крамской? Впереди все было ново и неизведанно.

Вот и Боржом — «Жемчужина Кавказа», как его тогда называли. Зима не давала полного понятия о его красотах.

От Боржома до Абастумана было семьдесят верст. Тогда их проезжали в экипажах. На почтовой станции меня, по извещению из Абастумана, уже ждали. Появление моей скромной, совсем не генеральского вида особы, в шубе с барашковым воротником и в шляпе, не смутило станционное начальство. Оно за пребывание Цесаревича видело разные виды: от самых блестящих Генерал-адъютантов до Василия Осиповича Ключевского, преподававшего Цесаревичу русскую историю и уехавшего за год до меня.

Мне, как полагалось «гостям Цесаревича», были оказаны честь, внимание и предупредительность. Величали меня «Ваше превосходительство». Самые лучшие яства и вина предлагались

мне, пока спешно запрягали четверик великолепных, белой масти лошадей в отличную коляску, которая должна была доставить меня в Абастуман. Лошади были поданы, укрепили мой чемодан, лихой ямщик-туземец сел на козлы. Экипаж подкатил к крыльцу станционного домика, и я сел, подсаженный начальником станции. Кони с места пошли полной рысью. Проехали дворец Великого Князя Николая Михайловича. Снега не было вовсе, было тепло, а в моей шубе жарко.

Пошли названия станций, напоминавшие о былых делах, о славе Русского оружия. Вот Страшный Окоп. Сейчас ничего страшного — маленький белый домик и только. Встреча, быстрая смена лошадей, опять белых. Новый ямщик, такой же лихой, отлично одетый. Кони взяли с места, и коляска с моей особой покатила дальше. Проносимся мимо аулов… Там-сям по горным тропам видны были пробирающиеся куда-нибудь на праздник семейства турок: на «осляти» сидит в белом покрывале турчанка с ребенком, а сзади, погоняя ленивца, ступая особой мягкой горной поступью, идет турок в феске.

Вдали виден старый замок, покрытый желтым мхом. Много лет этим руинам. Они как бы срослись со скалой, их приютившей. Чего не видали стены старого Ацхура? — Помнят они владычество персов, потом турок. Помнят пиры и битвы своих ацхурских владык-князей. Помнят и русского солдата, бравшего приступом и Страшный Окоп, и седой Ацхур.

Подъезжаем ближе. Старый, старый мост на каменных высоких сводах перекинут через быструю Куру, весь покрытый оранжевым мхом, он совсем, совсем узкий. По нему может пройти ослик с кладью да погонщик в один ряд. Какая красота этот мост, идущий к самому красавцу замку!..

Катим дальше… Что это там на горе? — спрашиваю ямщика. Отвечает: «Ахалцых — крепость». Великолепное средневековое сооружение.

Вот тут, под стенами Ахалцыха, взятого приступом русскими войсками, когда-то пал смертью храбрых «за Веру, Царя и Отечество» Архип Осипов. Он, с зажженным фитилем в руках, подкрался к пороховому погребу и взорвал его, взлетев вместе с ним на воздух. И с тех пор до самого 1917 года в славном Тенгинском гренадерском полку за обычай было на перекличке поминать героя. Ежедневно вызывался и он — Архип Осипов, на что дневальный чуть ли не сто лет подряд отвечал: «Погиб во славу русского оружия»[277].

Русские, взяв Ахалцых, сделали его еще более грозным, неприступным. Шоссе вилось по горам, по ущельям, а то выбегало на простор долины с широким горизонтом и вершинами далеких

гор.

Вот и последняя станция. Переменили лошадей. Четверик несется дальше. Осталось лишь пять-шесть верст до Абастумана. Впереди сгрудились скалы. Там так неприветливо. Где же сам Абастуман, где поселился и медленно угасает сейчас второй сын Императора Александра III?

Спрашиваю ямщика: «Где Абастуман?» Он показывает рукой — «Там». Ничего не видно. Несемся дальше, как бы намереваясь перескочить на лихих конях сквозь цепь гор. Однако я начинаю различать какое-то ущелье. Не это ли ущелье — «ворота Абастумана»?

Въезжаем в ущелье, узкое, как коридор, посередине которого стремится небольшая горная речка — Абастуманка. В ней много форелей.

Горы охватывают справа и слева, теснят нас, как бы сжимают, давят в своих объятиях. Кони несутся сначала по одному, потом по другому берегу Абастуманки. Начинают попадаться строения, становится холоднее. А вот и снег. С половины местечка снег становится гуще и гуще.

Охватывает неприятное, жуткое чувство. Что-то меня здесь ждет?

Быстро проезжаем мимо казарм кубанцев, мимо ванного здания, старой грузинской церковки, в которой, до постройки новой, молился Цесаревич. А вот справа и новая церковь, та, которую мне скоро придется расписывать. Она в грузинском стиле, прекрасно выдержанном. Среди гор она не кажется высокой, тогда как на самом деле она и высока, и обширна.

Я с напряженным вниманием вглядываюсь в ее подробности. Все прекрасно, пропорционально. Красивый материал — камень зеленовато-желтый, как бы горчичного цвета. Купол каменный, красноватого приятного тона. Прекрасная паперть, кое-где осторожно введен оригинальный грузинский орнамент, высеченный из камня же. Справа небольшая, изящная, значительно ниже церкви, колокольня. Церковь алтарной стеной почти касается покрытых хвойным лесом гор. Она рисуется красивым пятном на их темно-зеленом фоне.

Вот и церковь осталась позади. Строения справа и слева речки выглядят все лучше, богаче. Это уже напоминает то, что было всем давно известно на Северном Кавказе от Минеральных Вод до Кисловодска. Проезжаем нечто вроде маленьких скверов. Это «Первая» и «Вторая» рощи — место прогулок абастуманцев, где тогда в известные дни и часы играла музыка, где и мне позднее приходилось бывать, отдыхая от работы, со своими думами и заботами, коих я еще не мог предвидеть в такой мере,

как это случилось.

Когда же дворец? — Ямщик говорит: «Скоро!» — еще несколько минут, я слышу: «Вот дворец!» Перед моими глазами открывается нечто деревянное, похожее на подмосковную дачу где-нибудь в Перловке. Однако это и есть «Дворец», где сейчас обитает Цесаревич Георгий Александрович — Наследник Российского престола.

Четверка белых коней подкатила к «свитскому» большому, каменному корпусу, остановилась у подъезда. Выбежал камер-лакей, принял меня и мой чемодан.

В приемной ожидал меня состоящий при Великом Князе Георгии Михайловиче полковник Ф. В. Дюбрейль-Эшаппар. Познакомились, и он проводил меня в отведенную мне комнату — комнату для «гостей Цесаревича». Оставил меня там, предупредив, что, когда я приведу себя в порядок, он зайдет за мной, так как В<еликий> К<нязь> Георгий Михайлович желает тотчас же меня видеть, и я должен буду теперь же представиться Цесаревичу, который ждет меня у себя.

Новизна положения обязывала меня к особой осторожности. Я не раз слыхал, что в том заколдованном мире, куда я сейчас вступал, под личиной самой отменной любезности можно было встретить немало коварства, лицемерия…

Я с обычной своей поспешностью совершил свой туалет, надел сюртук (сказано, что фрака не нужно) и ожидал, когда за мной явится полковник. Он не заставил себя ждать, и мы отправились.

В бильярдной меня ждал Вел<икий> Кн<язь> Георгий Михайлович. Очень высокий, как все «Михайловичи», с длинными усами, как у китайца, — он был в тужурке. Встретил приветливо, просто. У него была открытая улыбка, видны были крепкие, крупные зубы. Они сверкали из-под черных, книзу опущенных усов.

Поговорили о дороге (Вел<икий> Кн<язь> знал о болезни моей Олюшки). Вообще он старался всячески ввести меня в обстановку для меня новую, необычную. Сказал, что через каких-нибудь полчаса мы должны отправиться во дворец. «Ехать так ехать», — подумал я, как диккенсовский попугай, и, одевшись, мы отправились через двор к подъезду дворца.

Подходим ближе, я вижу — у подъезда стоят три небольших чухонских лошадки, запряженные в чухонские же санки. В тот же миг замечаю на крыльце Цесаревича. Он в бурке, в морской фуражке, надетой «по-нахимовски» — сильно на затылок. Чем ближе мы подходим, тем фигура Цесаревича делается яснее, из-под бурки заметны тонкие-тонкие, как спички, ноги в высоких

сапогах… и лицо, такое красивое, породистое, тонкое, с небольшими темными усами, такое измученное, желтое, худое-худое… Вся фигура согбенная, старческая, глубоко несчастная, какая-то обреченная, покинутая. Сзади свита — морской офицер и два-три штатских.

Мы поднялись на крыльцо. Вел<икий> Князь представляет меня, я снимаю шляпу. Цесаревич здоровается, спрашивает о том, как я доехал, причем зловещий румянец появляется на впалых, как у покойника, желтых щеках его.

Цесаревич предлагает поехать сейчас же засветло осмотреть церковь. Мы садимся в санки: Цесаревич с Вел<иким> Князем Г<еоргием> М<ихайловичем>, я с полковником Эшаппаром. В третьи санки садятся морской офицер и штатский. Первый был состоящий при Цесаревиче лейтенант Бойсман, второй — Статский лейб-медик Айканов.

Поехали, правили сами, без кучеров. Через десять-пятнадцать минут были в церкви, где уже нас ждали духовник Цесаревича протоирей К. А. Руднев и еще какие-то лица.

Церковь внутри была очень обширна. Прекрасный белого с розовым мрамора иконостас с образами Бруни (внука знаменитого), причем мне тут же было сказано, что образа эти временные и их решено заменить моими.

Стены были оштукатурены и очень хорошо расположены, хорошего размера, — приятного для росписи. Архитектором церкви был старик Симансон, давно, в молодости, состоявший при Наместнике В<еликом> К<нязе> Михаиле Николаевиче. Симансон был талантливый художник, но, как говорили, плохой техник, что поздней и обнаружилось в Абастуманской церкви.

Осмотр длился около часу. Мы двинулись домой. Стало темнеть, так как ущелье рано скрывало от абастуманцев солнце, — оно ненадолго заглядывало туда.

Вернувшись во дворец, я был приглашен к обеду и отправился отдохнуть в свитский дом, в свою комнату. Там предался думам, размышляя о только что виденном, пережитом…

В восемь часов был приглашен к столу. Столовая уже была полна приглашенными. Ожидали выхода из своих покоев Цесаревича. Вот и он. Поздоровался с теми, кого еще не видал. Стали садиться за стол. Я, как гость вновь прибывший, должен был сесть слева от Цесаревича, имевшего место в конце стола. Против меня сидел справа от хозяина В<еликий> К<нязь> Георгий Михайлович.

Я осмотрелся. Стол был сервирован очень просто. Вина не было, также не было и водки. По концам стола стояли два хрустальных кувшина с квасом: один — с хлебным, другой с

фруктовым. Стали по порядку обносить кушаньями. Все просто, вкусно. Беседа велась общая.

Цесаревич и В<еликий> К<нязь> часто обращались ко мне с вопросами о моей поездке, о Киевском соборе, о моих планах росписи новой церкви.

На противоположном от Цесаревича конце стола сидел лейтенант Камилл Арсеньевич Бойсман. Он зорко следил за всем происходившим. Его некрасивое, но умное и решительное лицо, быть может, было из всей свиты самое значительное.

Обед кончился, Цесаревич встал. Все мы отправились в соседнюю со столовой приемную, куда скоро вошел и Августейший хозяин.

Началась церемония прощания. Цесаревич обходил всех нас, стоявших полукругом, разговаривал и прощался, подавая руку. Все мы, кроме В<еликого> Князя и Бойсмана, остававшихся на ночь с Цесаревичем во дворце, удалились в свитский дом, где еще долго пробеседовали между собой в бильярдной, пока не разошлись по своим комнатам.

Крепко я спал на своем новом месте. Проснулся, стал думать, как лучше использовать свой день. Мне нужно было побывать с визитами кое у кого из тех, кого мне указал полковник Эшаппар, побывать у Настоятеля церкви, с ним пройти туда для детального осмотра.

Утренний кофе был подан каждому в его комнату. К часу, к завтраку надо было быть дома, во дворце. Накануне вечером, сидя в бильярдной, я многое узнал, многое намотал себе на ус. Эшаппар был со мной отменно любезен и, видя мою неопытность, всячески старался помочь мне, объяснить многое, предупредить, направить.

В полдень ко мне в комнату зашел В<еликий> Князь Георгий Михайлович, справился, как я провел ночь, посидел у меня, посмотрел на мой студенческий чемодан, столь непохожий на генерал-адъютантские кофры и баулы. Пригласил меня в ближайшие дни проехать с ним в Зарзму, посмотреть замечательную древнюю церковь, которая послужила образцом для Абастуманской.

Скоро настал час завтрака, — я опять во дворце. Опять почти те же лица, появление Цесаревича, приветствия. Я сижу на том же месте, слева от хозяина. Стараюсь рассмотреть его лицо, такое красивое, «романовское», продолговато-сухое, с грустными-грустными васильковыми глазами, красиво очерченным ртом, с чахоточным румянцем на впалых щеках. Породистое, благородное и скорбное лицо, скорбная улыбка. Речь тихая, в словах сдержанность, усталость. Болезнь идет гигантскими шагами.

Одного легкого уже нет, второе задето серьезно. Надежды никакой, возможна лишь какая-то отсрочка. Надолго ли? Все приближенные это знают, знает лучше всех других доктор Айканов. Он озабочен. Все время следит за Августейшим пациентом.

Завтрак кончился. Обычная церемония. Все расходятся, кто куда.

Я собираюсь к Настоятелю церкви — протоиерею Рудневу. Кто-то вызывается меня проводить к нему. Он живет поблизости церкви.

Радушная, хотя и осторожная встреча. Новые лица требуют этой осторожности.

О<тец> Константин человек лет 35-ти, очень красивый, красивый той русской благородной, как бы «княжеской» красотой. Это красота не породы, а расы. Открытое, прямое, благородное лицо. Речь, хотя и сдержанная, но в ней чувствуется скрытая динамика. О<тец> Константин позднее не раз показал, какая горячность, какой благородный пафос таится в его сердце…

Матушка высокая, красивая, из образованных, из светских. Двое маленьких детей: девочка и мальчик.

Разговор о деле, о церкви. О<тцу> Константину, видимо, хочется, чтобы дело не затягивалось, да и я не склонен тянуть его. Наши мысли сходятся. Мы еще не знаем, что мы будущие друзья, единомышленники, сообщники… Все это еще впереди.

Жизнь во дворце идет обычным порядком. В один из ближайших дней меня приглашает Цесаревич к себе в кабинет для подробного обсуждения моих планов по росписи. У него свои мысли, у меня свои предположения.

Кабинет Наследника Всероссийского престола так же прост, как и его дворец (бывшая дача д<октор>а Реммерта, проданная им весьма выгодно в тот момент, когда врачи признали необходимым больного Цесаревича заключить в Абастуманское ущелье).

У окна письменный стол, большой, заставленный семейными портретами и всякими принадлежностями письма. Слева от входа — походная кровать, самого скромного вида. Роскоши и помина нет.

По стенам — оружие, между прочим большой кинжал в ножнах белой слоновой кости с дивной золотой инкрустацией.

Этот кинжал дал мне мысль орнаментировать Абастуманскую церковь, — покрыть ее тоном старой слоновой кости и по нем ввести золотой сложный грузинский орнамент.

Поговоривши около часа, я был милостиво отпущен. На другой день была назначена поездка в Зарзму. Я начал

осваиваться с окружающей меня жизнью. Стал понемногу разбираться в людях, прислушиваться к разговорам, к их тону. Узнал, что еще недавно жизнь в Абастумане была иной, веселой, шумной… Что окружающие Цесаревича лица не очень были озабочены его здоровьем. Частые пикники с возлияниями, непрерывные смены гостей из Тифлиса и Кутаиса, наплыв дам и девиц, назначение которых было весьма недвусмысленно. Все это изнуряло потрясенный злым недугом организм Цесаревича.

Его особа, жизнь и здоровье были вверены попечению генерал-адъютанта гр<афа> Олсуфьева, благие намерения которого были парализованы частыми наездами принца Константина Петровича Ольденбургского, проводившего тогда веселые дни на южном Кавказе. Этому, однако, наступил конец. Гр<аф> Олсуфьев был отозван в Петербург, посещения принца должны были прекратиться, около Цесаревича образовалась та атмосфера, которую я нашел по своем приезде туда.

Около него верным стражем стал лейтенант К. А. Бойсман 2-й — человек огромной воли, преданный так, как могли быть преданы в старину балтийские немцы своим владыкам-баронам. Один из предков Бойсмана с оружием в руках пал мертвым на пороге, заградив вход своим трупом к особе повелителя. Так, быть может, поступил бы и лейтенант Бойсман, если бы того потребовал долг службы. Он сумел бы умереть за Русского Цесаревича.

Если теперь за обеденным столом и в жизни Цесаревича была введена такая пуританская простота, — отсутствие вина, дам и девиц, — претенденток в морганатические супруги Цесаревича, — всем этим маленький Абастуманский двор был обязан лейтенанту Бойсману. Он находился безотлучно около Цесаревича. Он стоял, как верный часовой на страже.

Помню, в один из дней, что я провел в Абастумане, в первый туда приезд, возвращаясь с какого-то официального визита, я был свидетелем следующего.

Стоял солнечный, слегка морозный день. Подъезжая, я увидел у дворца на скамейке сидящим Цесаревича в своей бурке, в «нахимовской», надетой на затылок, фуражке, осунувшегося, такого немощного, уходящего, и около него бодрого, крепкого, подтянутого по-военному лейтенанта Бойсмана.

Я раскланялся. Цесаревич меня пригласил к себе. Какие-то незначительные, любезные, всегда сдержанные вопросы. Предлагает мне присесть… Он греется на солнышке, которое скупо заглядывало в ущелье. И вот я слышу где-то далеко-далеко заунывную хоровую песню, такую песню, которая в душу просится, такую, что сердце кровью обливается. Песня ближе и

ближе… Слышны звуки каких-то инструментов, не то вторящих песне, не то причитающих, плачущих… Песня близится. Цесаревич грустно вслушивается, говорит: «Это Кубанцы на прогулку идут…»

Скоро звуки смолкли и снова послышались, но не те причитающие звуки любимой женщины — матери, невесты, а удалые, победные… и сотня на конях показалась из-за угла. Впереди — бравый хорунжий, за ним музыканты, песенники — вся сотня на конях. Увидев Цесаревича, Кубанцы подтянулись. Кони заиграли, голоса еще удалей понеслись куда-то в горы. Сотня поровнялась с Цесаревичем, прошла мимо церемониальным маршем… А он, такой жалкий, изнемогающий, на ладан дышащий, приложил бледную, исхудалую руку к козырьку своей «нахимовской», черной с белым кантом, фуражки.

Сотня прошла дальше, в сторону Зекарского перевала. Голоса постепенно удалялись, замирали, потонули вовсе в горах… Цесаревич встал, простился со мной, пошел с Бойсманом во дворец, — я в свитский дом…

Много лет прошло с тех пор, а я, как сейчас, слышу эти казацкие песни, то бесконечно тоскливые, то безмерно удалые.

Мне потом говорили, что Кубанцы знали, что умирающий Наследник любит их слушать, и время от времени, под предлогом «прогулки», услаждали его слух далекой казацкой стариной, отзвуками вольницы запорожской.

На следующее утро были поданы лошади, и мне передали, что В<еликий> К<нязь> Георгий Михайлович предлагает мне сейчас ехать с ним в Зарзму. Я быстро собрался, явился во дворец. Через несколько минут мы уже катили по Абастуману в сопровождении некоего Х-ва, грузина, хорошо знавшего местные и турецкий языки.

30 верст было до Зарзмы. По дороге дивные виды сменяли друг друга. В<еликий> К<нязь> был прост, любезен и, зная места, пояснял мне их историю, быт и прочее.

Часа через два вдали на высокой скале показался великолепный Зарзмский храм. Он стоял среди татарской деревни или аула. Мы подъехали, и наш спутник отправился в аул, чтобы найти там человека, который бы мог открыть храм и проводить нас туда. В<еликий> Князь, захвативший аппарат, пожелал снять храм, а также и меня на фоне этого дивного памятника грузинской старины.

Скоро явились в сопровождении нашего проводника жители аула. Они низкими поклонами и особыми мусульманскими знаками выразили высокому гостю свое уважение, отперли храм.

Перед нами предстало чудо не только архитектурное, но и

живописное чудо. Храм весь был покрыт фресками. Они сияли, переливались самоцветными камнями, то синими, то розовыми, то янтарными. Купол провалился, и середина храма была покрыта снегом. Всматриваясь внимательно, мы заметили, что и часть фресок уже погибла. Погибла дивная красота[278]…

Побродив по останкам былого великолепия, мы вышли на воздух и обошли храм кругом. Он ясно вырисовывался теперь своим темно-красным, запекшейся крови силуэтом на фоне окрестных гор, покрытых снежной пеленой. Он был такой одинокий, забытый, никому не нужный…

Усталые, мы зашли в один из домов аула, там закусили тем, что положили нам съестного при отъезде из Абастумана. Взглянув в последний раз на знаменитые развалины, попрощались с населением аула, которое, узнав о приезде Великого Князя, вышло нас провожать. По обычаю, Великий Князь раздавал новые серебряные рубли на память провожавшим нас, после чего мы покатили обратно.

По дороге обсуждалась возможность реставрации храма. Она была произведена на средства Цесаревича уже после его кончины.

К вечеру мы были в Абастумане. За обедом Зарзма была главной темой разговоров.

Таким образом прошло еще несколько дней. В воскресенье была служба в новом храме, хотя еще не расписанном, но уже освященном. За обедней были Цесаревич и Великий Князь. Были и все те, что проживали при нем или гостили у Цесаревича.

Пели, и хорошо, те же кубанцы. О<тец> Константин прекрасно служил. Такой одушевленный, благородный, он располагал к высоким чувствам, лучшим помыслам.

Болезнь дочки призывала меня домой, и я сообщил о своем намерении лейтенанту Бойсману, испрашивая разрешения откланяться Цесаревичу и вернуться домой в Киев.

На другой день я еще раз был призван в кабинет Цесаревича, выслушал его и было решено, что я в конце мая или начале июня вернусь сюда с эскизами будущей росписи, и тогда будет окончательно установлено, когда можно будет приступить к самой росписи, после чего я был милостиво отпущен. Откланялся Вел<икому> Князю, простился со всеми, с кем познакомился, и тем же порядком выехал на Боржом, Батум, Одессу — в Киев, потом в Петербург.

Во второй половине марта я был снова в Киеве. Олюшка моя к тому времени начала поправляться, она была уже на ногах. Не сегодня-завтра должна была выехать кататься, а потом отправиться на юг, в Сочи или Крым. Остановились на Крыме — куда выздоровевшая и уехала в сопровождении сестры

милосердия, ходившей за ней последний месяц болезни в институте.

Я нанял около Мисхора в Олеизе у Токмаковых дачку «Нюра», на которой перед тем жил больной Горький.

Здоровье Олюшки день ото дня улучшалось, она очень выросла, опять стала весела, но в характере ее появились неровности, которых до болезни и следа не было. Она, избалованная за девять месяцев болезни, теперь, здоровая, требовала исключительного к себе внимания, а его-то и недоставало сейчас. Сестра Е-ва, отлично ухаживавшая за тяжко больной, следить за здоровой девочкой не находила в себе ни сил, ни умения. Она скучала, вздыхала, пела, а тем временем Олюшка, чуя за собой слабый надзор, делалась все предприимчивей, и однажды, вернувшись домой, я не нашел ее там. Спросил сестру Е-ву, она тоже не знала, когда и куда исчезла наша больнушка.

Пустились в поиски в разные концы. Я побежал через Мисхор к Алупке и там, за несколько верст от Олеиза, в Алупкинском парке нашел свою дочку, преспокойно игравшую с какой-то девочкой. Я был рад своей находке, а моя беглянка, полуглухая, еще не окрепшая после болезни, была только удивлена тому, что я встревожен, что ее ищут. Объяснила мне, что и сама не помнит, как, гуляя по Мисхорской дороге, попала в Алупку и т. д… Я тотчас же взял извозчика и увез ее.

Надо было подумать, как быть дальше. Необходимо было сестру Е-ву удалить, заменить кем-то более надежным… Я написал в Киев гр<афине> Коновницыной, и она предложила мне прислать одну из своих классных дам, мою однофамилицу. Я поблагодарил и попросил не откладывать приезда Елизаветы Александровны Н<естеров>ой.

Через неделю она была уже в Олеизе, как уточка забавная, добродушная, заботливая, некрасивая… Сейчас же я отпустил сестру Е-ву, и жизнь скоро вошла в свою здоровую колею. Но срок пребывания в Крыму кончался. М. П. Ярошенко звала Ольгу к себе в Кисловодск, а мне необходимо было снова ехать в Абастуман, везти свои эскизы для представления их Цесаревичу. И мы двинулись разными путями на Кавказ: я — на Батум и Абастуман морем, — Олюшка с Е. А. Нестеровой — на Новороссийск в Кисловодск, где мы должны были встретиться по моем возвращении из Абастумана.

Из Батума я ехал той же дорогой на Боржом, с теми же встречами и проводами на станциях. Те же Ацхур, Ахалцых… Вот и Абастуманское ущелье. Теперь лето, все зелено, все залито солнцем, и само ущелье не такое мрачное. Четверик мчит мою

коляску по извилистым берегам Абастуманки. Вот церковь, еще несколько минут и деревянный — как выставочный павильон или подмосковная дача — дворец Цесаревича.

Из Батума, как и раньше, была послана телеграмма. Меня ждут. В свитском доме встречает меня лейтенант Бойсман. Сейчас нет в Абастумане ни Вел<икого> Кн<язя> Георгия Михайловича, ни полковника Эшаппара. Они — в Петербурге.

Встреча радушная. В тот же день я представился Цесаревичу, показывал ему эскизы, и они были одобрены. Часть из них были те, что сделал я раньше для церкви Казанской Божией Матери, что у Калужских ворот, часть сделана была теперь в соответствии с планом Абастуманского храма.

Цесаревича я нашел изменившимся, еще более осунувшимся, согбенным. Румянец вспыхивает чаще. — Была какая-то обреченность. Айканов в тот же день, идя после обеда со мной через двор в свитский дом, недвусмысленно высказал, что он боится за каждый день, что он, если бы была возможность, хоть сейчас бы уехал из Абастумана. Так боялся он ответственности за жизнь своего пациента.

Кроме Айканова постоянно призывался во дворец доктор Гопадзе, делавший двоякую карьеру и по службе, как военный врач, и тут — около умирающего Наследника. Сейчас во дворце бывал чаще, чем зимой, некий Трахтенберг, — бывший младший механик с яхты Цесаревича, — очень юркий, женатый на армянке, крещеный еврей. Недавно еще он был в опале и опала не была напрасной. Говорили, что еще при гр<афе> Олсуфьеве этот маленький Трахтенберг как-то незаметно вошел в доверие к больному Цесаревичу, постепенно, шаг за шагом, разными мелкими услугами стал близок к нему, чуть ли не получил право входить без доклада в его кабинет, а потом, со свойственной ему бесцеремонностью, оставался там и тогда, когда его присутствие было тягостным для больного. Дошло дело до того, что он будто бы стал позволять себе ложиться в присутствии Наследника на его походную кровать, клал свои короткие ножки на спинку кровати и, подложив под голову ручки, безмятежно услаждал слух Августейшего хозяина то анекдотами, то текущими сплетнями из несложной Абастуманской жизни.

Цесаревич видел все, но по своей врожденной деликатности как-то не решался сказать этому господину о его непристойном поведении. Так было бы, может быть, долго, но в это дело вмешался лейтенант Бойсман. Он указал бывшему младшему механику его настоящее место, и тот с полгода не был приглашаем во дворец, оставался его заведующим, занимая с семейством своим прекрасный домик-особняк тут же, во

дворцовой усадьбе.

Сейчас, во второй мой приезд, Трахтенберг, как его за глаза звали «Жозя» (Иосиф) снова бывал во дворце, иногда завтракал, обедал, но вел себя с опаской. Бойсман не любил шутить с такими господами.

Однажды Цесаревич сообщил мне, что он считает для меня полезным, раньше чем начать роспись церкви, ознакомиться с образцами старой грузино-армянской архитектуры и живописью этих средневековых кавказских церковных памятников.

Мысль эту Цесаревичу, быть может, подсказал гр<аф> Толстой. Так или иначе, но она была дельная, и я, конечно, не возражал против такого предложения. Тем более не возражал, что мне и самому хотелось повидать мозаики и фрески Гелатского монастыря, дивного храма в Мцхете, Сафарского монастыря, Сионского собора в Тифлисе и многое другое, что знал я по увражам.

Я ежедневно бывал в Абастуманском храме, намечал мысленно то, что со временем должно быть написано на его стенах. Часто виделся с о<тцом> Рудневым, который больше и больше мне нравился своей искренностью и горячим сердцем.

В праздники, после обедни обычно во дворце бывало немало приглашенных к Высочайшему столу. Всегда бывал в таких случаях и о<тец> Константин. Его место — без Великого Князя — было справа от Цесаревича. Слева же обычно сидел или вновь прибывший гость, или особо высокий по своему служебному положению. Лейтенант Бойсман имел всегда одно определенное место — визави Цесаревича. Он был как бы гоф-маршал его двора.

Помню, в один из последних дней моего второго пребывания в Абастумане, за завтраком Цесаревичу была подана телеграмма. Он вскрыл ее, пробежал глазами, сильно изменился в лице и сдержанно сказал вслух: «Скончался князь Трубецкой». Затем через минуту извинился, встал и вышел из-за стола, удалился к себе.

Мы все были очень смущены столь неожиданным обстоятельством. Мне тотчас же объяснили, что к<нязь> Трубецкой долго жил в Абастумане и был очень любим Цесаревичем. Немедленно за Цесаревичем вышел из-за стола и лейтенант Бойсман, и д<окто>р Айканов.

Вскоре поднялись и мы все, а затем узнали, что у Цесаревича после долгого перерыва снова хлынула кровь горлом. Вечером, к обеду он не вышел. Все были озабочены, больше других д<окто>р Айканов. Он видел яснее остальных положение больного, положение угрожающее.

Однако на другой день кровоизлияние горлом прекратилось, за обедом Августейший больной присутствовал, но вид его был изнуренный, подавленный. Весь обед Наследник почти ничего не говорил.

Здесь, б<ыть> м<ожет>, будет уместным привести те слухи, которые тогда ходили о первопричинах появления злого недуга у Цесаревича. Таких слухов ходило много, но я приведу лишь два-три, наиболее, м<ожет> б<ыть>, правдоподобных.

В детстве Цесаревича при царских детях находился всеми ими любимый дядька. Дядька этот заболел чахоткой. Болезнь развивалась быстро, и все же больной не был отделен. Он продолжал безотлучно находиться при детях, даже спал с ними в одной комнате. Особенно привязан к нему был В<еликий> К<нязь> Георгий Александрович — будущий Цесаревич. Дядька умер, передав свой страшный недуг наиболее восприимчивому — В<еликому> К<нязю> Георгию Александровичу. Этот слух, в свое время, упорно держался.

Другой был такой. В кругосветное плавание Наследника Цесаревича Николая Александровича, — будущего злополучного Императора Николая II, в его свите был В<еликий> К<нязь> Георгий Александрович, а также принц Георг Греческий — человек страшной силы. Молодые люди однажды во время плавания, где-то в Средиземном море, боролись, состязались в силе и принц Георг неловко уронил В<еликого> К<нязя> Георгия Александровича, и тот с тех пор стал чахнуть. Он скоро, с дороги вернулся в Россию, где болезнь стала развиваться. Я застал ее в последней стадии…

Был и такой слух, что Великий Князь Георгий Александрович в то же плавание упал с мачты, расшибся и заболел…

Где истина, — сказать трудно…

По возвращении В<еликого> К<нязя> в Россию были приняты все меры для того, чтобы пресечь развивающийся недуг. В<еликий> К<нязь> был отправлен на собственной яхте в Средиземное море, где оставался довольно значительное время. Но ни море, ни благодатный климат юга, никакая Ницца не помогли больному. Тогда у врачей явилась мысль послать его в горное Абастуманское ущелье. Оно было на 4000 ф<утов> выше уровня моря, зима там мягкая, лето нежаркое. Кругом сосновый лес на много верст.

Установлен был строгий лечебный режим. Вел<икий> Князь проводил все время, лето и зиму, на воздухе, спал круглый год при открытых окнах. Круглый год завтраки и обеды происходили в любую погоду также на воздухе на террасе. И мне говорили, что были случаи, когда гости Наследника, особенно военные, не зная

о таком режиме, предусмотрительно не брали с собой соответствующего костюма, завтракали или обедали зимой на открытой террасе в одном парадном мундире, простужались, заболевали… Такой режим не дал желанных результатов. Был смещен состоящий при Вел<иком> Князе доктор, был прислан из Петербурга другой — Айканов, и «Закопанский»[279] горный режим был отменен вовсе. Во всяком случае я его уже не застал.

Настроение в те дни в Абастумане, повторяю, было напряженное. Все ходили, как потерянные.

Цесаревич пригласил меня однажды в свой кабинет. Развил мысль о предстоящем моем путешествии для изучения грузинского храмового искусства, сделал некоторые указания, тут же был решен мой отъезд в ближайшие дни на Кутаис. Лейтенант Бойсман снабдил меня бумагами, весьма внушительного содержания, при виде которых все двери передо мной разверзались. Я откланялся Цесаревичу, простился со всеми, кого знал, и двинулся через Зекарский перевал в долину Риона.

Шестерик прекрасных коней медленно поднимал мою коляску на шестнадцать тысяч ф<утов> над уровнем моря. Вот, наконец, и перевал. Дивная первозданная панорама открывалась перед моими глазами. Предстояло верст более пятидесяти проехать, спускаясь вниз до самого Кутаиса. Четверик отпрягли, коляска моя, запряженная теперь лишь парой коней, на тормозах должна была осторожно спуститься в долину Риона. Дивные виды сменяли один другой.

Показался Кутаис. Проехали по его незамысловатым улицам, миновали его. Впереди Гелатский монастырь. Вот и он показался. Дивный старый собор, а по бокам, как бы образуя улицу, симметрично шли по обеим сторонам, как игрушечные, тоже каменные, того же грузинского стиля, маленькие церковки. Это было так неожиданно, так ново и так в стиле выдержано. Строитель знал, что делал. Его план был очевиден. Монастырские корпуса дополняли этот план[280].

Волшебная бумага Бойсмана быстро распахнула передо мной все двери, я вошел в собор, и моему взору представилась прежде всего мозаическая абсида с Богоматерью. Она напомнила мне базилики Рима, капеллу Палатина. Стройная, вся в синих тонах Владычица Небесная шествовала на заревóм, золотом подернутом фоне. Она по форме куда была совершенней Киевской «Нерушимой Стены»[281]. По всем стенам, пилонам и колоннам шли фрески, переплетенные своеобразным грузинским орнаментом…

Я осмотрелся и просил сопровождающего меня монаха разрешить мне сделать несколько акварельных набросков.

Конечно, разрешение было дано. Мне предоставлено было все, чтобы облегчить мои занятия. И я приступил к делу, нарисовал абсиду, некоторые фрески, — одна из них послужила мотивом для моего Абастуманского «Благовещения». Так она была выразительна, так благородна и нежна в красках, так свежа — как будто прошли не сотни лет с момента ее написания, а лишь год или два.

Сделав все, что мне было надо, я в сопровождении монаха обошел те игрушечные церковки, что шли к собору. Был у настоятеля, там закусил и, довольный тем, что видел и сделал, двинулся в дальнейший путь, к станции Михайловской, на Тифлис, в Мцхет, славившийся своим дивным собором.

Собор виден издалека. Он возвышается над старым Мцхетом, он — его центр. Желтовато-зеленый, с каменным куполом, с сияющим крестом, такой гармоничный с окружающей его природой, с горами, среди которых он вырос и стоит сотни лет[282] …

Я осматриваю, зарисовываю его фрески, пишу этюд с него на фоне родных его гор и собираюсь ехать дальше, в Тифлис. Сажусь в скорый, идущий из Батума поезд. Сажусь, по своему новому положению, в отдельное купе первого класса и еду… Ехать недолго — что-то с час или два — не помню…

Подъезжаем к Тифлису. Я знаю, что из Абастумана Бойсманом дана телеграмма некоему полковнику Г-у встретить меня на вокзале и показать мне Тифлис, Сионский собор, его когда-то богатейшую ризницу, и иную старину столицы Грузии. Ожидаю полковника Г-а, его не видно. Я не знаю, как мне быть дальше, недоумеваю, почему меня не встретили.

Наконец, появляется в сопровождении обер-кондуктора красивый, представительный полковник, не то грузин, не то армянин. С отменной почтительностью спрашивает меня: «Не Вы ли академик Нестеров?» — Я отвечаю утвердительно. Полковник спешит извиниться, что замедлил явиться вовремя, что он уже несколько раз был на вокзале, встретил ряд поездов, прибывших из Батума, но меня в них не нашел. Докладывает, что он только что перед приходом нашего поезда вернулся со станции Мцхет на паровозе с цистернами. Он полагал найти меня в Мцхете, но не нашел и вот сейчас «очень счастлив» и т. д. и т. д.

Полковник говорит, что получил приказание Цесаревича показать мне Тифлис, Сионский собор и проч. Он, видимо, несколько смущен моим *негенеральским* видом, отсутствием во мне необходимой важности… Ради чего он, — полк<овник> Г-в, презрев свой чин, метался на паровозе между Мцхетом и Тифлисом в поисках «гостя Цесаревича», встретить и

сопровождать которого выпала ему честь и т. д.

Однако факт остается фактом. Я именно тот «академик Нестеров», которого ему поручено встретить.

Полковник с почтительной любезностью приглашает меня, прежде чем осматривать Сионский собор, посетить его. Его супруга ждет нас к обеду. Мне-де необходимо отдохнуть и проч<ее>. Я соглашаюсь. Обер-кондуктор хватает мой саквояж. Нас ожидает коляска, и мы едем к полковнику. Дорогой он пробует найти «тон» со мной. Заговаривает о том, что он постоянный участник высочайших охот, он как бы егермейстер, что вообще высочайшие особы к нему расположены, поручают ему сопровождать приезжих из столицы лиц…

Вот и дом. Нас встречает красивая, такая видная супруга полковника. Она тоже несколько разочарована несветскостью, неуклюжеством моего «превосходительства». Но делать нечего, надо проделать весь церемониал, подобающий случаю. Пробуют темы, на которые я мог бы живо реагировать, забывая или не зная об одной — *теме об искусстве.* Ее мы не касаемся, и все чувствуем себя, как рыба на песке.

Пока приготовляют к обеду, полковник ведет меня в свой кабинет. Показывает мне свои трофеи, — оленьи, кабаньи головы, шкуры убитых им медведей, редкостное оружие. Я что-то говорю, едва ли то и так, как нужно говорить заправскому охотнику. Но что же мне делать? Я ведь не охотник, я никогда ничего в своей жизни не застрелил, к тому же я и плохой актер и играть «роль» мне невыносимо скучно.

Подают обед, очень изысканный. Отличные вина, не помню, было ли шампанское. Затем отдых в особо отведенной комнате. Все в доме затихает, как у Гоголевского городничего, когда Хлестаков отдыхает… Боже праведный! Как трудно, не будучи Хлестаковым, быть в его фальшивом положении.

Летний день длинный. Успели мы пообедать и отдохнуть, успели осмотреть Сионский собор и его ризницу.

Наружный вид собора очень хорош. Стиль его сохранился, если не полностью, то все же ничем не шокирует гла́за после Гелатского и Мцхетского храмов. Роспись позднейшая — князя Гагарина, она не в стиле глубокой грузинской старины, но тон росписи приятный и не банальный[283].

Вызванный настоятель храма предупредил нас, что ризница собора помещается чуть ли не на чердаке его, что попадают туда через какой-то люк… Однако мое желание было так непреодолимо, что и старик Настоятель, и мой «егермейстер»[284] поняли, что тут ничего не поделаешь и через люк лезть придется. Полезли, выпачкались в пыли, но то, что я увидел, искупало все

лишения, все трудности. Ризница, хотя и не была в идеальном порядке, все же представляла несомненный драгоценный церковно-археологический материал, уступающий однако Московской Патриаршей Ризнице до ее ограбления.

Выбравшись тем же путем обратно, я поблагодарил настоятеля, и мы отправились осматривать туземный базар.

На другой день смотрели огромный и плохой Александровский собор, музей, где в картинах Рубо могли видеть эпизоды покорения Кавказа, сдачу Шамиля и проч<ее>… Побывавши на горе в монастыре Св<ятого> Давида, поклонились могиле Грибоедова, и после обеда я, напутствуемый самыми лучшими пожеланиями супруги полковника, в его экипаже отправился на вокзал и там, простившись с моим Чичероне, поблагодарив его, уехал через Баку — Владикавказ в Кисловодск, где меня ждала моя дочка, проживающая у М. П. Ярошенко. Таким образом, закончился мой обзор грузинских церковных памятников. Позднее я предполагал проехать в Армению, но неожиданные события совершенно изменили мои планы.

В Кисловодске я нашел Олюшку совершенно здоровой, окруженной лаской, любовью и заботами Марии Павловны и «уточки» Елизаветы Александровны. Побежали дни за днями. Жилось всем хорошо. Мне хорошо работалось… как однажды утром, чуть ли не в Петров день, пронесся слух, что в Абастумане внезапно скончался Наследник — Цесаревич Георгий Александрович[285]…

К вечеру были подробные телеграммы. Они объясняли смерть Цесаревича так: рано утром Цесаревич, не сказавшись никому, приказал подать себе мотоцикле<т> и тайно от Бойсмана и док<тора> Айканова уехал по направлению к Зекарскому перевалу. Проехав версты две-три, повернул обратно, развив огромную скорость, ехал против ветра, и недалеко от дворца В<еликого> К<нязя> Александра Михайловича у него хлынула кровь горлом, и он, не владея собой, наскочил на ехавшую на свой хутор из Абастумана молочницу-молоканку Анну Дасоеву, — упал с машины. И Анна Дасоева и была единственной свидетельницей кончины несчастного Наследника Российского престола. У нее на руках и скончался Цесаревич. Она же первая, повернув лошадь, приехала во дворец и дала знать Бойсману и обезумевшему от неожиданности и от сознания того, какой ответственности подлежит, до<кто>ру Айканову, и всем тем, кому было поручено охранять жизнь Цесаревича.

Сейчас же все кинулись к месту катастрофы. Цесаревич лежал уже мертвым в стороне от дороги. Тело перевезли во дворец.

Послали телеграммы Государю, Императрице-матери и оповестили о случившемся население России. Начались в Абастумане приготовления к перевозке тела в Петербург, панихиды, ожидание Высочайших особ и прочее…

Я, узнав о случившемся в Абастумане, послал в Петербург В<еликому> К<нязю> Георгию Михайловичу телеграмму с почтительным своим соболезнованием и на другой день получил следующий ответ Вел<икого> Князя в Кисловодск: «Сердечно благодарю Вас за выраженные Вами чувства. Скорблю об утрате истинно доброго человека и друга. Как только получу указания от Его Величества и от Государыни Императрицы Марии Федоровны о дальнейших работах в Абастуманском храме, немедленно сообщу Вам. Во всяком случае уверен, что желание будет окончить храм в том виде, как незабвенный Цесаревич сам утвердил. Георгий».

Получив такую телеграмму, я продолжал разработку эскизов росписи. Каждый день в телеграммах и статьях появлялись подробности кончины Цесаревича, церемониала перевозки его праха в Петербург для погребения в Петропавловском соборе.

Из Абастумана до Боржома прах Цесаревича был перевезен на лошадях, затем до Батума по железной дороге, где ждала особая эскадра, она приняла прах Цесаревича, носившего мундир морского офицера.

В Новороссийске ожидала тело Императрица-мать. Оттуда в ее сопровождении, а также в сопровождении лиц, состоящих при покойном Цесаревиче в Абастумане и его духовника, поезд пошел в Петербург, где состоялись похороны в Петропавловском соборе в Высочайшем присутствии. В церемониале все время участвовал духовник Цесаревича протоиерей К. А. Руднев и свита почившего.

Могила Цесаревича была в ногах его отца-Императора Александра III. Так закончилась земная жизнь Цесаревича, человека доброго, глубоко несчастного, окруженного в последние годы его жизни не всегда достойными людьми.

Но это была участь почти всех особ Императорской Русской семьи. Нечасто на их долю выпадало иметь около себя людей бескорыстных, преданных, благородных. Такие по тем или иным причинам сторонились, а их место занимали разного сорта карьеристы, проходимцы и проч<ие>. Высочайшие особы часто были в этом своем окружении совершенно беспомощны. Даже такой огромной воли человек, как Александр III, видевший все и вся, иногда был бессилен преодолеть это роковое окружение.

При последнем же Государе Николае Александровиче люди такого порядка возобладали и не надо называть главных деятелей гибели дома Романовых, — они у всех сейчас живущих остались в

памяти.

Во второй половине августа я вернулся в Киев, стал работать Абастуманские эскизы и картину «Голгофа».

Олюшка осталась в Кисловодске у М. П. Ярошенко. «Уточка» наша к началу занятий в институте уехала в Киев. Ее заменила некая Б<орейш>а. В конце октября дочка моя с Мар<ией> Павл<овной> и Б<орейш>ой приехала в Петербург, где моей больнушке предстояла новая операция — извлечение косточки около уха, оставшейся после неудачной трепанации черепа. Операция была сделана проф<ессором> Е. В. Павловым.

В январе, после девятилетней дружбы, я сделал предложение Е. А. Праховой. Оно было принято, но свадьба наша не состоялась: мое знакомство, близость с Ю. Н. У<русман>[286], предстоящее рождение дочери Веры и многое другое настолько осложнили дело, что свадьба как-то сама собой разошлась, что не помешало нам с Е<леной> А<дриановной> остаться друзьями на всю жизнь. В декабре Олюшка вернулась в Киев.

Я готовился к Передвижной, писал «Голгофу» и небольшую картину «Думы»[287], на выставке так понравившуюся Левитану. Прошла и выставка, я вернулся в Киев.

С Олюшкой была м<адмуазе>ль Б<орейш>а. Характер моей дочки после девяти месяцев болезни, нескольких операций стал иным. Она стала капризна, нервна и требовала огромного внимания и очень бережного с ней обращения. Этого, несмотря на все усилия, на драгоценную помощь гр<афини> Коновницыной, дать моей Олюшке я не мог. Она оставалась дома, понемногу готовилась к весенним экзаменам, их выдержала и, по совету проф<ессора> Волковича, в мае должна была ехать в Уфу на кумыс. Ее проводила туда Б<орейш>а, оставив на попечении моей сестры, которая по-прежнему в ней души не чаяла.

Я еще оставался в Киеве, работал над Абастуманскими эскизами. Количество их увеличивалось…

Так закончилось для меня девятнадцатое столетие. Оно подготовляло нам, всей России события чрезвычайные. Для меня новое столетие началось довольно благополучно.

Дальше с огромной быстротой сменялись счастливые дни несчастными. Наступила великая война, затем революция, после которой я, если и сохранил жизнь, то художественная моя деятельность кончилась. Я почти перестал работать[288]…

Выставки. 1900–1901

В этот приезд свой в Петербург я предполагал большую часть Абастуманских эскизов показать в Царском Селе, и, быть может, в Гатчине. Вел<икий> Князь Георгий Михайлович обещал мне дать знать о дне приема. Остановился я, как всегда, в Гранд-Отеле.

Однажды, когда я возвратился очень поздно из гостей, мне сказали, что меня по телефону вызывал Великий Князь и что из дворца есть мне повестка. Я взял ее и прочел, что завтра в 9 часов утра я должен быть на Царскосельском вокзале к отходу поезда по императорской ветке.

Прошел к себе в номер, стал приготовлять все, что нужно для завтрашнего утра, и тут вдруг обнаружил, что взятое прачкой несколько дней назад белье еще не было принесено. А то, что было налицо, не подходило для фрака и вообще «парада». Позвонил, передали, что белье едва ли будет раньше завтрашних десяти часов. Плохо дело. Успею ли я до девяти достать что надо в городе, будут ли открыты магазины, — едва ли…

Ложусь в постель, сплю плохо, просыпаюсь рано, одеваюсь, в девятом часу беру портфель с эскизами, еду на вокзал, надеясь, что дорогой успею купить необходимое. Не тут-то было — петербургские торговцы еще спят.

Так, не в полном параде и сажусь в поезд. Со мной едут какие-то генералы и еще кто-то, кому назначен прием на утро.

На вокзале ожидают прибывших придворные экипажи. Перед тем, как сесть в карету, говорю одетому в красную с императорскими гербами ливрею лакею, что мне необходимо заехать по пути в галантерейный магазин. Открыты ли такие сейчас? Отвечает: «вероятно».

Едем. По пути городовые, околоточные на углах козыряют «моей» карете с Императорскими коронами на фонарях. Останавливаемся у магазина, я выхожу, спрашиваю, что мне надо. К счастью, получаю, переодеваюсь в комнате позади магазина и теперь, уже в полном великолепии, продолжаю путь.

Обычная процедура, высаживают, провожают в особые комнаты для приглашенных. Там на столе ожидает кофе, утренний завтрак.

Минут за десять-пятнадцать до назначенного времени приема входит гоф-фурьер, приглашает следовать за ним, передает скороходу. Он ведет дальше в апартаменты Государя, в его библиотеку, просторную комнату с дубовыми кругом шкафами. Там ожидает гр<аф> Гендриков, дает необходимые указания и

уходит.

Я прошу достать мне мольберт, — приносят. Устанавливаю его, сообразуясь со светом и с тем откуда должен выйти Государь.

У дверей прямо передо мной стоит огромного роста царский арап в чалме из зеленого шелка, в фантастических шальварах, в расшитой золотом куртке. Арап стоит у тех дверей, из которых должны выйти их Величества. Проходит еще несколько минут.

Дверь отворяется, входит Государь, очень мало изменившийся с 1896 года, когда я видел его во Владимирском соборе. Он очень похож на Серовский портрет в тужурке: тот же поворот головы, та же породистость в изгибе шеи, так тонко подмеченная Серовым.

За Государем вошла Императрица, такая же красивая, как в Киеве. Их Величества здороваются, просят показать то, что я привез. Государыня садится в приготовленное раньше кресло, Государь остается стоять.

Начинаю показывать один эскиз за другим. Какой-то из них дает повод заговорить об Италии. Государь собирался тогда с визитом к королю Виктору-Эммануилу. Я говорю о Риме, меня внимательно слушают. Государыня теперь говорит по-русски совершенно свободно.

Один за другим проходят эскизы. Показал Пророков, Святителей — вот «Александр Невский», «Георгий», «Рождество», «Воскресение»… Пошли эскизы для пилонов: «Мария Магдалина», «Михаил Тверской», «Св. Нина», а «Царицы Александры» нет, как нет… Между тем больше чувствую, чем вижу, что ее-то и ждут… Куда она девалась?

Вижу — Императрица теряет терпение, яркий румянец залил все лицо. Она стала как-то напряженно внимательна, замолчала. Ну, думаю, дело дрянь. А что если «Царица Александра» осталась на Морской в Гранд-Отеле?

Осмотр близился к концу. Государь продолжает делать свои замечания в тех же мягких благожелательных тонах. Задает вопросы о росписи храма. Вот почти и конец.

Как нарочно приходит в голову рассказ Серова о том, как он писал свой неудачный портрет с Императрицы, как зловеще горело тогда алым транспарантом на свету ее ушко[289].

Осталось два-три эскиза и… о радость — «Царица Александра».

Вижу, Государыня изменилась, повеселела, успокоилась. Появилась опять приветливая улыбка… Эскиз ей нравится, она довольна. Слава Богу!

В этот момент дверь открывается, входит скромная, изящная, на вид совсем молодая, в выездном туалете, в черном с

каракулевым воротником жакете, в такой же шапочке и с муфтой Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Меня представили. Великая Княгиня с первых же слов очаровала меня своим прекрасным, ясным лицом, простотой, оживленностью. Она просит, нельзя ли ей наскоро пересмотреть эскизы, говорит, что не могла прийти раньше, — она собиралась ехать с детьми на прогулку…

Государь тоже просит перелистать эскизы. Вел<икая> Княгиня горячо, искренно хвалит то, что ей нравится. Прекрасное лицо ее оживляется еще больше…

Осмотр закончен. Меня благодарят, милостиво прощаются.

Обратная поездка по той же императорской ветке, почти с теми же лицами… Петербург, я дома в своем прокопченном сигарами Гранд-Отеле.

Впереди меня ждала новая поездка в Абастуман. По слухам, после кончины Наследника там многое изменилось к худшему!

Одновременно с Абастуманскими я делал эскизы для церкви в Новой Чартории Волынской губ<ернии>, построенной на могиле бывшего Виленского генерал-губернатора Оржевского. Сама церковь была небольшая, ничем не примечательная, но внутри все декоративные, мраморные и проч<ие> работы взялся исполнять Адриан Викторович Прахов. Я же был приглашен написать образа иконостаса и сделать эскизы стенной росписи (в куполе, в барабане). Вот сейчас я и был всем этим занят.

Подготовив все что надо, я уехал снова на Кавказ. Летом дорога до Абастумана была приятной, скорей прогулка, тем более что я знал, что пребывание в Абастумане займет несколько дней. Ехал знакомыми местами, те же встречи, хотя без прежнего «энтузиазма». Вот и Абастуманское ущелье.

Грустное зрелище представлял собой осиротелый Абастуман через год по кончине Цесаревича, хотя добрая слава о покойном еще жила среди населения. Все, что я нашел во дворце было так непохоже на то, что еще недавно было здесь. Весь штат Цесаревича, вся его свита разъехалась кто куда. Не было ни Бойсмана, ни Айканова. Заведующим дворцом оказался маленький «Жозя» Трахтенберг. При нем было два-три человека дворцовой прислуги. Сам дворец показывали желающим. Смотреть, как жил умирающий Наследник Русского престола не было особенно интересно. Жил он донельзя скромно. И лишь кое-какие фотографии-группы, развешанные для чего-то по стенам, говорили о том времени, когда здесь жилось б<ыть> м<ожет> слишком весело.

Еще оставался в Абастумане бывший духовник Цесаревича, жил и доктор Гопадзе с красивой женой своей, даривший ему

ежегодно то дочку, то сынка.

Осмотрев церковь, решил приступить к загрунтовке стен, поручив ее архитектору Свиньину. Этот Свиньин был вятич из крестьян, не даровитый, но ловкий, — как-то пролез к Высочайшим. Ему, простоватому на вид, якобы преданному, поверили. Он сделался архитектором двора Его Величества.

При изменившемся положении в Абастумане Свиньин задумал обесценить Абастуманский храм, созданный талантливым Симансоном. Он бранил Симансона, говорил, что храм недолговечен, о чем намекал Вел<икому> Кн<язю> Георгию Михайловичу и Императрице Марии Федоровне, — «старухе», как он называл Императрицу за глаза. И, «подготовив почву», думая встретить во мне соучастника, сообщил мне свою счастливую мысль — доложить Государю и Императрице-матери о безнадежном положении Абастуманского храма, предложить им построить, по образцу Зарзмской церкви, другой — лучший, уже в Гатчине, поблизости дворца. Такой храм должен был не только сохранить память о Цесаревиче, но своим видом напоминать о нем Августейшей матери. Я должен был поддержать такой проект, потому что я же и распишу Гатчинскую церковь. Мне выгодно было это тем, что не надо будет жить где-то в скучном Абастуманском ущелье, я буду «на виду» и проч<ее>.

Свиньину казалось все делом легким. От предложения я наотрез отказался, о чем и написал простодушному вятскому мужичку… После моего ответа я все же доверил ему загрунтовку церковных стен.

Из Абастумана я проехал в Москву, оттуда в Париж. Осмотрел Всемирную выставку[290], побывал в музеях, осмотрел то, что видел в предыдущий приезд и много нового, еще невиданного.

Русский отдел не был выдающимся. Наши музеи, где хранились лучшие произведения русских мастеров, не имели обычая выпускать из своих стен вещи за границу.

Самым сенсационным произведением были недавно написанные и нашумевшие малявинские «Красные бабы». За них Малявину хотели присудить «Grand Prix»[291] и не сделали этого лишь потому, что художник был молод, а рядом были картины давно прославленных мастеров — Репина, В. Васнецова, Сурикова, Серова.

Серов был представлен отлично, его портрет Вел<икого> К<нязя> Павла Александровича в латах на коне и другие останавливали на себе внимание. Репин был вне конкурса[292], так как участвовал в жюри по присуждению наград. Виктор Васнецов поставил свою «козырную» вещь — «Аленушку», два образа — слабые повторения с иконостасных образов Владимирского

собора. Суриков дал «Снежный городок», я — «Под благовест» и «Чудо». Они не были плохи, однако не были и такими, из-за которых ломают копья.

Жюри присудило «Гран при» Серову, золотую медаль Малявину за его «баб», приобретенных в Венецианскую национальную галерею. Виктору Васнецову присуждена была серебряная медаль, но Репин и гр<аф> И. И. Толстой так горячо протестовали против такого решения, что медаль была отменена, а Васнецову был дан Французским правительством «За общие заслуги перед искусством» орден Почетного Легиона.

Таким образом дни альянса не были омрачены[293]. Мне дали серебряную медаль, Левитану тоже. Суриков, несмотря ни на что, не был понят вовсе, и ему присудили бронзовую медаль. Многим из наших известностей дали лишь почетный отзыв[294].

Самолюбия были оскорблены. Все были недовольны… но что же поделаешь? Виноваты были и мы, смотревшие сверху вниз на заграничные выставки.

Как-то, придя в Русский отдел, я увидел на одной из левитановских картин траурный креп и тотчас же узнал в Комиссариате о полученной телеграмме, что Левитан скончался в Москве внезапно, от разрыва сердца. Моя и наша общая печаль была искренней: хороший человек, отличный художник молодым еще выбыл из наших рядов. Я искренне любил его, считал верным своим приятелем и ценил его дивный дар[295].

Выставка 1900 года не была так разнообразна, как 1889-го. Для меня одно отсутствие «Жанны д'Арк» Бастьен-Лепажа было ничем не заменимо. Был очень хорош Английский отдел.

В Париже и у нас дома говорили, что на выставке общее внимание возбуждал наш железнодорожный отдел: он был лучшим после Американского. Постройка С. И. Мамонтовым пути на север к Архангельску была прекрасно иллюстрирована большими панно Константина Коровина[296].

Я не мог тогда долго оставаться в Париже, скоро вернулся в Россию. В сентябре я снова был в Киеве. В это время я обдумывал набело композицию своей «Св<ятой> Руси».

Здоровье моей дочки улучшилось, хотя глухота осталась. Часто думалось о том, чтобы около нее был верный, надежный человек… Такого не было, и это заботило меня в те дни.

До сих пор я ничего не сказал о своем знакомстве с княгиней Натальей Григорьевной Яшвиль, имевшей в моей жизни, особенно второго киевского периода, большое значение. Я познакомился с ней в стенах Владимирского собора в пору его окончания.

Тогда Нат<алья> Гр<игорьевна> была недавно овдовевшая молодая женщина. Она была замужем за потомком того кн<язя>

Яшвиль, который участвовал в убийстве Императора Павла, после чего остаток жизни провел в покаянии им содеянного.

Муж Нат<альи> Гри<горьевны>, полковник лейб-гвардии Царскосельского гусарского полка, делал быструю карьеру, но внезапно умер, оставив молодой жене двух маленьких детей. Судьба их впоследствии была трагична. Кроме детей, кн<язь> Яшвиль оставил большое, совершенно расстроенное имение Сунки близ Смелы, когда-то принадлежавшее друзьям Пушкина — Раевским.

Молодая вдова осталась в тяжелых условиях. Одаренная волей, большим умом, Наталья Григорьевна (урожденная Филипсон — род, ведущий свое начало из Англии; отец ее — старый генерал, был когда-то попечителем Петербургского учебного округа) не пала духом.

Разоренное имение скоро превратилось в благоустроенное, с виноградниками, с фруктовыми садами, с огромным, приведенным в образцовый порядок лесным хозяйством. В Сунках была построена прекрасная школа, где крестьянские дети обучались различным ремеслам, баня (в Малороссии их не знали, а с тех пор баней пользовалось все огромное село Сунки).

Многое было задумано и умно осуществлено Натальей Григорьевной. В имении, еще недавно запущенном, теперь цветущем, Нат<алья> Гр<игорьевна> устроила мастерскую кустарных вышивок, образцами коим служили музейные вещи XVII–XVIII века. Вышивки скоро стали популярны не только в России — они шли в большом количестве за границу. В Париже сунковские крестьянки получили золотую медаль. Вышивки эти давали молодым женщинам и девушкам-крестьянкам отличный заработок, особенно в зимнее свободное время. Так жило село Сунки до 1917 года…

Горе, когда-то пережитое, забывалось, дети росли… Наши отношения крепли, выросли в дружбу. В Киеве мы жили визави: кн<ягиня> Яшвиль со своей сестрой С. Г. Филипсон жила в небольшом особняке, наполненном художеством, музыкой, заботами о детях. Нат<алья> Григ<орьевна> до замужества училась у Чистякова, была и тут даровита, как всюду, к чему ни прикасались ее ум и золотые руки.

Наталья Григорьевна в моей жизни заняла большое место. Она сердечно, умно поддерживала все то, что могло меня интересовать, духовно питать. Часто у нее я находил душевный отдых, как человек и как художник. Ее богатая натура была щедра в своей дружбе, никогда, ни на один час не покидала в трудные минуты. Видя меня иногда душевно опустошенным, одиноким, она звала меня вечером к себе и частью в беседах об искусстве,

частью музыкой — Шопеном, Бахом, а иногда пением итальянских старых мастеров небольшим приятным своим голосом — возвращала меня к жизни, к деятельности, к художеству. Я уходил от нее иным, чем приходил туда.

У нее были обширные знакомства, связи, по преимуществу среди киевской знати. Но я не любил бывать у Яшвиль в дни приемов: уж очень я был несветский человек.

За массой дел по имению, по разным светским и благотворительным обязанностям, она успевала заниматься искусством. Она хорошо, строго, по-чистяковски рисовала акварелью портреты, цветы. Как-то сделала и мой портрет, но он, как и все с меня написанные, не был удачным.

Дети ее отлично, умно воспитывались, ее радовали. Постоянным и верным другом и помощником была ее сестра — Софья Григорьевна Филипсон — натура горячая, любящая.

Живя летом в своих Сунках, Нат<алья> Гр<игорьевна> однажды, когда я был уже вторично женат, предложила мне поселиться у нее на хуторе, в четырех верстах от Сунок.

Хутор Княгинино был уголком рая. Это был сплошной фруктовый сад с двумя прудами: в одном водились караси, карпы и пр<очие>, в другом было преудобно купаться. Славный малороссийский домик был обставлен на английский лад. Мы прожили там с небольшими перерывами девять лет, девять прекрасных, незабываемых лет… Дети наши вспоминают об этом времени, как о счастливейшем.

Там, на хуторе, жил приказчик — садовник Василий, хохол с мистическим мировоззрением, упорный кладоискатель, человек необыкновенной честности и не без романтизма в прошлом. В него, очень красивого, когда-то влюбилась помещичья дочь и, не имея возможности осуществить свою мечту, покончила с собой. Серьезность, какая-то замкнутость Василия делали его одиноким, и лишь книги серьезного содержания отвлекали его от каких-то далеких дум.

Были на хуторе и еще служащие — семья малороссов-стариков с внуком Трохимом, приятелем и сверстником моих детей. Во время покоса, нашей страды, нанимались временно рабочие из села.

Славно нам жилось в Княгинине. Часто наезжали гости из Сунок в экипажах и верхами. Они пили у нас чай, насыщались и уезжали шумной ватагой домой.

Я много работал. Там были написаны почти все этюды к Марфо-Мариинской обители. В Сунках же был написан портрет Натальи Григорьевны, бывший на моей выставке 1907 года, потом у самой Натальи Гр<игорьев>ны и после 1917 года перешедший

в Киевский Исторический музей[297]…

В Княгинине мы узнали о том, что объявлена война. Это было тяжелое известие, и кто мог подумать тогда, представить себе все бедствия, кои с тех дней посыпались на наше Отечество… Сын Нат<альи> Гри<горьевны> пошел добровольцем в армию, был взят в плен под Перемышлем, затем возвращен и погиб во время революции. Сама Н<аталья> Г<ригорьевна> стояла в великую войну во главе огромного госпиталя и по воле вдовствующей Императрицы ездила в Австрию для осмотра лагерей с нашими пленными. Поездка ее, говорят, дала хороший результат.

С именем кн<ягини> Нат<альи> Григ<орьевны> Яшвиль у меня связаны сотни самых благородных, прекрасных воспоминаний…

Мне вспоминается и другая достойная женщина — Наталья Ивановна Оржевская, урож<денная> княжна Шаховская, сестра депутата Думы — Кн<язя> Д. И. Шаховского. Она — юная, где-то под Варшавой, живя у своего родственника, принимала как хозяйка Императора Александра II, приехавшего на охоту. Фрейлиной Н<аталья> И<вановна> выходит замуж за генерала-адъютанта Оржевского. Венчание в Аничковом дворце, благословляет невесту Император Александр III.

Так начался жизненный путь Натальи Ивановны, окруженной почетом, богатством и проч<им>. Душа ее тянется к иному. Она вся в поисках добрых дел, и только уступая мужу, делавшему большую служебную карьеру, остается светской женщиной, «выезжает», принимает и т. д.

Муж Н<атальи> И<вановны> — известный шеф жандармов, затем Виленский генерал-губернатор, она — одна из красивейших придворных дам. Душой же она в больницах, приютах, в общежитиях курсисток.

Проходят годы… Муж умирает, умирает тяжело. Она делает из него христианина, хоронит у себя в Новой Чартории, строит над могилой церковь, приглашает Прахова и меня украшать ее.

В боксерскую войну[298] Наталью Ивановну посылают в Маньчжурию ревизовать Красный Крест, во главе образованного ею на свои средства отряда сестер милосердия. Не покладая рук, работает она там, как до того и после работает в Новой Чартории в качестве простой сестры в больнице. Однажды, когда больная сыпным тифом сказала ей, что суп невкусен, Наталья Ивановна, не задумываясь, взяла ложку у больной и попробовала суп, после чего сама заболела тифом в очень тяжелой форме…

Н. И. Оржевская, как и кн<ягиня> Н. Г. Яшвиль, была человеком долга в самом полном значении этого слова. Она была «кавалерственная дама» (имела орден Св<ятой> Екатерины),

была облечена полным и заслуженным доверием Императорской фамилии и никогда не пользовалась этим для своих выгод. Все ее помыслы, заботы и мечты были направлены на благо людям, — особенно тем людям, кои благ этих не имели, — были ли это ее односельчане, или учащаяся молодежь дома и за границей. Наталья Ивановна равно благородная, высоконастроенная как в дни благополучия, так и в дни последующих несчастий, почти нищеты, кои она принимала и несла с огромным достоинством.

Наталья Григ<орьевна> Яшвиль и Наталья Иван<овна> Оржевская были одни из самых обаятельных женщин, красивых душ, каких я встречал в своей жизни.

Заботы о моей дочке не покидали меня. Воспитательницы, которые появлялись около нее, не имели авторитета, и я стал подумывать отдать ее с осени вновь в институт.

Приближались праздники Рождества, Новый год. Собирался ехать в Петербург, так как Дягилев настаивал, чтобы я выставил у него Абастуманские эскизы. Пока я над этим делом раздумывал, он добился разрешения на постановку эскизов на своей выставке у Наследника Михаила Александровича, о чем и телеграфировал мне. Волей-неволей эскизы были посланы Дягилеву, которому они в тот момент были нужны… С их помощью Сергей Павлович надеялся привлечь на выставку Государя и вдовствующую Императрицу, недолюбливавшую выставки «Мира искусства».

К тому времени Дягилев и Александр Бенуа успели изменить свой первоначальный взгляд на художество В. М. Васнецова, ополчились на него, добились того, что следующие поколения уже не смотрели на Виктора Михайловича так, как поколение предшествующее. При этом «цель оправдывает средства» применялось к Васнецову в полной мере.

Журнал «Мир искусства», субсидируемый Государем, благодаря умелому ходатайству Серова, писавшего с него портрет, немало способствовал, чтобы омрачить славу Васнецова[299].

Обстоятельства складывались так, что и мое имя, как религиозного живописца-художника, было Дягилевым взято на прицел. Сейчас я должен был сослужить ему последнюю службу. Я это чувствовал, готовился сам предупредить дальнейшие действия Сергея Павловича. — Час для этого настал…

Выставка «Мира искусства» открылась в начале января 1901 года в Академии художеств с огромной пышностью.

Я снова в Петербурге… Переодевшись, еду в Академию художеств. Рафаэлевский зал узнать нельзя, так преобразил его волшебник Дягилев. Огромный зал разделен на десятки

маленьких уютных комнаток, обтянутых холстом приятного цвета, и в этих уютных клетках, среди цветов, показано было искусство тех дней.

В первой или второй комнатке нарядно помещались мои абастуманские эскизы. Их надо было показать первыми, пока высокие гости еще не устали, не притупилось их внимание. Расчет был верным. Над ними по углам были помещены яркие, большого размера полотна Врубеля, совершенно задавившие мои маленькие акварели.

Я вижу замысел Сергея Павловича: заслужить за мои эскизы высочайшее одобрение, с другой стороны, показать «своим», что и Врубель не забыт…

Выждав, когда освободится кипящий как в котле Дягилев, я отозвал его в соседний зал и без обиняков заявил, что соседство Врубеля для меня невыгодно, что оно двоит впечатление, что необходимо мои вещи перевесить дальше от входа, оставив Врубеля на его местах, или ему придумать что-нибудь иное. Если же он этого сделать не пожелает, то я сейчас же свои эскизы с выставки снимаю…

С Дягилевым нелегко было говорить: с одной стороны, его «диктатура», с другой — обаятельность. Оба эти свойства Сергея Павловича я знал хорошо, также знал, что в тот момент я ему был больше нужен, чем он мне. И взял единственный верный тон — тон категорический, заявив ему, что разговор наш не затянется, что он будет в двух словах. Горячий, неприятный разговор. Я, по словам Сергея Павловича, «человек тяжелого характера», «со мной трудно сговориться», — что делать… Пришлось дать обещание всё сделать по-моему. Сергей Павлович обещает мне тотчас же перевесить мои эскизы или найти соответствующее место большим, прекрасным, написанным маслом вещам Врубеля. Стали искать место — нашли прекрасное для картин Врубеля. Я остался на прежнем месте.

Этот разговор, моя настойчивость были поводом к дальнейшему углублению пропасти между мной и мирискусниками[300]…

Симпатии к выставке Мира Искусства Государя и также президента Академии Художеств В<еликого> К<нязя> Владимира Александровича были обеспечены. Не поддавалась еще Императрица Мария Федоровна. Однако Сергей Павлович со дня на день ожидал ее посещения. На время пребывания высокой посетительницы предполагалось выставку закрыть, а ехать Императрица не спешила…

Шла опера. Я сидел в партере Мариинского театра. Во время антракта ко мне спешно подошел конференц-секретарь Академии

Лобойков, вызвал меня, сообщил, что он чуть ли не с четырех часов ищет меня по Петербургу, случайно узнал, что я в Мариинском театре, кинулся сюда. Ему дали знать из Аничкова дворца, что вдовствующая Императрица на выставке Мира Искусства быть не может, а я завтра к 11 часам утра должен буду представить все абастуманские эскизы в Аничков дворец лично. Дягилев об этом извещен, эскизы сняты, и выставка завтра до возвращения мною эскизов будет закрыта.

Выслушав такое распоряжение, я сказал, что в назначенный час эскизы будут доставлены во дворец. Лобойков, успокоенный, уехал, я остался в театре.

Ночь спал плохо. Утром был в Академии, нашел эскизы сложенными в большой портфель, взял экипаж, отправился в Аничков дворец, в коем еще до тех пор не бывал никогда.

Приехал, мне указали гостиную, где я должен был встретить Августейшую хозяйку и демонстрировать мною содеянное. Я успел, при помощи камер-лакеев и гоф-фурьера, достать мольберт и ждал выхода Императрицы, рассматривая обстановку гостиной, богатую, но буржуазную, правда, с прекрасным Семирадским по стенам («Пляска у скалы Тиверия» и еще что-то).

Прошло несколько минут, и прямо из двери появилась Императрица, как всегда, приветливая, ровная. С ней вышла Вел<икая> Княжна Ольга Александровна, в простеньком домашнем светлом платье. Императрица меня знала, извинилась, что наделала мне и выставке столько хлопот, что она очень занята и потому на выставке быть не может…

Начали осмотр. Похвалы. Когда все было показано, Императрица и Вел<икая> Княжна выразили желание просмотреть кое-что вторично, и вот тут меня удивила и тронула Вел<икая> Княжна: она так мило и просто стала помогать мне, ползая по ковру, отыскивать нужные эскизы, быстро разбираясь в массе их (более пятидесяти). Эта простота была такая неподдельная, живая и в ней было столько хорошей молодости, что я и сам, казалось, перестал чувствовать, где я, и вся моя официальность куда-то исчезла.

По вторичном осмотре Императрица и Великая Княжна, поблагодарив и ласково простившись со мной, удалились, а я отправился завтракать на Караванную к моему приятелю Турыгину. Он, уведомленный через посыльного, уже меня ждал. И я усталый, но довольный, отлично позавтракал и отдохнул. Эскизы тем временем были доставлены в Академию, и выставка была вновь открыта, увы! без надежды на приезд и благосклонность вдовствующей Императрицы.

В тот год я поставил на Передвижную картон (уголь,

пройденный акварелью) с Киевского своего «Рождества» (во Владимирском соборе) и маленькую картину «Пр<еподобный> Сергий» (зима, Преподобный идет не то в Пахру, не то в Звенигород).

С картоном (аршина два в квадрате) было такое: назначил я за него недорого. В первый же день к заведующему выставкой Хруслову подошел солидный господин. Спросил цену. Ему сказали. Он просил уступить. Заведующий ответил, что на это он разрешения не имеет, но что может послать автору телеграмму в Киев. Телеграмму я получил и ответил, что уступок никаких не будет.

Через день-два солидный господин зашел справиться об ответе. Узнав, что уступки не будет, он сказал, что «Рождество» он оставляет за собой, и, когда пришлось писать расписку в получении задатка, оказалось, что солидный господин был не кто иной, как известный сахарозаводчик-миллионер Павел Иван<ович> Харитоненко… Хруслов его не знал и жалел, что не назначил за «Рождество» втрое…

Позднее, в 1907 году, Пав<ел> Ив<анович> познакомился на моей выставке со мной в Москве и, уже не торгуясь, платил мне большие деньги за мои вещи, покупаемые и заказываемые им. Позднее, за границей, для «Рождества» была приобретена Харитоненками у парижского антиквара старая итальянская рама XVII века, за которую, вероятно, с Павла Ивановича взяли в несколько раз дороже, чем он, торгуясь, заплатил за мой картон.

Маленькую картинку «Преподобный Сергий» приобрел тогда Вел<икий> Кн<язь> Алексей Александрович.

В Киеве я тогда кончал образа для мозаик в мавзолей Графа Бобринского в Александро-Невской Лавре, а также писал этюды к «Святой Руси» и заканчивал образа для церкви в Новой Чартории Н. И. Оржевской. В Москве выставил на Передвижной «Чудо», бывшее год назад на выставке «Мира искусства» в Петербурге.

Тогда же прочел, по совету Ярошенко, первый том Горького и восхищался им[301].

Дочка моя тем временем жаловалась на боль в ушах, плохо слышала, и я отправил ее в Крейцнах, славившийся своими водами.

У меня была впереди поездка в Соловецкий монастырь. До поездки туда я побывал в Уфе.

На Соловках

Отдохнув немного в Москве, я отправился на Соловецкий с молодым, подававшим в те дни надежды пейзажистом Чирковым, их не оправдавшим и скоро сгоревшим от излишнего пристрастия к отечественному винокурению.

Приехав в Архангельск, мы узнали, что пароход на Соловки пойдет только на другой день. Мы осмотрели все, что можно было осмотреть, начиная с Собора и хранившихся в нем со времен Петра Великого работ его искусных рук. Ночь, летнюю северную ночь мы почти не спали, так как, начиная с 11 часов вечера и до самого рассвета, толпа гуляющих фланировала взад и вперед по панели у нашей гостиницы, как бывало по Невскому по солнечной стороне от 4 до 6 часов…

На другой день мы с Чирковым были на пароходе «Св<ятитель> Николай». Он вскоре отошел от пристани, полный богомольцев. День был свежий. Шли Северной Двиной, встречали множество судов, сплав леса по Двине был огромный. Вышли в море. Началась качка. На палубе настроение изменилось. Сначала женщины и дети, а потом и весь пароход, все его пассажиры почувствовали, что море не шутит.

Капитан — молодой, красивый монах, стоял на капитанском мостике, как изваяние. Спокойный, твердый, решительный, он властно отдавал приказания, глядя острым глазом из-под скуфьи. Волосы его были заплетены в небольшую тугую косу. Он чем-то напоминал мне суриковского Ермака.

С непогодой пассажирами все более и более овладевало тревожное чувство, и вот кто-то подал сигнал, — вся палуба запела молитву. Многие, едва держась на ногах, стояли на коленях, продолжая петь.

Где-то наверху, ниже капитанского мостика стоял молодой интеллигентного вида монах — красивый блондин. Он дирижировал. Его звучный, приятный тенор время от времени несся на просторе по бушующему морю одиноко. Молитва звучала все громче, все торжественней: она как бы покрывала собой разгневанную водную стихию.

Так длилось несколько часов. В молитве, в пении священных гимнов люди забывали страх, возможную свою гибель. И лишь капитан-монах властно, во Имя Бога и Преподобных Зосимы и Савватия смирял страсти разъяренного Бела-моря.

Прошла ночь, настало утро, тихое, спокойное. Вдали виднелись храмы и стены обители Соловецкой. «Св. Николай» вошел в док. Монах-капитан отдавал последнюю команду. Все

пассажиры были на палубе, такие счастливые, обновленные. Здесь был и вчерашний монах-дирижер, были и мы с Чирковым. Толпа на берегу ожидала, когда «Св. Николай» причалит. Вот бросили сходни, и народ повалил на берег. Мы с нашим незамысловатым багажом пошли туда же. Меня еще с берега узнали гостившие здесь молодые художники со Стеллецким во главе. Они заботливо, радушно предложили устроить нас в гостинице, расположенной около пристани. Народу приехало много. Распределить его было трудно. Мы устраиваемся пока что в общем номере. Наш монах тоже, но он чем-то недоволен. Приводим себя в порядок. Художники, встретившие нас, говорят, что меня, если я пожелаю, можно устроить очень хорошо. Стоит только мне послать свою карточку о<тцу> Настоятелю — архимандриту Иннокентию.

Я от этого отказываюсь. Я мог бы иметь письмо к о<тцу> Настоятелю из Петербурга или из Москвы. Тогда благоденственное житие в обители было бы мне обеспечено, но предпочел оставаться невидимкой, чтобы видеть все то, что я хочу видеть, а не то, что мне соблаговолят показать. Я предпочитаю быть свободным, вольным художником, а не важным гостем…

Наш спутник монах в чем-то колебался, о чем-то размышлял. Наконец, достал бумажник и отдал гостиннику свою визитную карточку. Гостинник взглянул на нее, и тон его к нашему спутнику сразу изменился, стал необычайно почтителен. Он с карточкой быстро удалился… Вскоре мы заметили на рясе нашего красивого монаха академический золотой (магистерский) значок. Ого! — подумали мы — монах-то наш, верно, персона не малая.

Скоро гостинник вернулся и уже более чем почтительно пригласил нашего незнакомца к Настоятелю. Тот при нас надел драгоценный крест и вместе с гостинником удалился.

В тот же день мы узнали, что спутник наш был архимандрит Иннокентий, ректор Тверской семинарии, окончивший сравнительно недавно Киевскую духовную академию, быстро делавший свою карьеру. Ему на вид было лет тридцать, едва ли больше. Говорили также, что <отец> архимандрит скоро будет возведен в сан епископский и назначен ректором одной из духовных академий. Так кончилось «инкогнито» нашего спутника.

На другой день во время трапезы мы уже видели его сидящим вместе с Настоятелем Соловецкой обители на особом возвышении, на золоченых, времен Императрицы Елизаветы Петровны, креслах. И кто был важнее из двух сидящих на этих «тронах» Иннокентиев — Настоятель ли, грубый, топором отесанный мужик, или наш вчерашний, скромный спутник? Мы узнали, что цель его поездки была чуть ли не негласная ревизия

обители Соловецкой.

В ближайшее воскресенье *наш Иннокентий* со всей пышностью, какая была доступна богатой древней обители Преподобных Зосимы и Савватия, совершал литургию в соборном храме, где покоились мощи Угодников Соловецких…

Скоро начался наш обзор, знакомство со знаменитой обителью с её скитов — Анзерского, Рапирной горы и проч<их>.

Моя цель была узкая, определенная: написать несколько лиц северян — поморов-монахов, написать два-три этюда с самой обители, её древних стен, башен, храмов, быть может, один-два пейзажа и только.

Меня мало интересовало знаменитое хозяйство Соловецкой обители, её оранжереи, где вызревали прекрасные сорта винограда и персики. Ее доки, в которых строились монахами пароходы и другие суда, необходимые обители, мастерские и прочее. Не интересовала меня ни образцовая типография, ни школа, ни иконописная мастерская. Повторяю, цель моей поездки была иная, и я со всей энергией принялся за дело, высматривая наиболее характерные лица монахов, богомольцев, вглядывался в типичные сооружения обительские.

День на Соловецком был короткий, немощный, бледный. Зато с вечера, часов с 10–11 и до утренней зари — часов до 3-х, было очень удобно работать красками. В эти часы я обычно работал. А мой приятель больше фотографировал.

Как-то забрел я далеко от монастыря на кирпичный завод. Там попался мне типичный монах-помор. Он был в подряснике из синей крашенины, на голове самоедовская меховая шапка с наушниками. Я попросил его посидеть, он согласился. Этюд, написанный с него, вошел потом в «Св<ятую> Русь».

Во время работы немало интересного порассказал мне монах. Он был старшим на заводе. Кирпич выделывался исключительно для нужд монастыря. Натурщик мой оказался иеромонахом, выглядевшим моложе своих лет. Он жил на заводе много лет, а в монастыре, в церкви бывал раза два в год: на Светлую заутреню, да на Троицын день. А молитва его — ежедневная, постоянная молитва была в труде, в работе, и говорил он об этом так просто, так убежденно… Поведал он мне и о старинном институте так называемых годовиков.

Давно повелся на Соловецком обычай весной привозить в обитель подростков лет двенадцати-шестнадцати. Эти мальчики в большинстве случаев были «вымоленные» родителями после долгого бесплодия, после тяжкой болезни или иной какой беды. Таких вымоленных и привозили обычно родители в обитель с весны до весны на год, потому и звались они «годовиками».

Таких мальчиков монастырь определял к какому-нибудь занятию: в певчие, если был голос, слух, в типографию, в поварню, в иконописную или еще куда, там наблюдали за годовиком, за его способностями. Так проходил год, и вот тогда, если у годовика оказывались способности чрезвычайные, был он особенно умен, даровит, монастырь предлагал родителям оставить их мальчика еще на год. Родители и сам мальчик иногда соглашались, иногда нет, и его увозили домой…

Бывали же случаи, что такой «годовик», оставаясь в обители ряд лет, так привыкал к ней, что сам отказывался навсегда вернуться домой. Поздней он становился членом монашествующей братии, доходил до высших чинов монастырской иерархии. Его выбирали Настоятелем монастыря, как было с архимандритом Иннокентием, который властно правил обителью в дни моего там пребывания.

Состав монастыря, его братия — крестьянство северных губерний и Сибири. Это был народ крепкий, умный, деловой. Они, как и мой натурщик, молились Богу в труде, в работе.

Однажды встретил я днем в стенах обители мальчика-монашка лет шестнадцати-семнадцати, такого бледного, болезненного, с белыми губами, похожего на хищную птицу, — на копчика что ли… Он был пришлый богомолец, — неразговорчивый. Недуг одолевал его медленно и беспощадно. Его я тоже написал, и он попал в «Св<ятую> Русь».

Попало ко мне и еще несколько лиц, более или менее примечательных. Они вошли в другие картины. Двое из них стоят — мечтают — в «Мечтателях» («Белая ночь на Соловецком»), Кое-кто попал в большую картину «Душа народа». Стены обительские, соловецкие пейзажи также вошли в свое время в мои картины[302].

Писал я больше по ночам. Тишина, сидишь, бывало, один-одиношенек, и только чайки, время от времени, не просыпаясь, пронизывают воздух гортанными своими возгласами и вновь дремлют, уткнув головки под крылья…

Ездили мы с Чирковым и на Рапирную гору, и в Анзерский скит. На Рапирной, сопровождаемые монашком, помню, вышли мы на луговину. На ней сидело двое-трое дряхлых, дряхлых старичков. Они всматривались через деревья в горизонт уходящего далеко-далеко Бела-моря. Слева была рощица.

Наш проводник внезапно обратился ко мне со словами: «Господин, смотрите, лиска-то, лиска-то!» Я, не поняв, что за «лиска» и куда мне надо смотреть, переспросил монашка. Он пояснил, что смотреть надо вон туда, налево, на опушку рощи, из которой выбежала лиса и так доверчиво, близко подбежала к старичкам. А им это дело было давно знакомое, они мало

обратили внимания на такую фамильярность дикого зверька[303].

Монашек пояснил нам, что у них звери, будь то медведи или зайцы, человека не боятся, и человек к ним попривык, не трогает их без особой надобности. Чуть ли не однажды в год монастырский «собор» постановляет изловить для нужд монастыря столько-то оленей, медведей, лисиц и еще чего там надобно. Делают капканы, силки и прочее, а что попадет в них лишнее против Соборного постановления, выпускают на волю.

Вот как тогда-то жил Соловецкий монастырь, жил по заветам Преподобных Зосимы и Савватия. Их Великими именами жила обитель, в их честь и прославление работала, не покладая рук. Они, да Преп<одобный> Герман, были примером, вдохновением к достойной жизни, к подвигу, к миру и любви, — к благоволению на земле. Худо ли это было?..

Умели отцы соловецкие работать, мастера они были и покушать. Трапезная огромная, со сводами, столы со скамьями тянутся по ней бесконечными рядами. Народу своего и пришлого полным-полно. Все ждут отца настоятеля.

Он появляется вместе с нашим спутником — архимандритом Иннокентием. Оба всходят на возвышение, становятся у своих золоченых кресел. Начинается молитва, после нее все садятся. Тишина, и только звонкий юношеский голос канонарха[304] раздается по трапезной. Он читает Жития Святых.

Разносят яства, разные заливные, потом идут несколько сортов каши, да какие! Такие в старину разве Цари в Москве едали… Если день был скоромный, давали каши и на молоке. Потом шли горячие яства — похлебки. Конца нет кушаньям. А канонарх звонко, звонко канонаршит… Все насытились, ни каши, ни похлебки больше в душеньку не лезут…

О<тец> настоятель подает знак, все встают. Читается молитва. Оба Иннокентия удаляются. Все мало-помалу расходятся, каждый по своему делу: тот на доки, тот в подвал, где хранились запасы рыбы. Другие идут в типографию, на конный. Трапезная пустеет и лишь проворные монахи-послушники, что прислуживали только что нам, собирают монастырское добро, возятся с мытьем посуды, потом готовятся к ужину.

Еще вот что я видел однажды из своего окна гостиницы, бывшей против пристани. На монастырской колокольне поднялся неистовый звон. Так звонили, бывало, в Уфе, когда любящий помпу Архиерей выезжал куда-нибудь к обедне или с визитами к губернатору, к голове или еще куда. Звонари, бывало, не боятся пересола и звон передается с одной колокольни до другой, пока Преосвященнейший Владыка не прибудет к месту. Тогда звонари, как по сигналу, обрывают звон. Наступает тишина.

Так было и тут. Звон самый заливной, переливчатый, веселый, радостный звон несся над обителью Угодников Соловецких. Недоумеваю. Иду спрашивать — почему такое ликование? Праздник, какое торжество?

Мне гостинник и говорит:

— Отец Настоятель отправляется сейчас на пароходе в Архангельск, потому и звон.

Я вернулся в свой номер, смотрю в окно и вижу — от монастырских ворот движется процессия. Впереди предносный «патриарший» крест (почет, предоставленный лишь митрополиту Киевскому да Настоятелю обители Соловецкой). За крестом размашистой походкой, как посадник Новгородский, идет о<тец> Иннокентий. Идет деловито. За ним иподиаконы, соборные иеромонахи и толпа богомольцев. Вся процессия прошла мимо моих окон. А колокола так и заливаются, ликуют.

На пароходе «Пр<еподобный> Зосима», на носу которого вырезан из дерева угодник в схиме с благословляющими воды Бела-моря перстами, встреча. Прощание, благословение провожающих. Пароход отваливает, выходит в море. Неистовый звон сразу обрывается.

Пора и мне домой собираться. Написал все, что было нужно, чего зря сидеть. Перед уходом на пароход даю гостиннику свою визитную карточку для передачи отцу Настоятелю, который, по слухам, знал о моем пребывании в обители и ждал моего визита, но такового не последовало… Вскоре за о<тцом> Иннокентием уехал и я.

На пароходе опять много народа, опять с нами наш Тверской о<тец> ректор — архимандрит Иннокентий. Погода дивная. Мы без всяких приключений дошли до Архангельска, а там на поезде едем до Москвы в одном вагоне с Иннокентием. Жарко. Выходим на площадку. Стоим безмолвно. Обоим скучно.

О<тец> архимандрит заговаривает первый. Из разговоров узнаю, что он из Киевской академии, любит Владимирский собор, давно, еще студентом, бегал туда, любовался тем, что мы там понаписали, знает меня, почитатель и т. д. Беседа о том о сем не прекращалась до самой Москвы.

Я узнал, что архимандрит Иннокентий не сегодня-завтра архиерей, что прогуливаясь сейчас на станционных перронах он без ужаса не может себе представить того времени, когда он, уже епископ, вынужден будет не ходить, а шествовать, а чаще всего ездить, и, б<ыть> м<ожет>, на четверке цугом, что это вредно ему при его склонности к полноте и проч<ее>, и проч<ее>.

Однако, через все эти речи чувствовалось, что все же Архиерейство его к себе манит, и он без особой драмы

примирится и с каретой, и с четверней, которые лишат его необходимого моциона. Повадка о<тца> Архимандрита была и тогда уже «архиерейская».

В Москве мы попрощались. Как-то позднее он заезжал ко мне уже архиереем, не застал дома, а еще позднее я слышал, что Преосвященный Иннокентий назначен чуть ли не во Владивосток, куда-то ближе к Китаю. Удалось ли ему там избежать кареты и ходить, как бывало киевским студентом, пешим, — не знаю. След епископа Иннокентия затерялся.

По дороге из Соловков заехал в Нижний к Горькому, который после сиденья в тюрьме совершенно оправился. Я написал с него этюд на воздухе, в саду, передающий тогдашнего Горького[305].

Горький тогда уже был известным, его имя возбуждало много симпатий и надежд. С ним легко говорилось на темы, любезные Русскому интеллигентскому сердцу, говорилось в упор, без обходов. Жена Алексея Макс<имовича> Екатерина Павловна в те дни была еще молоденькая, живая, приветливая. Жили они по-студенчески, довольно бестолково. Я прогостил у них несколько дней с большим удовольствием.

Из Нижнего на пароходе «Грибоедов» я проехал до Самары, дальше по железной дороге к Уфе. Из Уфы вернулся в Киев, в конце сентября двинулся в Абастуман. Там оставался недолго. Работы в церкви по перегрунтовке ее шли своим порядком. Помощник мой делал шаблоны орнаментов. Новой загрунтовке надо было дать время выстояться…

Сделав доклад Великому Князю Георгию Михайловичу в Боржоме, я был приглашен к обеду, после которого оставался во дворце весь вечер.

В конце октября вернулся в Киев и снова принялся за «Св<ятую> Русь». У меня была большая, удобная мастерская на Банковой, в доме директора Киевской консерватории Пухальского. Мастерская непосредственно соединялась с квартирой, тоже удобной, прекрасной. Целыми днями я работал свою «Св<ятую> Русь». С головой уходил в любимое дело, стараясь позабыть об Абастумане, обо всем, с ним связанном.

Горький прислал полное собрание своих сочинений с дружеской надписью[306]. Как давно все это было и как много после того изменилось!

В Москве тогда образовывалось новое художественное общество, филиал «Мира искусства» с некоторым перевесом в нём членов москвичей. Новая выставка была названа по количеству участвующих «Выставкой 36-ти». Цель ее была обессилить и без того стареющих и терявших чуткость Передвижников[307]. Пригласили и меня. Я послал эскизы к образам церкви в Новой

Чартории…

К декабрю «Святая Русь» была почти вся прописана, недоставало четырех-пяти фигур, для которых не было сделано в свое время этюдов…

Временно оставив «Святую Русь», я работал над образами Абастуманского иконостаса.

Поднялся вопрос об отделении церкви от государства. Писал об этом В. В. Розанов, сторонником такой церковной реформы был молодой епископ Антоний Храповицкий[308].

Мне казалось, что мера, очень хорошая сама по себе, не устраняла того зла, которое коренилось в самой природе некоторых служителей церкви, пока они будут оставаться лишь чиновниками ведомства исповедания, чуждыми благодати, присущей их высокому сану. Тема эта старая, как мир, но досадная по своей практической неразрешимости.

Работа в храмах Абастумана и Волыни. 1902

Наступил 1902 год. В феврале я через Москву проехал в Петербург. В Москве смотрел Шаляпина в «Борисе», а в антрактах в его уборной видел, как Федор Иванович работал над ролью, над своим гримом. Виденное лишний раз убедило меня, что даже с таким огромным дарованием, какое имел двадцатидевятилетний Шаляпин, необходимо затрачивать массу энергии, воли, стремления к постоянному совершенствованию.

В Петербурге в тот раз я пробыл до середины марта. Вернулся в Киев, где заканчивал «Святую Русь», не сегодня-завтра предполагая показать ее своим друзьям. Предстоящим судом волновался, хотя и видел, что час моего заката к сорока годам еще не наступил, как не настал он и для моих сверстников К. Коровина, Серова, Архипова.

В апреле я показал «Святую Русь» своим знакомцам. Видел ее и бывший тогда в Киеве и заезжавший иногда ко мне Шаляпин. Картину хвалили. Я радовался, хотя знал, что немало еще придется мне над ней поработать, особенно над Христом.

Ольга моя уезжала за границу, в Вену, я собирался опять в Абастуман.

В те дни, когда была открыта «Св<ятая> Русь», в моей мастерской перебывало немало народа. Бывали знакомые и незнакомые, с рекомендательными письмами, с карточками. Однажды начальница института гр<афиня> Коновницына попросила меня разрешить посмотреть картину одной из институтских классных дам, лично мне неизвестной, но о которой я слышал восторженные отзывы от своей Ольги, что она и красива, и симпатична, и молода. Я дал свое согласие, и дня через два мне доложили, что меня спрашивает г<оспо>жа В<асильева>.

Вошла высокая, красивая, одетая в черное, скромная девушка. Поздоровались, в сдержанных словах она высказала свое желание посмотреть картину, о которой слышала от гр<афини> Кон<овницыной>. Я пригласил ее в мастерскую, открыл ей картину.

Долго и молча смотрела моя гостья на «Святую Русь». Ничего экспансивного, все просто, естественно. Картина очень понравилась, а г<оспо>жа В<асильева> понравилась мне. Я попросил ее присесть. Разговорились с неразговорчивой девушкой. Она понравилась мне не только своей красивой

внешностью, но и своей скромностью, вернее, какой-то сдержанностью, замкнутостью. Просидела она долго, быть может, дольше, чем в таких случаях бывает. Прощаясь, я пригласил ее заглянуть как-нибудь еще, что и последовало через несколько дней.

Завязалось знакомство, явные симпатии… Дальнейшие визиты привели к тому, что она стала моей невестой, а спустя месяца два я женился на ней. Свадьба наша была в Кисловодске, после чего мы в тот же день уехали в Абастуман[309].

Таким образом то, что удержало меня от женитьбы три года назад на Е. А. П<раховой>, не помешало сделать теперь. И такой мой поступок, что я, оставив одну семью, решил обзавестись другой, был самым тяжким грехом в моей жизни. Несмотря на то, что я тогда же усыновил своих детей от Ю. Н. У<русман>, я чувствую и по сей день, что безнаказанно для меня этот поступок не прошел.

Когда я женился второй раз, мне было сорок лет, моей жене Ек<атерине> Петр<овне> двадцать два года.

В Абастумане я был теперь с молодой женой. Там нашел я большой непорядок: помощник Свиньина — архитектор Луценко загрунтовал стены неумело, небрежно. Материал для загрунтовки был взят самого плохого качества, результатом чего было то, что загрунтовка вместе с написанным по ней орнаментом быстро стала отставать от стен. Огромные затраты времени и денег были напрасны.

Я вынужден был поставить перед Вел<иким> Князем вопрос об удалении Свиньина и его помощника и о полном невмешательстве в церковные работы дружественно настроенных к Свиньину лиц. Решено было к докладу Вел<икому> Князю и гр<афу> И<вану> Ив<ановичу> Толстому в качестве вещественных доказательств послать несколько аршин грунта с позолоченным по нем сложным грузинским орнаментом. Грунт этот при малейшем прикосновении к нему ножа отставал от стен лентами. Эти ленты я накатал на вал и в таком виде отправил в Петербург.

В своем докладе я просил Вел<икого> Кн<язя> или все работы по перегрунтовке доверить мне единолично, или освободить меня от работы в Абастуманской церкви. В конце доклада я говорил, что в ближайшие дни уезжаю в Уфу, остановлюсь на несколько дней в Москве.

Устал я тогда страшно, не столько от работ, сколько от борьбы с абастуманцами. Для такой борьбы у меня не было ни охоты, ни призвания. Приехав в Москву, я получил от Вел<икого> Князя следующую телеграмму: «Москва. Академику

Нестерову. Письмо Ваше получил. Вполне Вам доверяю, очень надеюсь, что все работы Вами начатые будут продолжаться. Посторонних вмешательств допускать не буду. В сентябре приеду в Боржом. Георгий». Адрес мой не был указан, и телеграфист после долгих поисков нашел меня в гостях.

Таким образом, враг был посрамлен. В Москве, ввиду перегрунтовки церковных стен, я совещался с учеными-химиками. Показал им ленты, снятые со стен храма. Для меня стало совершенно ясно, что злоупотребления были несомненные. Скоро я успокоился. Телеграфировал обо всем своим Абастуманским друзьям. Тогда же из Петербурга в Абастуман было дано распоряжение, чтобы мне впредь никаких препятствий не чинили.

Вместо Уфы я ненадолго проехал в Киев и в сентябре снова был в Абастумане. В Боржоме был принят с докладом Вел<иким> Князем Георгием Михайловичем, энергично подтвердившим то, о чем он телеграфировал мне в Москву. Я и на этот раз был приглашен к высочайшему столу. После второго блюда бывший моим визави Великий Князь Николай Михайлович предложил выпить за успешный ход моих работ. Я благодарил.

За обедом и после него разговор шел о художестве и художниках. Интересным собеседником был В<еликий> К<нязь> Николай Мих<айлович>, — большой поклонник скульпторов Трубецкого, Валгрена. Остальные были попроще, поругивали декадентов, причем досталось почему-то В. В. Верещагину и даже такому «любимцу публики», каким тогда еще оставался Константин Маковский.

На прощанье В<еликий> Князь Ник<олай> Мих<айлович> пригласил меня, когда я устану в Абастумане, приехать к нему отдыхать. Я благодарил, но приглашением не воспользовался.

В Абастумане я нашел все в порядке. Работы по перегрунтовке шли ускоренным темпом. Вскоре оказалось, что купол, заново перекрытый Свиньиным (что обошлось будто бы тысяч в сорок), с появлением осенних дождей стал вновь протекать. Работать в нем было невозможно, о чем я и телеграфировал В<еликому> Князю, предлагая созвать комиссию.

Снова начались интриги. Хотя мне и без труда удалось установить факт протекания купола, все-таки в Абастуман экстренно прикатил Свиньин. Он со своими приверженцами горячо отстаивал дело рук своих. Я же и на этот раз действовал решительно, сняв с себя всякую ответственность в этом деле. Крыша, своды и паруса продолжали протекать. Свиньин упорствовал, и я стал снова подумывать, не пора ли мне

складывать чемодан, готовиться к отъезду из Абастуманского ущелья. Ждали приезда на Кавказ Вел<икого> Князя: «Вот приедет барин…» и т. д.…

Тут будет уместно рассказать, как в те времена морочили Высочайших. Еще в первые годы пребывания Цесаревича в Абастумане во времена приездов туда летом Императрицы Марии Федоровны с детьми было принято на пикниках подавать землянику. Как-то Цесаревич, горько улыбаясь, показал после такого пикника счет Императрице на съеденные восемь… *пудов* земляники. И только.

Высочайшие смотрели на такие дела совершенно беспомощно… Немало приходилось слышать фактов вроде приведенного. Кое-что позабылось, кое-что осталось в памяти. От одного из свидетелей-очевидцев слышал я такое. Еще до Бойсмана приехали в Абастуман с Императрицей В<еликий> К<нязь> Михаил Александрович и Великая К<няжна> Ольга Александровна, в сопровождении Министра двора гр<афа> Воронцова-Дашкова. Был во дворце воскресный обед с приглашенными, кончился поздно, было уже темно. Мой рассказчик был в тот день начальником дворцового караула. В наряде были Тенгинцы, полк которых стоял в Ахалцыхе, а одна рота — в Абастумане для несения караульной службы.

И вот видит мой поручик, что по двору в темноте крадется фигура, что-то несет завернутое в белое. Мой знакомец окликнул идущего, тот, не отвечая, продолжал идти. Тогда поручик (это был смелый офицер), окликнув еще, приказал шедшему остановиться. Тот остановился. Мой знакомец подошел ближе, видит — придворный лакей, в руках его что-то завязанное в белую скатерть.

Спрашивает: куда и что несешь? — молчание. Офицер повторяет свой вопрос более настойчиво, и тогда лакей ему отвечает: «Напрасно, Ваше Благородие, вмешиваетесь» и пробует идти дальше. Поручик приказывает ему следовать за ним в комендантскую. Тот пытается убедить, что все равно ничего из этого не выйдет, «только зря время потратите». Тон высокомерный, боязни и следа нет.

Однако поручик — человек долга, грозно прикрикнул на лакея, и тот, ворча, пошел за ним. Пришли в комендантскую, развязали узел, а там серебряная посуда с Высочайшего стола. Допрос, — лакей молчит.

Было часов десять вечера. Решив действовать, поручик отправился в свитский дом, где проживал Воронцов-Дашков. Просит о себе доложить, принять его по очень важному делу. Камердинер говорит, что Граф только что вернулся из дворца,

чувствует себя нехорошо, уже разделся и приказал никого не принимать. Офицер настаивает доложить о себе. Камердинер снова уходит, возвращается, просит его в кабинет.

Граф извиняясь, принимает его в халате. «В чем дело? Что заставило вас, поручик, прийти в такой поздний час?» Тот подробно рапортует о случившемся. Граф, выслушав его, говорит ему дружеским тоном:

«Я обращаюсь к вам не как министр Двора, а как офицер к офицеру. Не поднимайте этого дела, и вот почему: лакей, попавшийся вам с поличным, привезен вдовствующей Государыней из Гатчины. Если вы будете настаивать на своем, я обязан буду делу дать ход. Подумайте, что произойдет: завтра я доложу обо всем Императрице и Цесаревичу, больному Цесаревичу. Ему будет очень тяжело узнать, что его Августейшая мать не имеет около себя верных слуг и что это грязное дело произошло у него в Абастумане. Не менее того будет огорчена Императрица сознанием, что она причинила такую неприятность больному сыну. Еще раз повторяю, — подумайте, и тогда будет поступлено так, как вы пожелаете»…

Офицер подумал и решил последовать совету опытного царедворца, видавшего на своем веку и не такие виды. Воронцов-Дашков был доволен таким оборотом дела, прибавив, что «здоровье Цесаревича и спокойствие Государыни Императрицы стоит дороже тех вещей, кои были украдены».

Поручик, по его словам, никогда не мог простить себе такого своего малодушия. Вор, уходя из комендантской, нагло заявил: «Я говорил, Ваше Благородие, напрасно все затеваете, — вышло по-моему».

Сотни таких дел делались при дворах Высочайших. Бороться с ними было необходимо, но как? Каленым железом выжигать эту мерзость изо всех щелей, куда она проникла, или еще что?

Наконец, в Боржом приехал Вел<икий> Князь. От ктитора нашей церкви — подполковника Попова он узнал о ходе работ, — остался доволен, просил передать мне, что разрешает поставить леса для осмотра купола и созвать Комиссию, по моему усмотрению. Таким образом, приезд Свиньина в Абастуман не имел дурных последствий для дела. В Петербурге ему перестали слепо верить.

Вскоре и я поехал в Боржом с докладом о ходе работ. Тогда же, по моему указанию, в Комиссию был приглашен строитель храма старик Симансон. Помощник же Свиньина — архитектор Луценко был устранен от дел такой телеграммой Вел<икого> Князя гр<афу> И. И. Толстому: «Ваш Луценко оказался порядочный мошенник. Немедленно удалить его от всех работ,

мне подведомственных».

Наконец, мы в Абастумане вздохнули свободно. Можно было работать спокойно. В декабре я оставил Абастуман. Работы без меня продолжались под руководством моего помощника. Несколько позолотчиков с не очень благозвучными фамилиями (Гнидов, Шелудько) писали орнаменты.

В Петербурге тогда вышла книга А. Бенуа о Русском искусстве. Мой приятель[310] был недоволен отзывом Александра Николаевича обо мне.

Однако книга была написана человеком даровитым, чутким, — была необходима. Взгляд Бенуа на мое иконописное искусство не был мягок, но был куда проникновеннее, глубже всего того, что тогда обо мне писалось и говорилось. Конечно, мне было бы приятнее, если бы Бенуа высказал свой взгляд на мою иконопись дружески, не в печати, а в личном разговоре (как позднее он мне и говорил, — желая мне лишь добра, спасая меня от меня самого), не давая соблазна на мой счет людям неустойчивым, дурно ко мне настроенным. Но сам по себе, повторяю, взгляд Александра Николаевича на мое церковное искусство я считал и считаю живым, горячим, во многом верным. Я не защищаю книгу Бенуа, безусловно, со многими из его взглядов я был и остался не согласен.

Проездом из Абастумана в Киев я опять остановился в Москве, где в то время искусство процветало: сценическое в Большом театре и молодом Художественном, а живописное — на выставке «Мира искусства»[311].

В Художественном смотрел я прекрасно разыгранного ибсеновского «Доктора Штокмана». Я был восхищен «Штокманом», писал о нем в Петербург:

«…Ах, как это все хорошо, ну, разве это не возрождение? Какой живой, горячий подход к искусству — сколько во всем этом еще увлечения, вдумчивости, желания изыскать новые формы. Сердце радуется, сам молодеешь…»[312]

Позднее, вглядевшись в дело Станиславского, я сильно изменил свое мнение о нем. Мне стало ясно, что любовь там была, но «головное» убивало живое, непосредственное. То ли дело Шаляпин, тот на полной своей воле творил, раскрывал перед изумленным зрителем великолепные, полные трагизма или веселости, тонкой прелести жизни, поэзии образы. Он, несомненно, заставлял любить искусство, жизнь, красоту Божьего мира.

На московской выставке «Мира искусства» были превосходные портреты Серова с М. А. Морозова, с Государя Николая Александровича в красном английском мундире его

имени полка. Этот портрет, благородный по затее, был по сходству менее тонок, чем тот, что в тужурке у стола[313]. Были нарядны яркие, опять красные «Бабы» Малявина. Было много Рериха, был Сомов, значительно менее живой, чем раньше[314].

Ожидалась выставка «36-ти» с Виктором Васнецовым, с москвичами, отделившимися от Дягилева[315].

В Киеве я еще поработал над своей «Св<ятой> Русью», переписал Христа. Так прошел год 1902.

Абастуман и Гагры. 1903

Новый, 1903 год мы встретили в Киеве.

Я негодовал на «Новое время». Сотрудники его М. Иванов и Н. Кравченко писали фельетоны об искусстве[316]. Оба были нетерпимы, мало понимали происходившее в художестве того счастливого времени, злобно кидались на все и на всех.

В конце января нового года я с женой уехал в Абастуман через Москву — Тифлис. В Москве шумели Леонид Андреев, Горький. Леонид Андреев не казался мне большим талантом. Искусственное, надуманное мешало ему стать в уровень с теми, с кем любил он фигурировать: с Шаляпиным, с Максимом Горьким, достигшим к тому времени полного развития своего дарования.

Увидел в Художественном театре «На дне». Новизна темы, красочный быт, отличная передача пьесы, Москвин — Лука — мужик лукавый, балагур, себе на уме, как-то по своему, по-мужицки, хитро ладивший с Богом, Качалов — Барон, Книппер — Настенька с ее рыцарем Гастошей… Чтобы оценить тогда Горького как сценического писателя, надо было посмотреть пьесу у Станиславского. Тогда Художественный театр казался уголком новой, еще невиданной, несуществующей жизни, где не было актеров, были люди, хорошие и худые — всякие люди.

Приехав в Абастуман (в который раз, я и счет потерял), я застал половину орнаментов законченными. Церковь, благодаря золотой инкрустации по белой, как бы слоновой кости стене, становилась нарядной, «пасхальной». На другой день я принялся за работу, но только что вошел во вкус, как получил телеграмму из Гагр, куда меня приглашала приехать принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, тогда председательница Общества поощрения художеств.

Была зима. На Черном море, по которому мне надо было плыть до Гагр, были штормы. Пароходы от Батума до Новороссийска совершали неправильные рейсы, и все же ехать было надо.

Телеграфировал, что выезжаю тогда-то, и, через несколько дней, пустился «по морю, по океану в царство славного Салтана», мечтая, когда же наступит конец моим скитаниям…

Волею Нептуна проплавал по морю вдвое больше положенного. Шторм не дал мне высадиться у Гагр, проехал до Новороссийска, и лишь на обратном пути, с огромными трудностями, мне удалось попасть на берег.

Гагры — высочайший каприз, вызванный ловкими людьми в воображении предприимчивого, беспокойного Принца

Александра Петровича Ольденбургского. Врачи уверили Принца, что лучшего климата для санатория зимнего и летнего не найти не только на Черноморском побережье, но и в целом свете. Доверчивый, безукоризненно честный, безалаберный и чрезмерно деятельный Принц во все поверил. Добыл денег, что-то много, говорили, миллиона четыре, и принялся за дело. Оно закипело.

Принц бросил Петербург и с преданной, умной своей супругой перебрался на зиму в Гагры, стал творить там чудеса. Гостиницы, парки, дворцы вырастали там, как по волшебству. Одновременно вырубали окрестные леса, где в болотах оказалась малярия, кавказская лихорадка (в образцовом-то курорте!). Но Принц не унывал. Уныние вообще не было ему свойственно. Его обманывали, обманщики попадались, их гнали вон «в 24 часа», работа снова кипела с новыми людьми.

Однажды ему доложили, что в двух шагах от его резиденции (он жил в гостинице, прежде всего выстроенной) нашли руины древней базилики, якобы сооруженной Св. Ипатием — просветителем Гагр в первые века христианства[317], что места те некогда посетил Иоанн Златоуст и прочее, и прочее… Все было так интересно, а главное «бесспорно» и фантазия принца закипела в ином направлении…

Было решено восстановить базилику. Это не было трудно: она была невелика. Соорудили в ней какой-то якобы примитивный иконостас из местного камня. Оставалось написать в иконостас образа. Кто-то сказал, что где-то близко, на Кавказе работает сейчас Нестеров. Справились — в Абастумане. Послали телеграмму туда.

И вот, преодолев морскую стихию, я предстал перед ясные очи принца и принцессы Ольденбургских, таких любезных, простых, быть может, самых «демократических» из всех принцев вселенной.

Мне была показана новая Ницца — Гагры и базилика Св. Ипатия Гагрского, объяснили мне цель приглашения. Я должен написать образа для «примитивного» иконостаса, их четыре и еще Царские врата…

Внимание и любезность хозяев чрезвычайны. Как гостя, меня приглашают к Высочайшему столу, я живу в той же гостинице, где живут Августейшие хозяева, а шторм тем временем не только не унимается, не утихает, а все увеличивается…

И вместо одного-двух дней я живу в Гаграх чуть ли не неделю. Скука страшная… По вечерам все приближенные их Высочеств собираются у них в комнатах, затевают от скуки шарады и другие игры.

Я к подобного рода играм туп невероятно, о чем с полным

простодушием и заявляю. Меня от них освобождают, я провожу время с Принцессой в разговорах об искусстве, литературе, театре. Собеседница моя не чужда всего этого, ведь не даром она дочь Великой Княгини Марии Николаевны — покровительницы искусств, бывшего президента Императорской Академии художеств…

Однако всему наступает конец. Утром мне говорят, что часа в 4–5 должен из Одессы в Батум пройти «Пушкин», что шторм становится меньше. Есть надежда, что пароход остановится для принятия почты в открытом море и тогда… Ну посмотрим, что тогда.

Уже стемнело, когда показался «Пушкин». Пустили сигнальную красную ракету, чтобы тот остановился. Последовал ответ, что почта будет принята. Дали знать мне, что, если я желаю, могу ехать вместе с почтой на большой фелюге.

Я откланялся Августейшим хозяевам и отправился с багажом к морю, к пристани, откуда должна была отплыть наша фелюга. Там все было готово. Собралась толпа. Матросы, какие-то турки, просто зеваки. Прибыл и юноша-почтальон со своим кожаным мешком с почтой…

Из разговоров чувствовалось, что наше путешествие рискованное. Огромные волны вздымались, разбиваясь о скалы, накатываясь на песчаный берег. Юноша-почтальон без признаков какого-либо страха собирался в путь. Дело было за мной. Что же, — чему быть, того не миновать. Я тоже готов отправиться к «Пушкину», пускавшему время от времени нетерпеливые красные ракеты.

Погрузили в фелюгу почту, положили и мой багаж. Влезли в нее с десяток здоровенных турок, взялись за весла, было предложено и мне с почтальоном влезть туда же. Влезли, сели.

Матросы и турки, что остались на суше, взялись за корму фелюги и ждут, когда большая волна накатит на берег, когда наша ладья очутится в воде, и вот тогда-то дружно с гиканьем оттолкнут ее от берега, а там — Божья воля. Огромная, как гора, волна набежала, раздались дикие крики, и мы полетели куда-то вверх, высоко, высоко, нырнули в бездну, опять взлетели вверх и очутились в открытом море, среди разъяренной стихии…

Этот момент был незабываемый. Страх потерять жизнь, потерять все исчез. Какая-то необъяснимая отвага охватила душу. И мы летели, не говоря ни слова… Турки напряженно внимательно работали огромными веслами, и мы ближе и ближе подходили к «Пушкину».

Вот мы у его борта, спускают веревочную лестницу. Юноша-почтальон отважно ловит ее, поднимается на борт. Турки подают

почту, мой скарб, а потом и я, ничтоже сумняшеся, ловлю лестницу и карабкаюсь по ней на борт парохода.

«Пушкин» дал сигнал к отплытию. Нашу фелюгу уже отнесло далеко в сторону, «Пушкин» пошел к Батуму.

На пароходе много было больных. Я морской болезни подвержен не был, сейчас же устроился в своей каюте и крепко заснул.

Через полтора суток мы благополучно прибыли в Батум, а оттуда я через ст<анцию> Михайловскую-Боржом вернулся в Абастуман, где немало поволновались за «отважного мореплавателя». Так кончилась моя первая поездка в Гагры, мое знакомство с принцами.

Надо спешно начинать работать: упущено так много драгоценного времени. Опять пошли рабочие дни, они сменялись субботними или воскресными поездками за пределы Абастумана. Мы радостно выезжали из нашего ущелья. Перед глазами на много верст расстилалась долина, видны были ближние и дальние горы. Мы отдыхали на солнце, оно так щедро разливало свои лучи по широкому простору берегов Рионы и Куры.

Налюбовавшись, отдохнувши, мы снова ехали в свой мрачный коридор. В свободное время читали. Я выписывал только что появившийся перцовский «Новый путь»[318], где тогда группа интересных писателей с Розановым[319] во главе, казалось, найдет новый путь к познанию России, россиян, их скрытых дум, заветных чувств, мыслей. Откроет тайну, давно утерянную, как любить Божеское и человеческое.

Тогда же мы прочитали трилогию Мережковского[320]. Темы этих новых творений указывали на образованность и вкус автора… Правда, подход к темам был более научно-философский, чем художественный. Художественность была самой слабой стороной романов. Хороши характеристики самого Юлиана, Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, но действия, жизни, страсти, искренности — нет и следа. Толпа Мережковского ходульна и банальна. Там, где автор должен показать себя как художник, он бездарен, скучен до утомления. Его спасает начитанность, умение пользоваться материалом библиотек, Ватиканской и других, и новизна тем. Это не художественные произведения, не поэмы, а научно-археологические исследования. Вся трилогия Мережковского менее талантлива, хотя, быть может, замысловатее «Камо грядеши» мастеровитого Генриха Сенкевича.

Комиссия по осмотру купола церкви была собрана, был и строитель ее Симансон. Все высказывались весьма туманно, а старый придворный Симансон уклончиво заметил, что сейчас что-либо сделать с заново перекрытым куполом «трудно». На этом и

разошлись. У меня же на этот счет была уже своя думка.

В марте мы уехали в Киев. Там пришлось мне расстаться с моей прекрасной мастерской, так как дом, где мы жили, был продан и новый хозяин хотел сам занять нашу квартиру. Начались поиски новой квартиры. Дело было спешное. Искали там же, в Липках, поближе к институту. Кое-как остановились на одной. Мастерская — окнами на север, с низкими потолками, но иного выхода не было. Переехали. Там я и окончил свою «Святую Русь». Там прожили мы до своего отъезда из Киева на жительство в Москву, в 1910 году.

Необходимо было ехать с докладом в Петербург. Великому Князю было теперь не до купола, не до нас с Симансоном (были юбилейные дни основания Петербурга). Однако, несмотря на это, в мае я был в Петербурге, видел своего патрона, мой проект относительно купола был одобрен, и я выехал в Ялту.

Там мы с женой пробыли недолго, встретили в Алупке Виктора Михайловича Васнецова, я проехал дальше в Гагры, где был принц Ольденбургский один. Принят я был любезно, и от имени принцессы мне было передано разрешение написать свои образа в «архаический» иконостас базилики не на месте, а на медных досках, что очень упрощало дело, и мы с ближайшим пароходом уехали в Батум — Абастуман.

Работы без меня шли вяло. С моим приездом все ожило, все подтянулось.

Начался лечебный сезон, музыка во второй роще. После тяжелого рабочего дня плохо гулялось мне, не то было в голове. Святые угодники, мученицы неотступно следовали за мной.

Однажды неожиданно явился к нам М. Горький[321] с женой — Екатериной Павловной и со свитой, из которой помню только одного — редактора «Знания» Пятницкого.

Горький выглядел отлично, он загорел, поправился, был в хорошем настроении.

Я предложил ему осмотреть церковь. Мы поднимались по лесам в самый купол. Алексей Максимович хвалил церковь, хвалил, казалось, искренне. Особенно понравилась ему «Св. Нина», незадолго перед тем написанная мной на одном из пилонов храма. Лицо Нины было не совсем обычно. Написал я его с сестры милосердия Петербургской Крестовоздвиженской общины, приехавшей отдохнуть, подышать абастуманским горным воздухом, подмеченной где-то в парке моей женой.

Сестра Копчевская (так звали мою «Нину») действительно обладала на редкость своеобразным лицом. Высокая, смуглая, с густыми бровями, большими, удлиненными, какими-то восточными глазами, с красивой линией рта, она останавливала

на себе внимание всех, и я, презрев туземных красавиц, кои не прочь были бы попозировать для излюбленной грузинской Святой, познакомился с сестрой Копчевской и написал с нее внимательный, схожий этюд. Он и послужил мне образцом для моей задачи.

Этот же этюд пригодился мне еще однажды: я ввел это оригинальное лицо в толпу своей «Святой Руси». Она изображена на заднем плане, в белой косынке своей Общины.

Горький высказал сожаление, что церковь эта не в столице, а где-то в далеком Абастуманском ущелье. Настоятель церкви показал нашему гостю церковные богатства, принесенные в дар Высочайшими особами. После осмотра все отправились к нам завтракать, говорили о текущих событиях в столице, в России.

Горькому, по его словам, тогда не работалось. Путешествовал он для укрепления здоровья.

Часов в шесть Алексей Максимович и его спутники собрались на нашем балконе к обеду. К этому времени весть о том, что в Абастуман приехал Горький, облетела все ущелье. Местные жители и «курсовые», приехавшие в модный тогда курорт из Тифлиса, узнав, что Горький у нас, к концу обеда собрались у нашей террасы. Барышни, студенты сначала робко, а потом смелей и смелей стали выражать свои чувства, бросать на террасу цветы. По желанию Алексея Максимовича пришлось опустить занавеси. Несмотря на эту меру толпа росла, к вечеру восторженная молодежь закидала нашу террасу букетами жасмина.

Горький к тому времени уже был пресыщен. Все эти знаки подданничества больше не занимали его. В ту же ночь путешественники покинули Абастуман, через Зекарский перевал уехали в Кутаис. Отклики на его пребывание в Абастумане оставались еще долго. Абастуманцы внимательно следили по газетам за его триумфами.

Я же с Горьким после того больше не встречался никогда[322] …

В те дни умер знаменитый папа Лев XIII. Главой католической церкви был избран некий Кардинал Сарто. Род его не был славен. Говорили, что один из синьоров Сарто был не очень задолго перед тем сапожником. Однако добрый старичок Сарто под именем Пия X-го оставил по себе хорошую память.

В конце августа я выехал в Гагры, чтобы поставить в иконостас базилики написанные за лето образа. Чудная дорога, голубое тихое море. Все чары благодатного юга сопутствовали мне. В Гаграх я не нашел своих заказчиков. Они были еще на севере. Поставив образа, я тотчас же уехал в Киев, с тем, чтобы

через месяц вернуться в опостылевший к тому времени Абастуман, куда мною был приглашен А. В. Щусев осмотреть протекавший купол.

Дело оказалось легко поправимым. В куполе до и после перекрытия его вокруг креста оставалось пространство достаточно большое, чтобы через него дождевая вода и талый снег могли проникать внутрь и впитываться в пустотелый кирпич. В нем теперь скопилось много воды, она давала сырость, мешавшую росписи церкви.

Щусев своим молодым чутьем скоро напал на причину всех бед и предложил прежде всего выпустить накопившуюся воду, пробив пустотелый кирпич внутри купола. Затем, заделав пробоины кирпича, он приказал сделать воронку из красной меди, плотно облегавшую стержень креста, и залить крест свинцом. Таким образом, доступ влаги в купол был прекращен.

Задача была выполнена прекрасно. Купол начал мало-помалу просыхать и скоро стал пригодным к росписи. То, чего долго не могли сделать опытные архитекторы, удалось легко достичь талантливому молодому их собрату.

Щусеву церковь и ее роспись понравились. Пробыв несколько дней, он уехал в Киев, где под его руководством шли работы по орнаментации трапезной Лаврской церкви…

Глухота и головные боли у моей дочери не прекращались, и я отправил ее с сестрой в Петербург, а сам в конце сентября снова уехал в Абастуман.

От Одессы в тот раз ехал на отличном новом пароходе «Принцесса Евгения Ольденбургская». В Новороссийске на пароход села сама принцесса, имя которой носил наш пароход.

Парадная встреча. Я старался не показаться на глаза высокой путешественнице. Так ехали мы до Гагр, где, по случаю приезда принцессы, пушечные салюты и прочее.

Вернувшись в Абастуман, получил от принцессы, видевшей мои образа, телеграмму:

> «Возвратясь вчера в Гагры, спешу послать Вам мою искреннюю благодарность за Вашу великолепную работу икон для Гагрской церкви. Поистине художественное изображение Святых ликов невольно переносит в глубину седой древности и наполняет душу зрителя тем невыразимым восторгом, коим полна была душа художника в момент творческого вдохновения. Горячо благодарю Вас также и за великолепный дар церкви, исполненный искусными руками Вашей супруги.
>
> *Евгения, Принцесса Ольденбургская».*

И Гагры остались где-то позади…

В начале ноября я вернулся через Москву в Киев. В Москве смотрел в Художественном театре «Юлия Цезаря». Вспоминались мейнингенцы[323]…

Узнал об уходе с Передвижной Остроухова, Ап<оллинария> Васнецова, Первухина, Иванова, Архипова, Степанова, Виноградова[324]… Народ даровитый, полный сил. Я еще числился передвижником, не было достаточно повода их покинуть, выходить же — за компанию — не стоило.

Тяжело захворал Серов. Счастливая операция спасла жизнь даровитому художнику[325].

В Киеве я написал две-три небольших картинки из соловецких воспоминаний[326], готовил последние эскизы для Абастумана.

В Петербурге открылась Васнецовская выставка. На ней впервые появились признаки охлаждения общества к любимому прославленному мастеру.

В год несчастий и бед. 1904

1904 год — год несчастий и всяческих бед — начался поездкой в Москву. Там видел, восхищался «Вишневым садом», Шаляпиным в «Демоне». Слушал молодого Масканьи — автора «Сельской чести». Осмотрел выставку «Союза»[327]. Был у выздоравливающего Серова и вернулся в Киев под впечатлением виденного и слышанного…

Вот что тогда по возвращению из Москвы я писал своему приятелю в Петербург:

«„Вишневый сад“ — прекрасная, трогательная поэма отживающего старого барства с его безалаберностью, непрактичностью, красивым укладом жизни, с вишневым садом, со старыми слугами-друзьями. Смотришь эту тонкую, благоуханную вещь, и слезы тихие, сладкие незаметно льются по щекам. Как будто и ты участвуешь в жизни этих бестолковых добряков».

В «Демоне»[328] у Шаляпина великолепно звучал голос. Грим, костюм по Врубелю, декорации К<онстантина> Коровина. Все это привело Москву в восторг. Ложи продавались у барышников по 400 рублей.

Я к концу спектакля сильно устал и не мог воспользоваться приглашением Шаляпина у него поужинать в обществе г<оспод> Леонида Андреева, Скитальца, Дорошевича и прочих «дорошевичей» и «подмаксимок».

Конец января для России и для меня лично был особенно памятен. Началась Русско-японская война. Я был в Киеве.

2-го апреля, помню, сидел после утреннего чая у окна в своей мастерской, читал «Киевлянина». Читал о том, о сем. Вдруг меня что-то как бы толкнуло… Быстро, быстро, с замиранием сердца читаю, что в ночь на 1 апреля эскадра наша на Порт-Артурском рейде подверглась нападению японских миноносцев, что броненосец «Петропавловск» пошел моментально ко дну. На нем погибли начальник эскадры Адмирал Макаров, даровитейший и благороднейший Макаров, погиб славный художник Верещагин… Дальше шел перечень погибших, среди них и друг моей юности — старший врач «Петропавловска» доктор Андрей Никол<аевич> Волкович. Потом перечень спасшихся, среди них Вел<икий> Князь Кирилл Владимирович.

Неизъяснимый ужас. Зову жену, читаю вторично, и страшное сознание глубже и глубже охватывает меня. Ужасное испытание посылает судьба обнищавшей духом России.

Наши космополиты — либеральствующие баре и много-много

врагов, внешних и внутренних, порадуются, позлословят в эти дни великой печали. И так хочется верить, что несчастие, только что свершившееся, послужит нам на пользу, встряхнет нас, заставит объединиться, пробудит чувство достоинства, угасающий патриотизм… Боль невыразимая. Не знаю, куда деваться.

В ближайшие дни приходят подробности. От них не легче, а еще тяжелей. Там, на Дальнем Востоке, быть может, решается дальнейшая судьба России — нашей Родины. Там отважные люди отдают сейчас жизнь за всех нас, — здесь оставшихся. Сумеем ли мы оправдать эти жертвы? Казалось, с каким бы восторгом тогда я, художник Нестеров, полетел бы к нашим героям…

На нужды войны отдал бывшую на Передвижной картину «Голгофа». Ее купил какой-то сибиряк, увез к себе[329].

Что ни день, то приходили новые вести. Вместо Макарова назначен популярный, не оправдавший надежд адмирал Скрыдлов. Чудилось, что хуже внешних врагов, хуже японцев — мы сами, слабые духом, слюнтяи. Сбить нас с толку, навязать что угодно — легче легкого. Пристыдить нас за наши лучшие побуждения — ничего не стоит, и работа в этом смысле уже идет, и скоро появятся плоды ее.

Теперь стала ясной до очевидности вся несвоевременность затеи — устроить самостоятельную выставку. Неудачная война отвлекла внимание всех от таких зрелищ. Не до художников и их художеств было России. Сердце Русских билось тревожно. На Дальнем Востоке гибли отцы, братья, дети здесь оставшихся.

Эта война была не столько войной Японии с Россией, сколько Русского народа с его врагами вообще, — имя же им Легион. Думалось, если и теперь Русские не сплотятся, то надолго перестанут быть хозяевами у себя в доме. А как не хотелось потерять свой облик, походить на «немца», без уменья жить своим умом. Больше чем когда-либо чувствовалась необходимость единой твердой воли, большого ума. Хотелось все пережить тогда в себе самом, стиснуть зубы и молчать, копить силы души на время грядущих бед. Их впереди было множество.

Побывав в Петербурге, показав Вел<икому> Князю остальные эскизы Абастуманской церкви, выехал <в Батум> через Ялту. <Здесь> у своего приятеля д<окто>ра Средина встретился с Собиновым и Миролюбовым, бывшим артистом Моск<овского> Большого театра, — прекрасным певцом, но на беду таким неврастеником, что перед выходом на сцену с ним делалась медвежья болезнь.

Доктор Средин, полуживой, чахоточный, обладал неисчислимыми душевными богатствами, делился ими со своими

друзьями. Казалось, за всех, кому недосуг, он решал вопросы жизни. Темой особых разговоров у Средина были горьковский «Человек» и «Жизнь Василия Фивейского» Л<еонида> Андреева.

«Человек» предназначался как бы для руководства грядущим поколениям. Написан он был в патетическом тоне, красиво, но холодно, с определенным намерением принести к подножию *мысли* всяческие *чувства*: чувство любви, религиозное и прочие. Это делал тот Горький, который еще недавно проповедовал преобладание чувства над мыслью, который года за два до этого, тут же, в Ялте, в ночной беседе у него на балконе, прощаясь со мной, говорил в раздумье: «За кем я пойду? за Достоевским или против него, — не знаю еще сам». Теперь Горький знал, что он пойдет против Достоевского. Его «Человек» был лучшим и бесспорным тому доказательством. «Человек», при всей его внешней красивости, во многом был уязвим, хотя и любезен интеллигентской толпе.

Вещь Андреева, интересная по частям, ради излюбленных им ужасов была растянута на сто страниц. Ужасы эти были более противны, чем страшны[330]. Жаль, что непосредственная пора творчества так быстро покидает художников. Наша братия — художники — скоро приноравливается ко вкусам публики, не ведет ее за собой, а сама идет у нее на поводу. Жаль, что Божья благодать скоро покидает нас и из вдохновенных певцов мы превращаемся в услужливых рабов… Слава и популярность, вы так часто приводите нас к гибели.

Работа в церкви тем временем быстро шла вперед. Летом я надеялся снять среднюю часть лесов. В Абастуман из Уфы приходили вести, что восьмидесятишестилетний отец день ото дня слепнет, дряхлеет. Окружающим нелегко с ним живется. В Киеве моя Ольга кончала институт, предполагала уехать в Уфу, а затем вместе с моей сестрой побывать в Абастумане, посмотреть, что там я «натворил». К тому времени мне оставалось написать только девять композиций из пятидесяти. С дороги в Уфу Ольга писала, что сотни тысяч наших солдат едут на Дальний Восток. С заунывными песнями едут татары, слышны меланхолические напевы украинцев, удалые — наших ярославцев, москвичей…

Темная ночь, башкирская станция, огромное скопление воинских поездов. По степи величаво, торжественно несутся звуки «Боже, Царя храни» — тогдашнего музыкального символа большого, оригинального своей историей, своей душой народа. Там, по дороге в далекую Маньчжурию просыпается горячая любовь к своей земле… А около старого Киева «Гетман из Конотопа»[331] с нескрываемой симпатией к г<осподам> Куроки, Ноги кивает, лежа на боку, в сторону незадачливого

Куропаткина…

В Абастумане с каждым днем приближался момент снятия лесов, и скоро должно было предстать перед абастуманцами содеянное мною за два года.

В те дни я, как и миллионы русских людей, крепко верил в призвание Куропаткина. От меня сильно доставалось маловерам. Всей силой души я негодовал на «старого хохла» — Драгомирова, когда тот остроумно высмеивал Куропаткина. Драгомиров, отказавшись от командования на Дальнем Востоке, сидя у себя на печке в Конотопе, критиковал всех и вся, называя своих незадачливых соотечественников, в противовес «макакам» — «кое-каки».

Военные события развивались грозно. Куропаткин был уже на подозрении, со дня на день ждали падения Порт-Артура.

Дела на войне шли плохо. От нас, оставшихся дома, более, чем когда-либо требовалось спокойствие, вера в лучший исход. Своим малодушием мы могли лишь ухудшить положение.

Мечта «о мире всего мира» разлетелась, как дым. Мы с неудержимой силой и простодушием славян летели по наклонной плоскости красивейших идей, забывая о том, что имеем обязательство сохранить все то, что умом, гением, кровью наших предков создано было для нас и для наших потомков.

Снятие лесов в Абастумане

В конце июня появились слухи, что Экзарх Грузии Алексий, объезжая свою Епархию, заедет в Боржом и к нам в Абастуман посмотреть, что делается в новом храме. Мои недруги ожили.

Вскоре мы узнали, что Экзарх не только будет в Абастумане, но что 3-го июля предполагает служить в нашей церкви всенощную, а 4-го — обедню. А у нас же по всей церкви — леса, пыль, шагу ступить нельзя, чтобы не запнуться, по неопытности не набить себе шишек о бревна, — а тут это неожиданное архиерейское служение и проч<ее>.

Народу в Абастуман, как всегда в сезон, понаехало множество. Такие слухи нимало не смутили нас — Настоятеля, ктитора храма и меня. Задолго до таких вестей было нами условлено все лишние леса снять, а лишними были сейчас весь центр храма с пола до купола и леса снаружи храма. Кстати, мы решили снять и боковые, внутренние, так как то немногое, что оставалось просмотреть в правом и левом крыле храма, можно было достать и со стремянок, с подвижных лесов. И мы решили в несколько дней осуществить намеченный план — освободить от лесов весь храм.

Работа закипела. С шести утра до семи вечера тенгинцы[332]за хорошую плату работали вместе с нами, не покладая рук. С каждым часом храм больше и больше открывался, и сердца наши радовались.

В эти немногие дни мы преобразили груду бревен, досок, вороха пыли в стройную, нарядную, сверкающую золотым орнаментом церковь. Все, кто ее видел, поздравляли нас, радовались с нами. Уверовали, что конец росписи не миф, как утверждали наши противники.

3-го июля <1903 года> церковь была в полном блеске. Сотни огней сияли в паникадилах, в подсвечниках. В 6 часов о<тец> Константин прошел в драгоценном «жалованном» облачении к паперти. В то же время вдали показался экипаж Экзарха.

Владыка вышел из экипажа крупный, благодушный. Здесь, на наружной паперти, о<тец> Константин встретил его с крестом, с внушительным словом, дав понять Владыке, что тут все «утверждено и одобрено Высочайше». Таким образом, поставил его в положение «не ложное». Тот, став на такую точку, все понял… О<тец> Константин был горячий искренний оратор. Все, что сказал он, такой красивый, приятный, в драгоценных ризах, было хорошо, радостно, убедительно.

Экзарх вошел в храм (еще было светло), осмотрелся и сразу просиял: не это, по наветам в Тифлисе, он думал здесь найти… и рад был, что случилось *так*, а не иначе. Войдя в алтарь, поздравил нашего милого батю с великолепным храмом, с понравившейся ему росписью.

Началась всенощная. Я переживал вторично дни Владимирского собора. После всенощной Настоятель представил меня Владыке, и я вместе со всеми был приглашен во дворец, где остановился Экзарх, к чаю.

Чай затянулся до 12-го часу. О многом расспрашивал меня благодушный старик. Многое он узнал тогда, чего не знал, сидя у себя в Тифлисе. С ним приехало несколько человек его «свиты». Между ними был молодой Протоиерей Иоанн Восторгов, позднее игравший большую роль в Москве и вообще в делах церковных последних 10–15 лет перед событиями, изменившими лицо прежней России.

Ласково отпустил всех нас Экзарх.

На другой день была назначена торжественная литургия в новом храме. Народу было множество. Всем хотелось посмотреть роспись, которую многие после всенощной знали, говорили о ней…

Экзарх сказал краткое слово, помянул создателя храма — почившего Цесаревича, похвалил мою роспись. Все честь-честью. Блестящую, захватывающую проповедь, посвященную памяти Цесаревича, произнес о<тец> Восторгов. О нем и тогда уже было слышно, как о прекрасном проповеднике и о том, что слабый и добрый Экзарх Алексий совершенно подчинен его влиянию.

После обедни, когда я — счастливый — подходил к кресту, Владыка поздравил меня и благословил на окончание дела. После обедни была панихида по Цесаревичу, позднее вторая на месте его кончины.

Экзарх с о<тцом> Восторговым ездил с визитами, был он и у меня, снова хвалил роспись. Был обед во дворце, в 7 часов — подробный осмотр храма.

Утром следующего дня Экзарх покинул Абастуман, довольный виденным, послал телеграмму Императрице в Петербург. Теперь и у меня в Абастумане стало немало друзей. По праздникам в храме за обедней было полно молящихся и любопытствующих.

В то лето заграницей умер Чехов[333]. Не стало отличного художника, не совершившего до конца своего пути.

Получили известие о рождении Наследника Алексея Николаевича.

В Уфе умер глубоким стариком отец. Сестра была на пути из

Абастумана в Уфу, приехала ко дню похорон, видела, как Уфа отозвалась на смерть отца, старейшего из ее граждан.

Ольга оставалась еще в Абастумане.

В начале октября все работы в церкви были закончены, были сняты с них фотографии. Я отправил Великому Князю Георгию Михайловичу телеграмму об окончании работ, на что получил следующий ответ:

«Приятно, что воля почившего в Бозе Наследника Цесаревича свято исполнена Вами. Очень прошу телеграфировать Императрице Марии Федоровне в Копенгаген. Георгий».

Телеграмма в Копенгаген была тогда же послана за подписью Настоятеля, ктитора и моей. На нее из Дании был получен такой ответ:

«Радуюсь окончанию Александро-Невской церкви в Абастумане, согласно воле моего незабвенного сына — ее создателя. Искренно благодарю Вас и всех содействовавших осуществлению сего благого дела. Мария».

Таким образом мною был пройден еще один этап художественный и житейский[334].

Скоро я покинул Абастуман, чтобы никогда туда не возвращаться. Думается, что сделанное мною в Абастумане было бы иным, лучшим, если бы оставался в живых Цесаревич Георгий Александрович… При нем не было бы тех злоупотреблений, интриг, какие выпали на мою долю после его смерти.

По дороге в Киев заехал в Крым. Был с подробным докладом у Великого Князя Георгия Михайловича. Тогда он только что построил у себя в имении церковь в грузинском стиле. Не помню, кто был строителем этой грациозной церковки. Великий Князь попросил меня рекомендовать ему декоратора-художника. Я указал ему все на того же Щусева.

Во время моего доклада о перепитиях в Абастуманском куполе Великий Князь не без тревоги спросил меня: «Что это все стоило. Тысячи полторы?»

Я ответил, что «меньше», и подал Великому Князю счет слесаря-немца. Тот взял за медную воронку к куполу, за то чтобы ее припаять и залить все свинцом, не 1500 рублей, как думал Великий Князь, а… 75 рублей.

Высочайшие, как я и говорил, не были избалованы, и, прочитав счет, Великий Князь был радостно изумлен и на прощание очень благодарил меня.

Вернувшись в Киев после двухлетней напряженной работы, я предался полному ничегонеделанию. Вскоре у меня родилась дочь Настенька.

Отдохнув, я поехал в Петербург. В конце ноября уже

представлял фотографии с Абастуманской церкви Императрице Марии Федоровне. Был принят любезно.

В одной из внутренних комнат Императрицы видел отличную модель памятника Александру III <работы> князя Трубецкого. На модели не было и следа того шаржа, что потом Трубецкой допустил в самом памятнике. Этот даровитый художник совершенно утратил *национальное* чувство, чутье[335].

Тогда в Петербурге однажды зашел ко мне в Гранд-отель Дюбрейль-Эшаппар, предложил мне среди разговора мысль, — не возьмусь ли я, при ближайшем моем представлении Императрице (это было до моей поездки в Гатчину) предложить Государыне превратить пустующий теперь дворец наследника в Абастумане и усадьбу при нем в санаторий имени почившего Цесаревича.

Мысль была прекрасная, но почему внушить ее императрице должен был я, а не Великий Князь или кто-либо из близких ее. Я — художник Нестеров являюсь к Государыне на каких-нибудь полчаса, много на час, по определенному делу, буду врываться без всякого права на то в ее интимные или семейные дела… Это, по меньшей мере, странно.

Я говорю об этом Эшаппару, добавляя, почему никто из Вел<иких> Кн<язей> не доложит об этом Государыне. Отвечает: «Пробовали заговаривать, ничего не вышло».

Если не вышло у «Высочайших», то почему у меня, лица постороннего, должно «выйти»; будет очень благополучно, если выслушав меня, только дадут мне понять, чтобы я не совался не в свое дело, что не за тем меня призывали в Гатчину и т. д.

Порт-Артур тогда доживал свои последние дни[336]… И это еще не был конец наших несчастий. Самое грозное было впереди. Новый 1905-й год был перед нами.

«Репетиция» революции.1905

В январе снова ненадолго был в Питере. В Киеве работал над большим эскизом «Гражданин Минин»[337]. Когда-то, в ранней молодости, я думал написать на эту тему картину. А душа болела, болела — не даром: в феврале был неудачный бой под Мукденом, его сдача. В обществе уныние, озлобление, злорадство… Было много Болотниковых[338] и ни одного Пожарского. Беда шла за бедой. Иногда казалось одно из двух: или мы глупы и безвольны, или умны, но… подлы в своих помыслах и поступках, что обнаруживалось обычно в самые критические моменты нашей истории.

Прошла тревожная зима. Я написал с жены портрет, который позднее, в 1907 году был на моей выставке, потом на выставке в Мальме, в Америке и, наконец, в 1927 году был приобретен в Третьяковскую галерею. Тогда же был на Волыни у Н. И. Оржевской, где в то время заканчивалась роспись церкви по моим эскизам.

В мае мы втроем — я, жена и старшая дочь выехали через Краков — Вену в Париж. Он нерадостно встретил нас. Еще в Вене мы узнали о болезни нашей Настеньки… Приехав в Париж, получили новое известие, более тревожное, а затем одну за другой телеграммы. В последней было сказано, что девочка скончалась. Тяжело было горе жены. Мысль, что останься она около Настеньки, — та была бы жива, угнетала жену. Париж сразу стал немил… Интерес к нему пропал. А впереди ожидало нас новое несчастье. Помню, мы собрались на выставку Родена. Проезжая где-то около Французской Комедии, нас обогнал экипаж с четырьмя японцами, такими радостными, шумными. Нервы наши были в плохом состоянии. Вид веселых япошек как-то кольнул меня… Мы доехали до выставки, пошли пешком, слышим, газетчики выкрикивают последние новости. Ухо на лету ловит радостную весть: «Вчера произошла встреча двух эскадр — Русской и Японской. Японцы разбиты, подробности особо». Не успели мы усвоить радостную весть, как бегут с новыми подробностями. Навязчиво кричат, что в Цусимском проливе произошло Генеральное сражение[339]. Русская эскадра погибла. Рожественский взят в плен… Быстрая смена большой радости и огромного несчастна была ошеломляюща. Вести одна отчаяннее, безнадежнее другой сменялись в продолжение дня. Надо было страшную правду принять и пережить. Величие Родины, ее слава, — все на время померкло… Закатилось солнце. Мрачные думы о том, что сейчас в России, там, — на берегах Тихого

Океана, оказавшегося для нас таким бурным, трагическим. В следующие дни мы продолжали узнавать страшные подробности Цусимского боя. Душе в эти дни не на чем было отдохнуть. Неизъяснимая тоска овладела мной. Париж потерял для нас всякий интерес. Музеи, город, выставки мы осматривали безучастно. Тяжело в те дни было *быть русским.* Мысль работала напряженно, болезненно. Картина за картиной проходила перед глазами, духовным взором нашим. Гибель целой эскадры, гибель огромного броненосца «Император Александр III», перевернувшегося на глазах у всех, утонувшего со всем экипажем, со своим командиром — Бойсманом.

Хотелось поскорее бросить Париж, ехать в Россию, чтобы… *всей Русской семьей* оплакивать наше великое несчастье…

В дни нашего пребывания в столице Франции туда приезжал молодой испанский король Альфонс XIII. Мы дважды случайно видели его. Первый раз он проезжал вместе с Президентом по улицам Парижа с вокзала.

Король выглядел еще совсем юношей, с очень бледным, зеленоватым лицом, с красными веками, с сильно выдающейся вперед нижней губой, — типичный Габсбург — Веласковский Габсбург. По проезде Короля мимо нас продефилировала с музыкой встречавшая его Национальная гвардия… Эскадрон за эскадроном проходили на великолепных конях, в мундирах Наполеоновской эпохи, в латах, в касках с конскими хвостами Гвардейцы. Проходили торжественно под звуки, почти религиозные, своей Марсельезы…

И я впервые почувствовал всю силу этого Гимна, все величие его не только, как революционного объединения, но и как Гимна великой, живой, полной надежд и упований нации. Я был взволнован Марсельезой не менее, чем нашим глубоко религиозным Гимном[340] недавнего прошлого.

Мы видели Альфонса XIII еще раз, когда он проезжал в Оперу, видели за несколько минут до покушения на него. Он остался невредим, и лишь офицер Национальной гвардии, ехавший сбоку коляски Короля, был убит, несколько человек ранено.

Король выглядел больным, измученным, но обычная выдержка делала его совершенно спокойным. Это было чуть ли не первое из ряда последующих на него покушений.

Мы оставили Париж без сожаления.

В Вене дочь была у славившегося тогда по ушным болезням профессора Урбанчича. Слух ее снова ухудшился. Страх новой операции, трепанации черепа, пугал нас. Урбанчич дал понять, что положение может стать серьезным, что часть гноя после предыдущей операции могла задержаться в ухе… Было решено,

что по возвращении в Россию дочь уедет в Кисловодск. Там Павлов, прекрасный климат и проч<ее> — авось беда и минует.

В Вене в тот раз я должен был осмотреть новую Посольскую церковь, сооруженную по проекту моего приятеля Г. И. Котова. Со мной перед моей поездкой за границу был разговор о ее росписи. Я виделся с нашим послом, Кн<язем> Урусовым, говорил с ним о церкви, об их предположениях. Нужно было выяснить, могли ли они иметь свободные деньги, чтобы осуществить свое желание. Шла неудачная война, было не до того. Виделся я и с Настоятелем церкви, протоиереем Николаевским, очень красивым стариком… Проект росписи Венской церкви, насколько я помню, так и не был осуществлен.

Вернувшись в Россию, стал думать о своей самостоятельной выставке. «Св<ятая> Русь» давно была готова, материала для выставки имелось достаточно. В голове роились новые планы, новая картина, фоном которой должна быть Волга. …Еду в Уфу. Там, по обыкновению, отдыхаю телом и душой. …На обратном пути хочу заехать к старому Макарию Желтоводскому, в колыбель Макарьевской, а позже Нижегородской ярмарки, горделиво прозванной именитым купечеством «Всероссийским торжищем». Пароходу Макарья не останавливается, — он берет топливо напротив, у старинного села Исады, красиво раскинувшегося по нагорному берегу Волги. Две-три старых церкви на берегу, а по холмам все сады, сады… К Макарью переправа на лодке. Вот я и на Макарьевской стороне. Большой, когда-то пятиглавый, монастырский храм. Средняя глава его давно провалилась. Внутри фресковая живопись. Голубой тон доминирует. Стоят величавые колонны, на них Угодники Божьи. Благоверные Князья… Все как подобает. Монастырь опоясан старой стеной. Кое-где уцелели внушительные башни нижегородского типа, простые. Иду по пригороду, ищу квартиру. Нанимаю светлую, просторную, с тюлевыми занавесками, с цветами, с широкой деревянной кроватью, комнату. Спрашиваю — есть клопы — водятся, но не кусаются, ручные.

Хозяйка ласковая, говорунья. Срядились скоро до мелочей. Спрашивают паспорт, — даю. Сам иду со шкатулкой побродить по монастырю, по берегу Волги. Напротив видны Исады. Все как-то роднит с давно минувшим, со временем Грозного царя и тем, что было после него…

Раскрыл шкатулку, пишу этюды… над Исадами, над его садами всплыло розовое облачко, — и оно попало на этюд. Волга покрыта опаловой зыбью. Бегут пароходы: снизу в Нижний и сверху на Астрахань. — Чувствую себя прекрасно. …Этюд готов. Иду домой, предвкушаю ранний сон на огромной с «добрыми»

клопами кровати. Прихожу. Хозяйка встречает, лицо постное, озабоченное. Мой паспорт в обложке «Гранд-отель» побывал у станового, из него он узнал, что приезжий не раз бродил кругом света, что он непоседа, занимается художеством… Воображение разыгрывается… Макарьевское население еще недавно побило какого-то заезжего еврея. У старого Макария не было спокойно. Предусмотрительный становой посоветовал хозяйке нового жильца «не задерживать», отдать ему задаток, да и пусть себе едет подобру-поздорову. Едет сегодня же, с первым проходящим мимо пароходом. Хозяйка, поджав церемонно губы, объявляет мне о таком постановлении начальства. Пробую убеждать, приводить резоны, однако со мной остаются непреклонными. Тут же отдают мне задаток и паспорт, советуют складывать свой чемодан, а, когда пароход побежит вниз, — мне скажут. Ждал недолго. Какой-то «Самолет». Вот он показался Исад. Я сел в лодку, дали сигнал пароходу, чтобы он уменьшил ход, остановился. «С грустной миной на лице» я сел, и пароход побежал дальше.

Из Нижнего еду в Пучеж. Самолетский пароход «Князь Федор Ярославский» бежит мимо Николы-Бабаек. Там молебен, бежим дальше в Ярославль. Потом Москва… и я снова в Киеве.

В это время моя Ольга в Кисловодске около тяжко больной Марии Павловны Ярошенко.

В Питере события развертываются. Народилась Государственная Дума[341] — давняя мечта нашей русской интеллигенции. Тогда думалось, все пойдет, как по маслу.

Витте собрался в Америку. Цель его поездки — мир с Японией. Мир нам необходим. Он должен «успокоить умы» после несчастной войны. Скептики думают, что Витте продаст, но продаст «талантливо»[342]. Утешительно…

Меня политика не занимает. Я не чувствую к ней вкуса. Моя дума всегда одна и та же, — чтобы моей Родине жилось полегче, поменьше было войн и иных «потрясений». Вот и все, о чем я думаю… Кроме моего художества, о котором я думаю, мечтаю денно и нощно.

Сейчас мои мечты — создать музей в Уфе. Для этого у меня имеется свободная земля. Стоит только вырубить часть нашего сада, что выходит на Губернаторскую улицу, вот и готово место для Музея, в самом центре города. Щусев, совсем еще молодой, обещает начертить проект музея. Я тоже пытаюсь что-то себе представить «архитектурно».

Музей предполагает быть наполненным собранием картин, этюдов, скульптуры, полученных мною в подарок или в обмен от моих друзей и современников. Я мечтаю: когда музей будет готов, открыт — поднести его в дар городу Уфе.

Позднее это осуществляется иначе. Городской голова Малеев предлагает мне поместить мою коллекцию в задуманном им Аксаковском Народном доме. В 1913 году я и делаю это, оформив все законным порядком.

Давно желанный мир с Японией заключен. Витте — «герой дня». О нем, о его ловкости, кричит вся Европа. Он почти Бисмарк.

В октябре — выставка Виктора Васнецова в Академии художеств. Его «Страшный суд» не популярен. Академисты ходят по выставке «руки в карманы». Был какой-то неприличный эксцесс, после чего Васнецов выставку закрыл, вышел из членов Академии[343]…

Началась давно жданная «репетиция революции»[344].

Витте вернулся в Россию. Он уже «граф Витте», а не просто Сергей Юльевич. Граф Витте — премьер и, несмотря на «уступки времени», в Министерство к нему никто не идет. Даже Милюков «уклоняется». Новый граф не пользуется доверием, и не в одном Царском Селе сомневаются, подлинно ли он гений. Его не любят…

Революция развертывается шире. Бедные либералы, наполучавшие всяческих «свобод» (кроме истинной), утратили свой давнишний ореол «мученичества». Ушла поэзия, ушло все очарование свободами, кои, быть может, кроются лишь в их недосягаемости…

Невольно вспоминаются лучшие времена «Передвижников», еще гонимых. Времена изменились. Передвижники, их главари теперь царят в Академии[345]. Из гонимых они быстро стали сами «гонителями». Очарование пропало, мираж исчез.

Революция продолжала шествовать, пока что победно.

Ольге предстояла новая операция, — трепанация черепа. Операция была сделана в Германии, в г<ороде> Ростоке, известным Кернером. Сделана удачно. Жена и сестра были с Ольгой за границей.

У нас же дома в это время лейтенант Шмидт объявил на «Потемкине» — «Командую флотом!»

Я снова побывал в Петербурге. Проездом через Москву видел, как день за днем настроение Первопрестольной становилось более возбужденным. Уехал из Москвы в тот день, когда на Красной площади собирались не то кучера, не то дворники и вырабатывали очередной «протест».

По пути в Киев дело запахло серьезней. Из Конотопа наш поезд едва проскочил и был на значительное время последним. Наконец, разразились серьезные события.

Киев был временно отрезан от Москвы. В самом городе

страсти клокотали. Революционно настроенная часть населения вышла на улицу. Многие евреи, побуждаемые своим страстным темпераментом, шли впереди, что в конце концов и стоило огромных жертв их более спокойно настроенным собратьям.

Страшный, ужасающий погром был ответом на вызов[346]. Это были несчастные дни для множества ни в чем не повинных людей. В Липках — части города, где в ту пору квартировали и мы, населенной богатыми евреями-миллионерами Бродскими, Гинзбургами, Зайцевыми, имевшими там дворцы, произошли самые бурные проявления страстей.

Из еврейских дворцов чернь, не имевшая ничего общего ни с революционерами, ни с патриотами, производила свои страшные аутодафе, выкидывала имущество из этих дворцов на улицу. Дорогие вещи, мебель висели на телеграфных проводах. Разбитые рояли валялись на улицах, которые были усеяны содержимым этих богатых гнезд.

Мимо наших окон пробегали в каком-то чаду темные люди. Мужчины и женщины тащили награбленное, тут же спорили, отбивали его друг у друга и скрывались в недрах оврагов, ведущих на Печерск. Страшное было время.

И, как часто бывает, с гибелью и всякими ужасами, врываются и элементы комические. Наш сосед — присяжный поверенный еврей Э-н, с элегантной, красивой женой и прелестной девочкой, у которой была старуха-няня. И вот этот-то господин, когда начались ужасы, спешно содрал свою визитную карточку и мы увидели приколотую кнопками наскоро написанную новую: «Иван Иванович Сарафанов». А на окнах Ивана Ивановича нянька озабоченно расставляла свои дешевые лаврские образки. Девочку вовремя отвели в соседнее Духовное училище, к священнику. Таким образом Ив<ан> Ив<анович> Сарафанов благополучно избегнул страшной участи множества своих собратьев.

В Москве была объявлена диктатура Дубасова[347]. Вооруженное восстание было подавлено. Дела революции пошли на убыль. Между тем гр<аф> Витте продолжал сидеть между двух стульев. Положение для премьера невыигрышное!

Чтобы перейти от страшного 1905 года к менее тяжелому 1906-му, к концу которого страсти стали утихать, расскажу здесь об одном давнем петербургском торжестве. Чествовали тогда еще ученика реального училища — юношу композитора Глазунова[348], сына книжного торговца, а позднее Петербургского городского головы и двоюродного брата моего приятеля Турыгина. Народу на торжестве собралось множество — весь музыкальный мир. Время тогда было музыкальное, была жива вся, так называемая, «кучка»[349]: Римский-Корсаков, Мусоргский, Балакирев, Кюи,

Бородин…

За столом стали произноситься речи. Встал и начал говорить Бородин. Он сбивался, путался, ничего не выходило. Тогда Влад<имир> Вас<ильевич> Стасов с другого конца стола закричал Бородину:

— Брось, перестань, не берись не за свое дело. Ты лучше напиши арию! — Бородин сконфуженно сел, не окончив своей речи…

У нас в Киеве, как эпилог пронесшегося над Россией урагана, местное Художественное училище свергло своего директора-основателя, провозгласив себя «автономным», и, без моего ведома, я был избран таким автономным Директором. Я, узнав о сем, немедленно отказался. А затем вернулся старый директор, и порядок скоро был восстановлен.

Знакомство с Л. Толстым.1906

Наступил год 1906-й.

Мои вернулись из Ростока. Ольга после двух операций выглядела отлично, стала весела и бодра, остриглась. Что-то задорно-мальчишеское было в тогдашней ее внешности. В феврале я был с ней в Питере. На обратном пути заехал в Москву, куда ранее была послана с другими картинами «Св<ятая> Русь» для фотографирования. В Москве «Св<ятую> Русь» видели многие, видел В. М. Васнецов, нашедший ее «интересной».

Однажды, еще во время росписи Владимирского собора, Виктор Михайлович говорил о Семирадском. По его словам, Семирадский не скупился на похвалы картинам собратьев-художников, кои не мешали ему или были не опасны, и сугубо молчал, когда картина задевала его своими достоинствами. Тогда, бывало, не жди от него похвалы — не получишь.

Видел «Св<ятую> Русь» и Суриков. Он отнесся к ней явно недоброжелательно. Видела ее в Историческом музее и молодежь — г<осподин> Милиоти и другие из «Золотого руна», появившегося тогда взамен «Мира Искусства»[350]. Наговорили мне много любезностей, уверяли, что я еще полон сил, что «об уходе со сцены мне и думать нечего».

Тут же в Москве мне было сделано предложение участвовать со «Св<ятой> Русью» в Париже, что, однако, не помню почему, не состоялось[351].

В мае был я в Ялте, видел своих друзей, оттуда проехал на Кавказ. В Петербурге, да и по всей России, политический горизонт в тот момент был неясен: республика? диктатура? (чья?)? «Окрошка» или благодать Господня?

С Кавказа я проехал в Сергиев, где все напоминало мне молодость. Вот елочка, что написана на «Пустыннике». Она из маленькой и чахлой, когда-то своей юностью так раздражившая огромного Стасова, за восемнадцать прошедших лет стала большой кудрявой елью.

Пожив, поработав сколько-то в скиту у Черниговской, я еду опять на Волгу, в Чебоксары. Помню раннее утро, сижу на крыше своего домика на берегу Волги, пишу предрассветный этюд Заволжья и слышу — с реки несется протяжный крик. Всматриваюсь — ничего не видно. Крик повторился и смолк.

Часов в семь на берегу собрался народ. Машут руками, куда-то указывают. Что-то случилось. Иду и я посмотреть, послушать, узнать от скуки, в чем дело. Оказывается, крик, что я слышал рано утром, был крик утопающей молодой девушки-чувашки.

Теперь собрались ее искать. Проискали до обеда — нашли.

Я ходил смотреть утопленницу. Она, совсем юная, лежит без одежды, как купалась. Лицо приятное, спокойное. Лежит как мраморное изваяние. На берегу много чувашей, женщин, девушек — ее подруг. Плачут, рассказывают, как было дело.

Завтра похороны. Все Чебоксары тут, в церкви, потом все идут за открытым гробом. Она, вся усыпанная полевыми цветами, лежит, как Офелия. За гробом плетутся отец с матерью, пригородные чуваши. Отец держится за гроб, оторваться не может. Дочка была одна и такая, слышно, ласковая, все ее любили.

Из Чебоксар я еду в Уфу, оттуда на Урал до Миасса. По дороге «Уральская Швейцария», ст<анции> Аша-Балашовская, Златоуст. Пишу этюды, еду дальше, к Миассу. Пошли Таганаи — Большой, Малый. То там, то здесь видны горные, полные по краям быстрой водой, реки. Вот и Юрюзань, многоводная, сильная. Она величаво катит свои воды почти в уровень берегов. Суровая, задумчивая и загадочная природа. Она глубоко проникает в чувство, в душу человеческую, оставляя в ней след чего-то смутного, угрожающего. Суровый, прекрасный край моя Родина!

Вот и Миасс. Перед глазами далекое озеро с гористыми далями, с голубоватыми сопками на горизонте. Я пишу подробный этюд озера, вошедшего позднее как фон в мою картину «На земле мир» (три старца на берегу озера). Тут, у ст<анции> Миасс, стоят пограничные столбы, разделяющие Европу и Азию. Вечером выезжаю тем же путем обратно.

В этот приезд мой в Уфу был начат портрет дочери в амазонке. Окончен он был осенью, когда мы вернулись с хутора в Киев, в 1907 году был на моей выставке в Петербурге и приобретен для Музея Императора Александра III.

Из Уфы посылаю письмо гр<афине> Софии Андреевне Толстой в Ясную Поляну такого содержания:

> «Милостивая Государыня С<офья> А<ндреевна>! Приступая к выполнению задуманной мной картины „Христиане“, в композицию которой, среди людей, по яркости христианского веропонимания примечательных, войдут и исторические личности, как гр<аф> Лев Николаевич Толстой, для меня было бы крайне драгоценно иметь хотя бы набросок, сделанный непосредственно с Льва Николаевича. Я решаюсь потому через Ваше посредство обратиться с почтительной

просьбой к Л[ьву] Николаевичу] разрешить мне с вышеупомянутой целью во второй половине июля приехать в Ясную Поляну. Буду очень признателен за ответ на настоящее мое письмо.

С глубоким почтением и преданностью остаюсь М. Нестеров»[352].

Тогда же, на опасения моего приятеля Т<урыги>на, как я «справлюсь с Ясной Поляной», я писал ему, что мне, надеюсь, поможет благоразумие. Побольше осторожности, искренности, простоты и сознания того, что ведь не на экзамен я еду в Ясную и что, хотя мнение Льва Николаевича и дорого для меня, но не за этим я еду к нему.

Цель моя очень определенная — написать с Толстого этюд, а все остальное имело значение относительное, и, если удастся попасть в Ясную Поляну (в чем я имел основание сомневаться, так как слышал, что Л<ев> Н<иколаевич> меня, как художника, не жаловал якобы давно и определенно), тогда те дни, что я проведу у Л<ьва> Н<иколаевича>, будут посвящены исключительно тому делу, за которым я приехал. Тем не менее я полагал, что «попотеть» мне придется.

В Княгинине я получил ответ С. А. Толстой. Вот что она писала:

«Милостивый Государь Михаил Васильевич!

Лев Николаевич все это время хворал желудочной болезнью и чувствовал себя слабым. Он говорит, что позировать не может, да и времени у него очень мало. Ехать Вам так далеко не стоит. Если бы Вы, ехавши куда-нибудь проездом, захотели взглянуть на него, то он ничего не имел бы против. — Все это его слова.

Что касается меня, я очень сочувствую всякой художественной работе и рада бы была помочь Вам, но Л<ев> Н<иколаевич> теперь очень постарел и ему все стало утомительно, что и понятно в его годы.

С. Толстая»[353].

Желаю Вам успеха в Вашем замысле. Думаю, что Вы можете взять множество портретов Л<ьва> Н<иколаевича> и Вашим талантом, воображением создать то выражение, которое выразило бы Вашу мысль.

Письмо не чрезмерно любезное, но не отрезывающее мне путь в Ясную Поляну.[354]

19 августа я уже был там и писал в Петербург Т<урыгину>:

«Вот уже третий день, как я в Ясной Поляне. Л[ев] Николаевич], помимо ожидания, предложил мне позировать за работой и во время отдыха. Через два-три часа по приезде я сидел уже у него в кабинете, чертил в альбом, а он толковал в это время с Бирюковым — его историографом. Из посторонних здесь, кроме Бирюкова, сейчас нет никого. За неделю же до меня были Леруа-Болье и ваш Меньшиков, которому жестоко досталось от старика[355].

Л [ев] Николаевич] сильно поддался, но еще бодрый. Он скачет верхом так, как нам с тобой и не снилось. Гуляет во всякую погоду.

Первый день меня „осматривали“ все, а я напрягал все усилия, чтобы не выходить из своей программы. На другой день с утра отношения сделались менее официальные. Старый сам заговорил и, получая ответы не дурака, шел дальше. К обеду дошло дело до искусства и „взглядов“ на оное, и тут многое изменилось. В общем с Л[ьвом] Николаевичем] вести беседу не трудно, он не насилует мысли. Вечером наш разговор принял характер открытый и мне с приятным изумлением было заявлено: „Так вот вы какой!“ (разговор шел о Бастьен-Лепаже, о его „Деревенской любви“)[356].

Прощаясь со всеми, перед тем как идти спать, чтобы завтра чуть свет попасть на поезд, д<окто>р Душан Петрович Маковицкий, задержав мою руку в своей, заметил, что у меня жар. Поставили градусник — сорок! Мне сейчас же Л<ев> Н<иколаевич> принес свой фланелевый набрюшник, и я надел его и какую-то дикую кофту „Великого писателя земли Русской“. Меня уложили в постель, дали хинин и еще что-то и, благодаря усилиям доктора, утром я был вне опасности. Остался в Ясной, сделал несколько набросков с Л<ьва> Н<иколаевича> карандашом.

Я страшно рад, что решился сюда заехать. Живется здесь просто и легко, а сам Т<олстой> — целая поэма. В нем масса дивного мистического сантимента, и старость его прелестна. Он хитро устранил себя от суеты сует, оставаясь всегда в своих фантастических грезах.

Революционный опыт 1905-го здесь сочувствия не имел. Старик относится к революции уклончиво, предлагая свое „гомеопатическое“ средство —

непротивление.

Ясная П<оля>на — старая барская усадьба, сильно запущенная. Все там сосредоточено на писательстве Л[ьва] Н[иколаеви]ча. Необыкновенная энергия графини (самого „мирского“ человека) направлена на то, чтобы старичина не выходил из своего художественно-философского очарования…»

Расстались мы прекрасно. С семьей дружелюбно. Л<ев> Н<иколаевич> на прощание звал заезжать в Ясную П<оляну> еще и высказал о моем искусстве, что «теперь он понимает, чего я добиваюсь», сочувствует этому, особенно теперь в наше время безумной проповеди «неверия». Что теперь он считает даже столь ему ненавистное Православие и вообще деление Христианства на церкви, как оно ни грубо, полезнее полного неверия. Понимает моего «Сергия с медведем» и просит ему выслать все снимки со старых моих картин, с тех, что я сам более ценю, также с новых, обещая высказать мне свое мнение о них. Словом, конец был совсем неожиданный!

Таким образом, опасения моего приятеля, что в Ясной Поляне я потеряюсь, не оправдались. В Толстом я нашел тогда необходимую поддержку. Мне нужен был в то время новый «большой человек». Толстой и был им для меня тогда, в дни моей усталости, душевного истощения.

С хутора, куда я проехал от Толстых, писал своему приятелю дополнительно[357]:

«Толстой-старец — это поэма… И это истинная правда, как правда и то, что Толстой — великий художник и как художник имеет все слабости этой породы людей. В том, что он художник — его оправдание за Великое его легкомыслие, за его „озорную“ философию и мораль, с которых он, как тот озорник и бахвал парень в „Дневнике“ Достоевского похваляется, что и „в причастие наплюет“. Черта вполне русская. И Толстой, как художник, смакует свое озорство, смакует его и в религии, и в философии, и в политике. Удивляет так сказать мир злодейством. Лукавый барин, вечно увлекаемый сам и чарующий других гибкостью своего великого таланта…

Деловитая и мирская гр<афиня> Софья Андр<еевна> не раз говорила мне в Ясн[ой] Поляне, сколько увлечений, симпатий и антипатий пережил Л[ев] Николаевич]. Он еще когда-то восхищался царствованием и характером Николая П[авлови]ча,

хотел писать роман его эпохи, теперь же с редким легкомыслием глумится над ним.

Провожая меня, как и писал я тебе, Толстой „учительно“ говорил, что даже православие имеет неизмеримо более ценности, чем грядущее „неверие“ и т<ак> д<алее>. Рядом с этими покаянными словами издаются за границей „пропущенные места“ из „Воскресения“, где он сам дает такой козырь в руки неверию.

Сколько это барская непоследовательность, „блуд мысли“, погубили слабых сердцем и умом, сколько покалечили, угнали в Сибирь, в Канаду, один Господь ведает! И все ведь так мило, искренне, при одинаковой готовности смаковать „веру“ умного мужика Сютаева и „вошь“ на загривке этого самого Сютаева[358].

Как часто этот „смак“ художника порождает острую мысль, хлесткую фразу, а под удачливую минуту и целую „систему“, за которой последователи побегут, поломают себе шею. Он же, как некий Бог, не ведая своей силы, заманивая слабых, оставляет их барахтаться в своих разбитых, покалеченных идеалах.

„Христианство“ для этого, в сущности, „нигилиста“, озорника мысли, есть несравненная „тема“, — тема для его памфлетов, остроумия, гимнастики глубокомыслия, сентиментального мистицизма и яростного рационализма. Словом, Л. Н. Толстой — великий художник слова, поэт и одновременно великий „озорник“. В нем легко уживаются самые разноречивые настроения. Он обаятелен своей поэтической старостью и своим дивным даром, но он не „адамант“»[359].

В Киеве я получил ответ Л<ьва> Н<иколаеви>ча на посланные в Ясную П<оля>ну фотографии[360]. Вот он:

«Михаил Васильевич, благодарю Вас за фотографии. Вы так серьезно относитесь к своему делу, что я не побоюсь сказать Вам откровенно свое мнение о Ваших картинах.

Мне нравится и „Сергий-отрок“, и два монаха на Соловецком. Первая больше по чувству, вторая больше по изображению и поэтически рассказанному настроению. Две другие, особенно последняя, несмотря на прекрасные лица, не нравятся. Христос не то что нехорош, но самая мысль изобразить Христа, по-моему, ошибочна.

> Дорога́ в Ваших картинах серьезность их замысла, но эта самая серьезность и составляет трудность осуществления. Помогай Вам Бог, не унывать, не уставать на этом пути. У Вас все есть для успеха. Не сердитесь на меня за откровенность, вызванную уважением к Вам. Лев Толстой. 3 окт[ября] 1906»[361].

В то же лето был написан мной портрет с друга моего — польского художника Яна Станиславского, гостившего со своей женой у нас на хуторе. С грустным чувством вспоминаю эти дни, проведенные с любимым и ценимым мной «Иваном Антоновичем», как звали Яна Станиславского в Киевском русском обществе. Станиславский в то время был уже сильно болен. Почки, сердце были в самом плохом состоянии. Врачи посылали его в Египет. Ехать туда он не хотел, хотя и чувствовал, что дело плохо.

Когда портрет был кончен, Станиславский им остался доволен, заметив вскользь: «Прекрасный портрет для моей посмертной выставки». Тогда же я подарил портрет жене Станиславского, Янине Станиславовне. Он и был в 1908 году на посмертной выставке Станиславского в Кракове, Варшаве и Вене, а после смерти жены художника перешел в Краковский национальный музей.

Со Станиславским я виделся еще один раз в сентябре в Киеве. В конце же декабря он скончался в Кракове.

К концу 1906 года революция доживала свои последние дни. В Киеве во главе патриотического движения стоял тогда издатель газеты «Киевлянин»[362] — проф<ессор> Пихно. Тогда же состоялся огромный съезд, так наз<ываемых>, «Русских людей». На нем впервые появились люди, в последующие годы так или иначе фигурировавшие перед лицом тогдашней России. Многих из них следует помянуть добром, иных же лихом. Сейчас едва ли многие из них остались в живых, а так как о них, да и сами они о себе в свое время много говорили, то я здесь не стану останавливаться, называть их имена, вспоминать добрые и недобрые дела их.

Мне, как и множеству киевлян того времени, пришлось присутствовать на парадном спектакле «Жизнь за Царя». Все билеты задолго были распроданы по огромным ценам. Зрительный зал нового Оперного театра был битком набит. В ложах было чуть ли не вдвое больше против нормы. С галереи висели как гроздья головы, руки. У театра стоял хвост до Фундуклеевской улицы жаждущих попасть на «Жизнь за Царя».

Ни на одном Шаляпинском спектакле не было такого

подъема, такого праздничного, парадного вида. Это было событие. Напряжение зрительного зала росло с каждой минутой. Началась знаменитая увертюра, всех охватил какой-то душевный трепет. Все сразу почувствовали, что они братья по крови, что всем дорога Россия, ее слава, величие, ее счастие.

Началось действие. Артистам мгновенно передалось настроение публики. Самые незначительные из них были выше своих сил. Сабинина пел артист-еврей. И как пел! Он влагал в слова, в звуки тот смысл, ту силу и воодушевление, которое хотел придать Сабинину Глинка и какое требовала сейчас с такой горячностью публика.

После каждого акта вызовам не было конца. Весь театр был в каком-то восторженном экстазе.

Я много видал знаменитых, великих артистов, бывал на их бенефисах, торжествах, но то, чему я был свидетелем тогда, в день представления «Жизни за Царя», оперы на юге России редко даваемой, мало популярной, этого, повторяю, ни на каких самых шумных бенефисах гремевшего тогда Шаляпина — не было.

Это был спектакль поистине народный. Чем ближе было к концу, тем возбуждение более росло. Настал момент мученичества Сусанина за юного Царя.

Публика, как один человек, бурно потребовала, чтобы поляки «не убивали Сусанина». Это было исполнено, после чего вызовам Сусанина, Сабинина, Антониды, Вани не было конца. Все разошлись усталые, но счастливые. Киев долго говорил об этом патриотическом вечере.

Я продолжал готовиться к своей выставке. Думалось, что-то ожидает меня в новом 1907 году, в Петербурге! Испытание мое и всяческие терзания приближались…

Суриков окончил «Разина» с опозданием: революция кончилась[363].

Персональная выставка 1907 (Петербург — Москва). 1907

Год 1907-й был один из самых интересных и знаменательных в моей жизни и деятельности.

Начался он моей выставкой в Петербурге, потом приглашением меня Великой Княгиней Елизаветой Федоровной к росписи сооружаемого ею храма при Марфо-Мариинской обители, рождением сына Алексея и второй поездкой в Ясную Поляну, написанием там портрета с Л. Н. Толстого, поездкой к другому Толстому — графу Дмитрию Ивановичу, директору Эрмитажа в Кагарлык.

Об этом расскажу так, как сохранила моя память, и по письмам, что остались в Уфе и у приятеля моего в Петербурге.

Помещение для выставки было снято мною еще в конце 1906 года. Это был известный тогда Екатерининский концертный зал во дворе Шведской церкви, что на Ма<лой> Конюшенной. Зал был новый, с хорошим светом, белый, нарядный. Он был законтрактован неким Лидвалем, аферистом, замешанным перед тем в деле с поставкой хлеба в Нижнем. Лидваль вышел сух из воды и теперь промышлял в Питере чем придется. Между прочим снял у Шведской общины концертный зал, отдавая его под концерты, выставки, лекции за большие деньги. Мне рекомендовал этот зал Дягилев, предупредив, что с Лидвалем надо быть все время начеку.

Я снял зал на один месяц за две тысячи рублей. Плата денег в два срока. Первый — при начале устройства выставки, второй — во второй половине, по открытии ее.

В Питер приехал я заблаговременно и начал понемногу приготовляться. Имея план зала, я еще в Киеве составил план развески картин. И когда время моей аренды наступило, имея опытных людей наготове, я быстро стал развертывать выставку. Была у меня и опытная кассирша (от Дягилева), она взяла на себя всю деловую канцелярскую сторону устройства: публикации, билеты, разные разрешения и проч<ее>. Дело кипело… В три-четыре дня все было поставлено по местам, декорировано светлой материей, цветами, лавровыми деревьями, нарядными кустарными вышивками по стенам, на мебели.

Лидваль заходил на выставку, посматривал и дня за три до открытия напомнил мне, что завтра срок первого взноса. Я на его слова, в хлопотах, не обратил внимания — не до того было. Наступило «завтра». Я кипел, как в котле, совсем позабыв о

времени взноса. Прошло и это «завтра».

На другой день утром на выставку явился Лидваль и заявил, что так как контракт мною нарушен, то он просит немедленно «очистить зал». Я вижу свою оплошность, предлагаю этому господину сейчас же получить следуемые тысячу рублей (их я все время носил в кармане), но Лидваль и слышать меня не хочет…

Что делать? Я в отчаянии. Кто-то мне посоветовал обратиться к брату Лидваля — архитектору, вполне порядочному человеку, просить его содействия. Я еду к нему, и, благодаря его вмешательству, деньги в тот же день были уплачены, и я мог рассчитывать, что теперь все пойдет гладко.

Не тут-то было: накануне открытия, когда все было развешано, весь, так сказать, парад был наведен, ко мне является уполномоченный от певицы Вяльцевой и заявляет, что на завтрашний вечер концертный зал давно сдан Вяльцевой, что афиши уже расклеены, билеты все проданы, и чтобы я убирался со своими картинами, куда знаю… Уполномоченный был один из бесчисленных поклонников Вяльцевой, какой-то молодой князек. Он с чванливой непреклонностью заявил мне свой ультиматум.

В те годы я был не из очень сговорчивых, — взял соответствующий Его Сиятельству тон и также категорически заявил, что об этом надо было меня раньше предупредить.

Князь удалился ни с чем. Мои же помощники, здоровенные, огромные ребята — плотники, обойщики, те, что устраивали обычно все выставки — Передвижную, «Мира искусства» и другие, узнав о таком деле, заявили, что они готовы всю ночь прокараулить, но ни одну картину снять или тронуть не позволят. Это еще более укрепило меня.

Через некоторое время явился другой уполномоченный г<оспо>жи Вяльцевой, помягче. Он предложил на время концерта завесить мои картины коленкором. Так как на самом деле ни я, ни Вяльцева в этом инциденте повинны не были, а был виноват один Лидваль, его жадность, то на такое предложение я пошел. За час все картины были завешены оставшимся холстом, кое-что отодвинуто в сторону, и концерт Вяльцевой, к удовольствию ее почитателей, состоялся. <…>

Накануне открытия выставки петербуржцы получили такое приглашение: «Художник М. В. Нестеров имеет честь просить Вас почтить своим присутствием открытие его выставки, имеющее быть 5-го сего января в 4 часа дня в Екатерининском концертном зале на Малой Конюшенной, д. 3».

Пятого января на выставке собралось до шестисот приглашенных. Было оживленно. Все мои близкие на этот день приехали из Киева, из Уфы в Петербург. Выставка нравилась. Она

своим составом, говорили тогда, вносила какое-то успокоение во взбаламученное предыдущими событиями общество. Многие, уходя, благодарили меня. Я выглядел именинником. Каждый день приносил с собой что-нибудь новое, интересное.

С первых же дней стали появляться газетные отзывы. Они, неожиданно для меня, были благоприятными, и только крайние левые газеты, «Товарищ» и другие, пока молчали.

Познакомился я на выставке с В. В. Розановым. Его статьи о выставке были наиболее интересными. Появились они в «Новом времени», «Золотом Руне» и «Русском Слове» (под псевдонимом Варварина).

В одно из воскресений появился большой фельетон Меньшикова (в «Новом Времени»). В нем Меньшиков проводил как бы параллель деятельности К. П. Победоносцева с моим творчеством, с тем, что я сказал в своей «Св<ятой> Руси». Немало статей появилось тогда в газетах и журналах. Я не ждал этого, готовился или к замалчиванию, или к великому газетному погрому. Ничуть не бывало[364].

В первые дни, в первую неделю, на выставку шло народу немного, человек сто-двести в будни, и человек пятьсот-шестьсот в праздник, но было очевидно, что количество посетителей растет день ото дня. И вот о выставке «заговорили», она становилась популярной…

В первые дни ее открытия я узнал, что меня собираются чествовать обедом, что идет подписка, что инициаторами этой затеи были Рерих и Сергей Маковский. В те дни у меня с Рерихом были отношения ничем не омраченные, и в ближайшее воскресенье он передал мне просьбу приехать в такой-то час (сам обещает за мной заехать) в ресторан Северной гостиницы. Просьба была от ряда лиц разного звания и положения.

Я дал согласие, хотя такого рода чествования не в моем вкусе. На них всегда чувствую себя плохо. У меня нет слов для речей, я не оратор, я не знаю, что мне с собой и с окружающими делать. Однако едем, или, вернее, меня везут… Входим в большой зал, полный незнакомых мне лиц. Ну, думаю, вот когда ты попался, голубчик… Встречают аплодисментами. Народу человек пятьдесят, если не больше. Тут и военные всякого рода оружия, тут и актеры, и наш брат-художник. Кое-кого узнаю. Начинается пиршество, тосты, речи… Я думаю, что же я отвечу на этот поток слов, похвал, сравнений, заслуженных и незаслуженных… Однако надо отвечать. Встаю. Все утихают. Начинаю с того, что сваливаю все на свою врожденную неспособность говорить. Извиняюсь, мило улыбаюсь и, под гром рукоплесканий, сажусь. Пир затягивается. Становится ясно, что

мне — чествуемому — лучше уехать, о чем я и говорю сидящим около меня устроителям, и, еще раз поблагодарив собравшихся, я удаляюсь. Пожелания всех возможных благ несутся мне вослед… Это и была «лучшая минута» во всем этом шумном и ненужном чествовании.

Немало писем, знакомств, разговоров, очень интересных и характерных, было за это памятное мне время. Приведу две-три такие встречи, беседы.

Однажды, уже в середине выставки, когда успех ее определился, когда и по будням бывало много народа, а по праздникам переваливало за тысячу, ко мне явился какой-то уполномоченный от группы молодежи — студентов и курсисток, кои хотели меня видеть, слышать объяснение некоторых моих картин.

Я и раньше слышал и читал письма неведомых корреспондентов. Одни меня восхваляли, другие упрекали за отсутствие картин на темы минувших дней. Ну, думаю, сейчас придется держать ответ. Умудри, Господи!

Иду, и, как всегда в таких «критических» случаях, спокоен, внешне спокоен. Спускаюсь в зал. Толпа. Лица молодые, приятные и неприятные, молодежь мужская и женская. Я вхожу в их гущу. Стоят перед «Димитрием Царевичем». Кольцо за мной замыкается. Здороваюсь, отвечают не все.

Вперед вышла некрасивая, полная, коренастая девушка и старообразный, высокий, бородатый студент. Одеты оба бедно. Лица знакомые, такие памятные с молодости. С такими живал когда-то, и хорошо живал в Москве по «меблирашкам». Те же ухватки, все то же, что было двадцать пять лет тому назад. Послушаем, посмотрим, с чего начнется допрос, в чем станут обвинять меня. «Димитрий Царевич» — самая одиозная, самая острая картина на выставке. С нее, вероятно, и начнут. Так и вышло.

Курсистка с места взяла мажорный тон. Смысл ее речи был таков: как и чем я могу объяснить то, что взял такой сюжет для своей картины, тем самым сея в народе предрассудки, поддерживая веру в нелепые понятия; что личность этого самого «святого» далеко не такова, каким я желаю его показать, и пошла, и пошла… В окружающих вижу сочувствие моей обвинительнице. Особенно грозен бородатый, длинный студент.

Я дал наговориться милой девице, выложить все ее обвинения меня в крайнем моем невежестве, во «тьме» моей, и, когда поток ее красноречия иссяк, когда я выслушал еще двоих-троих, — вот тогда и я заговорил. Заговорил со всем возможным спокойствием и дружелюбием. Напомнив прежде всего эпиграф

поверия народного, что был в моем каталоге перед «Димитрием Царевичем»[365], сказал, что у меня и в мыслях не было написать «исторического» Димитрия Царевича. Тема эта лишь предлог к тому, чтобы рассказать людям переживания матери, потерявшей ребенка, быть может, потерявшей надежду иметь детей вообще. Что тут, так сказать, рассказ ведется от имени такой несчастной матери. При этом я обратился к моей вопрошательнице с вопросом — замужем ли она? Ответила — нет.

Говорю: «Вот когда вы выйдете замуж, а вы молоды, и это будет, когда станете матерью, тогда поймете не рассудочно, не отвлеченно, а сердцем, быть может, опытом, что такое дитя и что значит его потерять».

Девица покраснела, смутилась, смягчилась, прошел по окружающим какой-то шепот, одобрение. Я почувствовал, что опасность миновала. Даже сердитый бородач стал на меня смотреть мягче. Вопросы живые, человеческие посыпались со всех сторон. Кончилось тем, что мне жали наперерыв руки, благодарили, и я расстался с моими молодыми людьми самым приятным образом.

А вот и еще один разговор. Мне говорят, что меня желает видеть генерал Верещагин. Прошу его в свою комнатку, наверху при выставке. Входит крупный, нарядный генерал, очень схожий по облику с покойным Василием Васильевичем Верещагиным — баталистом. Рекомендуется, называя себя братом знаменитого художника.

Смотрю — золотое оружие. Вспоминаю — «Шипка-Шейново», летящий на белом коне Скобелев, его приветствие героям: «Именем Царя, именем Отечества — спасибо, братцы!» Позади Скобелева летит ординарец — это теперешний мой гость — ординарец Белого Генерала[366].

Начинается беседа, угощенье папиросами. Все, как полагается. Спрашивает, сколько бывает посетителей. Отвечаю, сколько в будни, сколько в праздник. Бывает много, по сравнению с другими выставками, но мой гость недоволен. Горячится, упрекает меня в неумении вести дело. Что так-де нельзя, что, имея в руках такую выставку и в такое время, надо уметь им пользоваться, проявить инициативу, быть смелым и т. д.

Я слушаю… Генерал спрашивает, что я намерен делать дальше, хочу ли я показать свои картины в Москве. — Да, — говорю, — предполагаю. — Где? — Еще не знаю…

— Как «не знаю»? Тут и знать нечего… Поезжайте в Москву, снимите манеж, да, манеж, манеж. И там выставьте свою «Святую Русь» и другие вещи. Назначьте не 40 коп<еек>, как Вы все сейчас делаете, а в будни по пятаку, в праздники пускайте даром,

а в понедельники для избранных по рублю. Народ повалит. Десятки тысяч пройдут через манеж, и вот вы увидите, что результат будет тот, что ваше имя будет греметь, и вы соберете не какие-нибудь гроши, а большие тысячи. Поверьте моему опыту. Ведь я в былое время был постоянным сотрудником и помощником брата. Помню (да и вы помните по газетам) выставку брата в Вене. Отличное помещение в центре города. Выставлена серия евангельских картин. Помните? Ну вот, с первых же дней скандал: Венский архиепископ запрещает некоторые, особенно яркие. Их пришлось снять. На другой день газеты полны разговоров о выставке; какой-то фанатик-католик обливает одну из картин серной кислотой. Мы с братом в восторге, — после этого народ повалил толпами. Конная полиция едва могла сдерживать толпу перед входом на выставку. Каждый день давка, обмороки и проч<ее>. Брат и я приходим домой возбужденные, довольные. Что-то будет завтра? — Хорошо было бы, если завтра одного-двух задавили насмерть. — Воображаю, говорит брат, что было бы тогда на следующий день!.. Выставка имела громадный успех. Вот как нужно делать выставки! — заключает взволнованный воспоминаниями бывший ординарец Скобелева.

Я слушаю и чувствую, что «не в коня корм», что у меня нет тех данных, коими был одарен так щедро покойный Василий Васильевич Верещагин. Я благодарю генерала, но не обещаю следовать его советам. Расстаемся любезно, но сдержанно.

Было и такое: входит ко мне в комнатку субъект типа мастерового или рабочего — высокий, сухой, нервный.

— Я к вам, — говорит.

— Садитесь, в чем дело? И вот, что называется с места в карьер, начинает желчно, раздраженно жаловаться на недавнее прошлое. Что их-де обманули, что вообще кругом ложь и неправда. Что «обещают хлеба, а дают вместо хлеба камень».

Ну, думаю, дело дрянь. Никакого хлеба я не обещал и камня тоже не давал. Писал картины, как думал, как чувствовал… и только. И вот — на, поди!

Однако не ко мне относились такие горькие упреки. А я, напротив, своей «Святой Русью» утолил духовный голод моего мрачного посетителя. Он, по его словам, в первый раз почувствовал, что здесь есть какая-то «правда». И все это говорилось так сухо, деловито, серьезно.

Я почувствовал всю драму разочарованного человека. Разговорились, назвал какой-то неизвестный мне Петербургский завод, где он работал, принимал участие в минувших событиях… Расстались по-хорошему. Жал руку, благодарил…

Незадолго до закрытия выставки ко мне подошел офицер самого «армейского» вида. Назвал фамилию и попросил меня уделить ему несколько минут поговорить, посоветоваться. — Пойдемте наверх, — говорю ему, — там и поговорим.

Начал издалека. Целая биография. Сибиряк, «мальчик» в гостином дворе. Потом какая-то ученая экспедиция Князя, помнится, Голицына. Нужен художник, так как взятый в столице по пути умер. Князю называют гостинодворца, он-де «балуется», рисует. Князь посмотрел «баловство», понравилось, взял с собой… Тибет, еще что-то. Экспедиция кончена. Юноша, по протекции Князя, поступает в юнкерское училище, его кончает (способный, цепкий). Вот он офицер. Однако закоренелая привычка, любовь к рисованию не оставляет его. Рисует урывками. И вот теперь он уже поручик, лет под тридцать. У меня на выставке что-то почувствовал и решил поговорить со мной. Хочет бросать военную службу. Ему не по духу, тяжелое время, некоторые обязанности, кои он по долгу присяги не имеет права не выполнять. Спрашивает, как быть?

Что ему сказать, что посоветовать этому совершенно незнакомому офицеру? Ни способностей, ни условий жизни его я не знаю. Спрашиваю: «Женат?» — «Да, есть ребенок». Что тут посоветуешь? А он ждет, так верит тебе…

Говорю: «Не бросайте пока службы, а ходите в Общество Поощрения Художеств, — рисуйте, пишите. Через год-другой будет видно, что делать». — Не того ждал от меня поручик, однако благодарил, обещал подумать.

Года через четыре (я жил уже в Москве, расписывал церковь Марфо-Мариинской обители) стою где-то у Серпуховских ворот, жду трамвая. Еще два-три человека. Один зорко всматривается в меня, подходит, спрашивает: «Вы меня не узнаете? Я такой-то, был у вас на выставке, говорил с вами. Помните, офицер?»

Вспоминаю, но от офицерства ничего не осталось, он уже штатский. Тогда же бросил военную службу, поступил в Общество Поощрения Художеств, много работал. Сейчас здесь, в Москве, управляет домом какого-то купца на Калужской улице… и художествует, рисует, что называется, запоем. Я живу близко, на Донской, просит меня зайти, посмотреть его работы.

Как-то захожу, смотрю кучу этюдов, набросков. Способности несомненные. А бывший поручик повествует, что он уже участвует в выставках, такой-то и такой-то. Что же, в час добрый!..

Заходит ко мне. Постоянно в хлопотах, житейских и художественных. Энергия неукротимая и страшная, неудержимая словоохотливость. Мысли роятся в голове, но мысли эти не новы,

у кого они ни бывали…

Года через два, слышу, он едет на средства Поленовых в Париж месяца на три… Оттуда приезжает совершенно сбитый с толку. В голове путаются барбизонцы с импрессионистами… Сумбур страшный.

Пробую удержать его на чем-либо одном. А он несется на всех парах… Опыты, опыты, без конца опыты и словоизвержения… Однако мне удается внушить ему необходимость серьезной школы, формы. Он начинает понимать это. Пытается строже рисовать, переезжает в Тарусу, там работает не покладая рук, время от времени показывая сделанное мне.

А годы идут да идут… Он остается и в пятьдесят тем же увлекающимся открывателем давно открытых истин, каким был двадцать лет назад. Одну акварель покупает у него Третьяковская галерея. Это предел его вожделений. Он достиг какого-то признания. Слава Богу. Сибирский мальчик, гостинодворец, член тибетской экспедиции — теперь художник. Это В<асилий> Д<митриевич> Ш<итико>в.

Успех моей выставки между тем все возрастал. Многое было продано. Осмотрела выставку покупочная комиссия. В комиссию входили и друзья мои и недруги. Среди первых был незабвенный и постоянный мой благожелатель — Архип Иванович Куинджи. На другой стороне умный, настойчивый Владимир Егорович Маковский, маленький Лемох и «Миша Боткин».

Споры были, главным образом, около «Святой Руси». Куинджи настаивал, чтобы приобрести ее для Музея Александра III, остальные выдвигали «для оттяжки» маленький жанр «Тихая жизнь». Особенно на этой незначительной вещи настаивал Лемох.

Куинджи горячился, волновался. Он не умел говорить спокойно, в особенности дорого обходились ему такие споры, где бы они ни были, — в заседаниях ли Академии, на выставках ли, — все равно. Вот и теперь, на моей выставке, его горячность не прошла ему даром: у него хлынула кровь горлом и носом, ему сделалось дурно. Сердце уже было плохо. У моей картины произошел один из таких тяжелых припадков. Кончился он благополучно.

Было решено, что «Св<ятая> Русь» будет приобретена не в Музей Александра III, а в Музей Академии художеств, и за очень низкую цену — за восемь тысяч рублей. Запросили меня, согласен ли я отдать картину за такую низкую цену. Куинджи настоял, чтобы я, не нуждаясь тогда в деньгах, согласился, полагая, что Академический музей будет переходным в Русский, что и случилось впоследствии[367].

Здесь, у моей «Св<ятой> Руси», впервые пожали друг другу руки лютые враги — Передвижники (Маковский) и Мирискусники (Бенуа), а самый спор был не о достоинствах или недостатках моей картины, что ни для тех, ни для других не было тогда важно — важны были «тактические соображения» и «родственные» на этот раз и у тех, и у других.

Комиссия музея Александра III (Русского музея) в лице товарища-директора графа Д. И. Толстого тоже по таким соображениям примкнула к мирискусникам. Граф Толстой высказался против приобретения в Русский музей «Святой > Руси».

Когда же стал особенно ясен исключительный успех выставки, когда на ней перебывали «Высочайшие», тогда и Толстой заговорил иначе. Бывая последние дни на выставке почти ежедневно, он как-то сказал мне: «Вероятно, „Св<ятая> Русь“ попадет в Русский музей гораздо раньше, чем я думал, так как успех вашей выставки „стихийный“, и с этим необходимо считаться».

Считаясь с ним, Толстой поспешил пока что приобрести один из моих портретов — портрет дочери в амазонке, за две тысячи рублей.

С. П. Дягилев только что вернулся из Парижа, где устраивал так назыв<аемую> Русскую выставку, в состав которой вошли Бакст, Бенуа, Лансере и другие мирискусники и не попали Суриков, Виктор Васнецов, Айвазовский и я. Мне говорили, что Дягилев приехал ко мне на выставку тотчас по приезде своем в Петербург, так о ней много говорили в те дни. Сергей Павлович хотел лично убедиться, стоит ли она того и не сделал ли он «тактической» ошибки, не позвав меня на свою Русскую выставку в Париже. И, кажется, убедился, что ошибка сделана была и ее следовало исправить, за что он и взялся со свойственной ему решимостью, пуская в ход все свои «чары». Но об этом позднее.

Приглашения участвовать на разного рода выставках тогда сыпались на меня обильно: княг<иня> Тенишева приглашала участвовать с Рерихом и Щусевым на устраиваемой ею в Париже выставке, Сергей Маковский звал в Лондон… Не было ни гроша, да вдруг алтын…

В те дни меня приглашали как петербургская знать — Имеретинские, Извольские, Уваровы, барон<есса> Икскуль, так и интеллигенция — Вячеслав Иванов, наговоривший мне на выставке любезностей, проф<ессор> Феноменов. Мих<аил> Ив<анович> Ростовцев, у которого собиралось тогда немало всякого народа — от либеральничавших сенаторов до старых и молодых поэтов, ученых, артистов.

Как-то зашел на выставку ненадолго утром. Уходя, одеваясь, увидел идущего по двору Вел<икого> Кн<язя> Владимира Александровича со своим адъютантом. После революции высочайшие редко показывались на улицах. Государь вовсе не появлялся в Петербурге. И вот я вижу — Президент Академии художеств идет пеший на мою частную выставку. Я поспешил встретить Великого Князя. Он радушно приветствовал меня.

Поднялись по красивой лестнице, вошли в зал. Вышивки были мне даны для декорирования выставки и чтобы познакомить публику с новинкой, сделанной по старым украинским и русским образцам киевскими крестьянками села Сунки у княгини Яшвиль, в Вербовках у Давыдовой и в Зозове у Гудим-Левкович.

Великий Князь обходил выставку. Я давал объяснения, выслушивал его замечания, похвалы. Час был ранний, часов одиннадцать, народу было еще немного. В<еликого> Кн<язя> посетители узнали, почтительно давали ему дорогу. Он любезно отвечал на приветствия.

Выставка была осмотрена. Я поднес В<еликому> Князю фотографию «Св<ятой> Руси». Он пожелал, чтобы я доставил ее лично во дворец.

После Великого Князя Владимира Александровича Высочайшие стали чаще посещать мою выставку. Был президент Академии наук — Великий Князь Константин Константинович (поэт К. Р.)[368]. Он подробно расспрашивал о «Святой Руси» и, прощаясь, выразил удовольствие, что познакомился со мной и т. д.

Я продолжал получать приветственные письма. Одно очень большое, в стиле М<аксима> Горького, написано было рабочим, долго хранилось мною[369]. Одновременно получил благодарность от воспитанниц выпускного класса Смольного института, бывших на выставке. Я имел основание быть довольным.

Даже газета «Товарищ» поместила у себя статью под заглавием «Христос и революция» и мой портрет. «Товарищ» пытался связать минувшие события с моей картиной: попытка была тщетная.

Императрица Александра Федоровна заочно пожелала приобрести эскиз «Симеона Верхотурского»[370], выразив желание, чтобы по окончании выставки я доставил его в Царское Село лично.

В конце января скончался Д. И. Менделеев. Похороны были торжественные. Я был на них. На панихидах впервые видел Витте. Он огромный, усталый, поникший. Лицо его мне не понравилось.

Приближался день закрытия выставки. Мои друзья советовали продолжить ее на неделю — на две, так как

количество посещающих все росло, но сделать это было невозможно, так как Лидваль зал отдал раньше под концерты, лекции и т. д.

Приглашения на обеды, завтраки, вечера получал от старых и новых моих знакомых. Завтракал у принца Ольденбургского. Один особенно памятен мне. Приглашенных было немного. Кто-то из профессоров, две-три дамы.

За столом справа от меня сидел принц Александр Петрович, напротив полная, величественная, с царственным профилем дама. Темно-синий костюм хорошо облегал ее массивную фигуру, гладкая прическа, никаких украшений. Я не знал, кто она. За столом ухо уловило, что с принцессой полная дама была «на ты».

Обращение со всеми и со мной было просто, вопросы не безразличны. Завтраки у принца Ольденбургского были оживленные. Новости научные чередовались с новостями об искусстве. Моя визави часто обращалась ко мне. Отвечая на вопросы, я спрашивал себя — кто она, такая величественная, породистая, напоминавшая профилем Императора Николая Павловича, и это «на ты» с принцессой? Принадлежит ли она к Высочайшей семье?

Завтрак кончился. Откланявшись хозяевам, я подошел проститься к своей визави. Она просила меня, если я не спешу, остаться.

Все разошлись. Она пригласила меня следовать за собой. Небольшая комната, нечто вроде дамского кабинета, обитая кретоном. Дама в синем попросила садиться. Начался разговор о выставке, на которой она была, похвалы, расспросы, незаметно разговор принимает иной характер, перешел к Думе, к Витте и проч<ему> Отвечая на вопросы, я все же не знал, с кем я говорю, кто передо мной столь свободно, «как дома» чувствует себя во дворце Ольденбургских…

Позднее я узнал, что моя собеседница была О. С. Милашевич — сводная сестра принцессы Е. М. Ольденбургской. Обе они дочери Вел<икой> Кн<ягини> Марии Николаевны, первая — от брака с герцогом Лейхтенбергским, вторая — от морганатического брака В<еликой> К<нягини> Марии Николаевны с графом Строгановым. Та и другая были внучки Императора Николая I. Вот почему у м<ада>м Милашевич эта царственная осанка и профиль Николая Павловича.

Разговор продолжался. Моя собеседница хотела знать больше, чем хотел бы я сказать. И все же, говоря о том о сём, пришлось сказать и о том, какая власть кажется мне наиболее действенной. Высказываюсь за власть сильную, программу ясную. Упоминаю Императора Александра III, который, как и его дед,

знал, чего хотел, умел царствовать.

Разговор принял иной характер. Моя собеседница сказала мне, что к ней хорошо относился Александр III и якобы делился с ней мыслями. Несмотря на свою обычную молчаливость, он однажды в беседе начертал ей краткий план, который он желал бы осуществить в ближайшие годы Царствования. По его словам, когда Россия выздоровеет, он созовет совещание (род Думы) из людей всех сословий, испытанных умом, честностью, знающих нужды населения, при их содействии будут выработаны законы, коими страна будет руководствоваться. В программу входили, главным образом, вопросы земельный, народного образования. План был широкий и при твердой воле, при независимости характера Государя осуществимый. Такова, будто бы, была мысль Александра III незадолго до болезни…

Наступило тяжелое время. Государь чувствовал, что дни его царствования сочтены. При прощании с близкими, перед поездкой в Крым, подошедшей к нему моей собеседнице Государь сказал: «Прощай, будь счастлива! Наш разговор едва ли осуществится». Это была последняя ее встреча с Александром III.

Продолжительна была тогда наша беседа и памятна мне. Прощаясь, м<ада>м Милашевич пригласила меня быть у нее в Царском, дала свой адрес. Приглашением ее я не воспользовался и больше никогда и нигде с ней не встречался…

Последние дни выставки публика валом валила на нее. Последние праздники бывало более чем по две тысячи человек. Теснота была такая, как в церквах в Светлую Заутреню. Едва было можно пробираться через людскую гущу. Сердце мое радовалось, радовалось тем более, что сейчас же после событий минувших двух лет я, как было сказано выше, вовсе не надеялся даже на малый успех. Некоторые ходили на выставку по многу раз. Лица многих были мне уже известны, хотя я и не знал, кто были эти лица.

Наступили и последние часы выставки. Во втором часу Екатерининский зал и все помещение выставки было переполнено. С трудом можно было двигаться. Две кассирши едва справлялись со своим делом. Публика густой толпой поднималась по обеим сторонам прекрасной, широкой лестницы. Фотографий со «Св<ятой> Руси» уже не было, на них шла запись. Толпа гудела — это была какая-то стихия. Многие пришли «попрощаться» с выставкой. И я чувствовал, что конец моего праздника приближается и он едва ли когда повторится[371]…

Незадолго до звонка к закрытию выставки на ней появился Дягилев. Сергей Павлович видел, что даже и такие «чуткие» люди, к каким принадлежал он, не всегда бывают достаточно

проницательны. Екатерининский зал в ту минуту был лучшим доказательством его оплошности. Он принял новое решение. Подошел ко мне такой великолепный, победоносный, начал поздравлять меня с успехом.

Прозвонил звонок, публика начала медленно расходиться. Остались немногие, среди них и Дягилев. Фотографы наскоро снимали то, что нужно было им для газет и журналов…

Сергей Павлович взял меня под руку, стал со мною ходить по опустевшему залу. Он заговорил о своих новых планах, о выставке в Венеции, переполненной весной туристами со всего света. Там С<ергей> П<авлович> хотел показать «Русское искусство». Ему нужен был мой «Димитрий Царевич» и еще кое-что, по его выбору. Конечно, я ему в этом помогу.

Я слушаю «Венецианскую серенаду» и, когда она была кончена, спрашиваю: «Почему в Париже, где только что закончилась его выставка, где также бывает много туристов, он не нашел нужным на своей „Русской выставке“ показать ни Сурикова, ни Виктора Васнецова, ни меня… Неужели среди истинно *русских* Бакста, Александра Бенуа, Лансере не нашлось места для нас и что произошло такое, что Сергей Павлович вспомнил обо мне сейчас?..»

Сбивчивые объяснения… То была ошибка и еще что-то… Около часа мы ходили, переливая из пустого в порожнее. Я наотрез отказал Сергею Павловичу дать что-нибудь в Венецию. Не верилось избалованному Дягилеву, что я устою перед его чарами. Однако было так.

Мы расстались, и с тех пор я слышал о нем много, но никогда уже не встречался. Венецианская выставка успеха не имела.

На другой день Екатерининский зал был свободен, и г<оспо>жа Вяльцева вечером услаждала там слух петербуржцев цыганскими романсами.

Я уехал в Москву, не последовав пылкому внушению генерала Верещагина, — манежа под свою выставку не снял, а взял помещение на углу Кузнецкого моста и Лубянки и еще через неделю открыл там свою выставку. Она не была такая нарядная, как в Петербурге: залы были менее комфортабельны, однако получился какой-то уют, было много цветов.

На открытии, как и в Питере, было много народу[372]. Отношение к выставке Москвы поначалу было хорошее, о ней многие слышали по газетам.

В том же доме, по Кузнецкому была открыта в те дни посмертная выставка Борисова-Мусатова, и вскоре я заметил, что москвичи разделились. Одни отдавали свои симпатии мне, другие Мусатову. На его стороне были мирискусники и делали

все от них зависящее, чтобы ослабить мой петербургский успех. Они говорили тогда, что там они «прозевали» мою выставку.

Стали одновременно с хвалебными статьями появляться статьи явно враждебные. Заговорили П. Муратов, Грабарь и другие, имевшие в те дни «директивы» от Остроухова и мирискусников[373].

Я, со своей стороны, не делал ничего, чтобы умилостивить богов. Однажды ненароком не узнал у себя на выставке Грабаря, с которым перед тем встретился однажды… На Трубниковском Олимпе[374] тогда ставили мне всякое лыко в строку. Что поделаешь.

В конце выставки явилась покупочная комиссия Третьяковской галереи — Остроухов, Серов и еще не помню кто. Поздоровались официально. Стали осматривать, оставались на выставке долго, много говорили, спорили о «Димитрии Царевиче». Подошел ко мне Серов, спрашивает:

«Скажите, М<ихаил> В<асильевич>, на ваших „Мечтателях“ темная тень под крышей. Она от солнца?»

Отвечаю: «Нет, не от солнца (картина в каталоге имела два названия: „Мечтатели“ и „Белая ночь на Соловецком“). То, что вы приняли за тень от солнца, — осмоленная дегтем деревянная надстройка на каменной стене»…

«А, а…» — Валентин Александрович понуро уходит к своим сотоварищам. Вскоре Комиссия удалилась, ничего не взяв на выставке.

В газетах появилась пылкая статья Маклаковой, негодующая на Комиссию, предлагающая устроить среди москвичей подписку на приобретение «Димитрия Царевича» с тем, чтобы принести картину в дар городской Третьяковской галерее[375].

На выставке бывало много молодежи. Был Вел<икий> Князь Дмитрий Павлович с сестрой. Ко дню закрытия было продано из восьмидесяти четырех вещей семьдесят восемь. О выставке писались рефераты, было много споров.

Перед закрытием выставки ко мне обратился молодой фон Мекк. По его словам, Вел<икая> Княгиня Елизавета Федоровна (секретарем которой он был тогда) намерена была построить церковь при учреждаемой ею Обители Милосердия. Она просила указать талантливого архитектора, которому бы можно было такое дело поручить. Я назвал Щусева.

Через несколько дней узнал, что моя рекомендация принята, причем было передано, что Ее Высочество хотела бы, чтобы будущий храм обительский был расписан мною. На это я тогда же дал свое согласие. Мечта расписать в Москве храм была давняя. Еще задолго перед тем, в Киеве я высказывал эту мою мысль

Щусеву. Тогда думалось о часовне, им построенной и мною расписанной…

По закрытии выставки в Москве я уехал снова в Петербург с тем, чтобы лично доставить эскиз «Симеон Верхотурский» в Царское Село. Таково было желание молодой Императрицы.

Прежде чем быть в Царском, еду в Гатчину передать фотографию «Св<ятой> Руси» Императрице Марии Федоровне. Благосклонный прием. Из разговоров узнаю, что Государю «Св<ятая> Русь» по снимкам понравилась, и он выразился так:

«Мне приятно, что Нестеров, несмотря ни на что, остается верным себе, своей основной идее в искусстве».

В Царском встречает отменно любезный гр<аф> Гендриков. Меня тотчас же проводят в кабинет Императрицы. Вхожу — она встречает — роскошная, счастливая. Около нее трехлетний Цесаревич, такой, каким тогда его знали по снимкам — с вьющимися светлыми волосами, в русской рубашечке. Государыня ласково подает руку, Цесаревич тоже. Передаю эскиз «Симеон Верхотурский» и фотографию «Св<ятой> Руси» для Государя.

Сейчас Императрица свободно говорит по-русски, еще с меньшим акцентом, чем Великая Княгиня. Она говорит о моей выставке, о том, что много о ней слышала, сожалеет, что не могла на ней быть и прочее.

Маленький Наследник, пользуясь тем, что Государыня говорит со мной, быстро, быстро карабкается по лестнице, двойным маршем идущей наверх, к кабинету Государя. Он был почти у цели, как его заметили, стали звать: «Алексей, Алексей, иди назад»… Не тут-то было, он продолжал свой путь.

Императрица радостная поспешила за ним, догнала его, вернула вниз, продолжая прерванный разговор. Такой счастливой, довольной молодую Императрицу я видел лишь дважды: в Киеве на освящении Собора и теперь в Царском…

В то время кн<ягиня> Тенишева через Рериха возобновила свое предложение принять участие в устраиваемой ею выставке в Париже и Лондоне. Кроме меня, приглашены были Рерих и Щусев, тогда уже известный рядом своих построек.

После долгих размышлений, после того как умный, талантливый Рерих, любивший больше меры интриги и рекламу, заявил мне, что «пресса вся куплена», что риска нет никакого, я от участия отказался.

Выставка, несмотря на купленную прессу, успеха ни в Париже, ни в Лондоне не имела.

5 апреля в Киеве родился у меня сын Алексей. Мальчик родился крепким, здоровым, лицом похожий на мать, аппетитом

на отца.

Скоро я вернулся в Киев. Весна была запоздалая. На Пасхе уехал в имение кн<ягини> Яшвиль — Сунки, работал этюды к задуманной, но не исполненной картине «Природа».

На фоне южного, весеннего пейзажа, среди цветов по холмам, по полянам, взявшись за руки (или навстречу друг другу), идут юные, крепкие, в чем мать родила, влюбленные. Они — составная часть торжествующей «Природы-Матери»…

Портрет Л. Н. Толстого

В июле попал в Уфу, проехал в Златоуст до Миасса. На обратном пути получил ответ из Ясной Поляны на запрос о времени приезда туда. Ответ был таков: «Всегда рады Вас видеть».

Таким образом, было предрешено писание портрета с Льва Николаевича, о чем был разговор с графиней Софьей Андреевной еще на моей выставке в Москве.

Тогда она спросила, не приеду ли я в Ясную, не хотел ли бы я написать портрет с Льва Николаевича. Отвечаю: «Конечно, но Лев Николаевич так не любит позировать…» Софья Андреевна говорит, что это и так, и не так. Что все можно будет устроить. Я благодарю. Простились «до свидания в Ясной»…

В начале июля я был у Толстых[376]. Встретили ласково. В тот же день Л<ев> Н<иколаевич> изъявил полную готовность позировать мне. На другой день начались сеансы, очень трудные тем, что и сам Л<ев> Н<иколаевич>, и обстановка того времени часто отвлекали меня от дела, не давали сосредоточиться.

Приехал из Телятников Чертков. Он, чтобы помочь мне, предложил во время сеансов играть с Л<ьвом> Н<иколаевиче>м в шахматы. На следующий день так и сделали. Время шло незаметно. Толстой, увлекаясь игрой, иногда забывал, что он позирует. Тогда я предлагал ему отдохнуть.

Предполагалось с Л<ьва> Н<иколаевича> написать лишь голову да сделать абрис фигуры, для остального сделать этюды: это ускоряло дело.

Портрет мой нравился, хотя Л<ев> Н<иколаевич> и говорил, что он любит себя видеть более боевым. Для меня же, для моей картины Толстой нужен был сосредоточенный, самоуглубленный[377]. Фоном на портрете служила еловая роща на берегу пруда, когда-то посаженная самим Львом Николаевичей. Эта роща и пруд были как бы границей между деревней и барской усадьбой.

Одновременно со мной в Ясной гостили художница Игумнова, Сергеенко и сестра депутата Маклакова. То и дело приезжали и уезжали разные люди, из них помню Демчинского.

Как-то Л<ев> Н<иколаевич> сообщил, что назавтра в Ясную собираются из Тулы дети — экскурсия в «тысячу» человек.

На другой день появилась экскурсия с флагами, с песнями. С детьми были их учителя, учительницы, причем во всем этом педагогическом персонале был только один русский — высокий, неуклюжий семинарист, остальные, как и заведующий, были

евреи, еврейки.

Экскурсия продефилировала перед Львом Николаевичем. Им было предложено до чая выкупаться, и вся эта огромная ватага повалила к пруду. Туда же отправился и Л<ев> Н<иколаевич>, пошли и мы. Скоро сотни детских тел, голов замелькали в воде.

Тем временем около дома готовили самовары, столы к чаю. Предполагалось, что после купания юные экскурсанты будут закусывать, чаевничать. С шумом и смехом вернулись они к дому. Сам Л<ев> Н<иколаевич> вернулся верхом, и я видел, как семидесятидевятилетний старик вскочил свободно, как корнет, на своего коня.

Накрапывал дождь, но он не смутил веселого настроения толпы. Все чувствовали себя свободно. Время летело быстро. Отпили чай, закусили. Пора было собираться в обратный путь в Тулу. Снова выстроились попарно, по группам со своими значками… Отряды начали проходить мимо балкона, где стояли Лев Ник<олаевич>, Софья Андреевна, вся семья, а также мы, гостившие тогда у Толстых. Фотографы яростно снимали происходившее. Этот день не был обычным и для Ясной Поляны, привыкшей видеть у себя всяческое[378].

Пошли снова дни, сеансы с шахматами и без них…

Гостивший в Ясной Сергеенко как-то, вопреки моему предупреждению, проболтался Толстому о том, с каким чувством я ехал к нему год назад, когда мне было известно только то, что Л<ев> Н<иколаевич> относится к моему искусству отрицательно, не симпатизирует ему. Мне рассказывали, что будто бы он где-то и когда-то говорил, что Н<естеро>ва «надо драть», или «Вашего Н<естеро>ва следует свезти к Кузьмичу».

И вот, помню, перед вечерним чаем, оставшись вдвоем, Л<ев> Н<иколаевич> неожиданно заговорил о только что слышанном от Сергеенко. Он стал уверять меня, что в таких слухах о его ко мне отношении нет ни слова правды и т. д. Беседа закончилась особым выражением расположения ко мне Л<ьва> Н<иколаеви>ча. Я не имел основания не верить Толстому, искренне радовался такому концу нашей щекотливой беседы.

Продолжались сеансы. Л<ев> Н<иколаевич> гулял, ездил верхом, причем лихо перескакивал через канавы. Гуляя по утрам, заходил иногда на пять-десять минут в мою комнату, беседуя о том, о сем. Как-то заговорили о монастырях.

Говорил Толстой образно, ярко. Иногда, как бы невзначай, он вопрошал меня: «Како веруешь?» — Отвечаю: «Православный, церковник». От подробной беседы на эти темы уклоняюсь, и, кажется, это оценивается в хорошую сторону. Надо же дать отдохнуть старику от постоянных разговоров «о вере».

Однажды Л<ев> Н<иколаевич> рассказал мне, как в 1882 году, одетый в простую одежду богомольца, в Киеве, в Лавре пришел к схимнику с просьбой «поговорить о вере». А тот, занятый другими богомольцами, не подозревая, что к нему обращается знаменитый писатель — граф Лев Николаевич Толстой, ответил: «Некогда, некогда. Ступай с Богом!» Так неудачно кончилась попытка Толстого побеседовать о вере с Лаврскими отцами… Утешился он тогда у простеца-монаха — привратника. Тот приютил любопытствующего графа в своей сторожке в башне. Две ночи они не спали, хорошо, вплотную наговорились о вере… Монах-привратник был отставной солдат, дрался с туркой под Плевной за веру православную… Две ночи искателя веры — графа Л. Толстого ели в монастырской сторожке блохи, вши, и он — граф — всем остался доволен, дружески попрощался со своим новым приятелем[379].

Из газет Толстой чаще всего читал «Новое Время».

Во время одного из сеансов Л<ев> Н<иколаевич> рассказал еще о том, как он с Н. Н. Страховым был в Оптиной пустыни у старца Амвросия, как Амвросий, приняв славянофила — церковника Страхова за закоренелого атеиста, добрый час наставлял его в Православии, а сдержанный Ник<олай> Ник<олаевич> терпеливо, без возражений выслушивал учительного старца, при всей своей прозорливости, перепутавшего своих посетителей.

На мой вопрос Льву Ник<олаевичу>, показался ли ему старец Амвросий человеком большого ума, Толстой, промолчав, ответил: «Нет», прибавив, — «Но он очень добрый человек». И на том спасибо, подумал я[380]…

Как-то за вечерним чаем он, разговаривая о портрете с него, незаметно перешел на новое искусство, определенно сказав, что он не понимает, не чувствует его ярких красок. Француза Бонна, написавшего портрет Пастера с внучкой, находил лучшим портретистом (чего И. Н. Крамской не находил), затем, по словам Толстого, «шла просто ересь». Попутно досталось и Рембрандту с Веласкесом.

Я пытался отстоять хотя бы их, сумевших дать такое полное разрешение в пластическом искусстве человеческого лица, характера, к какому ни один из современных живописцев приблизиться не мог.

Особенно досталось тогда от Льва Ник<олаевича> художникам «безыдейным». Сказано было несколько «теплых слов» о Фра Беато Анжелико, его наивной вере.

С живописи разговор перешел на литературу. Попало Горькому, того больше — Леониду Андрееву, который-де «всех

хочет напугать, а я его не боюсь», — лукаво закончил Толстой.

Накануне моего отъезда из Ясной Л<ев> Н<иколаевич> зашел ко мне через открытую балконную дверь с утренней прогулки.

Было рано, часов шесть, я только что встал, мылся. Утро было ясное, солнечное, на душе было хорошо. В хорошем настроении был и Л<ев> Н<иколаевич>. Ему, видимо, хотелось поговорить, поделиться мыслями, быть может, промелькнувшими во время прогулки.

Поздоровавшись, он, как бы мимоходом, сказал: «А я вот сейчас думал, какое преимущество наше перед вами — молодыми (ему было семьдесят девять, мне сорок пять лет). Вам надо думать о картинах, о будущем. Наши картины все кончены, в этом наш большой барыш, и думаешь, как бы себя сохранить получше на сегодня»…

Как-то, раньше того, Толстой спросил меня, читал ли я книжку Ромена Роллана о Микеланджело[381]. Я ответил — нет. Лев Николаевич сказал, что она у него есть, только что присланная автором. Не хочу ли я прослушать некоторые места из нее. Я прошу. Л<ев> Н<иколаевич> взял книжку и стал читать, переводя с листа с французского на русский, как бы любуясь красотой того и другого языка. Он прочел несколько наиболее ярких страниц о великом художнике.

Наступил день моего отъезда. Л<ев> Н<иколаевич>, стоя у экипажа, сказал: «Я рад был, истинно рад был узнать вас поближе». Все звали меня не забывать Ясную Поляну, приезжать еще[382]. Однако это была последняя моя встреча с гениальным писателем. С графиней я виделся еще один раз в Москве после смерти Л<ьва> Н<иколаеви>ча.

От Толстых я проехал в Княгинино и оттуда, спустя некоторое время, в местечко Кагарлык (Киевской губ<ернии>), в имение О. И. Чертковой (по мужу тетушки Влад<имира> Григ<орьевича> Черткова), к другому Толстому — Димитрию Ивановичу, женатому на дочери О. И. Чертковой, директору Эрмитажа.

Граф Д. И. Толстой, слепо веровавший в «Шуру Бенуа», к концу выставки, после ее успеха, уверовал и в меня, приобрел у меня эскиз «Св<ятой> Зосима Соловецкий» и пригласил погостить летом у них в Кагарлыке.

Вот я и ехал туда, послав предварительно телеграмму о времени своего приезда. Выехавший за мной на станцию экипаж уже в сумерках привез меня в усадьбу. Любезная встреча и прочее…

Владелица Кагарлыка, «кавалерственная дама» Ольга Ивановна Черткова — жена бывшего генерал-губернатора киевского, позднее, в последнее Царствование — варшавского, тогда была очень пожилой. Однако следы былой красоты еще сохранились. Об О<льге Ивановне> Чертковой, ее жизни ходило немало почти анекдотических повествований. Не буду повторять их здесь.

В день моего приезда в Кагарлык прибыла экскурсия студентов Киевского Политехнического института с их учеными руководителями. Целый день прошел в осмотре образцово поставленного хозяйства огромного имения. Мне сообщили, что сейчас в парке я увижу молодых людей и их мэтров. Отлично, посмотрю и здесь, у кагарлыкских Толстых, экскурсию.

Часов в 9–10 пригласили в парк, расположенный у самого дома, похожего на дворец. Выходим на террасу. Парк, площадка перед домом и ближние аллеи иллюминированы. Ряд накрытых столов раскинут на площади. Тут и приезжие гости. Знакомимся. Просят садиться. Хозяева, профессора и мы, двое-трое из гостей, садимся за центральный, большой стол. Молодежь размещается за малыми столами. Дивная сервировка. Обносят яствами, очень изысканными. Отличные вина. Все по-барски, богато, красиво, много цветов, но все это так малогармонично с не привыкшими к изысканной роскоши простыми лицами, костюмами экскурсантов. Подают шампанское. Хозяйка произносит красивый тост за своих молодых гостей. За них отвечают, благодарят за радушный прием мэтры.

Лица молодежи делаются оживленными, быть может, более оживленными, чем этого хотели хозяева. Молодежь зорко всматривается во все, что их окружает, что, как в сказке, проходит перед ними. Некоторые лица остаются усталыми, сумрачными…

Вино делает свое дело. Становится шумно, слышатся развязные голоса, речи молодежи… Становится все ясней, сколь неуместно было устройство этого «пира во время чумы» после едва потухшего пламени первой революции. Как неудачна была вся эта «политика» такой находчивой, остроумной при дворе О. И. Чертковой с сегодняшними ее гостями, из коих, быть может, многие были участниками недавних грозных событий…

И как это кагарлыкское торжество у графов Толстых не было похоже на живое, увлекательное торжество яснополянских Толстых. Одно такое искусственное, другое — искреннее, полное жизни и веселости. Тут — иллюминация, роскошный ужин с шампанским, там — тысяча детей, купанье, самовары — такой молодой, звонкий восторг!

На другой день ученая экскурсия выехала в Киев, разговоры о

ней прекратились.

Я оставался в Кагарлыке несколько дней, написал этюд дивной церкви, напоминавшей мне чем-то Падуанский собор Св<ятого> Антония.

Здесь, как и в Ясной, со мною пытались заговаривать о вере. Тогда, после революции, все кинулись к вере, часто вовсе не испытывая никакой в ней живой потребности. Таково было время, такова была мода.

Монотонный, однообразный порядок жизни у кагарлыкских Толстых был утомителен и для меня. Огромный дом был полон довольства. Люди воспитанные жили внешне красивой жизнью, но как они были бедны духовно!

Иное в Ясной Поляне. Там все клокотало около гениального старика. Он собой, своим духовным богатством, помимо своей воли, одарял всех, кто соприкасался с ним.

В Кагарлыке мне советовали обратить внимание на особенно красивый тип и костюм девушек, сохранившийся от времен старой Украины. Кагарлыкские «Наталки», высокие, стройные, были редкостно красивы, величавы, красив был их национальный костюм, украшенные яркими цветами, лентами головы. Красавицы эти ходили по роскошным комнатам Кагарлыкского дома босыми, правда, ножки их были хорошо вымыты…

Далекая, еще гетманская Украина чудилась здесь живой, чарующей, поэтической.

Простившись с любезными хозяевами, я снова уехал в Княгинино к своей семье. В августе мы вернулись в Киев, а в сентябре я был уже в Москве и там видел проект Щусева храма Марфо-Мариинской обители. Говорил с В<еликой> Кн<ягиней> о росписи будущего храма.

Осенью же было приступлено к земляным работам, а весной предполагалась закладка храма. Место для обители было куплено большое, десятины в полторы, с отличным старым садом, каких еще и до сих пор в Замоскворечье достаточно.

Таким образом, мы с Щусевым призваны были осуществить мечту столько же нашу, как и Вел<икой> Княгини — одной из самых прекрасных, благородных женщин, каких я знал, женщины, привлекательной столько же своей внешностью, сколько и душевными своими богатствами, добротой, отзывчивостью, милосердием, доброй волей ко всему, что может быть на пользу людям. Создание Обители и храма Покрова при ней производилось на личные средства Вел<икой> Княгини. Овдовев, она решила посвятить себя делам милосердия. Она, как говорили, рассталась со всеми своими драгоценностями, на них задумала создать Обитель, обеспечить ее на вечные времена.

Жила она более чем скромно.

Ввиду того, что, при огромном замысле и таких же тратах на этот замысел, В<еликая> К<нягиня> не могла ассигновать особенно больших сумм на постройку храма, я должен был считаться с этим, сократив смету на роспись храма до минимума. В это время я был достаточно обеспечен и мог позволить себе это.

Смета была мною составлена очень небольшая, около сорока тысяч за шесть стенных композиций и двенадцать образов иконостаса, с легким орнаментом, раскинутым по стенам.

В алтаре, в апсиде храма, предполагалось изобразить «Покров Богородицы», ниже его — «Литургию Ангелов». На пилонах по сторонам иконостаса — «Благовещение», на северной стене — «Христос с Марфой и Марией», на южной — «Воскресение Христово». На большой, пятнадцатиаршинной стене трапезной или аудитории — картину «Путь ко Христу».

Раньше, чем приступить к эскизам, я представил свой план росписи Вел<икой> Княгине и хорошо, подробно побеседовал с о<тцом> Митрофаном — умным, хорошо настроенным ко мне будущим Настоятелем, духовником и мудрым советником В<еликой> Кн<ягини>.

В картине «Путь ко Христу» мне хотелось досказать то, что не сумел я передать в своей «Св<ятой> Руси». Та же толпа верующих, более простолюдинов — мужчин, женщин, детей — идет, ищет пути ко спасению. Слева раненый, на костылях, солдат, его я поместил, памятуя полученное мною после моей выставки письмо от одного тенгинца из Ахалциха. Солдат писал мне, что снимок со «Свя<той> Руси» есть у них в казармах, они смотрят на него и не видят в толпе солдата, а как часто он, русский солдат, отдавал свою жизнь за веру, за Родину, за эту самую «Св<ятую> Русь».

Фоном для толпы, ищущей Божьей правды, должен быть характерный русский пейзаж. Лучше весенний, когда в таком множестве народ по дорогам и весям шел, тянулся к монастырям, где искал себе помощи, разгадки своим сомнениям, где сотни лет находил их, или казалось, что он нашел их…

Иконостас я хотел написать в стиле образов Новгородских. В орнамент должны были войти и березка, и елочка, и рябинка. В росписи храма мы не были солидарны со Щусевым. Я не намерен был стилизовать всю свою роспись по образцам старых псковских, новгородских церквей (иконостас был исключением), о чем и заявил Вел<икой> Кн<яги>не. Она не пожелала насиловать мою художественную природу, дав мне полную свободу действий. Щусев подчинился этому.

Перед отъездом из Москвы Щусев и я были приглашены в

Ильинское, где жила тогда Вел<икая> Кн<ягиня>. Там был учрежден Комитет по постройке храма, в который вошли и мы с Алексеем Викторовичем. Ездили осматривать Юсуповское Архангельское.

Окончив все дела в Москве, я уехал в Кисловодск, где в тот раз у Ярошенко жил В. В. Розанов с семьей. Наши встречи с ним нередко кончались бурными спорами, разногласиями, но не ссорами.

Вернувшись в Киев, я стал заканчивать портрет Толстого, затем принялся за образ «Распятие» — Каменским в Пермь. Впереди были эскизы для Московской церкви. «Машина» была пущена полным ходом…

Поездка в Италию. 1908

1908 год начался поездками в Москву, в Петербург.

В Москве представлял Вел<икой> Княгине эскизы росписи. Они были одобрены. Видел Васнецова и других.

В Петербурге видел стареющую Дузе. Билет на «Адриенну Лекуврер» был заказан еще из Киева. С волнением ожидал я появления гениальной артистки. Помня дни ее расцвета, дни молодости, я со страхом ждал, что-то даст она теперь, в годы увядания, после всех перипетий, после истории с д'Аннунцио[383] … Я помнил каждый оттенок ее дивного голоса, изумительные вариации «Armando» в «Даме с камелиями». Когда-то, слушая ее, я переносился в Италию былых времен. Казалось, в Дузе было что-то от века Возрождения, от великих художников ее родины, веяло тысячелетием Рима… И вот я вновь увижу ее.

Дузе появилась в одной из любимых своих ролей, в «Адриенне», в роли артистки со страшной судьбой. Появилась и, стало ясно, что годы и все пережитое не прошло для нее даром. Голос, мимика, пластика были те же, но все было покрыто каким-то налетом. И было больно слушать, смотреть великую артистку, и едва ли она не лучше всех знала то, что скрыть не было сил. Знала, что время победило, сокрушило и ее. Огромный талант, опыт как-то и где-то спасали еще, но воскресить минувшее не было сил.

Встречали и провожали артистку одни сдержанно, другие преувеличенно восторженно. Однако неизбежное свершилось… Не было прежней Дузе — перед нами была постаревшая Дузе…

В тот мой приезд ректор Академии Беклемишев предложил мне вступить в число профессоров Академии вместо ушедшего Репина. Я по разным соображениям (уже вторично) отказался.

А там потянуло в Италию, на этот раз со старшей дочерью и сестрой. Вернувшись в Киев, стал собираться. Приехала сестра, и мы втроем обсуждали план нашего путешествия на Краков, Вену, Рим, Неаполь, Капри, обратно — на Флоренцию, Пизу, Венецию.

В конце февраля пустились в путь. Первая остановка — Краков. На вокзале встречает нас супруга покойного Станиславского. Мы осматриваем его посмертную выставку. На ней был и портрет покойного художника моей работы, про который он сказал когда-то: — «Вот хороший портрет для моей посмертной выставки». Предсказание сбылось.

Выставка интересная, любовно составленная. Успех большой. Из Кракова она проедет во Львов, Варшаву, Вену (из Варшавы, в день открытия, тамошние художники прислали мне

приветственную телеграмму).

Как и в предыдущий раз, мы осматривали все наиболее примечательное в Кракове — музеи, костелы. Мои симпатии к Кракову были неизменны.

Двинулись в Вену. Для сестры с Вены началась подлинная «заграница». А вот и Италия. Миновав Венецию, Флоренцию, мы прямым путем проехали в Рим.

Надо было видеть, как восхищалась сестра всем на пути от самой Понтеббы до Рима. Ведь она всю жизнь, много читая об Италии, мечтала попасть туда, и вот сейчас, уже пятидесятилетней, она видит осуществленными свои грезы: видит Рим, «San Pietro»[384], она летает по улицам Вечного города, как по своей Уфе. Незнание языка мало ее смущало: сообразительная, быстрая, предприимчивая, она всюду как-то поспевала. К тому же и Ольга скоро усвоила итальянскую речь и стала нашим «чичероне».

День за днем пролетали в осмотре древних базилик, музеев, окрестностей Рима. Восхищению, восторгам не было конца. Вечером мои спутницы возвращались усталые, но счастливые на свою «Via Aurora»[385], в пансион милейшей Марии Розада, и обмен впечатлений продолжался до тех пор, пока сон не сковывал глаз. А там, завтра, новые впечатления: Палатин, Квиринал, стада англичанок, несущихся к Колизею. Всюду музыка, везде чувствуешь благословенную страну, «la bella Italia»[386]. С грустью простились мы с Римом, но впереди у нас Неаполь, и лица вновь светлы и радостны.

Весенняя природа, опаловый залив, дымящийся Везувий, а там мерещатся Капри, Иския, берега Сорренто, и все это ожидает нас, вольных, как птицы, помолодевших, счастливых.

В Неаполе расположились мы в старом доме, именуемом отель «Палаццо донна Анна». Палаццо полно легенд, связанных с трагически погибшей когда-то в нем какой-то донной Анной.

Морской прибой бьет о стены старого романтического палаццо. Там, в этом старом отеле, нам не было жарко. Он весь был пронизан сыростью. По вечерам мы затапливали камин и, сидя у огня, прислушивались к каким-то таинственным шорохам и стонам, кои были плодом нашего воображения.

В окна виден был Везувий, по вечерам напоминавший нам своим огненным дыханием судьбу двух несчастных городов…

Жизнь, пестрая, южная, кипела кругом. Тогда не было уже старой Санта Лючия, не было живописных кварталов папского владычества. Модные отели, битком набитые англичанами, немцами и пока что неунывающими россиянами… Нарядные отели гордо вздымали свои стены над старым городом.

Я писал из окон своего палаццо море, Позилиппо, окутанные в вечерние серо-голубые тона. Однажды во время писания такого этюда, где-то на набережной, вокруг меня собралась толпа любопытствующих маленьких итальянцев. Они болтали, о чем-то вопрошали меня и, не получая ожидаемого ответа от молчаливого синьора, снова приставали к нему. А когда такое безмолвие им надоело, итальяшки стали бросать в меня камнями. Головорезы добились того, что я собрал свои художественные пожитки и ушел бы, если бы не явился избавитель в лице Коки Прахова, жившего в ту пору с женой и детьми в Неаполе и случайно проходившего мимо. Он с присущими Праховым лингвистическими способностями давно говорил чуть ли не на всех местных итальянских народных наречиях. Кока быстро управился с моими врагами, и под его покровительством я успел окончить свой этюд. Он и сейчас у меня перед глазами со своим бледно-лиловым Везувием, с опаловыми облаками и с платаном на первом плане[387].

За табльдотом в «Палаццо донна Анна» мы ежедневно любовались прекрасной дамой, напоминавшей еще более прекрасную некогда Элеонору Дузе. Дама ежедневно являлась в сопровождении супруга, такого убогого, хромого… садилась близ нас за один и тот же столик и, не скрывая своих симпатий, смотрела на мою Ольгу, а мы с неменьшей искренностью любовались ею.

Однако надо было покидать Неаполь, ехать на Капри. Расстались с Донной Анной, с Позилиппо Копо, сели на пароходик и часа через три подходили к «Грот Блё». Десятки лодок окружили нас. Какие-то возбужденные донельзя люди подхватили багаж, усадили нас в лодку. Мы уже на берегу. Фуникулер мигом доставил нас наверх к Пьяцетте. С нее, как на ладони, виден дымящийся Везувий и далекий Неаполь.

Узкими улочками пробрались мы к отелю «Пагано». В нем решили мы остановиться потому, что он «antico»[388]: в нем все пропитано воспоминаниями, традициями, художеством и художниками, жившими здесь чуть ли не с его основания, с сороковых годов минувшего века. Здесь все старомодно, грязновато. Нет нарядных «холл» новейших отелей, рассчитанных на особо богатых англичан, американцев и наших «Рябушинских». В «Пагано» попроще. Начиная со швейцара, незатейливого, без особо величаво-спокойного тона, каким обладают эти господа в Палас-отелях, Викториях и т. д. В Пагано все нараспашку, начиная с веселого хозяина, потомка славных, давно почивших синьоров Пагано…

Наш молодой Пагано — милый, вечно улыбающийся,

общительный, с особой хитрецой «паганец». Он работает с утра до ночи. То мы видим его бегущим на Пьяцетту, то он с рабочими выкатывает из подвалов бочку с кьянти. Он постоянно в хлопотах и лишь во время завтраков, обедов, прифранченный, приглаженный и особо галантный, присутствует среди своих гостей.

Наши комнаты выходят одна на террасу, другая в сад, где десятки апельсиновых деревьев, покрытых дивными плодами, горят, переливаются золотом на солнце. Тут и великолепная, уже пожилая пальма, вазы с цветами… Все ярко, все стараются перекричать друг друга. Всюду довольство. Довольны и мы трое, попавшие в этот райский уголок, созданный природой и синьорами Пагано.

Приглашают к завтраку. Идем. Огромный зал, расписанный художниками, с давних пор жившими здесь. Столики украшены цветами, фрукты из нашего сада. Фрукты и вино выглядят здесь по-иному, чем у нас: они здесь так же необходимы, как хлеб и вода за нашим русским столом. Не бравшая в рот вина дома, моя Александра Васильевна здесь, на Капри, выходит из-за стола более веселой, чем садилась к нему. На эту сдержанную, немолодую особу «воздух» Капри действует опьяняюще.

Я с первых дней приезда сюда усиленно стал работать. Сестра охотно следовала за мной с этюдником. Она терпеливо сидела около во время сеанса, любуясь морем, далекой Искией, вдыхая сладостный аромат юга. Были написаны море и дали, и чудная церковка — развалины далекой старины. Церковка была мне нужна для фона одной из картин обительского храма[389].

Как-то, возвращаясь домой, встречаю старого знакомца С. Я. Елпатьевского. Встреча радостная. Разговоры о том, о сем. Спрашивает, буду ли я у Горького? Говорю: Не предполагаю. — Почему? Он тут, в двух шагах, пойдемте сегодня. — Говорю: Едва ли. — Напрасно, Ал<ексей> М<аксимович> узнает, огорчится. — И все же, — говорю, — не пойду, и поясняю почему: наша встреча с Горьким сейчас, когда с ним Андреева, не сулит мне ничего приятного, и свидание едва ли кончится добром. Я ведь политикой не занимаюсь, а Горький с головой ушел туда. Нам не о чем говорить… С<ергей> Я<ковлевич> пробует уговаривать. Я уперся, — «не пойду» — и все тут. Так и расстались[390].

Дня через два-три я, взяв шкатулку, побрел в сторону открытого моря. Устроился около какой-то виллы на приступке лесенки. Начал писать старое, разрушенное аббатство. Позади было море. Вижу, в калитку, что около меня, то и дело проходят какие-то люди. Это не были итальянцы, хотя были и черны и

кудрявы. На них какие-то «малороссийские» рубахи, у некоторых книжки. С террасы виллы, что в глубине сада за моей калиткой, слышится пение: что-то знакомое, родное… Поет хорошо, голос приятный, замолк, кто-то говорит, кто-то смачно выругался… Ну, думаю, здесь и живет наш Алексей Максимович.

Встречаю Елпатьевского, передаю ему свои догадки. Так и есть, то была вилла, где жил тогда Горький. Я видел его лишь однажды, издали. Он шел по дороге, окруженный ребятами.

На Капри все пропитано музыкой, пением… Вечером не умолкали мандолины. Они тренькали повсюду, на порогах парикмахерских, заливались в тратториях — где только не было их на Капри. А шарманки! О, они преследовали нас всюду!

Мы с сестрой запомнили одну, большую; хозяин возил ее на двухколеске. Она была его любимицей-кормилицей. Была она такая нарядная, причудливо задрапированная яркой материей, обшитой золотой бахромой, с картинкой на лицевой стороне. Она имела свой репертуар, свой тон, свою манеру играть. Эту шарманку было слышно издалека. Она врывалась в вашу жизнь, в вашу душу. Она желала всюду господствовать — в солнечный жаркий полдень, равно как и в ненастный, дождливый вечер. Она и ее «патроне» одинаково неутомимо преследовали нас. Не было человеческих сил, чтобы избавиться от этих двух тиранов — «патрона» и его шарманки. Мы мечтали, что уедем с Капри и тогда не услышим больше звуков, нас изводящих. Не тут-то было. Покидаем Капри, садимся в лодку, чтобы доехать к пароходу в Неаполь, но и здесь, на лодке, на морских волнах, она — наша шарманка — и ее «патроне». Они, как и мы, покидали Капри. На пароходе эти заговорщики, эти деспоты вступили в свои шарманочные права — она заиграла какую-то бравурную народную песенку… Шарманка и ее господин были неутомимы, и под эти звуки мы подошли к Неаполю. Она и сейчас, через много лет слышится мне. Да, это была веселая, довольная собой шарманка. Быть может, она была не слишком умной шарманкой, но она так радостно, бодро исполняла свое призвание.

С Капри, минуя Рим, мы проехали во Флоренцию. Внимательно осмотрели все, что мне давно было известно, и теперь я охотно показывал это знакомое своим спутницам. Мечтой моей сестры с давних пор была Венеция. Туда она уносилась мечтой и теперь торопила нас, и мы покинули Флоренцию.

Вот и Венеция. Моя Александра Васильевна в гондоле. Она, как догаресса, как ни в чем не бывало, восседает в ней, тихо проплывает по Каналу Гранде, мимо Марии дела Салюте. Она счастлива, довольна…

Александра Вас<ильевна> неутомима. Она, сидя в Уфе, как бы накапливала силы, чтобы здесь, в Венеции расточать их. Она всюду и везде… Не было предложения, которое она не приняла бы с восторгом. Музеи сменялись поездками на Лидо; храмы, дворцы. Тинторетто, Веронезе прекрасно уживались со старыми лавчонками, рынками, с фабрикой Сальвиати[391]. И она, как-то по-своему, по-уфимски, претворяла в себе все, умела во всем разобраться, неутомимо восхищалась, радовалась, была в прекрасном расположении духа. Вечером, усталая, крепко засыпала, чтобы с утра быть готовой к восприятию новых впечатлений.

Венеция оправдала себя, дала сестре высшую меру наслаждения. И я в те дни был счастлив, видя, как были счастливы и довольны мои спутницы. Воспоминаний о Венеции, казалось тогда, хватило бы сестре на долгую, долгую жизнь.

Я побывал тогда в Национальном музее, видел малявинских «Баб», — его первых «Баб». В Венеции они не показались ни слишком смелыми, ни ошеломляющими. Потому ли, что рядом висел большой, черный «Крестный ход в Нормандии» Коттэ, или почему другому — не знаю.

Не стану здесь упоминать о своих старых любимцах — Великих Венецианцах. Они и на этот раз занимали никем неоспоримое первенствующее место.

Мы покинули Венецию, лагуны, а потом и прекрасную Италию, опять через Земмеринг вернулись в Вену; минуя Краков, были на русской границе. Родимая сторона — мы дома, в Киеве. Сестра, отдохнув и встретив с нами Светлый Праздник, уехала с Ольгой в Уфу.

В Киев приехала впервые Айседора Дункан. Долго не хотел я идти смотреть ее танцы, но, убежденный кем-то из ее поклонников, пошел и не жалел о том.

Тогдашние мои впечатления от этой удивительной артистки были и новы, и свежи. Дункан удалось в танцах подойти к природе, к ее чарующей чистоте. Она, быть может, впервые в наши дни показала в благородном применении женское тело. Дункан, тогда еще молодая, показалась мне артисткой одного порядка с Дузе, Девойодом, нашим Шаляпиным. Как она «иллюстрировала» своими танцами Шопена, это меня мало занимало. Своим появлением она внесла в мир хореографии чистую струю воздуха. Смотреть на нее в те далекие дни доставляло такое же радостное чувство, как ходить по молодой травке, слушать пение соловья, пить ключевую воду…

Так я писал тогда моему приятелю. Сейчас добавлю, что хореографическое искусство всегда было далёко моему

пониманию. Я любовался танцами непосредственно…

Пришла весна. Вторую половину мая я жил около Троицы у Черниговской. С увлечением писал там этюды, готовился к росписи храма на Ордынке.

В одном из писем того времени я писал: «Во всяком случае, пребывание здесь (у Черниговской) многое для меня выяснило, композиция „большой стены“[392] созрела и окрепла на живых наблюдениях. Если бы ты знал, как народ и всяческая „природа“ способны меня насыщать, делать меня смелее в моих художественных поступках. На натуре я, как с компасом… Отчего бы это так?.. Натуралист ли я или „закваска“ такая, или просто я бездарен, но лучше всего, всего уверенней всегда я „танцую от печки“, от натуры. И знаешь, когда я отправляюсь от неё — я свой труд больше ценю, уважаю, верю в него. Оно как-то крепче, добротнее выходит!»[393]

Как-то в тот раз зашел я в скиту ко всенощной. Церковь деревянная, давняя, так называемая «филаретовская». При ней, в покоях живал по летам когда-то митрополит Филарет Московский. Любил он отдыхать там.

В этой церковке с деревянными переходами, с длинными скамьями по сторонам, с лубочными картинками «Страшного суда», угодников по стенам паперти, шла торжественная служба с акафистом. На середину церковки вышла вся братия в мантиях, в клобуках. Такие суровые, значительные лица… XVI век, Александровская слобода, Кирилло-Белозерский монастырь… Какая сила, какая своеобразная красота! И я остро почувствовал, что все эти мужики-монахи и я — мы родные. Такими, как эти старцы, были и мои предки, жившие где-нибудь по верховьям Волхова…

Вернулся в Москву. Там 22 мая была закладка Соборного храма во имя Покрова Богородицы при Марфо-Мариинской обители. При закладке присутствовали, кроме Вел<икой> Княгини Елизаветы Федоровны, Принцесса Виктория Баттенбергская, ее дочь Принцесса Алиса, Королевич греческий Христофор. Было много приглашенных. Имена Высочайших особ, Митрополита и присутствующих Епископов, а также мое и Щусева были выгравированы на серебряной доске, положенной при закладке фундамента.

В тот день Вел<икая> Кн<ягиня> подарила мне свой портрет. Она была такая радостная, сияющая. Исполнялась ее мечта. — Обитель и храм при ней были на пути к осуществлению…

Марфо-Мариинская обитель. 1908–1909

Мы со Щусевым ходили тоже праздничными, а наши киевские мечтания о «часовне» были недалеки от действительности. Щусев в те дни был доволен и тем, что проекты его Почаевского собора и Московской Великокняжеской церкви были замечены на Венской выставке…

Перед закладкой храма Вел<икая> Княгиня познакомила меня с будущим настоятелем храма — о<тцом> Митрофаном Сребрянским[394], — до того священником полка, шефом которого была Вел<икая> Кн<ягиня>. Отец Митрофан тогда был не старый, полный сил и упований. Он незадолго перед этим сделал поход со своим полком в Маньчжурию. Был в боях, имел крест на Георгиевской ленте (под огнем неприятеля исполнял пастырский долг), написал интересную книгу об этом несчастном походе. Отец Митрофан умный, богато одаренный, пользовался в Орле (стоянка его полка) большой любовью среди населения.

В дни нашего знакомства отец Митрофан был призван Вел<икой> Княгиней стать во главе Марфо-Мариинской обители, как духовник, как создатель устава обительского, как ближайший советчик будущей настоятельницы. Позднее он оказался прекрасным организатором, сумел высоко поставить свой авторитет, не прибегая к суровым мерам. В его обычной мягкости жила непреклонная твердость. Его скоро полюбили все, кто с ним так или иначе соприкасался.

В день закладки храма, уже вечером, о<тец> Митрофан зашел ко мне и тогда же мы сговорились во всем, и в остальную жизнь нашу между нами никаких разногласий не было. Ни словом, ни делом он не мешал мне осуществлять тот план, который был утвержден Вел<икой> Кн<ягин>ей.

О<тец> Митрофан искренне любил обительскую церковь не только как храм Божий, но и как художественное произведение. Он и о<тец> Константин Руднев, — настоятель Абастуманской дворцовой церкви, — они оба были моими друзьями. Я вспоминаю о них с горячей признательностью.

Работы закипели. Щусев предполагал к осени вывести стены храма под кровлю. Тогда Князю С<ергею> А<лександровичу> Щербатову пришла мысль устроить у себя в имении «Нара» колонию для бедных сирот. Сироты, быть может, были предлогом, интересовала же князя, после счастливой постройки им дома на Новинском бульваре, художественная архитектура[395]. А так как

свободные деньги у князя еще водились, то он и обратился к Щусеву — просил его сделать проект колонии, а меня просил в будущей колонии расписать некоторые стены, от чего я тогда же отказался. Этой барской затее не суждено было осуществиться.

По закладке храма, я уехал в Малороссию, а оттуда в Ессентуки. Мне хотелось избавиться от катара желудка, коим я упорно страдал.

В Ессентуках я получил от вице-президента Академии гр<афа>И. И. Толстого проект затеваемых им реформ Академии. Я должен был высказаться на этот счет. Не имея ни преподавательского, ни административного опыта, я на запрос не отвечал, тем более что вся реформа сводилась лишь к внешним формам, не задевая сути дела.

Из Ессентуков проехал в Москву, предполагая написать давно задуманный портрет с Вик<тора> Мих<айловича> Васнецова. Намерение это мне удалось осуществить спустя восемнадцать лет, за год до смерти Васнецова[396]. Вернулся в Киев, куда позднее приехал Щусев. Работы по постройке обительского храма быстро подвигались вперед. Время до Рождества прошло быстро. Наступил 1909 год. Я в Петербурге. Новое предложение поступить в число профессоров Академии. Новый отказ. Все интересы мои сосредоточены на московской церкви и на Аксаковском народном доме в Уфе.

Из Уфы получил лист на сборы пожертвований. Подписал сам, других к подписке не принуждал, как-то было неловко. Быть может, ложное чувство, но было так.

Тогда, в связи с московскими делами, стал все чаще и чаще возникать вопрос о переезде из Киева. Пока что работал образа для Московского иконостаса. Церковь к тому времени была достроена, выбелена снаружи, внутри стали штукатурить стены. Все меня радовало, заставляло бодро смотреть в будущее.

Приближалась весна, лето, решили провести их в Княгинине. Там раздолье, особенно для детей. Алексей давно бегал, хотя был он не из крепких.

В Княгинине тем летом у нас гостила вдова покойного Яна Станиславского. У нас же Янина Станиславовна заболела внезапно тифом. Болезнь бросилась на мозг. Пришлось больную отправить в Смелянскую больницу, где она в страшных страданиях и скончалась. Я и брат Станиславского оказались душеприказчиками и должны были распределить художественное наследство Станиславского между музеями Кракова, Львова и Варшавы, что мы и выполнили позднее. В Краковский музей был завещан и портрет художника, мной написанный с него перед тем в Княгинине.

Осенью, когда мы вернулись в Киев, я получил уведомление об избрании меня в Общество художества и литературы в Париже. Из русских членом этого общества был скульптор Павел Трубецкой.

В Москве в те дни возник вопрос о проведении через Красную площадь трамвайной сети, что возмутило некоторых москвичей — любителей старины. Председательница Московского археологического общества граф<иня> Уварова отправила на Высочайшее имя красноречивое послание о недопущении трамвайных вагонов через площадь. Образована была особая комиссия для рассмотрения дела. В нее вошел В. М. Васнецов, проф<ессор> Цветаев и другие.

Наружная отделка церкви на Ордынке была закончена, и многим тогда казалось, что это создание Щусева есть лучшее, что сделано по храмовой архитектуре в новейшее время. Каково-то, думалось, удастся роспись. Задача не была легкой, хотя бы потому, что в ней не было согласованности с архитектурой, с ее стилем. Я думал сохранить в росписи свой, так сказать, «нестеровский» стиль, — стиль своих картин, их индивидуальность, хорошо сознавая всю трудность такой задачи. Стены сохли плохо, что невольно заставляло откладывать начало росписи.

В свои тогдашние наезды в Москву я являлся к Великой Княгине. Тут обсуждались обычно дела церковные. В конце я приглашался к завтраку или чаю. Отношения ко мне были наилучшие. Великая Княгиня с каждым разом казалась мне более и более привлекательной и не только своим прекрасным обликом, но и делами. Стремление ее к добру, которое делалось ею с таким самозабвением, щедро и деликатно. Но о ней я не раз еще буду говорить, не раз вернусь к ее «житию»…

В Петербурге в тот год был открыт памятник императору Александру III. Это был талантливый шарж на покойного Государя, созданный полурусским выходцем из России, кн<язем> «Паоло» Трубецким[397]. Москва тоже получила новый памятник — первопечатнику Ивану Федорову. Его сделал мой школьный приятель и кум Волнухин[398]. И сделал неплохо.

Тогда впервые стали появляться монографии современных художников. Вышли — Серова, Левитана, ожидалась Виктора Васнецова, Врубеля, моя и некоторых декораторов[399]. В Киеве я работал образа для двух наружных мозаик обительского храма.

В Крыму умер от чахотки удивительный человек — доктор Средин[400].

Тогда же произошел такой случай. Как-то утром приезжает ко мне взволнованный художник Мурашко, заикаясь и спеша (он

сильно заикался) передает мне газетную телеграмму о смерти Архипа Ивановича Куинджи. Погоревали, обсудили, как лучше почтить нам, киевлянам, память почившего талантливого художника — прекрасного, великодушного человека. Решаем: пока что от нашего имени послать вдове покойного телеграмму, а в день погребения, оповестив местных художников, отслужить панихиду во Владимирском соборе. Так и сделали.

Мурашко взялся отправить телеграмму и наладить все с панихидой. На другой день утром Мурашко снова у меня. Он возбужден не менее вчерашнего. Он только что получил ответ: «Благодарю за телеграмму. Я здоров. Куинджи».

Вот тут и верь столичным корреспондентам. Конфуз конфузом, но и радость наша была велика. Не часто родятся столь одаренные и благородные люди, каким был Архип Иванович.

Я продолжал работать над образами для двух наружных мозаик обительского храма. В промежутки писал небольшую картину «Вечерний звон»: весна, монастырский двор, по нему пробирается с большой зажженной свечой принявший схиму старец. Эту картину позднее приобрел Харитоненко, а в годы революции она попала в Вятский музей. «Вечерний звон» был в 1911 году на Международной выставке в Риме.

В ноябре квартира наша на Елизаветинской опустела. Заболела дочь Наталья. Болезнь была упорная и изнурительная. Врачи советовали переменить климат, уехать на юг. Наталия Ивановна Оржевская, бывшая в те дни в Киеве, предложила жене переехать с детьми к ней на Волынь, в Новую Чарторию. Мы подумали, посоветовались с врачами и решили предложение принять…

Жизнь в Чартории мне была известна, она сильно разнилась с нашей. Почти дворцовый обиход смягчался там разумной трудовой деятельностью хозяйки. Она с утра уходила в свою больницу и работала там как рядовая сестра до завтрака, иногда снова уходила… Вечера проходили в чтении, в хороших беседах.

Отношения Наталии Ивановны к моей семье были прекрасными, сердечными, комфорт предоставлен был полный. Жена взяла с собой нашу няньку, толковую, молодую «Калуцкую» бабу, скоро освоившуюся среди новых порядков. Она так же, как у себя на Елизаветинской, продолжала добродушно покрикивать на Алексея: «А тебе, толстун, есть нябось пора!»

Вскоре по отъезде семьи получили письмо от сестры. У нее обнаружились признаки рака, от которого в нашем роду по женской линии были смертельные случаи, чего боялась и сестра. Она спешно собралась в Москву к проф<ессору> Снегиреву.

Дочь Ольга выехала навстречу и оставалась с ней, пока не выяснилась болезнь сестры. Скоро пришли успокоительные вести: ни рака не было, ни операции не потребовалось. Сестра, успокоенная, вернулась в Уфу. Ольга же уехала на Ривьеру показаться каким-то хваленым докторам. Показываться докторам обратилось у нее в привычную необходимость.

Я уехал в Москву. Стены церкви сохли плохо, приходилось роспись отложить на неопределенное время.

Был в Художественном, смотрел «Царя Федора» с Москвиным. Много хорошего, но местами переигрывали, балаганили, без нужды подчеркивали русское «хамство». Тогда же видел Андреевскую «Анатэму». Автор даровит, но не умен, не в меру захвален. Умелая техника актеров, и все же нечто картонное.

Из Москвы проехал на несколько дней в Уфу. Зимний пейзаж, обычное радушие… Промелькнуло давно прошедшее, молодость, те дни, когда там, умиротворенный после моего горя, живал, писал свои ранние вещи, переживал свои первые успехи. Впереди мерещилась старость…

Из Уфы проехал прямо в Новую Чарторию. Там провел Рождество. Воздух Чартории, заботы любезной хозяйки сделали то, что моя больная окрепла. Детям не хотелось уезжать. Однако к Новому году мы были у себя на Елизаветинской.

Переезд в Москву. 1910

Начало Нового 1910 года не было радостно. Из Лозанны Ольга писала о возможности новой операции, а Щусев захворал воспалением легких, предполагалась поездка в Италию на несколько месяцев. Роспись отодвигалась…

Встретился с депутатом Думы — немцем Лерхе — весьма благонамеренным, культурным. Впечатление от долгой беседы слабое. Та же тоска по «конституции». Страшная близорукость в остальном.

В конце января я уехал в Краков по делу об устройстве наследства Яна Станиславского. Там провозились с братом покойного около недели, сортируя картины, этюды, распределяя их по музеям Польши. Работали в холодном помещении, оба простудились, нажили себе ревматизм, все же дело закончили. Составили протокол, его подписали и передали все богатое художественное наследство Станиславского на места.

Тем временем из Лозанны стали поступать вести более успокоительные. Ольга была у знаменитого Ру, и тот, после долгого исследования, признал, что операция не нужна, что все дело в нервах, советовал чаще быть в обществе, не предаваться унынию… Ольга уехала в Болье, попала к карнавалу, там было много русских знакомых, сразу самочувствие стало иным, уныния как не бывало…

В феврале я привез образа для наружных мозаик. Их одобрили. Тогда же был возобновлен с Харитоненками разговор об иконостасе для Сумского собора, сооружаемого на их средства. Дал условное согласие начать работать образа тотчас по окончании Великокняжеской церкви.

В тот же год Русским музеем был приобретен «Димитрий Царевич убиенный». Я предложил гр<афу> Д. И. Толстому взять у меня «Царевича» за минимальную цену (три тысячи рублей). Картину эту даже дягилевцы, в те дни от меня далекие, не решались браковать, я же считал эту вещь лучшей после «Варфоломея». Поступление ее в музей всеми встречено было сочувственно.

В апреле через Афины и Константинополь Ольга вернулась домой; выглядела она отлично, казалось, что тревога об ее слухе, о здоровье надолго будет позабыта. Помню, вернулась моя дочка без багажа. Ее сундук, по недосмотру, вместо Триеста заслали в Венецию, а так как квитанцию на него дочь доверила на пути начальнику какой-то маленькой станции, то он, в свою очередь, мог поступить с ней также легкомысленно. Однако этого не

случилось. Вскоре было получено извещение, что багаж найден, затем он был доставлен в полной исправности в Киев.

Прошла Пасха. Мы начали разорять наше старое гнездо, укладываться для переезда в Москву. Последнюю ночь мы провели у друзей. На другой день были проводы.

На вокзале собрались все, с кем прожили мы долгие годы, с кем сроднились. Я не думал, что прощание будет таким трогательным, даже болезненным… Много горячих чувств было высказано нашими друзьями, знакомыми, и долго оставались мы под впечатлением этих часов разлуки.

В Москве мы в ближайшие же дни разделились. Жена с меньшими детьми уехала на дачу в Тверскую губернию, мною заранее снятую. Ольга уехала в Уфу. Я должен был начать поиски квартиры, что было делом нелегким. Мне нельзя было забираться далеко от Ордынки, от строящейся церкви, куда мне предстояло ездить ежедневно на работы. Квартира должна быть вместительная, не менее шести-семи комнат, причем необходима была одна большая, под мастерскую. Я и мои московские знакомые были очень озабочены этим. Начиная с утра я ежедневно отправлялся на поиски, но подходящего не было. Если и были удобные, сходные по цене, то далеко от Ордынки. Если были близко, то без мастерской или слишком дорогие. Время шло, я измучился, стал терять надежду на счастливый исход моих поисков.

И вот однажды читаю: отдается квартира о семи комнатах на Донской. Еду на Донскую. Улица широкая, засаженная по сторонам деревьями вплоть до самого монастыря. Невзрачная в своем начале у Калужских ворот, она делается более и более приятной, приближаясь к концу. Много богатых особняков купеческого типа. Множество старых садов, что полагалось Замоскворечью в старину.

Вот и дом № 28, большой, не старый, трехэтажный. Вхожу, — лестница чистая, удобная; квартира 96 — наверху.

Показывает управляющий, нечто вроде приказчика из лабаза. Он вежлив, обстоятелен…

Входим, осматриваю. Квартира светлая, с большим залом 14 на 10 аршин, что мне и нужно для семиаршинных «Христиан». Цена тоже подходящая, по силам. Узнаю, что дом принадлежит купцу Простякову, что у него только по Донской восемь домов, да на Басманной еще… Договорились обо всем, дал задаток.

Надо бы повидаться с домовладельцем. Управляющий говорит о нем благоговейно. Узнаю, что из города «сам» приезжает поздно, отдыхает и никого потом не принимает. Придется ждать праздника, тогда после обеда, может, и примет.

Откладываю свое свидание до ближайшего воскресенья.

Особняк, где живет Иван Григорьевич Простяков тут же на Донской, почти окна в окна с моей квартирой. В воскресенье являюсь, принимает. Пожилой, степенный, корректный, выглядит директором банка (коим и был он тогда). Разговорились. Видит, что хоть и художник я, но не «шантрапа». Все, что можно, обещает сделать, чего нельзя (сбавить с положенной цены), о том лучше и не проси, — старик крепкий. Расстались по-хорошему.

Не откладывая в долгий ящик, стал оборудовать квартиру по своему вкусу. К тому времени пришел наш киевский скарб. Кое-что пришлось подкупить, освежить. Работа кипела. Целый день, как в котле.

Наконец переселился. Сердце радовалось, так было все удобно, уютно, хорошо. Больше всего мне нравилась сама улица, широкая, тихая, засаженная большими липами. Из окон, из так называемого фонаря — перспектива на обе стороны: налево к Калужским воротам, направо к Донскому монастырю, к церкви «Риз положения» (XVII век, наш приход).

Погода стоит жаркая — май месяц. Ложусь, на ночь открываю окна. Воров бояться нечего, третий этаж. Довольный засыпаю на новоселье. Однако часу в первом просыпаюсь от какого-то неистового грохота, такого равномерного и бесконечного. Что бы это могло быть? А грохот по Донской несется неустанно. Совсем проснулся, не могу уснуть. И чувствую я, что, кроме грохота, чем-то смущено и обоняние мое. Встаю, подхожу к открытому настежь окну и вижу: от самой Калужской площади и сюда, к Донскому монастырю, не спеша громыхают сотнями «зеленые бочки», те самые, на которых езжал толстовский Аким из «Власти тьмы».

Так вот какова разгадка! Донская, моя прекрасная Донская, с липовыми аллеями по обе стороны широких панелей, входит в число тех улиц, по которым каждую ночь до рассвета, чуть не бóльшую часть года, тянутся со всей Белокаменной к свалкам ассенизационные обозы. И так будет, пока «отцы города» не устроят канализацию.

Всю ночь я не спал от шума, от этих «Акимов». Утром решил добиться свидания с Простяковым. Как и говорил я, по будням он не бывал дома, но по неотложному делу его можно было застать или в банке, или в «амбаре» в одном из переулков между Никольской и Ильинской, в московском «Сити».

Еду туда, застаю, принимает в своем роскошном кабинете. Просит садиться. Терпеливо выслушивает мою горестную повесть. Разводит руками, говорит, что горю моему пособить не может. Возвратить задаток не в его деловых правилах. Однако, видя мое положение (я был похож на федотовского обманутого

молодого[401]), советует мне «примириться». Легко сказать! — примириться. Я не глухой, и мое обоняние в совершенном порядке.

Простяков простирает свое участие до того, что дает мне совет не открывать окон, оговариваясь, что это поможет делу немного. «А что действительней — это привычка. Пройдет месяц-другой, вы попривыкните и, поверьте, почивать будете прекрасно-с. Ваши нервы поуспокоятся. Так-де бывает со всеми вначале, а потом пообтерпятся и ничего-с».

И что вы думаете, — я, как и вся обширная Донская с ее многочисленным населением, попривык. Правда, на ночь я больше окон не отворял, напротив, запирал их наглухо и… попривык.

Услышав как-то, что Щукин приобрел нового Пикассо, «последнего Пикассо», я попросил Сергея Ивановича показать мне обновку. Приглашает в ближайший праздник, когда он обычно предается заслуженному отдыху.

Приезжаем небольшой компанией. Встречает, просит следовать за ним. Осмотр начался с импрессионистов: с Моне, Мане, Ренуара, потом Пювис де-Шаван, Сезанн, прекрасный Гоген. Все они, по словам Сергея Ивановича, «устарели». Дальше Матисс и ранний Пикассо. Тут останавливаемся. А вот и последний зал с последним Пикассо…

Перед нами нагромождены кубы, конусы, цилиндры, чего-чего тут нет. Весь этот хаос столярного производства приводит Сергея Ивановича в восторженное оцепенение. Он стоит, как зачарованный кролик перед удавом, наконец, сильно заикаясь, начинает нам объяснять мудрования парижского эксцентрика. Слушаем в недоумении, не решаясь сказать, что «король голый», что все это или шарлатанство, или банкротство, ловко прикрытое теоретическими разглагольствованиями. Такое «святотатство» менее всего приходит в голову нашему любезному хозяину. И то сказать, — догадаться об этом — значит признать себя невеждой…

Чтобы разрядить атмосферу, спрашиваю: «Не утомляют ли его такие Пикассо?» Отвечает, что когда он видит произведения Матисса и Пикассо у них в мастерских, он бывает безотчетно поражен ими. Первая мысль его ими завладеть, увезти в Москву, развесить в своем кабинете, стараться к ним привыкнуть. Это дается не сразу. Он тренирует себя, вспоминает внушения Пикассо и как-то привыкает, начинает видеть так и то, чему его учили в парижской мастерской.

Наладив, что нужно в церкви, я уехал к семье в имение А. И. Манзей «Березки». Это было необходимо, так как в поисках

квартиры и в ее устройстве я устал, сил было мало, их перед началом работ на стенах церкви необходимо было восстановить, «попастись» на травке, пописать этюды.

Планы мои тогда не совсем удались. Дети заболели корью. Старшая дочь писала из Уфы, что боли в ушах возобновились. Время проходило в заботах и всяческих хлопотах.

Моим отдыхом тогда было — сесть в лодку (у нас на даче была своя) и одному пуститься по восьмиверстному озеру. Я люблю водную стихию, будь то море, река или такие озера, как были возле нас.

Однажды утром сел я в лодку и пустился в путь. Впереди у меня было несколько свободных часов. Погода стояла, хотя и серенькая, но не предвещавшая ничего плохого.

Я уплыл далеко, устал изрядно, повернул обратно. Передо мной как из земли выросла туча, да какая! Вот можно было сказать — туча тучей: темная, мрачная, зловещая… Сверкнула молния, где-то раскатился гром. Стало свежей. Надо было торопиться. По озеру заходили барашки. Буря была не за горами. По берегам гнулись березки, вдали шумел темный бор.

Дело было плохо, греб я изо всех сил. Сверкнула молния, за ней страшный удар. Разверзлось небо, полил дождь. Зашумело, заволновалось озеро. Мою лодку с оранжевыми боками бросало, как щепку. До нашего берега было далеко, а буря все злей, все яростней. Дождь залил меня, нити живой не осталось на мне. Собрав все силы, я навалился на весла… Доеду ли, а ну как волна захлестнет или опрокинет мой кораблик! Как ключ пойду я ко дну, только меня и видели, поминай как звали…

Однако Господь помиловал. Как-то добрался я до берега, пристал и, полуживой от усталости, явился домой…

А то еще и такое было. Стоял жаркий день, сел я в свою лодочку, поплыл вдоль берегов. Тишина, полуденная истома. Птицы лениво перекликаются в прибрежных лесах, а я плыву, да плыву… На душе ясно, хорошо стало.

Солнышко пригревает, — снял пиджак. Мало того, снял и остальное. Таким Робинзоном и плыву. Солнышко греет спину, поворачиваюсь — греет бока. Время от времени освежаю себя водой. Накатался я вдоволь, пора домой обедать. Прибавляю ходу, чувствую, что-то жжет то спину, то бока. Вижу, — мое тело покраснело.

Пока я добрался до дому, увидал, что оно стало похожим на матиссовских краснокожих парней, что резвятся по зеленому, как бильярдное сукно, полю[402]. Солнце спалило меня. Пришлось звать фельдшера Исидора Романовича, растирать себя мазью и сказать себе «дурака».

Верстах в семи от нашей дачи была Академическая дача, где проводили лето ученики Академии художеств. Время они проводили весело, шумно. Народ подобрался живой, изобретательный, предприимчивый, устраивали спектакли, пикники, экскурсии… Недалеко от Академической проживал и ректор тогдашней Академии — скульптор Беклемишев. Он часто бывал у своих академистов. Перед моим отъездом в Москву Беклемишев упросил меня побывать на Академической, и мы отправились туда. Радушная встреча. Народ все хороший, хотя и безалаберный, зато почти все «гении». Там и Яковлев Александр, прозванный «Саша-Яша», и его двойник Шухаев, и более умный, чем талантливый, горбатенький Демьянов.

Вскоре я уехал в Москву, где получил от болгарского правительства приглашение принять участие в росписи строящегося в Софии собора, взорванного позднее анархистами. От участия в росписи я отказался.

В Москве в нашей церкви не все было ладно: стены не сохли, и решено было две боковые картины написать на медных досках, укрепленных на металлическом каркасе.

Первого июня медные доски были готовы, и в присутствии Вел<икой> Княгини и моем был отслужен о<тцом> Митрофаном молебен.

Великая Княгиня после него пожелала мне счастливого начинания и тут же сообщила свое намерение, на другой день посетить мою мастерскую для осмотра привезенных из Киева образов иконостаса. Семья моя оставалась еще в Березке, и все хлопоты по приему Великой Княгини пали на меня одного.

К полудню о предстоящем посещении, через нашего швейцара, знала вся Донская. Улицу вымели начисто. Постовой городовой натянул нитяные перчатки, озабоченно обозревая свой участок. По улице прошел сам пристав. У окон Простяковских домов то появлялись, то исчезали лики и лица.

Около двух часов приехал фон Мекк сообщить, что Вел<икая> Кн<ягиня> сейчас будет: «Лошади поданы». Через несколько минут показался ее экипаж. Я вышел навстречу, принял высокую посетительницу на площадке лестницы.

Великая Княгиня была со старшей сестрой обители — Гордеевой. Войдя в комнаты, она заметила с обычной простотой и искренним порывом: «Как у Вас уютно!» В комнатах было много цветов, хороших этюдов моих друзей. Среди них Великая Княгиня встретила немало знакомых, любимых ею имен.

Перешли в мастерскую. Там на мольбертах стояли все образа иконостаса, из них особенное внимание и одобрение вызвали

Христос и Богоматерь. Христа написал я по старому образцу «Ярое Око», Богоматерь в типе так называемого «Умиления». Образцом для «Марфы и Марии» послужил редкий образ «Святых Жен», указанный мне покойным Ник<одимом> Павл<овичем> Кондаковым. На образах этого иконостаса я хотел испытать себя, как стилизатора, и увидел, что при желании, тот или иной стиль я мог бы усвоить, довести до значительной степени художественного совершенства. Но не это меня тогда занимало в храмовой живописи: я продолжал мечтать испытать религиозное воодушевление не в готовых, давно созданных образцах, стилях, формах, где все было закончено, найдено, где нечего было добавить, не нарушая иконописных канонов.

Не о том мечтал я тогда. Я понимал, что, вступая на путь старой церковной иконографии, я должен был забыть все пройденное, пережитое за долгую личную жизнь — школу, навыки, мои субъективные переживания, все это я должен был оставить вне церковных стен. Этого сделать тогда я не мог и не хотел, и все более и более приходил к убеждению, что стены храмов мне не подвластны из-за свойственного мне, быть может, пантеистического религиозного ощущения. Я делал проверки моих наблюдений на стенах храмов, более того, в образах иконостасов, и решение мое отказаться от храмовой живописи медленно созревало…

Написанные тогда образа заказчице понравились, я услышал немало ценных, тонких замечаний. Пересмотрев все образа вторично, после двухчасового визита, Вел<икая> Княгиня, поблагодарив меня и ласково простившись, уехала, оставив во мне радостное чувство, вызванное, быть может, той гармонией нравственной красоты, внешнего обаяния и трогательной женственности, коими в такой полной мере обладала Великая Княгиня Елизавета Федоровна.

С огромным увлечением принялся я за работу. Композиция картины «Христос у Марфы и Марии» меня не удовлетворяла, но я надеялся выиграть в красках, вложить в картину живое лирическое чувство. Великая Княгиня уехала в Псков на какие-то торжества, и мне хотелось к ее возвращению подготовить одну стену вчерне, показать ее и уехать на неделю-другую в Березку. Работа у меня шла быстро, видевший ее Щусев был доволен.

На другой день по возвращении В<еликой> К<нягини> из Пскова я пригласил ее в церковь и не без волнения ждал, что-то мне скажут.

Картина понравилась, а так как я знал, что В<еликая> Кн<ягиня> никогда не говорит того, чего не чувствует, что слово ее правдиво, искренне и нелицемерно, то похвалам был

рад. При прощании заявил о своем намерении поехать отдохнуть.

В Березке нашел все в порядке. Жилось там хорошо, даже весело. На Академической одна забава сменяла другую. Изобретательности молодежи не было конца. В Березку приехала старшая дочь. Среди этого шума и молодой веселости узнал о действительной смерти Ар<хипа> Ив<ановича> Куинджи. Вскоре пришла весть, что умер друг моей молодости — Сергей Вас<ильевич> Иванов. Оба художника ушли внезапно, от разрыва сердца. Немного прошло времени, за этими двумя ушел и третий — Клавдий Степанов[403].

Недолго прогостил я у своих — дела призывали меня в Москву, на Ордынку. Стены сохли плохо. Оказалось, что Щусев в свое время позабыл распорядиться покрыть их кровлей от осенних дождей. Вода свободно проникала в кирпичную кладку, и теперь приходилось принимать особые меры для их просушки.

По моей просьбе Великая Княгиня распорядилась вывесить на дверях церкви объявление, запрещающее туда вход во время работ. Такая мера была необходима, она была продиктована практикой Владимирского собора. Немало времени и нервов стоили нам, работавшим в соборе, несвоевременные посетители. Там, в Киеве, для обозрения собора в годы его росписи выдавались особые билеты из канцелярии генерал-губернатора. Билеты были действительны в праздничные дни и часы, когда работы там приостанавливались, в часы отдыха.

Несмотря на это, было немало случаев нарушения этих правил, и посетители буквально врывались в неурочные часы и доставляли нам много неприятностей. С Васнецовым был такой случай: как-то, придя в собор после завтрака, он застал там расхаживающего неизвестного ему генерала с вензелями на погонах. Васнецов подошел к генералу и вежливо заметил ему, что время осмотра собора прошло, что работы начались и он просит его Превосходительство осмотр отложить до другого раза. Генерал не привык к такого рода обращению, заявил, что пока не окончит осмотр, не уйдет, что у него есть билет от графа Игнатьева (генерал-губернатора), что он сам генерал-адъютант Рооп — одесский генерал-губернатор. И пошел, и пошел… Подхлестывая сам себя, он уже кричал, что телеграфирует в Петербург Императрице. Израсходовав весь заряд гнева, он все же покинул собор.

Нетрудно себе представить настроение Васнецова, как мог он работать после столь бурного объяснения. Однако сердитый генерал в Петербург не жаловался, рассказав лишь о случившемся с ним гр<афу> Игнатьеву, а тот, спустя много времени, передал в шуточной форме о незадачливом генерале Васнецову.

Во избежание таких случаев у нас и появилось на дверях объявление. И все же не один раз без меня забирались туда любопытствующие, рассказывавшие потом о работах в обительском храме были и небылицы.

Сама Вел<икая> Княгиня о своих посещениях предупреждала меня, спрашивала, не помешает ли мне, и очень редко заходила без предупреждения в те часы, когда меня в церкви не было. В те разы, когда Великая Княгиня заходила в церковь, я сходил с лесов, встречал ее, давал объяснения о предстоящих работах, планах…

Речь Вел<икой> Княгини была живая, горячая, нередко с юмором. У нее были любимые словечки, одно из них — «мало-помалу» — я слышал часто. Говорила В<еликая> К<нягиня> с английским акцентом и почти свободно. Из некоторых разговоров было видно, что она не жаловала немцев, особенно времен Вильгельма II. С симпатией упоминала об Англии, где она воспитывалась у своей бабушки — Королевы Виктории.

Беседы с Вел<икой> К<нягиней> оставляли во мне впечатление большой душевной чистоты, терпимости. Нередко она была в каком-то радостном, светлом настроении. Когда она шутила, глаза ее искрились, обычно бледное лицо ее покрывалось легким румянцем.

Костюм ее в те дни был по будням — серый, сестринский, с покрывалом, под ним апостольник, и такой же, но белый, по праздникам. Он сделан был по ее же рисункам, присланным мне для просмотра и потом подаренным мне на память.

Так проходили рабочие дни мои в обительском храме.

Как-то узнал, что вместо скончавшегося Куинджи совет Академии художеств кандидатом наметил и меня. Рерих прилагал все усилия, чтобы первенство осталось за ним, так как он был учеником Архипа Ивановича. Я решил ничего не делать для поддержания своей кандидатуры. Почетных членов по Академии числилось шестьдесят человек. За выбытием кого-либо из них выбирался новый. Избранник утверждался Государем. Были выставлены имена Рериха, Савинского и, не помню, кого еще. Вскоре из газет стало известно, что первым кандидатом огромным большинством голосов прошел я. Это обстоятельство еще больше разъединило меня с Рерихом. В деловом отношении в моем лице Академия ничего не выиграла. Я никогда не был активным ее членом, редко присутствовал на заседаниях, не выступал ни с проектами, ни с речами.

Я продолжал работать, не покладая рук, но скоро, почувствовав настоятельную необходимость сделать передышку, уехал в Кисловодск, где, как и в старые годы, жила

М. П. Ярошенко, где было все так любезно и знакомо мне. В ту осень жил там после болезни актер К. С. Станиславский.

Отдохнув, я вернулся в Москву, где мы вскоре узнали из газет об уходе Л. Н. Толстого из Ясной Поляны. Столь необычная новость несказанно взволновала меня. Толстой сделал тот последний шаг, о котором долго и упорно мечтал. Слова его превращались в дело. С момента своего ухода он делался неуязвим.

Радость моя была необычайная, я не знал, к кому броситься с ней. Хотелось от полноты чувства кричать. Дома я не находил места, не знал, с кем поделиться своим душевным восторгом. Наконец, я излил этот восторг в письме В. В. Розанову, который чуть было не напечатал его в «Новом времени».

Вскоре появились тревожные слухи со станции Астапово. Настали иные дни, сначала тревоги, а потом и печали. Лев Николаевич навсегда ушел из мира живущих, быть может, не завершив какой-то своей заветной мысли. Я не хочу этим предрешать его возвращение в Православную церковь. Мне не это было нужно тогда. Мне нужен был Толстой, свободный от самого себя, от опутавших его тенет и опеки, житейской и моральной. Мне хотелось знать освобожденного Толстого, но таким увидеть мне его не удалось.

На смену ликованию пришла большая печаль от того, что моя мечта, мечта, быть может, миллионов людей, не осуществилась. А вся последующая шумиха с похоронами была проделана так грубо и была как-то оскорбительна для памяти великого художника-мыслителя, которому и после смерти что-то или кто-то мешал уйти от житейской и всяческой суеты сует.

Осень со слякотью, темными днями не давала мне работать, и лишь запоздалый снег освободил меня от невольного безделья. Я заканчивал вторую стену — триптих «Воскресения Христова», изобразив в центре картины ангела у гроба, слева «Жен Мироносиц», а справа Христа в образе Садовника.

Тема Воскресения — не моя тема. Для нее недоставало у меня ни мистического воодушевления, ни *подлинной* фантазии, могущей иногда заменить недостающие художнику духовные свойства. Картина, выдержанная в реальных тонах, была, быть может, и красива, но холодна и неубедительна, как *чудо,* как нечто необычайное. В ней не было ни того, что иногда встречается у примитивистов — у Джотто в Падуе, ни того, что дала в эскизах на тему «Воскресения» болезненно-прекрасная фантазия Врубеля…

На тему Воскресения я работал пять-шесть раз, не добившись желаемого. Из всех образов лучшим был написанный для мозаики на памятник Столыпину в Киевской Лавре. Памятник этот делал Щусев, но поставлен он не был, наступившие события 1917 года помешали его осуществлению.

Написав вторую стену, я уехал в Петербург для приема из мастерской Фролова мозаичных образов «Спаса» и «Богоматери» для наружных стен обительского храма.

В тот приезд мой в Питер ко мне обратилась кн<ягиня> Оболенская, вдова б<ывшего> Финляндского губернатора, с предложением написать для нее образ-картину «Несение креста». Заказ этот я принял без ограничения срока его окончания.

Тогда же секретарь Академии передал мне, что избрание мое в Действительные члены прошло с редким единодушием в оценке моей художественной деятельности и моей личности…

Суриков, вернувшись из Италии, развернул своего «Разина», посмотрел на него, крепко выругался и решил картину переписать и переписанную послать на Международную выставку, где я позднее и видел ее. Лучше она не стала и успеха на выставке не имела.

На Рождество Вел<икая> Кн<ягиня> прислала мне в подарок хорошую репродукцию с немецких примитивистов. Так закончился мой первый год работы в обительском храме.

Роспись Марфо-Мариинской обители. 1911

С января нового 1911 года я начал писать самую ответственную пятнадцатиаршинную вещь в трапезной храма. Затея была такова: среди весеннего пейзажа с большим озером, с далями, с полями и далекими лесами, так, к вечеру, после дождя, движется толпа навстречу идущему Христу Спасителю. Обительские сестры помогают тому, кто слабее, — детям, раненому воину и другим — приблизиться ко Христу… Тема «Путь ко Христу» должна была как-то восполнить то, что не удалось мне выразить в своей «Святой Руси».

Картина была задумана сначала в виде триптиха. В центре — народ с Христом, слева раненый солдат с сестрой милосердия, справа две женщины-крестьянки — молодая и старая, на коленях. Опушка леса, на первом плане — цветы.

Картину начал с большим увлечением. Верилось, что что-то выйдет. Печальная судьба ее тогда от меня была скрыта.

Московско-Казанская железная дорога решила построить новый, многомиллионный вокзал. Стоявшие тогда во главе акционеров дороги фон Мекки, по моей рекомендации, остановили свой выбор на входившем в известность Щусеве. Он должен был сделать предварительный проект, представить его фон Меккам, а по утверждении его назначался «конкурс», на котором обеспечивалось первенство за Щусевым. Он же должен был быть и строителем вокзала. Таким образом, Алексею Викторовичу предоставлялась возможность не только создать себе крупное имя, но и обеспечить себя материально.

В то же время Государь задумал создать в Италии, в городе Бари, где покоятся мощи Святого Николая Угодника, странноприимный дом для русских паломников, идущих через Бари в Иерусалим ко Гробу Господню. Такой проект странноприимного дома с храмом при нем также был поручен молодому Щусеву — автору церкви на Куликовом поле и собора в Почаевской лавре. Эти крупные почетные заказы обязывали к особой серьезности.

Январь и февраль были обычным временем выставок, премьер и прочих развлечений. Москвичи, пресыщенные всем этим, скучали, им чего-то не хватало, они ждали сенсаций, была жажда эмоций чрезвычайных.

Самой боевой выставкой того сезона была выставка Союза русских художников, от нее в то время откололись Ал<ександр>

Бенуа, Рерих и еще кое-кто из мирискусников[404]. На выставке был отличный Коненков со своим архаическим «Мужичком-полевичком», чем-то родственным моему «Пустыннику».

Центром же выставки должен был быть давно жданный и шумно анонсируемый Малявин с его «Семейным портретом». Этот портрет сперва ждали на выставке «Мира искусства» в Петербурге. Бенуа написал о нем фельетон в «Речи»[405], репродукции с него были в каталоге «Мира искусства».

Тем временем лукавый мужичонка, взвесив обстоятельства момента, пошушукавшись с Остроуховым, взял да и поставил свой портрет вместо «Мира искусства» на протежируемой тогда Остроуховым выставке «Союза». Поставил после вернисажа и открытия этой выставки. Радость союзников была так велика, что они после такой «победы над врагами» задали Малявину многолюдный банкет с речами, шумными тостами и прочим.

Тогда говорили, что дошло до того, что портрет собирались за очень крупную сумму приобрести в Галерею, и вдруг как-то оказалось, что «Семейный портрет» не только не гениальный, но и вообще ниже всего того, что тогда дал Малявин. Портрет был какой-то неумный, хорошо сработанные детали тонули в нелепой многоречивости, нагроможденности. Были в нем пышная, самодовольная пошлость, безвкусие… И столь нашумевший малявинский «шедевр» лопнул, как мыльный пузырь. Он скоро был, к удовольствию, а может, и при содействии «Мира искусства», забыт капризными и изменчивыми москвичами. А сам «маэстро», привыкший себя считать наравне с великими портретистами, со всеми этими Ван Диками и Веласкесами, должен был вернуться к своим, изрядно надоевшим, «красным бабам».

Дела в обители, тем временем, шли своим порядком. Я много работал. Тогда же получил от Курского архиепископа предложение «создать тип» для образа нового Святителя — Иосафа Белгородского. Честь эту я от себя отклонил за неимением времени, еще и потому, что мечты мои о большой картине занимали меня тогда чрезвычайно.

Тогда же меня известили об избрании меня действительным членом Петербургского Общества поощрения художеств. Одновременно были избраны Репин, Константин Маковский и Щусев.

На состоявшемся в те дни конкурсе проектов Нижегородского Государственного банка Щусев не только не получил первой премии, не получил он ни второй, ни третьей — ему дана была четвертая премия… Первую взял В. А. Покровский…

Конец марта остался мне памятен надолго. Со станции

«Вышний Волочек» была получена следующая телеграмма: «Пассажирка Нестерова осталась на станции Волочек больная. Приезжайте немедленно. Начальник станции».

Получив такое известие, ошеломленный им в первый момент, как нередко со мной бывало, в следующий момент я как-то весь сосредоточился, подобрался, мысль начала работать отчетливо, ясно.

Через два часа я сидел в вагоне, обдумывая все возможные случайности, стараясь ничего не упустить из виду. На каждой станции справлялся о случившемся. В Клину узнал, что больную везут со следующим встречным поездом. Я остался ожидать этого поезда. Он скоро подошел, и я тотчас же вошел в указанный вагон, в купе, где была моя Ольга. Она меня узнала, но была без языка, с разбитыми ногами.

Сопровождавшая ее дама, случайная пассажирка, рассказала следующее. По проходе скорого поезда, которым ехала Ольга из Петербурга в Москву, дорожный сторож, проходя по путям, заметил лежавшую у самых рельс человеческую фигуру. Подойдя ближе, он увидел хорошо одетую молодую женщину без признаков жизни. Побежал на станцию, заявил начальнику о своей находке.

Отправились на место, где лежала потерпевшая. Было признано, что она жива, но без языка, с парализованными ногами. Было обнаружено общее потрясение.

При каких обстоятельствах произошла катастрофа, сказать никто не мог. Как предположение, можно было допустить, что дочь вышла на площадку вагона, чтобы подышать свежим воздухом, где, быть может, ей сделалось дурно, она не успела схватиться за поручни вагона и от сильного толчка на повороте покачнулась и упала.

Как при падении она не убилась насмерть, как не попала под колеса поезда, — один Господь ведает… К счастью, нашли ее до прохода следующего поезда, если бы не это, — он раздавил бы ее наверняка, так как, повторяю, она лежала у самых рельс.

На станции в Волочке были приняты все меры, чтобы вывести ее из обморочного состояния, что и удалось. Она нацарапала свое имя, фамилию и свой московский адрес, по которому и была немедленно послана телеграмма.

В Москве были немедленно созваны врачи. Между ними был молодой, даровитый невропатолог Крамер (позднее профессор). Случай оказался редкий. Положение оставалось без перемен. К счастью, органических повреждений не было. Позвоночник был в порядке, ушибы сильные, но не угрожающие жизни. Все было на нервной, психической почве. Речь, по словам врачей, должна была

вернуться, когда — еще сказать трудно, быть может, через несколько месяцев.

Вскоре приехала вызванная телеграммой М. П. Ярошенко (у нее тогда гостила дочь в Петербурге). Приезд ее подействовал на больную чудодейственно: стало лучше настроение, появилась улыбка, а у нас надежда. Вслед за Марией Павловной приехала сестра, совершенно потрясенная случившимся. Светлый праздник встретили вместе. Пятого апреля у больной был так называемый «большой истерический припадок», — случай очень редкий. Он продолжался с 11 часов вечера до 5 часов утра, сопровождался ужасающими галлюцинациями.

После этого кошмарного случая вскоре вернулась речь. Больная стала говорить, сначала еще тихо. Общее состояние тоже улучшилось. Больная спросила бумаги, карандаш и стала рисовать карикатуры на себя, на своих врачей. Окончательное улучшение, по словам д<окто>ра Крамера, могло наступить «по устранении причин общего нервного расстройства». Ходить больная еще не могла.

В старину говорили «пришла беда, отворяй ворота». Так было и со мной в те дни. Не успели мы пережить одну беду, ан, глядь, и другая на пороге…

Я только что окончил большую картину «Путь ко Христу», радовался этому, предполагал в ближайшее время показать ее Вел<икой> Княгине…

Прихожу утром в церковь, поднимаюсь на леса и замечаю по всей картине выступившие какие-то черные маслянистые нарывы. Что такое? Какое их множество! Пробую пальцем, они лопаются, на их месте — черные маслянистые слизняки. Точь-в-точь, как было с абастуманским орнаментом на загрунтованных Свиньиным стенах. Какой ужас!

Сразу понял я всю серьезность положения. Картину необходимо очистить, стену перегрунтовать, написать наново. Хватит ли сил? Удастся ли она вторично?! Как объявить о случившемся Великой Княгине, которой уже известно, что картина кончена и не сегодня-завтра я попрошу ее для осмотра?

Никому и ничего не сказав, спустился я с лесов и, чтобы не выдать своего волнения, сейчас же под каким-то предлогом уехал домой.

Весь день и ночь продумал. Причины несчастья были налицо. Стены под роспись было поручено подготовить Щусеву, он, в свою очередь, поручил это сделать своему знакомому киевскому живописцу. Тот взял масло для загрунтовки подешевле, быть может, испорченное, и вышло то же самое, что и в Абастумане. Время не ждало. Необходимо было объявить обо всем

Вел<икой> Кн<ягине>.

На другой день я доложил ей, что картина готова и просил прийти посмотреть ее. Пришла она радостная, оживленная, приветливая. Остановилась перед моим созданием. Внимательно всматривалась в него. Наконец, обратилась ко мне со словами самой искренней трогательной благодарности.

Минута была нелегкая. Все сказанное было так радостно, была одержана какая-то победа, и вот сейчас надо было сказать, что победа была кратковременная… И я объявил Великой Княгине о том, что открыл, сказал, что картину придется уничтожить, что это неизбежно, необходимо. Она была поражена моими словами не меньше, чем я перед тем своим открытием, пробовала меня утешать, предлагала картину оставить, думая, что со временем злокачественные нарывы пропадут…

Мне нельзя было ни на минуту поддаваться такому искушению, и я не смалодушествовал, убедил Великую Княгиню со мной согласиться, разрешить картину соскоблить.

Но соскоблить пятнадцатиаршинную стену — это еще не решает дальнейшей судьбы дела. Плохая подготовка стен, быть может, не одна была причиной того, что картину необходимо было переписать: стены сами по себе были не в порядке, они еще не совсем просохли и когда просохнут — сказать было трудно. Поэтому, раньше чем что-либо решать, надо было переговорить со Щусевым, и только после единодушного решения с ним я мог предложить Вел<икой> Кн<ягине> написать повторение картины на медной доске, как и две первые картины.

Мое предложение было принято. Медная доска и металлический подрамок к ней были заказаны на фабрике Хлебникова, а я тем временем занялся подготовкой остальных стен под живопись по способу Кейма[406], усиленно рекомендованному Щусевым, как более надежный, не боявшийся сырости.

Здоровье дочери тем временем улучшалось, она стала понемногу бродить по комнатам. В начале мая ее можно было уже отправить в Швейцарию. Жена и дети уехали в Березку.

Я остался один и начал снова, теперь уже на меди, «Путь ко Христу».

Стены храма сохли плохо, а наш милейший Алексей Викторович относился к этому с очаровательной беспечностью…

В Москву приехал миниатюрист Похитонов. Он устроил выставку, имевшую хороший успех. Похитонов был приятный человек, много видевший, знавший хорошо Европу. Он бывал у меня на Донской.

С утра я уходил в церковь, где кипела работа по загрунтовке

стен по способу Кейма. Из Академии был выписан особый мастер.

Краски по Кейму, живописные, мне не нравились, казались жидкими, водянистыми, ничем не походили на настоящую фресковую живопись, и я иногда жалел, что в этом уступил Щусеву.

За день я сильно уставал. Вернувшись домой, отдохнув, ехал куда-нибудь обедать, чаще всего в известный тогда ресторан «Прага» на Арбате. Там собирались тогда такие же, как и я, бессемейные. Засиживались долго за разговорами.

Так шли дни за днями. От дочери из-за границы стали приходить вести более успокоительные. В Березке хворали и выздоравливали, и снова заболевали дети.

Великая Княгиня в те тяжелые дни относилась ко мне с особой внимательностью и добротой. Сердечный, чуткий человек была она. В мои именины после обедни в домовой обительской церкви Великая Княгиня поздравила меня и подарила второй свой портрет, уже в сестринском костюме.

Я ничего не сказал еще о своих ближайших помощниках. Их было несколько, они исполняли, главным образом, орнаментальные работы. Я лишь давал мотивы орнаментов, преимущественно взятых из русской флоры. В них входили излюбленные мною деревья, цветы, растения: береза, рябина, ель. Орнаментов было немного, не так, как в Абастуманской церкви, густо орнаментированной. Одно было в этих церквах общее: их белый основной тон (фон). Тот и другой храм были светлые, «пасхальные». Мне хотелось этим дать ощущение праздника, дать отдых душе.

Эту мою мысль я проводил в согласии с Великой Княгиней и, быть может, вопреки Щусеву, любителю не столько стилей, сколько стилизаций. Я полагал найти свой собственный стиль, в котором бы воплотилась как-то вся моя вера, творческая сила, лицо, душа, живая и действенная, душа художника.

Мне думалось, что в деле веры, религии, познания духа Божия, это было необходимо. Стиль есть *моя вера,* стилизация же — это *вера, но чья-то.* За ней можно хорошо прятать *отсутствие своей собственной веры…*

Я сказал, что орнаменты исполнялись моими помощниками. Первым из них был рекомендованный Щусевым архитектор Л-н, хохол, славный малый, но порядочный лентяй. Он редко успевал выполнить те задания, что получал от меня. И то, что он делал, мало радовало меня. Через какое-то время мне пришлось с ним расстаться.

Его место занял другой — это был живописец П-в, способный, но еще более вялый, чем его предшественник, к тому же

болтливый, с вечной папироской во рту. Его «советы», а главное, недопустимая при срочных работах медлительность, выводили меня из себя. С ним я тоже скоро расстался.

После П-ва я взял третьего, совсем еще молодого, мне уже известного — Павла Дмитриевича Корина. Знакомство с ним началось с того, что как-то Павла Дмитриевича прислала ко мне с другим юношей Великая Княгиня, задумавшая издать к освящению храма некоторые иконы из большой церкви в доступных по цене репродукциях. Она обратилась в так называемую Иконописную палату, где учились юноши из семей палехских и иных иконописных гнезд[407].

Из Иконописной палаты и пришли ко мне на Донскую двое с тем, чтобы сделать копии для Великокняжеского издания. Оба юноши были разные и по внешнему, и по внутреннему своему облику. Один выглядел заурядным ремесленником, другой — с тонким, серьезным, немного сумрачным лицом, похожий на тех юношей в парчовых одеяниях, что написаны на фресках у Гирландайо, Пинтуриккио… Насколько первый из них был тороплив, настолько второй сдержан.

Мои симпатии определились скоро. Копия первого была вялая, без признаков дарования, у второго же дарование было очевидно… Копии скоро были сделаны; дело утвердилось за вторым, за юношей с фресок Гирландайо. Это и был Павел Дмитриевич Корин.

С первым юношей я распростился навсегда, второй стал время от времени заходить ко мне, получал кое-какую работу и исполнял ее не только добросовестно, но с умом и талантом. Но что особенно в нем было ценно — это его глубокая порядочность, какое-то врожденное благородство. Тогда Корину было лет шестнадцать-семнадцать.

Корин оказался прекрасным помощником. Точный, исполнительный работник, с инициативой, со строгим вкусом, с достаточной подготовкой для того, что ему пришлось делать у меня. Я не мог нарадоваться, глядя на него.

Я любил приходить на работу рано, но как бы рано я ни пришел, всегда заставал своего помощника на лесах. Дело у него кипело. Казалось, большей противоположности очаровательному Алексею Викторовичу Щусеву трудно было придумать. Корин, при несомненной одаренности, умел быть человеком долга, глубоких принципов, правил жизни, чего совершенно лишен был Щусев, несущийся всегда «по воле волн». Имея такого помощника, как Корин, уезжая в Питер, в деревню или еще куда, я был совершенно спокоен, что без меня время не будет потеряно.

В июле были сняты леса с главной части храма, и я впервые

увидал его таким, каким он позднее предстал на суд людской, по словам Великой Княгини — «невинный, как и подобает быть храму Богородицы».

Теперь Великая Княгиня часто приходила в церковь, радовалась осуществлению ее мечты, и я был счастлив, видя радость этого дивного человека. Чаще и чаще с Великой Княгиней заходили в церковь ее знакомые: петербургские, московские и заграничные. Не обходилось иногда без курьезов.

Как-то с Вел<икой> Княгиней явилась представительная «породистая» дама. Нас познакомили: оказалось, Васильчикова, только что вернувшаяся из заграницы, где она знакомилась с рядом благотворительных, филантропических и врачебных учреждений.

Подметив на моих картинах преобладание голубой гаммы, она одобрила эту особенность, прибавив: «Как этот голубой цвет действует успокоительно! Я видела (она назвала какой-то город в Англии) образцовый дом для душевнобольных. Там, как и у Вас, во всем преобладал голубой цвет. Как это хорошо!»

Не знаю, осталась ли довольна Вел<икая> Княгиня таким «счастливым» сравнением обители милосердия с домом для умалишенных…

Осталось расписать трапезную. «Путь ко Христу» был нарисован в угле. Перед тем как приступить вторично к краскам, я попросил о<тца> Митрофана отслужить молебен. На нем была и Великая Кн<ягиня>.

Молебен этот остался у меня в памяти. О<тец> Митрофан служил его как-то вдохновенно. Молитвы, обращения его к Богу едва ли были в каком-либо требнике. Отец Митрофан, всегда со мной приветливый, верящий в мои художественные замыслы, любивший их осуществленными, был верным моим другом.

Наряду с Обителью, с ее жизнью, шла иная жизнь, на нее непохожая.

Помню, разнеслись среди нас — художников — слухи о небывалых успехах балета Дягилева за границей, в Лондоне. Слухи множились, росли, делались фантастическими. Сегодня мы узнаем, что Дягилев получил «лорда», завтра новый лорд, наш Сергей Павлович, вывез из Англии миллион рублей…

Вечно путешествующая моя Ольга возвратилась домой: веселая, здоровая, через Афины, Корфу, Константинополь — в Березку, где в тот год семья моя зажилась до поздней осени.

В Киеве в ту осень произошло событие. В театре, в присутствии Царской семьи, был убит Столыпин. Ушел человек большой воли. На фоне тогдашнего государственного безлюдья фигура убитого была последней значительной. Выстрел по

Столыпину был метким выстрелом по старой Русской Государственности[408].

В октябре было закончено повторение большой картины. «Путь ко Христу» явился в измененном виде. Вскоре по окончании картины церковь посетила с Вел<икой> Кн<ягиней> королева Эллинов — Ольга Константиновна.

Оставалось установить наружные мозаики. Работы в храме двигались к концу. Видевшие были довольны росписью, и я сам чувствовал некоторое удовлетворение. Был пройден новый этап, удалось преодолеть еще одну трудную задачу, преодолеть усилием воли. Шли разговоры о времени освящения храма. Намечалось 24 декабря.

До того же мне хотелось сделать передышку, съездить с женой в Италию, показать ей Флоренцию, Рим, побывать в Сиенне, Вероне, Виченце, где раньше я не бывал. Так мы и сделали. Взяли обычный путь на Вену, Земмеринг, Венецию[409].

Опять сон наяву! Дивные видения молодости… Смотришь на все с какой-то алчностью, упиваешься красотой, созданной Богом и человеческим гением. Великолепный, непрерывный праздник красоты! Красота шествует по пятам. Красота в дивных, полных задумчивой тишины, тайны минувших веков каналах. Красота неожиданная, в музыкальных звуках ласкала наш слух. Палаццо, украшенные кружевом мраморов, рынки, переполненные овощами, цветами. Какой-то фантастический хаос красок, ощущений. Музеи, храмы… В них Тицианы, Тинторетто, Веронезы… Все они живут и дышат на нас своим великолепием. Они не умирали и умереть не могут. Века, как дни, для них не существуют. Богатства их творений неисчерпаемы и юны. Боже, создавший Венецию, украсивший ее человеческим гением, как Ты велик!

Дни в Венеции пролетели, как часы. Я успел побывать на этот раз в музее «Нового искусства», видел когда-то прославленных малявинских «Красных баб». И то, что когда-то казалось так неожиданно, ново, стало старо, вылиняло. Рядом висящие Сулоага и Котте, совсем не Веласкесы, в соседстве с Малявиным выигрывают. В двух словах: «Бабы» — вещь талантливая, но варварская, музей же «Нового искусства» — самое слабое, что дала мне Венеция в тот раз.

Мы во Флоренции. Опять беготня, восхищение музеями, церквами, берегами красивого Арно в тихие вечера. С головой окунулись мы в итальянскую жизнь, такую очаровательную, так полно захватывающую ваше чувство, зрение, слух. А впереди Рим. До Рима — Сиенна. Сколько впечатлений новых, неиспытанных…

Мы в Сиенне: желто-красные цвета «Терра ди Сиенна»[410],

холмы встречают и провожают нас туда. Не успели приехать, едва переоделись, привели себя в порядок, уже мы на улице. Идем, или, верней, летим. Готовы ко всяческим неожиданностям, ждем их и, по вере нашей в чудесное, получаем на каждом шагу. Из-за угла вдруг выступает величавый мраморный силуэт Собора, его алтарной абсиды. Видим его из-под горы, в плафоне, отчего он кажется скалой, нагроможденной фантазией зодчего. Обходим кругом, осматриваем внутри. Любуемся фресками Пинтуриккио — «Св. Екатериной Сиеннской» над ее гробницей. А вот и ратуша. В ней смотрим сиеннского Рафаэля — Содому. Пробегаем кривые, косые, очаровательные улочки Сиенны. Полны разнообразных впечатлений, спешим дальше, в Рим.

Жена больше всего стремилась в Рим. О нем много читала, слышала от меня и наших друзей. И вот сейчас перед ее глазами далеко, далеко почудился Вечный город — над ним купол Буонарроти. Поезд несся по ровным долинам Ломбардии. Мы оба напряженно всматривались вдаль и, сколько я ни помню, всегда с одним и тем же чувством подъезжал я к бывшей папской столице, с чувством неизъяснимого восторга, счастья. Вот и опять сподобился увидеть тебя, великий Рим! Каждый раз одно и то же — возрождение испытанного большого счастья.

Видеть Рим, и сколько бы раз его ни видеть — значит видеть века, тысячелетия истории человечества, многообразной, бурной, величественной, мрачной или победоносной, поражающей нас творческим гением. От Цезаря до Гарибальди, от Святых Апостолов до Льва XIII, из века в век Рим остается Римом. И вот он перед нами, мы у его ног…

Погода дивная. Замелькали знакомые улицы, памятники, храмы. Пошли Сады Авроры, виа Аврора, пансион, где живал я молодым во времена Владимирского собора… Как здесь все мне любезно!

Мое восхищение Римом теперь жене понятно, и мы ретиво принялись за осмотр его. Все здесь нам нравилось: и памятники великого искусства, и траттория, куда мы забегали наскоро перекусить. Везде был Рим, Римляне, Римлянки, и этого было довольно, чтобы хорошее настроение не покидало нас ни на минуту. Сикстинская капелла, Палатинский холм, Латеранский собор, ровно как и маленькая «Санта Праседа» — видели нас счастливыми, беззаботными. Мы не уставали смотреть, удивляться, радоваться. Дни сменялись с необычайной быстротой.

В тот год в Риме была Международная художественная выставка с Русским отделом. Надо было заглянуть и туда. Помещалась выставка где-то за Порта Пиа. Наш отдел большой,

но не сильный. Лучше других Серов, он занимал особый зал. Итальянцы его не оценили. Мои две вещи, с такой неохотой данные Толстому, были поставлены плохо[411]. Я пошумел там, и мне обещали перевесить мои картины в зал Серова, вещи которого почему-то должны были вернуться в Россию до окончания выставки[412].

Великолепен был отдел англичан. Он накануне нашего приезда закрылся, и только по особому данному мне разрешению нам удалось его осмотреть. Английское искусство было показано в исторической перспективе. Тут были и Рейнолдс, и прерафаэлиты с Берн-Джонсом, Уолтером Крейном, до художников последнего времени. Здоровая нация была представлена в здоровом искусстве. Везде отличная школа. Не было и следа французского упадочного новаторства.

Были интересны испанцы, вернее, двое из них: Сулоага и Англада. Каждый имел особый зал. Один из них — северянин, другой — южанин, оба дали превосходные вещи. Оба ярко изобразили Испанию тех дней.

Мне остались особенно памятны две картины этих мастеров.

Сулоага изобразил суровый каменистый пейзаж — ландшафт Кастилии. На фоне его плетется на старом, усталом Россинанте старый, печального образа гидальго с копьем в руках. Всадник и конь хорошо пожили, сейчас они никому не нужны. У ворот оставленного городка шумит толпа, там праздник — бой быков. Когда-то, давно, гидальго был молод, нравился красавицам… Тогда он не был старым грибом. Гордо выступал он на своем коне в шитом золотом наряде. Он привык к победам. Сколько одержал он их — счету нет. Ну, а теперь пусть они веселятся без него… безумствуют. Ему что за дело. Он устал, хочет отдохнуть. Грустные мысли теснятся сейчас в голове старого пикадора… Драма конченого человека выражена в картине так трогательно, с таким душевным участием…

Иное у Англады. Тот со всем пылом южанина изобразил ночь в Гренаде. Яркие звезды, мириады их мерцают как бы в изнеможении, блистая алмазами, падают в бездну. Воздух насыщен ароматом роз… Все полно страсти, необузданной, опьяняющей страсти, безумного восторга. Какое-то неистовое сладострастие овладело и людьми с гитарами. Гитары поют, стонут — их звуки то замирают в томной неге, то бурно клокочут в победных аккордах… Вот-вот струны порвутся, гитары с шумом разобьются о землю, и сами неистовые музыканты падут в безумном экстазе. Англада, как никто, сумел выразить этот музыкальный бред, вызванный южной ночью, одуряющим ароматом цветов, близостью чернооких красавиц Гренады…

Последние дни мы отдали Ватикану. Я прощался с Микеланджело, с Рафаэлем. Я не говорил им «прощайте», я сказал им «до свиданья». Думал ли я тогда о том, что случилось потом, и кто о том думал тогда? С прекрасным чувством мы оставили великий Рим.

Вот и Орвиетто. Городок, как орлиное гнездо, высоко ютится на скале. Подъезжаем. Кондуктор, соскакивая на ходу, весело кричит «Орвиетто», как он закричит потом «Болонья». Нам тоже почему-то весело. Мы решаем, что до отхода поезда на Верону успеем, не торопясь, осмотреть городок, пообедать и отдохнуть. Вот мы и на горе. Вот и собор. В этом инкрустированном из разноцветного мрамора соборе мы увидим «Страшный суд» Содомы, говорят, лучший «Страшный суд», с необыкновенным Антихристом, с неподражаемыми чертями в адском пекле. Все это мы увидим. Наконец, увидели. Жена пришла в восторг и от собора, и от Содомы, и от «Страшного суда». Я — только от чертей Содомы. Они какие-то знакомые, где-то я их видел, быть может, в жизни?.. О, этот Содома! Не списал ли он их со своих сиенцев? Да и у нас на Руси такие водятся.

Однако слишком много впечатлений для одного месяца, и я чувствую, что надо отдохнуть уже и от своего отдыха. Пора в Москву, на Ордынку, за дело.

Но раньше, чем покинуть это милое орлиное гнездо с чертями Содомы, мы утолим свой голод, зайдем в ресторанчик. Он тут где-то около разномраморного собора… Ресторанчик небольшой, уютный. Входим, в нем много военных, они болтают на своем очаровательном языке, такие все маленькие, как будто по особой субординации они не могут перерасти своего крошечного короля с его огромными, очень воинственными усами[413]. Офицерики похожи один на другого, все в сиреневых невыразимых с красными, малиновыми, желтыми лампасами.

Выбираем себе место, откуда все видно, заказываем что-то в высшей степени итальянское, главное просим дать вина, побольше вина, прелестного, немного шипучего, похожего на наше Донское, — Орвиетто. И пьем, пьем и болтаем. Болтаем, пьем, едим и опять пьем. Вы думаете, быть может, что мы изрядно напились? Ничуть, мы только стали веселее. Просим приготовить орвиетто для дороги, хотим привезти его в Москву…

Благодаря чудесному напитку в этот день мы чувствовали себя особенно хорошо, и к вечеру, удовлетворенные, покинули очаровательный городок, который так «аппетитно» выкрикивал кондуктор, соскакивая с подножки вагона: «Орвиетто».

В тот же вечер мы были в Вероне. Обычная процедура в отеле, из окна которого видна веронская «конка» — трамвай без рельс.

Он, шатаясь по сторонам, бежит по уличкам Вероны; что-то очень провинциальное. Пахнет «Сельской честью». На панелях видим героев Масканьи. Они бегают «как живые». На другой день наскоро пьем кофе, справляемся с путеводителем и тоже бежим.

Вот античный театр — осматриваем его наскоро, идем дальше. Нам надо видеть церковь Сан Джорджо. Там великолепный Веронезе с автопортретом, с дивным вороным конем[414]. Его знают по репродукциям, без красок. А какие там краски! А статуя Христа, возвышающаяся перед алтарем!..

Позавтракали наспех, и снова несемся. Мы неутомимы. Времени у нас мало, мы помним это. Вот перед нами, как из земли, вырастает нечто средневековое. — Это знаменитый дворик — гробница рода Скала (Скалигеров). Бог мой! Такое чудо, и где же: не в Риме, не во Флоренции, а в маленькой Вероне!

Скалигеры до сих пор владычествуют в ней. Вот они во всеоружии предстали перед изумленными московитами. Один из них на коне, закованный в латы, улыбается вам. Какая удивительная идея увековечить свой славный род в дивных памятниках ваяния, поставить их у себя в усадьбе, на дворе, на какой-то веронской Ордынке. Позвать самых лучших мастеров, самых смелых художников своего времени, дать им право сказать о себе всю правду, в ней показать могущество, коему дивятся люди через четыреста-пятьсот лет и надивиться не могут!

Скалигеры у себя дома. Они здесь правили веронцами, воевали, жили и умирали. Над самым входом в их дом, над их дверьми один из этих Скалигеров спит вечным сном в мраморном изваянии. Какая архитектура! Что за вымысел, форма, линии ансамбля!

Не хотелось покидать нам Верону, а московская Ордынка призывала домой, и мы, не останавливаясь на пути, проехали итальянскую границу, Вену и в начале ноября были в Москве. Это и было мое последнее путешествие в чужие края. Мечта побывать в Испании, в Англии, в северных странах осуществиться не могла. 1917-й год положил конец всем моим замыслам…

Я снова на церковных лесах, в заботах, в хлопотах. Все надо в последний раз внимательно просмотреть на свежий глаз.

Щусев к тому времени закончил проект вокзала. В первых набросках он казался интересней, цельней. В основу был положен Русский смешанный стиль. XVI, XVII и частью XVIII века вошли в разработку его фасада. От Сумбекиной башни, башен Соловецких, захватив эпоху Романовых — Михаила Федоровича, Петра, Елизавету, — живопись, мозаика, черепица, куранты — чего-чего тут не было. Цвет всего массива белоснежный. Царский павильон — зеленый.

На фоне тогдашнего увлечения москвичей стилем модерн затея Щусева сулила многое. Затея была богатая, смелая. Немного осталось от нее по окончании постройки. Гора родила мышь. Тогда же Щусев сделал интересный проект «Школьного городка» для кн<язя> Щербатова.

Харитоненко, увлеченные церковью на Ордынке, задумали построить в своем имении Натальевка небольшую церковку. Говорили о своем намерении со мной, не решаясь, на ком из архитекторов остановить свой выбор… Я настойчиво рекомендовал все того же Щусева. Однажды вместе с ним приехал и Харитоненко, и они скоро сговорились. Церковь в Натальевке должна была быть в древненовгородском стиле, такой же иконостас. С моей легкой руки после Абастумана Щусев пошел сильно в гору.

В конце ноября скончался от грудной жабы Серов. Смерть его была мгновенна. Еще утром Валентин Александрович собирался ехать на сеанс к кн<язю> Щербатову. Он чертил тогда углем портрет княгини.

Похороны Серова превратились в многолюдную демонстрацию. Много народа шло за гробом, который несла молодежь. Пение «Вечная память» не прерывалось до самого Донского монастыря. Могила Серова — против могилы Муромцева…

После покойного осталась семья. Младшей дочери было четыре года[415]. Осталось ценное художественное наследство. После похорон стали говорить о посмертной выставке, о том, что необходимо просить Государя назначить семье пенсию. Выставка и пенсия дали Серовым возможность до самого 17-го года жить спокойно, безбедно.

На моей родине в тот год был голод. Сестра опять уехала куда-то в башкирскую деревню кормить голодающих. Земство отпустило в тот раз крупную сумму в полное ее распоряжение.

Освещение храма Покрова. 1912

К Рождеству церковь была окончена совершенно. Был поставлен иконостас, образа в него вставлены. Освящение отложено было до весны 1912 года.

Этот год начался в нашем художественном мире архитектурным конкурсом проектов нового здания Училища живописи, ваяния и зодчества. Конкурс был слабый. В нем участвовал и живописец Аполлинарий Васнецов. Проект его в Русском стиле был эхом былых архитектурных увлечений его брата Виктора Михайловича — автора прекрасной Абрамцевской церковки.

Я кончил для кн<ягини> Оболенской «Несение креста». Получив разрешение Вел<икой> Кн<ягини>, я показал церковь на Ордынке кое-кому из знакомых. Были Поленов, Виктор Васнецов, еще человек сорок. Написанное нравилось. Васнецов смотрел с большим вниманием, как знаток таких дел. Хвалил большую картину и образа иконостаса. Хвалил и Щусева, и лишь некоторый его модернизм вызвал неодобрение Виктора Михайловича. Уходя, он с грустью заметил, что ему уж больше не писать церквей, а «Вы еще поработаете!»

Дочь моя Ольга тем временем собралась замуж. Она познакомилась с молодым ученым, учеником проф<ессора> Шершеневича — Виктором Николаевичем Шретером. Он стал бывать у нас, его посещения были определенны. Виктор Николаевич всем нам нравился. Видимо, он нравился и дочери, хотя от нее и доставалось его немецкому происхождению, повадкам. Виктор Николаевич был из состоятельной немецкой одесской семьи. Дядя его был известный архитектор профессор Шретер — строитель тифлисского театра, дома Петербургского кредитного общества и дома «Штоль и Шмидт», что на Малой Морской.

В марте В. Н. Шретер был объявлен женихом. Дом наш перешел на особое положение: готовилось приданое, строились планы на ближайшее время, создалась та особая атмосфера, которая так удивительно описана Толстым. Приехала из Уфы сестра и сейчас же стала во главе всех свадебных приготовлений. И правду сказать — хорошее это было время. В моей жизни опять «как бы выглянуло солнышко». Жених моей Ольги был мне по душе, а тут и предстоящее торжество освящения храма. Снова знакомые переживания, волнения и прочее.

Как-то на Страстной неделе Вел<икая> Княгиня попросила меня и мою жену (вышивавшую тогда по моим образцам хоругви

в новую церковь) побывать на Пасхальной неделе в Алексеевской монастыре[416], где вышивались по орнаментальным рисункам Щусева концы и надписи на хоругви. О нашем посещении предупредили игуменью монастыря, известную своей строгостью — мать Сергию.

В один из Пасхальных дней мы отправились в Алексеевский монастырь, где нас уже ждали. Тотчас провели в игуменские покои, обычные покои богатых московских монастырей. Доложили матери Сергии. Она скоро появилась в дверях своей приемной, такая маленькая, почти карлица, лет семидесяти, с лицом значительным, умным, властным. Подошли к руке, все честь-честью. Пригласила садиться. Сама села на традиционный огромный красного дерева диван. Стала расспрашивать о Великой Княгине, о храме, о предстоящем его освящении.

Мать Сергия была из образованных, кончила когда-то институт, говорила на иностранных языках, но не это было в ней примечательно: *так называемых* «образованных» было тогда немало среди монашествующих. Игуменья Сергия славилась уменьем водворять порядок там, где его не было, прибирать к рукам самые распущенные монастыри. Ее с давних пор и переводили из одного такого монастыря в другой. Она была грозой монашеских гнезд.

Не одной строгостью славилась мать Сергия по Москве. Славилась она и своим административным талантом. Ей, как немногим, ведом был секрет — властвовать и повелевать. Часто совершенно запущенный монастырь в ее руках преображался. Никто не видал, чтобы из ее монастыря «шлялись» по трактирам и «благодетелям» с кружкой (просили на бедность). Скоро монастырь начинал работать, да как! Она открывала там школы, мастерские, больницы. Если же у монастыря были пригородные угодья, заводились обширные огороды, молочные хозяйства и прочее. Такова была эта маленькая игуменья Сергия.

Посидев сколько-то, расспросив жену о том, о сем, она пригласила нас пройти в рукодельную мастерскую. Пошли какими-то коридорами, переходами, соединяющими игуменские покои с рукодельной. Впереди шла, отворяя на пути двери, келейница — высокая, строгая, за ней медленно, важно шествовала мать Сергия, за ней мы с женой. Подошли к дверям рукодельной, келейница со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» распахнула дверь.

Игуменья — маленькая, с посохом, с золотым игуменским крестом, остановившись в дверях, приветствовала огромную, полную монашек, рукодельную торжествующим, победным: «Христос Воскресе». Все встали, как один, — понеслось ответное

— «Воистину Воскресе».

Всё замерло, стало тихо, тихо. Мать Сергия стала обходить с нами работающих. Останавливались у тех, что выполняли Великокняжеский заказ. Работы были изумительные. При обычном совершенстве техники, в них было столько вкуса, изящества, так исполнено близко к Щусевским оригиналам, что нам ничего не оставалось, как переходя от пялец к пяльцам, хвалить и радоваться тому, как все виденное будет красиво на местах, в общем согласии с остальным убранством церкви.

Мы поблагодарили игуменью и расстались с ней. Еще однажды я видел ее на освящении церкви, во время крестного хода. Она шла позади Великой Княгини, несмотря на свой малый рост, была так величава, как и тогда на пороге рукодельной, приветствуя сестер победным «Христос Воскресе!».

Наступило и 7-ое апреля, канун освящения церкви, первая всенощная в ней. Все были на местах. Я зашел туда утром. О<тец> Митрофан с сестрами отбирал парадные облачения к вечеру. Показывалась ненадолго Вел<икая> Княгиня, делала какие-то распоряжения и уходила. Она, несмотря на свою выдержку, не была совсем спокойна. Думы роились: что-то ждет ее создание? Во что отольется любимое дело?

Торжество близилось. Я зашел еще: была спевка, первая спевка в нашей церкви. Голоса сестер раздавались неожиданно ново, так волнительно, да и сами сестры волновались. Дивное чувство овладело мной. Иду в темный угол. Хочется остаться одному, помолиться. Становлюсь на колени и… плачу, плачу, благодарю Бога за всё…

В 6 часов стали собираться ко всенощной. Раздался первый удар колокола. Как и тогда, шестнадцать лет тому назад в Киеве, а потом в Абастумане, звон его отозвался во мне особым, ничем не сравнимым ощущением. Звуки были мягки, певучи, торжественны. Впервые понеслись они по старому Замоскворечью…

Всенощная началась. Служил митрополит Владимир с епископами, множеством священников, с протодиаконом Розовым. Пели наши обительские сестры в праздничных одеяниях. Вел<икая> Княгиня была тоже в белом обительском, сосредоточенная, более прекрасная, чем всегда. Народу набралась полна церковь.

Я стоял в стороне, преисполненный радости. После всенощной усталый, успокоенный, вернулся домой. Готовился к завтрашнему дню, еще более волнительному. К освящению почему-то ждали Вел<икого> Кн<язя> Михаила Александровича.

Наступило и 8-ое апреля — день освящения. Народу собралось множество. Приглашены были и художники — Виктор Васнецов, Поленов, Остроухов, еще кто-то. Присутствовали и власти: Вл<адимир> Фед<орович> Джунковский, Адрианов, Городской голова Гучков и другие.

Обедню и чин освящения совершал Митрополит Московский — Владимир. Пели наши сестры. Великая Княгиня осталась в приделе против образа Федоровской Божией Матери. Она горячо молилась.

Мы со Щусевым стояли сбоку. После освящения подходили со всеми с поздравлением к Настоятельнице Обители. Она благодарила нас. В тот день немало слышалось похвал нам обоим. На них не скупился и Виктор Михайлович. Смягчилась и наша неприязнь с Остроуховым. Бывшие на освящении стали разъезжаться, и лишь некоторые были приглашены к обеду.

За столом, в центре сидела сама Настоятельница, около нее Митрополит, с другой стороны обер-прокурор Саблер. По сторонам остальные приглашенные. После обеда, при прощании Великая Княгиня еще раз благодарила нас обоих, причем мне передала на память о минувшем образок Казанской Бож<ьей> Матери, Щусеву — свой фотографический портрет. Митрополит, благословляя, выразил похвалы содеянному нами.

Так кончился этот памятный день, но не кончилось мое общение с обителью. Я бывал там за церковными службами и призывался Вел<икой> Кн<ягин>ей по разным вопросам, связанным с церковью, ее украшением. Ближайшие праздники после освящения в новом храме шли особо торжественные архиерейские службы при полном храме молящихся, любопытствующих…

К нам — ко мне и Щусеву — Московское общество, как и пресса, отнеслось, за редким исключением, очень сочувственно. Хвалили нас и славили…[417]

Итак, церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Марфо-Мариинской Обители на Ордынке была окончена, освящена. За четыре года, что я проработал там, мне часто приходилось встречаться, говорить с Настоятельницей Обители Вел<икой> Кн<ягиней> Елизаветой Федоровной, о чем я не раз упоминал здесь, не останавливаясь на этих встречах подробно. Между тем Вел<икая> Княгиня, как личность, была совершенно замечательной. Попытаюсь теперь дать посильную ее характеристику, оговариваясь, что характеристика эта будет далеко неполной, быть может, односторонней. Ведь наши «Высочайшие», как бы они ни были исключительно доступны,

просты и добры, были отделены от нас чем-то и кем-то, — оставались от нас скрытыми. Я тем более не могу рассчитывать дать желанной характеристики покойной Вел<икой> Княгини, что за все годы наших встреч, разговоров я не записывал их, — плохая же моя память их плохо сохранила. Постараюсь передать скорее смысл их, а не стенографическую их точность, передать такие деяния, поступки, слова, за подлинность коих я могу поручиться.

Великая Княгиня Елизавета Федоровна была дочерью Вел<икого> Герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и его супруги Алисы, дочери королевы Английской Виктории, племянницей Императрицы Германской Виктории (также дочери Английской королевы).

Герцоги Гессенские были не из богатых. Жили они в Дармштадте скромно, вдали от шумных дворов — Прусского, Баварского. Жили семейно, но жизнь их не была замкнуто-придворной: Герцогиня сумела внести в свою новую немецкую семью некоторые обычаи, нравы своего первого отечества. Она любила просвещение, искусство, общалась с людьми, если не замечательными, то выдающимися. В такой обстановке проходили детство и юность будущей Российской Великой Княгини.

Вот что однажды во время моих работ в церкви пришлось мне слышать от самой Вел<икой> Княгини. Она только что вернулась из Дармштадта с открытия усыпальницы ее родителей. Поездка эта была, по ее словам, последняя в Германию. Позднее она не только не была там, но и не желала быть, и вот почему. По окончании торжества открытия усыпальницы Вел<икая> Кн<яги>ня пожелала видеть некоторых из тех выдающихся лиц, профессоров, ученых, посещавших когда-то ее родителей. Они теперь были стары, но в ее памяти сохранились, как носители самых высоких человеческих идеалов, идеалов своего времени — лучшего времени германского духовного роста. Такими они остались в ее памяти. Проживши жизнь в великой стране, полной политических страстей и вожделений, потерявши там близких людей, много думавшая, больше того чувствующая, ищущая лучшего выхода из лабиринта противоречий, партий, интриг, она, приехав в родное гнездо, пожелала повидать теперь уже состарившихся друзей ее родителей. Многих уже не было в живых, те же, что были еще живы, явились на ее зов, и она, полная надежд услышать от них проповедь высоких идей, идеалов, может быть, то, чего не могла найти в суровой, холодной и все же любимой России, — услышала от них, этих мудрых старцев, — услышала и ушам своим не поверила: — не

призыв к миру, к человечности, а иное, ей чуждое.

Эти люди, шестидесятых годов, в ее отсутствие, далеко ушли от того, во что верили в годы своей молодости, а ее юности. Вера их была иной. Сейчас они были ярые проповедники милитаризма, завоевательной системы во что бы то ни стало. Они не понимали друг друга и Русской Великой Княгине были не нужны, непонятны, нелюбезны. Встреча эта была из самых тяжелых.

Она вынесла горькое разочарование о своей Немецкой родине. Прекрасное былое исчезло навсегда. Оно ушло с появлением Железного Канцлера[418], с победоносной Германией, с шумным царствованием Вильгельма II. Бедная Вел<икая> Княгиня дала себе обещание никогда не возвращаться в старый свой дом; вернулась в Россию, в свою Обитель, и пыталась осуществить как-то потребность своей деятельной души. Вот смысл того, что я слышал однажды среди лесов обительского храма.

Чтобы не возвращаться к этой неудачной поездке В<еликой> К<нягини> в Германию, приведу рассказ нашей знакомой, бывшей случайной свидетельницей следующего. Наша знакомая проездом была в Берлине, остановилась в одном из больших отелей. Возвращаясь откуда-то она увидела в отеле необыкновенно приподнятое, возбужденное настроение. Администрация на ногах. Не то что-то случилось, не то кого-то ждут. Действительно, сейчас же за ней появился Император Вильгельм в сопровождении адъютанта. Император проследовал по коридору в крайний номер.

В отеле быстро узнали о высоком посетителе. Многие захотели его видеть, среди них была и наша знакомая. Ждать пришлось долго. Лишь через час император появился вновь в сопровождении… Вел<икой> Княгини Елизаветы Федоровны, которой Вильгельм отдавал официальный визит. Она оставалась тогда в Берлине короткое время инкогнито. Была отмечена всеми необыкновенная почтительность Императора к Великой Княгине.

Здесь, быть может, будет уместным сказать, что когда-то, в ранней своей молодости, будущий Император Вильгельм II, сыгравший роковую роль в истории Европы начала XX столетия, был пламенно влюблен в молоденькую, такую прекрасную, добрую, идеально настроенную Гессенскую принцессу. Брак этот не был признан осуществимым. Принц Прусский Вильгельм должен был жениться на принцессе Августе-Виктории.

Заговоривши об отношении Вел<икой> Кн<яги>ни к Вильгельму, передам, к сожалению, не дословно, а вкратце, еще одну мою беседу, бывшую тоже в церкви во время работ, вернее во время перерыва. Разговорились случайно, неожиданно, но, как

всегда, просто и увлекательно. Не помню, что подвело разговор к тому же Вильгельму, помню только, что Вел<икая> Кн<ягиня> заметила, что она знает В<ильгельма> давно, помнит его молодым. Что он всегда был очень способным, восприимчивым, что он не был тем, что про него стали говорить позднее. Его способности не были гениальными. Молодой Вильгельм многим интересовался, любознательность его была выдающейся, но все, что он делал, его знания, поступки — не были глубокими. Он мог, что называется, пустить пыль в глаза, удивить. Все было напоказ, — эффектно и только. Он хорошо, иногда увлекательно, мог говорить.

Великая Княгиня разговор свой кончила неожиданно: по ее словам, Вильгельм II идеалом Государя-правителя считал покойного Императора Александра III. Он ему импонировал всем, служил примером для подражания. Как известно, молчаливый Император Российский едва мог выносить молодого Германского Императора, бывшего во всем ему противоположным. В Александре III ничего не было напоказ.

Продолжаю все, что удержала моя память, что так или иначе может пополнить характеристику Настоятельницы Марфо-Мариинской Обители. Она не была счастливой в своем окружении других «Высочайших». И раньше, и позднее, когда я работал в обительской церкви, правда, были в ее окружении люди честные, достойные, но они не были людьми богато одаренными. Ближним человеком — казначеем обительским была Валентина Сергеевна Гордеева, типичная «придворная» со всеми их недостатками, с малыми достоинствами. Зуров был честный, хороший чиновник, таким же был и Пигарев. Фон Мекк исполнял поручения художественно-благотворительные. Он был с развитым вкусом.

Самым значительным, действенным был в мое время протоиерей Митрофан Васильевич Сребрянский — человек с инициативой, с характером, с умом ясным, приятным. В основании Обители, ее развитии о<тец> Митрофан играл значительную роль. Его идеей был институт «диаконисс», в чем ему усердно препятствовал Григорий Распутин[419]. О<тец> Митрофан, поняв основную мысль Вел<икой> Княгини, сумел ее воплотить в живое дело. Авторитет о<тца> Митрофана оставался незыблемым до конца существования обители.

Немногим были известны жизнь и труды Настоятельницы. О том знали обительские сестры, знал кое-кто из приближенных. Русское общество знало мало и смутно. Между тем жизнь Вел<икой> Кн<ягини> проходила в непрерывных заботах, в подвигах милосердия. Умное сердце ее было полно планов, она

не любила откладывать их в дальний ящик… Обительские сестры посещали больных, нянчились с детьми без матерей, всячески обслуживали беднейшее население Москвы. Работа в обительской больнице (бесплатной), в амбулатории для женщин и детей кипела. Сама Вел<икая> Княгиня была опытной сестрой. Она всюду вкладывала в дело свою большую душу.

Вот что нам рассказала наша прислуга: ее дочь тяжело заболела, была помещена в обительскую больницу. Великая Княгиня имела обыкновение приходить в палаты по ночам, с особым вниманием следила за тяжело больными. Подойдет, послушает пульс, поцелует, перекрестит такую больную, пройдет дальше. Не раз дочка нашей прислуги испытала на себе нежную заботливость Настоятельницы, с большим волнением вспоминала о виденном в обители, о самой милосердной из ее сестер…

Я сказал, что мои отношения с Обителью и после освящения церкви не кончились… Время от времени меня вызывали для советов по художественным вопросам. Я проходил Денежным переулком через сад. Идешь, бывало, тихим летним вечером и видишь — около церкви сидит В<еликая> Княгиня, с ней рядом, на скамье и около на траве сидят, стоят сестры, старые и молодые, тут же и девочки-сироты из обительской школы-приюта. Идет беседа. Лица оживленные, ничего натянутого тут не было: Великая Княгиня хорошая, добрая, подчас веселая, старшая сестра. Увидит меня, встанет, поздоровается, начнет говорить о деле…

Такой не раз хотелось мне написать ее и казалось, что она не откажет мне попозировать. Таким тихим вечером на лавочке, среди цветов, в ее сером обительском одеянии, в серой монашеской скуфье, прекрасная, стройная, как средневековая готическая скульптура в каком-нибудь старом, старом соборе ее прежней родины… И мне чудилось, что такой портрет мог бы удасться, хотя я знал, что угодить В<еликой> Кн<яги>не было легко.

Ни одним из написанных с нее портретов не была она довольна. Большой Каульбаховский был слишком официален, тот, что написал с нее когда-то гремевший в Европе Каролюс-Дюран[420] — нарядный, в меховой ротонде, с бриллиантовой диадемой на голове, с жемчугами на шее, — был особенно неприятен В<еликой> Кн<яги>не. И, говоря о нем, она с горечью сказала: «Может быть, я была очень дурная и грешная, но такой, как написал меня Каролюс-Дюран, я никогда не была».

Понимание искусства у Великой Княгини было широкое. Она внимательно всматривалась в новые течения. Видела она многое, знала музеи Европы, любила старых мастеров, из современных —

Берн-Джонса. Много читала, знала нашу и западную литературу, в последние же годы читала исключительно богословские книги — Святоотеческие предания, Жития святых. Многие места из Библии и Евангелия знала на память. К моему художеству она относилась с давних пор с симпатией, и так было до конца.

В первое же лето по освящении Церкви был такой случай: ходили слухи, что среди лиц, приближенных к В<еликой> Кн<ягине>, есть группа недовольных, что к росписи церкви был приглашен я, а не Васнецов. Это были давние друзья и почитатели Виктора Михайловича, для которых все, что не Васнецов, будь то Нестеров или Врубель, — цена одна. Вел<икая> Княгиня об этом знала, огорчалась. Знал и я и ждал во что все это выльется.

Мои хулители особенно подчеркивали то, что я обошел некоторые «непреложные» правила Православной иконографии. И они собирались поднять на меня «самого» Федора Дмитриевича Самарина[421] — великого знатока всяких канонов. Он-то и должен был решить мою участь: слово его было свято, суд нелицеприятен. Этого боялась Вел<икая> Кн<ягиня>, ожидал и я не без некоторого беспокойства.

Фед<ор> Дм<итриевич> в то время уже болел, не выезжал из дома. И все же удалось выбрать день, когда ему было получше. За ним заехала одна из высокопоставленных дам, забрала его в свою карету и привезла на Б<ольшую> Ордынку, в новую Церковь.

Конец я передам со слов Вел<икой> Кн<ягини>, которую я случайно встретил через каких-нибудь полчаса после произнесения Самариным приговора моему художеству.

В тот день я собирался ехать в деревню к семье. Нагруженный покупками, как некий «дачный муж», я зашел попрощаться к о<тцу> Митрофану. Для близости шел садом, как неожиданно увидел в нескольких шагах от себя идущую на меня Вел<икую> Княгиню. Она тоже заметила меня. Я наскоро поставил на дорожке свои покупки, подошел поздороваться с Вел<икой> Княгиней. Она, сияющая, моложавая и счастливая, с первого слова спешила поделиться со мной новостью.

Только что был в Церкви и уехал Ф. Д. Самарин. Долго оставался, подробно осмотрел храм и его роспись… и… всем остался очень доволен. Больше всего понравилось ему «Благовещение» на пилонах, на которое так рассчитывали мои великосветские хулители. Самарин нашел, что такой Храм следует беречь, что он не видит ни в чем противоречия против уставов и иконописных канонов. Словом, «враги» были посрамлены, а дама, что привезла больного, была сконфужена и

поспешила поскорее увезти строгого судью домой.

Уезжая, Самарин поздравил и поблагодарил В<еликую> К<нягиню>, и она, счастливая, довольная, спешила разделить свою радость со мной. Она, как будто, сама выдержала трудный экзамен. Не нужно говорить, как я был рад. Теперь я мог быть спокоен, что нападки на меня кончатся. Так оно и было…

Я упомянул, как сильно и настойчиво противодействовал утверждению Устава о диаконисс в Синоде Распутин, явно и открыто ненавидевший Великую Княгиню Елизавету Федоровну — Настоятельницу Марфо-Мариинской Обители Милосердия. Великая Княгиня была открытым, деятельным его врагом. Все, что можно было сделать, чтобы удалить его или ослабить его влияние в Царской семье, делалось непрестанно. Она не задумывалась ни перед чем, чтобы достойно осветить эту темную личность. Поездки в Царское Село с этой целью были для Вел<икой> Кн<ягини> и болезненны и бесплодны. Последняя из них незадолго до убийства Григория была особенно тяжела по своим последствиям, и В<еликая> К<нягиня> вернулась из Петербурга в подавленном состоянии. Больная психически Императрица не только не пожелала выслушать свою старшую и когда-то любимую сестру, она потребовала, чтобы В<еликая> Кн<ягиня> больше не приезжала, так как она видеть ее «не желает»…

Вел<икую> Княгиню — одну из самых прекрасных женщин — не щадила и клевета. О ней, как и о всех Высочайших, было принято распускать были и небылицы. Такие приемы не были почтенны, но они достигали своей цели. Сами же оклеветанные были в таких случаях совершенно беспомощны.

Приведу лишь один случай, невероятно наивный, но умело пущенный в годы войны. Пользуясь тем, что Вел<икая> Кня<гиня> была по рождению *немка,* тысячеустная молва разнесла, что на Ордынке бывает с какими-то целями ее брат — Великий Герцог Гессенский. Видеться со своей сестрой Герцог приходил по потаенному подземному ходу, проведенному от места его жительства — в Нескучном. Как это ни было безумно нелепо, многие все же этому верили.

Обо всех таких случаях Вел<икая> Кн<ягиня> знала. Нечего говорить, как было ей больно, но она знала и то, что такова «завидная» доля людей с ее положением. Крест свой она пронесла терпеливо, с великим смирением через всю свою жизнь.

О себе Вел<икая> Кня<гиня> была самого скромного мнения. Она говорила, что роль свою в жизни, свои силы знает, их не преувеличивает, на крупное не претендует. Говорила, что «ум ее не создан для больших дел, но у нее есть сердце, и его она

может и хочет отдать людям и отдать без остатка»… И действительно, имея большое, умное сердце, она была в жизни больше Марией, чем Марфой.

Лишь однажды мне пришлось видеть Вел<икую> Княгиню взволнованной, гневной. Наступали так называемые Овручские торжества. В присутствии Государя предстояло освящение древнего храма, реставрированного Щусевым[422]. На торжество должна была поехать и Вел<икая> Княгиня. Как-то она была в церкви, о чем-то говорила со мной, как явился прямо из Овруча Щусев. Стали говорить о предстоящих торжествах. Щусев осведомился, предполагает ли В<еликая> Княгиня быть на них. Она отвечала, что еще не решила. Она слышала, что наплыв паломников будет так велик, что не хватит для всех помещения. — «Ну, Ваше Высочество, Вы только скажите, — мы выгоним монахов из их келий и устроим Вас *шикарно».* Сказано это было с бесподобной хвастливой наивностью человека власть имущего…

Но не успел наш Алексей Викторович и окончить своих слов, как щеки Великой Княгини стали алыми, глаза сверкнули. Она, постоянно сдержанная, ласковая, резко сказала, что если еще и колебалась, ехать или не ехать, то сейчас колебаний нет. В Овруче она не будет. Она не хочет, чтобы ради нее выгоняли кого-либо из келий, что комфорт она знает с детства, жизнь во дворцах знает… Говорила Вел<икая> Княгиня быстро, горячо, не переводя дух. — Она не смогла скрыть своего возмущения.

Щусев плохо понимал, почему Вел<икая> Кн<ягиня> так волнуется. Он что-то бормотал, он хотел только… Но гнев уже прошел. Разговор был кончен в обычных мягких тонах. В Овруч Великая Княгиня тогда не поехала…

Далее я редко буду возвращаться в своих воспоминаниях к Вел<икой> Кн<ягине> Елизавете Федоровне. О ней, быть может, кто-нибудь, кто знал ее лучше и больше меня, расскажет людям ярче и ценнее, чем пытался сделать я. Но пусть знают, что все хорошее, доброе, что будет когда-либо сказано об этой совершенно замечательной женщине моего времени — будет истинной правдой. И эту правду о ней знать людям надо…

После освящения пошли обычные будни. Заболела дочь. У меня на ноге появился нарыв. Сделали домашнюю операцию. Стало хуже. Еду к своему приятелю-хирургу в больницу, показываю ногу, думаю, что пропишет «мазь», а меня приглашают на операционный стол. Протестую. Барышни с кудряшками и без кудряшек, что окружают стол, удивлены. Побились, побились, да так домой и отправился. К вечеру стало хуже. Звоню к приятелю, просит приехать на дом. Приезжаем с женой. Посмотрел ногу,

нашел положение серьезней, чем я думал. Едва не было заражения крови. Тут же нарыв вскрыл, ногу забинтовали и увезли меня домой. Долго возился с перевязками. Заболела младшая дочь воспалением легких, но однако и это миновало благополучно.

Настали Бородинские торжества[423]. Они проходили частью в Москве, частью на месте наполеоновских битв. К этому времени приехал в Москву Государь и вся Царская семья. К тому же времени приурочено было и открытие памятника Александру III и открытие Музея его имени.

Памятник вышел, как говорили, «ярко опекушинский». Верная мысль изобразить царя-самодержца на троне со всеми символами его власти оказалась не под силу старому, недаровитому Опекушину — автору довольно приличного памятника Пушкину в Москве и совсем неприличного Лермонтову в Пятигорске… Не спасли дела ни символика, ни посвящение на постаменте: «Благочестивейшему, самодержавнейшему великому Государю Императору Александру III»[424].

Состоялось и открытие Музея скульптуры, возникшего по инициативе проф<ессора> Цветаева и при деятельном содействии состоятельных москвичей[425].

После этих торжеств Государь и обе Императрицы посетили Марфо-Мариинскую обитель и Церковь при ней. Высочайшие посещения растянулись на три дня.

В первый день была Императрица Мария Федоровна с В<еликими> Княгинями Ксенией и Ольгой Александровнами. Государыня, как всегда, была приветлива, ровна. Встреченная в трапезной церкви о<тцом> Митрофаном с крестом, провожаемая Вел<икой> Кн<ягиней>, она прошла в самый храм, где были ей представлены Щусев и я. Здороваясь со мной, Государыня, улыбаясь, заметила: «Мы старые знакомые».

Церковь, осмотренная подробно, произвела хорошее впечатление. После осмотра Государыне были представлены собравшиеся дамы, при этом моей жене сказано было несколько любезных слов за вышитые ею хоругви.

На другой день ожидали Государя с дочерьми. Путь до Обители был занят народом. В церкви собрались приглашенные. Колокольный звон возвестил, что Государь подъехал. На паперти он был встречен Настоятельницей, в трапезной о<тцом> Митрофаном в великолепных пасхальных облачениях с крестом, возле диакон со святой водой.

Государь появился в дверях с дочерьми. Они были в одинаковых светло-розовых туалетах. Со своей обычной манерой, поправляя на себе портупею шашки, Государь подошел к месту,

где ожидал его о<тец> Митрофан, такой благообразный, радостный.

В кратком приветствии к Царю было вложено столько задушевной, трогательной заботы о нем. О<тец> Митрофан едва ли говорил 3–5 минут, но эти минуты были захватывающего напряжения. Что и как говорил о<тец> Митрофан ни в какой мере не было похоже на красноречие церковных витий, и мне почему-то вспомнилась в те же минуты… Дузе. Она могла бы вложить такую нежность, такое же проникновенное чувство, могла бы взволновать всех.

После приветствия был краткий молебен. Государь подошел к кресту, поцеловал руку отца Митрофана, поблагодарил его.

Вел<икая> Княгиня представила нас со Щусевым Государю. Он знал нас обоих. Ласково поздоровался, и все двинулись к иконостасу. Он был из серебряной басмы, по рисункам Щусева, так же, как и деревянные резные двери, клироса, подсвечники. С солеи хорошо видны были картины «Воскресение» и «Христос у Марфы и Марии». Вошли в алтарь. Государь был в прекрасном настроении, был к нам обоим как-то доверчиво-доброжелателен… В те минуты я еще раз испытал то же, что и во Владимирском соборе тогда еще начинающий художник, за спиной которого стоял опытный импресарио — Прахов, только теперь за все отвечал я один.

В алтаре особое внимание было обращено на «Литургию Ангелов». Государь спросил, какими источниками пользовался я. Я назвал запрестольную фреску Гелатского монастыря (около Кутаиса) и нашу вышитую пелену XVII века. «Южный тип Ангелов более отвечает Грузинской фреске», — заметил Государь.

Мы вернулись в трапезную к картине «Путь ко Христу», попутно я давал свои объяснения росписям, объяснил содержание картины, в основу которой положены Евангельские слова: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии». В свою картину я ввел современную толпу нуждающихся в Христовом утешении, чтобы тем самым острее дать почувствовать — испытать религиозное чувство, блекнущее в наши дни. Мысль моя была одобрена.

Пребывание Государя близилось к концу. Вел<икие> Княжны стали в ряд, присутствующие стали подходить, чтобы откланяться им. Церемония утомительная и едва ли необходимая. По окончании ее Государь со всеми простился и, подавая мне руку, ласково и громко сказал: «Превосходно». Присутствующие окружили Царя и Вел<иких> Княжен, проводили их до покоев Вел<икой> Княгини и оставались в саду до того момента, как Государь вышел от Великой Княгини и, простившись со всеми еще

раз, уехал.

В тот раз Государь выглядел моложе, походил больше на старшего брата юных, в светло-розовых платьях девушек, чем на отца их. По Ордынке стоял народ, кричал ура… Автомобиль быстро скрылся из глаз…

Вел<икая> Кн<ягиня> и все присутствующие были довольны, что все прошло так просто, насколько было возможно, неофициально. Все недоумевали, почему не была молодая Императрица, однако скоро стало известно, что на другой день она обещалась быть.

К двум часам следующего дня снова были в Церкви. Государыня приехала в коляске. Опять та же церемония, что и накануне. Царица вошла такая пышная, красивая. 0<тец> Митрофан обратился к ней с приветствием. Начался краткий молебен. Во время него Императрице сделалось дурно: она быстро изменилась в лице и едва успели подкатить заранее приготовленное кресло, она тяжело опустилась в него, почти без сознания.

Общее смятение. Однако больная скоро овладела собой. Кресло медленно катили по церкви, остановили у правого клироса.

Началась невероятно томительная церемония. Императрица изможденная, хмурая, со вспыхивающим алым румянцем на щеках стала раздавать подходившим к ее руке печатное изображение Федоровской Божией Матери. Процедура эта длилась несказанно долго. Кто подал Царице эту несчастную мысль, зачем нужно было утомлять больную, мрачно, но терпеливо выполнявшую свою тяжелую обязанность. Все были рады, когда церемония кончилась и больная в своем кресле удалилась в покои Вел<икой> Княгини, откуда она никем не замеченная, не провожаемая уехала во дворец. У несчастной Императрицы не было дара привлекать к себе сердца людей. Недолго после этого Царская семья оставалась еще в Москве.

Помню *в тот день званый обед* у Харитоненко. Были директор Эрмитажа гр<аф> Д. И. Толстой, гр<аф> Олсуфьев и я с женой. Пили за мой недавний успех, за мое здоровье. Тогда же было окончательно решено, что я буду писать образа главного иконостаса в Сумской собор.

Перейду от Торжеств официальных к семейным. На 1-е июля была назначена свадьба моей Ольги с Виктором Николаевичем Шретером[426]. По летнему времени большинство наших московских знакомых и друзей отсутствовало, и свадьба могла быть немноголюдной. Приехала еще задолго из Уфы воспитательница Ольги — сестра моя Александра Васильевна. Из

Одессы приехали родные жениха: братья — красивые, рослые немцы, моложавый, элегантный отец и дядя. В день свадьбы обычная суета.

Ольга в подвенечном платье была на редкость хороша. Высокая, стройная, сосредоточенная, немного бледная, похожая на белую лилию. Венчание было в нашем приходе, в старинной церкви Риз Положения. Пятилетний Алеша был «мальчик с образом». Пел прекрасный хор. После венца — обед, шампанское, тосты. На мне была обязанность провозглашать их за присутствующих и отсутствующих немцев и немок. На особой бумажке были предусмотрительно помечены все тети Терезы, Эммы, Эмилии, дядя Густав и проч<ие>. Нужно было никого не забыть. И этого не случилось. С грехом пополам я вышел из этого, не свойственного мне положения. С утра поступали телеграммы.

Все радовались нашей радости, поздравляли молодых, желали им счастья, и тогда они, несомненно, казались счастливыми. Вечером поезд увозил их в Крым. На вокзале много народу, опять шампанское, множество цветов…

Мы с сестрой были довольны судьбой нашей Ольги, и казалось, что роль наша окончена. Месяца через полтора молодые должны были вернуться с тем, чтобы снова уехать, и надолго, за границу в Париж, в Лондон, где зять должен был работать над магистерской диссертацией. Вскоре в Москве на Донской не осталось никого. Я уехал к Троице писать этюды к своим «Христианам»[427], семья — в Березку, сестра — в Уфу, а немцы — в свою Одессу.

Пришла осень. Из Питера на жительство в Москву переехал Щусев. Постройка вокзала осталась за ним[428]. В то время казалось, что никто из наших архитекторов не чувствовал так поэзии старины, как Щусев. Рядом с ним Покровский (автор Федоровского собора в Царском Селе) был лишь ловкий компилятор.

Лето и осень прошли у меня в работе. Я написал много этюдов для задуманной Большой картины, хотя текущие заказы и отодвигали надолго ее осуществление. Были на очереди картина для Оболенской и образ для мозаики на памятник Столыпину, заказанный Щусеву.

В ноябре ко мне обратился Романовский юбилейный комитет[429] с предложением нарисовать для народного издания «Избрание Михаила Федоровича Романова на царство», которое должно было выйти в количестве миллиона экземпляров. Срок был дан короткий, сделать так, как я хотел, было нельзя, и я отказался.

Время от времени меня приглашала Великая Княгиня для

разных советов по поводу церкви. Однажды, вызванный туда, я нашел Вел<икую> Кн<ягиню> в обществе неизвестных мне дамы и свитского генерала. Нас познакомили. Дама и генерал были Князь и Княгиня Юсуповы… Они осматривали церковь, и я снова услышал похвалы ей.

Княгиня прошла со мной вперед и сообщила о том, что они собираются построить у себя в Кореизе новую церковь. Прежняя стара и мала. Проект согласился сделать Великий Князь Петр Николаевич, и они хотели бы заручиться моим согласием расписать ее. Вскоре Вел<икая> Кн<ягиня> и Кн<язь> Юсупов присоединились к разговору. Надо было что-то отвечать, а так как я про себя уже решил, что после Сумского собора и взятых раньше образов брать церковных заказов не стану, то и сказал это Юсуповым прямо и откровенно. Такого ответа, видимо, не ожидали. Они вообще нечасто получали отказы. Пробовали меня убеждать, предлагали подумать, дело ведь было не к спеху и т. д.

А все мои помыслы тогда были около «Христиан», и мне хотелось остаток жизни быть свободным, исполнить то, что не успел за постоянными и не всегда приятными заказами. Тогда я был материально обеспеченным и не было никаких оправдательных мотивов, чтобы брать новые обязательства.

Отказ мой был принят сухо. Едва ли им была довольна и Вел<икая> Кн<ягиня>…

Предложение Юсуповых не было последним в этом роде. Памятен мне еще такой случай: получаю я письмо от некоего графа Бенкендорфа. В нем просят меня написать образ на могильный памятник их ребенка. Отвечаю телеграммой, что заказа взять не могу. Однако дело этим не кончается.

Проходит сколько-то времени, ко мне на Донскую, не помню, из Курска или из Орла явились супруги Бенкендорф, молодые, некрасивые, но такие приятные. Оба враз спешат передать мне горестную повесть о том, какого прелестного мальчика-сынка они потеряли.

Вынимают фотографии действительно прелестного ребенка лет четырех-пяти. Супруги волнуются, перебивают друг друга, повествуя о том, что еще недавно, летом их мальчик веселый, ласковый, совсем здоровый бегал по парку… Тут вынимают фотографию мальчика в белом костюме среди белых лилий. Все это было так недавно. Чем дальше супруги уносились в своих воспоминаниях о своем недавнем счастии, тем они сами делались трогательнее. Я чувствовал, что их горе, их волнение передается мне — человеку постороннему.

Графиня спешно что-то вынимает, развертывает бумагу: они

привезли не только фотографии, но и тот беленький костюмчик, в котором он бегал последний день здоровый. Показывает все мне, вспоминает, что он говорил в тот день. Кончается все тем, что оба супруга не выдержали наплыва горестных чувств, разрыдались, рыдая утешали друг друга.

Успокаиваю, как могу, а сам думаю: «Не придется отвертеться от этого образа». А они не столько видят, сколько чувствуют мое положение, упрашивают меня, вновь говорят, что торопить меня не станут. Я сам назначу срок, они будут ждать хоть три года, тем более что задуманная ими часовня из белого мрамора, орнаментированная внутри, едва ли скоро будет готова. Они теперь же хотят обратиться к Щусеву, они надеются, что тот не откажет… Я чувствую «борьбу двух начал» — великодушия и малодушия, боюсь не устоять. На беду мою, художническое воображение начинает работать.

Мне уже чудится образ: умерший мальчик в своем беленьком костюме среди белых лилий встречает тоже в белом Христа. Он кладет на голову мальчика руку и тем как бы предопределяет его судьбу — райскую жизнь. Я неосторожно делюсь с молодыми супругами своими мыслями. Те снова готовы расплакаться. — Еще с большим жаром упрашивают меня не отказываться, — я не выдерживаю, сдаюсь.

Срок неопределенный. Размер — аршина два с чем-нибудь… В средствах не стесняются, они теперь одиноки, так дружны, так любят друг друга. — Костюм мальчика, все фотографии остаются у меня. Счастливые, успокоенные супруги оставляют свой адрес, прощаются, уезжают. Проходят дни.

Я не нахожу себе покоя, чувствую, что смалодушествовал, поддался слезам. Я не могу выполнить этот заказ. Ради него я уворовываю время, силы у своих «Христиан». Так проходит несколько томительных дней. Как-то встаю, — нерешительности как ни бывало. Пишу Бенкендорфам письмо, извиняюсь, отказываюсь от заказа окончательно. Запаковываю беленький костюм, фотографии, — все отправляю на почту. Я не слыхал потом, успели ли Бенкендорфы осуществить свою мечту..

Моя картина рисовалась мне все отчетливей, ярче, непреодолимо манила к себе. Купил холст, два семиаршинных отреза заграничной выделки. И не было тогда у меня лучших мечтаний, как о моих «Христианах». Мысли о них были моими праздничными мыслями…

1912 год приближался к концу. Наступило Рождество, святки, елка, домашний спектакль у Харитоненок, куда мы были приглашены всей семьей. Теперь, после обительской церкви, после слов Государя со мной были особенно предупредительны,

любезны. Надолго ли?

Житейский опыт подсказывал мне осторожность, и я был осторожен, памятуя рассказ о том, как кн<ягиня> Тенишева[430], одна из дам петербургского света, любившая возиться с артистами, художниками, всякого рода знаменитостями, однажды пригласила пианистку Софию Метнер к себе в Талашкино. Приглашение было принято. В Талашкине все было поставлено на ноги. К гостье был приставлен особый штат — камеристки, парикмахер… Красивая княг<иня> Мария Клавдиевна была предупредительна, мила, любезна. Самая изысканная лесть окружала артистку, и она охотно играла на великолепном Бехштейне. Завтраки, обеды, пикники сменялись излияниями двух прекрасных дам. Так шли дни в Талашкине.

Отдохнув от концертов, от столичного шума, артистка стала скучать, задумываться. Атмосфера незаметно стала меняться, повеяло холодком. Обе дамы насторожились. Гостья стала подумывать об отъезде. Княгине хотелось ее удержать. Обе избалованные: одна славой, другая миллионами… Однажды камеристка не явилась на звонок Метнер, раболепство слуг исчезло. Артистка заявила об отъезде, лошадей не дали. Прошло сколько-то времени, к княжескому дворцу подали таратайку, положили багаж артистки, и она, не простившись с княгиней, покинула Талашкино, проклиная «гостеприимство» красивой княгини.

Вернусь к Харитоненко. После елки предполагался спектакль. Жена с детьми поехала раньше, я позднее, к спектаклю. Елка была богатая, чудесные дорогие подарки. Наталье и маленькому Алексею досталось их рублей на сто. Чего-чего тут не было: и огромных размеров лошадь с санями, с бабой и мужиком отличной кустарной работы, и нарядная дорогая кукла, и многое другое. На другой день все было доставлено на Донскую.

В спектакле участвовала московская «золотая молодежь», разные доморощенные «дофины» и «инфанты». Среди них первенствовал «единственный», как томно называла мадам Харитоненко сына Ивана Павловича — Ваню Харитоненко. Народу набралось человек до трехсот. Москва титулованная и та, что «за кавалергардов» — именитое купечество со своими отпрысками. Были кое-кто из артистов, художников. Спектакль ставил артист Художественного театра талантливый, опытный Москвин. Хорошие костюмы, декорации. Спектакль затянулся. По окончании мы с женой хотели тотчас уехать домой, — не удалось. Намерение наше было открыто, пришлось остаться ужинать. Началось шествие к столу. Княгиня Щербатова взяла меня под руку, и судьба моя была решена… Огромная столовая, в ней

большой центральный стол и ряд малых, отлично сервированных, украшенных массой цветов. За нашим столом, кроме кн<ягини> Щербатовой и меня, были молодые Мекки[431], кн<язь> Щербатов и балерина Гельцер. Не скажу, чтобы я чувствовал себя в этом обществе, как дома. Салонные разговоры не были мне по душе. Однако как-то все обошлось благополучно. Хозяевами был предложен тост за мое здоровье. Часам к четырем ужин кончился, мы распростились, автомобиль доставил нас домой.

Харитоненко приглашали нас в свою ложу «на Шаляпина». Тем или иным способом они оказывали нам внимание. Как-то из Италии из Мессины мы получили два ящика прекрасных мандарин. Много курьезов, теперь позабытых, в годы между двумя революциями денежная Москва позволяла себе, не замечая ничего вокруг себя, веселиться напропалую. По своему характеру, по своим навыкам я далек был от такой развесело-изощренной жизни. Знал о ней больше понаслышке. Последний заказ Харитоненковский поставил меня впервые лицом к лицу к такому образу жизни, к такому быту.

И надо сказать, что мои заказчики далеко не были людьми худыми. Они были добры, внимательны к людям, им нужным, тратили огромные деньги на свои Сумы, на десятки учреждений, ими созданных. Правда, они были тщеславны, и за это дорого платили (доходы их в последние годы достигали четырех миллионов чистыми). Дочери их вышли замуж — одна за Светлейшего Князя Горчакова, внука Канцлера, другая за гвардейца Олив. Первый был очень красивый барин, второй оказался с большим характером. В большую копейку стало добрейшему Павлу Ивановичу его «камергерство», постоянное желание быть на виду.

Когда Н. П. Лихачев продал Государю свою прекрасную коллекцию икон, Павел Иванович Харитоненко предложил оборудовать по рисункам Щусева в музее Александра III особую палату для образов, подаренных Государем Музею…

Небескорыстная, вызванная тщеславием щедрость Харитоненок к своим Сумам была проявлена еще отцом Павла Ивановича — Иваном Герасимовичем, вышедшим из народа. Он своим огромным умом обогатил себя и сумел найти разумное применение накопленным миллионам: приюты, больницы, богадельни, училища гражданские и военные вырастали в Сумах одно за другим. Тысячи людей около Харитоненок нашли безбедное существование.

Город Сумы в воздаяние заслуг Ивана Герасимовича Харитоненко решил поставить ему монумент. Монумент этот был, как говаривали, оплачен чуть не полностью от щедрот своих

благодарным сыном — Павлом Ивановичем… Он же воздвигнул в Сумах великолепный собор, который мы со Щусевым призваны были украсить: я — своими образами, Щусев же делал для них раму-иконостас. Чтобы закончить характеристику этих тщеславных, но добрых людей, вспомню здесь слова Анны Андреевны, достойной жены Павла Ивановича. Когда им говорили, что такой-то их обокрал тысяч на сто, то эти толстенькие, маленькие супруги благодушно отвечали: «С кого же и брать, как не с нас!» Что скажешь против такого аргумента, достойного славных земляков их — Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны!

Легко и приятно проходила жизнь этих беспечных добряков. Они постоянно куда-то стремились, боясь запоздать туда, где было так называемое избранное общество, модная выставка или премьера. Они легко сходились с людьми, еще легче расходились. Дорого и мило им было то, что носило на себе клеймо успеха или моды. Они не были исключением в обществе начала XX века, как не были бы исключением во все века минувшие: напудренные парики дочерей стали бы розовыми или голубыми, природа же этих людей из века в век оставалась неизменной, и они, не ведая усталости, доживали до своего рокового часа.

Год такой трудный, хлопотливый для меня и все же счастливый, закончился.

В год напастей и болезней. 1913

1913 года начался прекрасной выставкой «Союза». Было на ней пол-Москвы. Под аплодисменты появился Шаляпин. Тогда впервые увидел я незаконченную, но живую и яркую бытовую картину покойного Рябушкина «Въезд посольства в XVII веке»[432]. Она вызвала много споров. Не всем были видны ее крупные достоинства. Чутье к старине — явление вообще не частое — в те дни почти вовсе было утрачено.

Выставки передвижников делались все слабее. Репин дал большую, сложную и неудачную картину «9-е января». Бодаревский, как говорили тогда шутя, был «светозарен». Дает же Господь столь младенческое разумение всего в мире сущего…

Прошел слух, что одна из больших картин В. Васнецова «Баян» приобретена в Русский музей за… тридцать тысяч, что потом оказалось преувеличенным вдвое. И то сказать, «Богатырей» Третьяков купил за шестнадцать тысяч. Вспомнились времена, когда Васнецов после долгого торга был вынужден отдать свою «Аленушку» Анатолию Ивановичу Мамонтову за… пятьсот рублей в рассрочку. Было и нечто похуже: Савва Иванович Мамонтов когда-то, на заре деятельности Васнецова, за заказанных Виктору Михайловичу «Трех царевен», самую «васнецовскую» из сказочных вещей мастера, отказался уплатить ему условленные пятьсот рублей. Позднее, после Владимирского собора «Три царевны» были приобретены Иваном Николаевичем Терещенко действительно за пятнадцать тысяч рублей. Ходили слухи о «Баяне», что при возвращении его с Римской выставки он был прорван, и не совсем нечаянно. В «Баяне», быть может, впервые обнаружилось, что прежнего Васнецова мы больше не увидим.

В начале января я хорошо простудился и надолго слег в постель. Сначала была просто инфлюэнца, потом появилось что-то в легких, высокая температура. Моя болезнь держала меня в постели. Пришлось отказаться от ряда работ. Помнится, по болезни не состоялось в те дни мое знакомство с философом Львом Михайловичем Лопатиным — другом Владимира Соловьева.

Мой доктор-немец приезжал ко мне часто, смотрел на меня, улыбался, говорил, что я молодец, что все «очено каряшо», что у меня ничего серьезного нет, брал десятирублевку и уезжал, а я все лежал да лежал. Немец опять приезжал, такой розовый, рыжий, веселый, говорил то же, находил, что у меня повторная инфлюэнца, прописывал кучу лекарств и снова исчезал.

Температура то поднималась, то спадала…

Долгое лежание сделало меня нетерпеливым, раздражительным. Однажды было такое: почему-то я долго оставался у себя один. Надоело одиночество, позвонил, — никто на звонок не пришел. Позвонил еще, нет никого, позвонил еще и еще, — не идут. Тогда я стал яростно надавливать кнопку, — ни привета, ни ответа. На столе лежал старый мой, еще каприйский этюд, написанный на крепкой, как кость, лимонной доске. Хватаю эту доску и неистово стучу ею в стену. Мигом, в испуге, сбежались ко мне со всей квартиры домочадцы.

Оказалось, что перед тем, как мне позвонить, испортились почему-то звонки, мой отчаянный призыв никто не слыхал.

В дни моего вынужденного отдыха я часто писал к своему приятелю, хотя и знал, что от него, более чем от кого-либо из близких моих, сокрыта самая значительная область моего существования, сокрыта окончательно и навсегда[433]. Та область моей души или духа, которая и была источником моего творчества, — «Варфоломея», «Димитрия Царевича» и других моих картин. Этот уголок моей природы, моей творческой души знали очень немногие — двое, трое. Знала о ней покойная мать, догадывалась Леля Прахова, да милый Сергей Николаевич Дурылин.

Наконец, я стал поправляться. Силы восстанавливались, пробуждалась энергия, жажда деятельности. Я встал со своего «одра болезни» и принялся за эскизы образов для Сумского собора. Они, по мнению видевших их, выходили интереснее обительских. Супруги Харитоненко часто заезжали ко мне. Однажды я показал им сделанные эскизы. Пришли, можно сказать, в неистовый восторг. Не только сам Павел Иванович, любивший расточать поцелуи, начал обнимать меня и целовать, но и мадам попросила разрешить облобызать меня и, недолго думая, весьма экспансивно привела свое намерение в исполнение. Я от неожиданности смутился и едва успел найти пухлую ручку, чтобы, в свою очередь, принять посильное участие в столь неожиданных проявлениях чувств… Тогда же была куплена у меня Харитоненками картина «Тихая жизнь», а Павел Иванович самодовольно говорил, что ни у кого из частных коллекционеров Нестеров не был так представлен, как у него[434].

Приближалась весна. Март был на дворе. Прилетели грачи. Надо было подумать и о том, где провести лето. Неожиданно пришли дурные вести из Уфы. Тяжело заболела сестра. Пришлось спешно ехать к ней. Оказалось, что уже несколько месяцев как появился у сестры рак желудка. Больная не сознавала, что жизнь ее в опасности. Я послал телеграмму за границу дочери и зятю.

Уход за больной был заботливый, и пока что мое присутствие в Уфе необходимо не было. Я вернулся в Москву, где заболел маленький Алексей скарлатиной.

Вел<икая> Княгиня, узнав о моих напастях, предложила взять нашу Наталью к себе в Обитель и поручила ее там одной из обительских сестер. Жилось нашей девочке в обители прекрасно, вернулась она домой довольная, долго еще вспоминала об этом времени с большим удовольствием. Отпуская Наташу домой, Великая Княгиня подарила ей на память красивую безделушку от Фаберже[435].

Между тем здоровье сестры, улучшаясь временами, быстро ухудшалось. В половине апреля я снова был в Уфе. После консилиума, исполняя желание больной, я перевез ее в Москву, поместил в одну из лучших тогда лечебниц Евангелического общества. Новый консилиум обнаружил наличие рака желудка — положение было признано безнадежным. К тому времени из Парижа в Москву вернулась моя дочь с мужем, и на их долю досталось отвезти больную в Уфу, о чем она сейчас мечтала. Там дочь и зять оставались до конца дней нашей больной.

Снова пошли то улучшения, то ухудшения болезни. То появлялась надежда, что родное солнышко, наш сад исцелят ее, то тяжкий недуг брал свое. Не спеша, но верно дело шло к развязке. Для всех было очевидно, что пройдет месяц-другой, и солнце днем, а звезды ночью перестанут светить усталым глазам. Узнают ее друзья-башкиры по своим деревням, что не стало той, кто так самоотверженно отнимала их у голодной смерти. Помянут ее добрым словом — в этом и была ее земная слава.

Жена с детьми переехала на лето в Киевскую губернию, в любезное нам Княгинино. Я решил ждать в Москве или у Троицы призыва в Уфу. Закончил вчерне образа для Сумского собора… В те дни С<ергей> В<асильевич> Малютин написал с меня давно задуманный портрет, позднее приобретенный в Третьяковскую галерею[436].

Вести из Уфы были все хуже и хуже. Со дня на день ожидал я вызова туда. В начале июня пришла телеграмма. Силы больной быстро падали. Я спешно выехал в Уфу, где застал приближение конца. Сестра чувствовала это, томилась. Она давно сделала свои распоряжения. Тяжело ей было расставаться со своей любимой воспитанницей — моей Ольгой, в те дни заботливо за ней ухаживающей. Сестра, узнав и полюбив зятя, мужа Ольги, могла быть спокойна, что он сделает все, чтобы ее Олюшка была счастлива, и все же самое тяжелое — было расставание с ней, с этой Олюшкой.

Часы шли, конец близился. Все, начиная с бедной больной,

были измучены. За неделю до смерти под влиянием морфия и других наркотиков больная стала терять память. Часто засыпала. Страдала сильно, но еще более сильная воля не давала страданиям властвовать над собой. Дня за два, видя кругом усталые лица, сказала: «Потерпите день-два, конец теперь скоро. Я это чувствую». Она соборовалась, причастилась.

Утром в день смерти доктор сказал, что до ночи больная не доживет. Скоро началась агония. Мы, близкие, окружили постель. Сознание покинуло ее, жизнь покидала измученное тело. Я взял альбом и успел сделать два-три наброска. Наступил конец. Сестры Александры Васильевны не стало[437]. Начались часы и дни приготовлений к похоронам, шли панихиды. На них перебывало много уфимцев, знавших сестру, уважавших ее за большой характер, за прямолинейную честность, за все то, что делала она для других, делала так скромно, без показа и позы, не жалея своих сил. Похороны были многолюдны. Могила сестры была рядом с могилой отца. Имущество свое, движимое и недвижимое, сестра отказала моей Ольге, в которую вложила всю нежность, всю пылкость своей большой души.

Болезнь сестры и печальный ее исход произвели на меня впечатление исключительное, убедительно-реальное. С ее смертью я потерял последнего близкого человека, очевидца, свидетеля моего жизненного пути с раннего детства, с нашего родного гнезда, до последних лет моей художественной деятельности, с ее успехами и неудачами. С ней сладко было вспоминать далекое детство, все то, что было и чего уже не будет. Как бы ни были добры и ласковы оставшиеся, они никогда не поймут и половины того, что было понятно нам двоим с полуслова. Старые приятели также не заменят мне никогда умной, серьезной и так преданной мне сестры.

Недолго оставался я тогда в Уфе, уехал на хутор к семье, оттуда в Ессентуки и Киев на открытие памятника Столыпину.

Торжество открытия памятника прошло при большом многолюдстве, но без участия кого-либо из Царской фамилии, как то предполагалось. Вышло торжество партийное, октябристское. Приехал Гучков, Балашов и еще кое-кто из октябристов-депутатов. Правительство было представлено преемником Столыпина — Коковцевым. Около его неяркой, чиновничьей фигуры и сосредоточились все торжества, связанные с открытием памятника…

Помнится и в семье господ октябристов было не все ладно. Кому-то что-то недодали, кто-то по этому случаю не «выступал», или «выступал», да не по церемониалу. И здесь, как всегда у нас, было разногласие.

В те дни была торжественная служба по покойном в Лавре.

На могиле был освящен временный памятник — мраморный черный крест с моим образом «Воскресение». Затем был открыт памятник Столыпину на Крещатике, поставленный спиной к Думе, лицом к популярной кофейне Семадени. Памятник был сделан скульптором-итальянцем, автором монумента Александру II и такой же слабый, как последний. Такими «Кавурами»[438] полны небольшие площади итальянских городков.

Большой намогильный памятник Столыпину сооружался, по проекту Щусева, в виде кивория из белого мрамора с мозаическим образом. Он еще не был готов. Революционная стихия не только помешала его постановке, но и уничтожила и тот, что был поставлен на Крещатике.

Еще летом Грабарь задумал перевеску картин в Третьяковской галерее, и я, не зная завещания Павла Михайловича, в котором ясно была выражена мысль — не изменять после его смерти ничего, сочувственно отнесся к этой затее Грабаря, тем более что многие из художников при перевеске выиграли. Эта проба, как тогда мне казалось, была удачной. Однако дальнейшее разрушение изменило мое оптимистическое отношение к плану Грабаря, и я скоро встал в ряды тех, кто справедливо протестовал против нарушения последней воли основателя знаменитой галереи.

Осенью я был в Петербурге на заседании общего собрания членов Академии. Председательствовала президент Академии Великая Княгиня Мария Павловна. Я в тот раз окончательно примкнул к правой группе Академии. Слева сидели все те, что получали свои «директивы» от мирискусников. У нас справа было скучновато, слева же слишком уж бойко. Центр был ближе к Президентскому креслу.

В Москве в ту осень открылся еще один театр, так называемый «Свободный»[439]. Некий помещик, любитель театрального дела, обремененный лишними миллионами, задумал потешить себя и других. Кликнул клич, и скоро около тароватого барина стало тесно. Сомов сделал чудесный занавес из разноцветных лоскутков. Были в нем и Арлекин, и Коломбина, все то, чем богат сам Сомов. Заиграли, затанцевали и запели на сцене Свободного театра актеры. Помещик кричал «Наддай!» Поставили «Прекрасную Елену». Опять на сцене модный Сомов, стиль маркизы вместе с «Belle Helene»[440], с Буше, с Ватто. Столь же красиво, как и скучно. Особенно скучно тем, кто помнил времена, когда на оперетку смотрели просто так, как на нее смотрел веселый Оффенбах, как когда-то давно играли у нас в Москве «Прекрасную Елену» Запольская, Волынская,

несравненный комик Родон. Тогда это не была «траурная месса», какую преподнесли публике скучающий помещик, изощренный Сомов и г<оспода> «сатириконцы».

Зимой того года был у меня приобретен для Галереи портрет-этюд Л. Н. Толстого вместе с небольшой картинкой — вариантом «Христовой невесты». С портретом Толстого я расстался неохотно, так как он был написан мной с определенной целью, как этюд для большой картины «Душа народа», куда Толстой должен был войти как один из ищущих Бога живого.

Тогда появился новый журнал «София». От «Софии» ждали многого, однако жизнь журнала была скоротечной[441].

Последние месяцы я работал с большим напряжением над образами для Сумского собора. Образа Харитоненкам нравились.

На Рождество были открыты обычные выставки. Передвижная была унылая. «Новые владельцы» Богданова-Бельского — «Вишневый сад» без его поэзии, без того трогательного, что у Чехова смягчает жесткую тему.

С музыкой и помпой открылась выставка «Союза». Хорошо изучив своих «клиентов», союзники поражали ум своей публики огромными ценами, особым подбором имен, тем, размеров картин. В сущности, эти выставки последние годы перед событиями 17-го года превратились в хорошо поставленный магазин с Кузнецкого моста. Множество коровинских «букетов», по тысяче за каждый. Дороговато, но так мило.

Так закончился 1913 год. Мы подошли к 1914-му, навеки памятному для Европы, а для нас — беспечных россиян — в особенности.

«Страшный сон». Россия в 1914-м

Год у меня начался поездкой в Петербург, где в то время открылась посмертная выставка Серова. Эта прекрасная выставка, устроенная Грабарем, дала возможность обеспечить семью Серова. К пенсии, данной Государем семье Серова, прибавилась крупная сумма. Выставка позднее повторилась в Москве, показала значение Серова как серьезного мастера-западника[442].

В те дни я получил письмо от моего приятеля, желавшего знать, как я отношусь к современным левым течениям, к коим не благоволил он.

Я отвечал ему, что, несмотря на приемы и методы моих приятелей, Русское искусство и искусство вообще в последние годы «отдыхает», отдыхает от тяжких трудов художественной мысли, напряжения творчества и серьезной учебы — отдыхая, молодеет и крепнет и в избытке новых сил пока что «разминает косточки», а подчас впадает в озорство и даже буйство… Но все это минует, и искусство возродится в новых формах (пока неведомых), появятся яркие краски, по которым многие стосковались, и новые художественные теории, мысли.

Современные художники, — писал я, — «это люди средних лет, поработавшие изрядно, а некоторые и преизрядно (как К. Коровин с его удивительным живописным талантом, с его „откровениями“ в области театральных постановок).

Эти — средних лет молодые люди, сознавая свои *права на отдых,* разлеглись теперь на солнышке, и греются, и нежатся тебе на зло, себе на утеху. Ты злишься без всяких прав на злобу, на строгую критику…

Я смотрю на все спокойней только потому, что опытом всей жизни *знаю, как трудно,* как много надо положить таланта, настойчивости, труда для того, чтобы быть тем, чем стали все эти господа. Они дали все, что могли дать и едва ли что утаили от нас. Спасибо им за это, как и всем, кто не зарыл своих даров в землю…

Не этика и не профессиональная дисциплина, а опыт и знание нашего дела заставляют меня относиться снисходительно ко многому, что я вижу, конечно, не хуже тебя»[443]. Вот что думалось и писалось мной тогда о художестве и художниках-модернистах среднего возраста.

Весна прошла за работой над окончанием иконостаса для Сумского собора[444]. Устал, ездил отдохнуть в Киев. Вернулся, был у Троицы, в скиту видел похороны знакомого монаха, с которого раньше был написан этюд для большой картины. Монах

был суровый. Красивый, стройный погребальный обряд. Пахнуло XVI веком. Ни одной слезы, ни одного внешнего проявления печали.

Вел<икая> Кн<ягиня> Елизавета Федоровна еще раньше, зимой высказала предположение устроить при большом храме малый, а в нем усыпальницу для себя и тех сестер обители, кои первыми приняли посвящение. Я неоднократно приглашался для обсуждения такого проекта. Было постановлено летом 1914 года приступить к работам.

Пользуясь тем, что во время [работ] богослужения в большом храме не будет, я задумал осуществить свое намерение сделать в храме некоторые живописные дополнения: расписать купол, прибавить орнаменты по аркам. Мысль мою Великая Княгиня одобрила, и скоро в церкви вновь появились леса, и я стал часто бывать на Ордынке.

Усыпальницу также предположено было покрыть живописью. Для этой цели я рекомендовал Великой Княгине моего помощника — Павла Дмитриевича Корина, к тому времени успевшего проявить себя как художник с самой лучшей стороны. В куполе был мною написан Господь Саваоф с Младенцем Иисусом и Духом Святым по образцу старых образов. Орнаменты исполнял тот же Корин. Почти все лето пошло на эти работы. Усыпальница дала Корину возможность показать, что в нем таится. С большим декоративным чутьем он использовал щусевские архитектурные формы. Он красиво, живописно подчеркнул все, что было можно, и усыпальница превратилась в очень интересную деталь храма. Вел<икая> Княгиня осталась очень довольна. Корина благодарила.

Павел Дмитриевич в то время был уже в Училище живописи и мечтал об Италии. Этого серьезного юношу манил к себе Рим с Ватиканом, с Микеланджело, Рафаэлевы станцы…

Это последнее лето работ в обительском храме я также вспоминаю с хорошим чувством. Вел<икая> Кн<ягиня> часто заходила к нам. Однажды, в часы завтрака, я был на лесах в трапезной, что-то переписывал или добавлял в большой картине «Путь ко Христу». Жара стояла страшная. Я скинул блузу и в таком виде слез вниз посмотреть на сделанное и тотчас же заметил, что в боковую дверь вошла Вел<икая> Кн<ягиня>, взглянула в мою сторону, заметила неисправность моего костюма, и, смущенная, поспешно прошла в сторону. Я мгновенно был на лесах, наскоро оделся, сошел вниз, через некоторое время, «как ни в чем не бывало» беседовал с высокой посетительницей.

Сумские образа были окончены. Об этом знала Великая Княгиня и как-то выразила желание видеть их в моей мастерской.

На этот раз моя семья была в Москве, а потому прием Великой Княгини не представлялся особенно сложным. Та же Донская, выметенная начисто, тот же городовой в белых нитяных перчатках, то же оживление в окнах ближних домов.

Вел<икая> Кн<ягиня>, как и в первый раз, была с сестрой Гордеевой и теперь, знакомая с моей семьей, она была ласкова и внимательна со всеми моими домочадцами. Оставаясь у меня более часа, она с большим вниманием осмотрела как новые образа, так и то, что не видела у меня раньше, причем высказала желание, чтобы я устроил свою выставку в Англии. К этой теме она возвращалась и позднее, входя в подробности такой выставки. Разговор этот как бы обязывал меня раньше приняться за большую картину («Душа народа»).

Из Уфы мне писали о желании Земства приобрести мою усадьбу. Это и окончание Аксаковского Дома заставляло меня подумать о поездке на родину. Свою поездку я приурочил к годовщине смерти сестры. Моя Ольга с мужем были в Европе. Зять работал в библиотеках Германии над диссертацией на магистра…

В начале июня я был в Уфе, осмотрел Аксаковский Народный дом, специальное помещение в нем для будущего художественного музея, для принесенной мною в дар городу коллекции картин, а также выяснил, на каких условиях Земство желает купить мою усадьбу. Впервые в Уфе остановился я не в своем доме, где жили тогда квартиранты, а в гостинице.

В Уфе по газетам узнал о смерти П. И. Харитоненко в Сумах. Перед самым своим отъездом из Москвы Харитоненко принял от меня оконченные образа, расплатился со мной, был бодр, весел, молодец, несмотря на свои «за шестьдесят». Еще незадолго перед тем он проехал шестьсот верст на автомобиле. Не стало добродушного Павла Ивановича, оставившего огромное состояние, до ста миллионов.

Из Уфы я попал в Княгинино, где в то лето жила моя семья. Погода стояла жаркая, урожай был прекрасный. Абрикосы, сливы, персики, разнообразные сорта вишен в огромном количестве были в нашем хуторском саду. Всю эту благодать возили в Смелу на базар возами. Я принимал солнечные ванны, для чего в полдень забирался в глубь сада. Ленивая истома наполняла воздух, кругом все цвело, произрастало, славило Бога. Тихие, благоуханные вечера, душные ночи, множество сверкающих звезд… Благодатный край!

В одну из таких украинских ночей приснился мне сон. Вижу я себя на Волге, где-то между Нижним и Казанью. Не то в Чебоксарах, не то в Козьма-Демьянске. Начинается непогода.

Далеко прогремел гром, облака сгустились, нависли над рекой. Солнце спряталось. По Волге забегали «барашки». Темнеет, еще удары. По холмам справа зашумел сосновый бор. Быстро надвигалась черная туча. Сверкнула молния. Где-то по Заволжью прокатился гром. Дождь полил. У самого ближнего берега Волги справа вижу деревянную часовню с куполком. К часовне с берега перекинуты сходни, такие как бывают от берега к пароходным «конторкам». На берегу у часовни стоит столик, на нем огромный старого письма «Спас». Перед Ним теплится множество свечей. Пламя, дым от них относит в сторону ветром. Однако, несмотря ни на дождь, ни на ураган, свечи горят ярким пламенем. Тут же слева от часовни стоит старая, старая белая лошадь, запряженная в телегу, а головы у лошади нет. Она отрублена по самые плечи, по оглобли с хомутом и дугой. С шеи на землю капает густая темная кровь: кап-кап, кап-кап. Целая лужа крови. Земля стала красная, темно-красная. А Волга все шумит, гром грохочет.

Проснулся — светает. Где-то перекликаются птицы. Смутно, тяжело на душе. Долго не мог позабыть я «страшный сон». Зарисовал его акварелью в альбом.

В то лето часто шумной молодой толпой приезжали Яшвили, гуляли, пили чай и кто верхом, кто в экипажах возвращались к себе в Сунки. Дни бежали… Вот и пятнадцатое июля — престольный праздник Владимира Святого в Киевском Владимирском соборе. В Сунках тоже праздник — именинник молодой Владимир Яшвиль — студент Киевского университета, пылкий юноша. В тот год он проводил день своего Ангела в Петербурге у родных. Все были у обедни, собирались к вечеру приехать к нам на хутор.

После обедни жена узнала от Яшвилей новость: утренние газеты были необычны, чудилось что-то неладное, надвигалась беда. После убийства Эрц-Герцога Фердинанда в воздухе запахло гарью[445]. Слухи сменялись одни другими. Положение было неопределенное, выжидательное. Однако было ясно, что «не все благополучно в Датском королевстве». И вот, в газетах, полученных в Сунках утром 15-го июля 1914 года, сообщалось, что в Европе не все ладно. Об этом шли тревожные разговоры после обедни. Вечером на хутор понаехало много гостей и говорилось в тот памятный вечер только о том, что узнали утром: ни о чем другом говорить и думать не хотелось. Слово «война» было у всех на устах. Хотя надежда, что грозная туча минует, нас не покидала.

Все уехали, а думы о войне остались. Что ни день то тревожнее становилось в воздухе. Ни дать, ни взять как в недавнем моем сне на Волге перед бурей. Недоставало белого

коня с отрубленной головой, с лужей крови на земле. Новые газеты принесли нам весть, что война между Россией и Австрией была объявлена.

Событие величайшего значения совершилось. Вслед за Австрией объявила нам войну Германия, и ее войска вступили в наш Калиш, и тут впервые пролилась русская кровь. И сколько ее пролилось с тех пор…

Война застала моих Ольгу с мужем в пределах Германии. Лишь после необычайных трудностей они вернулись в Россию через Данию, Швецию, Финляндию. Дома зятя ожидал призыв в действующую армию как запасного артиллерийского офицера. Он должен был выступить со своей бригадой в ближайшее время в поход. Все было готово, как получили уведомление, что он, как штатный доцент, мобилизации не подлежит.

Между тем, события развивались. Вильгельм неистовствовал, грозил то тем, то другим. Сулился через неделю «завтракать в Париже» и многое в этом роде.

Петербург волновался, настроение было повышенное, буйное. Выбили стекла в новом здании Германского посольства[446], кого-то там убили. С крыши посольства толпа стащила бронзовых коней со всадниками, потопила их в Мойке. Москва не отставала от Питера, громила немецкие магазины, фабрики, также не обошлось без убийств.

Вместе с тем шла, кипела огромная работа, спокойная, деловая. Государем был издан приказ о запрещении продажи спиртных напитков. Пьяных стало меньше, постепенно они исчезли с московских улиц. Все были серьезны, заняты исполнением своего долга.

Я искренно жалел, что не могу принять в этом большом деле прямого участия. Семье пришлось с хутора уехать раньше предположенного, так как, по слухам, там должен был пройти «тыл армии». В начале августа все мы были в Москве. Столица ожидала приезда Государя.

Месяц с небольшим, как началась война, а уже погиб Самсонов. Россия пережила битву при Зольдау, напомнившую по своим ужасным последствиям давно минувшую битву при Седане[447]. Однако падать духом было рано… В те же дни генерал Рузский взял Галич, Львов. Кому-то пришла в голову мысль внушить Государю переименовать Санкт-Петербург в Петроград. Создание и деяние Великого Петра, связанные с этим именем, были позабыты.

Умер восьмидесятишестилетний император Франц-Иосиф. Незадолго перед тем мне снилось: старый немецкий город, не то Нюрнберг, не то Гейдельберг, город с красными черепичными

крышами, с причудливыми фасадами старинных зданий на старинных узких улицах. На одной из таких улиц, на двух ее противоположных домах, на оранжево-красных черепичных крышах, на высоких трубах сидят два огромных Царственных орла. Медленно они вращают своими круглыми, желтыми зрачками, сидят, озираются, охорашиваются. На головах обоих Короны. У одного — старинная Корона Габсбургов, на голове другого — Гогенцоллернов. Так длилось минуту. В следующий момент поднялся страшный вихрь, столб пыли, камней взвился к небу. Поднялись, высоко взлетели орлы, затем стремительно упали вниз и, падая, были такие жалкие, ощипанные, с мокрыми, редкими перьями, без Корон на головах…

Я проснулся взволнованный и подумал: какой странный, вещий сон.

Никаких Мининых, никаких Пожарских не было видно. На их месте красовался Александр Иванович Гучков. У французов не видно было Гамбетты[448]. Вместо него на «Блерио» летал авиатор Пегу, а немцы ему навстречу слали свои цеппелины, громили Нотр-Дам, Реймский собор, обесценивали культурные ценности старого мира. Тут же красивая романтическая фигура молодого короля Альберта была душой своего социалистического народа[449]…

Да, думалось ли мне, что на склоне дней своих придется мне быть свидетелем героической эпопеи, услышать о новой битве народов, видеть участников этой гигантской ненужной битвы.

Тысячи тогда привозили к нам в белых вагонах императорских и просто санитарных поездов этих героев. Тихие, усталые от подвигов, больше того, от страданий, страшных потрясений, они вливались в недра обеих столиц. Развозили их и по всей земле нашей. Нам удалось взять двоих. Заботы о них хоть немного заглушали то острое чувство обшей нашей вины, какой была полна душа.

Шел сентябрь. Стояли чудные дни. Я поехал к Черниговской, оттуда по Волге проехал снова в Уфу. Надо было кончать дело с продажей моей усадьбы Земству. Оставался в Уфе недели полторы. Аксаковский Народный дом был окончен. Открытие его пришлось отложить до окончания войны… К тому времени памятники отцу, матери и сестре были поставлены, и я, распрощавшись с живыми и мертвыми, уехал из Уфы, на этот раз навсегда.

Война продолжала удивлять мир своей жестокостью. Особенно тогда, казалось, люты были немцы. Поставленная ими цель выполнялась с удивительным искусством, единодушием и цинизмом. Их гений, их знания, средства — все было отдано

войне. Забвению был предан былой идеализм, быть может, с тем расчетом, что когда война кончится, враг будет у ног, тогда она — Германия — снова начнет насаждать у себя всякие блага — возьмется за просвещение, философию, поэзию, искусство.

Вильгельм тогда многим казался символом победоносной Германии. Он был как бы зеркалом немецкого народа, отражением его стремлений и всяческих вожделений. Немцам тогда мерещилась новая Аллея Побед, а потом уже новые Гёте, Вагнеры, Гумбольдты…

Немцы были под Варшавой, а у нас в тылу, по медвежьим углам толковали о взятии Перемышля, о том, что враг отражен…

У меня на Донской тем временем шла своя работа: я оканчивал последний эскиз к «Христианам» и собирался приступить к самой картине. Мне казалось, что в композиции ее я добился полноты, что в ней все продумано, толпа двигалась, жила. Лишнего ничего нет. Эпиграфом к картине решил взять евангельские слова: «Кто не примет Царства Божия, как дитя, тот не внидет в него».

Военные телеграммы оповестили, что Турция присоединилась к воюющим державам, что «Гебен» бомбардирует Новороссийск и Феодосию[450], что теперь надо было побеждать и «Турку», а при разыгрывающихся аппетитах, пожалуй, и нам захочется пообедать в Константинополе.

В октябре я поехал в Киев. Он жил тогда деятельной жизнью тыла армии. Мои знакомые дамы и девицы работали по госпиталям, дежуря там с утра до ночи. Многие были на передовых позициях. Некоторые, еще недавно такие избалованные, изнеженные, праздные, сейчас с огромным самоотвержением несли тяжелые обязанности, работая иногда под огнем. Эти неженки сами стирали белье, сидели на одном хлебе, теснясь по сорока душ в одной хате.

Некая «Мушка Г. Л.», у которой после нескольких месяцев счастливого замужества был убит муж, едва пережив потерю, работала теперь в Галиции, в лазарете под Ярославом, по двадцать часов в сутки. Она вместе с армией, в ее гуще, отступала от Ярослава. За ее автомобилем с ранеными взорвали мост через Сан. Теперь эта Мушка Г. выглядела отлично, была полна энергии, ее рассказы дышали жизненной правдой очевидца.

Мужчины — недавние барчата — работали под огнем. Мои друзья показывали мне ряд киевских госпиталей. В них видел я неописуемые страдания, и будь прокляты всякие человеческие истребления!

Тогда, как и в войны предыдущие, бранили интендантство. Господа интенданты, несмотря ни на какие угрозы, до расстрелов

включительно, не унимались.

В Киеве я узнал, что молодой Яшвиль, ушедший добровольцем, взят в плен, а его мать работала в одном из самых больших госпиталей на шестьсот человек, бывшем при старом Кирилловском монастыре.

Возвратившись в Москву, я написал картину «Раб Божий Авраамий». На фоне елового молодняка, на опушке, у озера стоит старый, согбенный раб Божий. Стоит и взирает на мир Божий, на небо, на землю, на лужайку с весенними цветами, радуется тому, сколь прекрасно все созданное Царем Небесным. Небольшая тема, небольшая картинка…

В Москве было выставочное оживление. Большинство из художников свой сбор предназначало на помощь раненым воинам… На эти выставки художники охотно несли свои картины, эскизы, этюды. Вырученные деньги вносили в разные Комитеты, пункты для сбора пожертвований. А так как моих вещей на художественном рынке было мало, то все, что я выставлял, скоро раскупалось, и деньги шли по назначению[451].

Раненые, взятые нами, скоро поправились, покинули нас, новых давать перестали, так как целые лазареты, хорошо оборудованные, открывались один за другим. Делалось это на частные средства, как единолично, так и коллективами, квартирантами больших домов.

Как-то Щусев пригласил смотреть большую модель Казанского вокзала, тогда как самое здание уже было выведено вчерне по верхний карниз так называемой Сумбекиной башни. Николаевский вокзал перестал казаться большим.

Так очутились мы накануне нового 1915 года, не менее страшного, чем год минувший.

Начало работы на «Большой» картиной. 1915

Начиная с Нового года, наряду с выставками, цель которых была помощь нашему воинству, открывались выставки обычные: Передвижная, Союза русских художников и другие.

На Союзе Суриков выставил свое «Благовещение». Оно не поражало зрителя так, как Суриков мог это делать в старые годы, и все же его «Благовещение» не было обычным. Особенно сильно были задуманы фигуры и лицо Богоматери, такое доверчивое, естественное, живое; именно так Матерь Божия могла смотреть на дивное видение, посетившее Ее. Архангел Гавриил — юноша сильный и прекрасный. Лучшее же в картине — ее тон, звучный, опять напоминающий любимого Суриковым Тинторетто. Газетчикам «Благовещение» не понравилось.

Были на выставке хороши Малютин, Архипов и праздничный, нарядный Костя Коровин[452].

На Передвижной Юрий Репин дал «Бой под Тюриниеном», и его не похвалили тогдашние писаки, а, между тем, дух захватывало от картины несчастного для нас боя.

Молодой Репин делал вас как бы участником этого боя, в нем был истинный трагизм.

В конце января я был в Петербурге. Вернувшись, начал небольшую картину «Сестры». На Волге, в скитах, встретились две сестры. Одна — радостная, светлая, другая — сумрачная, обреченная. Написал еще «Одиноких» — две девушки бредут каждая со своими думами. Написавши «Одиноких», принялся за давно задуманную «На земле мир…». Где-то на далеком Севере, на Рапирной Горе, у самого «студеного» моря живут Божьи люди. Сидят старцы, ведут тихие речи. Лес, светлое озеро, голубая мгла далеких гор. Неспешно живут старцы. Кругом поют птицы. Здесь их не трогают. Вот лиса выбежала на опушку, смотрит на старцев, а старцы на нее улыбаются. Прекрасен мир Божий. Как не быть «в человецех благоволения…».

С удовольствием писал я своих старцев, а когда понадобилось, охотно и повторил их.

К большой картине, к «Христианам» все было готово, пора было приниматься за картину…

На выставке того года позабыл отметить коненковскую «Русскую Психею»[453]. Какое великолепное создание талантливого мастера, едва ли не лучшее за все долгие годы упадка нашей скульптуры! «Русская Психея» сработана Коненковым из

любимого им материала — дерева, слегка подкрашенного. Она не была приобретена ни одним из наших музеев. Тогда говорили, что Грабарь — директор Третьяковской галереи — не взял статую только потому, что Коненков был «не их прихода». Он не был мирискусником. Причина, знакомая многим… Вспомнился незабвенный Павел Михайлович Третьяков. Как много ему, его беспристрастию обязано Русское искусство!..

Пришло известие о смерти Витте. Думается, при иных условиях, при твердой руке Императора Александра III из Витте вышло бы другое, более ценное, морально устойчивое, чем при слабохарактерном Николае II.

В начале марта был взят Перемышль. Генерал Иванов, этот «мужичок-полевичок», говорил, что под Перемышль на бойню людей посылать не стоит, и он туда их не пошлет. Перемышль, как нарыв, назреет и сам прорвется. Так и вышло.

В Москву приехала вернувшаяся из Австрии княгиня Яшвиль, командированная туда по Высочайшему повелению для осмотра лагерей с нашими пленными. Наталья Григорьевна была у нас, порассказала немало интересного. Ее наблюдения, характеристики были ярки. Я помню две-три: генералов Иванова, Брусилова и Леша.

Генерал Иванов встретил Н. Г. Яшвиль у себя в ставке утром запросто, в туфлях, в старом военном пальто вместо халата. Выслушав, сделав свои распоряжения, пригласил ее к чаю. В его комнатке кипел самовар, чай был жидкий, спитой. Посидели, попили чайку, поговорили о делах.

Николай Иудович не терпел возле себя светских, титулованных штабных, им неохотно доверял. Его правой рукой был генерал Алексеев[454], человек ума необычайного. Алексеев был «головой» армии, Иванов же был ее «сердцем». Николай Иудович мечтал по окончании войны постричься в рядовые монахи.

Наталье Григорьевне в те дни генерал Иванов казался каким-то народным символом: главнокомандующий огромной армией, из простых крестьян, богомольный, жалостливый, похожий на «Св<ятую> Русь», какой почитали мы тогда нашу Родину.

Генерал Брусилов ничем не был похож на генерала Иванова. Светский, сдержанный, сухой, энглизированный, он принял княгиню Яшвиль в огромном дворце польского магната. Принял, позируя, поставив одну ногу на стул, облокотись рукой на огромную карту военных действий, как бы за решением сложной стратегической задачи. Тут и следа не было Ивановской простоты и доступности…

Леш был один из генералов, командующих на Карпатах:

большой, толстый, бьющий на популярность среди солдат. В метель, вьюгу он мчался на автомобиле в холодном пальто нараспашку. Встречаясь с войсками, идущими в бой, «по-скобелевски» (увы, без его таланта!) приветствовал их «именем Царя, именем Отечества». Перекатистое «ура» неслось ему вслед… Леш любил промчаться под легкой шрапнелью.

Помню, в те дни прочел книгу Льва Шестова-Шварцмана[455]. Казалось, что Шестов в своей книге сводил какие-то счеты с Достоевским. Обнажая все качества героев Достоевского, он приписал их самому Федору Михайловичу. Раскольников, Иван Карамазов, великий Инквизитор, Федор Павлович — все они суть сам Достоевский. Нет такого преступления, порочной мысли, которую не навязал бы Шестов автору «Бедных людей». Преступна и «Пушкинская речь»[456]. По словам критика, «глупо человечество, обманутое, поклоняющееся гению Достоевского, этого мракобеса, гонителя правды, прогресса и добра, преступнейшего из смертных». Вот каков был величайший русский гений по Шестову-Шварцману! Далеко не так его оценивали западные критики…

Весной опять был в Петербурге, потом снова побывал у Троицы. Погода была дивная, травка лезла из земли, рвалась к солнцу, все хотело жить.

Получил подарок дорогостоящий — в парчовом переплете с золотым тиснением альбом «Федоровский Государев собор»[457]. Едва ли стоило малоценный в художественном смысле памятник, каким был Царскосельский собор, издавать так роскошно.

Весной в институте тяжело заболела крупозным воспалением легких дочь Наталья. Опасность была несомненная. Девочку причащали. Однако кризис миновал благополучно. Наталья быстро поправилась и на все лето уехала в Княгинино. Я же отправился на Волгу, сделал несколько этюдов в костромском Ипатьевском монастыре и тоже приехал на хутор.

Военные события продолжали тяготеть над Россией. Были взяты Варшава, Новогеоргиевск, Оссовец, Брест, отобран обратно от нас Перемышль, Львов. На западе дела казались тоже плохими. Были взяты Брюссель, Антверпен. Потоплена «Лузитания»[458]. Немцы неистово кричали «хох!» своему кайзеру и одобрительно похлопывали по плечу своего «старого немецкого бога».

Но счастье в те дни еще не совсем нас покинуло. В июле, когда я был в Железноводске, стало известно о взятии нами одиннадцати тысяч пленных. Однако это оживление не было продолжительно.

Из Железноводска я проехал в Туапсе. Вид моря, купание в нем сильно укрепили меня. Туапсе, с проведением через него железной дороги на Сочи, быстро развивалось, появились

сносные гостиницы, рестораны, а море дополняло остальное. Прожить в нем две-три недели было приятно.

Коренная Россия наполнилась беженцами. Петербург с его тогдашним растерянным, анемичным городским головой гр<афом> Иваном Ивановичем Толстым оказался совершенно беспомощным. Москва же с ее Земским союзом и другими организациями успешно справлялась с размещением выкинутых из своих родных гнезд беженцев. Многие москвичи отдали свои квартиры этим пасынкам России.

Дела на войне с уходом Сухомлинова[459] опять стали как будто поправляться. События, коими жила вся страна, выбили меня из обычного строя. Не хотелось думать об искусстве, о картинах, о «Христианах», о будущей выставке их в Лондоне. Куда-то все ушло, стало далеким, ненужным, поплыло в каком-то тумане. Война, Россия, а главное — «что будет?». Это «что будет?» стало вопросом жизни. Все, что говорилось, делалось тогда в Думе, было слабо. Не было человека ни большой инициативы, ни большой воли. Не было человека, который авторитетно, сильно сказал бы: «Довольно болтать, за дело!» — и указал бы это дело. Россия страдала тяжким недугом.

В конце сентября я вернулся в Москву, там нашел много давно небывалого. Москвичи ждали со дня на день забастовок, ждали, что закроют водопровод, станут трамваи, потухнет электричество. Все знакомые симптомы налицо.

Зять мой был тогда командирован Земским союзом в Ригу для эвакуации заводов, фабрик. Над Ригой в это время летали немецкие аэропланы, цеппелины. Все спешили, работали день и ночь. Ольга проживала в Кисловодске, шумном, набитом праздным людом.

Внезапно тяжело заболела Мария Павловна Ярошенко и в середине сентября скончалась. Не стало деятельной, умной женщины. С ней вместе ушла целая полоса жизни. Мария Павловна знала на своем веку целый пантеон самых выдающихся людей своего времени. Она была со многими в наилучших отношениях. Многие из них гащивали у нее в Кисловодске. Достоевский, Лев Толстой, Тургенев, Салтыков, Вл<адимир> Соловьев, Короленко, Гаршин, Менделеев, Кавелин, Крамской, Те, Шишкин, Репин, все передвижники — соратники Н. А. Ярошенко бывали у них, дружили, пользовались их гостеприимством. Ярошенки были люди большой душевной красоты. Одним из последних друзей Марии Павловны был, живший ряд лет на ее кисловодской даче, митрополит петербургский Антоний (Вадковский) — искренний, высокопорядочный, благожелательный, хотя и не сильной воли человек.

Скончалась Мария Павловна, окруженная большой заботливостью тех, кто ее любил и кого она любила. Была около нее и моя Ольга, с детства, с года ее тяжелой болезни сделавшаяся ее любимицей.

Я был назначен Марией Павловной одним из ее душеприказчиков. По завещанию покойной, ее усадьба в Кисловодске назначалась к продаже с тем, чтобы на вырученные деньги душеприказчиками было выстроено, оборудовано, а потом передано городу Кисловодску Горное училище. Собрание картин, оставшихся у Ярошенко, было завещано родине Николая Александровича — Полтаве[460].

Из всего завещанного мы успели осуществить лишь один пункт: передали собрание картин в Полтавский, имени Гоголя, музей. Остальное осуществлено не было. Наступившая революция положила конец нашим широким предположениям.

Марию Павловну Ярошенко похоронили в одном склепе с Николаем Александровичем, в ограде Кисловодской церкви, недалеко от их усадьбы, от того дома, где Ярошенки долго жили, где Николай Александрович любил работать, где летом и осенью не переводились гости.

Около этого же времени в Петербурге умер Константин Маковский, блестящий «Костя Маковский», так много шумевший в дни царствования Императора Александра II. Этот равнодушный к искусству Государь покупал его картины. В Эрмитаже того времени были его «Масленица», «Перенесение Священного ковра в Каире» и «Русалки»[461]. Последняя картина, наделавшая много шума, дала повод Александру II впервые посетить Передвижную выставку.

Современники Маковского помнят его «рауты», где можно было встретить тогда весь знатный, артистический и блестящий Петербург. Там бывал и Император, встречаемый красавицей женой Кости Маковского, лучшей моделью его картин.

Маковский, увлеченный светскими своими успехами, быть может, не дал всего, что мог дать. Через его руки, как и через руки В. В. Верещагина, прошли огромные деньги, они в их руках не задерживались. Смерть обоих была сходна тем, что была насильственной: Маковского на улице зашибли лошади, Верещагин погиб на «Петропавловске» в самом начале Русско-японской войны. На обоих этих художниках ярко отразились некоторые черты их времени.

В начале октября я, наконец, начал «Христиан» красками. Работал с большим одушевлением. Картина была обдумана во всех подробностях. Материалы к ней были почти все налицо. Начал писать с пейзажа, с Волги. Как люблю я наш пейзаж! На

нем как-то ясно чувствуется наша российская жизнь, человек с его душой.

План картины был таков: верующая Русь от юродивых и простецов, Патриархов, Царей — до Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева, до наших дней, до войны с ослепленным удушливыми газами солдатом, с милосердной сестрой — словом, со всем тем, чем жили наша земля и наш народ до 1917 года, — движется огромной лавиной вперед, в поисках Бога Живого. Порыв веры, подвигов, равно заблуждений проходит перед лицом времени. Впереди этой людской лавины тихо, без колебаний и сомнений, ступает мальчик. Он один из всех видит Бога и раньше других придет к Нему.

Такова была тема моей картины, задуманной в пятом или шестом году и лишь в 1914-м начатой мной на большом, семиаршинном холсте.

Я так описывал тогдашний свой рабочий день приятелю: «В хорошее, ясное утро с восьми часов стою у картины. К двенадцати, совершенно обессиленный, плетусь в столовую обедать и пока не утолю голод, все сидят, затаив дыхание. Обед длится минут двенадцать — пятнадцать: на горячее — три-пять, на жаркое — пять, да на сладкое — три-пять минут. Кофе подают в мастерскую и пьется он „на ходу“, с палитрой в одной руке, с чашкой в другой»[462].

Время от времени, чтобы дать себе (вернее, своим от себя) отдых, я уезжаю к Троице, в Абрамцево или в Петербург. К лету я предполагал окончить картину вчерне.

В то время я был полон своими «Христианами», никуда не показывался, на приглашения отвечал молчанием. Наряду с этим в те дни приходилось исполнять рисунки с благотворительной целью. Был исполнен рисунок для марок, на стенной календарь, изданный на средства Великой Княгини. Календарь был выпущен в ста тысячах экземпляров по семьдесят пять копеек за каждый. С моим же рисунком было выпущено сто тысяч открыток для однодневного сбора пожертвований.

За пожертвование своей художественной коллекции я был избран почетным попечителем Уфимского музея, наименованного моим именем.

Война тем временем делала свое страшное дело. Жизнь выбрасывала на поверхность и хорошее, и плохое. Кречинские, Расплюевы сменили Обломовых, Левиных, Безуховых. Российские идеалисты всех мастей — славянофилы, западники, трезвенники и прочие сменялись, как в калейдоскопе. Всплывали поступки, действия то прекрасные, величавые, то безумные, преступные.

Когда-то, лет пятьдесят тому назад, в Сибири гремели

миллионщики — братья Сибиряковы. Были они откупщики. У одного из них, Михайлы, были дети — сын Иннокентий да дочка Анна. Сын в молодые годы «чудил», свободно обращался с родительскими капиталами. Стал постарше, — «уходился», начал задумываться. Кончил тем, что презрел все земное, ушел на Старый Афон. Сделал там вклад, построил келью у самого моря. Стал молиться, поститься, да в одночасье взял — и повесился.

Сестра его тем временем жила в Питере, посещала Курсы, полна была добрых не только намерений, но и дел. Вокруг нее делались дела и добрые, и недобрые. Время шло. Некрасивая, нарядно одетая Анна Михайловна пуще всего боялась женихов: чуяло ее сердце, что не зря они около нее увиваются.

Тогда, в пору ее благополучия, одна дама взяла у нее на какой-то малый срок десять тысяч рублей. Документов Анна Михайловна не признавала, верила хорошим людям на слово. Барыня деньги взяла, да о них и позабыла. Шли годы. Барыня умерла. Анна Михайловна жила где-то в Париже, успела сама обеднеть, стала нуждаться. Душеприказчики умершей барыни, разбирая ее бумаги, письма, нашли в них указания на то, что долг Анне Михайловне уплачен не был и к тому времени возрос чуть ли не вдвое. Разыскали Анну Михайловну душеприказчики где-то в меблированных комнатах, обедневшую, постаревшую, но все такую же добрую. Сообщили ей о том, что она должна получить свой долг, возросший до большой цифры.

Ответ был таков: документов у нее нет. Если долг установить удастся точно, то она просит всю сумму, ей причитающуюся, передать от нее в дар Высшим женским курсам на стипендию имени ее умершего брата. Так поступила нищая миллионерша, оставаясь до конца дней в своих убогих меблирашках.

Таков был образ деятельного русского идеализма. За него, думается, немало грехов отпустится предкам-откупщикам.

Реформаторская горячка в Третьяковской. 1916

Итак, приближался 1916 год. Он начался, как и предыдущий, под грохот орудий. Проходили один за другим санитарные поезда с фронта. Неустанно работали госпитали. Открывались все новые и новые частные лазареты. Война у всех была на уме. Надежды сменялись упадком духа.

В начале месяца мы с женой получили приглашение Великой Княгини послушать у нее «сказителей». Приглашались мы с детьми. В назначенный час мы с нашим мальчиком были на Ордынке. Там собрался небольшой кружок приглашенных, знакомых и незнакомых мне. Великая Княгиня с обычной приветливостью принимала своих гостей. Нашего Алексея поцеловала. Все поместились вокруг большого стола, на одном конце которого села Великая Княгиня. В противоположном конце комнаты сидели сказители. Их было двое: один молодой, лет двадцати, кудрявый блондин с каким-то фарфоровым, как у куколки, лицом. Другой — сумрачный, широколицый брюнет лет под сорок. Оба были в поддевках, в рубахах-косоворотках, в высоких сапогах. Сидели они рядом.

Начал молодой: нежным, слащавым голосом он декламировал свои стихотворения. Содержания их я не помню, помню лишь, что все: и голос, и манера, и сами стихотворения — показалось мне искусственным.

После перерыва стал говорить старший. Его манера была обычной манерой, стилем сказителей. Так сказывали Рябинин, Кривополенова и другие, попадавшие к нам с Севера. Голос глуховатый, дикция выразительная. Сказывал он и про «Вильгельма лютого, поганого». Называлось сказанье «Беседный наигрыш». За ним шел «Поминный причет» и, наконец, «Небесный вратарь». Последние два были посвящены воинам. Из них мне особенно понравился «Поминный причет».

Сказители эти были получившие позднее шумную известность поэты-крестьяне — Есенин и Клюев. Все, что сказывал Клюев, соответствовало времени, тогдашним настроениям, говорилось им умело, с большой выразительностью.

После всего гости оставались некоторое время, обмениваясь впечатлениями. Был подан чай. Поблагодарив хозяйку, все разошлись.

Вскоре снова на очереди встали дела Третьяковской галереи[463].

Грабарь и его помощник Черногубов, пользуясь своими связями с влиятельными гласными главенствующей тогда партии, поддерживаемые городским головой Челноковым, творили в Галерее то, что им хотелось. Совет Галереи к тому времени был ими сведен к нулю. Единственный независимый, пытавшийся иногда противостоять этим двум лицам, был кн<язь> Щербатов, но он не был сильным человеком, и ему трудно было бороться с дерзким на язык, умным и совершенно аморальным Черногубовым.

Противниками галерейного произвола из стариков были Виктор Васнецов, Репин, Владимир Маковский. На мою долю выпало объединить противников Грабаря. На нашу сторону стала огромная часть Передвижников, Союз русских художников, Общество петербургских художников, члены Академической выставки и ряд других менее значительных обществ.

Грабарь и К° — также не теряли времени. Они сплотились около «Мира искусства». С ними были опытные в таких делах мастера — Александр Бенуа, Рерих. Из стариков к ним пристали вечно молодящийся Поленов и краса наша Василий Иванович Суриков, тогда уже смотрящий на многое глазами своего зятя П. П. Кончаловского.

Образовалось два лагеря: один сильный численностью, но и слабый опытом, методами борьбы, другой был искушен в таких методах. С первым было «Новое время», со вторым «Речь». Популярное «Русское слово» не знало, на какую ногу ступить. «Русские Ведомости» примкнули тоже к мирискусникам.

Наряду с газетной полемикой был ряд заседаний Московской Городской думы, на которых обсуждался обострившийся вопрос о Третьяковской галерее. С самого начала к нам присоединился бывший городской голова Н. И. Гучков и очень внимательный гласный Геннер. На стороне Грабаря были все думские газеты с их головой Челноковым. Мы стояли на стороне моральной незыблемости завещания П. М. Третьякова, наши противники — на формальной его стороне.

Наша статья «Вниманию московских гласных» и «Письмо группы художников, лично знавших П. М. Третьякова», к которому присоединился целый ряд обществ, произвели сильное впечатление[464]. О делах Галереи заговорили не только в столицах, но и в провинции. Громкое дело следовало скорее потушить, замять. Этим и занялась тогда «челноковская» Дума, «дума гейш».

Нам казалось, что удастся отстоять правое дело, отделить третьяковское собрание от нетретьяковского, оградить личность основателя, его эпоху, его дело отдел Грабарей, Черногубовых и

К°. Дума тех дней — челноковская Дума, спасая Грабаря, спасала как-то и себя. В конце концов, после ряда думских схваток, нам все же стало очевидно, что мы, сильные авторитетом моральным, должны будем уступить «духу времени» — авторитету формальному. Грабарь остался директором Галереи, Черногубов должен был уйти. После такой «победы» Третьяковские традиции неудержимо покатились под уклон…

Раньше чем кончить повесть об этой борьбе «двух начал», приведу здесь то, что рассказывал тогда о встрече Репина с Грабарем восхищенный им Черногубов. Репин, узнав о реформаторской горячке в Третьяковской галерее, о перевеске своих картин без его ведома и спроса (чего не делал при живых авторах Павел Михайлович), прилетел из Куокалы в Москву для личных объяснений с директором Галереи. Чуть ли не прямо с вокзала Илья Ефимович направился в Лаврушинский переулок, явился туда в весьма приподнятом настроении, грозно спросил Грабаря, желая немедленно его видеть. Разыскали Грабаря, сообщили о приезде гостя, об его возбужденном тоне.

Игорь Эммануилович быстро сообразил всю опасность такой встречи, дал Репину поуспокоиться, пошел навстречу опасности. Встретились. Репин с места взял мажорный тон разноса. Грабарь, выждав окончание первого пароксизма самого яростного гнева, смиренно попросил расходившегося Илью Ефимовича его выслушать. Он-де готов был дать ему исчерпывающее объяснение, но не сейчас, не сегодня, так как он, Грабарь, только что потерял отца…

Впечатлительный Ил<ья> Еф<имович>, пораженный такой неожиданностью, страшно смущен, извиняется, просит Грабаря позабыть его грубый поступок. Он не знал и прочее… Он совершенно размяк, стал утешать неутешного. Теперь Илью Ефимовича можно было взять, что называется, голыми руками, и он уехал, оставив развеску своих картин в том виде и на тех местах, кои им определил Грабарь.

Отец Грабаря действительно умер, но… задолго до описанной встречи. Если такой рассказ верен, то он и есть лучшая характеристика этого деятеля искусств после Третьяковского периода.

В начале февраля скончался давно болевший В. И. Суриков[465]. Хоронили его торжественно. На кладбище Виктор Михайлович Васнецов сказал простое, задушевное слово. Могила Василия Ивановича была около могилы его жены Елизаветы Августовны. Когда-то часто бывал он здесь в неутешной своей печали. Между нами не стало удивительного художника-провидца, истолкователя старины, судеб нашей

Родины.

В ту весну много говорили о действиях так наз<ываемой> «покупочной комиссии». Она оказалась левой. Были куплены вещи предпочтительно мирискусников. Особенно много говорили о картине Кустодиева «Катанье на масленице»[466].

Мой приятель просил меня высказаться на этот счет, и я написал ему так:

> «Меня нимало не смущали и не смущают искания не только „Мира искусства“, общества давно сложившегося, уже достаточно консервативного, не смущают меня и „Ослиные хвосты“, и даже „Магазин“ (новое, наилевейшее общество)[467]. Не смущают потому, что все идет на потребу. „Огонь кует булат“. Из всего самого негодного, отбросов в свое время и в умелых руках может получиться „доброе“.
>
> Придет умный, талантливый малый, соберет все ценное, отбросит хлам, кривлянье и проч<ее> и преподнесет нам такое, что мы, и не подозревая, что это „такое“ состряпано из отбросов, скушаем все с особым удовольствием и похвалой.
>
> „Мир искусства“ — это одна из лабораторий, кухня, где стряпают такие блюда. Кустодиев, Яковлев Александр — это те волшебники, которые по-своему, „суммируют“ достижения других, а сами они, быть может, войдут в еще более вкусные блюда еще более искусных мастеров.
>
> „Лубок“ — это принятый до времени язык, иногда жаргон более понятный или забавный, чтобы быть выслушанным, замеченным. Язык Пушкина — это язык богов, на нем из смертных говорят немногие: Александр Иванов, Микеланджело, Рафаэль… Даже такие таланты, как Суриков, прибегали, чтобы поняли их „смертные“ — к народному говору-жаргону… И да не смущается твое сердце. Под луной не произошло ничего нового, а жить всякому охота… придут „боги“, и может быть, мы с тобой и впрямь их не поймем, обругаем, закричим: „распни их!“. Не думай, однако, что быть Кустодиевым, притворяющимся рубахой-малым, так просто. Им надо родиться. Вот на Олимпе не болтают, а „глаголят!..“»[468]

На пытливый вопрос моего приятеля, чего ищет Кустодиев, какая его исходная точка, я писал ему: «Сколько ищущих, столько и „исходных точек“, и не много стоит такой искатель, который заранее все знает, что найдет. Ищут внутреннего удовлетворения

жажды красоты, в чем? — в разном: в красках, в образах, в быте, в формах, ищут миллионами путей, через постижение личное, рефлективное, отрицательное или положительное, реальное или мистическое. Ищут головой, сердцем и, „сколько голов, столько же умов“, и никакого „канона“, тем более никакого „дважды два — четыре“ в поисках ни у кого нет»[469].

Весной в Ялте скончался Адриан Викторович Прахов, завещав похоронить себя на ялтинском кладбище около своего брата-поэта, взяв обещание посадить на его могиле «дикую яблоньку». В этой дикой яблоньке сказался эллин наших дней — Адриан Викторович Прахов. Он любил прекрасное, любил природу, обоготворял ее. И лежит он теперь на берегах древней Тавриды, в головах его растет-цветет дикая яблонька, а дальше без конца-края море, такое голубое, голубое…

Узнав о смерти Прахова, я написал о нем краткое воспоминание, напечатанное тогда в «Новом времени»[470]. Прочитав его, Виктор Михайлович Васнецов благодарил меня за посвященные ему в воспоминаниях строки. «Неудавшийся грешник», как любил себя называть Виктор Михайлович, все еще не мог решить: враг я ему или не враг. Не хотел он понять, что если бы я пожелал быть его врагом, то стал бы им давным-давно, еще в пору своего «братания» с Дягилевым.

В мае того года я совершенно неожиданно получил от моих домохозяев письмо (старик Простяков к тому времени умер). Мне предлагали «очистить» занимаемую квартиру к 15 августа по той причине, что квартира нужна для больного сына. Мне казалось, что просьба «очистить» квартиру не больше как желание получить за нее прибавку, и я нимало не был этим обеспокоен, решив, что прибавлю, и делу конец.

Не так вышло на самом деле. Младший отпрыск Простяковского рода женился. Жена оказалась капризная. Молодоженам их квартира показалась тесна, некуда было поставить дорогую приданую мебель. Они воспользовались тем, что мое квартирное условие кончалось, предложили мне квартиру освободить.

В то время в Москве квартир не было. Свободные были заняты под лазареты, склады и прочее. Мои друзья, узнав о такой оказии, принялись помогать мне в поисках. Предлагали и то, и се, но ни то, ни се мне не годилось. Мне нужно было помещение с большой комнатой, не менее девяти-десяти аршин для семиаршинной картины.

Узнала о моих затруднениях и Великая Княгиня. Просила передать, что в случае необходимости можно будет устроить мне мастерскую в одной из запасных зал Кремлевского или

Николаевского дворца. Уведомили меня и из Исторического музея, что там тоже могут мне предоставить один из неоконченных залов.

Но мне не хотелось кончать картину вне дома. Куда было удобнее иметь мастерскую тут же, у себя под рукой. В любой час дня и ночи картина могла быть передо мной. Бывало, вне работы я заходил в мастерскую, садился перед холстом на диване и, не спеша, обдумывал ее подробности. Приходил в мастерскую и в бессонные ночи, и ранним-ранним утром.

Каких мер, способов и уговоров не было пущено в ход, но неподатливый «отпрыск» не сдавался. Время шло, а квартирный вопрос все был ни с места. Семья моя, тем временем, жила в Абрамцеве, куда наезжал и я, писал там недостающие этюды для «Христиан».

В то лето в Абрамцеве в одном из помещений для дачников (бывшем театре) был лазарет для слепых солдат. Я писал с них этюды для первопланной фигуры. Один из слепых был особенно трогателен. Звали его Миша. Добродушный паренек лет двадцати был ослеплен газами в тот момент, как их эшелон, прямо из вагона, вступил в бой. Тогда шли ожесточенные бои за обладание Варшавой. Работая этюды, я разговаривал с Мишей — он был охотник поговорить. Спрашиваю его, страшно ли было идти в бой. Он простодушно выкликнул: «А стра-а-шно!» В то время Миша не сознавал всего ужаса своего положения, не был еще ожесточен на судьбу, на людей, пославших его на страшную бойню[471].

Позднее, уже осенью, я нашел для своего слепого превосходную модель. То был тоже солдатик из рабочих. Нашел я его в Арнольдовском убежище[472] для слепых, что было на Донской. Это был красивый, с правильными чертами лица, высоко настроенный юноша. Написанный с него этюд и вошел в картину.

Война с переменным счастьем продолжалась. Была одержана большая победа, взято двести тысяч пленных. Каких жертв эта победа стоила нам — один Господь знает[473].

Как-то позвонил мне кн<язь> Щербатов. Он слышал о моих злоключениях с квартирой и предложил мне освободившуюся в его новом красивом премированном доме по Новинскому бульвару. В тот же день я был там, осмотрел квартиру. Она не была так обширна и удобна, как моя старая. Мастерская была меньше, хотя картина в ней поместиться могла. А так как иного выхода не было, то я тут же предложение князя принял. Стал поджидать возвращения семьи из деревни, изредка наезжая туда сам.

Стояли холода, шли дожди, несмотря на всё это, я закончил все недостающие этюды, и в начале августа мы переселились в

Москву, стали разорять прежнее гнездо, где так хорошо работалось и жилось в протекшие годы. Привели в порядок новую квартиру, назначили время для переезда, что не было в те времена сложно. Перевозка организована была отлично, и мы, попрощавшись с нашей Донской, тронулись в путь… Подъезжая к новой своей квартире, в воротах Щербатовского дома встретился мне священник. Грешный человек, подумал: быть беде. Так и вышло. Спустя три года я потерял на Новинском все мое имущество. В 1919 году моя квартира была разорена. Спасти из нее не удалось ничего. Моими рисунками, эскизами, по словам очевидцев, как снегом, покрыт был Щербатовский двор.

Дом князя Щербатова был построен незадолго — года за три-четыре — до нашего туда переезда. Богатый, избалованный, с капризным, изысканным вкусом, князь объявил конкурс на проект дома. За красивейший проект назначалась премия, а получивший ее делался и строителем дома.

Премию взял молодой, талантливый архитектор-художник Таманов[474]. Он сумел умно использовать красивое, выходящее на два фронта, место. Главный фасад был обращен к Новинскому бульвару, задний — к берегам Москва-реки, с перспективой на далекие Воробьевы горы. Стиль дома — модный тогда ампир[475]. Все, что можно было использовать в смысле материала, все было Тамановым сделано. Тут был и дворик со львами, и античные статуи, и трельяж с вьющимся диким виноградом, и княжеский герб над аркой во внутренний дворик. Ничего не было забыто, чтобы потешить избалованного барина.

Верхний этаж дома предназначался для самого владельца. Там сосредоточено было все, что можно было придумать, чтобы создать достойный фон для красивой княгини. Введены были дорогие материалы. Стеклянная терраса обрамляла весь верх дома, давая изумительную картину на Москву, на Нескучный, Воробьевы горы, на села и деревни, примыкающие к Первопрестольной со всех сторон. Была при квартире князя отличная мастерская на север — с верхним и боковым светом.

Князь был дилетант-художник, где-то, у кого-то учился за границей[476]. Жил он на большую ренту, на доходы со своего премированного дома, — жил и не тужил. Венцом его благополучия была княгиня, красивая оригинальной красотой, не то бывшая фельдшерица, не то сестра милосердия, счастливо выходившая князя во время его болезни, влюбившая в себя этого, по внешности, Пьера Безухова, такого огромного, породистого, быть может, не слишком мудрого[477].

Для нас на Новинском началась новая эра. По устройстве квартиры, я, усталый, уехал в Кисловодск. Там стояла дивная

погода. Много знакомых. В Кисловодске тогда была и моя Ольга. Жили мы в опустелом доме покойной Ярошенко. Там же, у Ярошенок, жила Поликсена Сергеевна Соловьева со своим вечным спутником Манасеиной.

Поликсена Сергеевна в ту пору была уже немолодая, но интересная, с седеющими вьющимися, стриженными по-мужски волосами. Ходила она в отлично сшитом мужском пиджачном костюме. Поликсена Сергеевна была умна, остроумна, весела, хотя скрытая болезнь парализовала время от времени ее веселость. И мы жили на этот раз, как и когда-то в молодости, в полном согласии с Поликсеной Сергеевной. Легкие «идейные» схватки не мешали нашему давно устоявшемуся дружелюбию.

Я быстро стал поправляться, помолодел… Кисловодск той осенью кишмя кишел отдыхающими — по воле и по неволе — бывшими сановниками и всякого рода «знаменитостями». Вельможи и недавние вершители судеб тогдашней России, бывшие не у дел, праздно слонялись по парку, перекидываясь при встречах пророчествами, предзнаменованиями. Тут был дятлоподобный, в каком-то клетчатом, зеленоватом Пальмерстоне бывший министр Иностранных дел Сазонов, бывший военный министр Поливанов, промелькнувший метеором на своем посту Хвостов, бывший Нижегородский губернатор Фредерикс, Тверской — Бюнтинг. Был там и наш «Минин-Пожарский» — Александр Иванович Гучков.

Все эти господа в ожидании, когда снова пробьет их час «спасать Россию», сейчас «поднарзанивались», пили невинные Ессентуки № 4 или № 20, пили и Баталинскую. Скучали в своем вынужденном безделье, делали скуки ради свой моцион, бегали по дорожкам: одни по дорожкам первой категории, другие по категории второй, а те, что помоложе и побойчей, взлетали на третью категорию, к Красным, Серым камням, к Храму воздуха.

В ту осень в Кисловодск ожидали Императрицу с Наследником. Словом, все жили особой, повышенной жизнью того страшного времени.

Из Трапезунда проездом в Москву заехал к нам зять мой Виктор Николаевич Шретер, командированный для какой-то ревизии Земским союзом. Виктор Николаевич порассказал немало интересного про Кавказский фронт, недавние победы наши там, про генерала Юденича и других. События огромной важности чередовались одно за другим. В тот момент Румыния находилась под жестоким ударом немцев, и война могла перекинуться к нам в Бессарабию, к морю, к самой Одессе.

В Кисловодске погода стояла дивная, жаркая. Курсовые дамы в конце октября ходили еще в белых летних костюмах. Я много

гулял, всматривался в лица еще недавних и будущих «властителей дум» — наших правителей, спасителей и героев.

Я тщетно пытался найти разгадку, тайну популярности Александра Ивановича Гучкова. Его особа, лицо, фигура не давали ничего моему глазу художника. Среднего роста, плотный, улыбающийся особой, «московской», немного «гостинодворской» улыбкой, человек себе на уме, с мягким подбородком, с умными глазами, с такой московской, с купеческим развальцем походкой, в желтеньких новеньких ботинках. Чем он мог импонировать? И все же каждое его появление в парке, в партере театра делало сенсацию. Штатские и военные генералы спешили к нему с приветствиями. Где была запрятана такая его сила над людьми? Неужели в безнадежной их слабости, спрашивал я себя, была ли эта сила в их изжитости и интеллигентской никчемности?

Из Кисловодска я проехал в Туапсе, брал там морские ванны, думал проехать дальше, в Сочи, в Мацесту, куда велась тогда железная дорога через все Черноморское побережье до Батума.

Огромное имение Витте было изрезано на мелкие участки и продавалось по очень низкой расценке. Я и знакомые москвичи (проф<ессор> Плетнев, Щусев) намерены были обзавестись такими участками на Мацесте, в восьми верстах от Сочи, где росли пальмы, апельсины, камелии и всяческая тропическая благодать, где в море купались до ноября месяца.

Однако, побывав в Туапсе, покупавшись там, ни в Сочи, ни в Мацесту я тогда не попал, так как должен был вернуться в Москву. Я хорошо тогда отдохнул, укрепил свои нервы и бодро принялся за окончание картины в новой своей мастерской. Работал в Оружейной палате, написал знамя кн<язя> Пожарского, скипетр, державу и шапку Мономаха. Позировал для меня в этом историческом головном уборе хранитель Оружейной палаты Трутовский — сын художника Трутовского, когда-то предрешившего мою судьбу.

В те дни частенько у меня собирались друзья-приятели, художники и нехудожники. Время было тяжелое, всем хотелось поделиться своими думами, тревогами, надеждами. Как-то собрались «на гуся» человек двадцать. Был редкий гость — Малявин, образец истинного варвара в стадии своего благополучия. Смесь хитрого мужика, откровенного невежды с наивным хвастуном, он был махровым букетом российского самородка. Обсуждались дела военные, дела думские, речь князя Евгения Николаевича Трубецкого[478] — все было чревато последствиями. Слухи сменялись одни другими. То мы узнавали о самоубийстве ген<ерала> Брусилова в связи с занятием немцами Бухареста, то проносились вести о мнимой победе. Не

верилось, что живешь и свидетельствуешь столь дивным по своей огромности событиям, что на наших глазах исчезают царства, из катаклизма возникают новые, а ты себе, как ни в чем не бывало, пьешь, ешь, озабочен своим весом, желудком и прочим. Какая фантастика — жизнь!

На одном из собраний Академии художеств президент ее Великая Княгиня Мария Павловна попросила меня взять на себя представительство Академии в Комиссии по реставрации храма Христа Спасителя в Москве. Отказаться было невозможно: я и так в продолжение ряда лет ничем себя не проявил как действительный член Академии, часто отсутствуя на ее заседаниях. В этом случае я не был похож на моего предшественника Архипа Ивановича Куинджи, самого активного, ревностного ее деятеля.

По возвращении с Кавказа, мне пришлось впервые заседать в Комиссии храма Христа Спасителя. Двадцать один год существовала эта курьезная комиссия. Обычно почетным Председателем ее был Московский генерал-губернатор. В числе их был и Великий Князь Сергей Александрович, членами ее редко были особы ниже действительного статского — важные старики, инженеры, архитекторы. Среди них появился бесчиновный, немолодой новичок.

Такие попадались изредка и раньше — живописцы, назначенные от Академии. Одним из последних был Виктор Михайлович Васнецов. Художники недолго засиживались там. Вглядевшись в дремотное собрание, кое о чем догадавшись, они скоро под каким-либо предлогом подавали в отставку, и сонное царство продолжало без помехи существовать.

Появился в этой Комиссии и я, был встречен в ней с отменной любезностью опытными, видавшими виды дельцами. Председатель Комиссии, очень приятный старичок, бывший Полтавский губернатор Князев, был рад моему назначению, так как, быть может, ему одному хотелось сдвинуть дело с мертвой точки. Заседание началось и прошло в ознакомлении меня в общих чертах с тем, что было сделано (вернее, что сделано не было) за истекшие двадцать один год. В двадцати томах было изложено это хроническое бездействие, в продолжение коего храм Христа Спасителя, его роспись гибли.

К моему приходу гибель дошла до своего предела. Лучшие картины Семирадского, Сурикова, Сорокина лупились. Краска на них висела клочьями. Копоть покрывала все стены храма густым слоем. Надо было действовать, однако всем действиям умело ставились противодействия лицами, в этом заинтересованными: архитектором храма — Поздеевым и инженером, заведующим

отоплением. Оба они, как я слышал, были весьма чутки к какому бы то ни было движению дела, умело парализуя его.

После первого нашего заседания я был приглашен Поздеевым «запросто, по-московски пообедать». Этот дельфинообразный толстяк надеялся сделать меня, новичка, своим. От обеда я отказался, просил доставить мне отчеты Комиссии для ознакомления на дом. Понравиться такое начало не могло.

Познакомившись с делом, я решил подробно доложить обо всем, что узнаю, Президенту Академии и просить освободить меня от участия в Комиссии. Ни того, ни другого сделать мне не пришлось. Быстрее, чем мы думали, наступили события, которые всему положили конец. Комиссия распалась сама собой, а храм Христа Спасителя, его живопись умирает естественной смертью.

В одном из писем того времени мой приятель под каким-то впечатлением написал мне свой взгляд на Васнецова и Нестерова и просил меня ответить, согласен ли я с ним. Вот что ответил я ему:

> «Твоя позиция насчет Викт<ора> Васнецова правильна. Это художник и большой! Если бы он написал только „Аленушку“, „Каменный век“ и алтарь Владимир[ского] собора, — то и этого было бы достаточно для того, чтобы занять почетную страницу в истории рус[ского] искусства. Десятки русских выдающихся художников берут свое начало из национального источника — таланта Викт<ора> Васнецова. Не чувствовать это — значит быть или нечутким вообще к русскому самобытному художеству или хуже того — быть недобросовестным по отношению к своему народу, его лучшим свойствам, коих выразителем и есть Васнецов, грешный, может быть, лишь в том, что мало учился и слишком расточительно обращался со своим огромным дарованием.
>
> Относительно Нестерова тебе (как и мне) мешает мыслить и особенно говорить вслух близость его к нам с тобой… Однако Нестеров все же может быть назван тоже художником. Менее одаренный, чем В. Васнецов, он, быть может, пошел глубже в источник народной души, прилежно наблюдал жизнь, и дольше, старательней учился, не надеясь на свой талант, как Васнецов, он бережней относился к своему, и все время держался около природы, опираясь во всем на виденное, пережитое. Надо полагать, большая картина <„Душа народа“> положит окончательное разделение Нестерова

и Васнецова — и это не будет к умалению ни того, ни другого»[479].

В картине осталось закончить две-три фигуры. В январе я надеялся показать ее москвичам. В то время можно было заметить, как поднялись цены на мои картины. «Мечтатели», оцененные на выставке 1907 года в тысячу двести рублей, в 1916 году были перекуплены у кого-то Кистяковским за шесть тысяч рублей. Последний, имея большие деньги, тогда увлекался моими и сомовскими вещами, мечтая построить особняк по проекту Щусева, в коем должны были быть комнаты Нестерова и Сомова.

На Рождестве я показал оконченную вчерне большую картину близким. Было признано единодушно, что я не старею, а как живописец вырос. Мнение было таково, что «Душа народа» значительно выше «Святой Руси».

В конце декабря в Петербурге произошло событие, как бы сигнал к событиям дальнейшим, не заставившим себя ждать. Был убит Распутин. Об этом сатанисте так много говорилось, личность его была столь отвратительна, зло, причиненное им России, так огромно, что прибавлять еще что-либо нет охоты. Скажу, что в числе тайных его посетительниц, чающих великих и богатых милостей, достоверно стало известно, была графиня Матильда Витте.

«Христиане» — «Душа народа». 1917

Новый 1917 год я с семьей встретил в церкви Большого Вознесения на Никитской[480]. Эта прекрасная церковь была построена на месте старой XVII века, от которой осталась только колокольня. Большое Вознесение создалось по мысли и на средства Светлейшего Князя Потемкина. В ней блистательный «князь Тавриды» предполагал венчаться с «матушкой Екатериной», был щедрым жертвователем храма. Позднее не раз Большое Вознесение видело в своих стенах события и людей, так или иначе вошедших в историю России. А. С. Пушкин венчался здесь с Н. Н. Гончаровой. В 1917 году патриарх Тихон по своем избрании посетил этот храм первым среди приходских храмов Москвы.

В половине января доктор Гетье послал меня отдохнуть к Черниговской. Картина сильно поразадергала мои нервы.

Вернувшись в Москву, я стал показывать «Христиан». С меньшей охотой показывал их своей братии-художникам. Видевшие хвалили, говорили, что «Христиане» («Душа народа») лучшее, что я сделал за последние пятнадцать лет. Коненков нашел, что по теме, многолюдству композиции картину следовало увеличить вдвое, что семиаршинный холст для нее мал.

Скоро слух об окончании картины разнесся по Москве, и что ни день, то количество желающих видеть ее росло. Мастерскую мою в то время посещали и художники, и ученые, и разного звания и положения люди.

Посетила меня и группа религиозно-философского кружка[481]: С. Н. Булгаков, отец Павел Флоренский, В. А. Кожевников, М. А. Новоселов, кн<язь> Е. Н. Трубецкой, С. Н. Дурылин и другие. Перебывало немало и духовных лиц.

Все картину хвалили, пророчили ей успех. Каждый влагал в нее свое понимание, давал ей свое наименование, искал подходящий текст для эпиграфа.

Я же знал, что дело не в названии, что сама картина должна будет ответить на сотни текстов, на множество предъявленных ей запросов, и если мне удалось вложить в своих «Христиан» действенную силу, силу мысли, чувства, художественного их воплощения, словом, если моя картина есть «истинное произведение искусства», то она сделает свое дело и будет жить и без названия. Если же нет, то никакие тексты, евангельские, библейские, из святых отцов церкви, самые возвышенные и глубокие, не спасут ее[482].

Как-то я был приглашен в Археологический институт слушать старика Колосова, появившегося перед тем в Москве со своими гуслями. Интересный инструмент в умелых руках Колосова делал чудеса. Спутница его талантливо сопровождала инструмент оригинальной песней далекой северной старины. Во время антракта присутствующие собрались поделиться своими впечатлениями, предложен был чай, и я, совершенно неожиданно, сделался предметом единодушных и шумных оваций. Мне аплодировали, жали руки, со мной знакомились.

На концерте было много старообрядцев, и они-то с особенно горячим чувством приветствовали меня. Расспрашивали, как я писал свой «Великий постриг», много ли изучал быт старообрядцев, ездил ли на Керженец и т. д. Из какого-то непонятного озорства я разочаровал их: ответил, что все мое «изучение» ограничилось Нижегородским Балчугом (базар вроде Сухаревки).

По окончании концерта Колосов, с которым меня познакомили, выразил желание продемонстрировать свое искусство у меня в мастерской. Я, в свою очередь, обещал ему показать своих «Христиан». Вскоре такой вечер состоялся у меня.

Колосов предупредил меня, что если я приглашу на его сеанс знакомых и друзей, он ничего не будет против этого иметь. Я так и сделал. Собралось народу столько, что моя квартира могла с трудом вместить всех пожелавших послушать талантливого старика и его спутницу. Были тут и художники, и кое-кто из московской знати, и просто друзья-приятели. Музыкальный вечер прошел с большим одушевлением. Как музыканты, так и слушатели остались очень довольны. Играли и пели сверх намеченной программы с возрастающим одушевлением. Нравились и гусли, и те, кто так мастерски ими владел. Далекая старина воскресла перед очарованными слушателями. В антрактах пили чай, снова музицировали и поздно разошлись, благодаря и дивных музыкантов, и нас — хозяев.

На прощание я подарил Колосову свой этюд. Распрощались дружески. Скоро Колосов уехал на юг…

Число желающих видеть картину все увеличивалось. Для удобства пришлось организовать нечто вроде очереди. Приходили группами теперь уже и незнакомые, и лишь во главе таких групп был кто-нибудь из людей мне известных. Бывали и с рекомендательными письмами. Перебывали и тогдашние московские власти с губернатором гр<афом> Татищевым.

Наслышанная о картине Вел<икая> Кн<яги>ня Елизавета Федоровна тоже выразила желание посетить меня. В то же время мне передали, что она снова высказала мысль, что по окончании

войны мне следует повезти «Христиан» в Англию, в Лондон, где будто бы меня знают и примут хорошо.

Шла речь о том, чтобы в Лондоне моя выставка была устроена в одном из дворцов, причем одновременно, как бы на фоне ее, должен был выступить наш Синодальный хор в полном составе, под управлением даровитого регента Данилина, выступить в концерте из наших религиозных песнопений, идущих из далекой старины и до наших дней.

А война тем временем продолжалась, кровь лилась. Настроение внутри страны делалось все тревожней и мрачней. В воздухе становилось душно. Гроза, буря, революция — страшная катастрофа надвигалась.

В это время усталая, больная жена моя уехала на юг, к морю, в Туапсе. Я с детьми остался на Новинском.

Время неслось с ужасающей быстротой. Промелькнул февраль. Наступили навсегда памятные дни марта 1917 года.

Императорский поезд по дороге из Ставки в Царское Село был остановлен на станции Дно. Из Петербурга в Псков, куда был передан поезд, прибыла депутация с требованием отречения Государя от Всероссийского престола. Второго марта Николай II подписал отречение за себя и за своего Наследника, тем самым предрешил дальнейшую судьбу династии Романовых… Революция началась. Россия вступила в новую, яркую полосу своей тысячелетней истории…

Даты жизни и творчества М. В. Нестерова

1862 — Родился 19/31 мая в Уфе, в семье купца Василия Ивановича Нестерова и его жены Марии Михайловны (урожд. Ростовцевой).

1872–1874 — Учеба в Уфимской гимназии. Начинает заниматься рисованием с учителем гимназии В. П. Травкиным.

1874 — Поездка с отцом в Москву, поступление в реальное училище К. П. Воскресенского.

1875–1876 — Занятия в училище, увлечение рисованием под наставничеством А. П. Драбова. Знакомство с К. А. Трутовским, популярным живописцем и инспектором Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Трутовский убеждает К. П. Воскресенского в том, что Нестерова следует готовить к профессиональным занятиям живописью.

1876 — Посещает в марте 5-ю передвижную выставку, где особое впечатление на него производят «Украинская ночь» Куинджи, «Опахивание» Мясоедова, картина Ярошенко. Под влиянием К. П. Воскресенского отец Нестерова разрешает сыну поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В августе Нестеров, успешно сдав экзамены, поступает в «головной» класс училища. В ноябре переведен в следующий, «фигурный» класс за рисунок головы Ариадны.

1877–1879 — Учится в фигурном классе у профессоров П. С. Сорокина и И. М. Прянишникова. Летние месяцы проводит в Уфе. В декабре 1879 г. на 2-й ученической выставке представлены его картины «В снежки» и «Карточный домик». Знакомство с И. И. Левитаном.

1880 — Переведен в натурный класс В. Г. Перова, оказавшего огромное влияние на формирование Нестерова — живописца и человека.

1881 — В Петербурге поступает в натурный класс Академии художеств, где занимается у П. П. Чистякова, копирует в Эрмитаже картину Г. Метсю. Знакомится с Врубелем.

1882 — В мае проездом в Уфу через Москву; посещает умирающего Перова. Смерть Перова (29 мая/10 июня). Осенью возвращается в Академию художеств. В Эрмитаже Нестеров копирует «Неверие Фомы» Ван Дейка, где знакомится с И. Н. Крамским. Пишет первый автопортрет.

1883 — Забирает документы из Академии художеств. В Уфе знакомится с М. И. Мартыновской. «Первая встреча» с ней

запечатлена в рисунке «Конский топ». Из Уфы возвращается в Москву, занимается в натурном классе у В. Е. Маковского. Пишет картину «Домашний арест».

1884 — Работает в училище над эскизами. Пишет картину «Знаток» и портрет-этюд М. К. Заньковецкой в роли «Наймычки». Получает первые номера и награды на выставках в училище.

1885 — За картину «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство» получает звание свободного художника. 18 августа в Москве венчается с Марией Ивановной Мартыновской. Пишет ее портрет «Девушка в кокошнике» и картину «Шутовской кафтан».

1886 — За картину «До государя челобитчики» получает большую серебряную медаль и звание классного художника. Пишет портреты С. В. Иванова и С. А. Коровина. Зарабатывает на жизнь журнальными иллюстрациями, а также росписью частных особняков под началом «комнатного декоратора» А. Томашко. Знакомится с В. И. Суриковым и Н. А. Ярошенко. 27 мая (ст. стиль) — рождение дочери Ольги. 29 мая — смерть жены. Проводит лето в Уфе у брата покойной жены, задумывает картины, посвященные ее памяти. Пишет ее посмертный портрет; акварель «Последнее воскресенье».

1887 — Посещает рисовальные вечера у художника В. Д. Поленова, где встречается с молодыми живописцами В. А. Серовым, К. А. Коровиным, Е. Д. Поленовой и др. За картину «До государя челобитчики» получает премию, разделив ее с художником С. Я. Лучшевым на конкурсе Общества поощрения художников в Петербурге. В память жены пишет картину «Христова невеста» и три варианта «Царевны». Работает над иллюстрациями к роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Делает иллюстрации для журналов «Нива», «Всемирная иллюстрация» и др.

1888 — Живет летом в Сергиевом посаде (при Троице-Сергиевой лавре). Работает над этюдами и эскизами к картинам «За приворотным зельем» и «Пустынник». Первые посещения имения С. И. Мамонтова Абрамцево, с которым в течение многих лет будет связана жизнь и творчество Нестерова. Осенью и зимой работает над картинами «За приворотным зельем» и «Пустынник» (в Москве и Уфе).

1889 — П. М. Третьяков приобретает «Пустынника». Выставляет «Пустынника» на 17-й передвижной выставке в Петербурге. Первое заграничное путешествие по маршруту: Вена — Венеция — Флоренция — Рим — Неаполь — Помпеи — Капри — Милан — Париж — Берлин — Дрезден. По возвращении живет в деревне Комякино вблизи Абрамцева, пишет этюды и эскизы к

картине «Видение отроку Варфоломею». В конце года едет к родителям и дочери в Уфу.

1890 — П. М. Третьяков приобретает «Видение отроку Варфоломею». Картина экспонируется на 18-й передвижной выставке в Петербурге и вызывает яростные споры в художественных кругах. А. В. Прахов, известный историк искусства, археолог, профессор Киевского университета, руководитель работ по росписи только что построенного в Киеве Владимирского собора, предлагает Нестерову принять участие в декорировке собора. Поездка в Киев для ознакомления с характером и объемом работ. Знакомство с семьей А. В. Прахова. Общение с В. М. Васнецовым, возглавляющим роспись собора. Летом едет лечиться в Пятигорск, где близко знакомится с Н. А. Ярошенко и его женой. Пишет портреты В. Г. Черткова и его жены. Переезд на постоянное жительство в Киев. Пишет эскизы «Воскресение Христово», «Рождество Христово», портрет С. А. Васнецова — этюд для «Юности преподобного Сергия».

1891–1895 — Работа над образами для Владимирского собора.

1891 — Живет в мае в селе Ахтырка под Москвой, пишет этюды и эскизы к картине «Юность преподобного Сергия». Осенью завершает её в Уфе.

1892 — Показывает «Юность преподобного Сергия» московским живописцам и Третьякову, у которого она встречает сдержанный прием. Решает не выставлять картину. Летом, по совету В. М. Васнецова, начинает работу над новым вариантом картины. Во Владимирском соборе пишет образа Бориса и Глеба.

1893 — Представляет «Юность преподобного Сергия» на 21-й передвижной выставке в Петербурге. Пишет образ святой Ольги. Совершает в июле-августе второе заграничное путешествие по маршруту: Константинополь — Афины — Палермо — Монреаль — Чефалу — Рим — Флоренция — Равенна — Падуя — Венеция, — с целью изучения византийских мозаик.

1894 — Пишет образ Варвары Великомученицы с Е. А. Праховой. В конце лета едет в Уфу, где тяжело болеет и умирает (2 сентября) мать Нестерова. Осенью в Москве работает над эскизами мозаик для церкви Воскресения Христова («Спаса на крови») в Петербурге. В конце года в Уфе пишет эскизы к картине «Два лада».

1895 — Работает в Петербурге над картонами мозаик церкви Воскресения. В конце марта в Киеве сдает последнюю композицию для Владимирского собора. Живет в Сергиевом посаде под Москвой, пишет этюды для картин «Под благовест», «Два лада» и др. Посещает Переславль-Залесский, Ростов

Великий, Ярославль, Кострому, Углич. Продолжает работы над картонами для церкви Воскресения, пишет картину «Под благовест».

1896 — «Под благовест» экспонирована на 24-й передвижной выставке в Петербурге. Принят в члены Товарищества передвижных выставок. Знакомится с А. Н. Бенуа и его друзьями — будущими мирискусниками. На Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде экспонируются «Юность преподобного Сергия» и «Под благовест». Присутствует на освящении Владимирского собора в Киеве (20 августа 1896 г.). Осенью работает в Москве над триптихом «Труды преподобного Сергия Радонежского», картинами «На горах», «Чудо».

1897 — В Петербурге, на 25-й передвижной выставке экспонируются картины «На горах» и «Труды преподобного Сергия». Позирует для портрета Н. Д. Кузнецову. Посещает Выставку немецких и английских акварелистов, организованную С. П. Дягилевым. Приносит в дар Третьяковской галерее картины «Сергиевского цикла» — «Юность преподобного Сергия», «Труды преподобного Сергия Радонежского» и акварельный эскиз «Преподобный Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на битву с татарами». Летом на Кавказе пишет портрет Н. Ярошенко. Переживает «молниеносную любовь». Пишет «Великий постриг».

1898 — Знакомится в доме художника В. К. Менка с Ю. Н. Урусман. На организованной С. П. Дягилевым в Петербурге Выставке русских и финских художников Нестеров экспонирует картину «Чудо», на 26-й передвижной — «Великий постриг» и «Благовещение». В Мюнхене, в июне, на Сецессионе выставляет картины «Под благовест», «Великий постриг» и «Чудо». Осматривает Старую и Новую Пинакотеки. Едет из Мюнхена в Италию. Узнает о смерти Н. Ярошенко. Работает в Киеве над картинами «Преподобный Сергий Радонежский» и «Димитрий царевич убиенный». Академия художеств присуждает Нестерову звание академика. Получает предложение расписать церковь Александра Невского в Абастумане.

1899 — На Международной выставке картин журнала «Мир искусства» в Петербурге экспонирует эскизы к мозаикам церкви Воскресения Христова («Спаса на крови»), на 27-й передвижной — «Димитрия Царевича убиенного». После недолгого пребывания в Крыму с выздоравливающей после тяжелой болезни дочерью Ольгой, едет в июне в Абастуман, а затем в Гелатский монастырь для ознакомления с церковной живописью Грузии. Работает над эскизами для иконостаса церкви в имении Оржевской «Новая Чартория». 23 августа/ 5 сентября рождается дочь М. В. Нестерова

и Ю. Н. Урусман Вера. Расторжение помолвки с Е. А. Праховой.

1900 — Пишет картину «Голгофа». Экспонирует ее и картину «Думы» на 28-й передвижной выставке. Начинает подготовительную работу к картине «Святая Русь». В мае-июне совершает поездку в Одессу, Ялту, Новороссийск, Абастуман. Знакомится и сближается с М. Горьким. Едет в июле в Париж на Всемирную выставку 1900 года, где ему присуждают серебряную медаль за картины «Чудо» и «Под благовест». Смерть И. Левитана. 23 декабря рождение сына М. В. Нестерова и Ю. Н. Урусман Михаила (1900–1920).

1901 — Экспонирует на 3-й выставке «Мира искусства» эскизы росписей абастуманской церкви, на 29-й передвижной — картины «Старец в пути», «Зимний вечер», картон «Рождество». В июле едет в Соловецкий монастырь. Осенью работает в Киеве над картиной «Святая Русь». На выставке «36» в Москве экспонирует эскизы к росписи церкви в Новой Чартории. Пишет портретный этюд Горького.

1902 — В первую половину года работает над картиной «Святая Русь». Знакомится с Екатериной Петровной Васильевой. Рождение и смерть сына-младенца Федора. Вступает в брак с Е. П. Васильевой в Кисловодске.

1903 — Работает в Абастумане. 2/15 сентября — рождение дочери Наталии. Пишет картины «Мечтатели» и «Молчание», «Обитель Соловецкая» и «Святое озеро».

1904 — Заканчивает роспись церкви в Абастумане. 24 августа в Уфе умирает отец. 2 октября — рождение дочери Анастасии.

1905 — Живет в Киеве, заканчивает картину «Святая Русь»[483]. Работает над картинами «Два лада» и «За Волгой». В мае с женой едет за границу — в Париж и Берлин. Смерть дочери Анастасии. В июне-июле едет в Уфу и Нижний Новгород для сбора материалов для картин. Пишет портреты Н. Г. Яшвиль, О. М. Нестеровой, Е. П. Нестеровой.

1906 — Показывает в Москве товарищам-живописцам картину «Святая Русь». В течение весны дважды посещает Петербург в связи с подготовкой персональной выставки. Осматривает выставку «Мир искусства», устроенную С. П. Дягилевым. Начинает работу над этюдами к картине «Христиане» (впоследствии — «Душа народа» или «На Руси»). В августе в имении княгини Н. Г. Яшвиль пишет портрет друга — польского пейзажиста Яна Станиславского. Пишет портрет О. М. Нестеровой («Амазонка»), Е. П. Нестеровой (у пруда), автопортрет. С 20 по 23 августа гостит в Ясной Поляне, где выполняет несколько рисунков с Льва Толстого, беседует с великим писателем.

1907 — Персональная выставка Нестерова — в Петербурге (5 января — 4 февраля) и в Москве (14 февраля — 18 марта). 18 апреля — рождение сына Алексея. Летом пишет на Волге и в Уфе этюды для картины «Христиане». В конце июня — начале июля живет в Ясной Поляне. Пишет пейзажный портрет Льва Толстого, портрет домашнего врача и биографа Толстого Д. П. Маковицкого в костюме и позе Толстого. Начинает подготовку к росписи храма Покрова Марфо-Мариинской обители в Москве, постройку которого — по рекомендации Нестерова — великая княгиня Елизавета Федоровна заказывает архитектору А. В. Щусеву.

1908 — Вместе с сестрой Александрой Васильевной и дочерью Ольгой едет за границу по маршруту: Краков — Вена — Рим — Неаполь — Капри — Флоренция — Венеция. Пишет на Капри этюды для росписей церкви Марфо-Мариинской обители. В течение года работает над этюдами и эскизами к картине «Христиане», к росписи и образам Марфо-Мариинской обители. Отклоняет предложение стать профессором Академии художеств.

1909 — Пишет образа для иконостаса церкви Марфо-Мариинской обители, портрет Е. П. Нестеровой (за вышиванием). На Международной выставке в Мюнхене Нестерову присуждена золотая медаль первой степени за картину «Святая Русь». В Уфе строится Аксаковский народный дом с художественной галереей при нем.

1910 — Переезд из Киева в Москву. Наем и устройство квартиры и мастерской. Начало работ по росписи церкви Марфо-Мариинской обители. Избран членом совета Академии художеств.

1911 — В течение года работает над росписями храма Покрова Пресвятой Богородицы в Марфо-Мариинской обители. Привлекает к работе в качестве помощников молодых живописцев П. Д. и А. Д. Кориных, Н. А. Лакова. Едет с женой в Италию (октябрь): Сиена — Рим — Орвиетто — Верона. На Международной художественной выставке в Риме представляет картины «Вечерний звон» и «Мечтатели». Переписывает на медной доске «Путь ко Христу». Смерть В. Серова.

1912 — Окончание работ в Марфо-Мариинской обители. Присутствует на освящении храма (8 апреля). Работает над этюдами к картине «Христиане». 1 июня венчание в Ризоположенской церкви Москвы дочери Ольги с В. Н. Шретером.

1913 — Работает над образами для иконостаса церкви в Сумах по заказу П. И. Харитоненко. Умирает сестра Нестерова Александра Васильевна (18 июня). Передает в дар Уфе личную коллекцию картин, скульптуры своих современников, в том числе 30 собственных работ в Аксаковский народный дом. Пишет воспоминания о Перове. С. В. Малютин пишет портрет Нестерова

для монографии С. Глаголя.

1914 — Расписывает купол церкви Марфо-Мариинской обители — образ Бога Вседержителя. Пишет этюды для картины «Христиане» в Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры. Создает большой — «окончательный» — эскиз «Христиан». Пишет картину «Лисичка», портрет дочери Натальи (на садовой скамейке), портрет протодьякона М. К. Холмогорова, картину «Раб Божий Авраамий». Участвует в ряде выставок «в пользу воинов и их семей».

1915 — Пишет картины «Сестры», «Усталые». Начинает работу над картиной «Христиане». Избран уфимской городской думой почетным попечителем Уфимского музея. Пишет автопортрет.

1916 — Пишет статью «Памяти Прахова», некролог на смерть Сурикова. Заканчивает картину «Христиане» («На Руси», «Душа народа»).

1917 — Показывает «Христиан» московской интеллигенции. Летом живет в Абрамцеве, работает над портретом П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова («Философы»). В сентябре Е. П. Нестерова с детьми уезжает к брату в Армавир. Пишет портрет архиепископа Антония Храповицкого.

1918 — Живет и работает в мастерской на Новинском бульваре в Москве. 4 августа рождение первой внучки И. В. Шретер. В октябре едет в Киев и далее — в Армавир к семье.

1919–1920 — Живет в Армавире, отрезанном от центральных областей России фронтом Гражданской войны. Пишет портрет Е. П. Нестеровой (в платке), дочери Натальи, сына Алексея.

1920 — В июле возвращается в Москву. Квартира и мастерская на Новинском бульваре «реквизированы» Реввоенсоветом. Имущество, библиотека, архив, «материал за 30 лет работы» — за исключением картин, сданных на хранение в музеи, — расхищены. «Временно» поселяется у Шретеров на Сивцевом Вражке, где прожил до самой смерти. По памяти восстанавливает часть утраченных этюдов и картин.

1921 — Живет летом в деревне Дубки у художника В. Н. Бакшеева. Воспроизводит некоторые картины для продажи «на картошку». Пишет картину «Путник». В июне из Армавира в Москву возвращается Е. П. Нестерова с Натальей и Алексеем.

1922 — Пишет в мае этюды в Троице-Сергиевой лавре. Летом живет в Дубках у В. Н. Бакшеева. Пишет портрет философа И. А. Ильина «Мыслитель», картины «Пророк», «Мать Евпраксея», «Весна-красна». На XVII выставке Союза русских художников, экспонирует картины «Свирель» и «Тихие воды».

1923 — Проводит в марте около двух недель в Петрограде.

Посещает Эрмитаж и Русский музей, встречается после многолетнего перерыва с художниками, в их числе с Бенуа и Кустодиевым. В мае пишет этюды в Троице-Сергиевой лавре, живет у П. Флоренского. Летом живет в Дубках, много работает. Пишет портрет Н. М. Нестеровой («Девушка у пруда»), портрет П. П. Перцова, картины «Дозор», «Старец», «Молитва». В конце года принимает участие в заседаниях, посвященных организации выставки русского искусства в Соединенных Штатах Америки.

1924 — Пишет этюды в Троице-Сергиевой лавре и Абрамцеве, затем живет и работает в Дубках. Пишет портрет-картину с дочери Веры. В сентябре снова посещает Абрамцево и впервые — Мураново.

1925 — В феврале пишет портрет академика-биолога А. Н. Северцова. Проводит май в Абрамцеве. В июне начинает работу над портретом своего близкого друга художника П. Д. Корина. Пишет портрет А. М. Щепкиной, осенью — В. М. Васнецова. Лечится в Железноводске.

1926 — Пишет портрет С. Н. Дурылина «Тяжелые думы». Уфимский художественный музей переименован в Государственный музей искусств [484]. К сорокалетию художественной деятельности получает приветствия от Русского музея и Третьяковской галереи. Позирует В. М. Васнецову для портрета. Участвует в заседаниях Комиссии по условиям экспонирования картины А. Иванова «Явление Христа народу», этюдов к картине и «Библейских эскизов». 23 июля — смерть В. М. Васнецова. В августе гостит в Муранове у С. И. и Н. И. Тютчевых и у Яковлевых в Хотькове. Участвует в организации Общества им. В. М. Васнецова. Третьяковская галерея приобретает портрет В. М. Васнецова кисти Нестерова. Отдыхает и лечится в санатории в Гаспре. Пишет этюды. Работает над воспоминаниями.

1927 — Продолжает работу над воспоминаниями. Периодически живет в Муранове. Пишет двойной портрет «внуков Тютчева» — С. И. и Н. И. Тютчевых. Пишет очерк о П. П. Чистякове для сборника, посвященного памяти знаменитого педагога. Отдыхает и лечится в Кисловодске (ноябрь).

1928 — В январе-феврале и сентябре пишет автопортреты. Посещает Киев (апрель). Переписывает двойной портрет Тютчевых, «разъединив» модели. Работает над портретом-картиной З. В. Бурковой «Больная девушка». Пишет картину «Элегия», портрет дочери Веры в зале Музея сороковых годов. Во время отдыха в Гаспре (ноябрь) усиленно работает над воспоминаниями.

1929 — Летом гостит в Муранове у Тютчевых. В ноябре

отдыхает и лечится в Гаспре, пишет «Заключение» к воспоминаниям и два очерка о С. П. Дягилеве.

1930 — Пишет портрет сына Алексея (позднее датирует его 1931 г.). В апреле начинает работу над портретом братьев П. Д. и А. Д. Кориных. В июне пишет в Колтушах портрет физиолога И. П. Павлова. В августе заканчивает портрет братьев Кориных. Вместе с женой отдыхает в санатории в Хосте (ноябрь).

1931 — 25 мая отмечается сорокапятилетие творческой деятельности Нестерова. Летом гостит в Муранове, осенью лечится в Сочи.

1932 — 1 июня торжественно отмечается семидесятилетие Нестерова. В октябре работает над картиной «Страстная седмица». Гостит в Бахчисарае у своей сокурсницы по Академии художеств О. П. Шильцовой. Пишет картину «Три всадника — Михей, Варфоломей, Наум» («Легенда»).

1933 — Пишет картину «Отцы-пустынники и жены непорочны» и портрет сына Алексея в испанском костюме. Пишет первый портрет хирурга С. С. Юдина «во время операции». Экспонирует на выставке «Художники РСФСР за XV лет» портрет братьев Кориных и портрет сына (1931). В августе приезжает по приглашению И. П. Павлова в Колтуши, пишет этюды и портрет С. В. Павловой, жены ученого. Третьяковская галерея приобретает «Автопортрет» 1928 года (второй вариант) и картину «Лель» («Весна»).

1934 — Болезнь и смерть старейшего друга и корреспондента Нестерова А. А. Турыгина (февраль). Нестерова посещает известный китайский художник Жю Пэон (Сюй Бэйхун). Третьяковская галерея приобретает портрет братьев Кориных. Пишет портрет скульптора И. Д. Шадра (июль). В августе гостит у И. П. Павлова в Колтушах. Ректор Академии художеств И. И. Бродский обращается к Нестерову с предложением профессуры. Отказ Нестерова. К 85-летию Павлова (27 сентября) дарит ему повторение его портрета 1930 года. Пишет второй портрет академика А. Н. Северцова. Портрет И. Д. Шадра приобретен Третьяковской галереей.

1935 — Пишет портрет толстовца В. Г. Черткова. 2 апреля в Музее изобразительных искусств в Москве открывается шестидневная выставка Нестерова, на которой экспонируются 16 работ, написанных с 1928 г. Выставка имеет большой успех и хорошую прессу. Пишет второй (профильный) портрет хирурга С. С. Юдина («во время лекции»). Работает в Колтушах над вторым портретом И. П. Павлова («с кулаками»). Пишет по заданию «Литературного наследства» воспоминания о встречах с М. Горьким.

1936 — Смерть И. П. Павлова (27 февраля). В марте Нестеров пишет воспоминания о Павлове. Письмо председателю Комитета по делам искусства П. М. Керженцеву «О художественной школе», опубликованное 11 мая 1936 г. в газете «Советское искусство». Третьяковская галерея приобретает портрет И. П. Павлова 1935 г. 1 июня отмечается семидесятичетырехлетие Нестерова и 50-летие его творческой деятельности. В августе по приглашению семьи И. П. Павлова гостит в Колтушах. Пишет портреты оперной певицы К. Г. Держинской, врача-терапевта Е. П. Разумовой, лингвиста Е. И. Таль. В сентябре благословляет дочь Веру на брак с И. И. Титовым.

1937 — В газете «Советское искусство» публикуются очерки Нестерова «В. И. Суриков» (1 марта) и «И. Н. Крамской» (17 апреля). 18 июля рождение внучки — М. И. Титовой. В августе гостит в Колтушах. По заказу правительства пишет портрет полярного исследователя, академика О. Ю. Шмидта.

1938 — В Москве знакомится с ленинградской офортисткой Е. С. Кругликовой и пишет ее портрет. В августе с женой гостит в Колтушах. Третьяковская галерея приобретает портреты Е. С. Кругликовой и К. Г. Держинской, Русский музей — портрет Е. И. Таль и картину-портрет «С. С. Юдин во время операции». Арестован и расстрелян зять Нестерова В. Н. Шретер. Вслед за ним арестована и отправлена в ссылку в г. Джамбул дочь Ольга. Возвращена в Москву благодаря хлопотам отца в 1941 г., перед войной.

1939 — 4 января рождение внучки — Т. И. Титовой. В мае гостит в Киеве у старых друзей М. В. и В. Ф. Статкевич. Пишет второй портрет Е. С. Кругликовой. Летом живет в Болшеве у своего друга и биографа С. Н. Дурылина, затем в Муранове. Русский музей приобретает второй портрет Е. С. Кругликовой. П. Д. Корин пишет портрет Нестерова.

1940 — Третьяковская галерея приобретает портрет Нестерова работы Корина. Пишет портрет В. И. Мухиной (июнь-июль).

1941 — Нестерову присуждена Государственная (Сталинская) премия I степени за портреты деятелей науки и искусства, в их числе и И. П. Павлова (1935). Пишет портрет архитектора А. В. Щусева.

1942 — В январе выходит книга воспоминаний «Давние дни». 30 мая — 1 июня торжественно отмечается восьмидесятилетие Нестерова с присвоением ему звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и награждением орденом Трудового Красного Знамени. В сентябре принят в члены Союза писателей СССР. В конце лета пишет пейзаж «Осень в деревне». В октябре выходит из

печати очерк С. Н. Дурылина «М. В. Нестеров».

8 октября написал завещание. 18 октября скончался в Боткинской больнице. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Иллюстрации

Портрет А. И. Нестерова, деда художника (автор неизвестен).

Портреты В. И. Нестерова,

М. М. Нестеровой, родителей художника. (авторы неизвестны).

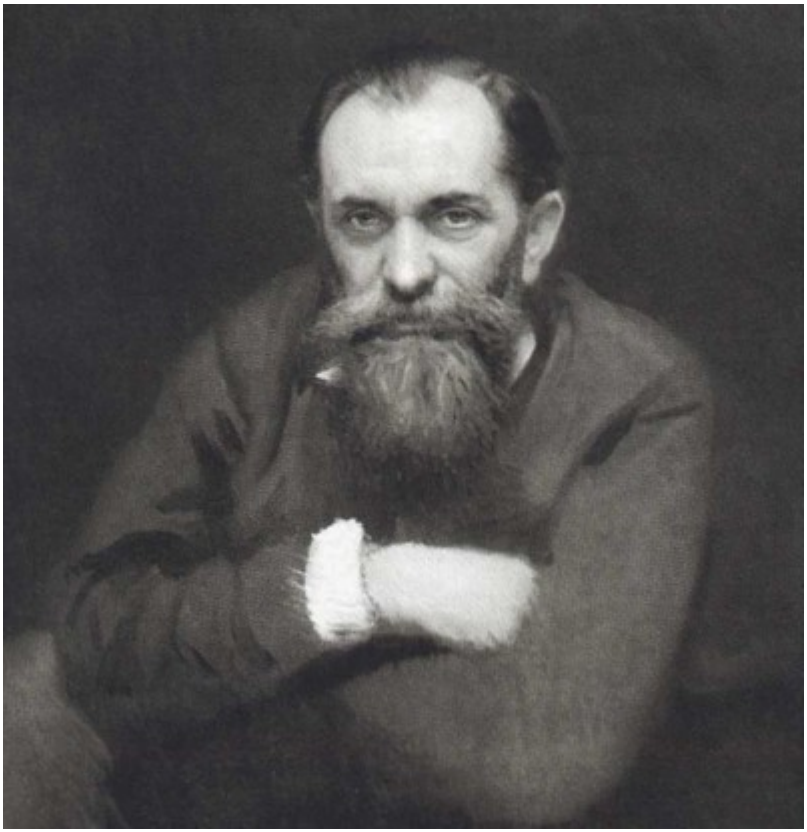
М. В. Нестеров с сестрой А. В. Нестеровой. Уфа. 1870 г.

Портрет М. И. Нестеровой, жены художника. 1886 г.

М. В. Нестеров с дочерью Ольгой. 1888–1890 гг.

Девушка-нижегородка. 1887 г.

Царевна. 1887 г.

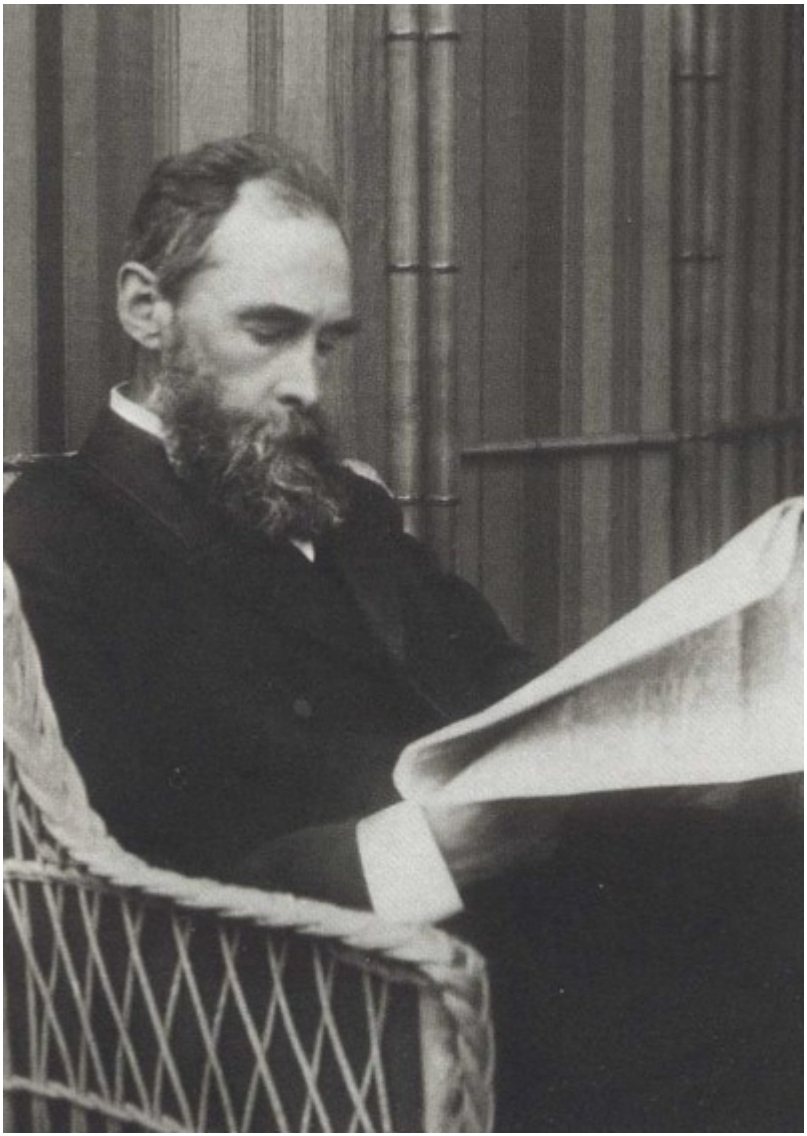


Портрет В. Г. Перова.1881 г. И. Н. Крамской.

Портрет И. Н. Крамского. 1876 г. Н. А. Ярошенко.

«Знаток». 1884 г.

Экспозиция Московской городской художественной галереи Третьяковых. Фото 1898 г.



П. М. Третьяков. 1897 г.

Н. А. Ярошенко.

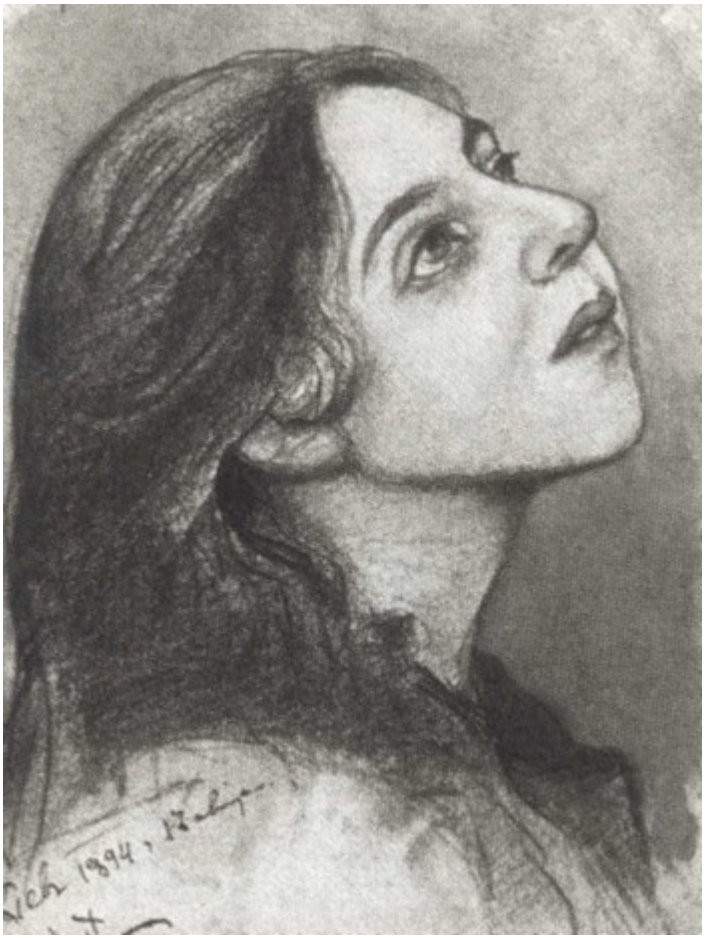
И. И. Левитан. Фото 1880–1890-х гг.

Портрет А. В. Прахова. Художник Н. Н. Крамской.

М. В. Нестеров. 1890-е гг.

Владимирский собор. Киев.

В. М. Васнецов во Владимирском соборе. Фото 1891 г.



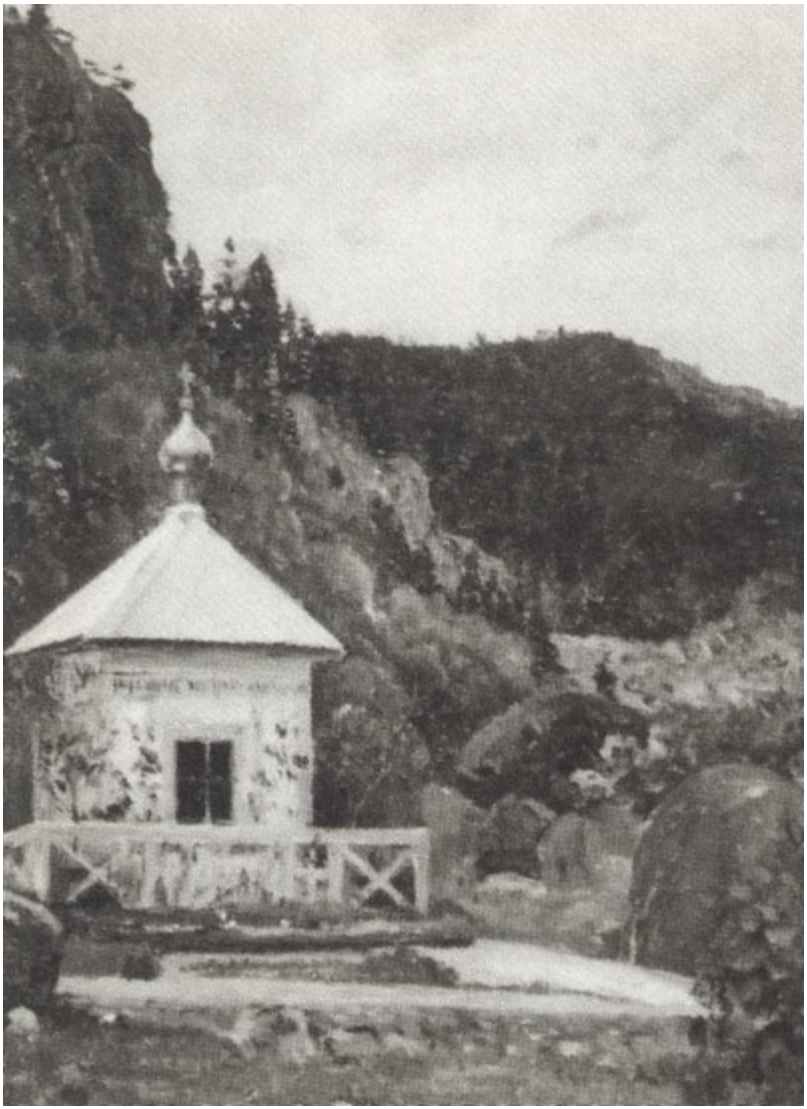
Эскиз к образу св. Варвары. (Рисунок с Е. А. Праховой.) 1894 г.

Св. Борис.

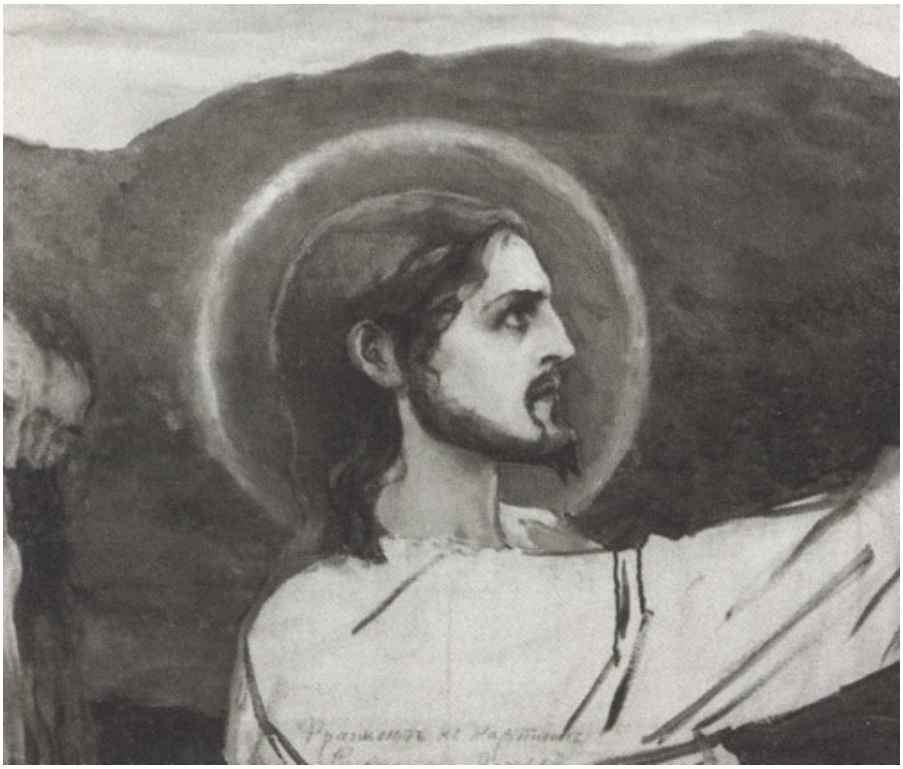
Св. великая княгиня Ольга. Роспись во Владимирском соборе. 1890–1895 гг.

Рождество Христово. Роспись Владимирского собора.

Врата Владимирского собора в Киеве.



Абастуман. Этюд. 1900 г.



Воскрешение Лазаря. Фрагмент картины. Роспись храма в Абастумане. 1890 г.

Работа над образами для Абастумана. Киев. 1902 г.

М. В. Нестеров с дочерью Ольгой. Киев. 1901–1902 гг.

«Соборяне» в гостях у Праховых. Киев. Публикуется впервые.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Марфо-Мариинскои обители.

Великая княгиня Елизавета Федоровна в трауре.

Протоиерей Митрофан Сребрянский, настоятель храма Покрова.

М. В. Нестеров и А. В. Щусев под сводами «Марфы». 1910 г.

Портреты П. Д. и А. Д. Кориных. 1930 г.

Алтарь Покровского храма в Марфо-Маринской обители.

Е. П. Нестерова с дочерью Наташей. Модельная композиция для иконы Богоматери храма Покрова. 1909 г.

Портрет О. М. Нестеровой. 1905 г.

Портрет Е. П. Нестеровой. 1905 г.

Портрет Яна Станиславского. 1906 г.

Портрет Н. Г. Яшвиль. 1905 г.

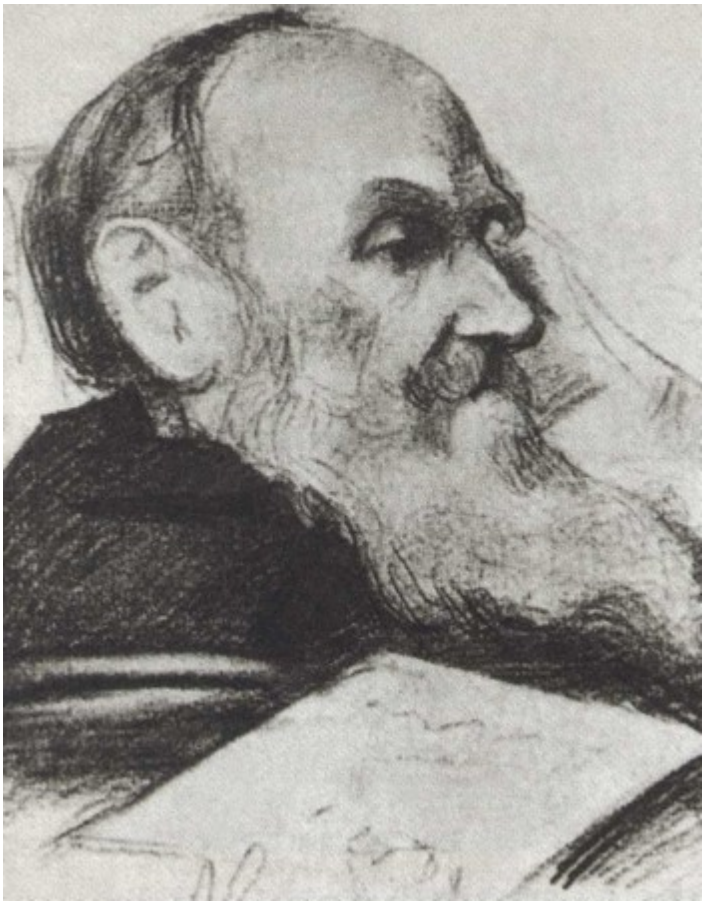
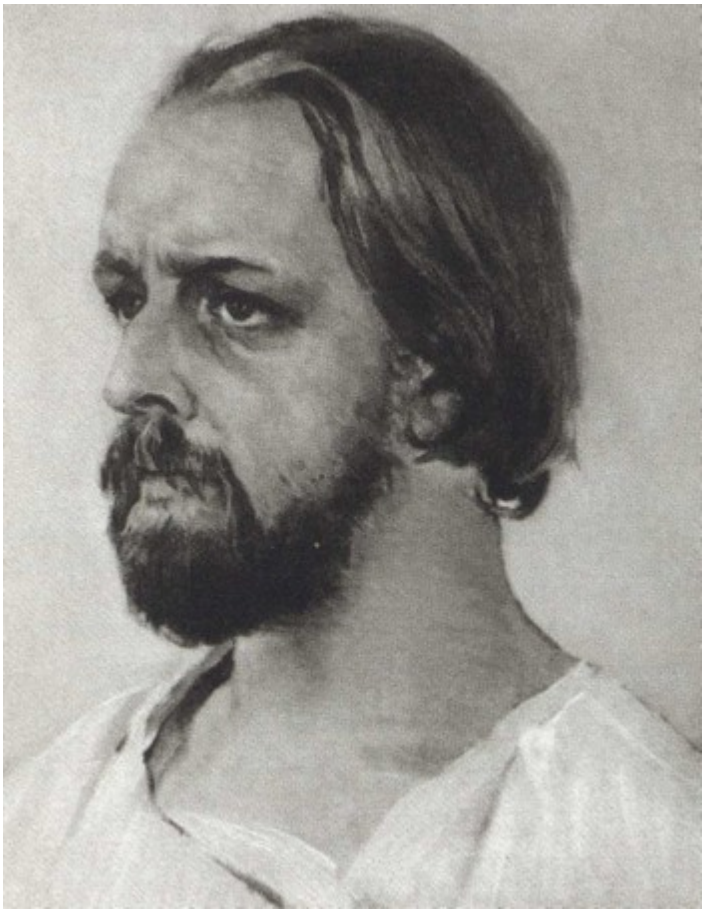
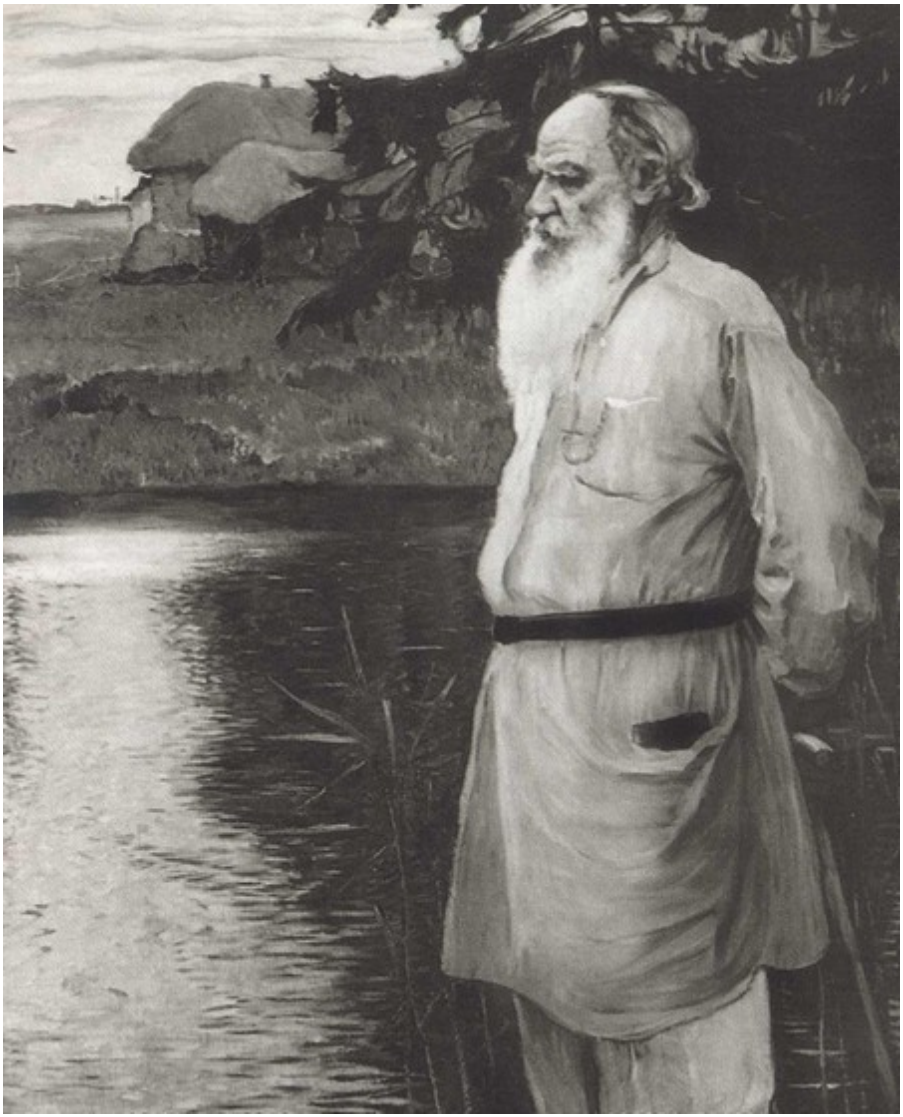


Рисунок к портрету Л. Н. Толстого. 1906 г.



Портрет В. Г. Черткова. 1900 г.



Портрет Л. Н. Толстого. 1907 г.

Ю. Н. Урусман с детьми Верой и Мишей. Москва. 1910 г. Публикуется впервые.

М. В. Нестеров в квартире на Донской улице в Москве. 1910 г.

Е. П. Нестерова с детьми Наташей и Алешей. Киев. 1908 г.

М. В. Нестеров с дочерью Ольгой и сестрой Александрой Васильевной. 1912 г.

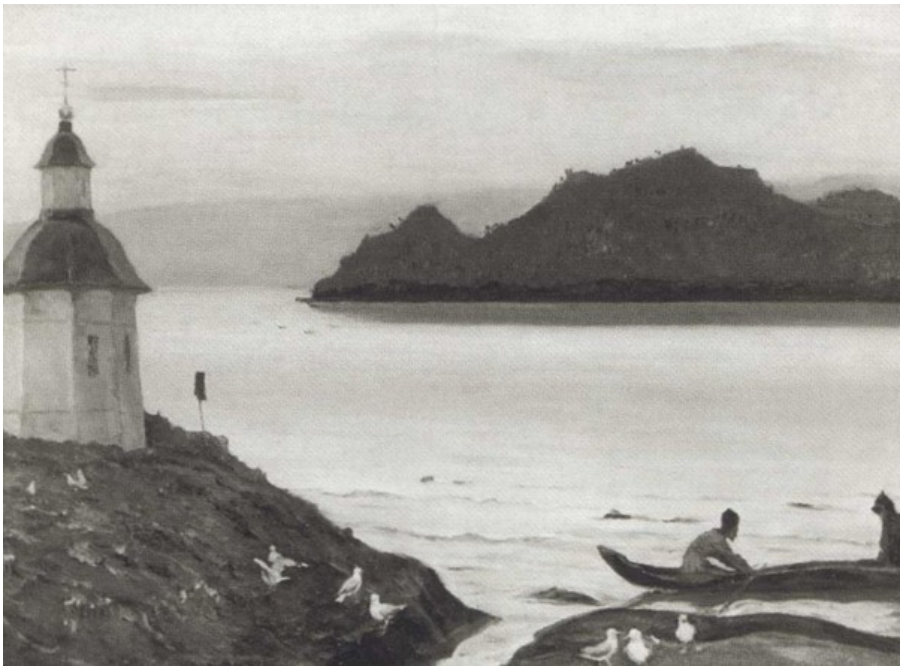
Портрет Миши Нестерова (сына). Этюд к картине «Путь ко Христу». 1910 г. Публикуется впервые.

Портрет девочки (Наташи Нестеровой). 1912 г.

Эскиз к картине «За Волгой». (Рисунок с Ю. Н. Урусман.) 1905 г.

За Волгой. 1905 г.

Вечерний звон. 1910 г.



Соловки. 1917 г.

Архиепископ (Антоний Волынский). 1917 г.

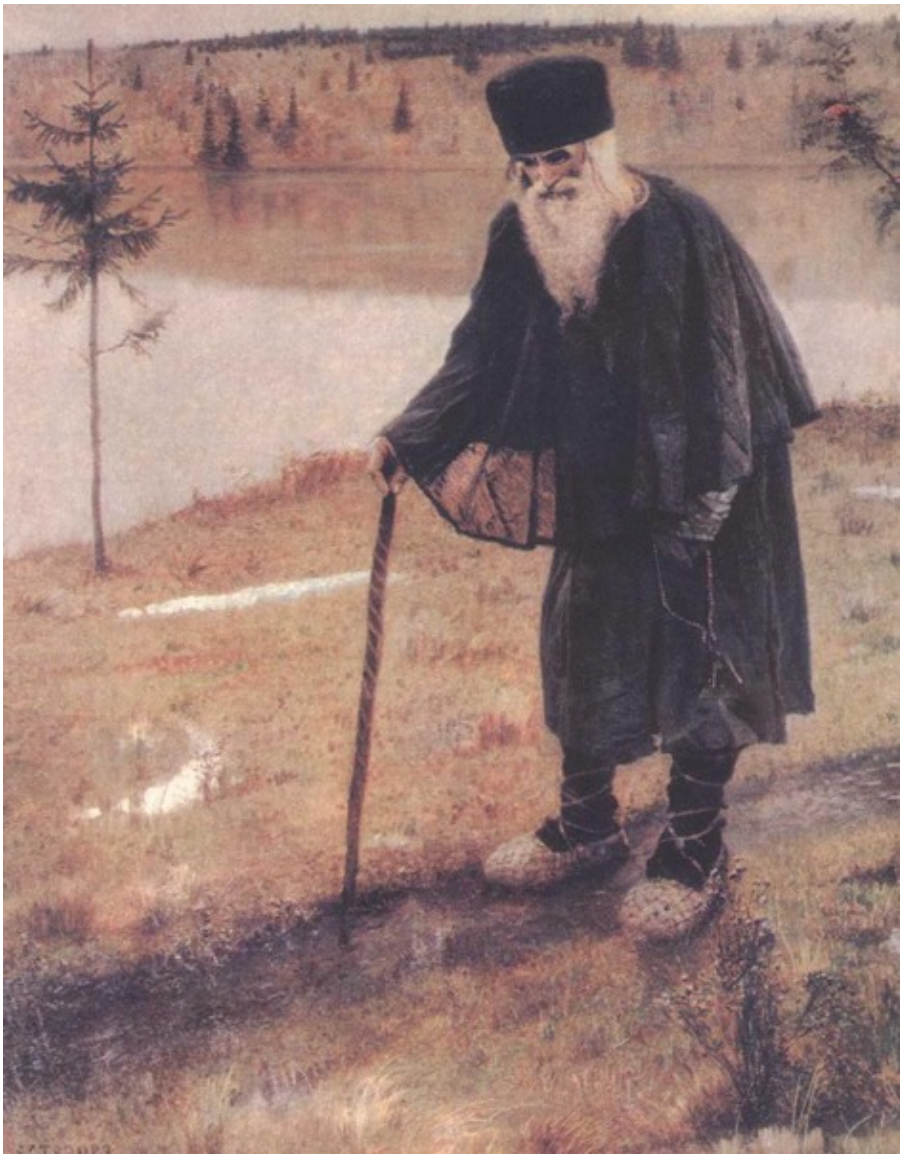
Портрет протодиакона Холмогорова. Этюд к картине «На Руси».

«Философы» (П. А. Флоренский и С. Н. Булгаков). 1917 г.

Автопортрет. 1882 г.

Девушка в кокошнике (М. И. Нестерова). 1885 г.

Великий постриг. 1897–1898 гг.



Пустынник. 1889 г.

Родина Аксакова. (Вариант.) 1910 г.

Два лада. 1905 г.

Дмитрий царевич убиенный. 1898–1899 гг.

Зимой в скиту. 1904 г.

Святая Русь. 1901–1905 гг.

Князь Александр Невский. Эскиз для храма Воскресения Христова (Спас на Крови) в Петербурге. 1894 г.

Юность преподобного Сергия. 1892–1897 гг.

Видение отроку Варфоломею. (Фрагмент.) 1889–1890 гг.

На горах. 1896 г.

Душа народа («На Руси», «Христиане»), 1914–1916 гг.

Портрет О. М. Нестеровой («Амазонка»), 1916 г.

Портрет В. М. Нестеровой. Акварель. 1918 г.

Портрет Е. П. Нестеровой (за вышиванием). 1909 г.

Золотой Рог. 1893 г.

Цветущий миндаль. Капри. 1908 г.

Итальянский мальчик. Капри. 1889 г.

Роспись храма Покрова в Марфо-Маринской обители.

Архангел Гавриил.

Путь ко Христу. Фрагменты.

Благовещение.

Фрагмент первого эскиза картины «Душа народа».

Великая княгиня Елизавета Федоровна. Этюд.

Литературное наследие М. В. Нестерова. Основные работы

Левитан. — Мир искусства, 1903, № 7–8, с. 41–44.

Ян Станиславский. — Искусство и печатное дело, 1910, № 8–9, с. 342–357.

Памяти В. И. Сурикова. — Русские ведомости, 1916, 8 марта.

Памяти А. В. Прахова. — Новое время, 1916, 20 мая.

Полина Антипьевна Стрепетова. — В кн.: П. А. Стрепетова. Воспоминания и письма. М., 1934, с. 484–494.

О художественной школе. — Советское искусство, 1936, № 22, 11 мая.

Художник-педагог. — Советское искусство, 1936, № 49, 23 октября.

В. И. Суриков. — Советское искусство, 1937, № 10, 1 марта.

Иван Николаевич Крамской. — Советское искусство, 1937, № 18, 17 апреля.

Василий Григорьевич Перов. — Советское искусство, 1937, № 25 и 26, 29 мая и 5 июня.

И. И. Левитан — художник русской природы. — Огонек, 1938, № 10.

Памяти А. М. Горького. — Огонек, 1938, № 14.

Мои портреты с И. П. Павлова. — Огонек, 1938, № 22.

Письма о Толстом. — Огонек, 1938, № 25.

И. И. Левитан. — Советское искусство, 1938, № 45, 8 апреля.

Встречи и воспоминания. I. Артем. II Андреев-Бурлак. — Театр, № 9, с. 149–152.

Воспоминания М. В. Нестерова (о П. П. Чистякове). — В кн.: П. П. Чистяков и В. Е. Савинский. Переписка (1883–1888). Воспоминания. М.; Л., 1939.

Памяти А. А. Рылова. — Статья в каталоге посмертной выставки А. А. Рылова. Л., 1940, с. 19–26.

Памяти Аркадия Александровича Рылова. — В кн.: А. А. Рылов. Воспоминания. М.; Л., 1940, с. 7–8.

Давние дни (Встречи и воспоминания) / Под ред. В. С. Кеменова. М., 1941. Книга состоит из следующих очерков: В. Г. Перов. И. Н. Крамской. Ф. И. Иордан. Н. Н. Ге. В. И. Суриков. В. М. Васнецов. П. М. Третьяков. Передвижники. Два баталиста. Капри. Попа и Барон. Сергей Коровин. И. И. Левитан. А. А. Рылов. П. А. Стрепетова. В. Н. Андреев-Бурлак. Артем. Портрет М. К. Заньковецкой. Актер. Письмо о Толстом. А. М. Горький. И. П. Павлов.

Н. А. Ярошенко. — Октябрь, 1942, № 5–6, с. 113–120.

И. П. Павлов и мои портреты с него. — Вестник Академии наук, 1949, № 9, с. 53–61.

И. И. Левитан. — В кн.: И. И. Левитан. 1861–1900. Воспоминания и письма к 50-летию со дня смерти. М.;Л., 1950, с. 11–19.

Михаил Васильевич Нестеров (автобиография). — В кн.: Мастера советского изобразительного искусства. Произведения и автобиографические очерки. Живопись. М., 1951, с. 351–362.

М. Н. Ермолова и Жюль Девойод. — В кн.: Мария Николаевна Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников. М.,1955.

Давние дни (Встречи и воспоминания). 2-е изд., расширенное / Подготовка текста, введение и примеч. К. В. Пигарева. М., 1959.

М. В. Нестеров. Из писем/ Вступ. статья, сост. и коммент. А. А. Русаковой. Л., 1968.

Об Анне Семеновне Голубкиной. — В кн.: А. С. Голубкина. Письма. Несколько слов о ремесле скульптора. Воспоминания современников. М.,1983.

М. В. Нестеров. Воспоминания / Вступ. статья, подготовка текста, коммент. А. А. Русаковой. М.: Советский художник, 1985.

М. В. Нестеров. Письма. Избранное. 2-е изд., перераб. и доп./ Вступ. статья, сост., коммент. А. А. Русаковой. Л.: Искусство, 1988.

Список сокращений

Давние дни. 2-е изд. — *Нестеров М. В.* Давние дни. Встречи и воспоминания. М., 1959.

Письма — *Нестеров М. В.* Письма. Л.: Искусство, 1988.

Дурылин С. Нестеров в жизни и творчестве. — *Дурылин С.* Нестеров в жизни и творчестве. (Сер. «Жизнь замечательных людей»). М.: Молодая гвардия, 2004.

Грабарь И. Автомонография — *Грабарь И. Э.* Моя жизнь. Автомонография. М.;Л.: Искусство, 1937.

Русский музей — Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

БГХМ им. М. В. Нестерова — Башкирский государственный художественный музей им. М. В. Нестерова, Уфа.

ГТГ, Третьяковская галерея — Государственная Третьяковская галерея, Москва.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

МУЖВЗ — Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок.

Именной указатель

А. М. П., уфимский купец, хулитель «Варфоломея»

Абдул-Хамид II (1842–1918), турецкий султан, установил деспотический режим в Турции, свергнут с престола в 1909 г.

Абрикосов Алексей Иванович (1824–1904), основатель и владелец кондитерской фирмы, коллекционер

Августа-Виктория, прусская принцесса, жена Вильгельма II 446 Адриан, римский император

Адрианов, городской деятель Москвы начала XX в.

Айвазовский (Гайвазовский) Иван Константинович (1817–1900), живописец-маринист

Айканов А. М., лейб-медик вел. князя Георгия Александровича

Анналов Дмитрий Власьевич (1862–1939), искусствовед, специалист по искусству Византии и Древней Руси

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист и общественный деятель, один из идеологов славянофильства. Родом из Уфы

Александр II (1818–1881), российский император с 1855 г.

Александр III (1845–1894), российский император с 1881 г.

Александр Михайлович (1866–1933) (Сандро) — вел. князь, двоюродный брат Александра III

Александр Невский (1220–1263), святой благоверный князь Новгородский в 1236–1251 гг., вел. князь Владимирский с 1252 г.

Александра Федоровна (1872–1918), супруга Николая II, с 1894 г. российская императрица. Канонизирована русской православной церковью. Страстотерпица (2000)

Александровский, художник-акварелист

Алексеев Николай Александрович (1852–1893), московский городской голова

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918), генерал, в Первую мировую войну командующий фронтом, затем начальник штаба Ставки

Алексей Александрович (1850–1908), вел. князь, адмирал

Алексей Николаевич (1904–1918), царевич, наследник русского престола, сын Николая II, убит в Екатеринбурге 17 июля 1918 г., канонизирован Русской православной церковью. Страстотерпец (2000)

Алексей, кучер Нестеровых в Уфе

Алексий, экзарх Грузии (кон. XIX — нач. XX в.)

Аликс, Алиса — см. Александра Федоровна

Алиса Гессенская — мать Александры Федоровны, принцесса

Английская, дочь королевы Виктории, жена Людвига IV — великого герцога Гессенского

Альберт I (1875–1934), бельгийский король с 1909 г.

Альма-Тадема Лоуренс (1836–1912), английский живописец

Альфонс XIII (1886–1941), король Испании в 1902–1931 гг.

Амвросий Оптинский (Александр Михайлович Гренков; 1812–1891), иеромонах Оптиной пустыни, один из самых авторитетных старцев, канонизирован Русской православной церковью

Англада-и-Камараса, Эрменхильдо (1872–1959), испанский живописец

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель

Андреева (Желябужская) Мария Федоровна (1868–1953), актриса, общественный деятель, гражданская жена М. Горького

Анджелико да Фьезоле фра Беато (1387–1455), флорентийский живописец эпохи Раннего Возрождения

Андрей — римлянин IV в. до н. э.

Антоний (Александр Васильевич Вадковский) (1846–1912) митрополит С.-Петербургский и Ладожский, первенствующий член Святейшего синода. Автор духовных сочинений

Антоний Волынский (Алексей Павлович Храповицкий) (1863–1936), ректор Петербургской духовной семинарии, архиепископ (1906), член Синода (1912). Политический и религиозный деятель русского зарубежья

Антоний Печерский (982–1073), преподобный, основатель Печерского (пещерного) монастыря в Киеве и монашеского жития на Руси

Артемьев (сцен, фамилия Артем) Александр Родионович (1842–1914), ученик Перова в МУЖВЗ, актер МХТ

Архангельский Александр Андреевич (1846–1924), русский хоровой композитор духовной музыки

Архипов Абрам Ефимович (1862–1930), художник, жанрист и пейзажист

Бакст (Розенберг) Лев Самойлович (1866–1924), театральный художник, график, живописец группы «Мир искусства»

Балакирев Милий Алексеевич (1836/37–1910), композитор, глава объединения «Могучая кучка»

Балашов, московский чиновник

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт-символист

Барановы Асафы, купцы

Бару, преподаватель французского языка в реальном училище К. П. Воскресенского в Москве

Бастьен-Лепаж Жюль (1848–1884), французский живописец

Баталовы (Моисееч и его жена), буфетчики в МУЖВЗ

Баторий Стефан (1533–1586), польский король, с 1576 г. полководец

Баттистини Маттиа (1856–1928), итальянский певец

Баумгартен Александр Павлович, киевский вице-губернатор

Бах Иоганн Себастьян (1685–1750), великий немецкий композитор, органист

Беклемишев Александр Николаевич, художник, отец В. А. Беклемишева

Беклемишев Владимир Александрович (1861–1920), скульптор, профессор и ректор Петербургской академии художеств

Беклин Арнольд (1827–1901), швейцарский живописец-символист, автор знаменитой картины «Остров мертвых»

Белышевы, соседи Нестеровых в Уфе

Беляев, владелец лавочки сувениров в Неаполе

Беляков Павел Тимофеевич, сын уфимского купца, провинциальный актер

Беляков Тимофей Терентьевич, уфимский купец-бакалейщик

Бенкендорфы, граф и графиня, заказчики Нестерову росписи часовни

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник, искусствовед, музейный деятель, основатель общества «Мир искусства»

Беретти Александр Викентьевич (1817—?), архитектор, строитель Владимирского собора (заложен в 1859 г.) в Киеве

Берн-Джонс Эдуард (1833–1898), английский живописец, представитель течения прерафаэлитов

Бетховен Людвиг ван (1770–1827), великий немецкий композитор

Бизяиха. квартирная хозяйка Нестерова в Сергиевом Посаде

Бирюков Павел Иванович (1860–1931), писатель, общественный деятель, биограф и последователь Л. Н. Толстого

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898), князь, первый рейхсканцлер Германской империи (1871–1890)

Блохин Александр Кондратьевич, уфимский купец

Бобринский Алексей Александрович (1852—?), вице-президент Академии художеств (1889–1893), граф, заказчик росписей М. В. Нестерову

Богданов-Бельский Николай Петрович (1868–1945), живописец, жанрист

Бодаревский Николай Корнильевич (1850–1921), живописец-портретист, жанрист

Бойсман Камилл Арсеньевич, лейтенант, адъютант вел.

кн<язя> Георгия Александровича

Бойсман, командир броненосца «Александр III»

Бок Александр Романович фон (1829–1895), скульптор, профессор Академии художеств

Болотников Иван Исаевич (? — 1608), предводитель крестьянского восстания

Бонна Жозеф-Леон (1833–1922), французский живописец, портретист

Борейша, гувернантка О. М. Нестеровой

Борисов Александр Алексеевич (1866–1934), живописец, много работавший на Крайнем Севере

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870–1905), живописец

Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887), ученый-химик, композитор, член «Могучей кучки»

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825), композитор, управляющий с 1796 г. Придворной певческой капеллой в Петербурге

Боткин Михаил Петрович (1839–1914), исторический живописец, офортист, искусствовед, археолог, коллекционер

Боткина Надежда Петровна — см. Остроухова Н. П.

Боттичелли Сандро (Алессандро Филипепи; 1444/45–1510), флорентийский живописец эпохи Раннего Возрождения

Бродский Лазарь, сахарозаводчик в Киеве

Бронников Федор Андреевич (1827–1902), живописец

Бруни Николай Александрович (1856–1937). живописец

Бруни Федор Антонович (1799–1875), живописец-станковист и монументалист, ректор Петербургской академии художеств с 1855 г.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926), генерал, во время Первой мировой войны главком Юго-Западного фронта, в мае — июле 1917 г. верховный главнокомандующий, с 1920 г. в Красной армии

Брюллов Карл Павлович (1799–1852), живописец

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), профессор-экономист, выдающийся религиозный мыслитель, богослов, священник, выслан из России в 1922 г., профессор Богословского Сергиевского института в Париже, основатель Русского студенческого христианского движения 499

Бурцев Владимир Львович (1862–1942), издатель, публицист-либерал

Буслаев Федор Иванович (1818–1897), академик, филолог и искусствовед

Буше Франсуа (1703–1770), французский живописец и график

Быковский Константин Михайлович (1841–1906), архитектор, педагог, председатель Московского общества любителей художеств

Бюнтинг, тверской губернатор

Вагнер Рихард (1813–1883), великий немецкий композитор

Валгрен Вилле (1855–1940), финляндский скульптор, медальер

Валери, братья, акробаты провинциального цирка

Ван Дейк Антонис (1599–1641), фламандский живописец

Василий, приказчик и садовник в Княгинине, имении Н. Г. Яшвиль

Васильчикова, княгиня, гостья вел. княгини Елизаветы Федоровны

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856–1933), живописец, педагог, один из лидеров Союза русских художников

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926), станковый, церковный живописец, театральный художник, монументалист

Васнецова Александра Владимировна (1850–1933), выпускница Военно-медицинской академии, врач, жена В. М. Васнецова

Васнецовы, семья В. М. Васнецова

Ватто Антуан (1684–1721), французский живописец и график

Веласкес Диего де Сильва (1599–1660), испанский живописец

Велизарий (ок. 505–565), византийский полководец

Вениг Богдан Богданович (1837–1908), живописец и педагог

Верди Джузеппе (1813–1901), итальянский композитор

Верещагин Александр Васильевич (1850–1909), генерал-майор, писатель, брат В. В, Верещагина

Верещагин Василий Васильевич (1842–1904), живописец

Верещагин Василий Петрович (1835–1909), исторический живописец, профессор Академии художеств, баталист, автор картин на евангельские сюжеты

Веронезе Паоло (Паоло Кальяри; 1528–1588), венецианский живописец

Виардо-Гарсия Мишель Полина (1821–1910), французская певица испанского происхождения

Виктор Эммануил II (1820–1878), первый король объединенной Италии с 1861 г.

Виктория, королева Англии

Виктория, императрица Германии

Виллевальде Богдан (Готфрид) Павлович (1818–1903), живописец-баталист

Вильгельм II (1859–1941), германский император (1888–1918)

Виноградов Сергей Арсеньевич (1869–1938), живописец, организатор Выставки русских художников (1923)

Виноградский Александр Николаевич (1856–1912), дирижер, председатель киевского отделения Русского музыкального общества

Витте Матильда (1849–1915), графиня, жена С. Ю. Витте

Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф, крупный государственный деятель, министр финансов, позднее — председатель Госсовета

Владимир, архиепископ Казанский

Владимир, митрополит Московский

Владимир Александрович (1847–1909), вел. князь, президент Академии художеств, председатель Комиссии по строительству храма Воскресения «Спаса на Крови» в Петербурге

Владимир Святославич (ум. 1015), святой равноапостольный благоверный великий князь Киевский, при котором на Руси было принято христианство к 988 г.

Власовский, московский обер-полицмейстер

Волков Ефим Ефимович (1844–1920), живописец, автор первого портрета М. В. Нестерова

Волкович Андрей Николаевич (ум. 1904), врач, друг молодости М. В. Нестерова

Волнухин Сергей Михайлович (1859–1921), скульптор и педагог

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916), граф, государственный деятель, министр императорского двора. В 1905–1915 гг. наместник Кавказа

Воскресенский Константин Павлович, директор реального училища в Москве

Восторгов Иоанн, протоиерей

Врубель Михаил Александрович (1856–1910), художник-портретист и монументалист

Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913), эстрадная певица, исполнительница цыганских романсов

Габсбурги, династия, правившая в Австрии (с 1867 по 1918 г. — в Австро-Венгрии)

Гагарин Григорий Григорьевич (1810–1893), князь, рисовальщик и акварелист, вице-президент Академии художеств (1859–1879)

Галлен-Каллела Аксель Вальдемар (1865–1931), финляндский живописец

Гамбетта Леон (1838–1882), премьер-министр и министр иностранных дел Франции

Гамбургер, баронесса, попечительница больницы Александровской общины Красного Креста

Гарибальди Джузеппе (1807–1882), вождь итальянского национально-освободительного движения

Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888), писатель

Гвозданович (урожд. Прохорова) Екатерина Ивановна, во втором браке — жена художника Беклемишева

Ге Николай Николаевич (1831–1894), живописец, входил в ПХВ

Гельцер Екатерина Васильевна (1876–1962), балерина, педагог

Гендриков

Геннер, гласный Московской городской управы

Георг II (1826–1914), герцог Саксен-Мейнингенский, покровитель и руководитель Мейнингенского театра

Георг, греческий принц или Георг I, король Греции

Георгиевская Елена Ивановна (урожд. Мартыновская; ум. 1943/44), сестра первой жены М. В. Нестерова

Георгиевский, присяжный поверенный, муж Е. И. Георгиевской

Георгий Александрович (1871–1899), вел. князь, наследник-цесаревич, младший брат Николая II

Георгий Михайлович (1863–1918), вел. князь, управляющий Русским музеем, нумизмат

Гессенская, герцогиня, см. Алиса Гессенская

Гетье Федор Александрович (1863–1938), врач, профессор

Гиберти Лоренцо (1381–1455), итальянский скульптор

Гирландайо Доменико (ди Томмазо Бигорди; 1449–1494), флорентийский живописец эпохи Раннего Возрождения

Глазунов Александр Константинович (1865–1936), композитор, дирижер, педагог, двоюродный брат А. А. Турыгина

Глазуновы, петербургские купцы

Глеб, святой

Глинка Михаил Иванович (1804–1857), русский композитор

Глумов Александр, провинциальный актер

Глумова Ольга Петровна, жена актера А. Глумова

Гнидов, позолотчик церкви в Абастумане

Гоген Поль (1848–1903), французский живописец

Гогенцоллерны, династия прусских королей (1701–1918) и германских императоров (1871–1918)

Гоголь Николай Васильевич (1800–1852), русский писатель

Голицын Борис Борисович (1862–1916), князь, физик, геофизик, основоположник сейсмологии

Голицын Владимир Михайлович (1847–1932), князь,

городской голова Москвы (1897–1905), председатель совета Третьяковской галереи (1899–1905)

Головин Александр Яковлевич (1863–1930), театральный художник и живописец

Гольбейн Ганс Младший (1497 или 1498–1543), немецкий художник

Гонкуры, братья: Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870), французские писатели

Гончарова Наталия Николаевна — см. Пушкина Н. Н.

Гопадзе, доктор

Гордей, <о.>, монах Троице-Сергиевой лавры

Гордеева Валентина Сергеевна (? — 1931), казначей Марфо-Мариинской обители при вел. княгине Елизавете Федоровне. После ареста вел. княгини в 1918 г. — начальница обители

Горчаков, светл. князь

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков; 1868–1936), писатель, драматург, публицист, общественный деятель

Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), живописец, искусствовед, художественный критик, музейный деятель, академик

Греческая королева — см. Ольга Константиновна

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), дипломат, драматург, поэт

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899), писатель, секретарь Общества поощрения художеств

Губанов Василий Степанович, уфимский городской голова, крестный М. В. Нестерова

Губанова Елизавета (Лизинька), дочь Губанова В. С.

Гугунава Анна (урожд. Кабанова), двоюродная сестра М. В. Нестерова, жена Ч. Гугунавы

Гугунава Четан (Иван Георгиевич Гугунов; 1860—?), грузинский князь живописец, соученик, приятель и свояк М. В. Нестерова

Гудим-Левкович, специалист по украинскому прикладному искусству (вышивка и шитье)

Гумбольдт Александр (1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник

Гумбольдт Вильгельм (1767–1835), немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, его имя носит университет в Берлине

Гурко Иосиф Владимирович (1828–1901), генерал-фельдмаршал, варшавский генерал-губернатор и командующий войсками округа

Гучков Александр Иванович (1862–1936), лидер октябристов,

военный и морской министр Временного правительства

Гучков Николай Иванович (1865–1935), городской голова Москвы (1905–1913)

Давыдов, музыкант в оркестре А. Рубинштейна

Далькевич Мечислав Михайлович (ум. 1941?), книжный иллюстратор, художественный критик

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), публицист, социолог, естествоиспытатель, идеолог позднего славянофильства, автор книги «Россия и Европа»(1869)

Д'Аннунцио Габриеле (1863–1938), итальянский писатель и политический деятель

Д'Арк Жанна (Иоанна), национальная героиня французского народа

Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт

Дасоева Анна, молочница из Абастумана, свидетель гибели цесаревича Георгия Александровича

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869), композитор

Дациаро Иосиф Александрович, комиссионер, торговец художественными принадлежностями и произведениями искусства

Дашков Дмитрий Яковлевич, полковник Кавалергардского полка

Девойод (прав. — Девойо) Жюль (1842–1901), французский певец

Дедлов — см. Кигн В. Л.

Деларош Поль (1797–1856), французский исторический живописец

Делянов Иван Давыдович (1818–1897), граф, видный государственный деятель, член Госсовета, министр народного образования в 1882–1897 гг.

Демчинский Николай Александрович (1851–1915), литератор, инженер путей сообщения

Демьянов Михаил Александрович (1873–1913), живописец

Дефреггер Франц фон (1835–1921), австрийский живописец

Джотто ди Бондоне (1266/67 или 1276/77–1337), итальянский живописец Раннего Возрождения

Джунковский Владимир Федорович, генерал-губернатор Москвы (1905–1913), друг М. В. Нестерова и О. М. Нестеровой-Шретер, автор мемуаров «Записки прошлого»

Дмитриева Серафима Ивановна, воспитанница А. В. Нестеровой, модель М. В. Нестерова («Зима в скиту», «Святая Русь» и др.)

Дмитрий Иванович, Донской (1350–1389), святой благоверный вел. князь Московский

Дмитрий Павлович (1891–1962), вел. князь, участвовал в убийстве Г. Распутина (1916 г.)

Дмитрий (Димитрий) царевич (1582–1591), святой благоверный вел. князь Димитрий, царевич Московский, угличский страстотерпец, сын Ивана IV Грозного и Марии Нагой

Дмитрий (1661–1709), митрополит Ростовский, святитель Ростова Великого

Дойниковы, московские купцы

Донон, владелец ресторана в Петербурге

Доре, художник

Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922), журналист, театральный критик, публицист

Досекин Николай Васильевич (1863–1935), живописец

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), русский писатель, публицист, религиозный мыслитель

Драбов (Дробов) Александр Петрович, живописец, преподаватель рисования в реальном училище К. П. Воскресенского

Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905), генерал, командующий войсками Киевского военного округа

Дренгер, воспитатель в реальном училище К. П. Воскресенского

Дубасов Федор Васильевич (1845–1912), царский адмирал, с 1905 по 1906 г. моек. ген. — губернатор

Дубовский Н. Н., художник

Дузе Элеонора (1859–1924), итальянская драматическая актриса

Дункан Айседора (1878–1927), американская танцовщица, основоположница современной пластической школы танца

Дурылин Сергей Николаевич (1886–1954), религиозный философ и писатель, священник, литературовед и театровед, друг и биограф М. В. Нестерова

Дюбрейль-Эшаппар Ф. В., полковник

Дюран Мария, певица

Дягилев Сергей Павлович (1872–1929), художественный и театральный деятель, основатель общества «Мир искусства»

Е-ва, сестра милосердия, ухаживавшая за больной О. М. Нестеровой

Егор, натурщик в МУЖВЗ

Екатерина II (1729–1796), российская императрица с 1762 г.

Екатерина Михайловна, вел. княгиня

Елизавета Петровна (1709–1761), российская императрица с 1741 г.

Елизавета Федоровна (1864–1918), вел. княгиня, жена вел. князя Сергея Александровича, основательница Марфо-Мариинской обители, канонизирована Русской православной церковью (1992)

Елисеевы, петербургские купцы, родственники А. А. Турыгина

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933), беллетрист и публицист-народник

Ендогуров Иван Иванович (1861–1898), живописец

Епифанов, товарищ М. В. Нестерова по реальному училищу К. П. Воскресенского в Москве

Ермак Тимофеевич (ум. 1585), казачий атаман, начавший освоение Сибири Русским государством

Ермолова Мария Николаевна (1853–1928), русская трагическая актриса

Есенин Сергей Александрович (1895–1925), русский поэт

Ефимов Алексей Иванович, математик, репетитор М. В. Нестерова в Уфе

Жемчужников Лев Михайлович (1828–1912), живописец и гравер

Жернов, паркетчик

Загорский, врач в Уфе

Запольская, актриса Московской оперетты

Заурвейд Александр Иванович (1783–1844), живописец-баталист, профессор Академии художеств

Захаров Андреян Дмитриевич (1761–1811), архитектор

Захарьин Григорий Антонович, лейб-медик, врач-терапевт, лечивший Александра III

Зуров, чиновник из окружения вел. кн. Елизаветы Федоровны

Иван, слуга хирурга Е. В. Павлова

Иван IV Васильевич (Грозный; 1530–1584), вел. князь Московский и всея Руси, первый русский царь (с 1547 г.)

Иванов Александр Андреевич (1806–1858), живописец, автор знаменитой картины «Явление Христа народу»

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт и теоретик символизма, религиозный мыслитель, историк культуры

Иванов Михаил Михайлович (1849–1927), музыкальный критик и композитор, заведовал музыкальным отделом газеты «Новое время»

Иванов Сергей Васильевич (1864–1910), живописец и график,

друг М. В. Нестерова

Иванов, муж тетки Нестерова Александры Михайловны, чиновник почтового ведомства, тайный советник

Иванова Лидия Вячеславовна (ок. 1887 — до 1917), дочь В. И. Иванова, лингвист, автор мемуаров

Иванова (урожд. Ростовцева) Александра Михайловна, сестра матери М. В. Нестерова

Игнатьев Алексей Павлович (1842–1906), граф, иркутский, а затем киевский генерал-губернатор, член Госсовета

Игнатьева, графиня, жена А. П. Игнатьева

Игумнова Юлия Ивановна (1871–1940), художница

Извольские, дворянский род

Икскуль фон Гильденбандт Варвара Ивановна (1850–1929), баронесса, меценат, друг семьи М. В. Нестерова

Имеретинские, русско-грузинская княжеская семья

Имеретинский, св. князь, варшавский генерал-губернатор после 1901 г.

Иннокентий, архимандрит, ректор Тверской семинарии

Иннокентий, архимандрит, настоятель Соловецкого монастыря

Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев) (1829–1908), святой праведный (канонизирован в 1990 г.), протоиерей, богослов, духовник Александра III и его семьи, один из авторитетнейших проповедников, духовный писатель

Иоанн Латеранский,

Иоанникий (Руднев), митрополит Киевский и Галицкий

Иона Сысоевич, митрополит Ростовский

Ионафан, архиепископ Ярославский

Иордан Федор Иванович (1800–1883), гравер и педагог, ректор Академии художеств

Иосаф Белгородский (Горленко) (1705–1754), святитель, наместник Троице-Сергиевой лавры, епископ Белгородский (1748). В 1911 г. причислен к лику святых

Исидор Романович, фельдшер

Ислер, художник

Кабанов, муж тетки М. В. Нестерова Елизаветы Ивановны

Кабанова (урожд. Нестерова) Елизавета Ивановна, тетка М. В. Нестерова

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), публицист, историк

Кавур Камилло Бенсо (1810–1861), граф, итальянский политический деятель, глава первого правительства после объединения Италии (1861 г.)

Калишевский Яков Степанович (1856–1923), украинский хормейстер, регент хора Софийского собора в Киеве (1883–1920)

Каменские, заказчики Нестерову храмовых росписей в имении Каменки

Кандинский Василий Васильевич (1866–1944), художник-модернист, родом из Кяхты, дальний родственник Нестеровых

Карелин

Каролюс-Дюран Шарль-Эмиль, Август (1837–1917), французский художник-портретист

Карно Мари Франсуа Сади (1837–1894), с 1888 г. президент Франции, убит анархистом Казерно

Карпаччо Витторе (ок. 1455–1526), венецианский живописец эпохи Раннего Возрождения

Касаткин Николай Алексеевич (1859–1930), живописец, преподаватель МУЖВЗ

Каульбах Вильгельм (1805–1874), немецкий живописец

Качалов Василий Иванович (1875–1948), русский актер Московского Художественного театра

Кейм А., немецкий инженер, специалист в области техники монументально-декоративной живописи

Кернер, хирург в Германии

Керубини Луиджи (1760–1842), итальянский композитор, работавший во Франции

Кигн (псевд. В. Дедлов) Владимир Людвигович (1856–1908), писатель, журналист

Кирилл Владимирович (1876–1938), вел. князь

Кирилл (ок. 827–869) и Мефодий (ок. 815–885), святые равноапостольные братья, славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства

Киселев Александр (Шурка) Александрович (1838–1911), живописец и педагог

Кистяковский. коллекционер живописи М. В. Нестерова, К. А. Сомова

Климент (св. Климент) (ум. около 103 г.), римский епископ

Клодт Михаил Петрович (1835–1914), живописец, жанрист

Клюев Николай Алексеевич (1887–1937), поэт

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), академик, историк, профессор Московского университета

Кнаус Людвиг (1829–1910), немецкий живописец

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868–1959), актриса Московского Художественного театра, жена А. П. Чехова

Князев, полтавский губернатор

Кобяковы, семья уфимских купцов

Ковалевский Павел Осипович (1843–1903), живописец,

баталист

Кожевников Владимир Александрович (1852–1917), философ, поэт, религиозный писатель

Коковцев, московский чиновник

Коллеони Бартоломео (1400–1475), итальянский кондотьер

Колосов, гусляр

Колчины, пермские купцы-судовладельцы

Кондаков Никодим Павлович (1844–1925), историк византийского и древнерусского искусства, академик

Коненков Сергей Тимофеевич (1874–1971), скульптор

Коновницына Мария Акинфиевна, графиня, начальница Киевского института благородных девиц

Константин Великий (ок. 274–337), святой равноапостольный, римский император с 306 г., упрочивший христианство, основавший Константинополь и перенесший туда столицу империи из Рима

Константин Константинович (К. Р.) (1858–1915), вел. князь, адмирал, с 1889 г. возглавлял Петербургскую академию наук. Поэт, стихи подписывал К. Р., меценат, покровитель Музыкального общества

Кончаловский Петр Петрович (1876–1956), живописец, зять В. И. Сурикова

Копчевская, сестра милосердия Петербургской Крестовоздвиженской общины, модель Нестерова для росписи Абастуманского храма («Св. Нина») и для картины «Душа народа»

Корин Александр Дмитриевич (1895–1986), живописец, художник-реставратор, копиист произведений эпохи Возрождения, заел, деятель искусств РСФСР, друг и помощник М. В. Нестерова

Корин Павел Дмитриевич (1892–1967), живописец, портретист, собиратель древнерусского искусства, друг и душеприказчик М. В. Нестерова, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии

Коровин Константин Алексеевич (1861–1939), живописец, русский импрессионист

Коровин Сергей Алексеевич (1858–1908), живописец и преподаватель МУЖВЗ

Коровины (Константин и Сергей), товарищи Нестерова по МУЖВЗ, члены ТПХВ

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), писатель, публицист, общественный деятель

Корольков, протоиерей, настоятель Владимирского собора

Корреджо (Антонио Аллегри; ок. 1489–1534), итальянский

живописец эпохи Высокого Возрождения

Костанди Кириак Константинович (1852–1921), украинский живописец и педагог

Костычев Павел Андреевич (1845–1895), один из основоположников современного почвоведения

Котарбинский Василий (Вильгельм) Александрович (1849–1921), исторический живописец

Котов Григорий Иванович (1859–1942), архитектор, профессор Академии художеств, директор Училища Штиглица в Петербурге

Котте Шарль (1863–1925), французский живописец

К. Р. — см. Константин Константинович

Кравченко Николай Иванович (1867–1941), художник, критик, журналист, сотрудник газеты «Новое время»

Крамер, невропатолог

Крамская (в замужестве Юнкер) Софья Ивановна (1866—после 1927), дочь И. Н. Крамского

Крамской Иван Николаевич (1837–1887), живописец, портретист, один из организаторов передвижных выставок

Крамской Николай Иванович (1863–1938), архитектор, сын И. Н. Крамского

Крен Уолтер (Крейн Вальтер) (1845–1915), английский живописец, график, мастер декоративного искусства, близкий к прерафаэлитам

Кривополенова Мария Дмитриевна (1843–1924), сказительница

Крыжановский Николай Александрович (1818–1888), оренбургский генерал-губернатор в 1865–1881 гг.

Ксения Александровна (1875–1960), вел. княгиня, сестра Николая II, жена вел. князя Александра Михайловича (Сандро)

Кудрин Иван, рабочий во Владимирском соборе в Киеве 158 Кузнецов Николай Дмитриевич (1850–1929), живописец

Куинджи Архип Иванович (1842–1910), живописец-пейзажист, профессор Академии художеств

Курбе Постав (1819–1877), французский живописец

Куриар Пелагея Петровна (1848–1898), художник-пейзажист

Куроки, японский генерал в Русско-японской войне

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925), генерал, командующий войсками в Маньчжурии во время Русско-японской войны 1904–1905 гг.

Курчевский. фотограф в Переславле-Залесском

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927), живописец

Кюи Цезарь. Антонович (1835–1918), русский композитор, член объединения «Могучая кучка»

Лазовский Г. Г., фотограф в Киеве, снимал торжества по случаю освящения Владимирского собора

Л-н, архитектор, помощник М. В. Нестерова в начале работы над росписями Марфо-Мариинской обители

Лавдовский Ф. декоратор Малого театра, товарищ Нестерова по МУЖВЗ

Ланин Сергий, викарный епископ, распорядитель торжества освящения Владимирского собора

Лансере Евгений Евгеньевич (1875–1946), график и живописец

Лев XIII (1810–1903), римский папа с 1878 г.

Левитан Исаак Ильич (1860–1900), художник, поэт русского пейзажа, товарищ по МУЖВЗ, друг М. В. Нестерова

Лемох Кирилл (Карл) Викентьевич (1841–1910), живописец

Ленский (Вервициотти) Александр Павлович (1843–1908), актер московского Малого театра, режиссер и театральный педагог

Лентовский Михаил Валентинович (1843–1906), театральный деятель, антрепренер

Леонардо да Винчи (1452–1519), великий итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), русский поэт

Леруа-Болье Анатоль (1842–1912), французский историк и писатель

Лерхе, депутат Думы

Леш Леонид Павлович (1862—?), генерал в Первую мировую войну, участник Брусиловского прорыва

Ли Хунчжан (1823–1901), сановник феодального Китая, руководитель его внешней политики

Лидваль Федор (Фридрих) Иванович (1870–1945), архитектор

Лидваль. петербургский делец, брат Ф. И. Лидваля

Лихачев Николай Петрович (1862–1935), академик, историк и искусствовед, коллекционер

Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824–1896), князь, государственный деятель, дипломат. В 1895–1896 гг. министр иностранных дел

Лобойков Валериан Порфирьевич (1861–1932), конференц-секретарь Академии художеств с 1894 г., гофмейстер

Лопатин Лев Михайлович (1855–1920), философ, психолог

Лотти Антонио, итальянский композитор

Людвиг IV, вел. герцог Гессен-Дармштадтский

Магомет (прав. — Мухаммед; ок. 570–632), основатель

ислама, почитаемый как пророк

Мазини Анджело (1844–1926), итальянский оперный певец

Макаров Степан Осипович (1848/49–1904), русский флотоводец, вице-адмирал, командующий Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре, погиб на броненосце «Петропавловск»

Макарт Ганс (1840–1884), австрийский живописец

Маклакова, сестра В. А. Маклакова, члена Государственной думы

Маклакова-Нелидова Лидия Филипповна (1851–1935), писательница, журналистка, автор статей о творчестве М. В. Нестерова (1907, 1910 гг.)

Мак-Магон Патрис (1808–1893), герцог, маршал Франции

Маковицкий Душан Петрович (1866–1921), домашний врач, близкий друг Л. Н. Толстого, автор записок о нем

Маковский Владимир Егорович (1846–1920), живописец-жанрист и педагог

Маковский Константин Егорович (1839–1915), живописец, портретист

Маковский Сергей Константинович (1878–1962), художественный критик, поэт, редактор-издатель журнала «Аполлон» 375, 383

Маковские, братья-художники: Владимир и Константин (см. выше)

Максимов Василий Максимович (1844–1911), живописец

Максимович Михаил (Мишенька), товарищ детства М. В. Нестерова

Максимович, владелица модной мастерской в Уфе

Малеев, городской голова Уфы

Малышев Тарас, академический натурщик К. П. Брюллова

Мальцев, протоиерей, настоятель русской церкви в Берлине

Малютин Сергей Васильевич (1859–1937), живописец, график, мастер декоративно-прикладного искусства

Малявин Филипп Андреевич (1869–1940), живописец, рисовальщик

Мамонтов Анатолий Иванович (1840–1905), владелец типографии и книжного магазина в Москве, брат С. И. Мамонтова

Мамонтов Всеволод (Вока) Саввич (1870–1951), сын С. И. Мамонтова

Мамонтов Савва Иванович (1841–1918), промышленник и финансист, скульптор, певец, меценат, основатель Московской частной оперы, владелец усадьбы «Абрамцево»

Мамонтова Александра (Шуринька) Саввишна (1878–1952), дочь С. И. Мамонтова

Мамонтова Вера (Верушка) Саввишна (1875–1907), в

замужестве Самарина, дочь С. И. Мамонтова

Мамонтова (урожд. Сапожникова) Елизавета Григорьевна (1847–1908), жена С. И. Мамонтова

Мамонтовы, семья Е. Г. и С. И. Мамонтовых (см. выше)

Мане Эдуард (1832–1883), французский живописец и график

Манзей А. И., владелица имения Березки

Мария Николаевна (1819–1876), вел. кн., дочь Николая I, во втором браке графиня Строганова

Мария Павловна (1854–1923), вел. княгиня, жена вел. кн<язя> Владимира Александровича, президент Академии художеств (с 1909 г.)

Мария Федоровна (1847–1928), принцесса Датская Догмара, супруга императора Александра III, мать императора Николая II, с 1894 г. вдовствующая императрица

Маркс Адольф Федорович (1838–1904), русский издатель и книготорговец

Мартынов Александр Евстафьевич (1816–1860), актер, один из основоположников русской школы сценического реализма

Мартыновская Мария Ивановна (Маша) (1862–1886), первая любовь Нестерова, его жена с 1885 г.

Мартыновские, родственники жены М. В. Нестерова

Мартыновский Николай Иванович, брат первой жены (свояк) М. В. Нестерова

Марья, крестьянка из деревни Комякино близ Абрамцева

Масканьи Пьетро (1863–1945), итальянский композитор и дирижер

Матвеевы, владельцы имения Ахтырка близ Абрамцева

Матейко Ян (1838–1893), польский исторический живописец

Матисс Анри (1869–1954), французский живописец

Матэ Василий Васильевич (1856–1917), гравер, руководитель граверного класса Академии художеств

Махина Юлия Яковлевна (1850–1902), артистка и педагог

Маяковский В. В. (1893–1930), советский поэт

Медынцев Н. А, московский купец, меценат, тесть художника-анималиста А. С. Степанова (1853–1923), отец Л. Н. Степановой

Медынцева — см. Л. Н. Степанова

Мейсонье Эрнест (1815–1891), французский живописец

Мекк Александр Карлович фон (1864–1911), крупный промышленник, коллекционер живописи

Мекк Владимир Владимирович фон (1877–1932), живописец, коллекционер

Мекк Николай Карлович фон (1863–1929), председатель правления Московско-Казанской ж. д., коллекционер

Мекки, В. В. фон Мекк и его жена Варвара Геннадьевна

Карпова

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907), русский ученый-химик

Меншиков Александр Данилович (1673–1729), государственный деятель, ближайший сподвижник Петра I

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941), писатель, поэт, критик, религиозный мыслитель

Метнер София Иосифовна (1846–1918), пианистка

Метсю Габриель (1629–1667), голландский живописец и рисовальщик

Мефодий — см. Кирилл и Мефодий

Микеланджело Буонарроти (1475–1564), великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт

Милашевич О. С., внучка императора Николая I

Милиоти Василий Дмитриевич (1875–1943), живописец

Милюков Павел Николаевич (1859–1943), политический деятель. В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства

Минин Кузьма Минич (ум. 1616), нижегородский посадский, организатор народного ополчения, освободившего в 1612 г. Москву от поляков, национальный герой русского народа

Миролюбов Виктор Сергеевич (1860–1939), певец, редактор-издатель «Журнала для всех»

Мистров, уфимский полицмейстер

Митрофан Сребрянский (Митрофан Васильевич) (1871–1948), настоятель Покровского собора Марфо-Мариинской обители. Причислен к лику святых — преподобный Сергий исповедник

Михаил Александрович (1878–1918), вел. князь, брат Николая II, наследник престола в 1899–1904 гг. Отрекся от престола 3 марта 1917 г. в пользу народа

Михаил Николаевич (1832–1909), вел. князь, фельдмаршал, наместник Кавказа с 1863 по 1881 г.

Михаил Федорович (1596–1645), царь с 1613 г., первый из династии Романовых, после Смутного времени был венчан на царство

Михеев Василий Михайлович (1859–1908), литератор, журналист

Миша, инвалид Первой мировой войны, одна из моделей М. В. Нестерова — слепой с поводырем в картине «Душа народа»

Моисевна (Баталова), жена служителя в МУЖВЗ, см. Баталовы

Моисееч (Баталов), служитель в МУЖВЗ, см. Баталовы

Мольтке Хельмут Карл (1800–1891), граф, прусский фельдмаршал, военный писатель

Моне Клод (1840–1926), французский живописец,

импрессионист

Мориц (урожд. Якунчикова) Зинаида Васильевна (1864–1929), сестра Н. В. Поленовой и художницы М. В. Якунчиковой-Вебер, модель В. А. Серова

Морозов Михаил Абрамович (1870–1903), фабрикант, миллионер, меценат, коллекционер, историк

Морозовы — Савва Тимофеевич (1863–1905) и Сергей Тимофеевич (1862— ок. 1950), крупные промышленники, директора правления Никольской мануфактуры, меценаты

Москвин Иван Михайлович (1874–1946), актер, позднее директор Московского Художественного театра

Мочарский Николай Иванович, преподаватель реального училища К. П. Воскресенского в Москве

Муне-Сюлли Жан (1841–1916), французский драматический актер

Мункачи Михай (1844–1900), венгерский живописец

Муратов Павел Павлович (1881–1950), искусствовед, литератор, знаток культуры Италии, автор статей о творчестве М. В. Нестерова

Мурашко Александр Александрович (1875–1919), украинский живописец, портретист, ученик И. Е. Репина, член ТПХВ с 1915 г.

Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910), юрист, профессор Московского университета, председатель 1-й Государственной думы

Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), композитор, член «Могучей кучки»

Мясоедов Григорий Григорьевич (1835–1911), живописец

Набатов, уфимский купец

Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский император (1804–1814, март — июнь 1815)

Неврев Николай Васильевич (1830–1904), исторический и жанровый живописец

Неслер, ученик МУЖВЗ

Нестеров Александр Иванович, дядя М, В. Нестерова

Нестеров Алексей Михайлович (1907–1942), специалист по коневодству, сын М. В. Нестерова и Е. П. Нестеровой, модель к картине «Душа народа»

Нестеров Василий Иванович (1818–1904), уфимский купец, отец М. В. Нестерова

Нестеров Иван Андреевич (ум. 1848), уфимский купец и городской голова, дед М. В. Нестерова

Нестеров Константин Иванович, дядя М. В. Нестерова

Нестеров Михаил Михайлович (1900–1920), старший сын

М. В. Нестерова и Ю. Н. Урусман, модель мальчика в картине «Путь ко Христу»

Нестерова Александра Васильевна (Саша) (1858–1913), сестра М. В. Нестерова

Нестерова Анна Ивановна, тетка художника (см. Ячменева А. И.)

Нестерова Анастасия Михайловна (1904–1905), дочь М. В. Нестерова и Е. П. Нестеровой

Нестерова Вера Михайловна (1899–1998) (Вера, Верушка), дочь М. В. Нестерова и Ю. Н. Урусман

Нестерова (урожд. Васильева) Екатерина Петровна (1879–1955), вторая жена М. В. Нестерова

Нестерова Елизавета Александровна, классная дама Киевского института благородных девиц, гувернантка О. М. Нестеровой

Нестеров Федор Михайлович (23.02–7.07.1902), младший сын М. В. Нестерова и Ю. Н. Урусман

Нестерова (урожд. Мартыновская) Мария Ивановна (1862–1886), первая жена М. В. Нестерова (см. Мартыновская)

Нестерова (урожд. Ростовцева) Мария Михайловна (1824–1894), мать М. В. Нестерова

Нестерова Наталья Михайловна (1903–2004), младшая дочь М. В. Нестерова

Нестерова Ольга Михайловна (1886–1973) (Ольга, Олечка, Олюшка), художник-прикладник, старшая дочь М. В. Нестерова, в замужестве Шретер

Нестеровы, родители и домочадцы

Никитин, архитектор

Николаев Владимир Николаевич (1847–1911), киевский архитектор

Николай I (1796–1855), российский император с 1825 г.

Николай II (1868–1918), российский император с 1894 по 1917 г. Канонизирован Русской православной церковью. Страстотерпец (2000)

Николай Михайлович (1859–1919), вел. князь, историк, президент Русского исторического общества

Николай (Николашка), мальчик из галантерейного магазина В. И. Нестерова

Новоселов Михаил Александрович (1864–1938), духовный писатель и публицист, религиозный деятель, расстрелян, причислен к лику святых Архиерейским собором в 2000 г.

Ноги Маресукэ (1849–1912), японский генерал, командовал армией при осаде Порт-Артура и в Мугденском сражении

Оболенская, княгиня 423, 440, 457 Олив, дочь П. И. Харитоненко

Олсуфьев, граф, генерал-адъютант

Ольга Константиновна (1851–1926), вел. княгиня, дочь вел. князя Константина Николаевича, жена короля Греции Георга I

Ольга Александровна (1882–1960), вел. княгиня, сестра Николая II

Ольденбургская Евгения Максимилиановна (1845–1927), принцесса, внучка Николая I

Ольденбургский Александр Петрович (1844–1932), принц, генерал-адъютант, член Госсовета

Оржевская Наталия Ивановна, жена П. В. Оржевского

Оржевский Петр Васильевич (1839–1897), сенатор, командир корпуса жандармов, Ковенский и Гродненский генерал-губернатор

Орлов-Давыдов Анатолий Владимирович (1837—?), граф, обер-шталмейстер императорского двора

Орлова-Давыдова 207

Осипов Архип, солдат Тенгинского полка

Островский Александр Николаевич (1823–1886), русский драматург

Остроумов Алексей Алексеевич (1844–1908), терапевт, профессор Московского университета

Остроухов Илья Семенович (1858–1929), художник-пейзажист, коллекционер икон, попечитель Третьяковской галереи

Остроухова (урожд. Боткина) Надежда Петровна (1855–1935), жена И. С. Остроухова (см. Боткина Надежда Петровна)

Оффенбах Жан (1819–1880), французский композитор, один из создателей классической оперетты

П-в, живописец, помощник М. В. Нестерова в начале работы над росписями Марфо-Мариинской обители

П-в, уфимский врач-гинеколог

Павел I (1754–1801), российский император с 1796 г.

Павел Александрович (1860–1918), вел. князь, командир Гвардейского корпуса 316

Павлов Евгений Васильевич (1845–1916), хирург

Павловский Алексей Андреевич (1856–1913), историк искусства

Палатин, племянник уфимского купца

Палатин, уфимский купец

Парланд Альфред Александрович (1842–1920), архитектор

Пастернак Леонид Осипович (1862–1945), живописец,

рисовальщик, преподаватель МУЖВЗ

Пегу Адольф (1889–1915), французский авиатор

Пенна, уфимский купец-галантерейщик

Первухин Константин Константинович (1863–1915), живописец

Перголези Джованни Баттиста (1710–1736), итальянский оперный композитор

Перов Василий Григорьевич (1833–1882), художник, один из организаторов Товарищества передвижников, преподаватель МУЖВЗ, учитель и наставник М. В. Нестерова

Перов Владимир Васильевич (1869—?), живописец, сын В. Г. Перова

Перовский Василий Алексеевич (1794–1857), граф, генерал-губернатор Оренбургского края

Петр, св. апостол, ученик Христа

Петр I (1672–1725), царь с 1682 г., российский император с 1721 г.

Петр Николаевич (1864–1931), вел. князь

Пешкова Екатерина Павловна (1878–1965), жена А. М. Горького

Пигарев Василий Евгеньевич (1878–1919), секретарь вел. кн. Елизаветы Федоровны, камер-юнкер

Пий IX (1792–1878), папа римский с 1846 г.

Пикассо Пабло (1881–1973), французский живописец

Пинтуриккио (Бернардино ди Бетто ди Бьяджо: ок. 1454–1513), итальянский живописец

Пихно Дмитрий Иванович (1853–1913), издатель газеты «Киевлянин»

Платон (Николай Иванович Городецкий; 1803–1891), митрополит Киевский и Галицкий

Платон, архимандрит, ректор Киевской духовной академии, позднее митрополит, отец соученицы О. М. Нестеровой

Платонов Харитон Платонович (1842–1907), живописец

Плетнев Дмитрий Дмитриевич, профессор-терапевт, в 1936 г. арестован по делу М. Горького

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), обер-прокурор Святейшего синода в 1880–1905 гг., член Госсовета (1871–1905)

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642), князь, боярин, полководец, соратник К. Минина, национальный герой русского народа

Поздеев Н. И., архитектор

Покровский Владимир Александрович (1871–1931), архитектор

Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927), живописец, жанрист, пейзажист, автор картин на евангельские сюжеты

Поленова Елена Дмитриевна (1850–1898), художница, сестра В. Д. Поленова

Поленовы, семья Поленовых

Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920), генерал, военный министр в 1915–1916 гг.

Понятовские, польский княжеский род

Попов Павел, архитектор, академический приятель М. В. Нестерова

Попэ, немец-воспитатель в реальном училище Воскресенского

Потемкин Григорий Александрович (1739–1791), светл. князь Таврический, генерал-фельдмаршал, политический и военный деятель

Похитонов Иван Павлович (1850–1923), живописец

Прахов Адриан Викторович (1846–1916), историк искусства, археолог, знаток русской старины, профессор Киевского университета, председатель комиссии по постройке Владимирского собора

Прахов Николай (Кока) Адрианович (1873–1957), искусствовед, художник, писатель, сын А. В. Прахова

Прахова Елена Адриановна (Леля; 1871–1948), дочь А. В. Прахова. Художник-прикладник в области древнерусской вышивки. Друг М. В. Нестерова и О. М. Нестеровой-Шретер, модель Нестерова для престольного образа св. Варвары (Влад, собор)

Прахова Ольга Адриановна, Оля, младшая дочь А. В. Прахова

Прахова Эмилия Львовна (1852–1927), пианистка, жена А. В. Прахова

Праховы, семья А. В. Прахова

Прим (Прим и Пратс) Хуан (1814–1870), испанский генерал, участник восстания в Кадисе, премьер-министр Испании с 1869 г.

Простяков Иван Григорьевич, коммерсант, директор банка, московский домовладелец

Простяковы, сын и невестка И. Г. Простякова

Прянишников Илларион Михайлович (1840–1894), живописец, преподаватель МУЖВЗ

Пурвит Вильгельм Егорович (1872–1945), латвийский живописец, учившийся в Академии художеств в Петербурге

Пухальский Владимир Вячеславович (1848–1933), украинский пианист и композитор, директор и профессор Киевской консерватории

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), русский поэт, писатель

Пушкин, мясник

Пушкина (урожд. Гончарова) Наталья Николаевна (1812–1863), жена А. С. Пушкина, мать Марии, Александра, Григория и Натальи Пушкиных

Пюви де Шаванн Пьер (1824–1898), французский живописец-монументалист

Пятницкий Константин Петрович (1864–1938), руководитель издательства товарищества «Знание»

Раевские, семья Н. Н. Раевского (1771–1829), генерала от кавалерии, героя Отечественной войны 1812 г.

Размарицын (Розмарицын) Афанасий Прокопьевич (1844—?), живописец

Распутин Григорий Ефимович (1872, по др. данным 1864/65–1916), крестьянин Тобольской губернии, политический авантюрист

Раухфус Карл Андреевич (1835–1915), врач-педиатр, модель последнего незаконченного Крамским портрета

Рафаэль Санти (Санцио; 1483–1520), итальянский живописец, архитектор

Рачинский Сергей Александрович (1836–1902), педагог, ботаник, отстаивал передачу сельских школ в ведение духовенства

Рачинский Григорий Алексеевич (1859–1939), философ, литератор, переводчик. После революции член совета Союза объединенных приходов

Реджио (см. Беклемишев А. Н.)

Рейман Федор Петрович (1842—?), художник

Рейнолдс Джошуа (1723–1792), английский живописец

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669), голландский живописец, рисовальщик, офортист

Ренуар Огюст (1841–1919), французский живописец, импрессионист

Реньо Анри (1843–1871), французский живописец

Репин Илья Ефимович (1844–1930), живописец и портретист

Репин Юрий Ильич (1877–1954), живописец, сын И. Е. Репина

Рерих Николай Константинович (1874–1947), живописец, театральный художник, литератор, философ, археолог, путешественник

Рёскин Джон (1819–1900), английский художественный критик, идеолог прерафаэлитов

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), композитор, член «Могучей кучки»

Риццони Александр Антонович (1836–1902), живописец

Роден Огюст (1840–1917), французский скульптор

Родон Виктор Иванович (1846–1892), артист оперетты, комик-буфф

Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909), вице-адмирал, командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой во время Русско-японской войны

Розада Мария, содержательница пансиона в Риме

Розанов Василий Васильевич (1856–1919), писатель, критик, публицист, философ

Розов, протодиакон храма Покрова в Марфо-Мариинской обители (1912 г.)

Роллан Ромен (1866–1944), французский писатель и общественный деятель

Романовы, русский царский род

Рооп, одесский генерал-губернатор

Росси Эрнесто (1827–1896), итальянский актер, неоднократно гастролировавший в России

Ростовцев Андрей Михайлович, дядя М. В. Нестерова

Ростовцев Иван Михайлович, дядя М. В. Нестерова

Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952), историк и археолог

Ростовцев Михаил Михайлович, купец из Ельца, дед М. В. Нестерова по материнской линии

Ростовцева Евпраксия Михайловна, тетка М. В. Нестерова

Ростовцевы, купцы из Ельца, предки М. В. Нестерова со стороны матери

Ру, швейцарский врач

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894), композитор, музыкально-общественный деятель

Рублев Андрей (ок. 1360–70 — ок. 1430), иконописец, мастер московской школы живописи

Рубо Франц Алексеевич (1856–1928), живописец-баталист и педагог

Руджио (Реджио) — см. Беклемишев Александр Николаевич

Руднев Константин А., протоиерей в Абастумане

Рузский Николай Владимирович (1854–1918), генерал, командующий Северо-Западным и Северным фронтами во время Первой мировой войны

Рябинин-Андреев Иван Герасимович (1873–1926), сказитель русских былин

Рябов Степан Яковлевич, дирижер Большого театра

Рябушкин Андрей Петрович (1861–1904), живописец

Саблер Владимир Карлович (1847–1929), государственный деятель, сенатор

С. Л. П., оперная певица, невеста М. В. Нестерова

Савинский Василий Евгеньевич (1859–1937), живописец, рисовальщик, педагог

Саврасов Алексей Кондратьевич (1830–1897), живописец

Сазиковы, петербургские купцы

Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927), министр иностранных дел (1910–1916)

Салтыков (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (1826–1889), писатель-сатирик, публицист

Сальвиати Антонио, итальянец-мраморщик, работавший над декорировкой Владимирского собора

Самарин Федор Дмитриевич (1858–1916), общественный и религиозный деятель

Самсонов Александр Васильевич (1859–1914), генерал, командующий русской армией в начале Первой мировой войны

Сапожниковы, текстильные фабриканты, меценаты

Сарто — кардинал, потом папа Пий X

Сведомские, братья Александр Александрович и Павел Александрович

Сведомский Александр Александрович («Барон»; 1848–1911), живописец

Сведомский Павел Александрович («Попа»; 1849–1904), живописец

Светославский Сергей Иванович (1857–1931), украинский живописец

Свиньин Василий Федорович (1865–1939), архитектор

Сезанн Поль (1839–1906), французский живописец

Семирадский Генрих Ипполитович (1843–1902), живописец

Сенкевич Генрик (1846–1916), польский писатель

Серафим (1759–1833), преподобный Серафим Саровский, иеромонах Саровской пустыни, канонизирован в 1903 г., один из самых почитаемых святых в Русской православной церкви

Серафима — см. Дмитриева С. И.

Сергеенко Петр Алексеевич (1854–1930), литератор, биограф Л. Н. Толстого

Сергей Александрович (1857–1905), вел. кн<язь>, московский генерал-губернатор

Сергий, митрополит

Сергий Радонежский (до пострига Варфоломей Кириллович (ок. 1321–1392), святой подвижник земли Русской, церковный и политический деятель, основатель Троице-Сергиевой лавры, преобразователь монашества, вдохновитель единения Руси

Сергия (София Африкановна Смирнова), приняла постриг 7 ноября 1878 г. С 30 октября 1897-го по 1917 г. — настоятельница

Алексеевского женского монастыря

Серов Валентин Александрович (1865–1911), русский художник, живописец, рисовальщик, портретист

Серова Наталия Валентиновна (1908–1950), дочь В. А. Серова

Серовы, семья В. А. Серова

Сибиряков Иннокентий Михайлович, сын откупщика, монах на Старом Афоне

Сибирякова Анна Михайловна, дочь откупщика

Сибиряковы, золотопромышленники, откупщики

Симансон, архитектор

Скалигеры, знатный феодальный род, правивший в Вероне в XIII–XIV вв.

Скалон, генерал-адъютант, председатель комиссии по сооружению церкви Воскресения «Спаса на Крови» в Петербурге

Скиталец (Петров) Степан Гаврилович (1869–1941), писатель

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), генерал, полководец, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Скрыдлов Николай Илларионович (1844–1929), адмирал

Снегирев Владимир Федорович (1847–1916/17), один из основоположников научной гинекологии в России

Собещанская Анна Иосифовна (1842–1918), балерина

Собинов Леонид Витальевич (1872–1934), певец, друг семьи Ярошенко, шафер на свадьбе Е. П. Васильевой и М. В. Нестерова

Собко Николай Петрович (1851–1906), историк русского искусства, библиограф, составитель «Словаря русских художников»

Содома (Джованни Антонио Бацци; 1477–1549), сиенский живописец

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), религиозный философ, публицист и поэт. Сын историка С. М. Соловьева

Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903), писатель

Соловьев Михаил Петрович (1842—?), административный деятель, сотрудник газеты «Московские ведомости»

Соловьев Сергей Михайлович (1885–1941/42), поэт, прозаик, литературный критик, религиозный публицист, переводчик. Принял сан священника, перешел в католичество. Внук историка С. М. Соловьева

Соловьева Поликсена Сергеевна (псевд. Allegro; 1867–1924), поэтесса, занималась живописью, редактор-издатель (совместно с Н. И. Манасеиной и Е. И. Булгаковой) детского журнала «Тропинка»

Сомов Константин Андреевич (1869–1939), живописец и график

Сорокин Евграф Семенович (1821–1892), живописец,

рисовальщик, преподаватель натурного класса МУЖВЗ

Сорокин Павел Семенович (1836?— 1886), преподаватель фигурного класса МУЖВЗ, иконописец

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф, государственный деятель

Средин Леонид Валентинович (1860–1909), ялтинский врач, друг А. П. Чехова, М. В. Нестерова, А. М. Горького, М. Н. Ермоловой, протоиерея-исповедника Сергея Щукина

Станиславская Янина Станиславовна (ум. 1909), жена Я. Станиславского

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863–1938), режиссер, актер, основатель МХТ

Станиславский Ян (Иван Антонович; 1860–1907), польский художник, друг М. В. Нестерова, модель его живописного портрета

Станкевич, русский эмигрант в Италии

Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), художественный критик

Стахеевы, камские помещики, земляки художника Шишкина

Стеллецкий Дмитрий Семенович (1875–1947), живописец, театральный художник

Степан, сторож при Владимирском соборе в Киеве

Степанов Алексей Степанович (1858–1923), живописец и педагог, друг М. В. Нестерова

Степанов Клавдий Петрович (1854–1910), живописец

Степанова (урожд. Медынцева) Людмила Николаевна, жена художника А. С. Степанова

Степановы, семья художника К. П. Степанова

Стефан Баторий (1533–1586), польский король, полководец (см. Баторий Стефан)

Стобеус, уфимский губернский предводитель дворянства

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), государственный деятель, председатель Совета министров с 1906 г.

Страхов Николай Николаевич (1828–1896), публицист, философ

Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна (1850–1903), драматическая актриса

Строганов, видимо, Сергей Григорьевич (1794–1882), граф, гос. деятель, председатель Московского общества истории и древностей российских, основатель Строгановского училища

Суворин Александр Сергеевич (1834–1912), журналист, издатель газеты «Новое время»

Сулоага Игнасио (1870–1945), испанский живописец, портретист

Суриков Василий Иванович (1848–1916), русский художник

Сурикова (урожд. Шарэ) Елизавета Августовна (1858–1888), жена В. И. Сурикова

Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926), генерал, военный министр в 1909–1915 гг.

Сютаев Василий Кириллович (1819–1892), крестьянин, основатель секты евангелистов в Тверской губернии

Таманов (Таманян) Александр Иванович (1878–1936), архитектор

Таманьо Франческо (1850–1905), итальянский оперный певец

Тарас — см. Малышев Т.

Татищев, губернатор Москвы

Тенишева Мария Клавдиевна (1867–1928), княгиня, меценатка и коллекционер произведений изобразительного и прикладного искусства

Терещенко Иван Николаевич (1854–1903), киевский сахарозаводчик, коллекционер русской и западноевропейской живописи, сын Н. А. Терещенко

Терещенко Никола Артемович (1819–1903), киевский сахарозаводчик, собиратель картин

Терещенко Федор Артемович, брат Н. А. Терещенко

Терещенко, родители И. Н. Терещенко, собиратели картин

Тимашев Александр Егорович (1818–1893), министр внутренних дел, почт и телеграфа

Тинторетто (Якопо Робусти; 1518–1594), венецианский живописец

Титов, купец, любитель и знаток старины, организатор музея в Ростове Великом

Титова В. М. (см. Нестерова В. М.)

Тихон Задонский (1727–1783), епископ Воронежский, канонизирован в 1861 г., особо чтимый святой в роду Ростовцевых и семье М. В. Нестерова

Тициан Вечеллио (1476/77 или 1489/90–1576), венецианский живописец

Токарский, доктор, владелец санатория в Аляухове близ Звенигорода

Токмаковы, Варвара Ивановна и Иван Федорович, родители жены С. Н. Булгакова — свекра Н. М. Нестеровой, владельцы дома в Мисхоре

Толстая Софья Андреевна (1844–1919), графиня, жена Л. Н. Толстого

Толстой Дмитрий Иванович (1860 — ок. 1942), граф, товарищ управляющего Русским музеем, директор Эрмитажа

Толстой Иван Иванович (1858–1916), граф, нумизмат и археолог, вице-президент Академии художеств в 1893–1905 гг.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), русский писатель

Толстые, семья Л. Н. Толстого 392, 394, 395 Толстые, семья Д. И. Толстого

Томашко Август Августович, художник, бравший подряды на росписи интерьеров

Торквемада Томас (ок. 1420–1498), монах-католик, с 1483 г. глава испанской инквизиции

Травкин Василий Петрович, преподаватель рисования в уфимской гимназии

Трахтенберг Иосиф («Жозя»), младший механик яхты цесаревича

Третьяков Павел Михайлович (1832–1898), коллекционер, основатель Третьяковской галереи

Тритшель, профессор, детский врач в Киеве

Троицкий Федор Михайлович, священник Сергиевской церкви в Уфе

Трохим, приятель детей М. В. Нестерова в Княгинине, имении Н. Г. Яшвиль

Троянская, жена русского консула в Палермо

Троянский, русский консул в Палермо

Трубецкие, владельцы имения Ахтырка близ Абрамцева

Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920), князь, религиозный философ, публицист, профессор правоведения, член Госсовета

Трубецкой Паоло (Павел Петрович; 1867–1938), князь, скульптор и преподаватель в МУЖВЗ

Трутовский Владимир Константинович (1862–1932), археолог и искусствовед, хранитель Оружейной палаты

Трутовский Константин Александрович (1826–1893), живописец и график

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель

Турыгин Александр Андреевич (1860–1934), художник-дилетант, архивариус Русского музея в 1923–1934 гг., близкий друг М. В. Нестерова

Турыгин Андрей Павлович, отец А. А. Турыгина

Турыгин Павел Андреевич, лесопромышленник, дед А. А. Турыгина

Турыгина, мать А. А. Турыгина

Тутукин Петр Васильевич (1819—после 1899), живописец, хранитель живописи Эрмитажа в 1879–1899 гг.

Уварова Прасковья Сергеевна (1840–1923), графиня,

председатель Московского археологического общества

Уваровы, графский род

Уотс Джордж Фредерик (1817–1904), английский живописец

Урбанчич, австрийский медик-отоларинголог, профессор

(Ю. Н. У.) Урусман Юлия Николаевна (1877–1962), преподаватель немецкого языка, гражданская жена М. В. Нестерова (1898–1902), мать его детей: Веры, Михаила и Федора. Модель женских образов в картинах: «Думы», «За Волгой», «Родина Аксакова», «Страстная седмица», «Путь ко Христу», этюдах и рисунках художника, женских образов храма в Абастумане

Урусов, князь, русский посол в Австро-Венгрии

Фаберже Карл Петер (1846–1920), петербургский ювелир, глава фирмы «Фаберже»

Федоров Д. С., киевский вице-губернатор 233, 254 Федоров Иван (ок. 1510–1583), основатель книгопечатания в России и на Украине

Федотов Павел Андреевич (1815–1852), живописец, рисовальщик

Феноменов Николай Николаевич (1855–1918), профессор-гинеколог

Феодора (начало VI в. — 548), византийская императрица, жена императора Юстиниана

Феодосий Печерский (ум. 1074), преподобный, церковный писатель, игумен Киево-Печерской лавры

Филарет (Василий Михайлович Дроздов, 1783–1867), митрополит Московский с 1826 г., богослов, проповедник, причислен к лику святых в 1994 г.

Филипсон Софья Григорьевна, сестра княгини Н. Г. Яшвиль

Филипсон, генерал, попечитель Петербургского учебного округа, отец С. Г. и Н. Г. Яшвиль

Флоренский Павел Александрович (1882–1937), священник, религиозный философ и писатель, математик, физик, искусствовед, расстрелян в Соловецком лагере особого назначения

Фоминична, кухарка Нестеровых в Уфе

Форкатти, антрепренер итальянской оперы в Кисловодске и Тифлисе

Фортуни Мариано (1838–1874), испанский живописец

Франц Иосиф I (1830–1916), император Австро-Венгерской монархии

Франц Фердинанд (1863–1914), австрийский эрцгерцог

Франциск Ассизский (1181 или 1182–1226), итальянский

проповедник, основатель францисканского ордена

Фредерикс, барон, нижегородский губернатор

Фролов Владимир Александрович (1874–1942), художник-мозаист, с 1897 г. возглавлял частную мастерскую декоративной мозаики в С.-Петербурге, с 1934 г. профессор Академии художеств. Крупнейшая работа: убранство церкви Воскресения Христова (1897–1907). Умер от голода в блокаду Ленинграда

Харитоненко Анна Андреевна, жена П. И. Харитоненко

Харитоненко Иван Герасимович (1820–1891), сахарозаводчик

Харитоненко Иван Павлович, сын П. И. Харитоненко

Харитоненко Павел Иванович (1852–1914), сахарозаводчик, коллекционер произведений искусства

Хвостов Алексей Николаевич (1872–1918), министр внутренних дел (1915–1916)

Хлебников, фабрикант

Хотев-Самойлов Дмитрий Аркадьевич, актер и антрепренер

Христофор, сын греческого короля Георга I

Храповицкий Антоний (см. Антоний Волынский)

Хруслов Егор Моисеевич (1861–1913), живописец, устроитель выставок Товарищества передвижников

Цветаев Иван Владимирович (1847–1913), профессор истории античной культуры, основатель и первый директор Музея изящных искусств в Москве

Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор

Чегопит, украинский композитор, музыкальный критик

Чезаре, хозяин ресторана в Риме

Челноков Михаил Васильевич (1863—?), московский городской голова, член Государственной думы

Черкасов Павел Алексеевич (1834–1900), живописец, инспектор учебных классов Академии художеств

Чернецкий, домовладелец в Киеве, сдавал внаем меблированные квартиры

Черничук Григорий (Гриша), мальчик-солист хора Калишевского в Киеве

Черногубов Николай Николаевич (1873–1942), хранитель Третьяковской галереи

Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898), русский генерал, главнокомандующий сербской армией в 1876 г. 1

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), литератор, последователь и близкий друг Л. Н. Толстого, модель двух портретов работы Нестерова

Черткова Анна Константиновна (1859–1927), жена В. Г. Черткова, модель портрета работы Нестерова

Черткова Ольга Ивановна, жена генерал-адъютанта и варшавского генерал-губернатора М. И. Черткова

Чехов Антон Павлович (1860–1904), русский писатель, драматург

Чиж, московский профессор-гинеколог

Чижев, уфимский богатей, подрядчик бурлаков

Чижева (урожд. Губанова) Елизавета Васильевна (Лизинька), дочь уфимского городского головы, крестного отца М. В. Нестерова

Чирков Александр Иннокентьевич (1876–1913), живописец, пейзажист

Чистяков Павел Петрович (1832–1919), живописец, профессор Академии художеств

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), русский певец

Шамиль (1799–1871), имам Дагестана и Чечни, руководитель борьбы кавказских горцев

Шамшин Петр Михайлович (1811–1895), художник, создатель живописных полотен на исторические и религиозные сюжеты, с 1853 г. профессор, с 1883 г. ректор живописи и скульптуры в Академии художеств

Шанзи Антуан-Эжен-Альфред (1823–1883), французский генерал

Шарко Жан-Мартен (1825–1893), французский невропатолог. Ввел в практику лечения «душ Шарко»

Шаховской Д. И., князь, депутат Думы, брат Н. И. Оржевской

Шварцкопфы, московские купцы

Швинд Мориц фон (1804–1871), австрийско-немецкий живописец и график

Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт

Шелудько, позолотчик

Шершеневич Гавриил Феликсович (1836–1912), профессор, юрист, политический деятель

Шестов Лев (Лев Исаакович Шварцман; 1866–1938), философ-иррационалист, писатель, ученик Ницше

Шитиков Василий Дмитриевич, художник

Шишкин Иван Иванович (1832–1898), живописец

Шляков, шорник, организатор и директор музея в Ростове Великом

Шмидт, совладелец (вместе со Штолем) торговой аптекарской фирмы и парфюмерных товаров в Петербурге

Шопен Фридерик (1810–1849), польский композитор, пианист

Шретер Виктор Александрович (1839–1901), архитектор, профессор Института гражданских инженеров, дядя В. Н. Шретера

Шретер Виктор Николаевич (1885–1938), профессор, юрист, муж старшей дочери М. В. Нестерова — Ольги. Расстрелян в 1938 г.

Шретер Ольга Михайловна — см. Нестерова О. М.

Шретеры, семья, родственники В. Н. Шретера

Штехер, семья аптекаря в Уфе, соседи семьи М В. Нестерова

Штиглиц Александр Людвигович (1814–1884), барон, директор Петербургского государственного банка, основатель художественного училища в Петербурге

Штоль, совладелец (вместе со Шмидтом) торговой фирмы аптекарских и парфюмерных товаров в Петербурге

Шухаев Василий Иванович (1887–1973), живописец, рисовальщик, педагог

Щербатов Сергей Александрович (1875–1962), князь; художник и коллекционер, меценат, один из организаторов выставки «Современное искусство» (1903)

Щербатова Полина Ивановна (ум. 1966), княгиня, жена С. А. Щербатова

Щербиновский Дмитрий Анфимович (1867–1926), живописец

Щербиновский Сергей Анфимович, художник

Щукин Сергей Иванович (1854–1937), московский купец, коллекционер произведений новой, главным образом французской живописи

Щукин Сергей Николаевич (отец Сергий; 1873–1931), священник, протоиерей-проповедник в Ялте и Москве, духовник А. П. Чехова и М. В. Нестерова, религиозный и общественный деятель, литератор

Щусев Алексей Викторович (1873–1949), академик, архитектор, друг М. В. Нестерова, крестный отец Алеши Нестерова, директор Третьяковской галереи (1926–1928)

Эдуард VII, будущий английский король

Эдельфельт Альберт Густав (1854–1905), финляндский живописец и график

Эшаппар (см. Дюбрейль Эшаппар)

Юденич Николай Николаевич (1862–1933), генерал, командующий Кавказской армией в Первую мировую войну, главнокомандующий белогвардейской Северо-Западной армией в 1919 г.

Юлиан Отступник (Флавий Клавдий Юлиан; 332–363),

римский император

Юлий Цезарь Гай (100–44 до н. э.), римский диктатор

Юстиниан I (483–565), византийский император

Юсупов Феликс Феликсович, отец (1856–1928), князь

Юсупов Феликс Феликсович, сын (1887–1967), князь, организатор убийства Г. И. Распутина

Юсуповы, князья, крупнейшие русские землевладельцы, заказчики Нестерову росписи церкви в Кореизе

Якоби Валерий Иванович (1834–1902), живописец и педагог

Яковлев Александр Евгеньевич (1887–1938), живописец и рисовальщик

Яковлев П. Ф., великовозрастный соученик Нестерова в МУЖВЗ

Ян Собесский (1629–1696), король Речи Посполитой, полководец

Янов Александр Степанович (1857–1918?), живописец и гравер, ученик Евграфа Сорокина в МУЖВЗ

Ярослав Мудрый (ок. 978–1054), святой благоверный вел. князь Киевский с 1019 г.

Ярошенки, семья художника Н. А. Ярошенко, друзья М. В. и О. М. Нестеровых

Ярошенко Мария Павловна (ум. 1915), жена Н. А. Ярошенко

Ярошенко Николай Александрович (1846–1898), живописец

Ячменева (урожд. Нестерова) Анна Ивановна, тетка М. В. Нестерова

Яшвиль, семья княгини Н. Г. Яшвиль

Яшвиль Владимир Михайлович (1764–1815), князь, капитан гвардии, участник убийства Павла I

Яшвиль Владимир, князь, сын Н. Г. Яшвиль

Яшвиль Наталия Григорьевна (урожд. Филипсон) (1862–1939), княгиня, художница, ученица Чистякова, друг и патронесса М. В. Нестерова, крестная мать его сына Алеши, умерла в Праге

Яшвиль, князь, полковник лейб-гвардии гусарского полка, муж Н. Г. Яшвиль

В именной указатель не включены фамилии из вступительной статьи А. А. Русаковой, комментариев и подписей к фотографиям.

Слова благодарности

В книге использованы фотографии и слайды из фондов Государственной Третьяковской галереи, Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова и семейных архивов Н. М. Нестеровой М. И. и Т. И. Титовых.

Выражаем глубокую признательность за содействие в подготовке к изданию этой книги директорам и сотрудникам: Мемориального дома-музея С. Н. Дурылина, БГХМ им. М. В. Нестерова, ГТГ, а также А. М. Щусеву, Е. Н. Сильверсван, К. Г. Фадину, В. В. Занозину, Л. Б. Максимовой, Н. М. Пашаевой, Н. К. Бебрис, Е. Н. Левдик, Г. Е. Померанцевой, Л. П. Желясковой, О. Н. Сидоренко.

notes

Примечания

1

Читатели могут узнать о послереволюционной судьбе Нестерова из следующих книг: *Евреинов Н. Н.* Нестеров. Пг.: Третья стража, 1922; *Михайлов А.* Михаил Васильевич Нестеров. Жизнь и творчество. М.: Искусство, 1958; *Прахов Н. А.* Страницы прошлого. Киев: Державне видавництво, 1958; *Дурылин С. Н.* Нестеров в жизни и творчестве. М.: Молодая гвардия, 2004; М. В. Нестеров. Письма Л.: Искусство, 1988; *Никонова И.* Нестеров (Серия «Жизнь в искусстве»). М., 1979; *Русакова А. А.* Михаил Нестеров. Л.: Аврора, 1990; *Вагнер Г. К.* В поисках истины. Религиозно-философские искания русских художников. Середина XIX — начало XX в. М.: Искусство, 1993; *Гусарова А. А.* Михаил Нестеров. М.: Белый город, 2001; *Климов П. Ю.* Михаил Нестеров. М.: Арт-Родник, 2004.

2

Письмо А. А. Турыгину от 18 июня 1898 г. М. В. Нестеров. Письма. Избранное. Л., 1988, с. 171 (далее — Письма…).

3

Письмо А. А. Турыгину от 22 апреля 1901 г. Письма, с. 192.

4

Письмо А. А. Турыгину от 19 мая 1908 г. Письма, с. 229.

5

Нестеров М. В. Давние дни. Встречи и воспоминания. М., 1959, с. 148 (далее — Давние дни…).

6

В процессе создания картины, продолжавшемся, если принимать во внимание время работы над эскизами и этюдами, около 10 лет (первые упоминания о замысле картины встречаются в письмах Нестерова 1906 г.), сменилось несколько предполагаемых названий: «Верующие», «Алчущие правды», «Христиане», «Душа народа», «На Руси». В основу сюжета легли слова Евангелия от Матфея (Мф. 18.3): «Пока не будете как дети, не войдете в царствие небесное».

7

Письмо А. А. Турыгину от 20 марта 1916 г. Письма, с. 266.

8

Письмо А. А. Турыгину от 20 августа 1923 г. Письма, с. 287.

9

Там же.

10

Письмо А. А. Турыгину от 16 апреля 1930 г. Письма, с. 354.

11

Давние дни, с. 324.

12

Давние дни, с. 330.

13

Ахматова А. Так не зря мы вместе бедовали… Собр. соч. Т. 2. Кн. 2, с. 109.

14

Письмо А. А. Турыгину от 29 октября 1915 г. Письма, с. 263.

15

Письмо А. А. Турыгину от 6 ноября 1902 г. Письма, с. 204.

16

Письмо А. А. Турыгину от 6 ноября 1902 г. Письма, с. 204.

17

Письмо Е. П. Нестеровой от 30 ноября 1926 г. Письма, с. 319.

18

Письмо А. А. Турыгину от 29 января 1927 г. Письма, с. 321.

19

Письмо А. А. Турыгину от 10 мая 1928 г. Письма, с. 378.

20

Письмо С. Н. Дурылину от 8 октября 1925 г. Письма, с. 308.

21

Письмо А. А. Турыгину от 1 июля 1928 г. Письма, с. 341.

22

Письмо А. А. Турыгину от 5 ноября 1929 г. Письма, с. 352.

23

Письмо А. А. Турыгину от 18 июня 1931 г. Письма, с. 362.

24

См.: *Турков А.* «Автопортрет» Нестерова//Известия. 1985. 25 апр.

25

Вступление к воспоминаниям М. В. Нестерова «О пережитом. 1862–1917 гг», публикуется впервые по полному тексту рукописи из личного архива его дочери — В. М. Титовой (Нестеровой).

26

Публикаторы мемуаров сочли возможным дать названия тем разделам рукописи художника, которые он обозначил только годами по хронологии.

27

В Житии святого Тихона Задонского упоминается, что в бытность его епископом в г. Ельце он «посещал дом благочестивых купцов Ростовцевых» — прародителей М. В. Нестерова по материнской линии: М. М. Нестерова — мать художника, урожденная Ростовцева.

28

Среди образов, под которыми М. В. Нестеров в младенчестве был возвращен к жизни, был образ святых: преп. Михаила и Тихона Задонского. Эта семейная реликвия была передана художником дочери — Вере Михайловне Титовой (Нестеровой) и сохраняется ее дочерьми М. И. и Т. И. Титовыми.

29

Иван Предтеча — кладбищенская церковь Иоанна Предтечи в Уфе.

30

Николаша — мальчик из галантерейной лавки В. И. Нестерова.

31

Аллейки — часть площади в Уфе, обсаженная липами.

32

Н. А. Крыжановский был назначен оренбургским генерал-губернатором в 1865 г.; очевидно, именно тогда и видел маленький Нестеров его въезд в Уфу. В том же году Уфимский уезд был выделен из состава Оренбургской губернии и образована Уфимская губерния. Суд над Крыжановским и подчиненными ему чиновниками, при попустительстве которых производилась незаконная распродажа принадлежавших башкирам земель, приведшая к их обнищанию, состоялся в 1881 г., после чего Крыжановский был «уволен от службы без прошения».

33

Батюшка Сергиевский — священник Сергиевской церкви в Уфе Федор Михайлович Троицкий.

34

Серафима Нестеровская — Серафима Ивановна Дмитриева — воспитанница А. В. Нестеровой, сестры М. В. Нестерова, и старшая подруга О. М. Нестеровой. В конце жизни жила в Муранове, ухаживала за С. И. Тютчевой. Была моделью для картин Нестерова «В скиту» (1896), «Святая Русь» и др.

35

Упряжка «в дышло» — парная упряжка с дышлом — одиночной оглоблей.

36

Наш Лентовский — Нестеров в шутку сравнивает А. К. Блохина с известным русским антрепренером и театральным деятелем, создателем нескольких театров оперетты в России в 1870–1880-х гг., Михаилом Валентиновичем Лентовским.

37

«Параша-сибирячка» — «драматическая быль» Н. А. Полевого.

38

Битва при Седане между французскими и прусскими войсками 1 сентября 1870 г. закончилась разгромом 80-тысячной французской армии, сдавшейся в плен во главе с императором Наполеоном III (Луи Наполеоном Бонапартом) и командующим армией маршалом Э.-П. Мак-Магоном. Наполеон III был низложен в результате революции в Париже 4 сентября того же года. Генерал А. Шанзи командовал во время Франко-прусской войны 2-й Луарской армией; маршал Ф.-А. Базен, командующий Лотарингской армией, сдался в плен вместе с 175 тысячами солдат при Метце; был приговорен к смертной казни, замененной заключением; бежал в Испанию. Кн. О. фон Бисмарк, крупнейший государственный деятель Германии, будучи министром-президентом и министром иностранных дел Пруссии, проводил завоевательную политику с целью объединения Германии вокруг Пруссии с помощью войн; спровоцировал объявление войны Пруссии Наполеоном III; с 1871 г. — рейхсканцлер Германии. Г. Мольтке — фельдмаршал, главнокомандующий прусской армией.

39

Закон о всеобщей воинской повинности в России был принят в 1874 г.

40

Владимир Львович Бурцев с 1900 по 1912 г. издавал сборник «Былое», посвященный истории русского освободительного движения. Всего вышло четырнадцать номеров, первые шесть — в Лондоне, последующие восемь — в Париже. Приобрел известность разоблачением провокаторов царской охранки, в их числе Е. Ф. Азефа.

41

В семье М. В. Нестерова хранится ряд его писем к А. В. Нестеровой (относящихся к заграничным поездкам 1889 и 1893 гг.), в которых художник сообщает сестре о новостях моды и даже делает зарисовки модных шляп и костюмов.

42

Ходынка — Ходынское поле на окраине тогдашней Москвы (в начале современного Ленинградского проспекта), где проходили военные смотры и народные гуляния. 18 (30) мая 1896 г. по случаю коронации Николая II здесь произошла катастрофическая давка, в результате которой, по официальным данным, погибли 1389 человек и получили тяжелые увечья 1300 человек. «Ходынка» стала в России понятием нарицательным для обозначения массовых сборищ с тяжелыми последствиями.

43

Дворец Лефорта в Немецкой слободе (ныне Лефортово) построен в 1697–1698 гг. «палатным мастером» Д. В. Аксамитовым по приказу Петра I для его сподвижника и друга Ф. Я. Лефорта. Перестроен его новым владельцем А. Д. Меншиковым в 1707–1708 гг. (архитектор Дж. М. Фонтана). Служил резиденцией Петру во время пребывания в Москве.

«Стелла» — балет Ю. Гербера.

45

Церковь Николая Чудотворца в Мясниках (XVI–XVIII вв.) находилась на Мясницкой улице. Снесена в 1928 г.

46

«Самолет», «Кавказ и Меркурий», «Надежда» — акционерные пароходные компании на Волге в конце XIX — начале XX в.

47

Макарьевская ярмарка устраивалась при Макарьев-Желтоводском Троицком монастыре, основанном в XV в. В 1817 г. после пожара ярмарка была переведена в Нижний Новгород.

48

Очевидно, летом 1888 г., когда С. В. Иванов с Е. М. Хрусловым и другими молодыми живописцами предприняли поездку по Волге.

49

Речь идет, по-видимому, о родственнике художника В. В. Кандинского, чья семья происходила из Кяхты.

Сохранилась и действует в настоящее время. *(Прим. ред.)*.

51

Пятая передвижная выставка была открыта в Москве 13 марта 1877 г. (в Петербурге на год ранее — 11 марта 1876 г.).

52

«Украинская ночь» А. И. Куинджи (1876) находится в ГРМ.

53

«Опахивание» Г. Г. Мясоедова (1876) находится в Государственном Русском музее. Что же касается «Слепцов» Н. А. Ярошенко (второе название — «Слепые калеки под Киевом»), то Нестеров ошибается. Картина «Слепцы», написанная в 1879 г., была экспонирована не на V, а на VII передвижной выставке; в настоящее время принадлежит Самарскому художественному музею; на V передвижной выставке экспонировались «Сумерки» Ярошенко; «Кобзарь» К. А. Трутовского на V передвижной выставке не экспонировался.

54

Отрывок текста, посвященный Павлу Тимофеевичу Белякову, в дальнейшем лег в основу очерка «Актер», опубликованного в обоих изданиях «Давних дней» (1-е изд. — с. 107–109; 2-е изд. — с. 257–260).

55

Гороховое поле — район нынешней улицы Казакова близ Садового кольца (район бывшей Немецкой слободы).

Жюльеновским называли штрих, которым исполнены рисунки в неоднократно переиздававшемся в середине и второй половине XIX в. учебнике французского живописца Б.-Р. Жюльена.

57

Ежегодные выставки работ учеников Московского училища живописи, ваяния и зодчества устраивались по инициативе В. Г. Перова на рождественских каникулах. 1-я выставка открылась в январе, 2-я, о которой идет речь, — в декабре 1879 г.

58

Местонахождение картины «Карточный домик» (1879) неизвестно. Картина «В снежки» (1879) находится в частном собрании (Москва); отмечена в статье «Две художественные выставки» (Московские ведомости, 1880, 8 января).

59

По системе номерной оценки успехов учеников высший — 1-й номер выставлялся за лучший рисунок.

Нестеров посвятил В. Г. Перову очерк, опубликованный в газете «Советское искусство» (1937,29 мая, 5 июня) и в обоих изданиях «Давних дней».

61

Местонахождение картины «С отъездом» («Проводы купца в гостинице») (1880) неизвестно.

62

Очевидно, Нестеров должен был начертить разрез пирамиды фараона Аменемхета III в Дашуре (ок. 1849–1801 до н. э.).

63

Морозовы, Пузенковы, Баскакины — владельцы трактиров и увеселительных заведений в центре Москвы.

64

Картина «Видение отроку Варфоломею» (1889) была экспонирована на XVIII передвижной выставке, открывшейся 11 февраля 1890 г. в Академии наук в Петербурге, а 31 марта того же года — в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве.

65

В очерке «П. П. Чистяков» (впервые опубликован в кн.: П. П. Чистяков и В. Е. Савинский. Переписка 1883–1888 гг. Воспоминания. Л.; М.: Искусство, 1939, с. 270–273; повторные публикации — в обоих изданиях «Давних дней» и в кн.: П. П. Чистяков. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832–1919. М.: Искусство, 1953, с. 507–610).

66

Согласно «Прибавлению к установлениям Императорской Академии Художеств» от 19 декабря 1830 г. обязанности директора исполняли по очереди. Ф. И. Иордан был ректором живописи и скульптуры с 1871 по 1883 г. Отрывок текста, посвященный Иордану (с. 82–83), лег в основу очерка «Ф. И. Иордан», опубликованного в «Давних днях».

67

А. П. Рябушкин получил малую серебряную медаль в 1882 г. за эскиз «Ной в ковчеге».

68

В 1881–1882 гг. в Эрмитаже находились три картины Габриеля Метсю — «Блудный сын» (1640-е гг.), «Завтрак» (ок. 1660 г.) и «Больная и врач». Какую из них копировал Нестеров, установить не удалось.

69

Помпейская галерея Эрмитажа — точнее: Помпейская галерея Зимнего дворца, получившая свое название от примыкавшего к ней Зимнего, так называемого Помпейского сада. Ныне в бывшей Помпейской галерее размещена постоянная экспозиция памятников культуры и искусства Московской Руси и русской культуры начала XVIII в.

70

Броненосец «Петропавловск» был подорван японской миной 31 марта / 13 апреля 1904 г.

71

Местонахождение копии Нестерова с картины Ван Дейка «Неверие Фомы» неизвестно.

Нестеров посвятил И. Н. Крамскому очерк, опубликованный в газете «Советское искусство» (1937, 17 апреля) и помещенный в «Давних днях».

73

Письма Нестерова к А. А. Турыгину (в числе 561 единицы) хранятся в Отделе рукописей ГРМ. Они составляют значительную часть всего эпистолярного наследия художника. Письма Турыгина к Нестерову находятся в Архиве ГТГ. Наиболее полно опубликованы в издании: М. В. Нестеров. Письма. Л.: Искусство, 1988.

74

В письме от 8 октября 1925 г. Нестеров пишет Дурылину: «Кажется, нет человека, более „по видимости“ не подходящего для дружбы со мной, чем этот флегматик, и, однако, сорокалетние отношения утверждают нас обоих в этом звании — звании испытанных друзей, и видимо, утверждают навсегда, навек. Странная дружба… и, однако, несомненная» (Письма, с. 307).

75

Карл Моор — герой драмы Ф. Шиллера «Разбойники» (1781) — благородный мятежник, борец с несправедливостью.

Общественный сад в Уфе.

77

Ектенья — читаемое священнослужителем молитвословие, начинающееся с призыва к молитве и состоящее из ряда прошений и заключительного возгласа, прославляющего Бога.

78

«Достойно правильно есть…» — песнопение евхаристического канона в литургии православного богослужения, перед началом которого ударяет колокол.

79

Картины «Знаток» и «Дилетант» (обе — 1884 г.) были экспонированы на 6-й ученической выставке 1884–1885 гг. «Знаток» находится в собрании ГТГ; местонахождение «Дилетанта» неизвестно.

Отношения Нестерова и В. Е. Маковского обострились в конце 1880-х гг. (и оставались весьма напряженными до смерти Маковского в 1920 г.). Маковский неоднократно в составе жюри передвижных выставок выступал против тематики нестеровских картин, добиваясь их отклонения.

81

Звание «свободного художника» давалось окончившим училище без «дипломной» работы, но получившим за время прохождения курса две малые серебряные медали за рисунки и эскизы. Для получения звания «классного художника» надо было написать картину на большую серебряную медаль.

82

В настоящее время эскиз «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство» (1885) находится в ГТГ.

83

Звание «свободного художника» было присуждено Нестерову в марте 1885 г.

Речь идет об особняке В. А. Морозовой на Воздвиженке.

85

А. Я. Головин проработал у Томашко семь лет (1890–1897).

86

Местонахождение картины «В мастерской художника» (1885) неизвестно.

87

Этот портрет был впоследствии уничтожен художником; остался лишь фрагмент — голова М. И. Нестеровой. Находится в частном собрании (Москва).

88

Первый вариант картины «Христова невеста» («Девушка-нижегородка»), бывший на 10-й ученической выставке Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 1887 г., находится в частном собрании (Москва). Местонахождение второго варианта картины (приобретен вел. кн. Сергеем Александровичем), воспроизведенного в монографии С. Глаголя (см.: М. В. Нестеров. Жизнь и творчество. Русские художники. Собрание иллюстрированных монографий под ред. И. Грабаря), неизвестно.

89

Местонахождение обоих вариантов картины «Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышней Марией Ильиничной Милославской» (1886–1887) неизвестно.

Нестеров не закончил и впоследствии уничтожил картину «Смертный час» (1887).

91

Картина «До государя челобитчики» (1886) (в настоящее время — в частном собрании, Москва) была представлена на конкурс Общества поощрения художеств в Петербурге (помещалось на Большой Морской, 38, Петербургское отделение Союза художников). Нестерову была присуждена (пополам с художником С. Я. Лучшевым) премия, учрежденная В. П. Гаевским, известным литератором, пушкинистом, одним из основателей «Литературного фонда».

92

«Смерть Ивана Ильича» — повесть Л. Н. Толстого (1884–1886).

93

И. Н. Крамской скончался 5/13 апреля 1887 г. во время работы над портретом доктора К. А. Раухфуса. Незаконченный портрет находится ныне в ГРМ.

94

Вифания — или Спасо-Вифанский монастырь — находится вблизи Троице-Сергиевой лавры. Черниговская икона Богоматери — в Черниговском скиту.

«…у ранней» — на утреннем богослужении — заутрени.

96

Подробнее об этом эпизоде см.: Письма, с. 33, письмо А. В. Нестеровой от 2 июля 1888 г. О посещении Абрамцева см.: там же, с. 34–36, письмо А. В. Нестеровой от 17–18 июля 1888 г.

97

Елизавета Григорьевна Мамонтова, стремясь возродить искусство резьбы по дереву, стала инициатором создания и вместе с Еленой Дмитриевной Поленовой руководительницей Абрамцевской столярной мастерской. Школа — ремесленная школа, в которой деревенские мальчики обучались столярному ремеслу и резьбе.

98

Портрет Верушки (Веры Саввишны) Мамонтовой — «Девочка с персиками» В. А. Серова (1887) — в настоящее время находится в ГТГ.

99

Нестеров весьма недоброжелательно относился к С. И. Мамонтову. Пристрастное и несправедливое отношение к Мамонтову проявляется в ряде писем Нестерова (см.: *Коган Д.* Мамонтовский кружок. М.: Изобразительное искусство, 1970, с. 148–155).

100

Речь идет о картине Л. О. Пастернака «Вести с родины» (1889, ГТГ).

101

Речь идет о статье: Н. М. [Кигн, В. Л., писал обычно под псевдонимом В. Дедлов]. Заметки//Неделя, 1889, 5 марта, № 10, с. 331–333.

102

Письма Нестерова родным в Уфу из заграничных путешествий 1889 и 1893 гг. в большинстве своем опубликованы в сборнике «Письма».

103

Воспоминания о путешествиях 1889, 1893, 1908 и 1911 гг. опубликованы во втором издании «Давних дней» подзаголовком «Заграничные впечатления».

104

В Венской картинной галерее (ныне — Венский художественно-исторический музей) — богатое собрание портретов испанских «инфант» и «инфантов» работы Веласкеса: три портрета Маргариты Терезии (1653 или 1654, 1656 или 1657, 1659), портреты Марии Терезии (1652–1653), Бальтасара Карлоса (между 1639 и 1641 г.), Филиппа Проспера (1659).

105

Х. Макарт (1840–1884) — австрийский живописец, мастер многофигурных исторических картин и репрезентативных салонных портретов. Пользовался огромной популярностью в 70–80-е гг. XIX столетия.

Вперед! *(ит). (Прим. ред.).*

Кофе с молоком, хлеб *(ит.). (Прим. ред.).*

108

Собор Святого Марка, крупнейший в Италии памятник византийского зодчества, был построен в 829–832 гг., перестроен в 1073–1095 гг., его готико-ренессансный фасад окончен в XV в. В зданиях собора слиты воедино элементы византийской, романской, готической и ренессансной архитектуры.

109

Статуя Коллеони — конный памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони работы Вероккьо (1479–1488).

110

Дуомо — собор Санта-Мария дель Фьоре (XIII–XV вв.).

111

Кампосанто — крытое кладбище (1278, архитектор Джованни ди Симоне).

112

Сто двадцать три *(ит.). (Прим. ред.).*

113

Московский Музей изящных искусств им. Александра III был основан историком профессором античной культуры И. В. Цветаевым (1847–1913). Открыт в 1912 г. Ныне — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Холм в северной части старого Рима. *(Прим. ред.)*.

Добрый вечер, синьора *(ит.). (Прим. ред.).*

Неаполитанские сувениры *(ит.). (Прим. ред.).*

117

В книге «Россия и Европа» (1871) публицист и естествоиспытатель Н. Я. Данилевский проповедовал особый вид панславизма, «идею славянства», разделил все человечество на «культурно-исторические типы» и считал, высшим — славянский.

118

Картина Ж. Бастьен-Лепажа «Жанна д'Арк» (1880) находится в Метрополитен-музее (Нью-Йорк).

119

Картина И. Н. Крамского «Созерцатель» (1876) находится в Киевском государственном музее русского искусства.

120

Нестеров называет «прерафаэлистами» прерафаэлитов — Д. Г. Россетти, Дж. Э. Миллеса, Х. Ханта, Э. Берн-Джонса — английских художников-романтиков середины XIX в., увлеченных искусством Раннего Возрождения и стремившихся подражать его наивному реализму.

121

Картина М. Мункачи «Христос перед Пилатом» (1881) находится в частном собрании в Филадельфии.

122

«Испанцы» — речь идет об экспонированных на выставке картинах испанских живописцев Антонио Муньоса-Дегрена, Хосе Морено Карбонеро, Хосе Касадо дель Алисала, Феликса Гидальго и Падилья, Хуана Луна и Новицио, Эмилио Сала и Франсеса, Ф. Прадильи и Ортиса, Луиса Альвареса Катали (чья картина «Трон Филиппа II в Эскориале» была удостоена золотой медали на Всемирной выставке) и ряда других.

123

Нестеров имеет в виду «Похороны в Орнане» Г. Курбе (1849–1850).

124

«Маршал Прим», или, вернее, «Хуан Прим» — конный портрет испанского генерала и политического деятеля (1869). Автор его, эпигон романтиков А. Реньо, пользовался большой популярностью в 1870-е гг.

125

Барбизонцы — французские пейзажисты Т. Руссо, Ш.-Ф. Добиньи, Ж. Дюпре, Н. Диас де да Пенья, К. Труайон и другие, работавшие, как и К. Коро, в 1830–1860-х гг. в деревне Барбизон близ Парижа. Барбизонская школа сыграла большую роль в развитии французского пейзажа и пленэрной живописи.

126

В пантеоне находится цикл росписей Пюви де Шаванна на темы из жизни святой Женевьевы, покровительницы Парижа (1878–1898).

127

Галерея Шакка — художественная галерея в Мюнхене, основанная немецким литератором графом А. фон Шакком.

128

Сецессионы — выставочные объединения в Германии и Австрии конца XIX — начала XX в., противопоставлявшие себя официальному академическому искусству и являвшиеся основными проводниками стиля «модерн».

129

Рафаэль был учеником Пьетро Перуджино (1500–1504), и его ранние работы — «Мадонна Констабиле» (ок. 1500), «Обручение Марии» (1504) — носят следы влияния учителя.

130

«Видение отроку Варфоломею» (1889, ГТГ) — первая картина Нестерова в цикле, посвященном преподобному Сергию Радонежскому (до принятия пострига — Варфоломею), крупному церковному и политическому деятелю Руси XIV в., вдохновителю борьбы русских против татарского ига, основателю Троице-Сергиевой лавры. В Житии преподобного Сергия, написанном его учеником Епифанием, рассказывается об эпизоде, легшем в основу картины Нестерова: отроку Варфоломею не давалась грамота; однажды, когда отец послал его на поиски пропавших жеребят, Варфоломею явилось видение святого старца, к которому мальчик обратился с просьбой «яко да бых умел грамоту»; старец исполнил желание мальчика.

131

Речь идет об этюде «Окрестности Абрамцева» (1889, ГТГ).

132

Этюд девочки (1889), использованный Нестеровым в работе над картиной «Видение отроку Варфоломею», был подарен И. С. Остроухову (на этюде слева внизу надпись: «Илье Семеновичу Остроухову на добрую память М. Нестеров 1890») и находился в коллекции Остроухова, которую он разместил в собственном доме в Трубниковском переулке на Арбате. В 1918 г. дом и коллекция Остроухова были национализированы, а сам владелец оставлен пожизненным заведующим Музеем иконописи и живописи, созданным в трубниковском доме. После смерти Остроухова в 1929 г. музей был закрыт, а все собрание картин передано в ГТГ.

133

Магазин Дациаро на Кузнецком Мосту торговал красками, художественными принадлежностями, а также произведениями искусства.

134

Портрет П. М. Третьякова работы И. Е. Репина (1883) находится в Третьяковской галерее.

135

«Выставка старины» — археологическая выставка, устроенная Московским археологическим обществом «в память своего первого двадцатипятилетия», состоялась в Москве в 1890 г. На ней экспонировалось «собрание церковных древностей», принадлежавшее Н. М. Постникову.

136

П. М. Третьяков приобрел у Левитана в 1890 г. картины «Вечер. Золотой плес» и «После дождя. Плес» (обе работы 1889 г.).

137

Точное название картины Н. Н. Ге — «Что есть истина? Христос и Пилат» (1890, ГТГ).

138

Точное название картины — «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871, ГТГ). Повторение (1872) находится в ГРМ.

139

«Сергий с медведем» — «Юность преп. Сергия» (1892–1897) — была экспонирована на 21-й передвижной выставке в 1893 г. Подарена художником Третьяковской галерее.

140

Имеется в виду картина В. М. Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875, ГТГ).

141

Н. Н. Ге скончался 1/13 июня 1894 г. Посвященный ему отрывок текста опубликован в «Давних днях».

142

«Донон» — известный петербургский ресторан, названный по имени его владельца.

143

Хитрованец — обитатель трущобных ночлежек Хитрова рынка в дореволюционной Москве.

144

Штоль и Шмидт — владельцы торгового дома аптекарских и парфюмерных товаров в Петербурге. Нестеров в письмах не раз иронически называет В. М. Васнецова и себя «Штолем и Шмидтом».

145

М. А. Врубель работал над эскизами композиций «Воскресение Христово», «Надгробный плач», «Вознесение» и др. (Киевский государственный музей русского искусства) в 1887–1889 гг. Эскизы были отклонены Строительной комиссией Владимирского собора, как далекие от традиционных решений. Участие Врубеля в росписях Владимирского собора ограничилось исполнением орнаментов. Подробнее об этом см. в кн.: Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Искусство.

146

«Каменный век» (1883–1884) — монументальная композиция В. Васнецова для зала Каменного века в Историческом музее в Москве.

147

Речь идет, по-видимому, об эскизе иконы Абрамцевской церкви «Богоматерь с младенцем».

148

Евхаристия — в христианской религии таинство превращения хлеба и вина в тело и кровь Иисуса Христа.

149

Нестеров пишет родным 15 марта 1890 г. о своем первом посещении дома В. М. Васнецова: «Выбежали ребята, все они в стиле Васнецова, а один из них (мой любимец) встречается во всех серафимах и херувимах» (Письма, с. 61). «Любимец» Нестерова — Миша (Михаил Викторович) Васнецов (1884–1973) — в эмиграции стал священником, умер в Праге.

150

Выпускница женских курсов при Военно-медицинской академии в Петербурге. *(Прим. ред.)*.

151

Над картиной «Богатыри» (ГТГ) В. М. Васнецов работал с 1881 по 1898 г.

152

Точное название картины «Слово о полку Игореве» — «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1878, ГТГ). Картина «Три царевны подземного царства» написана по заказу С. И. Мамонтова для Управления Донецкой железной дороги. Первый вариант картины (1879) — в ГТГ; второй, «мамонтовский» (1884) — в Киевском государственном музее русского искусства. В газете «Русь», издававшейся славянофилом И. С. Аксаковым, картина была подвергнута резкой критике (см.: К. М. IX передвижная выставка//Русь. 1881. 9 мая). В. В. Стасов весьма уничижительно отозвался о «Трех царевнах» в своей работе «Искусство XIX века. Живопись». — *Стасов В. В.* Избр. соч. В 3 т. М.: Искусство, 1952. Т. III, с. 666).

153

Точное название картины — «Иван-царевич на сером волке» (1889, ГТГ).

Нестеров посвятил В. М. Васнецову очерк, опубликованный в «Давних днях».

155

1

Владимирский собор Святого равноапостольного князя Владимира в Киеве был заложен в 1859 г. Строительство, начатое в 1862 г., было остановлено и возобновилось в 1880-х гг. Строительные работы закончились в 1896 г. Архитекторы: И. В. Штром, П. И. Спарро, А. В. Беретти, В. Н. Николаев. Построен в духе русско-византийской архитектуры. Росписи начаты в 1885 г. А. В. Прахов выполнил проекты для всех отделочных работ, В. М. Васнецов — основную часть росписей храма, М. В. Нестеров — три больших образа и иконы для четырех иконостасов.

156

Здесь ошибка: портрет Е. А. Праховой (ГТГ) был написан В. М. Васнецовым в 1894 г.

157

С 1890 по 1895 г. Нестеровым во Владимирском соборе были написаны (по эскизам): «Рождество» и «Воскресение» (запрестольные образа двух приделов), «Богоявление» (в крестильне); на хорах: в иконостасе северного придела — образа Богоматери, Христа, святых Бориса и Глеба, в иконостасе южного придела — образа Богоматери, Христа, святого Михаила митрополита; образа царских врат обоих приделов; образа святых Варвары, Константина, Елены, Кирилла, Мефодия, Ольги.

158

После возвращения из Киева Нестеров прожил в Абрамцеве с конца марта по конец мая 1890 г.

159

«На группы» — то есть на минераловодские курорты — Ессентуки, Кисловодск, Железноводск.

160

Картина Н. А. Ярошенко «В теплых краях», написанная в 1890 г., экспонировалась на 19-й передвижной выставке 1891 г.

161

В помещении бывшей больницы Александровской общины Красного Креста на Надеждинской улице (ныне ул. Маяковского). В настоящее время — Научно-исследовательский нейрохирургический институт им. профессора А. Л. Поленова.

162

Речь идет о картине И. Е. Репина «Хирург Евгений Васильевич Павлов в операционном зале» (1888, ГТГ).

163

Нестеров вернулся в Киев в сентябре 1890 г.

Любитель хорошо пожить *(фр.). (Прим. ред.).*

165

Нестеров посвятил братьям А. А. и П. А. Сведомским очерк, опубликованный в книге «Давние дни».

166

Местонахождение картины Н. П. Богданова-Бельского «Будущий инок» (1889) не установлено.

167

Нестеров имеет в виду храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова, построенный в 1883–1907 гг. (архитекторы И. В. Макаров и А. А. Парланд) как храм-памятник на месте, где 1 марта 1881 г. террорист И. И. Гриневицкий смертельно ранил императора Александра II.

168

Я. С. Калишевский, известный украинский хормейстер, с 1883 по 1920 г. регент знаменитого хора Софийского собора, выступавшего и в концертных залах Киева.

169

Письмо Нестерова от 12 марта 1893 г. адресовано сестре, а не отцу. В воспоминаниях Нестеров пересказывает письмо близко к тексту. То же относится к текстам других писем Нестерова, которые он приводит. Здесь речь идет о Грише Черничуке.

170

«Яшкиным домом» обитатели Абрамцева называли построенную в 1877 г. дачу для летнего отдыха художников. Название даче дано маленькой Верушкой Мамонтовой — «Яшкой», как ее называли домашние, — считавшей, что домик принадлежит ей. С 1881 г. в «Яшкином доме» часто жил В. М. Васнецов с семьей. В 1882 г. к дому была пристроена мастерская, в которой Васнецовым был написан «Каменный век», а затем «Богатыри». «Яшкин дом» не сохранился.

171

Речь идет о картине «Юность преп. Сергия».

172

Этюды Нестерова для картины «Юность преп. Сергия» (с изображением медведя) находятся в частных собраниях.

173

Великая княгиня Елизавета Федоровна (1864–1918), урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, старшая сестра императрицы Александры Федоровны. В 1884 г. вышла замуж за вел. кн. Сергея Александровича (пятого сына Александра II). С 1891 г. жила в Москве в связи с назначением Сергея Александровича генерал-губернатором города, а затем командующим войсками Московского военного округа. После убийства мужа в 1905 г. эсером-террористом И. П. Каляевым посвятила свою жизнь благотворительности, основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия и стала ее настоятельницей. При обители были созданы воспитательное заведение для девочек-сирот, больница и амбулатория, в которой работали лучшие врачи Москвы. Пользовалась большим уважением в московском обществе. В апреле 1918 г. была арестована, 18 июня того же года в Алапаевске зверски убита (сброшена в шахту). Похоронена в 1920 г. в Иерусалиме. Канонизирована Московской патриархией в 1992 г. Рака с мощами святой преподобном ученицы великой княгини Елизаветы Федоровны находится в русском храме Святой Марии Магдалины в Гефсимании в Иерусалиме.

В. Дедлов (псевдоним Владимира Людвиговича Кигна) высоко ценил творчество Нестерова. В статье «Собор св. Владимира в Киеве и его деятели» (Книжки недели, 1896, сентябрь) он подробно и доброжелательно анализирует работы Нестерова во Владимирском соборе.

175

И. С. Остроухов был женат на Надежде Петровне Боткиной, дочери П. П. Боткина, главы чаеторговой компании «Петр Боткин и сыновья». Отзыв Нестерова об Остроухове, несомненно, пристрастен. Последний отнюдь не стремился к тому, чтобы «перед его боткинскими миллионами художники и нехудожники преклонялись», а считал себя — и действительно был — большим авторитетом в вопросах художественного качества живописных произведений. Несмотря на известную неприязнь Нестеров ценил Остроухова как живописца. Поздравляя Остроухова с сорокалетием художественной деятельности, Нестеров пишет: «Приветствую Вас как автора прекрасных „Весны“ и „Сиверко“, украшающих сейчас Третьяковскую галерею» (Письма, с. 307).

176

Новый вариант картины «Юность преп. Сергия», над которым Нестеров работал летом 1892 г., был экспонирован на XXI передвижной выставке в 1893 г.

177

Второй вариант «Юности преп. Сергия» вместе с триптихом «Труды преподобного Сергия Радонежского» (1896–1897) и акварелью «Благословение преп. Сергием Дмитрия Донского на Куликовскую битву» (1897) были преподнесены Нестеровым в дар Третьяковской галерее в апреле 1897 г.

178

Хороший этюд для головы «Сергия» использован Нестеровым в работе над образом Сергия. Для первого варианта картины был взят портретный этюд с А. М. Васнецова, написанный им в 1890 г.

В оценке человеческих качеств Касаткина Нестеров сходился с такими хорошо знавшими этого видного передвижника людьми, как В. М. Васнецов, В. Э. Борисов-Мусатов, хирург С. С. Юдин.

180

Речь идет о скульптуре «Варвара великомученица» (1893–1894, ГРМ).

181

Картина А. П. Рябушкина «Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате» (1893, ГТГ), представленная на XXI передвижную выставку, была забаллотирована советом и не допущена к экспонированию.

182

Речь идет о картине С. А. Коровина «На миру» (1892–1893, ГТГ). Имеются в виду два слова, одинаковые в современном написании и различные по смыслу: «мир» — отсутствие вражды, войны, согласие, тишина, покой (в картине Нестерова «Юность преп. Сергия») и «мир» (по старому правописанию — «міръ») — община, общество крестьян, сходка (в картине С. Коровина «На миру»), 30 января 1893 г. Нестеров писал родным о картине С. Коровина: «Не говоря о красках, которые обыкновенны, эта вещь замечательная, и судьба ее, вероятно, выдающаяся. Здесь показан мир божий как он есть. Это диаметрально противоположная вещь моей. Это нечто вроде „Власти тьмы“ Л. Толстого» (Письма, с. 101).

183

На XXI передвижной выставке экспонировались автопортрет Н. Н. Ге, его же портреты П. А. Костычева и Н. И. Петрункевич и четыре пейзажа из серии «Виды Южного Урала» А. М. Васнецова.

184

Речь идет о реформе Академии художеств, над подготовкой которой с 1891 г. работала правительственная комиссия. В конце 1893 г. реформа была осуществлена. В результате к преподаванию в Высшем художественном училище при академии были привлечены виднейшие передвижники: И. Е. Репин, В. Е. Маковский, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, Н. Д. Кузнецов, В. А. Беклемишев.

185

Собранная Нестеровым коллекция картин и этюдов крупнейших русских живописцев — его друзей и современников (102 произведения) — была подарена им своему родному городу Уфе и легла в основу собрания Башкирского государственного художественного музея, открытого в 1920 г.

186

За картину «Светочи христианства. Живые факелы Нерона» (1877, Национальный музей в Кракове) Г. И. Семирадскому была присуждена первая золотая медаль на Всемирной выставке 1878 г. в Париже. В Италии картина пользовалась огромным успехом. Петербургская Академия художеств присвоила Семирадскому за нее звание профессора.

187

Программная картина П. О. Ковалевского — «Первый день сражения при Лейпциге 1913 года» (1871); звание академика было присвоено ему за картину «Раскопки в Риме» (1876).

188

См.: *Соловьев М.* XXI выставка Товарищества передвижных выставок//Московские ведомости, 1893, 23 февраля.

189

К Святой (Пасхальной) неделе, то есть к середине апреля 1894 г., росписи Владимирского собора окончены не были. Нестеров закончил все работы в соборе в конце марта 1895 г. Освящение Владимирского собора состоялось 20 августа 1896 г.

190

Московский городской голова Николай Александрович Алексеев (1852–1893) 9 марта 1893 г. был смертельно ранен неким В. С. Андриановым, признанным впоследствии сумасшедшим.

191

Франциск Ассизский — (1181/1182–1226) — итальянский проповедник, основатель францисканского ордена. *(Прим. ред.)*.

192

Православный собор в Варшаве был построен (1900–1911) по проекту Л. Н. Бенуа. Под руководством В. М. Васнецова в росписи его участвовали В. В. Беляев, Н. А. Кошелев, С. Р. Райлян, М. С. Судковский, Н. Н. Харламов, Н. Т. Шаховский и др. Собор был уничтожен вскоре после Первой мировой войны.

193

Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев; 1829–1908) — протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, знаменитый проповедник и богослов. Причислен Русской православной церковью к лику святых (1990 г.).

194

Речь идет, по-видимому, о Савве Тимофеевиче Морозове, крупном промышленнике, одном из директоров правления Никольской мануфактуры.

195

Владимир Карлович Саблер (1847–1929) — член Государственного совета, сенатор, обер-прокурор Святейшего синода (1911–1913). Вступил в противоречие с К. П. Победоносцевым — противником восстановления патриаршества. В 1918 г. подвергся репрессиям. Умер в Твери в ссылке. Подробнее о нем в кн.: Три жизни митрополита Нестора Камчатского. М.: Правило веры, 2002.

196

Император Александр III посетил Третьяковскую галерею в 1893 г.

197

В 1895 г. по указу императора Николая II в Санкт-Петербурге учрежден Русский музей императора Александра III, открытый 7/19 марта 1898 г., ныне Государственный Русский музей.

В росписи Лаврской церкви Нестеров участвовать отказался.

199

Картина А. П. Размарицына «Панихида» (1882) находится в ГТГ.

200

Галата — южный район так называемого Нового, или Европейского, города (одна из частей Константинополя), в то время соединенный со старым городом двумя мостами через пролив Золотой Рог.

201

Санта Лючия — район бедноты в Неаполе.

А. А. Павловский (1856–1913) — историк искусства.

203

Памятник византийской архитектуры и мозаики IX в.

Нестеров имеет в виду Дж. Гарибальди, вождя и героя национально-освободительного движения в Италии середины XIX в., графа К. Б. Кавура, крупного государственного деятеля той же эпохи, и Виктора-Эммануила II, первого короля объединенной Италии.

205

Опера П. Масканьи «Сельская честь» (1888). Премьера — в 1890 г. в римском театре «Констанци». После триумфального шествия по оперным театрам мира была поставлена 18 января 1893 г. на сцене Мариинского театра в Петербурге.

206

По поверью, для того чтобы вернуться в Рим, бросают в фонтан Треви мелкую монетку — сольди.

Итальянское название — Сан-Витале. *(Прим. ред.)*.

Итальянское название — Сан Аполлинаре Нуово. *(Прим. ред.)*.

209

Картина «Чудо», по эскизу образа святой Варвары, написана Нестеровым в 1895–1897 гг. Впервые экспонирована на Выставке русских и финляндских художников в январе 1898 г. в Петербурге. В 1900 г. на Всемирной Парижской выставке Нестерову за «Чудо» и «Под благовест» была присуждена серебряная медаль. Картина вызвала резкие нападки прессы. В письме от 9 января 1898 г. сотруднику газеты «Московские ведомости» М. П. Соловьеву Нестеров рассказывает о замысле картины. Впоследствии художник уничтожил ее, оставив фрагмент с изображением юноши (находится в частном собрании, Москва).

210

«…похоронен в Кракове на Вавеле…» — на холме в Вавеле расположены значительнейшие архитектурные и исторические памятники X–XVI вв. и похоронены крупнейшие политические деятели Польши, короли и епископы.

211

Н. В. Досекин в статье «Чего недостает нашей живописи?» (К вопросу об учении в живописи) (Артист, 1893, № 31, с. 104) резко критиковал картину Нестерова «Юность преп. Сергия» за «неискренность художника перед самим собой».

Нестеров здесь не совсем точен. На организованной С. Дягилевым Русской художественной выставке при Осеннем салоне 1906 г. экспонировались пять работ И. Е. Репина: портреты В. М. Гаршина, С. М. Волконского, Л. Н. Толстого, А. В. Вержбиловича и эскиз картины «Казаки».

213

Речь идет, очевидно, о симфонии П. И. Чайковского (1885), написанной по мотивам драматической поэмы Дж. Байрона.

214

«Он имел „тайного“, „Анну“…» — то есть чин тайного советника и орден Святой Анны.

215

Коллекция произведений русской живописи, собранная Николой Артемьевичем Терещенко и его сыном Иваном Николаевичем, легла в основу собрания Киевского государственного музея русского искусства.

216

М. И. Терещенко — министр финансов, а затем министр иностранных дел Временного правительства.

217

«…слишком много создавал он сам и создавалось около него неприятностей, неудач, волнений» — имеется в виду резко отрицательное отношение к «Евангельскому циклу» Н. Н. Ге со стороны церковных властей и цензуры. Картины «Что есть истина» (1891), «Голгофа» (1892), «Распятие» (1892–1893) были запрещены цензурой. Одновременно толстовство Н. Ге, его обращение к религиозным сюжетам, а также его сочувственное отношение к исканиям молодых художников во главе с С. В. Ивановым, боровшихся за права экспонентов в Товариществе передвижных выставок, вызвали протесты «старших» передвижников, в их числе Г. Г. Мясоедова и И. М. Прянишникова.

Карно — президент Франции с 1888 г.

219

Девойод Жюль (1842–1901) — французский певец. *(Прим. ред.)*.

220

Сорокоуст — сорокадневная молитва по умершему.

221

Очерк «В. И. Суриков» напечатан в газете «Советское искусство» (1937, 1 марта) и опубликован в «Давних днях».

222

Нестеров имеет в виду поражение английских войск во время второй англо-афганской войны (1878–1880) в бою у Майванда близ Кандагара, недалеко от Кушки — населенного пункта на границе Российской империи.

223

Император Александр III скончался 20 октября (1 ноября) 1894 г. в Крыму, в Ливадии.

224

Нестеров имеет в виду «портрет в серой тужурке», написанный В. А. Серовым в 1900 г. Принадлежал императрице Александре Федоровне и до 1917 г. находился в Зимнем дворце. Не сохранился.

225

На XIV периодической выставке Московского общества любителей художеств в 1895 г. были экспонированы этюды К. А. Коровина и В. А. Серова, написанные ими во время поездки на Север летом 1894 г.

226

«Преображенское и окружающие его места, их прошлое и настоящее» (составил и издал П. В. Синицын. Рис. худ. М. В. Нестерова. Гравировал А. С. Янов. М., 1895).

227

То есть на Фоминой неделе — на второй неделе после Пасхи и Светлой седмицы.

228

Нестеров писал 25 марта 1895 г. А. Турыгину о «Богоявлении»: «Вещь эта официальная, но в ней есть кое-что в пейзаже, да кое-что в живописи вообще. Теперь Владимирский собор окончен мною совсем» (Письма, с. 132).

229

В ряде писем того времени (А. Турыгину, Л. В. Средину) Нестеров с горечью подчеркивает, что хотя он теперь «свободная птица», но «сильно поразучился петь по-птичьи», «слишком продолжительно было мое сиденье в клетке», подразумевая под «клеткой» заказную работу во Владимирском соборе.

230

Известный итальянский актер Э. Росси неоднократно гастролировал в России, выступал в шекспировском репертуаре. В 1895 г. Росси было пятьдесят восемь лет, а не «с лишком шестьдесят», как пишет Нестеров.

231

В 1894 г. В. М. Васнецов по собственному проекту построил себе деревянный дом в «русском стиле» в 3-м Троицком переулке (ныне ул. Васнецова) в Москве. В настоящее время в этом доме музей В. М. Васнецова.

232

Речь идет о книге В. М. Михеева «Отрок-мученик. Углицкое предание» (СПб.: изд. А. Ф. Маркса, 1898), с рисунками М. В. Нестерова, В. И. Сурикова и Е. М. Бем. Над иллюстрациями к рассказу Нестеров работал в 1896–1897 гг.

233

Имеется в виду Плещеево озеро, связанное с победой Александра Невского над псами-рыцарями и созданием Петром I флотилии и первой мореходной школы в России.

«Красный товар» — ткани.

235

«…дивную роспись „Иоанна Воина“, „Ильи Пророка“…» — речь идет о церкви Ильи Пророка (1647–1650) в Ярославле, расписанной костромскими мастерами Г. Никитиным (Кинешемцевым), С. Савиным, Д. Семеновым и другими в 1680–1681 гг.; говоря о росписи «Иоанна Воина», Нестеров имеет в виду церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (1671–1687), расписанную в 1695 г. ярославскими мастерами во главе с Д. Г. Плехановым и Ф. Игнатьевым.

236

Речь идет о художнице и переводчице Ольге Михайловне Соловьевой (Коваленской) (ум. 1903). Соловьевы — Всеволод Сергеевич (1849–1903) и Михаил Сергеевич (1862–1903) — братья поэта и религиозного философа Владимира Сергеевича Соловьева. (Включен художником в картину «Христиане».) М. С. Соловьев — педагог и переводчик. Сергей Михайлович Соловьев (1885–1941), сын О. М. и М. С. Соловьевых, — поэт и литературный критик, религиозный публицист, идеолог «символизма», троюродный брат А. Блока, близкий друг Андрея Белого (Б. Н. Бугаева). Принял сан священника, перешел в католичество; эмигрировал в 1918 г.

237

С 1843 г. президентами Академии художеств назначались члены императорской семьи. Вел. кн. Владимир Александрович был президентом с 1876 по 1909 г., а после его смерти — вдова, вел. кн. Мария Павловна.

238

«Портрет императора Александра III с рапортом в руках» работы В. А. Серова (1900) находится в Государственном Русском музее.

239

Картина «Летом. Портрет О. Ф. Серовой. Домотканово» (1895) находится в Государственной Третьяковской галерее. Экспонировалась на 24-й передвижной выставке под названием «Летом».

240

Николай Дмитриевич Кузнецов (1850–1929) — художник-портретист и жанрист, передвижник (с 1883), действительный член Императорской Академии художеств (с 1895); с 1920 г. жил за границей. В 1897 г. написал портрет М. В. Нестерова.

241

19 февраля 1896 г., через несколько дней после открытия XXIV передвижной выставки, А. Н. Бенуа писал Е. Е. Лансере о картине «Под благовест»: «Нестеров выставил картину, озаглавленную „Под благовест“. Два монаха — один старик, горбатый, неаппетитный и злой, и другой, длинный, тощий, с белокурыми волосами — несколько подловатой наружности, гуляют, читая в псалтырях, по дороге вблизи монастыря. Дорога усажена березами и елочками. Солнце, видно, скрылось, но кресты горят еще тусклым огнем. Пейзаж в рыжеватом полумраке. Справа холодная река. — Пейзаж чудесен по настроению и трактован, несмотря на известный примитивизм, совсем не пошло, с большим тактом; в нем масса музыки, — тихой, блаженной, умиротворенной. — Тем резче и непонятнее эти два каверзника монаха, почти до карикатурности подчеркнутые! — Что он хотел этим сказать — я лишь догадываюсь — хотя и не уверен. Скорее он не хотел этого сказать, а оно сказалось само собой. — Вещь эта несколько отталкивает своим внутренним разладом — но все же кланяемся — и низко — мастеру, ибо мастер большой! Притом же этот разлад не по немощи, а намеренный или во всяком случае глубоко психологически мотивированный! Тут виднеется какая-то драма, происходящая в душе самого художника — драма, быть может, весьма тяжелая; но во всяком случае почтенная! — Нет немощи, положительно нет». Не менее интересна в этом письме характеристика самого Нестерова: «Но кто удивил нас в конце — так это Нестеров. Что за вздор, когда говорили, что он какой-то тип блаженного, поющего псалмы и т. д. — Это господин, весьма прилично, но просто одетый, с весьма странной, уродливо странной головой… и хитрыми, умными, светлыми глазами. Бородка желтая, хорошо обстриженная. Не то купец, не то фокусник, не то ученый, не то монах; менее всего монах. — Запад знает не особенно подробно — но, что знает, знает хорошо, глубоко и крайне независимо. Хорошо изучил по русским и иностранным памятникам свое дело, т. е. византийскую богомазь. — Речь тихая, но уверенная, почти до дерзости уверенная и непоколебимая. — Говорит мало — но метко, иногда зло; — иногда очень широко и глубоко обхватывает предмет. — За чаем мы начали передавать кое-какие художественные сплетни: он переполошился: „Что ж, господа, соберется русский человек — и сейчас пойдут пересуды!“ Что не помешало ему вскоре присоединиться к пересудам и даже превзойти всех злобностью и меткостью. — Говоря о древних

памятниках России, очень и очень искренне умилился, пришел в восторг, развернулся. — Я думаю, это человек, во-первых, чрезвычайно умный, хотя и не особенно образованный. Философия его деическая и, может, даже христианская, но с червем сомнения, подтачивающим ее. Не знакомство ли слишком близкое с духовенством расшатало ему веру? Или он сам слишком много „думал“ о Боге? А это в наше время опасно для веры! Он ничего не говорил об этом всем — но кое-какие слова, в связи с впечатлением, произведенным на меня его картиной, нарисовали как-то нечаянно для меня самого такой портрет его во мне. Он борется — с чем? не знаю! быть может, он вдобавок и честолюбив. — В Мюнхен послать не захотел: „Что ж, мы будем там закуской, лишней пряностью! Там посмотрят на нас как на диковинку, а теперь только давай диковинки!!! Нет, я лучше пошлю свои вещи в Нижний, мне интересней, чтоб меня знали мои же!“ — „Да ведь Вас никто не понимает, не оценивает! напротив того, я слышу смех и издевательство“, — говорю я. „Эка беда, как будто бы успех в публике для художника — не срам скорее? Мне довольно, чтоб меня поняли три, четыре человека — а понять истинно и совершенно мои вещи может только русский…“» (Отдел рукописей. ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 300. Л. 7, 7 об., 9, 10 об.).

Нестеров, Левитан, К. Коровин, Серов экспонировали свои произведения на открывшейся 16 января 1898 г. в Петербурге Выставке русских и финляндских художников, организованной С. Дягилевым и сыгравшей большую роль в оформлении объединения «Мир искусства» (Нестеров выставил «Чудо»), а затем на Международной художественной выставке журнала «Мир искусства» в январе 1899 г. (Нестеров был представлен на ней эскизом «Прощание преп. Сергия с князем Дмитрием Донским», 1898). Перипетии своих отношений с «Миром искусства» и Дягилевым Нестеров излагает в очерках «Эскиз» и «Один из мирискусников», опубликованных во втором издании «Давних дней».

243

Н. А. Прахов пишет в своей книге «Страницы прошлого. Очерки-воспоминания о художниках» (Киев, 1958, с. 180): «Это был единственный случай вмешательства частного лица в дела внутреннего убранства художниками Владимирского собора. Оправдывала его графиня Игнатьева (жена киевского генерал-губернатора А. П. Игнатьева. — *А. Р.)* так: „Не могу же я молиться на Лелю Прахову“».

Имеется в виду коллекция авторских работ художника и картин его современников (сто две работы). *(Прим. ред.)*.

К. Д. Бальмонту было в это время двадцать девять лет.

246

Ли Хунчжан (1823–1901) — крупный китайский сановник последней трети XIX в., сторонник политики уступок домогательствам европейских стран как средства сохранения феодального строя в Китае. В 1896 г., когда его видел Нестеров, Ли Хунчжан прибыл в Петербург для подписания договора с Россией об оборонительном военном союзе против Японии и о предоставлении России концессии на постройку Китайско-Восточной железной дороги.

247

В. Васнецов, Маковский, Серов, а также Репин, Бенуа, Рябушкин получили от Академии художеств заказ на исполнение произведений, посвященных коронации Николая II для «Коронационного альбома» (изданного в 1898 г.). Этим и объясняется, что все они находились на трибунах на Красной площади. Наиболее значительной из всех работ, посвященных этому событию, оказалась картина Серова «Торжество миропомазания в Успенском соборе» (1896–1897, ГРМ). Во время коронации Серовым был сделан ряд набросков и этюдов акварелью толпы у собора Василия Блаженного и в Успенском соборе. См. также: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л.: Художник РСФСР, 1971.

248

См. примечание 14 к главе «Уфа. Детство».

Имеется в виду Троице-Сергиева лавра. *(Прим. ред.)*.

Нестеров ошибается, говоря о якобы возникшем «первом открытом разногласии» С. И. Мамонтова с С. Ю. Витте. На самом деле Витте во время своего пребывания на посту министра финансов неизменно относился к Мамонтову весьма доброжелательно и протежировал ему в его деловых и художественных начинаниях. Основной причиной финансового краха и ареста Мамонтова в 1899 г. были интриги министра юстиции Н. В. Муравьева против Витте. В инциденте с врубелевскими панно Витте (директор-распорядитель Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 г.), поручивший Мамонтову, минуя Академию художеств, оформление художественного отдела выставки, занимал позицию весьма дружественную Врубелю, т. е. прямо противоположную той, которую приписывает ему Нестеров (Письма, с. 142). (Толстой — гр. И. И. Толстой — вице-президент Академии художеств, е. и. в. — вел. кн. Владимир Александрович — ее президент.)

251

К. П. Победоносцев (1827–1907) — обер-прокурор Святейшего синода (1880–1905) и член Госсовета (1871–1905). В кругах русского общества многие относились к нему негативно. *Томас Торквемада* (ок. 1420–1498) — монах, с 1483 г. глава испанской инквизиции, фанатик, жестоко преследовавший «еретиков». Сравнивая с ним Победоносцева, имели в виду, что он столь же фанатичный гонитель всего передового, всякой свободной мысли в России. У Нестерова свое отношение к Победоносцеву, он всегда был независим в своих суждениях.

252

Нестеров имеет в виду статью Н. А. Иванцова «Задачи искусства» (Вопросы философии и психологии. М., 1896, сентябрь-октябрь, кн. 34, с. 470–473).

253

Речь идет о подготовлявшемся «Альбоме двадцатипятилетия Товарищества передвижных художественных выставок. 1872—XXV—1897». Изд. худож. фототипии К. А. Фишер. (Под непосредственным наблюдением Комиссии Товарищества.) М., 1900, с приложенным к нему «Очерком жизни Товарищества за 25 лет» (речь Г. Г. Мясоедова).

254

Опера А. Н. Серова «Рогнеда» была поставлена в Московской частной (Мамонтовской) опере в 1897 г. (дирижер — С. В. Рахманинов).

255

Речь идет об одном из эскизов Серова (1894) к неосуществленному панно «После Куликовой битвы», заказанному Историческим музеем.

256

В настоящее время эскиз костюма князя Владимира находится в частном собрании (Москва).

257

Речь идет о «Письме в редакцию» газеты «Новое время» (1896, 7 ноября), в котором Репин, принося благодарность всем, говорит о творчестве художника как о забаве, называет художников счастливчиками, недостойными «празднования и участия общества», подчеркивает, что при знаках внимания «нам (художникам) — совестно». Это письмо, умаляющее роль художника, перечеркивающее работу самого Репина, письмо, написанное явно под влиянием минуты и необдуманно, вызвало оживленную полемику в печати. Письмо с резкой отповедью написал Репину Серов *(Репин И. Е.* Избранные письма в двух томах. 1867–1930. М.: Искусство, 1969, т. 2, с. 120).

258

Первые признаки тяжелой сердечной болезни Левитана были обнаружены осенью 1896 г. В начале февраля 1897 г. на открытии выставки Московского товарищества художников у него начался сердечный приступ: известный московский терапевт профессор А. А. Остроумов поставил тогда диагноз: порок сердца и расширение аорты.

259

Нестеров писал Е. М. Хруслову 26 декабря 1896 г.: «Появился в Москве артист — певец Шаляпин (24 лет) — поет он в Частной опере. Дар у него чудный, трагик он первоклассный. Росси и Девойод, быть может, превосходят его своей школой, но не глубиной и искренностью. Созданный им Грозный царь в „Псковитянке“ — фигура живая, трагическая, полная той болезненной и странной поэзии, которая всюду заложена в сказаниях и песнях о царе Иване Васильевиче» (Письма, с. 149).

260

В письме к А. В. Нестеровой от 23 февраля 1897 г. художник сообщал: «Хороши очень Костанди и Досекин. Первый почти наверно будет выбран в члены, и ему давно пора, это талантливый и вполне сложившийся художник, хорош очень и Досекин со своими северными морями. И его должны бы были выбрать в члены. Недурен Костя Коровин, Первухин, Пастернак и кое-кто еще» (Письма, с. 152). На XXV передвижной выставке 1897 года экспонировались «Белое море» и «Поморские кресты» Н. В. Досекина, «Ранняя весна» и «Вечер» К. К. Костанди, «На даче» К. А. Коровина, «На мосту» и «На террасе» Л. О. Пастернака. 1 марта 1897 г. Нестеров пишет сестре: «…В члены Товарищества выбран один Костанди, ни Костя, ни Досекин, ни Пастернак не выбраны».

261

Ле́стовка — кожаные четки.

262

В феврале 1897 г. в Высшем художественном училище Академии художеств вспыхнули студенческие волнения, непосредственным поводом к которым было оскорбление, нанесенное ректором А. О. Томишко одному из студентов. На сходке учащихся был поставлен вопрос о забастовке в знак протеста. Экстренное заседание Академического собрания приняло постановление о закрытии до осени Высшего художественного училища и об исключении всех студентов (желающие возобновить занятия с осени должны были подавать заявления в канцелярию училища). Президентом Академии вел. кн. Владимиром Александровичем был уволен профессор — руководитель мастерской А. И. Куинджи, вставший на сторону студентов. Подробнее об этих событиях см.: *Остроумова-Лебедева А. П.* Автобиографические записки. Л., 1935, т. I, с. 103–108.

263

Нестеров имеет в виду выставку английских и немецких акварелистов (открылась 20 февраля 1897 г. в залах Музея училища Штиглица): это была первая выставка, организованная С. П. Дягилевым. В ней принимали участие около пятнадцати шотландских художников.

264

Письмо П. М. Третьякову от 5 апреля 1897 г. *(Прим. ред.)*.

265

Фленушка — одна из героинь романов П. И. Мельникова (А. Печерского) «В лесах» и «На горах». Близость «нестеровских» девушек и женщин персонажам книг Мельникова-Печерского отмечалась многими исследователями его творчества. Подробнее об этом см.: *Дурылин С. Н.* Нестеров. С. 85–88; *Прахов Н. А.* Страницы прошлого. С. 189–191.

266

Седьмушка — ученица младшего (седьмого) класса Института благородных девиц.

Выставка проходила в Петербурге в 1898 г. *(Прим. ред.)*.

268

См. комментарий к подглавке «Свободный художник. Женитьба».

269

Нестеров ошибается в датировке портретов Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева. Они были написаны Н. А. Ярошенко в 1894–1895 гг. и экспонированы на 23-й передвижной выставке 1895 г.

На Выставке русских и финляндских художников Врубель экспонировал панно «Утро» и скульптурные головы Демона и великана из «Руслана и Людмилы», К. Коровин — двадцать работ, в том числе портрет кн. Голицыной, «Северное сияние», «Порт в Марселе», «Парижское кафе», «Осень», а Серов — пятнадцать работ, среди них портреты вел. кн. Павла Александровича (1897), Л. А. Муравьевой (урожд. Мамонтовой, 1894), «Прудок» (1886), «Осень», «Быки» (1885), «Заросший пруд» (1888). Кроме А. Эдельфельдта и А. Галлена, в выставке принимали участие финны В. А. Бломстед, В. Вальгрен, П. Галонен, А. Гебгард, Г. Ениберг, М. Энкель, Е. Ернефельд, Б. Лагерстам.

Нестеров, в числе восемнадцати русских и финских художников, принял участие в русской выставке на Мюнхенском сецессионе (с 1 мая по 1 июля 1898 г.) картинами «Под благовест» (1895), «Чудо» (1895–1897) и «На горах» (18 %). Затем выставка была открыта в Кёльне, Дюссельдорфе и Берлине.

272

Картина «На горах» была куплена не В. В. фон Мекком, а сыном известного киевского врача Мерингом. После революции она попала в Киевский государственный музей русского искусства. О «встрече» Нестерова с этой одной из самых любимых своих картин в 1928 г. см.: *Прахов Н. А.* Страницы прошлого. С. 183–184.

В оценке моральных качеств М. П. Боткина сходились все знавшие его деятели русского искусства. Исчерпывающую характеристику «этого предателя по природе, изменника по страсти, интригана по культуре» дает И. Э. Грабарь в автомонографии (с. 182–184).

«Монахами» Нестеров называет картину «Под благовест». 18 июня 1898 г. он писал из Мюнхена Турыгину: «Мои „Монахи“ делают впечатление оригинальное, хотя, быть может, мало понятное, по свойству нашей природы (здесь весна, вероятно, другая), а также и людей, изображенных на картине. Две другие мои повешены скверно и совсем пропали» (Письма, с. 170).

Н. А. Ярошенко скончался 25 июня 1898 г. от разрыва сердца.

276

Вел. кн. Георгий Александрович, младший брат Николая II, был наследником престола из-за отсутствия в царской семье потомка мужского пола. После его смерти 28 июня 1899 г. наследником стал (и оставался им до рождения в 1904 г. сына Николая II Алексея) вел. кн. Михаил Александрович, второй брат царя.

277

Эпизод, описываемый Нестеровым, произошел 22 марта 1840 г., во время охватившего часть Грузии, а затем Чечню и Дагестан восстания горцев под руководством Шамиля. Архип Осипов, рядовой Тенгинского полка, взорвал пороховой погреб Михайловского укрепления (крепость Ахалцихе), в то время как превосходящие силы горцев ворвались в укрепление. Остатки русского гарнизона, за немногими исключениями, и большое число осаждающих погибли при взрыве.

278

Зарзма — монастырь в 35–40 километрах к западу от Ахалцихе. Основан в VI–VII вв.; храм, описываемый Нестеровым, построен в начале XIV в.; фрески, относящиеся к XIV и XVI вв., были поновлены в начале XX в. Находившиеся в храме иконы «Преображение» и «Умиление» (первая четверть XI в.) в настоящее время находятся в Музее искусств Грузии (Тбилиси).

279

Имеется в виду Закопане — курорт в Польше у подножия Татр.

280

Гелатский монастырь — архитектурный комплекс XII в., один из крупнейших культурных центров средневековой Грузии. Основан в 1106 г. царем Давидом Строителем. Главный крестовокупольный храм относится к XII в., маленькие церкви — Святого Георгия, Святого Николая — к XIII в. Мозаика в алтаре главного храма создана в 20-е гг. XII в.

281

Киевская «Нерушимая стена» — мозаика с изображением Богоматери в абсиде Софийского собора в Киеве.

282

Нестеров имеет в виду грандиозный кафедральный собор Свети-Цховели в Мцхете, построенный в 1010–1029 гг. зодчим Арсукисдзе на месте первой в Грузии христианской церкви IV в. Роспись собора относится к XVI–XVII вв.

283

Кафедральный собор Сиони в Тбилиси основан в VI–VII вв., неоднократно перестраивался в Средние века, последний раз — в 1710 г. Роспись Сионского собора выполнена Г. Г. Гагариным в 1850 г.

284

«Мой егермейстер» — полковник, по поручению вел. кн. Георгия Александровича сопровождавший Нестерова при осмотре им церквей и других культурно-исторических памятников Тбилиси.

285

Наследник-цесаревич Георгий Александрович скончался 28 июня 1899 г.

Ю. Н. У. — Юлия Николаевна Урусман, гражданская жена М. В. Нестерова, мать второй дочери, Веры Михайловны Нестеровой, сыновей Михаила и Федора Образ ее воплощен в картинах «Думы», «За Волгой», «Родина Аксакова», в росписях храма в Абастумане, «Путь ко Христу» и др.

287

Местонахождение картины «Голгофа» (1899–1900) неизвестно. Картина «Думы» (1899–1900) находится в Государственном Русском музее. Обе картины были экспонированы на XXVIII передвижной выставке 1900 г.

Заявление Нестерова, несомненно, субъективно и обусловлено очень трудными жизненными условиями и условиями творчества — и противоречит уже наступающему новому расцвету живописи художника конца двадцатых-тридцатых годов.

289

Речь идет об эпизоде, связанном с работой Серова над портретом Николая II «в тужурке» (см.: *Грабарь И.* Валентин Александрович Серов. М., 1965, с. 183).

290

Речь идет о Всемирной Парижской выставке 1900 г.

Большой приз *(фр)*. *(Прим. ред.)*.

292

И. Е. Репин экспонировал на Всемирной Парижской выставке портреты гр. И. И. Толстого, Ц. А. Кюи и Е. В. Павлова.

293

«…дни альянса не были омрачены» — имеется в виду военный союз, заключенный между Россией и Францией в 1891–1893 гг.

294

Высшая награда Всемирной Парижской выставки 1900 г. — Гран-при — была присуждена В. А. Серову за портрет вел. кн. Павла Александровича; золотые медали получили: Ф. А. Малявин — за картину «Красные бабы», К. А. Коровин — за панно из циклов «Туркестан» и «Север», П. П. Трубецкой — за ряд работ, в том числе за скульптуру «Л. Н. Толстой на лошади». Нестеров получил серебряную медаль за картины «Чудо» и «Под благовест». Подробнее об этом см.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л.: Художник РСФСР, 1971, т. I, с. 139.

295

И. И. Левитан скончался 22 июля/4 августа 1900 г. Благодаря хлопотам М. В. Нестерова прах перенесен на Новодевичье кладбище.

Нестеров допускает тут неточность: «Северные панно» К. Коровина украшали не Железнодорожный отдел, а отдел Крайнего Севера; кроме того, им были выполнены панно для отдела Средней Азии.

297

Портрет Н. Г. Яшвиль (1905) находится в Киевском государственном музее русского искусства.

298

Имеется в виду восстание (ихэтуаньское) в Китае в 1899–1901 гг. В название общества — инициатора восстания входило слово «кулак», поэтому иностранцы назвали повстанцев «боксерами». Отсюда произошло это название.

299

Речь идет главным образом об отношении А. Бенуа к церковной живописи В. Васнецова, выраженном в вышедшем в 1900 г. выпуске «История живописи XIX века. Русская живопись» и в статье «Ответ г. Философову» (Мир искусства, 1901, т. VI, с. 301–309), в которой автор возражает против принижения Д. В. Философовым значения А. А. Иванова и возвеличивания В. М. Васнецова как религиозного живописца. Нестеров писал 13 января 1902 г. Турыгину: «Интересный номер „Мира искусства“, бойко пишет каналья Бенуа, жаль, что он взял такой паскудный тон о Васнецове. Суть же дела о нем не лишена „верхнего чутья“» (Письма, с. 199).

«Углублению пропасти» между Нестеровым и мирискусниками послужил в первую очередь отзыв А. Бенуа о церковных росписях Нестерова в книге «История живописи в XIX веке. Русская живопись» (СПб.: изд. Товарищества «Знание», 1901–1902, ч. 1). Бенуа писал в главе о русской церковной живописи: «…если бы Нестеров писал только свои церковные образа, ничем по сладости и искусственности не отличающиеся от фальшивых созданий Васнецова, то он представлял бы очень мало интереса, так как в истории копии не идут в счет с оригиналами. Однако Нестеров заслуживает совершенно другого отношения, так как он создал не одни свои иконы, но и несколько (к сожалению, немного) картин, в которых ему удалось вложить много личного, по существу и значительно превосходящего даже творчество Васнецова. Но в этих своих работах последнего рода Нестеров уже является художником нового периода, периода свободного, личного и „вдохновенного“ начала в искусстве…» (с. 131). Главу, посвященную творчеству Нестерова, Бенуа закончил следующими словами: «К сожалению, успех толкает его все более и более на скользкий для истинного художника путь официальной церковной живописи и все более удаляет его от того творчества, в котором он, наверное, сумел бы сказать немало дивных и вдохновенных слов. Ведь является же он рядом с Суриковым единственным русским художником, хоть отчасти приблизившимся к высоким божественным словам „Идиота“ и „Карамазовых“» (с. 239–242).

301

Речь идет, очевидно, о первом томе двухтомного собрания «Очерков и рассказов» М. Горького (1898), в который вошли рассказы «Макар Чудра», «Дед Архип и Ленька», «Старуха Изергиль», «Челкаш» и др.

302

Местонахождение картины «Мечтатели» («Белая ночь в Соловецкой обители», 1903) и этюда старого монаха не установлено; этюд молодого монаха находится в частном собрании (Москва). По соловецким этюдам была написана картина «Молчание» (1903, ГТГ).

Этот мотив был впоследствии запечатлен Нестеровым в двух картинах — «Лисичка» (1914, ГТГ) и «Три старца» («Лисичка»), 1915, Государственная картинная галерея Армении.

304

Канонарх — человек, специально поставленный для произнесения речитативом богослужебных текстов для молящихся.

305

Портрет А. М. Горького (1901) принадлежит Музею А. М. Горького в Москве. Нестеров писал Турыгину 25 июля 1901 г.: «Пишу тебе, Александр Андреевич, с перепутья из Нижнего, где я провел два приятных дня у Горького, написал с него удачный этюд, которым надеюсь воспользоваться в будущем. Горький здоров и весел, полон энергии и планов на будущее. Беседы с ним живые, увлекательные и интересные» (Письма, с. 194). Говоря о том, что он надеется «воспользоваться в будущем» этюдом, Нестеров имел в виду свое намерение сделать М. Горького одним из действующих лиц картины «Святая Русь». Однако он вскоре отказался от этой мысли. В ранней редакции своих воспоминаний о Горьком Нестеров излагает мотивы, побуждавшие его вначале включить Горького в композицию «Святой Руси», и причины отказа от этого намерения: «Мне это казалось необходимым, на картине народ шел ко Христу — символу „великой правды“, и вот тут Горький, как представитель народа, его культурных верхов, казалось мне, был бы у места… Но позднее я убедился, что великая правда, к которой стремился М. Горький в своих произведениях, совсем не в плане моей „Святой Руси“, и я изменил свое намерение» (цит. по кн.: Давние дни. 2-е изд., с. 368). Вместо Горького Нестеров поместил среди пришедших ко Христу молодого монаха-годовика.

306

2 ноября 1901 г. Нестеров писал Турыгину: «Недавно получил подарок от Горького — все его сочинения с очень милой надписью» (Письма, с. 195). Самому Горькому он писал 17 ноября того же года: «По получении книг перечитал вновь многое.

Какое широкое, как песня, изображение природы, сколько страсти, удали, вместе с тем глубокой задушевной тоски-печали души человеческой. Какая во всем поэтическая правда…» (Письма, с. 197). Нестеров передал Горькому через Л. В. Средина подарок — «этюд знакомой Вам, — какой пишет в том же письме, — нашей весны (он послужил мне фоном к Сергию, что в Музее Александра III)». На этюде конца 1890-х гг., ныне принадлежащем Горьковскому государственному художественному музею, надпись: «Славному певцу русской природы М. Горькому М. Нестеров 1901 г.».

307

Выставочное объединение «36 художников» непосредственно предшествовало Союзу русских художников. В его состав вошли крупнейшие живописцы поколения Нестерова. Инициаторами создания объединения были москвичи (А. М. Васнецов, С. А. Виноградов, В. В. Переплетчиков, И. С. Остроухов), хотя участвовали в нем и петербуржцы — члены «Мира искусства». Это объединение уже самим фактом своей организации противопоставило себя Товариществу передвижных выставок, где в это время главенствовали такие художники, как Г. Г. Мясоедов, В. Е. Маковский, К. В. Лемох.

308

Антоний Храповицкий (1863–1936) — архиепископ Волынский, член Синода, член Госсовета (1914–1917). В 1920 г. эмигрировал в Сербию, был главой Русской православной церкви за рубежом. В 1917 г. М. В. Нестеровым написан его портрет (находится в Государственной Третьяковской галерее).

309

Бракосочетание Нестерова с Екатериной Петровной Васильевой состоялось 7 июля 1902 г. в Кисловодске.

310

«*Мой приятель…*» — то есть А. А. Турыгин. См. коммент. к главе «Выставки. 1900–1901».

311

Речь идет о первой в Москве выставке «Мир искусства», открывшейся 15 октября 1902 г.

312

Письмо А. А. Турыгину от 15 декабря 1902 г.

313

Портрет Михаила Абрамовича Морозова (1870–1903) В. Серов написал в начале 1902 г. (находится в ГТГ). Современники, в частности С. С. Мамонтов, считали, что портрет очень похож, но художник добродушно и остроумно посмеялся над своей моделью. См.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л.: Художник РСФСР, 1971, т. 1, с. 168; т. 2, с. 266–267.

О портрете Николая II в форме шотландского драгунского полка (находится в Англии) Серов писал О. Ф. Серовой 19 февраля 1900 г.: «…царица по-русски заметила мне, что хорош шотландский портрет, а по-моему плох». Портрет Николая II в тужурке предназначался в подарок царице, поэтому сеансы проходили втайне от нее. См.: Валентин Серов в переписке, документах и интервью. Л.: Художник РСФСР, 1985, т. 1, с. 279.

314

На выставке «Мира искусства» в Москве экспонировалось «Заманчивое предложение» К. А. Сомова.

315

Речь идет о второй выставке «36 художников», открывшейся в Москве в конце декабря 1902 г. Об отношениях этого объединения с «Миром искусства» см.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л.: Художник РСФСР, 1971, т. 2, с. 70–72, 78–80.

316

Газета «Новое время» выходила в Петербурге в 1868–1917 гг. С февраля 1876 г. издателем газеты стал А. С. Суворин. М. М. Иванов вел в «Новом времени» отдел музыкальной критики, художник Н. И. Кравченко — отдел изобразительного искусства. И тот и другой выступали в своих статьях с крайне реакционных позиций.

317

На территории древней крепости в VI–VIII вв. стояла христианская церковь.

318

В 1903–1904 гг. искусствовед, публицист и критик П. П. Перцов издавал в Петербурге религиозно-философский журнал «Новый путь». Направление журнала было связано с «Религиозно-философскими собраниями». Идейными вдохновителями были Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. В. Розанов, Н. Минский. В журнале печатались видные литераторы-символисты.

319

В. В. Розанов (1856–1919) — писатель, философ и публицист, оригинальный мыслитель, облекавший свои религиозные, философские, историко-культурные, эстетические и житейские воззрения в своеобразные формы дневниково-эссеистской прозы. Он изобрел свой, неведомый до него жанр литературы: «Уединенное», два короба «Опавших листьев». «Апокалипсис нашего времени» (1917–1918) — одна из своеобразных книг той эпохи. Розанов был одним из организаторов «Религиозно-философских собраний», целью которых стала выработка нового религиозного мировоззрения. Собрания проходили в Петербурге в 1901–1903 гг. В розановской религиозно-экзистенциальной философии апофеоз семьи сочетался с критикой христианского аскетизма. Знакомство с Нестеровым состоялось в 1907 г. на персональной выставке художника, о которой Розанов писал в периодических изданиях. До этой встречи Нестеров читал публикации Розанова в перцовском «Новом пути» и ощутил в нем единомышленника. Близость мироощущения позволила их отношениям вскоре перерасти в дружбу. Именно Розанову адресовано восторженное письмо Нестерова об «уходе» Л. Толстого. Трех людей — Нестерова, Дурылина и Розанова связывала большая духовная близость. М. В. Нестеров написал воспоминания о В. В. Розанове, опубликованные в каталоге выставки художника, проходившей в Государственной Третьяковской галерее в апреле 1989 г.

320

Трилогия Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» состоит из романов «Отверженный» («Смерть богов», или «Юлиан Отступник», 1896), «Воскресшие боги» («Леонардо да Винчи», 1901) и «Антихрист» («Петр и Алексей», 1905).

321

А. М. Горький посетил Нестерова в Абастумане в двадцатых числах июня 1903 г.

322

Эти строки были написаны Нестеровым в конце 1927-го или начале 1928 г., в период его разрыва с Горьким, продолжавшегося более двадцати пяти лет. В отношениях Нестерова с Горьким, очень дружественных в 1900–1903 гг., в 1904 г., после опубликования поэмы «Человек», наступило охлаждение. С «абастуманской» встречи до 1935 г. они не виделись. «За эти долгие годы не раз я слышал, что Алексей Максимович обо мне поминал добром, — писал в очерке „А. М. Горький“ Нестеров. — Встретились мы еще раз в 1935 году на моей небольшой кратковременной выставке в Музее изящных искусств (ныне ГМИИ им. Пушкина). Оба мы уже были стариками, встретились хорошо, я рад был увидеть все такую же привлекательную улыбку, какая была у Алексея Максимовича в молодые годы» (Давние дни. 2-е изд., с. 292). Очерк был опубликован (в ранней редакции) в газете «Советское искусство» (1936, 23 июня) под заглавием «Встречи с Горьким», затем (в окончательном варианте) в журнале «Огонек» (1938, № 14, с. 7) под заглавием «Памяти А. М. Горького», в обоих изданиях «Давних дней» (1-е изд. — с. 119–123; 2-е изд. — с. 287–292) и в книге «М. Горький в воспоминаниях современников» (М., 1955, с. 218–222).

323

«Вспоминались мейнингенцы…» — Мейнингенский театр, то есть театр г. Мейнингена, столицы Саксен-Мейнингенского герцогства. В Мейнингенском театре в последней трети XIX в. под руководством герцога Георга II, актрисы Э. Франц и главного режиссера Л. Кронека был осуществлен ряд значительных сценических реформ. Необычайно возрастала роль режиссера, добивавшегося слаженности всех элементов спектакля, исторической точности в трактовке образов, в декорациях и костюмах. Большое внимание уделялось массовым сценам. Мейнингенский театр дважды — в 1885 и 1890 гг. — гастролировал в России. К. С. Станиславский высоко оценивал постановочную культуру театра.

324

Перечисленные Нестеровым художники покинули Товарищество передвижных художественных выставок в связи с вступлением их в Союз русских художников.

325

В октябре 1903 г. Серов тяжело заболел. У него обнаружилось прободение язвы желудка, требовавшее хирургического вмешательства. Удачная операция, проведенная 25 ноября хирургами Ф. И. Березкиным и И. П. Алексинским, спасла ему жизнь.

«Картинки из соловецких воспоминаний» — «Мечтатели» и «Молчание». См. наст. изд., коммент. к главе «Выставки. 1900–1901».

327

Первая выставка Союза русских художников открылась в Москве в конце декабря 1903 г.

328

«Демон» — опера русского композитора, пианиста и дирижера Г. Рубинштейна (1829–1894), впервые поставлена в 1875 г. Ф. И. Шаляпин исполнял партию Демона.

329

См. коммент. к главе «Абастуман и Гагры. 1903».

330

Отзыв Нестерова о «Жизни Василия Фивейского» Леонида Андреева совершенно совпадает с отзывом о нем же Л. Н. Толстого.

331

«Гетман из Конотопа» — генерал М. И. Драгомиров. Имеется в виду критическое отношение военачальника и военного теоретика М. И. Драгомирова (1830–1905), с 1898 г. командующего Киевским военным округом и генерал-губернатора на Украине, к генералу А. Н. Куропаткину (1848–1925), главнокомандующему вооруженными силами России на Дальнем Востоке в Русско-японскую войну 1904–1905 гг., чьи грубые оперативные просчеты и ошибки в командовании во многом обусловили поражение русских войск (см. кн.: Отвергнутая победа. М.; СПб.: Диоптра, 2003).

Тенгинцы — солдаты Тенгинского полка.

333

А. П. Чехов скончался 2(15) июля 1904 г. в Баденвейлере (Германия).

334

В «Воспоминаниях» Нестеров дает сравнительно мягкую оценку росписям в Абастумане. В книге «Нестеров в жизни и творчестве» его ближайший друг и доверенное лицо С. Н. Дурылин приводит несравнимо более резкие суждения Нестерова об этой своей работе: «Он неохотно говорил в поздние свои годы об Абастумане: больше и чаще речь шла о трудных условиях, в которых пришлось там работать. О самих же стенописях и образах абастуманских Нестеров отзывался иной раз с исключительной резкостью. „Когда я, — рассказывает Н. Н. Евреинов о своей встрече с Нестеровым в 1911 г., — похвалил одну из ‘Мадонн’ Нестерова, Михаил Васильевич криво усмехнулся и ответил мне буквально следующее: — Я дал бы себя высечь публично, если бы изобразил теперь что-нибудь подобное!“ Этот отзыв, сделанный всего через семь лет после окончания работ в Абастумане, несравненно резче всех критических отзывов, ими вызванных. Все упреки в отсутствии монументальности, в модернистической изломанности поз, в миловидности лиц, в жеманности манер у святых и т. д. — все подобные упреки, которые пришлось выслушать Нестерову от критиков, с избытком покрываются приведенным отзывом самого художника. В конце жизни он готов был подписаться под самым суровым приговором Абастуману. „Абастуман — неудача полная“, — сказал он мне в феврале 1926 года и этот приговор оставил без пересмотра до конца жизни» (с. 233, 234).

Нетрадиционное пластическое решение памятника, лишенное к тому же идеализации образа царя, вызвало бурную полемику и отрицательное отношение к нему многих современников, в том числе и некоторых представителей художественных кругов. Так, художественный критик С. М. Маковский назвал памятник «безобразным, безграмотным в высшей степени». Другие современники, в том числе и М. В. Нестеров, не разделяя столь крайней точки зрения, видели в нем все же намеренный шарж на Александра III. См. также коммент. к главе «Выставки. 1900–1901».

336

Русская приморская крепость Порт-Артур (ныне г. Люйшунь в Китае) после 328-дневной героической обороны в Русско-японскую войну 1904–1905 гг., вопреки решению Военного совета, были сдана генералом Стесселем японцам 20 декабря 1904 г. (2 января 1905 г.). Сдача Порт-Артура очень тяжело переживалась русским обществом.

337

Эскиз «Гражданин Минин» (1905) находится в частном собрании (Москва).

338

Иван Исаевич Болотников (?—1608) — предводитель антифеодального восстания и крестьянской войны на Руси (1606–1607), под лозунгом «За доброго царя». *Иван Мартынович Заруцкий* (7–1614) — предводитель казацких отрядов на Руси в начале XVII в. Был в отряде И. Болотникова, потом поддерживал Лжедмитрия II, затем перешел на сторону польских интервентов. Вступил в первое русское ополчение, но вскоре выступил против него. М. В. Нестеров ставит этих двух исторических лиц «на одну доску» с генералом Стесселем, как предателей и изменников по отношению к монархии и Русскому государству.

339

Сражение при Цусиме произошло 14–15 мая 1905 г.

340

Имеется в виду гимн Российской империи «Боже, царя храни».

341

Первая государственная дума открылась 27 апреля (10 мая) 1906 г.

342

М. В. Нестеров имеет в виду тот факт, что русский государственный деятель С. Ю. Витте (1849–1915), будучи председателем Совета министров, возглавлял переговоры с японцами, завершившиеся заключением Портсмутского мира (9 сентября 1905 г., г. Портсмут, США, штат Нью-Хемпшир). С. Ю. Витте за Портсмутский мир был пожалован титул графа.

343

В. Васнецов вышел из состава действительных членов Академии художеств в знак протеста против организации студентами митингов и сходок в залах, занятых его выставкой. Подробно об этом см.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л.: Художник РСФСР, 1971, т.1, с. 42, 84.

344

«Пробной революцией» Нестеров называл русскую революцию 1905 г.

345

«*Передвижники, их главари теперь царят в Академии*» — после реформы преподавания и введения в действие нового устава в Академии художеств осенью 1894 г. было организовано Высшее художественное училище и его мастерские возглавили видные члены Товарищества передвижных художественных выставок — И. Е. Репин, В. Е. Маковский, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, Н. Д. Кузнецов.

346

Страшный и необычайно жестокий погром в Киеве, организованный черносотенцами и осуществляемый обезумевшей толпой деклассированных элементов, происходил в середине октября 1905 г.

347

Федор Васильевич Дубасов (1845–1912) — русский адмирал, в 1897–1899 гг. командир Тихоокеанской эскадры, член Госсовета с 1906 г. Будучи московским генералом-губернатором в 1905–1906 гг. руководил подавлением Декабрьского вооруженного восстания в Москве.

348

Талант русского композитора и дирижера Александра Константиновича Глазунова (1865–1936) проявился очень рано — в 16 лет он написал первую симфонию.

349

Имеется в виду так называемая «Могучая кучка» — творческое объединение выдающихся русских композиторов, игравших большую роль в развитии русской классической музыки в 1860–1880-е гг.

350

«Золотое руно» (1906–1909) — художественный и литературно-критический журнал, издававшийся в Москве крупным капиталистом и меценатом Н. П. Рябушинским. Вокруг журнала группировалась молодежь, организовавшая в 1907 г. выставку «Голубая роза»: П. В. Кузнецов, М. С. Сарьян, П. С. Уткин, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, В. Д. и Н. Д. Милиоти и другие, выставлявшие свои работы с конца 1908 г. в Салонах «Золотого руна».

351

Речь идет об организованной С. П. Дягилевым Выставке русского искусства при Осеннем салоне 1906 г. в Париже.

352

Письмо Нестерова к С. А. Толстой опубликовано в «Давних днях» (1-е изд. — с. 110; 2-е изд. — с. 274) и в сборнике «Письма» (с. 218). Подлинник письма хранится в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.

353

Письмо С. А. Толстой к Нестерову опубликовано в «Давних днях» (1-е изд. — с. 111; 2-е изд. — с. 275).

354

Приводимые здесь письма Нестерова к Турыгину с рассказом о пребывании в Ясной Поляне, о знакомстве с Л. Н. Толстым и работе над его портретом были опубликованы в позднейшей обработке самого автора — под названием «Письма о Толстом» — в журнале «Огонек» (1938, № 25, с. 16, 17, не полностью), затем, также частично, в сборнике «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников» (Гослитиздат, 1955, т. II, с. 197–200), в «Давних днях» (1-е изд. — с. 110–118; 2-е изд. — с. 274–286) и, наконец, выправленные по подлинникам, хранящимся в отделе рукописей ГРМ (Ф. 136. Ед. хр. 18 и 19), — в сборнике «Письма» (с. 219–221, 225, 226).

355

Французский писатель Л. Леруа-Больe был у Толстого 9 мая, а сотрудник «Нового времени» М. О. Меньшиков — 11 августа 1906 г. Во время последней встречи возник резкий спор между Толстым и его посетителем. Меньшиков оспаривал религиозные теории Толстого.

356

Картина Ж. Бастьен-Лепажа «Деревенская любовь», высоко ценимая Нестеровым, Серовым и другими живописцами этого поколения, в настоящее время принадлежит Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

357

Письмо от 31 августа 1906 г. А. А. Турыгину Нестеров писал в Москве.

358

Общение с В. К. Сютаевым, крестьянином Новоторжского уезда, сектантом-проповедником, имело большое влияние на Л. Н. Толстого в период его религиозных исканий (их знакомство состоялось в 1881 г.). О Сютаеве см.: *Толстой Л. Н.* Так что же нам делать? — Поли. собр. соч. В 90 т. М.: Госиздат, 1937, т. 25, с. 233–234, 286.

359

Адамант — старинное название алмаза, бриллианта.

360

Нестеров послал Толстому фотографии с четырех своих картин: «Видение отроку Варфоломею», «Мечтатели», «Юность преподобного Сергия» и «Святая Русь».

361

Письмо Толстого Нестерову опубликовано в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах (М.: Госиздат, 1956, т. 76, с. 208).

362

«Киевлянин» — крайне правая киевская газета, главным редактором которой был экономист Д. И. Пихно (1853–1913).

363

Нестеров имеет в виду картину В. И. Сурикова «Степан Разин» (1906 г.; частично переписана в 1910 г.), находящуюся ныне в Государственном Русском музее.

Выставке Нестерова в Петербурге и Москве было посвящено множество статей в газетах и журналах. Среди них: *Кравченко Н.* Выставка картин М. В. Нестерова//Новое время, 1907, 6 января; *Иванов М.* Художник-мистик//Новое время, 1907, 11 января; *Меньшиков М.* Две России//Новое время, 1907, 21 января; *Розанов В.* Молящаяся Русь (на выставке картин М. В. Нестерова)//Новое время, 1907, 23 января; *Варварин В. (В. Розанов)*. Где же религия молодости? (по поводу выставки картин М. В. Нестерова)//Русское слово, 1907,15 февраля; *Поселянин Ю. (Е. Н. Погожее)*. «Святая Русь» (впечатления от выставки картин М. Нестерова)//Московские ведомости, 1907, 18 февраля; *Л. Н. (Л. Ф. Маклакова-Нелидова)*. О живых и убиенных//Голос Москвы, 1907, 18 апреля; *Розанов В.* М. В. Нестеров// Золотое руно, 1907, № 2, с. 3–7; *Грабарь И.* Две выставки//Весы, 1907, № 3, с. 101–105; *Волошин Макс.* Выставка М. В. Нестерова//Весы, 1907, № 3, с. 105–107; *Муратов* Я. Творчество М. В. Нестерова//Русская мысль, 1907, апрель, кн. 4 (отд. 2), с. 151–158.

365

Название картины «Димитрий царевич убиенный» Нестеров сопроводил в каталоге выставки пояснением: «По народному поверью, души усопших девять дней пребывают на земле, не покидая близких своих».

366

Картина В. В. Верещагина «Шипка— Шейново. Скобелев под Шипкой» (1878–1879) принадлежит ГТГ.

367

Картина «Святая Русь» (1901–1906) была передана в Государственный Русский музей из Музея Академии художеств в 1923 г.

368

Великий князь Константин Константинович (1858–1915) возглавлял Петербургскую Академию наук с 1889 г. Это был человек разносторонних интересов, одаренный поэт, драматург, переводчик, музыкант. Стихи подписывал инициалами К. Р. Романсы Чайковского и Глазунова «Растворил я окно», «Сирень», «Повеяло черемухой», «О дитя, под окошком твоим» написаны на стихи К. Р. На праздновании 100-летия А. С. Пушкина хор исполнял величественную кантату, сочиненную великим князем (см. кн.: *Калинин Н., Земляниченко М.* Романовы и Крым. Симферополь: Бизнес-Информ, 2002).

369

Письмо рабочего одной из подмосковных фабрик Назарова не сохранилось.

370

Эскиз «Святой Симеон Верхотурский» после 1917 г. находился в частном собрании. В настоящее время его местонахождение точно не установлено.

Закрытие выставки состоялось в Петербурге 4 февраля 1907 г.

372

В Москве выставка была открыта с 15 февраля по 18 марта 1907 г.

373

Речь идет о статьях И. Грабаря «Две выставки» и П. Муратова «Творчество М. В. Нестерова». Хотя обе статьи содержали достаточно резкие отзывы, главным образом о религиозной живописи Нестерова, слова о якобы полученных их авторами «директивах» от Остроухова и мирискусников явно несправедливы.

374

Трубниковский Олимп — дом Остроухова в Трубниковском переулке в Москве.

375

Статья Л. Н. (Л. Ф. Маклаковой-Нелидовой) «О живых и убиенных» (Голос Москвы, 1907, 18 апреля, № 92), посланная ею Нестерову, вызвала очень теплое ответное письмо (см.: Письма, с. 223, 224).

Нестеров приехал в Ясную Поляну 23 июня 1907 г.

377

Д. П. Маковицкий писал 22 августа 1906 г. в своем дневнике: «…Нестеров изучает внешность Л. Н-ча для какой-то картины-группы. Делает эскизы. Говорил мне, что Л. Н. в жизни в обращении мягкий, в нем ничего нет деспотичного. На портретах Репина и других художников и в своих писаниях кажется суровее; они неверно изображают его; может быть, он такой был раньше» (цит. по кн.:*Дурылин С. Н.* Нестеров в жизни и творчестве. М., 1965, с. 327). Маковицкий скрупулезно отмечал весь ход работы Нестерова. В Ясной Поляне с 24 по 30 июня была написана с натуры голова Толстого. Среди этюдов к портрету Нестеровым был написан и этюд с Д. П. Маковицкого в голубой фланелевой блузе Толстого (принадлежит так же, как и портрет Л. Н. Толстого, Государственному музею Л. Н. Толстого). Портрет Толстого заканчивался Нестеровым в его киевской мастерской осенью 1907 г.

378

О посещении Ясной Поляны детьми-экскурсантами см.: *Сергеенко П. А.* Толстой и дети. — В сб.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955, т. 2, с. 201–210.

379

Л. Н. Толстой рассказывал Нестерову о своем посещении Киево-Печерской лавры 29 июня за чаем на террасе (см.: *Дурылин С. Н.* Нестеров. С. 330).

380

Л. Н. Толстой был вместе с Н. Н. Страховым в Оптиной пустыни 26 июня 1877 г. (см.: *Толстая С. А.* Четыре посещения Л. Н. Толстого монастыря Оптиной пустыни. — Толстовский ежегодник, 1913, с. 3–7).

381

Речь идет о второй книге из цикла «Жизнь великих людей» Ромена Роллана — «Жизнь Микеланджело». Опубликована в 1906 г. в «Cahiers de la quinzaine», в 1907 г. вышла отдельным изданием; переведена на русский язык в 1915 г. Первая книга цикла — «Жизнь Бетховена», 1903, третья и последняя — «Жизнь Толстого», 1911, на русском языке — в 1915 г.

382

В письме к Нестерову от 10 октября 1907 г. С. А. Толстая пишет: «Какой вы настоящий, вдохновенный художник! Как вы любите свое дело и как волнуетесь, когда работаете! Еще бы не сочувствовать вам!» (Архив ГТГ, 100/643).

383

Великая итальянская драматическая актриса Элеонора Дузе, увлеченная творчеством и личностью поэта и прозаика Габриеле д'Аннунцио, с середины девяностых годов энергично пропагандировала его драмы, добиваясь их постановки и исполняя в них главные роли (Анны в «Мертвом городе». Франчески в «Франческе да Римини», Сильвии в «Джоконде» и др.). В 1904 г. по инициативе д'Аннунцио между ним и Дузе произошел разрыв. Через год после того как Нестеров видел Дузе во время ее гастролей в Москве (1908), она на многие годы покинула сцену.

Собор Святого Петра. *(Прим. ред.)*.

Улица Авроры. *(Прим. ред.)*.

Прекрасная Италия. *(Прим. ред.)*.

387

Этюд «Везувий» находится в частном собрании.

Старинный *(ит.). (Прим. ред.).*

389

Очевидно, имеется в виду этюд «Капри. Вход в монастырь», использованный в композиции храма Марфо-Мариинской обители «Беседа Христа с Марией». Находится в частном собрании.

390

См. коммент. к главе «Абастуман и Гагры. 1903».

391

Фабрика Сальвиати — мозаичная фабрика на острове Мурано (в Венецианской лагуне), основанная в 1860 г. мозаичистом Антонио Сальвиати, и открытая им же несколько позднее фабрика художественного стекла.

392

«Большая стена» — стена трапезной Марфо-Мариинской обители, где Нестеров написал в 1910–1911 гг. композицию «Путь ко Христу».

393

Письмо к А. А. Турыгину от 19 мая 1908 г. (Письма, с. 229).

Митрофан Сребрянский (архимандрит Сергий) (1871–1948) — протоиерей, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители, духовник ее общины. Исповедовал и окормлял сестер общины и великую княгиню Елизавету Федоровну. Арестован в 1922 г., вторично в 1925 г. Много лет провел в тюрьмах и ссылке. Похоронен в селе Владычня, где отбывал ссылку. В 2001 г. причислен к лику святых Русской православной церковью. Его мощи перевезли в Тверь, а в селе Владычня построили небольшой храм в честь Сергия исповедника. Подробнее о нем в кн.: *Миллер Л.* Святая мученица российская Великая Княгиня Елизавета Феодоровна. М.: Марфо-Мариинская обитель милосердия, 2002 и в кн.: Подвижники Марфо-Мариинской обители милосердия. М.: Новая книга, 2000.

395

См. коммент. к главе «Реформаторская горячка в Третьяковской. 1916».

396

Портрет В. М. Васнецова был написан Нестеровым в 1925 г. (ГТГ).

397

Памятник Александру III, стоявший до 1937 г. на площади Восстания в Ленинграде, в настоящее время установлен во дворике переданного Государственному Русскому музею Мраморного дворца на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга.

398

Памятник первопечатнику Ивану Федорову работы С. М. Волнухина (арх. И. П. Машков) был поставлен в 1909 г. по инициативе Московского археологического общества у Китайгородской стены.

399

Нестеров ошибается: монографии из серии «Русские художники» (изд. И. Кнебеля) под редакцией И. Э. Грабаря начали выходить не в 1909-м, а в 1911 г. Были изданы книги С. П. Яремича «М. А. Врубель» (1911), С. Глаголя и И. Грабаря «И. И. Левитан» (1913), А. Ростиславова «А. П. Рябушкин» (1914), И. Грабаря «В. А. Серов» (1914). Монография с текстом С. Глаголя, посвященная Нестерову, была напечатана в 1914 г., но издательство австрийского подданного И. Кнебеля было разгромлено в мае 1915 г., и книга увидела свет лишь после революции, в 1923 г.

400

В письме Нестерова к вдове Л. В. Средина С. П. Срединой от 11 октября 1909 г. говорится: «Сила его души счастливо совмещалась с редким умом, умом гибким, углубленным в мир тайн жизни. Перед его мудростью многое было открыто, он спокойно созерцал живущее: наслаждался лучшим, опечаленный, провожал взором худшее… Богатство души и разума влекло к Леониду Валентиновичу неудержимо. Я испытал обаяние его на протяжении многих лет и скажу — был счастлив тем, что Бог дал мне возможность знать Леонида Валентиновича. Он для меня был одним из тех посланцев судьбы, которые обогатили меня духовно, показали мне мир божий с его чудной святой красотой… Это был истинный исповедник души, исповедник по призванию, он нес этот дар свой, быть может, как сладкое бремя…» (Письма, с. 237). Близкими друзьями Л. В. Средина были А. П. Чехов и А. М. Горький.

401

Нестеров имеет в виду рисунок П. А. Федотова «Первое утро обманутого молодого» (1844, ГТГ).

402

М. В. Нестеров имеет в виду панно «Танец»(1910) Анри Матисса (Государственный Эрмитаж).

403

А. И. Куинджи скончался 31/12 июля 1910 г., С. В. Иванов — 3/16 августа 1910 г., К. П. Степанов — 9/22 сентября 1910 г.

404

В апреле 1910 г. в Союзе русских художников произошел давно назревавший раскол. Непосредственным поводом к нему явилась статья А. Бенуа «Выставка „Союза“» (Речь, 1910, 13 марта), в которой автор подверг уничтожающей критике живописцев, «отставших от времени и идущих по следам передвижничества», — А. Е. Архипова, Л. О. Пастернака, В. В. Переплетчикова, С. Ю. Жуковского, С. А. Виноградова, а также последние работы В. И. Сурикова. В ответ на письмо-протест ряда московских членов Союза русских художников из объединения вышли во главе с А. Бенуа все петербургские художники (за исключением А. А. Рылова), а из москвичей В. А. Серов и И. Э. Грабарь. Эта группа организовала новое выставочное объединение, принявшее старое название «Мир искусства».

405

А. Бенуа написал статью, посвященную работе Малявина «Портрет автора с семьей», не до выставки «Мира искусства», как это можно понять из слов Нестерова, а во время выставки Союза русских художников (Речь, 1911, 28 января). Его отзыв о картине совпадает с отзывом Нестерова: «…Самое мучительное в картине Малявина — это именно ее ненужность и ее провинциальность… Это изуродованный, исковерканный напев культурной музыки в передаче полудикого и страстно честолюбивого человека…» С глубоким огорчением пишет о портрете Малявина в своих мемуарах и А. П. Остроумова-Лебедева (Автобиографические записки. 1900–1915. М.: Изобразительное искусство, 1974, т. 1–11, с. 452–453).

406

Речь идет об изобретенном и примененном впервые в 1889 г. технологом А. Кеймом (Германия) способе монументально-декоративной живописи при помощи жидкого стекла. В России впервые способ Кейма применил Нестеров в росписи Марфо-Мариинской обители. Подробнее см.: *Виннер А. В.* Материалы и техника монументально-декоративной живописи. М.: Искусство, 1953, с. 602–603.

407

Близкий друг и любимый ученик Нестерова П. Д. Корин учился в Иконописной палате с 1908 по 1912 г. перед поступлением в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

408

П. А. Столыпин (1862–1911) — министр внутренних дел, председатель Совета министров (с 1906 г.). В 1907–1911 гг. определял правительственный курс. Разработчик аграрной реформы, названной Столыпинской. 5/18 сентября 1911 г. смертельно ранен эсером и одновременно агентом охранки Д. Г. Багровым.

409

Во втором издании «Давних дней» это путешествие ошибочно датируется 1912 г. (с. 220). Письмо Нестерова к Турыгину от 1 октября 1911 г. позволяет установить, что Нестеровы выехали из Москвы в Вену 4 октября 1911 г. (см.: Отдел рукописей ГРМ. Ф. 136. Ед. хр. 23).

410

Терра ди сиенна, сиенская земля — название краски.

411

Нестеров послал на Международную выставку в Риме картины «Вечерний звон» (1909, Картинная галерея г. Вятки) и «Мечтатели» (1903).

412

Часть экспонированных на Международной художественной выставке в Риме (1911 г.) работ В. А. Серова (портреты Иды Рубинштейн, О. К. Орловой и М. С. Цетлин) должна была быть отправлена в Россию в связи с открытием 12 декабря 1911 г. выставки «Мира искусства» в Москве. Портреты Иды Рубинштейн (1910 г.) и О. К. Орловой (1911 г.) ныне находятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, портрет М. С. Цетлин — в Музее русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в г. Рамат-Ган (Израиль).

413

Нестеров, видимо, имеет в виду Виктора-Эммануила III (1869–1947), последнего итальянского короля (1900–1946).

414

Имеется в виду картина П. Веронезе «Мученичество св. Георгия».

415

Младшей дочери В. А. Серова Наталье в 1911 г. было три года.

Алексеевский.

417

Приводя эти строки из «Воспоминаний» Нестерова в своей книге, С. Н. Дурылин уточняет: «…противоположные отзывы были не совсем „редким исключением“. Одну группу — художественную — составляли те, кто упрекал Нестерова за несоответствие его живописи с архитектурой Щусева: за то, что он не вошел за архитектором в стиль Новгорода и Пскова XII–XV веков, иначе сказать, за то, что он остался Нестеровым. В другой группе были люди, которые находили, что „Путь ко Христу“, может быть, хорошая картина, но ей не место в храме, а „Христос у Марфы и Марии“, может быть, и хорош, но в католическом храме в Италии, а не на Большой Ордынке, в Замоскворечье» (*Дурылин С. Н.* Нестеров. С. 242).

418

Имеется в виду государственный деятель Пруссии и Германии Отто фон Бисмарк (1815–1898), в 1871–1890 гг. рейхсканцлер Германской империи, проводивший объединение Германии вокруг Пруссии путем войн («железом и кровью»).

419

Григорий Ефимович Распутин (род. в 1864/65 или 1872–1916) пользовался неограниченным влиянием на царскую семью, убедив ее, что только его молитвы поддерживают здоровье наследника цесаревича Алексея, больного гемофилией. Корыстные вмешательства в различные стороны государственной жизни и протекционизм, темные связи и безобразно-разгульный образ жизни Распутина вызывали глубокое возмущение в русском обществе. Незадолго до падения Распутина М. А. Новоселов совместно с великой княгиней Елизаветой Федоровной, сестрой царицы, подготовил книгу, разоблачавшую Распутина и его губительную для России деятельность. Книга была уже отпечатана, но лежала еще на складе, когда о ней узнали и доложили государю. Новоселову было предложено под честное слово сжечь тираж, на этом условии дело предавалось забвению (см. кн.: *Пришвин В.* Невидимый град. М.: Мол. гвардия, 2002 (Б-ка мемуаров: Близкое прошлое; вып. 3, с. 196) и кн.: *Миллер Л.* Святая мученица российская Великая Княгиня Елизавета Феодоровна. М.: Марфо-Мариинская обитель милосердия, 2002). Распутин был убит 17(30)декабря 1916 г. группой в составе князя Ф. Ф. Юсупова, В. М. Пуришкевича, великого князя Дмитрия Павловича и др., стремившихся спасти авторитет монархии в России.

420

М. В. Нестеров имеет в виду портреты работы немецкого живописца и рисовальщика академического направления Вильгельма Каульбаха (1805–1874) и Ш. Э. А. Каролюс-Дюрана (1837–1917) — французского художника-портретиста.

421

Федор Дмитриевич Самарин (1858–1916) — общественный и религиозный деятель. Член Госсовета. Знаток канонов православной культуры. Член новоселовского «Кружка ищущих христианского просвещения в духе Православной Христовой Церкви». Один из учредителей Братства Святителей Московских. Организатор московских попечительств о бедных. См. также коммент. к главе «Христиане» — «Душа народа». 1917.

422

В Овруче на Украине по проекту архитектора А. В. Щусева в 1908–1912 гг. была проведена образцовая для своего времени реставрация собора Святого Василия (XII в.) и построена обитель.

423

Имеется в виду празднование 26 августа 1912 г. столетия битвы при Бородине.

424

Памятник Александру III работы А. М. Опекушина был поставлен в Москве в 1912 г. перед храмом Христа Спасителя (снесен после Октябрьской революции); опекушинский памятник А. С. Пушкину в Москве открыт в 1880 г., М. Ю. Лермонтову в Пятигорске — в 1889 г.

425

См. коммент. к главе «Самообразование за границей. 1889».

426

Венчание дочери М. В. Нестерова Ольги и В. Н. Шретера состоялось 1 июля 1912 г. *Виктор Николаевич Шретер* — муж О. М. Нестеровой, крупный юрист, погиб в 1938 г. О. М. Нестерова-Шретер была выслана в Джамбул и возвращена в Москву в 1941 г. благодаря хлопотам отца через Красный Крест.

427

«Христиане» (другие названия — «Душа народа», «На Руси») — картина, над которой Нестеров работал в течение ряда лет, была окончена им в 1916 г. (ГТГ).

Имеется в виду Казанский вокзал в Москве. *(Прим. ред.)*.

429

Речь идет о Комитете по организации празднований 300-летия царствования дома Романовых в 1913 г.

430

Мария Клавдиевна Тенишева (1864 или 1867–1928) — княгиня, меценатка, коллекционер, создательница Историко-этнографического музея (открыт для посетителей в 1898 г. в селе Талашкино Смоленской губернии; в 1905 г. открыт в Смоленске как музей «Русская старина»). Финансировала издание журнала «Мир искусства» (1898–1899). Часть своей коллекции акварелей в 1898 г. передала в дар Музею имп. Александра III в Санкт-Петербурге.

431

Молодые Мекки — художник-любитель и меценат В. В. фон Мекк с женой.

432

На X выставке Союза русских художников в январе 1913 г. была экспонирована картина А. П. Рябушкина «Едут (Народ московский во время въезда иностранного посольства в Москву в конце XVII века)», созданная в 1901 г. (ГРМ).

433

В последние десятилетия своей жизни Нестеров был склонен преуменьшать значение своей дружбы и своей переписки с Турыгиным. Так, например, он писал С. Н. Дурылину 8 октября 1925 г.: «…Сорокалетняя переписка наша — все эти 600–700 писем не содержат в себе ни обмена мыслей, или чувств о художестве, или „идеалах“ вообще. Ничего заветного в них говорено не было, и писать другу Т[урыгин]у об этом заветном было бы праздным делом. И, однако, в этих письмах проходит вся моя внешняя жизнь, а она все же была полная, разнообразная, деятельная…» (Письма, с. 307). Об отношениях Нестерова с Турыгиным и об их переписке см.: Письма. Предисловие А. Русаковой. С. 21, 22.

Среди других работ Нестерова П. И. Харитоненко принадлежали «Молчание» (1903, ныне в Третьяковской галерее), «Осенний день» (1906, Художественный музей в Сумах), «Вечерний звон» (1909, там же), «Тихие воды» (1912, Харьковский государственный музей изобразительных искусств).

435

Фаберже — имеется в виду знаменитая ювелирная фирма Фаберже.

436

Нестеров не любил острый и злой портрет С. В. Малютина. 18 апреля 1914 г. он писал Турыгину: «Да! брат, вещь „тузовая“, как сказал бы Стасов… Знай одно, что как этот знаменитый портрет попал в галерею, с тех пор туда у меня пропала охота ходить. Он повешен в той же зале, где мои картины, против стены Серова и против портрета царя серовской работы. Это ли, или все взятое вместе с „психологией“ и всякой чертовщиной, но, повторяю, быть там, где этот мой „двойник“ — для меня сущее наказание» (Письма, с. 258).

437

Александра Васильевна Нестерова скончалась 18 июня 1913 г.

Имеются в виду памятники К. Б. Кавуру (см. коммент. к главе «Самообразование за границей. 1889»).

439

Московский «Свободный театр» был основан в 1913 г. (просуществовал всего один сезон) К. А. Марджановым, стремившимся к синтетическому театральному искусству. В спектакле «Елена Прекрасная» (муз. Оффенбаха) режиссер решительно порывал с опереточными штампами. «Некий помещик» — очевидно, антрепренер В. В. Суходольский.

Прекрасная Елена *(ит.). (Прим. ред.)*.

441

«София» — журнал по искусству и литературе, издававшийся в Москве К. Ф. Некрасовым, под редакцией П. П. Муратова. Выходил с конца 1913-го по начало 1915 г. (всего вышло шесть номеров).

Более точную характеристику Серова как художника дает сам Нестеров в письме к Турыгину от 2 декабря 1911 г.: «…На той наделе мы схоронили Серова, бедняга много трудился, трудился честно и хорошо, и ему была уготована кончина безболезненная… жаль искренне большой здоровый талант, отличного, в лучшем смысле европейского мастера» (Письма, с. 246). Читателей, интересующихся проблемой западных влияний и самобытных русских черт в творчестве Серова, отсылаем к изданиям: История русского искусства. М.: Наука, 1968, т. X, кн. 1, с. 179–249; *Грабарь И.* Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. М.: Искусство, 1965; *Сарабьянов Д.* Русская живопись конца 1900-х — начала 1910-х годов. Очерки. М.: Искусство, 1971; Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л.: Художник РСФСР, 1971, т. I, II.

443

Нестеров помещает здесь свое письмо Турыгину от 26 февраля 1914 г., внося в него незначительные изменения, в частности, заменяя слова «художники Союза» на «современные художники».

444

Шесть образов иконостаса Троицкого собора в Сумах (Христос, Богоматерь, Троица, Никола, архангелы Гавриил и Михаил), над которыми художник работал в течение 1913-го — первой половины 1914 г., принадлежат к лучшему, что было сделано Нестеровым в области церковной живописи. С. Н. Дурылин приводит его слова: «Тут я сам по себе. Тут кое-что я нашел» и запись Нестерова от 20 августа 1940 г.: «Трех церквей не следовало бы мне расписывать: Абастуман, храм Воскресения, в имении Оржевской. Ну, Владимирский собор — там я был молод, слушался других… Там кое-что удалось: Варвара, князь Глеб. А затем надо было ограничиться обителью да Сумами. Там свое есть. Хорошо еще, что я взялся за ум — отказался от соборов в Глухове и Варшаве. Хорош бы я там был? Всего бы себя там похоронил, со всеми потрохами» *(Дурылин С. Н.* Нестеров. С. 246).

445

Убийство сербским националистом наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены 28 июня 1914 г. в Сараеве, столице Боснии и Герцеговины (так называемое сараевское убийство), послужило непосредственным поводом к началу Первой мировой войны. 23 июля Австро-Венгрия, подстрекаемая Германией, предъявила Сербии заведомо невыполнимый ультиматум, а 28 июля начала военные действия. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, 3 августа — Франции, а 4 августа в войну вступила Англия.

446

Здание германского посольства на Исаакиевской площади в Петербурге было построено в 1911–1912 гг. немецким архитектором П. Беренсом.

447

Речь идет о тяжелом поражении русских войск в Восточной Пруссии 26–30 августа 1914 г., когда в результате бездействия 1-й армии генерала Ренненкампфа и неудачного маневрирования 2-й армии генерала Самсонова эта последняя была окружена прорвавшимися через Зольдау и Нейденбург германскими войсками генерала Гинденбурга и частью пленена, частью уничтожена ими в Мазурских болотах. При этом генерал Самсонов застрелился. Упоминаемая здесь Нестеровым по аналогии битва при Седане произошла 1 сентября 1870 г. между французскими и прусскими войсками и закончилась окружением и полным поражением французов.

448

А. И. Гучков — лидер партии «Союз 17 октября», был в 1915–1917 гг. председателем Центрального военно-промышленного комитета. *Л.-М. Гамбетта* — крупный политический деятель Франции, в годы Второй империи — влиятельный оратор левого крыла буржуазно-республиканской оппозиции, был во время Франко-прусской войны министром внутренних дел в «правительстве национальной обороны» (сент. 1870 г. — февр. 1871 г.).

449

Бельгийский король Альберт I был широко известен в годы Первой мировой войны своим мужественным поведением во время вторжения в Бельгию немецких войск в 1914 г.

450

29 и 30 октября 1914 г. турецкий флот под командованием немецкого адмирала Сушона (в его состав входили немецкие военные корабли «Бреслау» и «Гебен») обстрелял Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. 2 ноября Россия, а 5 и 6 ноября Англия и Франция объявили Турции войну.

451

Нестеров писал Турыгину 19 ноября 1914 г.: «Теперь москвичи-художники устраивают целый ряд выставок в пользу наших воинов и их семейств. Принимаю на всех этих выставках и я участие. Даю вещей (по мелочам) тысячи на полторы. Причем уже продал рублей на 450 у себя дома до открытия выставки (ведь мои веши на „рынке“ — редкость, а потому берут их охотно)» (Письма, с. 259).

452

С. Малютин экспонировал на выставке Союза русских художников 1915 г. портреты М. Кенинг и А. П. Лангового, А. Е. Архипов — картины «Гости» и «Крестьянка Рязанской губернии», К. А. Коровин — «Ночь на юге» и «Комнату на юге».

453

М. В. Нестеров, видимо, называет так скульптуру «Девушка» (дерево, 1914), ныне находящуюся в Третьяковской галерее.

454

*Михаил Васильевич Алексеев (*1857–1918) — русский военный деятель. В начале Первой мировой войны начальник штаба Юго-Западного фронта, а с 1915 г. главнокомандующий Северо-Западного фронта и фактически руководитель всех военных операций на русско-германском фронте. Нерешительность и недостаточная твердость Алексеева в управлении войсками послужила причиной ряда неудач русской армии. После Октябрьской революции возглавил белогвардейскую Добровольческую армию.

455

Речь идет о книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше» (СПб., 1903).

456

Имеется в виду речь, произнесенная Достоевским 8 июня 1880 г. на публичном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника А. С. Пушкину в Москве. Блестящая речь Достоевского вошла в историю русской культуры как первое признание всемирного значения великого русского поэта.

457

Альбом «Федоровский государев собор в Царском Селе» (М.: изд. Федоровского государева собора, 1915) посвящен собору так называемого городка в Фермерском парке Царского Села (ныне г. Пушкин); комплекс Федоровского городка был построен в 1903–1916 гг. архитекторами В. А. Покровским, С. С. Кричинским, В. Н. Максимовым и др.

458

Английское пассажирское судно «Лузитания» было потоплено 7 мая 1915 г. немецкой подводной лодкой. Погибли 1200 пассажиров, среди них — много американских граждан, что вызвало взрыв возмущения в США и приблизило их вступление в войну.

459

В. А. Сухомлинов (1848–1926) — русский военный деятель, с 1909 г. военный министр. В 1915 г. после ряда поражений русских войск на фронтах Первой мировой войны был снят с поста министра, а в 1916 г. арестован по обвинению в злоупотреблениях и измене, в связи с осуждением за шпионаж близких к нему лиц. Эти события широко обсуждались и тяжело переживались в русском обществе. В 1918 г. освобожден по старости. Эмигрировал.

460

Коллекция картин Н. А. Ярошенко легла в основу собрания Полтавского государственного художественного музея, организованного в 1919 г.

461

В настоящее время картины К. Е. Маковского «Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» (1869), «Перенесение священного ковра в Каире» (1876) и «Русалки» (1879) принадлежат Русскому музею.

462

Письмо Турыгину от 29 октября 1915 г. (Письма, с. 262).

463

В 1913 г. попечителем Третьяковской галереи вместо вынужденного подать в отставку Остроухова был избран Грабарь, который провел в галерее ряд реформ. Он проделал гигантскую работу, создав новую экспозицию, построенную на принципе исторического показа русского искусства. Подробнее об этом см.: *Грабарь И.* Автомонография. М.; Л.: Искусство, 1937, с. 223–270; *Подобедова О. И.* И. Э. Грабарь. М.: Советский художник, 1965, с. 158–174. 13 сентября 1913 г. Нестеров писал Турыгину: «Как-нибудь опишу тебе, что делается у нас в Третьяковской галерее: все вверх дном, но очень хорошо. Одним словом, „система“, история искусства для наглядного обучения невежественных россиян… хотя, кажется, и против воли „завещателя“ или что-то близкое к тому. Одним словом, смелость города берет; бедняга Остроухов все пальцы с досады обкусал» (Письма, с. 252). В другом письме — Малютину от 6 ноября того же года — говорится: «Сегодня любовался в галерее хорошо повешенным портретом Вашего сына (дивная вещь). Ваш автопортрет помещен хуже. Вообще перетасовка многое изменила, больше, кажется, к лучшему. Превосходен Репин» (там же, с. 204). Перевеска в Третьяковской галерее вызвала — вследствие интриг одного из членов Совета попечителей галереи князя С. А. Щербатова, поддержанных Остроуховым, — целую бурю протестов со стороны ряда художников и части публики. Особенного накала страсти достигли к началу 1916 г. Нестеров в основном правильно излагает соотношение сил в борьбе за и против реформ в Третьяковской галерее. Необходимо подчеркнуть, что отстаивала «волю» Третьякова в основном консервативная часть русской художественной интеллигенции, поддержанная правыми элементами Московской думы; поддерживали реформы Грабаря прогрессивно настроенные деятели искусства. Любопытную характеристику хранителя галереи Н. Н. Черногубова, человека «особенного… блестяще одаренного, наделенного острым, едким умом», «редкого циника», великолепного знатока русского искусства, дает в своей «Автомонографии» И. Грабарь (с. 252–258).

464

Письмо в редакцию группы художников, лично знавших П. М. Третьякова, было напечатано в газете «Русское слово» 26 января 1916 г.

В. И. Суриков скончался 6(19) марта 1916 г. в Москве.

466

В 1916 г. совет Третьяковской галереи приобрел произведения Б. М. Кустодиева «Прогулка верхом» и «Крестный ход» (1915) (эскиз картины, находившейся на выставке объединения «Мир искусства» в 1915 г.).

467

Выставка «Ослиный хвост» была открыта в Москве в 1912 г. группой бывших членов общества «Бубновый валет», возглавляемой М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой. Помимо них в выставке принимали участие К. М. Зданевич, И. Ф. Ларионов, М. В. Ле-Дантю, К. С. Малевич, А. А. Моргунов, В. Е. Татлин, А. В. Фонвизин, М. З. Шагал, А. В. Шевченко и др. Футуристическая выставка «Магазин» была открыта в 1916 г. Ее организатором был В. Е. Татлин, участниками — Л. А. Бруни, М. И. Васильева, К. С. Малевич, А. А. Моргунов, И. В. Клюн, Л. С. Попова, А. М. Родченко, Н. А. Удальцова, А. А. Экстер, В. М. Юстицкий, С. И. Толстая, В. Е. Пестель.

468

Письмо А. Турыгину от 20 марта 1916 г. (Письма, с. 266).

469

Письмо А. Турыгину от 27 марта 1916 г. (там же).

Статья Нестерова «Памяти А. В. Прахова» была напечатана в газете «Новое время» (1916, 20 мая).

471

Этюд слепого солдата Миши принадлежал дочери Нестерова В. М. Титовой; с 1962 г. находится в частном собрании (Петербург). Этюд солдата (в папахе) находится в частном собрании (Москва).

472

Здесь неточность. Речь идет о городском Арнольдовском (точнее — Арнольдо-Третьяковском) училище для глухонемых детей (помещалось на Донской ул., 49), основанном в 1860 г. И. К. Арнольдом и щедро субсидируемом П. М. Третьяковым, завещавшим на содержание училища 200 тысяч рублей (подробнее см.; *Боткина А. П.* Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1951, с. 234–235, 295).

473

Речь идет о наступательной операции русских войск на Юго-Западном фронте, начатой 22 мая 1916 г., в результате которой немцы вынуждены были прекратить операции под Верденом. Прорыв австро-германского фронта летом 1916 г. положил начало перелому в ходе войны.

474

Александр Иванович Таманов (Таманян) (1878–1936) — русский и армянский архитектор. В ранний период творчества работал в духе неоклассики. В 1923 г. жил и работал в Ереване.

475

Дом С. А. Щербатова, построенный А. Тамановым в 1912–1913 гг., — одна из известнейших построек в стиле неоклассицизма, в которой архитектор стремился сочетать традиционную схему московской городской усадьбы с особенностями доходного дома (подробнее о доме Щербатова см.; *Борисова Е. А., Каждан Т. П.* Русская архитектура конца XIX — начала XX века. М.: Наука, 1971, с. 197, 198).

С. А. Щербатов учился в Москве у Л. О. Пастернака, а в конце 1890-х гг. — в Мюнхене у А. Ашбе и И. Грабаря. По словам последнего, он «был очень талантлив» (Автомонография. С. 143). Был одним из инициаторов и организаторов выставки «Современное искусство» в Петербурге (1903). Коллекционер. В 1918 г. эмигрировал. Автор книги «Художник в ушедшей России» (Нью-Йорк: Изд-во А. П. Чехова, 1955), где ряд страниц посвящен знакомству с Нестеровым. См. также русское издание: *Щербатов С. А.* Художник в ушедшей России/Сост., подг. текста и коммент. Т. А. Дудиной. М.: Согласие, 2000.

477

Портреты жены С. А. Щербатова — П. И. Щербатовой — писали Суриков (1910) и Серов (1911), который начал работать над портретом незадолго до своей смерти. Портрет остался незаконченным. Он находится в Государственной Третьяковской галерее (дар С. А. Щербатова в 1911 г.).

Упоминаемая Нестеровым речь известного религиозного философа князя Е. Н. Трубецкого была произнесена 22 ноября 1916 г. на заседании Госсовета, членом которого этот последний являлся. Князь Трубецкой резко критиковал действия правительства, говорил о «развале Совета министров», о необходимости прихода в правительство честных людей, требовал «твердой власти», способной довести войну до победного конца, обращался с призывом к церкви помочь преодолеть «тяжелый внутренний недуг, которым поражена страна» (Речь, 1916, 23 ноября).

479

Письмо А. А. Турыгину от 8 декабря 1916 г. (Письма, с. 269).

480

Церковь Большого Вознесения у Никитских Ворот Белого города строилась с 1798 по 1848 г. с перерывами. Заказчиком храма был Г. А. Потемкин, по приказу которого к 1775 г. уже было заготовлено около миллиона кирпичей. Во время пожара 1812 г. недостроенное здание сильно пострадало. Следующий этап строительства начался в 1829 г. по проекту архитектора Ф. М. Шестакова. В 1830 г. О. И. Бове дополнил этот проект. Венчание А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой проходило 2 марта 1831 г. в законченной к этому времени трапезной с двумя приделами.

481

Религиозно-философское общество памяти В. С. Соловьева было учреждено в Москве в конце 1905 г. на основе студенческой религиозно-философской секции Историко-филологического общества при Московском университете. Членами-основателями стали Е. Н. Трубецкой, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, В. П. Свенцицкий (исключен в 1908 г.), П. А. Флоренский, А. В. Ельчанинов; позднее к ним присоединились Вяч. И. Иванов, Н. А. Бердяев (в 1912 г. вышел из общества), С. Н. Дурылин, А. Белый. Первым председателем общества был Г. А. Рачинский. Заседания проходили в доме московской меценатки М. К. Морозовой в Мертвом переулке (позднее — пер. Островского). В 1907 г. на базе общества был организован «Вольный богословский университет», в 1910 г. — издательство «Путь». Последнее заседание состоялось 3 июня 1918 г. С. Н. Дурылин был секретарем общества с 1912 по 1918 г. (см.: *Фудель С. И.* Собр. соч. В 3 т. М.: Русский путь, 2001, т. I, с. 533).

Михаил Александрович Новоселов (1864–1938) — православный писатель и издатель, выпускал популярную «Религиозно-философскую библиотеку» (1902–1917), основатель и руководитель «Кружка ищущих христианского просвещения в духе Православной Христовой Церкви», в котором принимали участие о. Павел Флоренский, о. Иосиф Фудель, С. Н. Булгаков, Ф. Д. Самарин, В. А. Кожевников и др. С 1922 г. жил на нелегальном положении и продолжал литературную деятельность (в 1994 г. изданы «Письма к друзьям»). По некоторым сведениям в начале 20-х гг. принял тайный постриг с именем Марк, а в 1923 г. тайно рукоположен в епископа (катакомбная церковь). Был одним из духовных руководителей движения «непоминающих», прекративших молитвенное общение с митрополитом Сергием (Страгородским) после опубликования последним в 1927 г. «Декларации» о лояльности Церкви к советской власти. Многократно подвергался арестам, расстрелян. Причислен к лику святых Архиерейским собором 2000 г. (подробнее см.: Священник Павел Флоренский. Переписка с М. А. Новоселовым. Томск: Водолей. Изд. А. Сотникова, 1998; *Фудель С. И.* Собр. соч. В 3 т.: Т. 1. М.: Русский путь, 2001).

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) — экономист, религиозный философ, писатель, член Всероссийского Поместного собора (1917–1918), священник (1918), богослов, в 1922 г. выслан с семьей из России, профессор Богословского института в Париже. В России остался его сын Федор Сергеевич,

художник, ученик М. В. Нестерова, который в 1945 г. стал мужем младшей дочери Нестерова Наталии Михайловны.

Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954) — педагог, археолог, религиозный писатель, поэт, философ, священник, историк литературы, театра и живописи, доктор филологических наук, исследователь творчества В. Гаршина, Н. Гоголя, М. Лермонтова, Н. Лескова, К. Леонтьева, М. Нестерова, М. Ермоловой и многих других. Человек широкого творческого диапазона. Митрополит Вениамин (Федченков) назвал его одним «из самых образованных людей, каких я видел на своем веку». Член Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, секретарь общества в 1912–1918 гг. Сотрудник журнала «Свободное воспитание», издательств «Посредник», «Путь», «Мусагет». В 1919 г. работает в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры под руководством ее ученого секретаря и хранителя ризницы о. Павла Флоренского. После долгих духовных исканий принимает сан священника (1920) и служит в храме Святого Николая в Кленниках на Маросейке у о. Алексея Мечёва, затем в Боголюбской часовне у Варварских ворот. Дважды был арестован, в 1922 и 1927 гг., отбывал ссылку в Челябинске (1922–1924) и Томске (1927–1930). В 1930–1933 гг. жил в Киржаче. В 1933 г. возвращается в Москву и активно включается в научную жизнь: читает доклады, пишет статьи, работает над книгами… Для заработка дает частные уроки.

После ареста в церкви не служил. В 1933 г. в Киржаче оформил юридический брак с И. А. Комиссаровой, своей духовной дочерью, которая по благословению о. Алексея Мечёва поехала за Дурылиным в ссылку, чтобы спасти жизнь этого совершенно беспомощного в быту человека, и в дальнейшем заботилась о нем.

Пережив глубокий душевный кризис из-за гибели в пожаре своего архива, переключается на работу о театре. По свидетельству современников, Дурылин сделал театроведение наукой, до него была только театральная критика.

С 1936 г. живет в собственном доме в Болшеве, где Ириной Алексеевной созданы все условия для творческой работы Дурылина. А работа эта не прерывалась ни в ссылках, ни в период работы в ГАХН (1924–1927), ИМЛИ, Институте истории искусств АН СССР.

С Нестеровым дружеские отношения связывают Дурылина с десятых годов XX в. Нестеров считал его самым близким другом по духу и просил быть автором книги о нем: «Я имею в Вас одновременно и ученого и богослова, вооруженного всем тем, без чего будет не полон труд, подобный Вашему» (Письма, с. 296).

Существует обширная их переписка. С. Н. Дурылин — автор книг «Нестеров — портретист» (М.; Л. 1949); «Нестеров в жизни и творчестве» (серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1965, 1976, 2004).

М. В. Нестеров написал портрет о. Сергия Дурылина «Тяжелые думы» (1926), который находится в Троице-Сергиевой лавре. По свидетельству Наталии Михайловны Нестеровой, о. Сергий Дурылин был духовником М. В. Нестерова в советский период. Михаил Васильевич часто по нескольку дней гостил у Дурылина в Болшеве. «Сергея Николаевича я знаю давно и очень люблю его за его прекрасное сердце, за его талантливость. Конечно, он один из выдающихся людей теперешнего безлюдья. К сожалению, в наши дни его труды обречены надолго быть под спудом. Он как писатель обречен на безмолвие. Б. м., пройдет много лет, когда он будет печататься», — пророчески писал Нестеров в 1926 г. (Письма, с. 319).

Огромный архив Дурылина хранится частично в РГАЛИ, частично в Мемориальном доме-музее С. Н. Дурылина в Болшеве.

Подробнее о С. Н. Дурылине можно узнать из кн.: *Дурылин С. Н.* В своем углу. М.: Московский рабочий, 1991; *Дурылин С. Н.* Русь прикровенная. М.: Паломник, 2000; *Фудель С. И.* Собр. соч. В 3 т. М.: Русский путь, 2001; Записки священника Сергея Сидорова. М., 1999. Об о. Алексее Мечёве из кн.: «Пастырь добрый…». М.: Серда-Пресс, 2000.

482

Картина «На Руси» («Христиане», «Душа народа») была приобретена Государственной Третьяковской галереей в 1958 г. Она долго не экспонировалась. Впервые после 1917 г. картина появилась на выставке М. В. Нестерова к 100-летию со дня рождения в 1962 г.

483

В письме от 4 января 1904 г. Нестеров пишет: «Кончил „Святую Русь“, но на картине рядом с подписью поставил дату: 1901–1905 г.».

С 1954 г. — Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова.